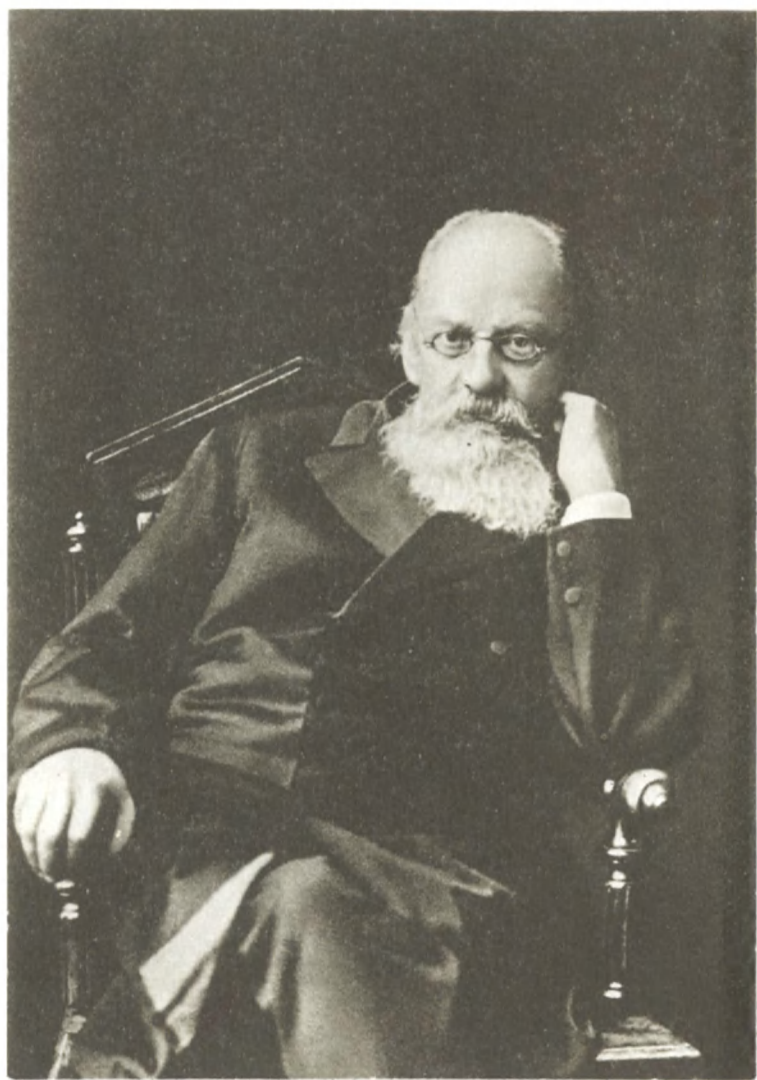


100/5
K 12

К.Д. КАВЕАНИ



К.Д. КАВЕЛИН

НАШ
УМСТВЕННЫЙ
СТРОЙ

Статьи по философии
русской истории и культуры

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1989

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ СЕРИИ
«ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ»

В. С. Степин (председатель), С. С. Аверинцев, Г. А. Ашуров,
А. И. Володин, В. А. Лекторский, Д. С. Лихачев, Н. В. Мотро-
шилова, Б. В. Раушенбах, Ю. П. Сенокосов, Н. Ф. Уткина,
И. Т. Фролов, Н. З. Чавчавадзе, В. И. Шинкарук, А. А. Яковлев

Составление, вступительная статья
В. К. КАНТОРА

Подготовка текста и примечания
В. К. КАНТОРА и О. Е. МАЙОРОВОЙ

На фронтисписе: К. А. Кавелин.

Фотография 80-х годов XIX в.

К $\frac{0301000000 - \text{Без объявл.}}{080(02) - 89}$ Без объявл. — 89. Подписное

К. Д. КАВЕЛИН

Константин Дмитриевич Кавелин (1818—1885), виднейший представитель русской общественной мысли прошлого века, историк, философ, правовед, оставил заметный след в отечественной культуре. Его обширное наследие по сей день недооценено и мало пока изучено. Между тем многие современники воспринимали Кавелина как одну из ключевых фигур середины XIX столетия. Подобные суждения, иной раз излишне восторженные, не так уж далеки, однако, от истины.

Родился и вырос К. Д. Кавелин в семье, принадлежавшей, по определению Достоевского, к «средне-высшему кругу» русского дворянства. Его отец, выпускник Благородного пансиона при Московском университете, приятель В. А. Жуковского, Александра Тургенева, С. С. Уварова, Д. В. Дашкова, директор Главного педагогического института (преобразованного в 1819 г. в Санкт-Петербургский университет), в начале 1820-х гг. принял участие в организованной Магницким и Руничем травле передовой профессуры. Эти «постыдные поступки <...> до того обеславили его, что все порядочные люди от него удалились...»¹. Домашняя обстановка — «страшное бессмыслие, отсутствие всяких социальных, научных и умственных стремлений, <...> дворянское чванство и пустейшая ежедневная жизнь»² — видимо, с юности тяготила Кавелина. Не каждому, вспоминал он, удавалось вырваться из этой среды, но самому ему повезло: «возбуждением умственной деятельности, умственных интересов»³ Кавелин считал себя обязанным Белинскому, готовившему его в университет.

С личностью великого критика связан в судьбе Кавелина и еще один решительный поворот. Окончив в 1842 г. юридический факультет Московского университета и переехав в Петербург, где по настоянию родителей он вынужден был определиться на службу в министерство юстиции, Кавелин вскоре сблизился с кружком Белинского. Убеждения будущего ученого, казалось бы, уже сложившиеся, отчасти под влиянием московских профессоров-гегельянцев (П. Г. Редкина, Д. Л. Крюкова, Н. И. Крылова), но главным образом — под воздействием старшего поколения славянофилов (с особым пиететом Кавелин относился к А. С. Хомякову), претерпели почти за два года петербургской жизни существенные изменения. Показательно, что по возвращении в Москву (1844) Кавелин вошел в круг московских западников, друзей Белинского, и долгие годы поддерживал с ними тесные контакты. Позднее он признавался Герцену: «...Ты с Белинским и Грановским сыграли самую большую роль в моей жизни; вами я воспитался...»⁴. Это суждение

¹ Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 2. С. 102.

² Кавелин К. Д. Собр. соч.: В 4 т. СПб., 1897—1900. Т. 3. Стлб. 1082. (В дальнейшем ссылки на издание даются в тексте: первый цифрой обозначается том, второй — столбец.)

³ Там же.

⁴ Письма К. Д. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену. Женева. 1892. С. 11.

согласуется с любопытным свидетельством С. М. Соловьева: «Кавелин <...>, как человек страшно увлесающийся, не робел ни перед какою крайностью в социальных преобразованиях»¹.

Хотя радикализм Кавелина здесь явно преувеличен, круг волновавших его вопросов очерчен верно. Знаменательно, что вплоть до 1860-х гг. проблема «социальных преобразований» и прежде всего отмена крепостного права неотступно занимала Кавелина и нашла отражение в его публицистических выступлениях, не предназначенных для подцензурной печати. Рассказывая о встрече с Кавелиным в январе 1855 г., Б. Н. Чичерин писал: «Однажды он приехал ко мне и стал говорить, что положение с каждым днем становится невыносимее и что так нельзя оставаться. О каком-либо практическом деле думать нечего, печатать ничего нельзя; поэтому он задумал завести рукописную литературу, которая сама собою будет ходить по рукам»². Вскоре широкое распространение получила кавелинская «Записка об освобождении крестьян» (1855), частично напечатанная позднее в герценовских «Голосах из России» и почти полностью включенная в статью Чернышевского «О задачах сельского быта» (1858). Кроме того, Герцен открыл свои выпуски «Голосов...» «Письмом к издателю» (его первая часть принадлежала перу Кавелина), где дана крайне резкая оценка сложившейся в России политической ситуации.

«Западнические» убеждения Кавелина отчетливее всего выразились в его историософских построениях. Защитив в 1844 г. магистерскую диссертацию «Основные начала русского судостройства и гражданского судопроизводства» и преодолев сопротивление семьи (профессорство казалось его матери лакейским занятием), он получил место при кафедре истории русского законодательства Московского университета. Замечательный ученый-фольклорист А. Н. Афанасьев, оказавшийся в студенческие годы одним из первых слушателей Кавелина, вспоминал позднее: «В своих лекциях Кавелин старался высказать и пояснить те начала, которыми условливалось внутреннее развитие русской истории, и хотя многое им оставлено было в стороне, другое решено поспешно <...>, тем не менее многое было им угадано»³. Основные идеи о «внутреннем развитии русской истории» нашли отражение и в первых журнальных выступлениях Кавелина, вызвавших следующий отзыв одного из самых проницательных критиков тех лет — Валериана Майкова, писавшего в 1846 г.: «Как зарождалось у нас славянофильство, зарождался и противоположный взгляд на прошедшее и настоящее России. Это был взгляд спокойного, беспристрастного анализа, взгляд, который сначала произвел такой же ропот в науке, как сочинения Гоголя в искусстве, но который мало-помалу делается господствующим. В последнее время представителями его являются профессора Московского университета, гг. Кавелин и Соловьев, которым, может быть, суждено сделать для русской истории то же, что сделал Гоголь для изящной литературы»⁴. Репутация Кавелина как создателя антиславянофильской концепции

¹ Соловьев С. М. Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 298.

² Чичерин Б. Н. Воспоминания. Москва сороковых годов. М., 1929. С. 153.

³ Афанасьев А. Н. Московский университет (1844—1848 гг.) // Афанасьев А. Н. Народ-художник. М., 1986. С. 295.

⁴ Майков В. Н. Литературная критика. Л., 1985. С. 47—48.

русской истории утвердилась в 1847 г. с появлением в «Современнике» статьи «Взгляд на юридический быт древней России», сразу сделавшей Кавелину имя и вызвавшей массу восторженных отзывов. Белинский в письме А. И. Герцену выражал надежду, что с этой статьи «начнется философское изучение нашей истории»¹.

Кавелин по-новому взглянул на прошлое России, вступая то в скрытую, то в явную полемику с наиболее влиятельными концепциями конца 30-х — начала 40-х гг. Одной из первых попыток осмыслить русскую историю явилось «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева, опубликованное в 1836 г. в «Телескопе». Чаадаев утверждал, что Россия и Западная Европа развивались на разных основаниях, ибо Россия не имела личностей, способных определить ее самобытное прогрессивное движение. Отчасти Кавелин принял чаадаевский ход мысли: история движется там, где есть развитая личность. «Для народов, — писал он, — призванных ко всемирно-историческому действию в новом мире, такое существование без начала личности невозможно... Личность, сознающая сама по себе свое бесконечное, безусловное достоинство, — есть необходимое условие всякого духовного развития народа» (1, 18). Однако заслуга Кавелина перед русской общественной мыслью заключалась в том, что, преодолевая чаадаевскую концепцию, он вписал личность в отечественную историю, обосновав закономерность ее появления.

Под влиянием гегелевской философии истории в России 1840-х гг. был широко распространен взгляд, согласно которому в основе развития германских племен лежало личностное начало, определившее всю послеантичную европейскую историю. Кавелин полагал, что в России личностное начало проявилось позже, чем в Европе, и принципиально иначе — через распадение «родового» быта, укрепление быта семейного, последующий его распад и возникновение сильного государства. Как и С. М. Соловьев, Кавелин разрабатывал выдвинутую дерптским профессором Иоганном Густавом Эверсом идею о переходе «родового» быта в государственный.

По мнению Кавелина, позднее поддержанному Герценом, первой личностью в истории России, дерзнувшей поставить себя в независимое положение, был Петр Великий. А. С. Хомяков в статье «О старом и новом» (1839) давал Петру иную оценку: «Грустно подумать, что тот, кто так живо и сильно понял смысл государства, кто поработил вполне ему свою личность, так же как и личность всех подданных, не вспомнил в то же время, что там только сила, где любовь, а любовь только там, где личная свобода»². В понятие личной свободы Хомяков и другие славянофилы вкладывали особый смысл. Ю. Ф. Самарин, например, полемизируя со статьей Кавелина «Взгляд на юридический быт...», писал: «Общинный быт славян основан не на отсутствии личности, а на свободном и сознательном ее отречении от своего полновластия»³. Живя за границей и имея возможность прямо формулировать суждения, немыслимые в русской подцензурной печати, Герцен писал по поводу этой полемики: «Автор-славянофил полагал, что личный принцип был хорошо развит в древней Руси, но личность, просвещенная греческой церковью, обладала высоким даром смирения и добровольно передавала свою свободу особе князя... На замечание, что все мы рабы, что личное право не раз-

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. XII. С. 267.

² Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1988. С. 54.

³ Самарин Ю. Ф. Соч. Т. I. М., 1900. С. 63.

вито в России, отвечают: «Мы спасли это право, увенчав им князя». Это издевка, возбуждающая презрение к человеческому слову»¹.

Герцен истолковал кавелинскую мысль революционнее, чем тот ее формулировал. Здесь уже просматриваются те разногласия между Герценом и Кавелиным, которые в дальнейшем привели к их разрыву: Кавелин будет возлагать надежды на реформаторскую деятельность самодержавного государства; Герцен утверждать, что после Екатерины II власть и мысль, императорские указы и гуманные слова, самодержавие и цивилизация не могли идти рядом.

В 1848 г. Кавелин покинул Московский университет, переехал в Петербург, определившись на службу сначала в Министерство внутренних дел, позднее — в канцелярию комитета министров. В эти последние годы николаевского царствования, вошедшие в историю как годы «мрачного семилетия», Кавелин сохранял веру в прогрессивную роль самодержавного государства. В сентябре 1848 г. он писал Грановскому: «Я верю в совершенную необходимость абсолютизма для теперешней России: но он должен быть прогрессивный и просвещенный. Такой, каков у нас, — только убивает зародыши самостоятельной, национальной жизни»². А в том, что личность, культура, просвещение, национальная жизнь должны быть самостоятельны и что это совместимо с абсолютизмом, Кавелин был уверен вполне. Правление Николая I представляется ему своего рода исторической случайностью³.

В 1857 г., с началом либеральных реформ Александра II, Кавелина, имя которого было хорошо известно, а научная репутация безупречна, пригласили преподавать русскую историю и гражданское право цесаревичу Николаю Александровичу (умер в 1865 г.). Кавелин, вдохновленный примером Жуковского, воспитавшего, как полагали современники, «просвещенного монарха», принял это предложение. В том же году он приступил к чтению лекций в Петербургском университете. Однако его «Записка об освобождении крестьян», появившаяся на страницах левой прессы, вызвала недовольство и привела к устранению Кавелина от преподавания наследнику (1858). Вскоре он покинул и университет: возмущенные поведением администрации во время студенческих волнений 1861 г., Кавелин и еще несколько прогрессивных профессоров подали в отставку.

Рубеж 1850—1860-х гг. — лучшая эпоха в жизни Кавелина. Характерно, что в эту пору он сумел найти общий язык и с представителями высших слоев государственного аппарата, и с эмигрантом Герценом, и с радикалами, группировавшимися вокруг «Современника». Кавелин был последовательным сторонником компромисса в общественной жизни. «Я не могу представить себе взгляда, с которым нельзя было бы сойтись в том или другом пункте, в котором нельзя было бы отыскать со-

¹ Герцен А. И. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. VII. С. 244—245, 246.

² Литературное наследство. М., 1959. Т. 67. С. 607.

³ «Экое страшилище прошло по головам, отравило нашу жизнь и благословило нас умереть, не сделавши ничего путного! Говори после этого, что *случайности* (курсив мой.—В. К.) нет в истории и что все совершается разумно, как математическая задача. Кто возвратит нам назад тридцать лет и призовет опять наше поколение к плодотворной и вдохновенной деятельности!» (Там же. С. 596).

чувственных сторон (1, 1171). Однако бурные события 1862 г., «петербургские пожары», ответственность за которые Кавелин возлагал на «революционную партию», привели его к разрыву с представителями радикального лагеря. После ареста Чернышевского он писал Герцену: «Аресты меня не удивляют, и признаюсь тебе, не кажутся возмутительными. Это война: кто кого одолеет. Революционная партия считает все средства хорошими, чтоб отбросить правительство, а оно защищается своими средствами. Не то были аресты и ссылки при подлеце Николае. Люди гибли за мысль, за убеждения, за веру, за слова. Я бы хотел, чтоб ты был правительством и посмотрел бы, как бы ты стал действовать против партий, которые стали бы против тебя работать тайно и явно. Чернышевского я очень, очень люблю, но такого брульона, бестактного и самонадеянного человека я никогда еще не видал. И было бы за что погибать! Что пожары в связи с прокламациями — в этом нет теперь ни малейшего сомнения»¹.

Общественно-политическая позиция Кавелина привела его к разрыву с Герценом после выхода в Берлине кавелинской брошюры «Дворянство и освобождение крестьян»: Герцен не разделял авторской мысли о нецелесообразности немедленного введения конституции в России. Но почему был убежден в этом Кавелин?

Причин тому, по крайней мере, две. Во-первых, он опасался, что дворянское сословие, которое, как стало очевидно, сопротивлялось политике реформ, использует конституцию в своих интересах. Во-вторых, он считал, что русское общество еще не доросло до политических свобод; по его мнению, управление, и местное, и центральное, требует коренных преобразований, законы «спутаны и обветшали», финансовое положение расстроено, судопроизводство никуда не годится, полиция ниже критики, народное образование встречает на каждом шагу препятствия, гласность предана произволу, не ограждена ни судом, ни законом... Поэтому «преобразования, вводящие прочный, разумный и законный порядок в стране взамен произвола и хаоса, по самому существу дела должны предшествовать политическим гарантиям, ибо готовят и воспитывают народ к политическому представительству» (2, 136—137).

С одной стороны, Кавелин сформулировал основной принцип культурного прогресса: он возможен там, где есть развитая личность. С другой стороны, понятие свободы из его концепции выпало. Но возможно ли «политическое представительство» без свободы? Для революционеров-демократов было ясно, что человек не может выработаться в личность, если он не свободен. А стало быть, исключается и историческое развитие народа. «Свобода лица, — писал Герцен, — величайшее дело; на ней, и только на ней, может вырасти действительная воля народа»².

В апреле 1866 г. Д. В. Каракозов стреляет в царя. В стране установился полицейский террор. Казалось бы, подтверждаются кавелинские опасения: именно революционная деятельность привела к свертыванию и прекращению политики реформ. По совету своего приятеля, военного министра Д. А. Милютина, Кавелин подает императору записку «О нигилизме и мерах, против него необходимых». Убежденный в том, что

¹ Письма К. Д. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену. Женева, 1892. С. 82.

² Герцен А. И. Ук. соч. Т. VI. С. 14.

средства, выбранные правительством, глубоко ошибочны и вредны, он пишет: «Нигилизм обязан своим появлением и развитием преимущественно репрессивным мерам, действовавшим в 1849—1855 гг.». И далее: «Дух оппозиции и порицания правительства, проявляемый ультраконсерваторами по поводу освобождения крестьян и других реформ, обращается также в пользу нигилизма, ибо он prepares умы молодежи к восприятию всякой враждебной правительству и существующему порядку пропаганды»¹. Предотвратить нигилизм возможно лишь широким распространением образования и просвещения. Записка Кавелина была отвергнута.

Работы Кавелина последних лет, посвящены ли они психологической разработке проблем личности (трактат «Задачи психологии», 1872), воспитательной силе искусства («О задачах искусства», 1878), проблемам этики («Задачи этики», 1884), не выходили за рамки той философско-политической доктрины, которую можно определить словами «личность без свободы». Закономерны настойчивые призывы Кавелина к труду, к упрочению нравственных норм, к широкой культурной деятельности. Но все эти работы не имели значительного общественного резонанса.

Кавелин умер в мае 1885 г. На его похоронах были не только видные деятели культуры и науки, отдававшие дань памяти одному из кумиров эпохи великих реформ, но и студенты Военно-юридической академии, в которой Кавелин преподавал гражданское право с 1877 г., — последние слушатели его лекций. Похоронен Кавелин на петербургском Волковом кладбище, рядом с могилой друга его юности И. С. Тургенева.

В. К. Кантор

¹ Зайончковский П. А. Записка К. Д. Кавелина о нигилизме // Исторический архив. М.; Л., 1950. Т. V. С. 340, 341.

НАШ
УМСТВЕННЫЙ
СТРОЙ

ВЗГЛЯД НА ЮРИДИЧЕСКИЙ БЫТ ДРЕВНЕЙ РОССИИ

В наше время русская история становится предметом общего любопытства и деятельного изучения. Прежде она была доступна одним избранным, на которых потому и смотрели с каким-то удивлением, переходящим в благоговение. Теперь все образованные люди интересуются русской историей; не только у нас, даже в Европе, многие ею занимаются. Объяснять причины этого нового, весьма недавнего явления мы считаем излишним. Россия Петра Великого, Россия Екатерины II, Россия XIX века объясняют его достаточно. Прибавим, что все некогда обширные и сильные государства, основанные славянами, пали. Одна Россия, государство тоже славянское, создалась так крепко и прочно, что вынесла все внешние и внутренние бури, и из каждой выходила как будто с новыми силами. Ее судьба — совсем особенная, исключительная в славянском мире, отчасти истребленном, отчасти поработленном и угнетенном в прочих его отраслях. Это делает ее явлением совершенно новым, небывалым в истории. Один поверхностный взгляд на быт древней России, еще не заслоненный от неопытного взгляда европейскими формами, совершенно убеждает в этой мысли.

Удивительное дело! На одном материке, разделенные несколькими народами, Европа и Россия прожили много веков, чуждаясь друг друга, как будто с умыслом избегая всякого близкого соприкосновения¹. Европа об нас ничего не знала и знать не хотела; мы ничего не хотели знать об Европе. Были встречи, но редкие, какие-то официальные, недоверчивые, слишком натянутые, чтоб произвести действительное сближение. Еще и теперь, когда многое переменилось, Европа больше знает какие-нибудь Караибские острова, чем Россию. Есть что-то странное, загадочное в этом факте.

Подстрочно приводятся примечания автора, сноска на которые дается звездочкой. Цифровые сноски отсылают к примечаниям в конце книги. (Ред.)

В истории — ни одной черты сходной и много противоположных. В Европе дружинное начало создает феодальные государства; у нас дружинное начало создает удельное государство. Отношение между феодальной и удельной системой — как товарищества к семье. В Европе сословия — у нас нет сословий; в Европе аристократия — у нас нет аристократии; там особенное устройство городов и среднее сословие — у нас одинаковое устройство городов и сел и нет среднего, как нет и других сословий; в Европе рыцарство — у нас нет рыцарства; там церковь, облеченная светскою властью в борьбе с государством, — здесь церковь, не имеющая никакой светской власти и в мирском отношении зависима от государства; там множество монашеских орденов, — у нас один монашеский орден и тот основан не в России²; в Европе отрицание католицизма, протестантизм, — в России не было протестантизма; у нас местничество¹ — Европа ничего не знает о местничестве; там сначала нет общинного быта, потом он создается, — здесь сначала общинный быт, потом он падает; там женщины мало-помалу выходят из-под строгой власти мужчин — здесь женщины, сначала почти равные мужчинам, потом ведут жизнь восточных женщин; в России, в исходе XVI в., сельские жители прикрепляются к земле — в Европе, после основания государств, не было такого явления.

Как понятно удивление первого, который заметил это глубокое, совершенное различие! Точно он мог забыть из-за него человеческое единство всех племен и народов! Подвиг Петра мог представиться ему нарушением неотъемлемых прав народа на самобытность. Нам теперь это и странно и смешно; но не станем укорять первого за ложный взгляд: соблазн был слишком велик.

С XVIII века наше отчуждение, холодность к Европе вдруг совершенно исчезают и заменяются тесной связью, глубокой симпатией. Так же ревностно принялись мы отказываться от своего и принимать чужое, европейское, как прежде отказывались от чужого и держались своего. Наши старинные обычаев, природного языка, самого имени мы стали стыдиться. Близорукие видели в этом отступничестве какое-то непростительное легкомыслие, невыполнимое желание переменить свою национальность на чужую. Дальше они ничего не видали. Староверы пятнали его преступлением. В самом деле, то было странное время! То был какой-то безумный фантастический маскарад. Каждый жадно выбирал роль, надевал костюм и про-

стодушно верил, что переродился, принимая обман за действительность. Кто не переоделся, на того смотрели с презрением. Никогда самообольщение не доводило до такой слепоты.

Теперь это время прошло. Мы можем судить его беспристрастно. Оно было вызвано горячим, искренним, но бессознательным стремлением выйти из положения, в котором стало как-то тесно и неловко. Но когда мы стали выходить из этого положения, которого не понимали, в другое, которого тоже не понимали, руководствуясь одним темным чувством, оказалось, что мы чуть-чуть не дети. Мы обнаружили много сил, ума, благородства, много очень хорошего, но в таких юношеских формах, как будто мы только что начинали жить.

Что же делали до XVIII века?

Новейшие исследователи доказывают, что славяне в Европе — исконные жители, переселившиеся сюда по крайней мере не позже германского племени, и нельзя сказать когда — так давно. Но оставим их. Возьмем почти несомненно достоверную историю России¹ с прибытия к нам иноземной дружины с севера в половине IX века. Что делали мы с половины IX до XVIII века — целые восемь с половиной веков? Вовсе не жили? Это неправда. Факты противоречат этому. Наша история представляет постепенное *изменение* форм, а не *повторение* их; след <о-вательно>, в ней было развитие, не так, как на востоке, где с самого начала до сих пор все повторяется почти одно и то же, а если по временам и появлялось что-нибудь новое, то замирало или развивалось на европейский почин. В этом смысле мы народ европейский, способный к совершенствованию, к развитию, который не любит повторяться и бесчисленное число веков стоять на одной точке. В чем же состояло наше развитие до XVIII века? Какой смысл его? Какое его движущее начало? Вот тайна, до сих пор еще никем не разгаданная! Множество «взглядов на русскую историю» брошено, множество «теорий русской истории» построено², а разрешение этих вопросов все-таки не подвинулось ни на шаг вперед. На древнюю русскую историю смотрели с точки зрения истории всех возможных восточных и западных, северных и южных народов, и никто ее не понял, потому что она в самом деле не похожа ни на какую другую историю. Наконец к теориям и взглядам все охладели и потеряли доверие. В них видели повторение прежних, неудачных попыток. Некоторые записные ученые пошли дальше. Они объяви-

ли, что теория русской истории, другими словами — русская история как наука — невозможна, даже ненужна, даже вредна; что должно изучать и изучать одни факты. Исторически они были правы. Они сказали это, когда являлись теории и взгляды, одни других несообразнее, страннее, а фактов почти никто не знал. Но ошибка их состояла в том, что когда это время прошло, они все продолжали твердить одно и то же.

Большая ошибка! Во-первых, однажды возникший вопрос рано или поздно непременно должен быть разрешен; это его неотъемлемое право. Отложить его разрешение на время можно, иногда должно; не признавать его, отвергать — значит стоять ниже вопроса. Во-вторых, в противоположении фактов теории, взгляду скрывается важное заблуждение. Взгляд, теория непременно предполагают фактическое знание предмета. Без последнего невозможны первые. Как строить теорию о предмете, которого мы вовсе не знаем? Но и наоборот, фактическое изучение невозможно без взгляда, без теории. Одно необходимо переходит в другое. Сухое знание всех фактов недостижимо, по их бесконечному множеству; сверх того, оно совершенно бесполезно, ибо не дает ровно ничего, в сущности, ни на йоту не прибавляет к нашему знанию. Взгляд, теория определяют важность фактов, придают им жизнь и смысл, мешают запутаться в их бесконечном лабиринте; словом, только с их помощью можно воссоздать историю, как она была.

В доказательство ссылаемся на последнее время нашей историко-литературной деятельности. Те, которые всего больше восставали против взглядов и теорий, уступили непреложному закону мышления и бессознательно строили теории русской истории — правда, не очень удачные — но строили ⁶. (Может быть и *сознательно*; мы, однако, не хотим подозревать их в недобросовестном стремлении ввести монополию в науку русской истории). Во множестве издавались источники, что везде и всегда имеет свою безотносительную важность и пользу, но не обогащает историческую литературу, составляя в то же время одно из ее существенных, необходимых условий. Собственно ученое обрабатывание русской истории представляет самую жалкую картину. За исключением весьма немногих статей и исследований, которые можно пересчитать по пальцам — так их немного, — все прочее служит блистательным доказательством, как неблагоприятно действует на науку отсутствие всякого направления, всякой об-

щей мысли. Писано, если хотите, довольно, даже гораздо больше, нежели сколько нужно, чтобы не привести ни к каким результатам. Но все исследования поражают какою-то бесцветностью, бесхарактерностью, случайностью выбора. Вопросы существенные, важные, оставлены в стороне; мелочи поглотили все внимание разыскателей. Между отдельными исследованиями никакого единства, так что из всех их вместе ничего не следует, тогда как они должны бы дополнять и пояснять друг друга. Отсюда — никакого доверия к сочинениям по русской истории. Для всех, кто ею занимается, сделалось общим местом не читать их, а изучать одни источники. Хуже нельзя отозваться об исторической литературе. В других охладел всякий интерес к предмету, чего он сам по себе без сомнения, не заслуживает.

Итак, чтобы понять тайный смысл нашей истории, чтоб оживить нашу историческую литературу, необходимы взгляд, теория. Они должны представить русскую историю как развивающийся организм, живое целое, проникнутое одним духом, одними началами. Явления ее должны быть поняты как различные выражения этих начал, необходимо связанные между собою, необходимо вытекающие одно из другого.

I

Где ключ к правильному взгляду на русскую историю?

Ответ простой. Не в невозможном отвлеченном мышлении, не в почти бесплодном сравнении с историею других народов, а в нас самих, в нашем внутреннем быте.

Многие не без основания думают, что образ жизни, привычки, понятия крестьян сохранили очень много от древней Руси. Их общественный быт нисколько не похож на общественный быт образованных классов. Посмотрите же, как крестьяне понимают свои отношения между собою и к другим. Помещика и всякого начальника они называют *отцом*, себя — его *детьми*. В деревне старшие летами зовут младших — *робятами*, *молодцами*, младшие старших — *дядями*, *дедами*, *тетками*, *бабками*, равные — *братьями*, *сестрами*. Словом, все отношения между неродственниками сознаются под формами *родства* или под формами прямо из него вытекающего и необходимо с ним связанного, кровного, возрастом и летами определенного, *старшинства* или *меньшинства*. Бесспорно, в устах народа

эта терминология с каждым годом или исчезает, или становится более и более бессмысленным звуком. Но заметим, что она не введена насильственно, а сложилась сама собою, в незапамятные времена. Ее источник — прежний взгляд русского человека на свои отношения к другим. Отсюда мы в полном праве заключить, что когда-то эти термины наверное не были только фразами, но заключали в себе полный, определенный, живой смысл, что когда-то все и неродственные отношения действительно определялись у нас по типу родственных, по началам кровного старшинства или меньшинства. А это неизбежно приводит нас к другому заключению, что в древнейшие времена русские славяне имели *исключительно* родственный, на одних кровных началах и отношениях основанный быт; что в эти времена о других отношениях они не имели никакого понятия, и потому, когда они появились, подвели и их под те же родственные, кровные отношения.

Выражаясь как можно проще, мы скажем, что у русских славян был, следовательно, первоначально один чисто семейственный, родственный быт, без всякой примеси; что русско-славянское племя образовалось в древнейшие времена *исключительно* одним путем *нарождения*. Это совершенно согласно и с первыми историческими известиями.

Есть большое вероятие, что точно такой же исключительно семейственный, родственный быт имели первоначально и все прочие славяне; но историческая судьба их и наша была неодинакова. Последние в разные времена смешались с другими народами или подпали под их власть. Оттого их исключительно родственный, семейственный быт должен был насильственно прерваться, может быть, слишком рано для их дальнейшего исторического действия и даже для самого их существования.

Другие обстоятельства сопровождали наше развитие. Никогда иноплеменные завоеватели не селились между нами и потому не могли придать нашей истории свой национальный характер. Много народов прошло через Русь. Торговый путь и восточные монеты, находимые в России, указывают на беспрестанные сношения с иностранцами. Были и завоевания: авары, хозары, какие-то северные выходцы, кажется, норманны, и татары попеременно покоряли русских славян, опустошали их земли и собирали тяжкую дань. Но все эти приязненные и неприязненные

столкновения с иноплеменниками не имели и не могли иметь, в самой малой степени, тех последствий для нашей последующей истории, какие имело в других землях поселение завоевателей у туземцев и смешение их между собою. Кто знает, как необразованный славянин неохотно поддается чуждому влиянию, как он везде и всегда остается при своих нравах и обычаях, даже одиноко и надолго заброшенный между иностранцами, — тот поймет, что торговые сношения русских славян с иностранцами, как бы они часты и продолжительны ни были, не могли несколько изменить внутреннего, домашнего и общественного быта первых. Несколько слов и названий предметов, им неизвестных, — вот все, что могли им передать чужеземцы. Тем менее могли изменить их быт толпы варваров, мгновенно появлявшиеся и мгновенно исчезающие. Авары никогда не смешивались с русскими славянами и обращались с ними слишком жестоко, чтоб последние когда-либо могли забыть свое различие с ними. Потом авары исчезли до единого. Хозары брали одну дань; тем и ограничилось их владычество. Татары господствовали над нами издавека. Им нужны были подушная^а и покорность. Влияние их на наш внутренний быт ограничилось посылкою в Россию сборщиков податей — и то только сначала — вмешательством в распри удельных князей и несколькими, еще весьма сомнительными, неудачными попытками обратить нас к исламу^б. Впрочем, роль фанатических пропагандистов так мало шла к монголам, равнодушным покровителям всех возможных религий, что они ее скоро оставили, если когда-нибудь и принимали на себя. Не только они не поселились у нас на правах завоевателей: они даже не ставили у нас своих ханов, а сажали русских же князей, которые никогда искренно не держали их стороны, кланялись им, пока было нужно и выгодно, и воспользовались их покровительством, чтоб усилиться и свергнуть их же иго. И монгольское влияние ограничилось несколькими словами, вошедшими в наш словарь; может быть, и даже вероятно, несколькими обычаями, не совсем для нас лестными, каковы: *пытка, кнут, праведж*¹⁰; но эти обычаи, без всякого сомнения, *заимствованы, а не навязаны*, и заимствованы больше вследствие тогдашнего быта Руси, чем вследствие сношений с татарами. И без них они бы, конечно, образовались, только под другими формами и названиями. Одни северные выходцы, *варяжские корабельники*, как будто исключение. Сначала

они покоряют северно-русских славян и ограничиваются, подобно другим, данью. Но потом, призванные несколькими союзными русско-славянскими и финскими племенами, они дружиной поселяются между ними, из призванных властителей становятся завоевателями, покоряют все племена, им еще не подвластные, ставят в их городах своих правителей и основывают обширное, как кажется, феодальное государство. Но... замечательное явление! Тогда как в других землях они надолго придают свой характер быту страны, ими покоренной, у нас, напротив, они скоро подчиняются влиянию туземного элемента и наконец совершенно в нем исчезают, завещав нам надолго мысль о государственном единстве всей русской земли, дружинное начало и систему областного правления. Впрочем, и эти следы северной дружины так переродились на русской почве, так прониклись национальным элементом, что в них почти невозможно узнать их неславянского первообраза. Не станем здесь исследовать, как и почему это сделалось. Для нас самый факт важен, а он несомненен. А между тем, варяги — единственные, принесшие к нам какие-то чуждые элементы. Считаем излишним упоминать о других племенах, как напр <имер>, финских, которые или исчезли, или вполне подчинились господству или влиянию русско-славянского элемента¹¹.

Итак, посторонние начала никогда не были насильственно вносимы в жизнь русских славян. Единственные, которым можно бы приписать это, — варяги — утонули и распустились в славянском элементе. Посторонние влияния были — это несомненно. Но они не были вынужденные, извне налагаемые, а естественные, свободно принимаемые. Вряд ли они были сильны; во всяком случае, они не могли нам дать ненационального, искусственного развития. Таким образом история вполне предоставила нас одним нашим собственным силам. Это еще более справедливо, если мы вспомним, что мы не сидели на плечах у другого народа, который, будучи просвещеннее нас, мог бы сообщить нам, даже против нашей воли, плоды своей высшей цивилизации¹². На своей почве мы не имели предшественников, а если и имели, то таких, от которых нам нечего было заимствовать.

Итак, мы жили сами собой, развивались из самих себя. Отсюда следующее необходимое заключение: если наш быт, исключительно семейственный, родствен¹³ный, изменялся без решительного посторонне¹⁴го влияния, след <о-

вательно>, свободно, сам собой, то и смысла этих изменений должно искать в началах того же семейственного быта, а не в чем-либо другом; другими словами: наша древняя, внутренняя история была постепенным развитием исключительно кровного, родственного быта.

Но по какому закону он развивался? На это отвечает нам новая история с появления христианства. Христианство открыло в человеке и глубоко развило в нем внутренний, невидимый, духовный мир. Древнее человечество, подавленное природой, или художественно, но бессознательно с нею уравновешенное, как бы примиренное, или погруженное в одну практическую, государственную деятельность, имело о нем какое-то темное предчувствие, но не знало его. Христианство нашло его и поставило бесконечно высоко над внешним, материальным миром. Последний обречен был ему на служение. Оттого с появления христианства внутренний мир стремится к неограниченному господству над событиями и действиями. Духовные силы человека, его стремления, надежды, требования, упования, которые прежде были глубоко затаены и не могли высказываться, христианством были сильно возбуждены и стали порываться к полному, безусловному осуществлению. Характер истории должен был совершенно измениться.

Когда внутренний духовный мир получил такое господство над внешним материальным миром, тогда и человеческая *личность* должна была получить великое, святое значение, которого прежде не имела. В древности о человеке, помимо определений каст, сословий, национальностей и гражданства, не имели никакого понятия. Даже древние религии, исключительно местные, национальные брали под свое покровительство только известные племена, известные гражданства; других они знать не хотели или преследовали. Словом, в древности *человек как человек* ничего не значил.

Христианство во имя внутреннего, духовного мира отрицает все видимые, материальные, условные, следовательно, несущественные, ничтожные различия между людьми. Все народы и племена, все касты и сословия, всех, и свободных и несвободных, оно равно призывает к спасению, всех равно называет по духу чадами Божиими, всем обещает и дает равное участие в благах небесных. Первые христианские общины представляют пеструю смесь разноплеменных и разносословных людей,

уравненных и соединенных истиной, жаждой приобщиться к одной небесной, духовной жизни.

Так возникла впервые в христианстве мысль о бесконечном, безусловном достоинстве *человека и человеческой личности*. Человек — живой сосуд духовного мира и его святыни; если не в действительности, то в возможности он представитель Бога на земле, возлюбленный сын Божий, для которого сам Спаситель мира сошел на землю, пролил святую кровь свою и умер на кресте. Такой совершенно новый взгляд на человека должен был вывести его из ничтожества, освободить из-под ига природы и внешнего мира, который случайно или давал ему значение, или ставил наравне с бессловесными, ниже их. Из определяемого человек стал определяющим, из раба природы и обстоятельств — господином их. Теперь, чрез истину, он стал первое и главное¹³.

Христианское начало безусловного достоинства человека и личности вместе с христианством рано или поздно должно было перейти и в мир гражданский. Оттого признание этого достоинства, возможное нравственное и умственное развитие *человека*, сделались лозунгами всей новой истории, главными точками или центрами, около которых она вертится. Правда, много скорбного встречаем мы на пути, уже пройденном; много скорбного еще предстоит. К благородным, великодушным порывам и стремлениям, к чистым побуждениям нередко примешивались низкие и мелочные страсти, плачевные заблуждения, добровольные и недобровольные ошибки, невежество и бессознательность. Но кто понимает историю, кто умеет читать ее спутанные, часто горькие страницы, для того есть отрада в великой цели и в постепенном, хотя и медленном, ее достижении. Так, для всех народов нового христианского мира — одна цель: безусловное признание достоинства человека, лица и всестороннее его развитие. Только все идут к ней разными путями, бесконечно разнообразными, как сама природа и исторические условия народов.

Германские племена, передовые дружины нового мира выступили первые. Их частые, вековые, неприязненные столкновения с Римом, их беспрестанные войны и далекие переходы, какое-то внутреннее беспокойство и метание — признаки силы, ищущей пищи и выражения, — рано развили в них глубокое чувство *личности*¹⁴, но под грубыми, дикими формами. Германцы жили разроз-

ненно. Их жестокость к рабам и побежденным была немолима; их семейные отношения были юридические. Издавна появились у них дружины — добровольные союзы, заключаемые для военной цели между храбрым, славным вождем и людьми, жаждавшими завоеваний и добычи. Начало личности положено в основание этих союзов. Предводитель не был полновластным господином дружины. Она была обязана верно служить ему, но и он обязан был делиться с ней добычей. Нарушение условий разрушало союз. С самого начала все отношения германцев запечатлены этим началом личности и выражаются в строгих юридических формах.

Перешедши на почву, где совершалось развитие древнего мира, где сохранились еще живые следы его и уже пронеслась проповедь Евангелия, они почувствовали всю силу христианства и высшей цивилизации. Долго благоговел варвар-германец перед именем Рима и не смел коснуться добычи, уже никем не защищаемой. Он ревностно принимал новое учение, которое высоким освящением личности так много говорило его чувству, — и в то же время вбирал в себя римские элементы, наследие древнего мира. Все это мало-помалу начало смягчать нравы германцев. Но и смешавшись с туземцами почвы, ими завоеванной, принявши христианство, усвоивши себе многое из римской жизни и быта, они сохранили глубокую печать своей национальности. Государства, ими основанные, — явление совершенно новое в истории. Они проникнуты *личным* началом, которое принесли с собою германцы. Всюду оно видно; везде оно на первом плане, главное, определяющее. Правда, в новооснованных государствах оно не имеет того возвышенного, безусловного значения, которое придало ему христианство. Оно еще подавлено историческими элементами, бессознательно проникнуто эгоизмом и потому выражается в условных, резко обозначенных, часто суровых и жестких формах. Оно создает множество частных союзов в одном и том же государстве. Преследуя самые различные цели, но еще не сознавая их внутреннего, конечного, органического единства, эти союзы живут друг возле друга, разобщенные или в открытой борьбе. Над этим еще не установившимся, разрозненным и враждующим миром царит церковь, храня в себе высший идеал развития. Но мало-помалу, под разнообразными формами, по-видимому, не имеющими между собою ничего общего или даже противоположными, воспи-

тывается *человек*. Из области религии мысль о безусловном его достоинстве постепенно переходит в мир гражданский и начинается в нем осуществляться. Тогда чисто исторические определения, в которых сначала сознавала себя личность, как излишние и ненужные, падают и разрушаются, в различных государствах различно. Бесчисленные частные союзы заменяются в них одним общим союзом, которого цель — всестороннее развитие человека, воспитание и поддержание в нем нравственного достоинства. Эта цель еще недавно обозначилась. Достижение ее в будущем. Но мы видим уже начало. Совершение неминуемо.

Русско-славянские племена представляют совершенно иное явление. Спокойные, миролюбивые, они жили постоянно на своих местах. Начало личности у них не существовало. Семейственный быт и отношения не могли воспитать в русском славянине чувства osobности, сосредоточенности, которое заставляет человека проводить резкую черту между собою и другими и всегда и во всем отличать себя от других. Такое чувство рождает в неразвитом человеке беспрестанная война, частые столкновения с чужеземцами, одиночество между ними, опасности странствования. Он привыкает надеяться и опираться только на самого себя, быть вечно начеку, вечно настороже. Отсюда возникает в нем глубокое сознание своих сил и своей личности. Семейный быт действует противоположно. Здесь человек как-то расплывается; его силы, ничем не сосредоточенные, лишены упругости, энергии и распускаются в море близких, мирных отношений. Здесь человек убавляется, предается покою и нравственно дремлет. Он доверчив, слаб и беспечен, как дитя. О глубоком чувстве личности не может быть и речи. Для народов, призванных ко всемирно-историческому действию в новом мире, такое существование без начала личности невозможно. Иначе они должны бы навсегда оставаться под гнетом внешних, природных определений, жить, не живя умственно и нравственно. Ибо когда мы говорим, что народ действует, мыслит, чувствует, мы выражаемся отвлеченно: собственно действуют, чувствуют, мыслят единицы, лица, его составляющие. Таким образом, личность, сознающая сама по себе свое бесконечное, безусловное достоинство, — есть необходимое условие всякого духовного развития народа. Этим мы совсем не хотим сказать, что она непременно должна ставить себя в противопо-

ложность с другими личностями, враждовать с ними. Мы, напротив, думаем, что последняя цель развития — их глубокое, внутреннее примирение. Но во всяком случае, каковы бы ни были ее отношения, она непременно должна существовать и сознавать себя.

Этим определяется закон развития нашего внутреннего быта. Оно должно было состоять в постепенном образовании, появлении начала личности и, следовательно, в постепенном отрицании исключительно кровного быта, в котором личность не могла существовать. Степени развития начала личности и совпадающие с ними степени упадка исключительно родственного быта определяют периоды и эпохи русской истории.

Так, задача истории русско-славянского племени и германских племен была различна. Последним предстояло развить историческую личность, которую они принесли с собою, в личность человеческую; нам предстояло создать личность. У нас и у них вопрос поставлен так неодинаково, что и сравнение невозможно. После мы увидим, что и мы, и они должны были выйти, и в самом деле вышли, на одну дорогу. Теперь с этой точки зрения бросим беглый взгляд на внутренний быт древней России до Петра Великого.

II*

В древнейшие времена часть теперешней европейской России была заселена кроткими и мирными русско-славянскими племенами. Сельская промышленность и торговля сырыми продуктами были главным их занятием. Эти племена состояли из больших и малых поселений, которые, в противоположность разрозненной жизни первоначальных германцев, представляют наших предков собранными вместе, жившими группами. Вглядываясь в каждое поселение, мы видим, что это — разросшаяся, размножившаяся семья, которой члены и потомки живут вместе, на одном корню. Так, все первобытное славянское население России было огромное дерево, спокойно выросшее из одного зерна; поселения и племена — его вековые ветви и отпрыски.

* Считаем нужным предупредить читателей, что в этом очерке мы ограничились обзором одного юридического быта.

Внутри поселений царствует чисто семейный быт под управлением *старшего* рождением и летами. Его власть была семейная, родительская; подвластные ему были как будто его дети и между собой соединены родственными узами и отношениями.

Нам теперь трудно вдуматься в этот быт. Сами не подозревая, мы, когда его представляем, невольно придаем ему черты теперешнего человеческого общества, судим об нем по нашему семейному быту, проникнутому гражданственностью, которой он не знал. Его создала природа, кровь; она его поддерживала и им управляла. Оттого совершенная юридическая неопределенность — его отличительная черта. Напрасно станем мы искать в нем власти и подчиненности, прав и сословий, собственности и администрации. Человек жил тогда совершенно под определениями природы; мысль еще не освободила его от ее ига.

При всей ограниченности он представляет многие прекрасные черты. Люди жили сообща, не врознь, не отчужденные, как потом; не было еще губительного различия между *моим* и *твоим* — источника последующих бедствий и пороков; все, как члены одной семьи, поддерживали, защищали друг друга, и обида, нанесенная одному, касалась всех. Такой быт должен был воспитать в русских славянах семейные добродетели: кроткие, тихие нравы, доверчивость, необыкновенное добродушие и простосердечие. На рабов и чужеземцев они смотрели не с юридической, а семейной, кровной точки зрения. Оттого было хорошо у славян заезжим чужеземцам и пленным: и на них простирался покров и благословение семейной жизни. Много трогательных обычаев вынесли наши предки из этой первоначальной жизни, обычаев, от которых развалины долго сохранялись и теперь еще отчасти сохраняются в простом народе.

Этот древнейший, чисто патриархальный быт не мог быть вечным. Не говорите в грустном раздумье — «да, потому что все человеческое проходит». Все проходит, но не потому, что вечное круговращение, вечная смена одного другим — смысл и задача жизни. Все проходит потому, что существующее хорошее жизнь ведет еще к лучшему. В смерти — зачатки обновления и воскресения. На младенца, на юношу мы смотрим с внутреннею скорбью; мы знаем, что исчезнет то непередаваемое очарование, которым исполнены его неопределенные невысказанные черты. Но выше этой скорби ставит нас сознание, что весен-

нее обаяние юности сменится строгой красотой и полнотой жизни возмужалого возраста. Оно дает нам силы подавить грусть, пристально и холодно взглянуть на юность, и мы в ней самой открываем тогда причины ее несостоятельности. К тому же приводит и история.

В чисто семейном быту наших предков лежали зачатки его будущего разрушения. Он был создан природой, а не мыслью, не сознанием, которые могли бы дать ему твердость, постоянство, а вместе и определенность, ему совершенно неизвестную. Но кровные связи слишком непрочны, чтобы поддержать общественный быт. Племена, заселявшие Россию, большею частью разрозненные, иногда враждующие между собою, тоже произошли от одной семьи, но почти совсем забыли свое единство; от него осталось одно смутное воспоминание. То же предстояло и семейному быту поселений; рано или поздно он должен был поколебаться. Чем дальше расходились линии, тем больше должно было забываться между ними кровное родство. Вдобавок семьи и роды переходили из поселения в поселение, ссорились и отделялись друг от друга. Могли быть и другие причины, приведшие поселения к внутренней разрозненности, ибо трудно, почти невозможно следить за развитием быта в эти отдаленные времена, от которых дошли до нас одни скудные, отрывочные известия, когда это так нелегко и в ближайшие эпохи. Мало-помалу внутренняя разрозненность поселений повлекла за собою важные изменения в их быте и устройстве.

Мы видели, что главами поселений были сначала старшие по роду и летам; потому они и назывались старейшинами; по смерти одного место его заступал старший по нем. Но когда народонаселение усилилось, семьи и линии в одном поселении размножились, появилось много старших родом и летами, а кто из них старше, невозможно было определить, — стали *избирать* старейшин.

С первого взгляда это изменение кажется неважным; но оно предполагало существенную перемену в прежнем быте. В нем, в этом изменении, обнаружилось, что поселения внутри себя распались на частные, тоже семейные союзы. Как прежде племена разъединялись, так и семьи в поселениях. Только условия последнего распада были не одинаковы с первым. Племена были разбросаны на большом пространстве; им можно было забыть и не знать друг друга. Напротив, в поселениях семьи жили рядом,

на небольшом клочке земли; забыть и не знать друг друга они не могли; связи и отношения между ними необходимо поддерживались, но они не были уже только дружественные. Особенные интересы производили между ними неприязненные столкновения, в поселениях — неурейства и несогласия. Лицо старейшины должно было вырасти, характер его власти изменился. Оставаясь по-прежнему патриархальной, она начинает получать легкий, едва заметный юридический оттенок, как и отношения семей, составляющих поселение. Необходимость внутренней тишины и порядка принуждает поселения прибегать, при несогласиях, к их собственному главе — старейшине. Они отдаются на его суд и приговор. Он становится посредником, миротворцем и судьей в поселении, лицом необходимым и еще более важным, чем был прежде.

Возрастающее значение старейшин было признаком возрастающей разрозненности семей. Каждая более и более начинает погружаться в свои особенные интересы, внутри себя жить своею особенною жизнью, точно такую же, какую жило сначала целое поселение. В этих семьях — тот же семейный, родственный быт, связи и кровное единство, такой же старейшина по роду и летам. Общие потребности еще поддерживают связи между семьями. О важнейших делах, которые до всех их касаются, старейшина поселения совещается с их старейшинами. С большим ослаблением единства поселения, которого старейшина был представителем, семьи мало-помалу становятся главными деятелями, и власть их общего старейшины ослабевает. Образуются в поселениях общие совещания — *веча* (от вещать), такие же неопределенные, юридически неустановленные собрания, как и весь тогдашний быт. То были сходбища семей для общего совещания — праматери теперешних крестьянских сходок, и столько же неправильные.

Мало-помалу семьи привыкают, несмотря на внутреннюю разрозненность, все важные и общие дела делать вместе, поговоря между собою. Поселения становятся *общинами*. Некоторые из них для защиты от внешних врагов строят ограды и получают название *городов*; но внутреннее устройство всех общин по-прежнему совершенно одинаково, ибо та же основа во всех.

Дальнейшее развитие общинного быта состояло в большем и большем его распадении. По мере того, как

возрастала особенность семей и они вживались в свои особенные интересы, единство общин продолжало ослабевать. Власть из рук общинных старейшин переходит к главам семейств, к старейшинам отдельных, родственных союзов. Наконец первые исчезают и избираются только в случае войны или опасности. Их место заступают вечевые собрания. Вместо одного главы в общинах появляются многие главы — старейшины над семьями. Неприязненные столкновения между ними, ссоры и вражды — неминуемы. Открываются нескончаемые уособицы, внутренние волнения в общинах. Это-то состояние и описывает летописец словами: «не было у них правды и встал род на род; были у них уособицы, и начали они воевать друг против друга»¹⁵.

Как развивался общинный быт, так в незапамятные времена и в огромных размерах развивался быт племенной. Мы можем судить об этом по разительному сходству племенного устройства с общинным. Общины, принадлежавшие к одному племени, собирались на племенные веча. Были и племенные старейшины — *князья*; но, как в общинах, они не везде удержались.

Когда общинный быт совершенно разрушился и семьи стали действовать независимо, свободно, вся власть перешла к ним. За обиду они удовлетворяли себя сами; спор решался боем или отдавался на суд выборных посредников. Так появилась *кровная месть, поединки, целовальники*¹⁶, или присяжные. Некоторые семьи по богатству, известности, талантам и другим причинам возвысились над прочими; появилось различие между *знатными* и *незнатными*, которое обозначалось все более и более. Так развивался древнейший общественный быт русских славян — у одних племен скорее, у других медленнее; у одних последовательнее, полнее и резче, чем у других; но главные черты этого развития те же у всех. Оно постепенно вело Россию к большему и большему разъединению. Политическое единство целого русско-славянского племени было уже утрачено; единство внутри племен исчезало. Даже общины вследствие этого развития распались на свои составные части; процессу разложения не предвиделось конца.

В это время возникает в России новый порядок вещей, принесенный извне.

В половине IX века на северном краю ее совершилось важное, многознаменательное событие. Несколько пле-

мен, истерзанных внутренними смутами, отсутствием порядка и устройства, решились власть над собою отдать чужеземцу: явление не столько загадочное, как кажется с первого взгляда. Кровный быт не может развить общественного духа и гражданских добродетелей. Взаимные зависти мешали племенам решиться на выбор начальника, старейшины, князя из своей среды, и они, чувствуя необходимость власти, невозможность самим управлять, лучше хотели подчиниться третьему, постороннему, равно чуждому для всех. Особенности, частные причины склонили их выбор на варягов. По призыву союзных племен является в Россию воинственная дружина, под предводительством вождей, которых наши предки по-своему называют князьями. О происхождении этой дружины и до сих пор спорят¹. Несомненным кажется, что преобладающие в ней элементы были германские. Едва перешедши на новую почву, она начинает воевать направо и налево, покорять окрестные племена и угнетать призвавшие. Под начальством второго своего предводителя, Олега, она оставляет север России и переходит на юг, продолжая дело завоевания и покорения и восполняя свои ряды подвластными племенами; некоторые поддаются ей добровольно. Так длится с лишком сто лет. Во всех действиях варягов в их новом отечестве проглядывают суровые победители, равнодушные к призывавшему и покоренному народу, страстные к войне, жаждавшие добычи. Воинственный дух заставляет их искать новых завоеваний, ведет к стенам Византии, и полуваряг-полуславянин Святослав еще мечтает навсегда поселиться в Болгарии. Где дружине было лучше, там и было ее отечество.

Из русско-славянских племен, волей и неволей покорившихся дружине, образуется сильное, обширное государство; но устройство его носит на себе неславянский отпечаток; кажется, оно было феодальное. Если этого не видно из слов летописи, что предводители варяжской дружины сажали своих мужей в покорившихся или покоренных городах^{1*}, — слов, которые, впрочем, подлежат различному толкованию, — то это более нежели вероятно из того, что Рогвольд и Тур имели свои наследственные владения; что в договоре Олега и особенно Игоря говорится о состоящих под их рукою светлых князьях в русской земле, исчисляются их имена, все неславянские, посылаются от них послы вместе с послами Олега и Игоря и выговаривается на их часть контрибуция у греков.

Каковы бы ни были варяги, пришедшие к нам, их значение в русской истории весьма важно. Они принесли с собою первые зачатки гражданственности и политического, государственного единства всей русской земли. Мы совсем не хотим этим сказать, что без них и то и другое было бы невозможно; мы говорим о фактах, как они были. Со времен варягов появляются в России элементы, ей до того совершенно неизвестные. Она была раздроблена; варяги соединяют ее в одно политическое тело. Первая идея *государства* на нашей почве им принадлежит. Они приносят с собою *дружину*, учреждение не русско-славянское, основанное на начале личности и до того чуждое нашим предкам, что в их языке нет для него даже названия: ибо мы по привычке называем его дружиной; но это слово не вполне соответствует значению германского учреждения, придавая ему какой-то частный, домашний, полусемейный оттенок, какой дружины действительно получили у нас впоследствии, но которого не могли иметь сначала. Варяги приносят с собою право князя *наследовать после смерда-поселянина и новую систему управления*, неизвестную семейно-общинной доваряжской Руси¹⁹. Эта система строга, убыточна, разорительна для подданных. Она совершенно равнодушна к управляемым, противопоставляет их интересы интересам правителя, его обогащение составляет главною целью и резко выдвигает его лицо из среды подвластных. Наконец, варягам принадлежит начало *вир*, или *денежных плат за преступления* в России: название и числовое сходство с германскими вирами обличают в наших вирах неславянское происхождение.

Не прошло века — и варяги начали терять свою национальность. В Святославе под варяжскими формами уже виден славянин. Частые сношения с варягами, прибытие в Россию новых северных дружинников и выходцев долго поддерживали национальную особность наших властителей; но в княжение Ярослава варяги сливаются с русскими славянами, перестают от них отличаться и совершенно подчиняются туземному русско-славянскому элементу. Говорится еще в летописях о варягах вне русской земли; о славяно-русских варягах не упоминается более ни слова.

Но вдруг не мог совершенно исчезнуть варяжский элемент; следы его остались. Около двух веков варяги были главными деятелями в нашей истории, основали у нас государство и все это время стояли во главе его; естест-

венно, что их учреждения долго сохраняли печать своего исторического происхождения. Только вместе с варягами и они обрусели впоследствии так, что, не зная мы ничего о варяжском периоде, мы бы и не заподозрили, что они нерусские.

При Ярославе Великом исчезли варяги; с его времени начинает преобладать русско-славянский элемент. Перерванная нить нашего национального развития подымается опять, с той точки, на которой оно остановилось перед пришествием дружины. Но отныне оно не ограничивается одним общинным, частным, домашним бытом: оно охватывает собою и государственный быт, созданный чужеземцами и вместе с ними подчинившийся влиянию туземного элемента

Перед прибытием варягов семьи начинали становиться главными деятелями в нашем внутреннем быте. Единство внутри племен и общин падало. Но и семьям предстоял тот же путь. Подобно им, и они должны были размножиться и обратиться наконец в многоветвистые роды, а роды — со временем распасться на свои составные части и утратить сознание своего внутреннего, кровного единства. Так и было. В лице потомства Ярослава Великого или, правильнее, Владимира, выступает на сцену исторического действия *семья*, разросшаяся потом в целый *род*. Конечно, она не была единственная в тогдашней Руси; были и другие; но их судьбы терялись в массах народа и покрыты мраком. Не то представляет княжеский род Владимиров. Он действует в высшей государственной сфере; он один; он всегда на виду. Обладая Россией, он управляет ее историей. Оттого мы на нем можем подробно изучать постепенное развитие семьи и рода, законы этого развития и необходимый его исход. Весь наш государственный быт, от Ярослава до усиления Москвы, есть история развития родового начала, предоставленного самому себе, история его постепенного разложения и упадка.

Ярослав, князь чисто русский, первый задумал основать государственный быт Руси и утвердил ее политическое единство на *родовом начале*. Такая мысль в его время была естественна. Феодальный порядок не мог укорениться на нашей почве и исчез вместе с варягами. Оставалось построить государство по началам туземным, до которых тогда развился наш древний быт. Таким началом было начало семьи, рода. К нему и прибегнул Ярослав Великий.

Вся Россия должна была принадлежать одному княжескому роду. Каждый князь, член рода, получил свою часть; на каком основании он владел ею — не определено. Старший в роде, ближайший по рождению к родоначальнику, долженствовал быть главным, первым между князьями, *великим*. Ему, как старшему, подчинены все прочие князья в их действиях и отношениях между собою. Он был представителем единства княжеского рода, главою всех князей и вместе представителем политического единства Руси. Его местопребыванием был Киев, резиденция Ярослава и его предков. Открывался период уделов.

Государственная система Ярослава, очевидно, была неполна и слишком неопределенна. Множество вопросов, возникших потом, она оставила неразрешенными. Но не должно забывать, что в его время родовое начало не было еще обработано юридически, подробно, как впоследствии, когда оно, утратив жизнь, обратилось в материал для многосложной и утонченной казуистики. Кроме того, основное ее начало было непрочное; рано или поздно она должна была разрушиться сама собою.

Вскоре после смерти Ярослава, когда удельный период только что начинался, возникло колебание между территориальным началом и личным, родовым и семейным, — колебание, которое окончилось разрушением политического единства России. О том и другом мы скажем особливо.

По завещанию Ярослава¹⁰, все сыновья его (кроме последнего — малолетнего) получили по уделу. Старшему достался Киев, и каждый старший в княжеском роде имел право владеть им. Чрез это Киев делался старшим, первым между удельными городами древней Руси. Так начало старшинства между князьями переходило и на территорию. Если Киев был уделом старшего, то Переяславль должен был сделаться уделом старшего по нем, ибо он достался второму сыну Ярослава; Чернигов — третьего, потому что он отдан был Ярославом третьему сыну и т. д. Словом, иерархия кровного старшинства должна была сообщиться земле и породить иерархию территориального, или городского, старшинства. Последняя, утвердившись, могла бы поддержать политическое единство России, ибо сама по себе она, однажды установленная, была неподвижна и прочна. Но ее создала первая, которая, беспрестанно изменяясь со смертью и рождением князей, влекла за собою и территориальное устройство. Сначала, ко-

гда великий или другой князь умирал, происходило перемещение всех князей из удела в удел, для уравнивания кровного и городского распорядка. Но равновесие не могло долго продолжаться. Увеличение и уменьшение числа князей его нарушало; это должно было дать перевес началу личному. Появились беспрестанно новые дележи России. Начало территориальное уступило личному. А тогдашнее личное начало, в противоположность территориальному, не могло упрочить государственной целостности России. Его представлял род. Но закон развития рода, — распадение, уничтожение единства. Едва успели обозначиться линии — ближайшее потомство родоначальника, — как они начали уже забывать свое кровное единство, общее происхождение и стали преследовать свои частные, особенные цели, основываясь на правах их ближайшего предка, а не общего родоначальника. Частный, более тесный кровный союз исключал общий, обнимавший всех членов. Так, по началу родовому, которое должно было поддерживать единство России и княжеского рода, после общего родоначальника старшим был его старший сын, потом второй, потом третий и т. д. После этого первого, ближайшего потомства родоначальника, старшинство переходило к старшему внуку (старшему сыну старшего сына) родоначальника, потом ко второму, потом к сыновьям второго родоначальника по старшинству рождения и т. д. По другому началу, которое мы, в отличие от родового, будем называть *семейственным*, старший внук родоначальника (старший сын старшего сына), основываясь на ближайших интересах семьи, к которой он принадлежал, и не думая о далеких для него интересах целого рода, старался присвоить себе права, принадлежавшие его отцу, и не обращал внимания на права старшего дяди, основанные на родовом начале. Между обоими этими взаимно исключаящими, враждебными началами — *родовым* и *семейственным*, отчинным, — рано произошло колебание, которое, по закону распада кровного быта, должно было окончиться победою последнего над первым, а вместе с тем уничтожить и политическое единство России, основанное на единстве княжеского рода и так неразрывно с ним связанное.

Удивительное зрелище представляет западная, особенно юго-западная, Россия в первую половину периода уделов, до исхода XII века! Вся она покрыта русско-славянскими общинами, по-прежнему земледельческими и тор-

говыми, из которых многие были многочисленны и уже достигли высокой степени процветания. Вековые предания, семейно-общинное устройство и быт живут в них. Самое племенное устройство еще не совсем исчезло; временами ярко оживает о нем воспоминание. Над этим первобытным, патриархальным миром носится другой мир — странное слияние элементов, столько противоположных, варяжского и русско-славянского — мир князей-витязей, в которых течет еще варяжская кровь, мир дружин, еще являющих живые следы своего неславянского происхождения, мир кровавых битв, борьбы и беспоконной деятельности. Княжеский род, выдающийся над русскою землею, представляется оторванным от родимой почвы и не имеющим постоянного места; круг его деятельности очерчен; в нем он вращается; его члены разрознены, переходят с места на место, из одного края в другой, далекий, с нетвердым сознанием своих взаимных кровных отношений. В лице первых князей русско-славянский мир как будто готовится освободить себя от ига природы и дать простор личности ослаблением кровного союза.

Взгляд княжеского рода на Россию — какое-то слияние славяно-русского и варяжского элементов. Мысль о ее единстве, нераздельности как государства, странно существует подле мысли, что она — наследственное, вотчинное достояние княжеского рода и, следовательно, делима, как частное имение. На княжеских дружинах — та же печать. Дружинное начало поддерживают в период уделов старый варяжский обычай, воинственный дух князей, их беспрестанные переходы из княжества в княжество, из общины в общину, борьба родового начала с семейственным. Состав дружин — самый разнообразный, разнотемный, разнохарактерный. Все равно, кто служит, лишь бы служил верно: торк²¹, венгр, печенег, славянин — какое дело князю? Но преобладающий элемент в составе дружин должен был быть русско-славянский. Естественно, что в их ряд вступала вся удалая часть туземного населения, пробужденная от покоя патриархальной жизни и ринутая в тревожную деятельность надеждою добычи и приключений. С другой стороны, семьи и роды, выдававшиеся в общинах над остальными жителями, занимавшие высшее место в общественном быту, должны были наконец сгруппироваться около князей — вершин общественной иерархии. И те и другие внесли в чисто личный,

договорный характер дружин элементы семейной, патриархальной жизни. Для русского славянина с мыслью о князе необходимо соединялось представление о начальнике рода, племени: таков был круг понятий, в котором он вырос и который он переносил с собою всюду. Оттого, сделавшись дружинником, он становился к князю в отношения полудоговорные. Обрусевший князь, начальник дружины, выросший в патриархальной среде, тоже не мог пребывать в одних чисто личных, договорных отношениях к своей дружине: он был ее начальником и вместе становился ее отцом и братом. Так князь и его сподвижники начали представлять собою военное учреждение, переложенное на семейные нравы.

Сначала князья, полуправители-полувотчинники, по понятиям народа преемники прежних племенных и общинных старейшин, жили между собою согласно. Но недолго. Семейственное начало, разлагающее род, рано начало высказываться. Дяди обделяли племянников в пользу своих сыновей, племянники восставали на дядей, сыновья присваивали себе достоинство и владения отцов, на которые предъявляли свои права старшие родичи. Когда таким образом единство княжеского рода, находившее менее поборников, было поколеблено, вопрос о старшинстве между всеми князьями стал спорным, а с ним стало спорным и право владеть Киевом. Начались непрерывные войны, которыми решалась борьба двух враждебных начал—семьи и рода. Их предметом были Киев или уделы. Долго сохранял первый, в глазах князей, значение политического центра России; долго с его обладанием соединялась мысль о власти над прочими князьями. Но с упадком единства княжеского рода эта власть более и более становилась призраком. Тогда в княжеском роде повторилось то же явление, которое представляет развитие общин: мало-помалу видимый представитель единства стал простым князем. Члены княжеского рода начали с общего согласия решать дела, которые касались до всего княжеского рода и России. Появляются *съезды* князей, которые в истории рода соответствуют вечам в истории общин. Но и съезды не могут поддерживать единство распадающегося рода. Они только обнаруживают слабость великих князей и еще раз высказывают начало семейственное, враждебное роду. Тщетно Владимир Мономах и сын его Мстислав Великий стараются воссоздать политическую систему Ярослава²². Пока они живы, она держится, но не

собственными силами, а личными достоинствами и доблестями этих князей. Когда их не стало, опять обнаружилась вся ее несостоятельность, еще с большей силой, чем прежде; ибо Владимир Мономах и Мстислав, восстанавливая прежнее, сами действовали под влиянием вотчинного начала и в новом устройстве России дали первенство потомству Всеволода над прочими линиями Владимирова княжеского рода: это вызвало ненависть последних, особенно Святославичей. Ожесточенная борьба Ольговичей и Мономаховичей показала, что единство княжеского рода навсегда утрачено.

В продолжение этих неумолкающих битв и частых переходов князей на время оживает сначала дремлющее и постепенно распадающееся, потом сокрытое от нас варяжским слоем, — общинное начало. Мы видели, что само в себе оно не имело зачатков жизни и развития. Оно клонилось все более и более к упадку, потому что не было основано на личном начале, первом, необходимом условии всякой гражданственности, а покоилось на начале кровном, которое, отрицая себя, отрицало и древний общинный быт. Но, перенесенные в мир бесконечных войн, всегда окруженные опасностями, общины невольно должны были выступить на поприще политической деятельности. Эта деятельность вообще слаба, более отрицательна, но, тем не менее, заметна. Часто меняя владения, переходя из места в место, князья не могли иметь одних интересов с общинами. Первые, с малыми исключениями, равнодушно смотрели на последние. Отсюда — угнетения и насилия со стороны князей и их дружин. Им были нужны деньги и войско; прочее их мало заботило. За битвой и победой следовал грабеж, опустошение областей побежденного князя. Все это должно было наконец нарушить совершенное бездействие общин. Они почувствовали необходимость внутреннего единства, сомкнуто-сти и приняли оборонительное положение. Не способные жить без князя, они, разумеется, желали себе князей, отличившихся гражданскими и воинскими доблестями, которые, управляя ими без насилия, могли, в случае нужды, защищать их от беспрестанных, разорительных набегов. Истощение и ослабление князей дало общинам возможность осуществлять это желание. Они обладали средствами для войны, они были целью вечных распр между князьями. Оттого они мало-помалу стали выбирать себе князей, призывать и изгонять их, заключать

с ними ряды, или условия. Веча получили тогда большую власть, и звон вечевых колоколов часто раздавался в России. Возвратились опять времена избрания старейшин в лице князей. И точно, в предпочтении известных княжеских династий другим, в отношениях общин к князьям видны глубокие следы исключительно патриархального, доваряжского быта первых.

Особенно развились общины на севере. Между ними первое место занимает *Новгород*.

Те же самые причины, которые возбудили деятельность общин в тогдашней России, благоприятствовали и Новгороду. Но к ним присоединились еще и другие, не менее важные: географическое положение на торговом пути сделало Новгород центром промышленности и торговли и рано развило в нем общинный дух. Оттого новгородцы не ладили с своевольной варяжской дружиной, не терпели ее насилий, и когда она удалилась на юг, может быть, столько же мнимая Византией, сколько тревожимая новгородцами, им стало свободнее дышать, чем остальной России: гордое требование князя у Святослава, кровавая месть над варягами при Ярославе²³ доказывают это. Когда настал период уделов, право ставить князя в Новгороде удержалось за князем киевским. За каждой сменой последнего следовала смена и новгородского князя. Так ни одна княжеская династия не могла в нем окрепнуть и утвердиться. Наконец внимание борющихся князей отвлечено было на юго-запад России, к Киеву — солнцу периода уделов, последней цели всех честолюбивых стремлений. Новгород остался вне этого движения; его не коснулись опустошительные войны; ему не надобно было несколько раз восставать из развалин, как прочим общинам древней России: с самого начала его общинный быт и сохранился, и поддерживался.

Подобно прочим общинам, Новгород не замедлил воспользоваться возможностью избирать своих князей. Но его положение и исторические обстоятельства дали ему средства удержать за собою эту привилегию и обратить ее в право, которым он почти неограниченно пользовался до самого конца своего политического существования.

На Новгород долго смотрели как на какое-то странное исключение из жизни древней России²⁴. Объяснить его старались иноземным влиянием. Теперь, когда старая Русь сделалась известнее, этот исторический предрассудок мало-помалу исчезает. Все внутреннее новгородское

устройство говорит против него. В этом устройстве нет ни одной нерусской, неславянской черты. Новгород — община в древнерусском смысле слова, какими были более или менее и все другие общины; только особенные исторические условия дали формам ее резче обозначиться, продлили гораздо долее ее политическое существование. Новгород остался для нас образцом первоначального русско-славянского общинного быта. В его внутреннем устройстве мы открываем ту же неопределенность, то же отсутствие твердой, юридической, на начале личности созданной общественности, которые характеризуют нашу древнюю внутреннюю жизнь.

Новгород состоял из множества общин; каждая из них имела в главных чертах одинаковое устройство с целой новгородской общиной. В последней верховная власть находилась в одно и то же время в руках князя и веча. По существу своему противоположные, оба живут рядом, друг возле друга, и ничем не определены их взаимные отношения. Постоянного государственного устройства нет: новый князь — новые условия. Они сходны; но потому, что они — условия, они изобличают отсутствие ясного сознания о государственном быте. Князь избирается Новгородом; он от него зависит и всегда может быть удален из общины, когда им недовольны. Власть его ограничена в частностях, не определена в сущности. История родила к ней недоверие новгородцев: отсутствие государственных идей мешало схватить ее в определенных юридических формах. В свою очередь, и вече представляет совершенно неопределенное народное собрание. Дела решались не по большинству голосов, не единогласно, а как-то совершенно неопределенно, обща. Живую картину его и теперь еще представляют крестьянские сходки. Несогласные с толпой подвергались народной мести; их убивали или бросали в Волхов; имущество их предавалось разграблению. Обыкновенно вече бывало одно; но иногда их бывало и два, враждебных между собою. Главные новгородские сановники — посадники и тысяцкие — были когда-то княжеские чиновники, но потом, вместе с князем, стали выборными. Как во всякой древней русской общине, в Новгороде были бояре и смерды²⁵, старшие и младшие. Но какова была новгородская аристократия, мы не знаем; знаем только, что в последнее время она играла важную роль.

Свою власть и свои отношения к другим Новгород признавал в тех же формах, в каких и князья: он был *госпо-*

дином и государем, с городами считался *братством*. Подобно князьям, он управлял своими областями, которые не принимали участия в его политическом устройстве (исключая, может быть, той части новгородской территории, которая изначала была заселена одним племенем); жителей этих областей называл своими смердами, посылал ими править своих посадников и сбирал с них дань и войско.

Отношения Новгорода к остальной России определялись его характером и историей. Он был на краю России, далеко от театра вечных войн и раздоров. Торговля отвлекла всю его деятельность и внимание за море. Сделавши его богатым и сильным, она дала ему возможность быть всегда в оборонительном положении в отношении к князьям, ослабленным междоусобиями, говорить с ними смело и оружием поддерживать слова. Поэтому князья должны были избрать себе другую цель, обратиться в другую сторону. Новгород был как бы торговая волость, забытая и оставленная помещиком: богатая и сильная, потому что оставлена, оставляемая, потому что была сильна и богата и никому не поддавалась. Имея совершенно разные интересы с остальной Россией, но связанный с ней соседством, языком, верой и преданиями, Новгород всячески старался избегать неприязненных с нею столкновений, тонко и искусно лавировал между перекрещивающимися интересами князей, чтоб не вызвать из их среды сильного врага. Покуда князья еще кочевали из города в город, это до некоторой степени было возможно; но когда их переходы кончились и появились княжества, более или менее сильные, в близком соседстве от Новгорода, ему пришлось плохо. Рано завидел он возрастающую опасность. Сначала он все еще действовал уклончиво, потом, теснимый, старался по крайней мере не дать усилиться ни одному из соседних княжеств и держал сторону слабых против сильных. Но когда московское взяло решительный перевес над всеми другими, последний час Новгорода пробил. Иоанн III только совершил то, что было издавна задумано и приготовлено его предшественниками.

В судьбах Новгорода много странного, особенного. Его существование не прекратилось само собой, но насильственно прервано — жертва сколько идеи, столько же и физического возрастания и сложения Московского государства. Мы не можем о Новгороде сказать, как о древней Руси перед Петром Великим, что он отжил

свой век и больше ему ничего не оставалось делать, как исчезнуть. Незадолго перед уничтожением его самостоятельности, в нем обнаружилось какое-то неясное стремление идти по тому же пути, по которому великий преобразователь через два с половиной века повел всю Россию,— удивительное сближение, много говорящее и в пользу переворота, совершенного Петром, и в пользу Новгорода. Какой особенный оттенок получила бы реформа древней русской жизни в Новгороде, какие были бы результаты ее на почве, столько различной от московской по истории и общественному быту, мы не знаем и не беремся решить. В лице Новгорода пресекался неразвившийся, особенный способ или вид существования древней Руси, неизвестный прочим ее частям. Одно можно сказать с достоверностью; своим долгим существованием Новгород вполне исчерпал, вполне развил весь исключительно-национальный общинный быт древней Руси. В новгородском устройстве этот быт достиг своей апогеи, дальше которой не мог идти. Мы видели, каков он был, этот быт, и как мало было в нем зачатков гражданственности, твердого, прочного государственного устройства.

Тогда как на севере община усиливалась и прибирала власть к своим рукам, в остальной России нарождался новый порядок вещей. Политическая система, основанная Ярославом, которой шаткость обнаружилась с самого начала, привела наконец совершенное уничтожение государственного единства России. Долго еще манил Киев честолюбие князей и собирал их вокруг себя; но в пределах прежней Руси им становилось тесно. Владимир Мономах отдал в удел одному из младших своих сыновей, Георгию Долгорукому, отдаленный Суздаль. В этой малолюдной стране суздальский Юрий строит города, перезывает туда жителей, населяет пустыни. Привязанный к юго-западной Руси, цели всех русских князей, невольный изгнанник в далеком краю, младшем из всех, Долгорукий окружает себя воспоминаниями. Он устраивает свой удел по образцу, с которым не расставалась его мысль; на новую почву он переносит названия окрестностей киевских. Киев был еще для него тем же, чем и для других удельных князей со времен Ярослава; он всячески добивается чести быть великим князем киевским, мнимою главою прочих князей, мнимою главою России; всю жизнь свою преследует эту цель и наконец достигает незадолго до смерти.

Совершенно иначе действует уже сын и преемник его в суздальской области — Андрей Боголюбский. Он вырос и воспитан далеко от Киева; Киев для него не то, что был для его отца, Юрия. На западную и юго-западную Русь он смотрит как на владения. Воспоминания не связывают его с ними; сердце его лежит к суздальской области. Оттого ему здесь хорошо; он не думает переехать в Киев и сесть на великокняжеский престол. И в самом деле, в его глазах, не отуманенных историческими предрассудками, что было киевское великокняжеское достоинство? — пустой титул, не дававший никакой власти. Если Андрей не понимал этого отчетливо, то он так чувствовал: в 1169 году, взявши Киев приступом, он отдал его в управление брату своему Глебу, а сам остался жить во Владимире на Клязьме.

С этого времени все начинает принимать у нас новый вид. Сознание родового единства между князьями давно уже совершенно исчезло, а с ним мало-помалу и последний признак политического единства России. Великого князя в прежнем смысле уже не было, и Киев перестал быть столицей. Распадаясь и разъединяясь более и более, ветви прежде единого княжеского рода перестают наконец думать о Киеве, перестают искать великокняжеского достоинства; ближайшие семейные интересы мало-помалу сосредоточивают на себе все их внимание. Чем владели отцы и деды, тем хотят теперь владеть и князья, их потомки, не простирая далее своих честолюбивых видов. Они заботятся только об удержании за собою наследственных уделов — не более. Таким образом княжеские ветви и фамилии получают наконец оседлость. Князья перестают блуждать по лицу всей русской земли, ища владений и чести, соответствующих месту, которое они занимают в родовой лестнице. Россия распадается на несколько территорий, совершенно отдельных и независимых друг от друга; каждая имеет в главе свой особый княжеский род.

В политической сфере семья одержала верх над родом. Но это первенство не уничтожало родового начала в его основании, а только в явлении. Родовое начало сохранилось и продолжало жить. Теперь только ограничилось его поприще. Оно стало определять политический быт разрозненных княжений. В каждом из них, в малом виде, повторяется то же, что было сначала в целой Руси. Княжеские роды размножаются; между их членами

счет — по родовому старшинству. Старший называется великим, и потому много великих князей в России. Между князьями — распри и междоусобия за старшинство; потом мало-помалу и княжества раздробляются на мельчайшие части. Это должно было дать новый характер князьям. Действуя в ограниченной сфере, они становятся простыми вотчинными владельцами, наследственными господами отцовских имений. Их отношения к владениям, сначала неопределенные, теперь определяются. Области, княжения обращаются в их собственность, которую они делят между своими детьми. Вместе с тем совершенно изменяется прежний полуваряжский-полуславянский характер княжеских дружин. Последние следы их нерусского происхождения исчезают. Пока война и странствования поддерживали воинственный дух князей и их окружающих, отношения князей и дружин были крайне неопределенны. Лицо князя не выдавалось резко. Он все еще был как бы первый между равными. Оседлая, более мирная жизнь должна была изменить эти отношения. Когда князь стал вотчинником, господином в своих владениях, — и дружинники его сделались мало-помалу его слугами. Они отправляют при нем придворные должности. Лицо князя вырастает. По-прежнему слуги лично свободны, переходят от одного князя к другому; но они служат, а князь — господин.

Такая перемена отразилась и во внутреннем устройстве областей. Общинное начало, вызванное на время к политической деятельности, опять сходит со сцены. Веча постепенно теряют государственный характер. Утверждается постоянная, близкая власть князей, владеющих уделами наследственно, как вотчинами. Самое управление областей получает иное значение. Из неопределенного, каким было сначала, когда князь сажал в области своих сыновей, оно более и более становится домашним, вотчинным. Князю нужно удержать у себя в службе своих слуг; прежде они жили вместе с ним войной и добычей; теперь им нужно содержание, и князь отдает им в *кормление* области. Слуги-кормленщики²⁶ управляют ими и получают с них доход. При отсутствии правильной государственной администрации эта система управления падает страшным разорением на области; произвол и корыстолюбие правителей, ничем не обузданные, возрастают до безмерности.

Конечно, не вдруг произошли все эти перемены и не равно последовательно совершались они в разных частях России; но зачатки этого первого порядка вещей уже видны в стремлениях Андрея Боголюбского: Андрей окружен уже не дружиной, а *двором*. Впервые при нем встречаем мы это общее название приближенных князя. Он не терпит в своей области соперников и хочет быть самовластным. Братьев и племянников своих он удаляет из своего княжества. Так в этом замечательном историческом лице впервые воплощается в государственном быте древней России новый тип — тип вотчинника, господина, неограниченного владельца своих имений, тип, который еще определеннее высказывается потом в его брате и преемнике, Всеволоде Георгиевиче, и развивается окончательно в Москве.

Мало-помалу из этого нового взгляда на княжества как на собственность князей, на власть последнего как на власть вотчинного владельца вырабатывается совершенно новый порядок наследования. Пока еще не исчезла мысль о государственном единстве России, а потом княжеств, один князь был непременно главным, первым, и таким был тот, который в роде был старшим. Но эта мысль начала постепенно исчезать, князья стали менее думать о сохранении государственного единства княжеств и делили их между своими детьми как наследство. Начало родовое мало-помалу стало вытесняться началом семейственным, и нисходящие получают перевес перед боковыми родственниками.

В нашей древней государственной жизни это было важным и решительным шагом вперед. Правда, раздробление России пошло тогда быстрее. Казалось, новое начало должно было совершенно уничтожить ее политическое существование. Но в этом начале разрешилась вся неопределенность, все вопросы, возникшие из Ярославовой политической системы. Оно обнаружило, что государственное устройство, основанное на родовом начале, несостоятельно; что государственный и кровный быт — враждебны, и один из них непременно должен уступить место другому: взяло верх кровное начало — исчезло государство. По крайней мере, история довела до какого-нибудь положительного, твердого результата. С него можно было идти далее, не оглядываясь назад, вновь приняться за созидание государства уже не по старым началам. Московские князья и сделали это.

В общем ходе развития древней русской жизни упразднение родового начала семейственным, покуда совершившееся в одной политической сфере, еще важнее, еще многозначительнее. До того времени у нас везде, во всем действует род. Он создает племена, общины, удельную систему. Пока не настало время его отрицания, человеку не было возможности выйти из очарованного круга исключительно кровных отношений; ибо род емист и широк: нет ему границ, нет таких далеких ветвей, которые по родовому началу не могли бы сосчитаться родством. Конечно, личность, ища себе простора, часто порывала сети, которыми ее опутывали кровные отношения. Но выход из них был бессознателен, был нарушением закона, тяготевшего над целою жизнью. Чтоб отрешиться от него, нужно было мужество, которого хватало у иных на время, на один случай, не хватало на всю жизнь. Притом весь быт так был сложен по кровным началам, что о других отношениях, кроме родственных, не было и понятия. Но когда семейное начало взяло верх над родовым и главным стала семья, а не род, родовой союз потерял свою обязательную силу. Непризнание его перестало быть нарушением закона. Семьи стали независимы друг от друга. Их взаимные отношения, уже не определяемые кровными началами, должны были определяться чем-нибудь другим, и в этом еще не высказанном другом лежал зародыш будущих юридических отношений. Граница, предел кровного союза, таким образом, обозначились. Можно было наконец указать в жизни на отношения, в которых родство не было обязательно. Важный шаг вперед в развитии личности, прежде всюду стесненной и подавленной, которой кровные отношения заранее указывали место в общественном быту: низшее перед другими, несмотря на ее достоинства; по необходимости высшее перед прочими; иначе, захоти старший быть ниже младшего, позор падал на его голову и на голову его потомков.

Как всегда бывает в истории, новое семейственное начало выступило сперва робко, нерешительно и развивалось под старыми формами, созданными родовым началом. Вдруг оно не могло от них отрешиться; потому-то в нем мы опять встречаемся с понятием о старшинстве, зависимости младших от старших — этими принадлежностями родового начала. Новое борется с старым его же оружием, им прикрывает себя. По родовому началу, стар-

ший брат — отец прочим братьям и своим сыновьям. И те и другие — его дети; но как первый его сын — старший из его детей, то он старше и своих дядей. Так первенство семьи над родом присвоено сначала одному старшему сыну; родовой счет сыновей с боковыми удержан, а с тем вместе как будто и родовой союз. Но главное было сделано: новое начало поставлено и узаконено. Сперва оно изменило прежние родовые отношения, потом разрушило их.

В то время, как политическая жизнь России таким образом мало-помалу изменялась вместе с понятиями князей, последние следы единства исчезали, и на северо-востоке России еще удерживалась одна тень великокняжеского достоинства, важное событие ускорило окончательное падение старого и развитие нового порядка вещей. Мы говорим о монгольском иге. Как буря, оно сокрушило все, что было на поверхности; остались одни зерна, спрятанные в земле. Теперь они стали расти, и им было просторно; ничто им не мешало.

Монголы сделали много зла России: из конца в конец они ее опустошили, и опустошали не раз. Рабские привычки, понятия, наклонности, уловки — хотя и обманчивая, но единственная защита слабого против дикой силы — если не впервые тогда у нас появились, то усилились. Несмотря на это, они играют важную отрицательную роль в нашей истории.

Когда они завоевали Россию, князья не могли уже княжить без их согласия, а должны были ездить в Орду и получали от ханов ярлыки, или утверждение в княжеском достоинстве, если были им угодны. Это повлекло за собою важные изменения в нашем политическом быте. Удельные князья и великий князь остались. Прежде они садились на престол сами собою, большею частью по началам родового старшинства; по крайней мере, оно служило предлогом. Но ханам были чужды родовые расчеты. Какое было им дело до того, который князь имеет лучшее право по народным понятиям? По ним, тот был князь, кто им был угоднее, кто ревностно исполнял их волю, был верным слугой и исправно платил дань. Это были личные качества, не всегда совпадавшие с родовыми преимуществами. Так является для прав князей на престол новое мерило, чуждое древней Руси; оно противопоставляется прежнему родовому и разрушает его. Одно не лучше другого. Зато исчезает старое, отжившее, которое мешало идти вперед; татарское вслед за ним исчезло.

Этого мало: монгольское иго усилило власть великого князя и тем воссоздало видимый центр политического единства Руси². В северо-восточной ее половине, как прежде в юго-западной, и по тем же причинам, великокняжеское достоинство перед монгольским игом стало пустым титулом; оно не давало уже никакой власти над прочими князьями. Теперь великий князь — орган и оружие ханской воли. Он действует, распоряжается князьями во имя хана. Неповиновение ему — неповиновение ханской воле, за которым следовало лишение княжеского сана, самая смерть. К услугам великого князя, ханского слуги, — монгольские отряды против ослушников. Странное явление! Монголы разрушают удельную систему в самом основании, воссоздают политическое единство, словом, действуют в наших интересах, сами того не подозревая!

Но, как мы видели, они действовали отрицательно. Положительно воспользовались всеми выгодами монгольского ига даровитые, умные, смышленные князья московские.

Около века после наложения на нас монгольского ярма московскому князю, Иоанну Даниловичу Калите, внуку Александра Невского, удалось добиться великокняжеского достоинства. Он был один из самых небогатых и несильных князей: только восемь городов ему принадлежало. Эта небольшая княжеская вотчина через столетие выросла в Московское государство.

Иоанн Калита был в полном смысле князь-вотчинник и смотрел на свои владения как на собственность. В нем вполне высказался этот новый тип власти, сменивший прежнюю. Озабоченный одною целью умножить свои вотчины и оставить большое наследство детям, Иоанн действует очень искусно и пользуется всем, чем может. Обязанность собирать ордынскую дань в это время лежала на великом князе. Это представило Иоанну удобный случай обогатиться; он накупил много волостей и городов на Руси, собрал большую казну и в завещании все свои имения разделил между женой и детьми.

Когда он умер, несколько князей искали великокняжеского достоинства, все еще на основании родового старшинства; но в глазах ханов права Симеона, сына Иоаннова, были лучше, действительнее. Его отец служил верой и правдой; сам он имел много денег и мог в Орде дарить больше, нежели его соперники: лесть и золото

доставили ему то, чего бы он никогда не добился другими путями.

Вот каковы были первые зачатки будущего Московского государства, обнявшего всю Россию! Оно создается по новым началам. Московские князья, прежде всего, неограниченные, наследственные господа над своими вотчинами; прежде всего, они заботятся о том, чтобы умножить число своих имений. Лучшим средством для этой цели было великокняжеское достоинство — и они стараются удержать его за собою. Единственным средством для удержания великокняжеского достоинства была милость, благоволение ханов — и они ничего не щадят, чтобы им нравиться. Как великие князья они главные, первые между всеми русскими князьями; но они знают, что само по себе это первенство — звук, не имеющий смысла; что только действительная сила может дать ему значение, которое оно давно утратило. Ограждаемые покровительством ханов, авторитетом их власти и опираясь на свою собственную силу, московские великие князья угнетают князей, правдой или неправдой отнимают у них владения, вмешиваются в их распри, становятся их судьями и собирают в их владениях ордынский выход^{2*}.

Так действовали все московские великие князья. Быстро подвигались они к своей цели, быстро обращалась Россия в их наследственную вотчину. Каждый великий князь передавал свое достоинство старшему сыну. Чем далее, тем они становились самостоятельнее. Опираясь на собственное могущество, они начали решительно господствовать над удельными князьями и сбрасывать иго Орды, тягостное и для них более ненужное. К этому времени она уже ослабела. В ней появились междоусобия, и несколько ханов соперничали между собою. Еще московские великие князья пользовались этими враждами, чтоб более утвердиться, — однако недолго. Вскоре открылась для них возможность без опасения сбросить личину покорности.

Но в самом московском великом княжении скрывались еще зачатки разрушения, наследие предыдущего политического быта. Как вотчина, оно делилось на части между детьми великих князей. Старший великий князь не был сильнее прочих, получая равный с ними удел. Внутренние раздоры и счеты между московскими князьями были неминуемы и обнаружились, когда образовались боковые линии, по-прежнему предъявлявшие свои права на

великокняжеское достоинство по началам родового старшинства. Кровное начало очевидно мешало еще государству. Оставалось сделать один шаг — пожертвовать семьей государству: этот шаг был сделан, но не вдруг. Чтоб отвратить возможное соперничество между детьми, великие князья стали давать старшему сыну бо́льшую часть, а прочим — меньшие. Кровные интересы начали мало-помалу уступать место желанию сохранить и упрочить силу московского великого князя. В этом уже заключалась неясная мысль о государстве. Части братьев великого князя становились все меньше. Братья Иоанна III получили только по три города; братья Василия Иоанновича не были даже самостоятельными удельными князьями, а простыми владельцами, подданными великого князя. Уделы совершенно исчезают, и когда разными неправдами Василий отнял удел у князя северского — последний в тогдашней России, — какой-то юродивый бегал по Москве с метлой, говоря, что пора очистить государство от последнего сору²⁹. И точно, уделы сделались тогда анахронизмом, запоздалым остатком прошедшего.

Уничтожение удельной системы и соединение России в нераздельное целое, под властью одного великого князя, было не только началом новой эпохи в нашей политической жизни, но важным шагом вперед в развитии всего нашего внутреннего быта. Политическая система, созданная московскими великими князьями, — нечто совершенно новое в русской истории; она представляет полное отрицание всех прежних систем, не в одних явлениях, но в самом основании. Ярославова система покоилась на родовом начале и раздробила Россию на княжества; семья после Андрея Боголюбского обратила княжества в вотчины, делившиеся до бесконечности. В московской системе территориальное начало получило решительный перевес над личным. Кровные интересы уступают место политическим; держава, ее нераздельность и сила поставлены выше семьи. В истории образования Московского государства не столько важно стеснение и покорение уделов, принадлежащих немосковским князьям, сколько постепенное увеличение части, оставляемой великому князю, и уменьшение частей прочих князей, его братьев; то было делом возрастающей силы, это — актом мысли, сознания.

Так, сначала в государственной сфере происходит отрицание исключительно кровного, семейного начала, последнего, самого ограниченного круга кровного союза

и кровных отношений. На сцену действия выступает личность. Она не произвольно выходит из кровного союза, ставит себя выше семьи: она отрицает их во имя идеи, и эта идея — государство. Появление государства было вместе и освобождением от исключительно кровного быта, началом самостоятельного действованиа личности, следовательно, началом гражданского, юридического, на мысли и нравственных интересах, а не на одном родстве основанного общественного быта.

Но и личность, и идея государства сначала едва видимы под старыми, установившимися формами. И та и другая ими проникнуты. Тип вотчиновладельца, полного господина над своими имениями, лежит в основании власти московского государя; из-за этого типа трудно разглядеть ее новое, более высокое значение. Московский государь еще великий князь; он отчич, дедич, наследственный господин своих владений. Области и государство — его вотчина; придворная служба преобладает, и название *слуги* теперь почетный титул, жалуемый за заслуги. Подобно удельным князьям-вотчинникам, он раздает свои области в кормление своим слугам. Долго сохраняются эти черты; до самого Петра Великого они мало изменяются, по крайней мере снаружи. Но теперь рядом с ними проступают и другие — провозвестницы нового. С Иоанна III московские государи принимают титул *царя*, усваивают многие принадлежности власти византийских императоров: герб двуглавого орла, регалии, венчание и помазание на царство; великокняжеский двор и придворные церемонии устраиваются по византийскому образцу. Самому ли Иоанну принадлежит первая мысль этих нововведений, или она внушена ему его супругой, греческой царевной Софией, — все равно. Они свидетельствуют, что прежние формы были недостаточны, узки, не выражали нового значения московского государя. Из-под великокняжеской вотчины проглядывает государство, отвлеченное нравственное лицо, имеющее свое физическое существование и самостоятельное, разумное значение. Образуется государственная территория — не случайное соединение земель, а правильное органическое тело, имеющее свою жизнь и свои потребности. Внешняя политика и деятельность московских государей, войны и мирные трактаты, приобретения земель перестают быть частным делом и получают высокое разумное значение. Ими удовлетворяются теперь потребности государства. Начало подданст-

ва начинает сменять начало холопства; является понятие о государственной службе, о гражданстве, о равенстве перед судом. Улучшения внутреннего управления, судопроизводства, обуздание произвола кормленщиков, законодательство — все это показывает, что в Московском государстве под старыми формами развилось уже новое содержание.

Развитие совершилось, впрочем, медленно. В продолжение с лишком двух столетий старое было сильно поколеблено, но не разрушено; новое проникло в жизнь, многое в ней изменило, но не отрешилось от исторических форм, под которыми появилось; все стало другим, однако сохраняло прежний вид. Московское государство только приготовило почву для новой жизни.

Эту переходную эпоху нашей истории — утреннюю зарю нового, вечернюю старого — эпоху неопределенную, как все срединные времена, ограничивают от предыдущего и последующего два величайших деятеля в русской истории, Иоанн IV и Петр Великий: первый ее начинает, второй оканчивает и открывает другую. Разделенные целым веком, совершенно различные по характеру, они замечательно сходны по стремлениям, по направлению деятельности. И тот и другой преследуют одни цели. Какая-то симпатия их связывает. Петр Великий глубоко уважал Иоанна IV, называл его своим образцом и ставил выше себя³⁰. И в самом деле, царствование Петра было продолжением царствования Иоанна. Недоконченные, остановившиеся на полудороге реформы последнего продолжал Петр. Сходство заметно даже в частностях. Оба равно живо сознавали идею государства и были благороднейшими, достойнейшими ее представителями; но Иоанн сознавал ее как поэт, Петр Великий как человек по преимуществу практический. У первого преобладает воображение, у второго — воля. Время и условия, при которых они действовали, положили еще большее различие между этими двумя великими государями. Одаренный натурой энергической, страстной, поэтической, менее реальной, нежели преемник его мыслей, Иоанн изнемог наконец под бременем тупой, полупатриархальной, тогда уже бессмысленной среды, в которой суждено было ему жить и действовать. Борясь с ней насмерть много лет и не видя результатов, не находя отзыва, он потерял веру в возможность осуществить свои великие замыслы. Тогда жизнь стала для него несносной ношей, непрерывным мучени-

ем: он сделался ханжой, тираном и трусом. Иоанн IV так глубоко пал именно потому, что был велик. Его отец Василий, его сын Федор не падали. Этим мы не хотим оправдывать Иоанна, смыть пятна с его жизни; мы хотим только объяснить это до сих пор столько загадочное лицо в нашей истории. Его многие судили, очень немногие пытались понять, да и те увидели в нем только жалкое оружие придворных партий, чем Иоанн не был. Все знают и все помнят его казни и жестокости; его великие дела остаются в тени; о них никто не говорит. Добродушно продолжаем мы повторять отзывы современников Иоанновых³¹, не подозревая даже, что они-то всего больше объясняют, почему Иоанн сделался таким, каков был под конец: равнодушие, безучастие, отсутствие всяких духовных интересов — вот что встречал он на каждом шагу. Борьба с ними — ужаснее борьбы с открытым сопротивлением. Последнее вызывает силы и деятельность, воспитывает их; первые их притупляют, оставляя безотрадную скорбь в душе, развивая безумный произвол и ненависть. Петр, одаренный страшной волей и удивительным практическим смыслом, жил веком позже, когда обстоятельства уже изменились и многое было приготовлено; у него был предшественник, даже предшественники; с уверенностью гениального человека он принялся за свое дело; он имел редкое счастье видеть, как его начинания зрели и приносили плоды; но и характер самого Петра отлился в суровую, жесткую форму; и ему нужны были шумные развлечения, в которых он мог бы забываться; и на него находили минуты, когда мышцы его слабели, и тяжкое, скорбное изнеможение, душевная усталость прерывала его неутомимую деятельность.

Внутренний быт России, перед появлением московского государства, в главных чертах мало изменился против прежнего. Кровные начала, исчезнувшие в политической сфере, продолжали жить и преобладать в остальных. Необходимость создать крепкое, прочное государство шла впереди, торопила события и рано обнаружила несостоятельность кровных начал в политической жизни. Но в гражданской сфере они не подвергались такой строгой критике и могли жить спокойно, не тревожимые ничем; они и жили, как будто рассчитывая на бесконечное существование.

Древняя доиоанновская Русь представляется погруженной в родственный быт. Глубоких потребностей дру-

того порядка вещей не было, и откуда им было взяться? Личность, — единственная, плодотворная почва всякого нравственного развития, еще не выступала; она была подавлена кровными отношениями. Были, конечно, некоторые важные реформы: христианство и церковь пересоздали семейный быт, истребили многоженство и наложничество. Князья постепенно уничтожили кровную месть и заменили денежным вознаграждением, сперва в пользу обиженного или его родственников, потом вирой в свою пользу. Они установили уголовные наказания, неизвестные древней Руси. Но таких реформ было немного. Общины, города и волости по-прежнему не имели никакого правильного общинного устройства и потеряли то временное политическое значение, которое получили было. В них сохранялся старинный славянский общинный быт, развившийся из исключительно родственного. Только теперь над ними тяготела произвольная, корыстолюбивая власть княжеских областных правителей-кормленщиков, которые владели ими, как своими вотчинами, управляли сами и посредством своих слуг, и так разоряли, что князья многим общинам дали, в виде изъятия и милости, жалованные несудимые грамоты, которыми они освобождались от подведомственности правителям. После общин существует множество отдельных родов. Большею частью они находились в службе у других родов или князей и были бесконечно различны по богатству и знатности. С уничтожением уделов княжеские фамилии также низошли в разряд служилых родов. Теперь все эти роды стали служить московскому государю. Одни непосредственно окружили его, сделались его приближенными; прочие стали ниже в известной постепенности. Так сложилась лестница родов, которой низшие ступени терялись в простом народе, высшие оканчивались у подножия царского престола. Общих интересов, которые могли бы соединить эти роды в одно целое и создать сословие, не было и не могло быть; они жили разрозненно, каждый своею особенною жизнью, преследуя свои исключительно родовые интересы. Стать выше других родов, по крайней мере не уступить первенства низшим, не потерять своей *родовой чести* — вот что прежде всего сосредоточивало на себе все их внимание и часто производило между ними неприязненные столкновения. Перенеся в службу родовые понятия и стремления, они должны были рано или поздно встретиться лицом к лицу с государством, которого жи-

вым представителем был теперь царь; ибо для них служба была внешним выражением их родовых преимуществ: они старались подчинить ее законам родового старшинства, сделать орудием своих частных интересов. Не так понимали ее московские государи. Они требовали от своих слуг полного, безусловного повиновения; они хотели видеть в них гибкие органы своей власти. Они проводили начало личности; служебные роды — начало родовое. Царь посылал на службу двоих, одного старшим, другого младшим, по своим расчетам; а младший отказывался служить, говоря, что по родовым он старше и его честь оскорблена. Ни польза государства, ни царская опала, ни самый страх смерти не могли принудить его ею пожертвовать. Царю оставалось что-нибудь из двух: или все служилые роды заменить людьми неродословными, или при раздаче мест сообразоваться с законами родового и служебного старшинства. Первое было невозможно; оставалось согласиться на последнее. Так раздача мест, назначение в должности не зависели от безусловной воли царя. Ему хотелось назначить лучшего, достойнейшего, а он назначал по необходимости старшего. Мало-помалу важнейшие государственные чины и звание члена царской думы сделались исключительною принадлежностью известных родов; другим доступ к ним был закрыт. Правда, царь мог давать чины кому хотел; но с высшими чинами естественно были соединяемы и высшие должности в государстве. Если высший чин, а вместе и высшая должность, были даны человеку незнатного рода, все прочие знатные родичи, которым достались относительно низшие, отказывались служить. Через это цари были вынуждены жаловать в высшие чины одних родословных людей. В царской думе заседали одни высшие сановники — бояре и окольничие³²; поэтому она наполнилась одними знатными родичами; прочие, несмотря ни на какие личные качества, не могли сделаться ее членами.

Государство не могло ужиться рядом с этими домашними, частными, кровными интересами, которые в лице безграничных областных правителей и служилых родов связывали ему руки и отнимали возможность свободно развиваться и действовать. Рано вступило оно с ними в борьбу и довершило в администрации победу над уделами и кровным началом, которая еще прежде была одержана в более широкой, политической сфере. Уже Иоанн III получил название «Грозного» за строгое обращение

с вельможами³³. Для обуздания произвола областных правителей он издал «Судебник»³⁴, которым установил судопроизводство и величину пошлин. Есть даже известие, что он первый завел окладные книги³⁵, которыми определил доходы правителей с областей. Но никто ни прежде, ни после, до самого Петра Великого, не действовал так энергически против вельмож и областных правителей, угнетавших народ, как Иоанн IV. Не знаем, до какой степени были справедливы его опасения против их заговоров и тайных козней: подозрительный, страстный характер мог внушить ему многое, чего не было. То верно, что в некоторых вельможах, бывших удельных князьях или близких их потомках, не совсем исчезли при нем воспоминания о недавнем времени, когда они были такие же независимые владельцы, как царь московский. Они не могли быть ему преданы, служили неохотно, роптали и изменяли или уезжали, когда могли. Остальные думали только о себе и не радели о государстве. Области находились в бедственном положении: целые села пустели от грабительства правителей и их слуг. Иоанн предпринимает решительные коренные реформы и надеется осуществить их посредством двух органов, враждебных вельможеству и, следовательно, наилучших для его целей: людей худородных, в особенности *дьяков*, грамотных, знающих порядок управления, но большею частью низкого звания и потому не достигавших до высших степеней, и общин, которые страдали от произвола правителей. Сначала Иоанн отделил уголовное и уголовно-полицейское управление и поручил его в исключительное заведывание выборных от общин, губных старост³⁶ и целовальников (присяжных). И те и другие существовали и прежде, но теперь они получили юридическое значение, которого не имели. Потом в 1550 году он издал «Судебник»³⁷. В нем гораздо подробнее, нежели при Иоанне III, определены были порядок суда, пошлины, некоторые части гражданского управления и власть областных правителей еще более ограничена: старосты и целовальники получили участие в гражданском суде, без них правители не могли судить никаких тяжб и исков, не могли сажать в тюрьму жителей общин; даже раскладки и сбор податей и повинностей предоставлены выборным; таким образом, разорительное вмешательство областных правителей и их людей должно было прекратиться. Впоследствии и сбор всех особливых царских доходов поручен выборным от

общин. Правители удержали одну распорядительную, поверхностную, общую власть над областями; внутренний распорядок отдан в руки выборных. Но недовольный еще этими мерами и видя, что злоупотребления и угнетения продолжались, Иоанн наконец совсем уничтожил областных правителей и все местное управление отдал в полное заведывание самих общин, подчинив их непосредственно московским приказам. Остались наместники в одних пограничных областях, но к ним были, кажется, приставлены дьяки, ибо после Иоанна мы находим уже при наместниках дьяков. Эти дьяки должны были наблюдать за действиями наместников, сами принимали участие в управлении и обо всем доносили царю.

Таковы были реформы Иоанна в областном управлении; но еще важнейшие предприняты им в государственном устройстве. Цель их та же: сломить вельможество, дать власть и простор одному государству. Все главные отрасли управления вверены дьякам: они заведывали приказами; вельможи почти отстранены от гражданских дел, и за то ненавидели Иоанна. Еще дума находилась в их руках; они одни были ее членами; Иоанн в нее вводит новое начало *личного* достоинства. Под названием *думных дворян* он сажает в думу людей незнатного рода, им самим избранных: при ее неколлегиальном устройстве они не могли не иметь важного влияния на ее решения. Но все эти меры казались Иоанну еще недостаточными: он хотел совершенно уничтожить вельможество и окружить себя людьми незнатными, даже низкого происхождения, но преданными, готовыми служить ему и государству без всяких задних мыслей и частных расчетов. В 1565 году он установил *опричнину*. Это учреждение, оклеветанное современниками и не понятое потомством, не внушено Иоанну — как думают некоторые — желанием отделиться от русской земли, противопоставить себя ей: кто знает любовь Иоанна к простому народу, угнетенному и раздавленному в его время вельможами, кому известна заботливость, с которой он старался облегчить его участь, тот этого не скажет. Опричнина была первой попыткой создать служебное дворянство и заменить им родовое вельможество, на место рода, кровного начала, поставить в государственном управлении начало личного достоинства: мысль, которая под другими формами была осуществлена потом Петром Великим. Если эта попытка была безуспешна и наделала много зла, не принесла никакой поль-

зы, не станем винить Иоанна. Он жил в несчастное время, когда никакая реформа не могла улучшить нашего быта. Опричники, взятые из низших слоев общества, ничем не были лучше бояр; дьяки были только грамотнее, сведущее в делах, чем вельможи, но не уступали им ни в корыстолюбии, ни в отсутствии всяких общих нравственных интересов; общины, как ни старался Иоанн поднять их и оживить для их же собственной пользы, были мертвы: общественного духа в них не было, потому что в них продолжался прежний полупатриархальный быт. За какие реформы ни принимался Иоанн, все они ему не удались, потому что в самом обществе не было еще элементов для лучшего порядка вещей. Иоанн искал органов для осуществления своих мыслей и не нашел; их неоткуда было взять. Растерзанный, измученный бесплодной борьбой, Иоанн мог только мстить за неудачи, под которыми похоронил он все свои надежды, всю веру, все, что было в нем великого и благородного, — и мстил страшно. Он умер. Современники его проклинали. Конечно, не все: поверья, которые и теперь еще ходят о нем в простом народе, доказывают это³⁸. Потомство не воздало ему должного, даже не пожалело о нем. А ученые и писатели — они повторяли слова современников, которые кричали громче других. Только один его понял — великий преемник его начинаний, которому суждено было довершить его дело и благословить Россию на новый путь.

После Иоанна IV все его реформы или рушились, или потеряли смысл. Некоторые исчезли еще при нем; так, при нем исчезло разделение на опричнину и земщину³⁹; появились опять наместники в областях. После него чин думного дворянина обратился в обыкновенный чин, который жаловался и знатым родичам. Старосты и целовальники, в значении, которое придал им Иоанн, исчезли, мы даже не знаем когда; они удержались только в уголовном управлении и собирали некоторые доходы царской казны, да то было не привилегия, а обязанность, повинность.

Но мысль о реформах, о необходимости улучшить внутренний быт не исчезла. Уже при сыне и преемнике Иоанна она выразилась в законодательной мере, которой настоящий смысл не понят, потому что на нее до сих пор смотрят с теперешней, а не с тогдашней точки зрения. В 1592 году переходы крестьян с места на место были запрещены; сельское народонаселение прикреплено к земле. С юридической точки зрения это событие необъяснимо;

но на него и не должно так смотреть. В древней России не было юридического быта; личность в гражданской сфере сама по себе ничего не значила. Оно было вызвано целями политическими, административными и полицейскими. Еще до Иоанна IV по многим причинам усилилось в России бродяжничество; право, основанное на обычае, переходить с земли на землю, при тогдашней грубости, необразованности, его усиливало. Привыкнув к скитальческой жизни, многие шли на разбой и воровство (татьбу); появились целые шайки лихих людей, от которых не было покоя жителям. Сверх того, обычай переходить породил между землевладельцами другой обычай — переманивать крестьян с чужих земель на свои, обещая выгоды и льготы. Богатые воспользовались им в ущерб бедных. Феодор Иоаннович или, правильнее, Борис Годунов хотел пресечь и то и другое зло в самом основании и запретил переходы; окончательное их уничтожение относится к царствованию Шуйского⁴⁰. Вследствие совершенной юридической неопределенности древнего русского быта, за уничтожением переходов последовало постепенное смешение двух сословий, до того совершенно различных: холопского и крестьянского. Сливаясь, они воздействовали одно на другое; многие положения, относившиеся сначала к одним холопам, перенесены и на крестьян. Удержались неважные, чисто формальные исторические различия, более и более терявшие смысл.

Вскоре потом наступила эпоха внутренних смут, неурядиц и волнений. Ими начался XVII век. Повод их был случаен, исход не принес никаких существенных изменений в прежнем быте. После 1612 года все пришло в прежний порядок⁴¹. Как море, Россия взволновалась и улеглась, не сохранив в своем общественном устройстве никаких следов недавней бури: очевидно, время умственного и нравственного развития еще не наступало. Оттого вся эта эпоха вообще более относится к политической, нежели к внутренней истории России. Но она обнаружила, что идея государства уже глубоко проникла в жизнь: Россия сама встала на свою защиту во имя веры и Москвы, тогдашнего государственного центра нашего отечества.

Когда новая династия вступила на престол⁴² и все успокоилось, опять возобновилась на время прерванная борьба царей с отжившими остатками догосударственной России. По-прежнему поприще ее — администрация, упра-

вление; но теперь она совершается тихо, медленно. Победа государства обозначается целым рядом постепенных законодательных реформ, которые идут, не прерываясь, до окончательной великой реформы Петра. Иоанн IV ненавидел и боялся своих врагов и оттого придал борьбе страстный, кровавый характер. Московские государи XVII века их уже не страшатся. Они как будто предчувствуют их необходимое уничтожение и готовят его исподволь, косвенными мерами.

Алексей Михайлович обходит думу и все важнейшие дела делает посредством подьячих Тайного приказа⁴¹. Местнические споры становятся мало-помалу безвредными для государства. Оно их преследует как ослушание царской воли или откладывает. Наконец в 1682 году Федор Алексеевич соборным постановлением уничтожил их совсем. Итак, к временам Петра Великого от родового вельможества удержались только наследственность важнейших чинов и Боярская дума, последняя уже почти без всякого государственного значения; но и они с учреждением сената и введением табели о рангах исчезли навсегда⁴².

Областные правители были ограничены и стеснены. Многие доходы их, особливо от суда и управления, стали доходами государства. При Алексее Михайловиче областные правители из наместников стали воеводами. Их право управлять областями посредством своих людей исчезает; место последних заступают приказные люди. В царствование Федора Алексеевича воеводам придаются выборные от дворян. Сверх того, многими законами воеводы поставлены в совершенную административную зависимость от московских приказов, обязаны были давать подробный отчет в своих действиях, словом, перестали быть неограниченными владельцами управляемых областей. Характер кормленщиков они удержали еще за собою, но уже не в прежнем значении: они стали теперь вместе и органами государства.

Но не только в административной сфере уходил и изглаживался прежний порядок вещей, когда-то исключительно правивший внутренней жизнью России: он упал и разрушался даже в гражданском быту; и в нем стало высказываться начало личности. Юридические отношения начали брать верх над кровными, родственными. Прежде порядок наследования, имущественные и личные отношения между членами семей и родов определялись одним

обычаем, нравами, свято соблюдаемыми; теперь они стали нуждаться в посредничестве государства; оно устанавливает их и охраняет страхом наказаний. Появляется порча общественных нравов — естественная и необходимая спутница всех переходных эпох, когда один порядок вещей сменяется, но еще не сменился другим. Напрасно будем мы искать причину этой видимой перемены в посторонних влияниях — татарском иге и внутренних смещениях начала XVII века. Нельзя отрицать этих влияний, но они всего не объясняют: грубая, неразвитая и непризнанная личность искала простора; в тесном кругу преобладающих кровных отношений ей становилось душно; они не давали ей развиваться, подавляли ее своими непреложными законами. И без всяких посторонних влияний она рано или поздно предъявила бы свои права и в частном, общественном быту, как прежде предъявила их в политическом и государственном. Закон жизни был один — и явления были одинаковы.

III

Древняя русская жизнь исчерпала себя вполне. Она развила все начала, которые в ней скрывались, все типы, в которых непосредственно воплощались эти начала. В строгой последовательности она провела Россию сперва через общинный быт, потом через родовой и семейственный; она постепенно выводила на сцену истории типы племенона начальника, начальника рода и вотчинника и осуществляла их в больших размерах. Последним ее усилием, венцом ее существования, были первые зачатки государства и начало личности. В них она превзошла себя, как бы вышла из своих пределов, хотя и государство и личность долго созревали и готовились к действию под формами, ею созданными и развитыми. Она сделала все, что могла, и, окончивши свое призвание, прекратилась. Ее порицать, пренебрегать ею или сожалеть об ней, думать о ее возвращении, доискиваться в ней, чего она не дала и не могла дать, — равно ошибочно. И то и другое обнаруживает взгляд неисторический, следовательно, непременно ложный. Лучший критик, судья истории — сама история. Она высчитывает наперед все возможности, взвешивает все доводы и за и против с неподражаемою подробностью, а потом решит — без апелляции. Нам остается

ся только взглянуть в этот суд, в эту критику, понять ее. Иначе непременно впадем в односторонность.

Начало личности узаконилось в нашей жизни. Теперь пришла его очередь действовать и развиваться. Но как? Лицо было приготовлено древней русской историей, но только как *форма*, лишенная содержания. Последнего не могла дать древняя русская жизнь, которой все назначение, конечная задача только в том и состояли, чтобы выработать начало личности, высвободить ее из-под ига природы и кровного быта. Сделавшись независимой не через себя, а как бы извне, вследствие исторической неизбежности, личность еще не сознавала значения, которое она получила, и потому оставалась бездеятельною, в ладу с окружающею и ей несоответствовавшею средою. Но это не могло долго продолжаться. Неоживленная личность должна была пробудиться к действию, почувствовать свои силы и себя поставить безусловным мерилom всего.

Впрочем, вдруг она не могла сделаться самостоятельною, начать действовать во имя самой себя. Она была совершенно неразвита, не имела никакого содержания. Итак, оно должно было быть принято извне; лицо должно было начать мыслить и действовать под чужим влиянием.

Такое влияние было для него необходимо и благотельно. Оно освободило его от всего непосредственного, данного, развязало ему руки, возбудило к нравственному развитию и приготовляло к совершенной, безусловной самостоятельности.

Вот характер и значение эпохи внутренних преобразований, которая наступила в России в XVIII веке и окончилась недавно. В сфере политической и государственной личность ранее стала независимою; поэтому она впервые в ней начала действовать неограниченно и под европейским влиянием. В Петре Великом личность на русской почве вступила в свои безусловные права, отрешилась от непосредственных, природных, исключительно национальных определений, победила их и подчинила себе. Вся частная жизнь Петра, вся его государственная деятельность есть первая фаза осуществления начала личности в русской истории.

Как всякое историческое явление, эпоха преобразований имеет множество различных сторон и потому может быть рассматриваема с различных точек зрения.

Многие⁴⁵ обвиняют ее в том, что она пришла слишком внезапно, действовала круто, насильственно, разорвала русскую историю на две половины, совершенно между собою несхожие, ничем не связанные, и нас сделала бесхарактерными, жалкими междоумками или недоумками; наконец, что она лишила Россию национальности, подчинила ее исключительному господству европейских элементов и апостазии⁴⁶ от национального возвела на степень добродетели.

Эти обвинения, окончательно сформулированные в последнее время, вызваны состоянием, в которое мы пришли, когда эпоха реформ оканчивалась. К нему они и относятся, а не к ней. Как историческое явление они важны, характеризуя состояние одной части общества после реформы; как взгляд на целый отдел истории они не имеют никакой цены, по своему совершенно субъективному смыслу.

Во-первых, эпоха реформ наступила у нас не внезапно; она приготовлена всем предыдущим бытом. Кто не согласен с нашим взглядом на русскую историю, тому мы укажем на появление иностранных обычаев еще до Петра; на умножение иностранцев в Московской России; на всякого рода отступничество от прежних нравов; наконец, на упадок государственного устройства и управления перед реформой. Разложение быта выражалось в страшных, неслыханных злоупотреблениях. В доказательство ссылаемся не на общественное мнение и литературу, которых тогда в России не было, а на современные акты и законы.

Что реформа действовала круто, насильственно — это правда. Но чтоб вывести из этого какое-нибудь заключение в пользу или против нее, должно сперва решить: что была современная ей Россия и можно ли было действовать иначе?

В начале XVIII века мы только что начинали жить умственно и нравственно. Мы были несчастные дети, окруженные самыми невыгодными условиями. К бедной внешней природе присоединились глубокое невежество, полувосточные привычки, которые держали нас в черном теле, в самых зачатках убивали всякое нравственное развитие, всякую общественность, всякую свободу и движение. Тогда — страшная недавняя старина! — делались вещи, непостижимые, невообразимые теперь. Чудовищны были время и общественность, которые могли пересоздать благородную натуру Иоанна IV и наперекор ей вос-

питать ее в нравственного уroda, изверга, не знавшего границ произволу. Только такая грубая, дикая, жалкая среда, в которой не было и тени общественного мнения, никаких общих, ни нравственных, ни даже физических интересов, сделала возможным преобразование в том виде, в каком оно совершилось, со всеми его крутыми мерами и насилиями. Оправдание эпохи реформ — в ее целях: средства дала, навязала ей сама старая Русь. Петр действовал, как воспитатель, врач, хирург, которых не обвиняют за крутые и насильственные меры. Нельзя было иначе действовать; невозможное теперь было тогда, по несчастию, необходимо, неизбежно.

Сверх того не забудем, что реформа особенно сосредоточилась в государственной сфере, в управлении; прочих сторон жизни она коснулась как будто мимоходом, и то большую частью там, где они соприкасались с государством. А мы знаем, каково было положение государства перед реформой и при Петре; со всех сторон враги, а войска, денег, средств им противостать не было. В управлении — беспорядок и отсутствие централизации. Тут некогда было выжидать, действовать исподволь. Нужды были слишком настоятельны, чтоб можно было вести реформу медленно, спокойно, рассчитывая на много лет вперед.

Потом говорят, что эпоха преобразований отделила старую Русь от новой непроходимую бездной, ничем не наполненной, из нас сделала ни то, ни се, что-то среднее между древней Россией и Европой — амфибий человеческого рода. Но это не так. Внутренняя связь между древней и новой Россией, как мы видели, есть. Есть и внешняя, в событиях. Петр Великий ничего не знал о различии древней и новой России. Он был глубоко убежден, что продолжает дело своих предков; такое же убеждение имели и его сподвижники. Татищев беспрестанно сравнивает указы Петра с «Уложением» и законами Иоанна⁴, и не так, как мы теперь сравниваем «Русскую Правду» с варварскими законами германцев, а как постановления, дополнявшие друг друга в практике, относившиеся к одной и той же жизни, разрешавшие одни и те же вопросы. В самом деле, действия и законы Петра Великого — лучшее доказательство, как в его время обе России, потом различенные, были слиты в одно нераздельное целое. Мы скажем больше: ни один живой вопрос, возникший в древней Руси, не оставлен Петром Великим без разре-

шения. Как он их решил — об этом мы не будем теперь рассуждать: решил он все. Мнение, будто Петр не знал России, не имеет никакого основания. Он знал ее отлично, в мелочах, в подробностях: но он пренебрегал голословной казуистикой древней России, которая гонялась за частностями и не развила ни одного юридического начала.

Непроходимая бездна между старым и новым создана после воображением, совершенно отвлеченным пониманием истории. Новый мир еще менее походит на древний, чем новая Русь на старую. Там действуют и новые народы; однако мы знаем, что и древний мир преобразовался мало-помалу. Наполеон создал новый порядок вещей во Франции, несколько не похожий на тот, который им сменился; однако мы не говорим, что Франция до Наполеона и после Наполеона — две совсем разные, ничем не связанные между собою Франции. Вглядываясь в события, мы видим, что прежнее естественным порядком выродилось в новое, как они ни различны между собою. Так и у нас было.

Междоумками мы точно стали, но не во время реформы и не вследствие реформы. Вспомните людей времен Елизаветы, Екатерины: их, право, нельзя упрекнуть в бесхарактерности, в неопределенности. Все они носят на себе такой резкий тип, что их почти с первого взгляда можно узнать. Если б эпоха реформ сбила их с толку, они не могли б быть такими. Да и смотрели на преобразования предки наши XVIII века совсем другими глазами, нежели мы теперь. Они понимали реформу совершенно практически, брали с бытовой, живой стороны. Им и в голову не приходила мысль, что она может лишить нас народности, оторвать от прошедшего. Себя они считали русскими, такими же, какими были их предки XVII века, и в самом деле, они были русские, для которых настало время здравого смысла, не стесненного историческими преданиями. Недоумками мы сделались уже после, когда эпоха преобразований начала приходить к концу, стало слагаться общество и родилось бессознательное требование самостоятельности мысли и действий. Тогда к прошедшему, настоящему и будущему мы приступили с вопросами. То, что прежде само собой разумелось, теперь представилось задачей, требующей еще разрешения. Все стало предметом критики, суждений, и пока результаты этой критики не обнаружили, не выработался какой-нибудь взгляд,

сомнение и нерешительность поразили ум и деятельность. Но это было явление новое в России, не следствие реформы, а необходимая прелюдия к другому порядку вещей, который тогда зарождался.

Самое важное, капитальное обвинение эпохи преобразований состоит в том, что она будто бы лишила нас народности и безусловно подчинила европейскому влиянию. Тут явное недоразумение, частью от слова «народность», частью от отвлеченного взгляда на русскую историю.

Национальность, народность в разные эпохи развития имеют у одного и того же народа разные значения. Сначала, когда народ пребывает в непосредственном, природном состоянии, народность в его глазах неразрывно связана с внешними формами его существования; иначе и быть не может, ибо другого существования он не знает и представить себе не в силах. Для него перемена форм есть и утрата народности; он не узнает себя под другою внешностью. Иван Берсень⁴⁸ говорил еще в XVI веке, что народу, у которого изменяются обычаи, недолго стоять, и, по понятиям тогдашней Руси, он был прав. Но когда народ начинает жить более духовною жизнью, и слово «народность» одухотворяется в его устах. Он перестает разуметь под ним одни внешние формы, но выражает им особенность народной физиономии; это нечто неуловимое, непередаваемое, на что нельзя указать пальцем, чего нельзя ощупать руками, чисто духовное, чем один народ отличается от другого, несмотря на видимое сходство и безразличие. Словом, национальность становится выражением особенности нравственного, а не внешнего, физического существования народа. С большим сближением различных народов она более и более одухотворяется, отрешается от внешнего, случайного, в сущности, безразличного: исчезнуть она не может, пока не исчезнет сам народ.

В первом смысле наша народность сильно тронулась; в высших классах общества она почти совсем исчезла. Но заметим: не с реформы XVIII века, а раньше, гораздо раньше, еще с начала Московского государства. Оно внесло в нашу народную жизнь первые зачатки нравственного существования, развившиеся потом; оно впервые посягнуло и на нашу народность, в тесном, непосредственном значении слова. Москва — первоначальница нашего нена-

ционального развития. Многим это покажется теперь странным, но оно действительно так было.

Во втором смысле мы никогда не теряли своей народности; нельзя указать ни на одну минуту в нашей исторической жизни, начиная с какого угодно времени, в которую бы мы перестали быть русскими и славянами, потому что это совершенно, математически невозможно: *мы* всегда будем *мы* и никогда *они*, кто-нибудь другой; иначе мы тотчас же исчезнем с лица земли, перестанем существовать как особенный народ.

Мысль, что через реформу мы потеряли или почти потеряли народность, есть не следствие изучения древней и новой истории России, а один из тех бессвязных воплей, которые вырвались из нашей груди, когда, вместе с реформой, одна фаза нашего развития кончилась, а другая не наступала. Тогда мы почувствовали какую-то усталость, нравственное расслабление, из которых, казалось, не было выхода. Допрашивая себя, откуда бы могла взяться эта преждевременная дряхлость, и думая, что за ней смерть, многие обратились к ближайшему прошедшему, придали ему страшный характер, осветили его траурным светом, обставили погребальными факелами. Им представилась, бесспорно, одна из величайших эпох нашей истории, время ее возрождения, картиной упадка и разрушения. Но эти краски ей чужды. Олицетворение древней и новой России родило такое отвлеченное воззрение. Многие подумали, что за европейским влиянием в России XVIII и начала XIX века ничего не было, что Европа, со всеми особенностями, перешла к нам и водворилась у нас на место прежнего. Если б так было, Россия была бы теперь так же похожа на остальные европейские государства, как Англия на Францию, Франция на Германию. А этого сходства совсем нет. Отчего же? Оттого, что не Европа к нам перешла, а мы оевропеились, оставаясь русскими по-прежнему; ибо когда человек или народ что-нибудь берет, заимствует у другого, он не перестает быть тем, чем был прежде. Посмотрите на факты: Петр и его преемники не имели никакого понятия о позднейшем противоположении России и Европы. Они и не думали ввести у нас *иностранное* вместо *русского*. Они видели недостатки в современной им России, хотели их исправить, улучшить ее быт и с этою целью часто прибегали к европейским формам, почти никогда не вводя их у нас без существенных изменений; что из нашего исключительно националь-

ного казалось им хорошо, удовлетворительно, то они оставляли. Так действовали и частные лица: все, что им казалось хорошим, было хорошо, откуда бы ни пришло. Упрек Петру, что он будто бы предпочитал иностранцев русским, не имеет ни малейшего основания; где мог, он всегда замещал первых последними. Известно, что иностранцы не всегда были им довольны. Наконец, в гражданских и военных штатах, составленных при Петре, на одного иностранца везде положено по два русских. Если б он предпочитал первых, он бы так не поступал. Просто они были ему нужны, ибо знали то, чего не знали тогда русские и что было необходимо для России.

Вообще никогда не должно забывать, что эпоха преобразований, как все живущее, имела внутреннее единство, целость. Практические пользы, улучшения поглощали всю деятельность; об именах и названиях мало думали. Русское и иностранное — все сливалось в одно, чтоб вести Россию вперед. Но когда эта эпоха стала клониться к концу, а новые пути для такого же целостного, живого действия еще не были найдены, мы почувствовали в себе пустоту, скуку; деятельность сменило бездействие, необходимое, потому что прежние источники действия иссякли. Живой дух эпохи исчез. От нее оставался труп, который стал разлагаться на свои составные стихии, уже ничем не соединенные. Тогда-то появилось у нас противоположение русского европейскому, желание думать, действовать и чувствовать национально, народно или, во что бы то ни стало, по-европейски. Требование самостоятельности и требование лучшего, которые нашли представителей в этих двух крайностях, прежде слитые воедино, теперь распались и стали враждебны. Серединой между ними было уже бессмыслие и апатия. Таким образом настоящий смысл эпохи реформ был потерян и забыт. Ее начали безусловно порицать или безусловно хвалить, но с важными недоразумениями и натяжками с обеих сторон, потому что ее подводили под известные, односторонние точки зрения, которым она никак не поддавалась. В наше время этот дуализм, признак едва зарождавшейся в нас умственной и нравственной жизни, начинает исчезать и становиться прошедшим. Его сменяет мысль о человеке и его требованиях. Что эпоха преобразований сделала в практической жизни, то теперь происходит у нас в области мысли и науки. Непереступаемые границы между прошедшим и настоящим, русским и иностран-

ным разрушаются; открывается широкое воззрение, не стесняемое никакими предрассудками, природными или вымышленными ненавистями. Может быть, мы оттого и начинаем питать такие глубокие симпатии к Петру Великому. На другом поприще он вел нас по той же дороге.

Итак, внутренняя история России — не безобразная грудa бессмысленных, ничем не связанных фактов. Она, напротив, — стройное, органическое, разумное развитие нашей жизни, всегда единой, как всякая жизнь, всегда самостоятельной, даже во время и после реформы. Исчерпавши все свои исключительно национальные элементы, мы вышли в жизнь общечеловеческую, оставаясь тем же, чем были и прежде, — русскими славянами. У нас не было начала личности: древняя русская жизнь его создала; с XVIII века оно стало действовать и развиваться. Оттого-то мы так тесно и сблизились с Европой; ибо совершенно другим путем она к этому времени вышла к одной цели с нами. Развивши начало личности донельзя, во всех его исторических, тесных, исключительных определениях, она стремилась дать в гражданском обществе простор *человеку* и пересоздавала это общество. В ней наступал тоже новый порядок вещей, противоположный прежнему, историческому, в тесном смысле национальному. А у нас, вместе с началом личности, человек прямо выступил на сцену исторического действия, потому что личность в древней России не существовала и, следовательно, не имела никаких исторических определений. Того и другого не должно забывать, говоря о заимствовании и реформах России в XVIII веке: мы заимствовали у Европы не ее исключительно национальные элементы; тогда они уже исчезли или исчезали. И у ней и у нас речь шла тогда о *человеке*; сознательно или бессознательно — это все равно. Большая развитость, высшая степень образования, большая сознательность была причиной, что мы стали учиться у ней, а не она у нас. Но это не изменяет ничего в сущности. Европа боролась и борется с резко, угловато развившимися историческими определениями человека; мы боролись и боремся с отсутствием в гражданском быту всякой мысли о человеке. Там человек давно живет и много жил, хотя и под односторонними историческими формами; у нас он вовсе не жил и только что начал жить с XVIII века. Итак, вся разница только в предыдущих исторических данных, но цель, задача, стремления, дальнейший путь один. Бояться, что Европа передаст нам свои от-

жившие формы, в которые она сама уж не верит, или надеяться, что мы передадим ей свои — древнерусские, в которые мы тоже изверились, значит не понимать ни новой европейской, ни новой русской истории. Обновленные и вечно юные, они сами творят свои формы, не стесняясь предыдущим, думая только о настоящем и будущем.

Такой взгляд объясняет много загадочных явлений в нашей внутренней жизни. Понятным делается, почему не было и нет у нас сословий, как в Европе; почему наш гражданский быт и устройство, сходные с европейскими в частностях, совершенно не сходны в общем; отчего мы европейские формы предпочли всем прочим, не заимствуя однако тех, которые исключительно принадлежат к ее прошедшему и от него удержались; отчего в нас так много удивительно хорошего и, рядом с тем, так много удивительно дурного, отчего такая странная распушенность, бессвязность, случайность царствуют во всем, что ни делаем, что ни предпринимаем; отчего... но всего не пересчитаешь. Читатель, занимаясь русской историей или думая о своей жизни, сам увидит, что в нашем взгляде есть большая доля правды.

Москва.

23 февраля 1846 года.

ОТВЕТ «МОСКВИТЯНИНУ»

Во втором номере «Москвитянина» в статье г. М ... З ... К ... под заглавием «О мнениях «Современника», исторических и литературных» помещен подробный разбор моей статьи «Взгляд на юридический быт древней России», напечатанной в № 1 «Современника»¹. Тон критики, кажущаяся дельность возражений, последовательность взгляда — все налагает на меня обязанность отвечать. Г. М ... З ... К ... удостоил мою статью прочтением, следовательно, на этот раз спор возможен ...²

Признаюсь, автор критики поставил меня в затруднительное и неловкое положение. В моей статье я отстаивал необходимость теории для русской истории: это была основная мысль, заставившая меня взяться за перо. Критика г. М ... З ... К ... показала весь вред, происходящий от теоретического воззрения, и мне как будто приходится опровергать себя. Постараемся объяснить это очевидное недоразумение.

Что такое теория? Определение и изложение законов, по которым данный предмет живет и изменяется. Значит, теория русской истории есть обнаружение законов, которые определили ее развитие. Но жизнь народа есть органическое целое, в котором изменения происходят последовательно и по внутренним причинам; все в ней условлено одно другим, так что настоящее есть последовательный результат прошедшего, прошедшее естественно переходит в настоящее; поэтому когда мы думаем, что в народной жизни лучшее сменяется очевидно худым и неудовлетворительным, мы жестоко себя обманываем: это лучшее только кажется нам таким³; ближе его рассматривая, мы заметим в нем те органические недостатки, которые величайший критик и физиолог — действительная жизнь — открывает гораздо прежде ученых исследований и обнаруживает практически, уничтожая это лучшее и заменяя его другим — недостаточным для нас, потому что мы стремимся вперед, но лучшим сравнительно с тем, что им упразднено. Этому изменению суждений об исторических событиях и лицах, поправке, так сказать, этих

суждений чрезвычайно способствует теория. Обнимая одним взглядом целое, указывая беспрестанно на единство в самых разнообразных и разновременных явлениях, она заставляет на каждом шагу сравнивать, поверять факт фактом, вывод выводом и открывать новые стороны в одном и том же предмете; так слагается наконец мерило для фактов, лежащее вне личных пристрастий и предубеждений, условленных влиянием окружающей среды. Возможность в одно и то же время судить историческое явление на основании прошедшего и чаемого будущего расширяет круг зрения, рождает многосторонний взгляд на предмет, освобождает от исключительности, легко переходящей в ограниченность. Все это плоды теоретического взгляда, и в этом его заслуга; ибо если он не исчерпывает предмета, то во всяком случае заставляет о нем думать, его исследовать.

Не так понимает теорию автор критики, г. М ... З ... К ...: у него она слагается не из наблюдений над внутренним процессом предмета, а из идеалов, конечно, прекрасных, благородных, но, к сожалению, покуда нигде и никогда еще не воплотившихся. Не замечая этого, он ревностно отыскивает их в русской истории и — что мудреного — с помощью добросовестного злоупотребления фактов находит. Он до того погружен в свою мысль, что не слышит вопиющего против него голоса действительности, не видит вещей самых простых, осязательных, даже не замечает, что его возвышенные идеалы оскорбительно-несправедливы. Таких теорий нельзя не отвергать — и вот объяснение недоразумения, о котором мы говорили выше. Постараемся доказать это.

Взгляд автора существенно вот в чем заключается: начало личности, предоставленное самому себе и развиваемое романо-германским миром, лишено любви, и потому порождает ассоциацию, а не общину. В настоящее время Западная Европа живо почувствовала односторонность, неудовлетворительность этого начала, и в лице своих «передовых мыслителей» остановилась перед общиной, которая для него существует лишь как абстрактная формула, требование¹. Что же такое община? Такое общество или общежитие, в котором царит абсолютный закон, родовая норма личности, но вследствие сознательно-го и свободного подчинения ей всех индивидуумов, его составляющих. Община в этом значении была и есть сущность, внутренняя основа славянского племени. Так как развитие этого начала стоит теперь на очереди в истории

и есть задача славянского мира, то к нему уже и обратились лучшие европейские умы с сочувствием и ожиданием. Читатели могут подумать, что я преувеличил, если можно так выразиться, мнения г. М ... З ... К ... и сделал их невероятными. Вот его подлинные слова.

«Развитие германского начала личности, предоставленной себе самой, не имеет ни конца, ни выхода; путем истощения исторических явлений личности, до идеи о человеке, то есть до начала абсолютного соединения и подчинения личностей под верховный закон, логически дойти нельзя; потому что процесс аналитический никогда не переходит сам собою в синтетический» (стр. 172).

«Западный мир выражает теперь требование органического примирения начала личности с началом объективной и для всех обязательной нормы — требование общины. Это требование совпадает с нашею субстанцією: в оправдание формулы мы приносим быт, и в этом точка соприкосновения нашей истории с западною».

«Общинный быт славян основан не на отсутствии личности, а на свободном и сознательном ее отречении от своего полновластия» (стр. 173).

«Что касается до нас, то признаемся, мы никак не можем понять того логического процесса, посредством которого из германского начала, предоставленного самому себе, из одной идеи личности, может возникнуть иное общество, кроме искусственной, условной ассоциации? Каким образом начало разобщающееся обратится в противоположное начало принижения¹ и единения? Каким образом, говоря словами автора, понятие о личности перейдет в понятие о человеке?» (стр. 146 и 147).

«Если вы скажете, что можно дойти до утомления, до сознания практической пользы и даже необходимости ограничить разгул личности, то мы заметим вам, что такого рода сознание, как результат самых разнородных и все-таки личных потребностей, не выведет из круга развития личности. Наприм<ер>, бедняк почувствует необходимость взять у богатого кусок хлеба, чтобы не умереть с голода; положим даже, что богатый почувствует с своей стороны необходимость уступить что-нибудь бедному, чтобы не довести последнего до отчаяния и не потерять всего; положим, что они сойдутся и с общего согласия постановят какой бы то ни было порядок. Этот порядок для того и для другого будет отнюдь не абсолютным человеческим законом, а только удобнейшим и вернейшим средством к достижению личного благосостояния. Представится другое средство, они за него ухватятся, и будут правы; ибо уступая внешней необходимости, личность ограничивала себя в пользу себя самой. До идеи человека мы все-таки не дошли и не дойдем. И так на личности, ставящей себя безусловным мерилom всего, может основаться только искусственная ассоциация, уже осужденная историею; но абсолютной нормы, закона, безусловно общественного для всех и каж-

дого, из личности, путем логики, вывести нельзя; следовательно, не выведет его и история. Наконец, откуда бы оно ни пришло, в какой бы форме и под каким бы названием ни явилось, вы должны сознаться, что перед ним личность утратит свое абсолютное значение; другая власть, от нее не зависящая, не ею созданная, воцарится над личностью и ограничит ее. Мерило личности будет уже не в ней самой, а вне ее; оно получит объективное, самостоятельное значение, в совпадении с ним личность найдет свое оправдание, в отступлении от него — свое осуждение. Вы скажете, что это мерило не должно быть навязано, что личность, признавая в нем свой собственный идеал и подчиняясь ему, совершит акт свободы, а не рабства; так — и, следовательно, личности предстоит одно назначение: познать свою родовую норму, свой закон. Но для того, чтобы познать его, она должна признавать его существующим. Ей должно быть всегда присуще хотя темное сознание и закона, и своего несовершенства, своей неправоты перед ним; а это сознание несовместно с чувством неограниченного полновластия личности и ее значения как мерила для всего» (стр. 147 и 148).

Я сказал в своей статье, что само в себе общинное начало не имело зачатков жизни и развития. Г. М ... З ... К ... говорит:

«Несмотря на все натяжки автора, мы видели противное в призвании князей, увидали бы то же в принятии христианской веры, которое было делом всей земли, если бы только автор рассудил за благо сказать о нем хоть одно слово; мы видели то же в сознании неспособности жить без князя и в повторяющихся призваниях; наконец, мы видим, что в позднейшую эпоху, когда упразднилось государство, это общинное начало, по словам автора, не имевшее зачатков жизни и развития, спасло единство и цельность России и снова, как в 862 г., так и в 1612 г., создало из себя государство. Нет; общинное начало составляет основу, грунт всей русской истории, прошедшей, настоящей и будущей; семена и корни всего великого, возносящегося на поверхности, глубоко зарыты в его плодотворной глубине, и никакое дело, никакая теория, отвергающая эту основу, не достигнет своей цели, не будет жить» (стр. 158).

«Семейство и род представляют вид общежития, основанный на единстве кровном; город с его областью — другой вид, основанный на единстве областном, и позднее епархиальном; наконец, единая, обнимающая всю Россию государственная община, — последний вид, выражение земского и церковного единства. Все эти формы различны между собою, но они суть только формы, моменты постепенного расширения одного общинного начала, одной потребности жить вместе в согласии и любви, потребности, признанной каждым членом общины как верховный закон, обязательный для всех и носящий свое оправдание в самом себе, а не в личном произволе каждого. Таков общинный быт в существе его; он основан не на личности и не может быть на ней основан;

но он предполагает высший акт личной свободы и сознания — самоотречение. В каждом моменте его развития он выражается в двух явлениях, идущих параллельно и необходимых одно для другого. Вече родовое (н < а > п < ример > , княжеские сеймы) и родоначальник. Вече городское и князь. Вече земское или дума и царь. Первое служит выражением общего связующего начала; второе — личности. Положим, взаимные отношения князей предопределялись родовым началом; но что такое князь в отношении к миру, если не представитель личности, равно близкий каждому, если не признанный заступник и ходатай каждого лица перед миром. Почему община не может обойтись без него; какому требованию, глубокому, существенному, духа народного он отвечает, если не требованию сочувствия к страждущей личности, сострадания, благоволения и свободной милости? Признав его и поставив над собою, община выразила в живом образе свое живое единство. Каждый отрекся от своего личного полновластия и вместе спас свою личность в лице представителя личного начала» (стр. 159 и 160).

«Идеал новгородского быта, к которому он стремился, — можно определить как согласие князя с вечем. Иногда оно осуществлялось, ненадолго, и эти редкие минуты представляют апогей быта новгородского. Таково, напр < имер > , княжение Мстислава, его прибытие в Новгород, его подвиги и прощание с новгородцами. В грамотах новгородских значение князя определяется отрицательно: не делай того, не заводи другого. Положительные требования заключались в живом сознании всей земли; их нельзя было уписать в пяти строках. Итак, элементы будущего государственного устройства, мир и личность, существовали в Новгороде, и вся новгородская история выражала стремление к их соглашению. А почему Новгород не возвел их в правильную государственную форму, тому причина простая. Новгородская земля была часть русской земли, а не вся Россия; государство же должно было явиться только как юридическое выражение единства всей земли» (стр. 164 и 165).

«Способ решения по большинству запечатлевает распадение общества на большинство и меньшинство и разложение общинного начала; вече, выражение его, нужно именно для того, чтобы примирить противоположности; цель его — вынести и спасти единство. От этого оно обыкновенно оканчивается в летописях формулою: «снидошася вси любовь». Способ решения единогласный, отличающийся автором от формы вечевых приговоров, в которых не было счета голосов и баллотировки, относится к ней как совокупность единиц к целому числу, как единство количественное к единству нравственному, как внешнее к внутреннему» (стр. 165).

Кажется, эти выписки достаточно меня оправдывают; воззрение действительно невероятное — только не по моей вине: вся честь парадоксальности посылок, неестест-

венности понимания и произвольности выводов нераздельно принадлежит г. М ... З ... К А что его посылки парадоксальны, понимание неестественно, выводы произвольны — это видно из самого поверхностного разбора его «теории».

Во-первых, автор думает, что ассоциация, результат исключительного развития начала личности — ложная, неудовлетворительная форма общности, в которой человек не может выйти из очарованного круга исключительного определения личности и сделаться в самом деле человеком. Этой форме противопоставляется община, где господствует абсолютный закон, родовая норма личности, перед которой все добровольно и сознательно «приносятся». Требование прекрасно; но я бы попросил г. М ... З ... К ... высказать мне эту родовую норму личности, этот абсолютный закон. Правда или нет, что у разных народов, в разные времена она различна? Правда или нет, что она различна у одного и того же народа в разные эпохи? Как в человеке изменяется сознание о том, что хорошо и что дурно, так и в народе, и в целом человечестве. Если это справедливо — искание абсолютной нормы личности есть искание философского камня или той блаженной, но нигде не бывалой земли, где люди — воплощенные ангелы, не знающие ни зла, ни законов. Абсолютный закон — идеал, создаваемый в разное время разными народами и лицами различно и выдвигаемый ими вперед как цель, к которой должно стремиться, а у восточных, младенствующих и в переходном состоянии находящихся народов отодвигаемый назад как утраченное, предмет вечных скорбных воспоминаний. И в том и в другом случае он свидетельствует о новой фазе развития и сознания и есть достояние и плод истории. Этих идеалов было столько и так они различны, что наконец нельзя было не усомниться в абсолютной истинности, не напасть на мысль об их историческом или, если хотите, физиологическом значении для человечества. Затем осталось одно общее понятие о добре и зле, которому невозможно дать абсолютной формы, ибо оно неизбежно формулируется известным историческим образом, следственно, не абсолютно. Может быть, впрочем, автор не принимает и развития в истории человечества, как он не признает многого, что, однако, несомненно: в таком случае нам нечего делать, ибо о белом и черном не спорят. Пусть нас рассудят читатели, для которых я и отвечаю моему критику.

Возьмите тот же вопрос с другой стороны. Г. М ... З ... К ... знает, как разнообразны требования людей, составляющих всякое общество. Бесспорно, произвол и случайность играют в этом немаловажную роль; но всего им нельзя приписать: темперамент, природные наклонности и особенности людей полагают между ними существенное различие. Спрашивается, какая родовая норма будет так всем им близка, что они ей подчинятся сознательно и добровольно? Кажется, и у древних славян ее не было, если они находили иногда нужным бить, даже убивать некоторых членов своих общин за несогласие с общим мнением. Вы говорите о самоотречении и самопожертвовании? Прекрасно. Но ведь если оно вынуждено, то оно уже не добровольное и сознательное, следовательно, не самопожертвование и самоотречение, а не вынужденного в отношении ко всем, мы решительно нигде и никогда не видали, даже не видали у славян, которых сущность, по вашим же словам, — общинное устройство и быт. Что же с этим делать! люди своекорыстны и злы; надо, как это ни горько, видеть их как они есть и по ним создавать и устраивать их общественный быт. Переродите род человеческий — о, тогда другое дело! Укажите нам на человеческое общество, в котором бы все до единого были готовы на самоотречение и самопожертвование, — мы хоть и не признаем нормы, между ними господствующей, за абсолютную родовую норму личности, однако не усомнимся признать их устройство за самое возжеленное. Но куда такое общество не отыскалось, позвольте мне, и со мною, конечно, многим другим, остаться при мысли, что то общественное устройство возможно лучшее, в котором для человека, его желаний и деятельности открыто самое широкое поприще, — словом, такое устройство, где абсолютная общинная норма, о которой вы говорите, вовсе не существует. Сожительство с другими, без которого человек не может обойтись, неизбежно влечет за собой для него разные обязанности: обязанность поддерживать это общежитие, обязанность не мешать и не вредить другим. И этого уже слишком достаточно. Попробуйте водворить еще вашу абсолютную норму — и общежитие делается невыносимым бременем, таким тяжелым, что будет перевешивать всю тяжесть, всю невозможность одиночества⁶.

И что за требование общей (мы уже не назовем ее, после сказанного, абсолютной) нормы для людей, перед которой все добровольно и сознательно «принижаются»?

Что за мысль, что каждый, живя как ему угодно, удовлетворяя своим наклонностям и влечениям, по прихоти, не останется человеком, совершенно сообразным с своей родовой нормой? Право, чтобы убедиться в этой мысли, надо быть влюбленным в нее до полного пренебрежения действительности; ибо самое поверхностное наблюдение очевидно приводит к другим результатам.

Взгляд г. М ... З ... К ... на человека слишком узок, хотя и верен себе.

Наконец, я бы хотел знать, каким образом г. М ... З ... К ... разрешает некоторые практические вопросы, естественно возникающие из его взгляда. Чтобы все в один голос сознавали родовую норму личности и добровольно и сознательно ей подчинялись — это математически невозможно. Стало быть, ее определяют не все. Кто же? Большинство? Нет, ибо оно может заблуждаться, и потом главное, по словам г. М ... З ... К ... , «способ решения по большинству запечатлевает распадение общества на большинство и меньшинство и распадение общинного начала». Меньшинство? Опять нельзя; с этим и автор не согласен, и все те, которые думают одинаково со мною. Как же? Непосредственным сознанием, как-то само собою? Это невозможно, и непременно или будет на основании мнения большинства, или меньшинства. Допустим, однако, эту невозможность. Что ж делать с теми, которые не согласны? Наказать их, принудить согласиться? Так и автор не думает. Изгнать? Хорошо. Они или пристанут к другой общине, где добровольно подчинятся закону, там властвующему; но тогда где ж родовой закон личности? Община, значит, живет не по родовому закону? Или они, эти изгнанные, не найдут другой общины, потому что везде царит родовой закон, под который они не подошли добровольно и сознательно: им остается или основать новую общину, или жить поодиночке, вне всякого общества, служа живым опровержением системы г. М ... З ... К Иначе, право, я не знаю, что им делать! Пусть поправит меня г. М ... З ... К ... , если я ошибаюсь: я торжественно, печатно признаюсь, что заблуждался до сих пор. А куда, г. М ... З ... К ... , во всех переменах общественного быта, в наше время, я вижу одно, очень высказанное стремление: дать человеку, личности сколь возможно более развития, сколько дозволяют условия общественной безопасности и спокойствия. В конце такого развития предвидится не царство абсолютного закона, а совершенно свободная деятельность лица; абсолютный закон все

более и более сводится к самой общей внешней категории — не мешай другим, не стесняй их, ибо без этого невозможно общежитие.

Теперь несколько слов о славянских общинах. Действительно, у древнейших славян были общины: я признаю это тем охотнее, что и в статье, вызвавшей возражение г. М ... З ... К ..., говорил то же самое. Но что такое они были, какая была их дальнейшая судьба — вот в чем существенное разногласие между нами. Я вижу их в начале и говорю: да, они были; потом вижу постепенно их падение и совершенное уничтожение; не имею никакой возможности опровергнуть этот факт, очевидный не только у нас, но и у всех славянских племен, сделавших хоть один шаг в гражданской цивилизации, и ограничиваюсь его объяснением. Многие данные доводят меня до мысли, что славянские общины пали потому, что были непосредственные, основанные первоначально на кровном родстве, проникнутые патриархальностью, которая, как видно из всей истории, падает с успехами и развитием гражданственности, — и эту мысль я и высказываю. Положим, что я ошибаюсь; противопоставьте же моей гипотезе другую, более правдоподобную, основательную, но не отрицайте фактов: они явны, они говорят за себя. Вместо того, что делает г. М ... З ... К ...? Видя, что наши общины утрачивают и политическое и даже административное, гражданское значение (ибо как же этого не видеть!), он все-таки продолжает твердить, что они существуют, и наконец пророчески восклицает: «нет; общинное начало составляет основу, грунт всей русской истории, прошедшей и настоящей и будущей; семена и корни всего великого, возносящегося на поверхности, глубоко зарытые в его плодотворной глубине, и никакое дело, никакая теория, отвергающая эту основу, не достигнет своей цели, не будет жить». Г. М ... З ... К ... упорно отрицает факты. Что ж с этим делать? приходится замолчать. Законодательство и все учреждения со времени Петра Великого с каждым днем делают новые завоевания в нашем общественном устройстве в пользу другого высшего начала общественности, а г. М ... З ... К ... уверяет, что общинный быт господствует у нас теперь. Как же с ним спорить?

Одна посылка не верна практически, другая не верна исторически; что ж может быть вывод из них, об отношениях романо-германского мира к славянскому? В системе г. М ... З ... К ... это не правда, потому что основания вывода неправильны. Как! простой психологический факт,

ежедневно повторяющийся на каждом из нас, дает нам право строить системы, делать заключения о будущих судьбах славянского племени, произносить приговор над целой, доселе лучшей частью человечества? Странно! По крайней мере, это не метода историка или критика. Оспаривайте чьи угодно мысли и исторические теории, но на основании положительных данных, совершившихся событий, а не мечтаний о будущем, которое от нас сокрыто. Вы, например, думаете, что наша сущность — общинное начало, и основываете это на мечтаниях, а не фактах, ибо они говорят против вас; гораздо с большим правом я бы мог утверждать, что наша задача — развить личность до высшей степени. Обе гипотезы в своем роде прекрасны, но что ж из этого? Вправе ли мы, говоря о будущем, грудью отстаивать представления, которые мы о нем составили, каждый по-своему? Действуя так, мы свидетельствуем только о младенчестве нашего понимания. Пора нам хоть когда-нибудь от этого отделаться. Что славянский мир — новая почва в истории, и, по всем видимостям, не бесплодная — это бесспорно. Но что за роль ему предстоит: устыдить ли Европу блеском своего развития и величия или стать с нею рядом и дружно идти по дороге, общей всем человеческим племенам, разумеется, сохраняя свои особенности национальные и другие, — об этом г. М ... З ... К ... так же мало знает, как и я, если только захочет смиренно в этом сознаться.

Вот с какой теорией выступил против меня г. М ... З ... К В этом всеоружии он разбирает мою статью, сначала общую ее часть. В разборе я нашел ряд придировок, а не возражений. Я сказал: русско-славянские племена образовались нарождением; чрез всю нашу древнюю историю никакие элементы не были насильственно вторгнуты в нашу жизнь; следовательно, мы развивались беспрепятственно, из себя, развивали свои исторические элементы. Эти элементы, первоначальные данные — исключительно кровный родственный быт; следовательно, их развитие наполняет нашу внутреннюю историю. В чем же должно было состоять это развитие? Новая история привела меня к мысли, что оно должно состоять в постепенном отрицании, распадении исключительно кровного элемента и в постепенном приготовлении личности к самостоятельному действию. Историческая часть служит подтверждением этой мысли. Кажется, ясно и просто. Если я заблуждаюсь, опровергните премиссы⁸, докажите, что наш быт не был исключительно кровный, родствен-

ный, что в состав русских славян вошли другие сильные элементы, изменившие наш внутренний быт, — что личность является у нас действующею с самого начала, словом, как-нибудь подорвите одну из основ истории, и она рухнет сама собою. В критике г. М ... З ... К ... не находим ничего подобного.

Он говорит, что и все народы образовались чрез народождение, как будто я когда-нибудь доказывал противное; не касаясь нисколько замечания, что посторонние начала никогда не были насильственно вносимы в жизнь русских славян, отрицает, что в древнейшие времена они имели исключительно родственный быт, а почему — Бог весть; кто ж не видит, что если народ образовался чрез народождение и развивался совершенно самостоятельно, то у него и не могло быть сначала другого быта, кроме исключительно родственного! Потом, мимоходом, критик спрашивает, почему в исчисление родственных названий, которые даются у нас друг другу в крестьянском быту, попали ребята, вероятно, забывши, что где люди считаются родством, там непременно существует и представление о старшинстве и меньшинстве по летам, которое между прочим выражается и в слове *ребята*, как в словах *отрок*, *чадь*, *детский* и т. д., и нераздельно с патриархальным бытом. Затем г. М ... З ... К ... в виде возражения приводит, что в Германии родственные названия употреблялись в средневековых гильдиях, а во Франции употребляются и теперь в простом народе. Что ж из этого? — спрошу я. Во Франции и Германии рядом с этими отношениями, показывающими не совсем пережитые патриархальные элементы, я вижу другие явления, объясняемые другими началами, а у русско-славянских племен их не вижу; здесь все сводится к патриархальным элементам. Неужели критику могла хотя на одну минуту прийти в голову странная мысль, что я не признаю присутствия кровных элементов в быту европейских народов и не вижу решительно никаких зачатков гражданских элементов в древнем быту России? А это выходит из его возражения. Я указывал на преобладающие элементы, грунт, почву, на которой совершалась история у нас и в Европе, на то, что определяло развитие", а г. М ... З ... К ... показалось, что я и не подозреваю присутствия патриархальных начал в европейских народах и гражданственности у нас. Хорошо же он меня понял!

В числе возражений встречаем также следующее:

«Такого рода терминология (взятая из родственных отношений), более или менее встречающаяся у всех племен, ничего не доказывает, или, лучше, она доказывает совсем не то, что полагает автор. Она выражает ту мысль, что *кроме* выполнения вынуждаемых законом обязанностей, человек хотел бы найти в другом сочувствие, совет, любовь; а для выражения этих требований всего ближе заимствовать терминологию из семейного быта» (стр. 138).

Ближе, но не вообще, а судя по семейному быту; это во-первых. Потом, покуда типом близости служат родственные отношения, я все еще вправе думать, что или патриархальные элементы еще не совсем пережиты народом, или что он в них порядком не взгляделся, не вполне их сознал; ведь и это часто бывает. Мало ли о чем понятия изменились, а терминология остается, по привычке, прежняя. Говоря о родственных отношениях, г. М ... З ... К ... всегда думает о родственной любви и совсем выпускает из виду родственные ненависти, которые сильнее, продолжительней всякой другой¹⁰. От этой идеализации всего существующего и непрактичность, недействительность взгляда критика.

Удовлетворившись такими придирками, думая, что они уж совершенно опровергли основания взгляда, критик отвергает мой вывод, что наша древняя внутренняя история была постепенным развитием исключительно кровного, родственного быта, и противопоставляет ему свой собственный вывод.

«В первых строках нашей летописи мы читаем признание несостоятельности родового начала и потребности третьей власти, сознательно и свободно призванной; с этого времени семейное и родственное начало непрерывно видоизменялось без решительного, постороннего влияния; следовательно, в древнем нашем быту были искони другие начала, которые развивались вместе с ним, и следовательно, этот быт не был исключительно семейственным, родственным» (стр. 138 и 139).

Я сказал, что смысл нашей внутренней истории до Петра — высвобождение, рождение личности и, наоборот, разложение, распадение патриархальных элементов. Что это значит? То, что человек является в России первоначально погруженным в исключительно патриархальный быт, под его исключительным определением, а потом тот же человек мало-помалу пробуждается к внутренней, самостоятельной деятельности как лицо. Если и сперва, и потом действовал и жил человек, ясно, что все начала,

которые когда-либо определяли или еще будут определять его быт, заключались в нем в зародыше. Но разве я когда-нибудь отвергал это? Разве я доказывал, что у нас сначала был исключительно родственный быт помимо человека? А из слов г. М ... З ... К ... это выходит; я говорю об элементах, формах, определявших человека, и показываю, как они постепенно изменялись, конечно, не сами по себе, а чрез его посредство и для него, а г. М ... З ... К ... непременно хочется, чтоб я человека отбросил, да и объяснил ему, как исключительно родственный быт перешел в неродственный, гражданский и государственный. Если бы он этого не хотел, он не увидел бы искони в нашем древнем быту каких-то других начал только потому, что «в первых строках нашей летописи мы читаем признание несостоятельности родового начала и потребности третьей власти, сознательно и свободно призванной», и «что с этого времени семейное и родственное начало беспрерывно изменялось без решительного постороннего влияния». Эти начала, на которые намекает г. М ... З ... К ... — те общие свойства человеческой природы, которые одинаковы у всех народов, во все времена; но только формы, в которых они выражаются, всегда вполне соответствуют той эпохе, когда обнаруживаются, и потому вполне ею объясняются. Призвание, о котором говорит автор, служит блистательным доказательством этой истины; мысль, которая его вызвала, — желание благоустройства и порядка — общая всем народам в мире; форма, в которой она выразилась, до того патриархальна, что не имей мы никаких других свидетельств и данных, мы по одному этому событию могли бы догадаться, что тогда господствовал у нас патриархальный быт. Из тех тысячи вариаций, которые разыгрывались на эту тему призвания¹¹, г. М ... З ... К ... мог бы, кажется, заключить, как чужд для нас тот порядок мыслей, который побудил наших предков в IX веке послать за море искать «третьейскую власть».

Вот и все о моей основной точке зрения. То, что следует далее о христианстве, мне кажется странным. Сверх того, взгляд г. М ... З ... К ... на религию вообще не современен, и потому я считаю бесполезным и невозможным спорить с ним об этом¹².

Затем, выписав из моей статьи очерк развития начала личности в Западной Европе, автор делает на него свои замечания:

«Когда мы прочли его в первый раз, мы все ожидали дополнений, оговорок, до такой степени он показался нам односторонним, но ничего подобного не нашлось в статье; напротив, та же мысль определялась все резче и резче. Скажите, однако, неужели в самом деле германцы исчерпали все содержание христианства? Неужели они были единственными деятелями в истории Запада? Неужели все явления ее представляют только моменты развития одного начала — личности? Ведь это противно самым простым, элементарным понятиям, почерпаемым из всей исторической литературы французской и немецкой? И этот взгляд, уничтожающий не менее половины западного мира, брошен вскользь, как будто даже не подлежащий спору. Для кого же все это писано?

Сколько нам известно, Гизо первый понял развитие всего западного мира как стройное целое. Он видел в нем встречу, борьбу и какое-то отрицательное примирение в равновесии трех начал: личности, выражаемой германским племенем, отвлеченного авторитета, перешедшего по наследству от Древнего Рима, и христианства. Последнее начало, само по себе цельное, в Западной Европе распалось на два исторические явления, под теми же категориями авторитета и личности. Римский мир понял христианство под формою католицизма, германский мир — под формою протестантизма. Может быть, Гизо потому только не провел дуализма чрез западное христианство, что восточная половина Европы была ему мало известна. Германское начало, идея личности создала целый ряд однородных явлений. В сфере государства: различные виды искусственной ассоциации, коей теория изложена в «*Contrat social*» Руссо¹³; в сфере религии — протестантизм; в сфере искусства — романтизм. В тех же сферах развились из римского начала совершенно противоположные явления: идея отвлеченной верховной власти, формулированная Макьявелем; католицизм и классицизм. Мы не навязываем этого взгляда г. Кавелину, но как же уверять нас, что римское начало не участвовало наравне с германским в образовании Западной Европы и что в одном последнем заключается зародыш будущего?» (стр. 143 и 144).

У г. М ... З ... К ... постоянное правило — приписывать мне, чего я не говорил, требовать — чего я не обязался делать. Я нигде не сказал, что германцы исчерпали все содержание христианства, что они были единственными деятелями в истории Запада, что римское начало не участвовало наравне с германским в образовании Западной Европы: поэтому не считаю и нужным отвечать на эти вопросы. Я представил беглый обзор, как начало личности, принесенное на европейскую почву германскими племенами, развивалось, смягчалось под влиянием христианства и греко-римского мира и наконец теперь, более и более утрачивая свою историческую исключительность, переходит в более широкий, многосторонний тип человека. В совре-

менном требовании гуманности, проводимом всюду и которого последним словом является благосостояние и нравственное развитие каждого человека в особенности и всех вместе, я вижу результат развития германского элемента под указанными влияниями христианства и греко-римского мира. Г. М ... З ... К ... принял эту очень простую и теперь довольно общую мысль за очерк западной истории, и на этом основании укоряет меня в односторонности взгляда, в уничтожении половины западного мира, наконец спрашивает: «для кого же все это писано?» Странно! Если г. М ... З ... К ... идет от готовой мысли, что авторитеты, принципы и т. д., прежние, теперешние и будущие, не выражали сознания человека об истине и не средство для его развития, то, конечно, я писал не для него; а он идет от этой мысли: у него и христианство, и античный мир, и начало личности вытянуты в одну линию, тогда как последнее — живая почва, основание, а первые два — элементы, на него действующие, его воспитывающие.

Изложив после того свои мнения о личности, ее бесилии перейти в человека, как будто бы это были противоположности, а не разные определения одного и того же человека¹⁴, изложив необходимость для личности сознавать свой родовой закон и свою неправоту перед ним, откуда доктрина «принижения» личности, г. М ... З ... К ... говорит:

«Итак, должно различать личность с характером исключительности, ставящую себя мерилom всего, из себя самой создающую свои определения, и личность как орган сознания; эти два вида автор беспрестанно смешивает; в одном только месте он различает их» ... (стр. 148). «Автор различил историческое проявление личности враждующей от ее абсолютного значения как сознающей себя; но тою же фразою он связал оба вида неразрывно, признав первый необходимым условием, как бы приготовлением ко второму. Примирение личностей — есть последняя цель; путь к ней — вражда; личность непременно должна сознавать себя — сознание приобретается отрицанием, не логическим, разумеется, а полным практическим отречением от всех определяющих ее отношений» (стр. 149).

Из моего взгляда критик выводит за меня, что «русский должен был сперва сделать из себя германца, чтоб потом научиться от него быть человеком», как будто стать самостоятельным значит стать немцем. С этим я реши-

тельно не согласен, ибо оно слишком лестно для них и слишком обидно для нас.

Г. М ... З ... К ... продолжает:

«И вот, наконец, мы дошли до исходной точки разбираемой нами статьи. Ключ к образу мыслей автора у нас в руках; мы понимаем, откуда произошла неполнота определения исторического влияния христианства, невероятная односторонность взгляда на развитие Западной Европы, пристрастное суждение о древнем быте германцев и славян, восхваление Иоанна Грозного и клевета на его современников. Все это вытекает как нельзя естественнее из одной мысли о способе приобретения сознания, а эта мысль есть, конечно, один из обильнейших источников современных заблуждений. Автор, к сожалению, не счел за нужное доказывать ее; он даже не высказал ее строго и положительно, хотя и не скрыл, как дело известное и всеми признанное. Что не доказано, того, разумеется, и опровергать нельзя, и потому нам остается в этом случае предложить автору вопрос: что бы такое могло дать нам право заключать, что там, где господствует быт семейный, нет личности в смысле сознания или что тот, кто живет под определением семейного родства, не сознает в себе возможности отрешиться от него, или что человек, который никогда не бил другого и не бьет его, не сознает своей силы, или, наконец, что человек, еще не лишивший себя жизни, не знает, что он живет? Все эти вопросы, в сущности, тождественны, и если они имеют вид шутки, неуместной в нашей рецензии, то в том виноваты не мы; неужели признать более уместным в современной науке мнение о бессознательности родственного устройства, как необходимой принадлежности, и вытекающее отсюда последствие, что в начале XVIII века мы только что начинали жить умственно и нравственно?» (стр. 150 и 151).

Абсолюты — это камень, на котором г. М ... З ... К ... часто спотыкается и каждый раз падает. Если б человек когда-нибудь мог открыть искомое X, абсолютную норму личности, и ей добровольно и сознательно подчинился, как мечтает автор критики, тогда, бесспорно, он бы сделался пассивным органом одного сознания, и тогда ему не для чего было бы добиваться сознания путем отрицания, и теоретического, и практического. К несчастью, это не так. Человек беспрестанно ищет и беспрестанно находит: удовлетворение сменяется неудовлетворением и так далее до бесконечности; абсолютное нигде не оказывается, а между тем человек становится развитей, многосторонней. Что заставляет его идти этим путем, что возбуждает в нем недовольство тем, чем он обладает? Требования, в нем самом лежащие и которые беспрестанно изменяются. Таким образом, человек создает свои определения из

себя: не будь в нем этих требований, он вечно оставался бы одним и тем же, как окружающая его природа, строго и безусловно повинующаяся внешнему закону. А как создание нового быта исторически, везде и всегда, возбуждает противодействие, желание удержать старое, то между тем и другим происходит столкновение, вражда, практическое отрицание. По степени гражданской образованности оно выразится в убийстве или драке, или брани, или ссоре, или, наконец, в самом миролюбивом, добросовестном обсуждении, но тем не менее столкновение все-таки будет, и оно необходимо выразится в фактах, внешних деяниях, в мире практическом. Я не знаю абсолютной, родовой нормы личности и не признаю ее существования; знаю, что человек был и до сих пор находится в столкновениях с другими людьми, в недобровольной зависимости от них, тягостной для него и не только для него, совершенно бесполезной, но и положительно вредной; чрез всю историю видно стремление отделаться от этой зависимости если не совсем, то как можно более ограничить ее самым необходимым и неизбежным; чем ближе человек подходит к этой цели, тем он миролюбивее относится к другим людям, потому что вражда имеет менее основания, поводов и причин. Вот почему я и сказал, что примирение личностей — цель развития; вот на каком основании я думаю, согласно с фактами, что путь, ведущий к этому примирению, — вражда, отрицание. Живя, мы не к старому возвращаемся, а новое создаем, до которого достигнуть невозможно без практического отрицания старого. Сознание личности при зависимости вызывает эту борьбу; а где нет ее, там нет и сознания, другими словами — глубоко-чувствуемой потребности самостоятельной личности. Вы можете указать мне на переходные эпохи в истории, когда сознание и факт противостоят друг другу. Но за то именно их и называют переходными, ненормальным состоянием. Они оканчиваются всегда тем, что сознание наконец осуществляется на деле, воплощается. Ваша идеальная личность, добровольно и сознательно подчиняющая себя родовому закону, подчиняется своему сознанию, стало быть, она — личность, из себя создающая свои определения; иначе она несознательная личность, из этого круга вы не выйдете, как ни бейтесь.

Критик меня спрашивает: «что бы такое могло дать нам право заключать, что там, где господствует быт семейный, нет личности в смысле сознания или что тот, кто

живет под определением семейного родства, не сознает в себе возможности отрешиться от него, или что человек, который никогда не бил другого и не бьет его, не сознает своей силы, или, наконец, что человек, еще не лишивший себя жизни, не знает, что он живет?» Хорошо он сделал, предупредив, что не шутит; иначе я бы, право, не догадался, видя это сопоставление самых разнородных вопросов под именем тождественных. Постараюсь объяснить дело, как я его понимаю: семейный закон прекрасен для несовершеннолетних как средство воспитания и очень стеснителен для совершеннолетних, которые хотят быть, как говорится, на своих ногах. Теперь, если совершеннолетний подчиняется этому закону и не думает о самостоятельности, значит сознания этой самостоятельности у него нет, стало быть, нет у него и сознания своей личности, вследствие которого необходимо и неизбежно рождается требование самостоятельности. Все возражения, которые можно мне сделать на это, будут непременно сводиться или к личным отношениям родителей и совершеннолетних детей, следовательно, сюда нейдут, или к неюридическому характеру семейных отношений, что возможно только в догражданственной семье и, следовательно, предполагает совершенное отсутствие сознания личности, самостоятельности в людях. Думаю, что теперь моя мысль ясна. После этого я надеюсь, г. М ... З ... К ... уж не станет считать тождественными с первыми двумя вопросами остальные два; я живу, потому что это ощущаю; сознание моей силы может во мне быть и не быть, хотя и нет никакой причины приобретать это сознание побоями, и именно людей; а сознанием или несознанием самостоятельности определяются отношения к другим людям. Я могу от нее отказаться — добровольно, по своим соображениям, влечениям и т. д.; тогда это — акт моей воли, моего сознания, уже предполагающий меня самостоятельным. Семейный закон противоречит началу личной самостоятельности; следовательно, между обоими принципами обыкновенно возникают столкновения и теоретические, и практические; где семья и личная самостоятельность живут дружно, надо искать причин в постоянном, а не в этих двух принципах и их взаимных отношениях.

Вот опровержения общей теоретической части моей статьи. Каковы они, мы видели. За этим следует разбор исторической части. Взглянем.

Г. М ... З ... К ... видит доводы против моего мнения об исключительно семейном, родственном быте древних славян в том, что они чувствовали обиду и мстили за нее и, в особенности, что славяне хорошо принимали иностранцев¹⁵. Против первого возражения, право, нечего сказать; во втором автор, кажется, забыл, что враждебность к иностранцам у всех народов появляется вместе с первым сознанием национальности (не говоря о посторонних, случайных причинах враждебности), — что ни в первобытном состоянии, ни при высокой степени образованности этой враждебности нет; это факт не исключительно-славянский, а всемирно-исторический. Только формы гостеприимства сначала и потом различны. Формы славянского гостеприимства патриархальны, что и было для меня новым доказательством семейного быта древних славян. Кто оказывает одно патриархальное гостеприимство, тот, конечно, воспитан в исключительно-патриархальном, т. е. родственном, кровном быту. Думаю, что это ясно и не подлежит сомнению.

Мое объяснение призвания варягов тоже не нравится г. М ... З ... К ...; он находит его странным.

«Странный вывод! Несколько соседних племен живут независимо друг от друга; в каждом из них господствуют родовые вражды; им захотелось жить в союзе и согласии; у всякого племени много старейшин, имеющих разные права быть старейшинами над союзом племен; они отказываются от своих притязаний, чтобы не возбудить соперничества и вражды в других, и предлагают добровольно власть над собою чужеземцам; все это от того, что в них не было духа общности, которого кровный быт не развивает. Отсутствие общественного духа породило у нас первое общество!» ... (стр. 154).

Остроумно, но неверно! Люди, которые так завистливы друг к другу, что не могут согласиться уступить власть кому-нибудь из своей среды, подчиниться ему, а едут за море, к чужому, постороннему, — можно ли признать в них дух общности? Положим, что они вызвали чужих для защиты от врагов — вывод относительно общности будет тот же. Требование общности было, как и у всех в мире оно есть, а духа не было. Только тот, кто не умеет, не знает, сам не может сладить, ищет чужой помощи. Разве о таких вещах можно еще спорить?

Автор оспаривает также, что варяги первые принесли идею государства на нашу почву; если они были призва-

ны, так не им принадлежит она: вот как он рассуждает¹⁶. Но это натяжка. Варяги призваны в качестве судей, военных стражей, как угодно. Пришедши, они вскоре начали делать то, что во всем мире делали: воевать направо и налево племена, брать с них дань, вероятно, нелегкую, судя по их частым восстаниям; даже на месте, куда были призваны, они не усидели, а выбрали такое, которое им было больше по сердцу. И выходит, что славянские племена (далеко не все) хотели одного, сделалось совсем другое, и не чрез них, а чрез деятельность варягов, которые, силой удерживая за собой русско-славянские племена, связали их внешними узами в одно целое. Вот почему я и сказал, что идея государства принесена варягами на нашу почву: мысль о единстве всей России была результатом их завоеваний.

На стр. 154 и 155 г. М ... З ... К ... старается доказать, что дружина не была учреждением исключительно германским, — что к нам принесено варягами дружинное начало в значении ближайшей свиты почетного лица, князя или боярина, а дружины в смысле совокупности людей, собравшихся для общего дела и избравших себе на время и для известной цели предводителя, — явление национальное, туземное. Родовое начало, как очень оригинально заключает критик, могло иметь место только в дружине в первом смысле, при отношениях личных; стало быть, по его мнению, в дружинах, собиравшихся для общего дела, под начальством избранного вождя, родовых отношений не могло быть. Твердо веруя в это, автор опирается на свою мысль, как на каменную гору, и в упоении победы иронизирует над моим мнением.

«Не потому ли автор отрицает существование дружины, что трудно было объяснить происхождение бурлака или казака из того семейного быта, в котором (по словам его) человек лишается упругости, энергии, распускается в море мирных отношений, убаюкивается, предается покою, нравственно дремлет, становится слаб, доверчив и беспечен, как дитя. Конечно, под этот тип хилого домоседа трудно подвести Ермака и Тараса Бульбу; что ж делать! Из истории их не вычеркнешь» (стр. 155 и 156).

И в другом месте:

«Никто, вероятно, не будет отрицать того, что каждый народ в своей национальной поэзии изображает идеал самого себя, сознает в образах различные стремления своего духа. Чего нет в народе, того не

может быть в его поэзии, и что есть в поэзии, то непременно есть и в народе. Каким образом воображение народа, изнеженного семейною жизнью, лишенного энергии, предприимчивости и вовсе не сознающего идеи личности, могло создать целый сонм богатырей? Сколько нам известно стар-матёр казак Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович и прочие бездомные удалыцы, искатели приключений имели и достаточный запас сил и соразмерную уверенность в себе самих. Любая германская дружина не постыдилась бы их принять. Каким же образом связать их с родовым устройством, с ограниченным домашним бытом, в котором убаюкивалась личность, из которого никогда не вырывалась она на простор. Или вы скажете, что и они занесены в народную фантазию из-за моря?» (стр. 163 и 164).

Но критик торжествует преждевременно; ускор¹⁷ и казак гораздо ближе к патриархальному и родовому быту, чем он думает; он этого не видит, вероятно, по той же самой причине, по которой идея человека и принцип личности кажутся ему неразрешимой антиномией. Общество, основанное на патриархальных отношениях, не дает простора и места личности; поэтому личность, возникшая в такой среде, рвется вон на волю; она не могла получить в патриархальном обществе того гражданского воспитания, которое дает лишь правильный, юридически устроенный быт, заставляя каждого понимать необходимость организованного общежития, и потому уважать и не нарушать чужих прав: поэтому такая личность является необузданною, дикою, противообщественною; в ней много поэтического, как во всем, носящем на себе печать силы и нестесняемой игры человеческой природы; но в то же время в ней нет элементов гражданской общественности, способной создать правильное человеческое общество. Ускоки, казаки — одна сторона патриархального быта, совершенно соответствующая другой, кроткой, миролюбивой, оседлой жизни. Чтоб удостовериться, что казаки и ускоки — *le revers de la médaille*¹⁸ патриархального общества, стоит прочесть описание запорожских казаков в «Чтениях Общества истории и древностей российских»¹⁹; стоит только обратить внимание на то, что юридически-устроенные общества именно потому, что они основаны на начале личности, не высылают из себя ватаг ускоков и казаков; живой, деятельной, предприимчивой части населения и в них довольно места и дела. Германские дружины основали государства и дали им первую форму, которая потом развивалась и вырабатывалась; все государства или державы, основанные славянскими дру-

жинами, разрушились, более от недостатка внутреннего цемента, чем от внешних условий. Это многозначительный факт, приводящий нас к основному различию германских и славянских дружин: первые заключали в себе юридические элементы, вторые — нет; первые были основаны на начале личности, вторые — проникнуты патриархальностью, решительно не удобной для развития лица и, следовательно, правильного общежития. Вот в каком смысле я считаю дружину варяжскую явлением совершенно новым на нашей почве, таким, которого нельзя объяснить из туземных элементов; далее в этом же смысле я сказал, что слово «дружина» не вполне передает нам значение этого германского учреждения: оно было юридическое, а не патриархальное, которое превосходно передается словом «дружина». Не перетолковывая данных, едва ли можно с этим спорить. Факт факту рознь: самые по-видимому сходные весьма часто отстоят друг от друга, как небо и земля, по своему внутреннему значению. Так и с дружинами германскими и славянскими.

Стран. 158: «Следя за развитиями русского государства, он (то есть я) упустил из виду русскую *землю*; забывая, что *земля* создает государство, а не государство *землю*. Мы видели, говорит он, что само в себе общинное начало не имело зачатков жизни и развития. Несмотря на все натяжки автора, мы видели противное в призвании князей, увидели бы то же в принятии христианской веры, которое было делом всей земли, если бы только автор рассудил за благо сказать о нем хотя бы слово; мы видели то же в сознании неспособности жить без князя и в повторяющихся призваниях; наконец, мы видим, что в позднейшую эпоху, когда упразднилось государство, это общинное начало, по словам автора, не имевшее зачатков жизни и развития, спасло единство и цельность России, и снова, как в 862 г., так и в 1612 г., создало из себя государство».

Не во гнев будь сказано г. М ... З ... К ... , я не везде вижу, чтоб земля создавала государство; способ принятия нами христианской веры едва ли можно употребить как аргумент против меня: критик столько раз заставлял меня обращать внимание на разные предметы; позволяю и я себе обратить его внимание на рассказ летописи о крещении Руси²⁰. Итак, все эти доводы — неубедительны.

«Автор (то есть я) опять повторяет, что общинное начало клонилось более и более к упадку, потому что не было основано на личном начале: не общинное начало, а родовое устройство, которое было низшею его

степенью, клонилось к упадку, а так как в нем были зачатки жизни и сознания, то оно спасло себя и облеклось в другую форму. Родовое устройство прошло, а общинное начало уцелело в городах и селах, выражалось внешним образом в вечах, позднее в земских думах».

Несколько строк ниже г. М ... З ... К ... говорит:

«Автору непременно нужно было связать его (общинное начало) неразрывно с родовым началом, чтоб принести оба в жертву личности. Достается же от него русской истории!»

Неудачность последней фразы извиняется увлечением г. М ... З ... К Он так увлекся, что даже нашел возможность разорвать на части единый, цельный, человеческий и народный организм и каждому из них придать свою особенную жизнь. По его мнению, в древней России было родовое начало, но рядом и другое — общинное начало, которое жило и развивалось независимо от него. Чтоб придать этой мысли хоть тень правдоподобия, нужно было создать новую теорию общины — словом, подъять геркулесовские труды. И из любви к мечте г. М ... З ... К ... их подъял! Мы — так думаем, что община, не основанная на личности, есть только призрак общины, разлетающийся при первом прикосновении гражданственности; родовый быт исключает личность, а как он у нас господствовал, то и наши общины были призрачные, потому-то они и исчезли.

Последний вывод из всех рассуждений автора состоит в том, «что богатырь как создание народной фантазии, князь как явление действительное в мире гражданском, наконец, монах как явление той же личности в сфере духовной» опровергают мое мнение об отсутствии личности в древней Руси. Явное недоразумение! Ибо где есть человек, там, конечно, есть и личность в смысле почвы развития и сознания; этого я и не опровергал никогда; я сказал только, что эта личность не была началом действующим, самостоятельным, определяющим быт, а пассивным, страдательным, и против этого нельзя спорить, не делая натяжек. Мимоходом заметим, что монах не может быть назван явлением туземным на нашей почве, и относится к другому порядку вещей, принесенному к нам.

Что касается до противоречий в том, что я сказал о Новгороде, то действительно «они заключаются только в словах, а не в мысли»²¹. Говоря, что «в лице Новгорода пресекался неразвившийся, особенный способ существова-

ния древней Руси, не известный прочим ее частям», — я имел вот какую мысль: мы видели, как переродилась Русь, в которой утвердился порядок вещей, существенно различный с новгородским и продолженный Москвой и российской империей. Такое же перерождение необходимо предстояло и самостоятельным общинам — Новгороду и Пскову, но вследствие насильственного прекращения их самостоятельности мы не можем гадать, как бы оно там совершилось. В таком же смысле я сказал, что о Новгороде нельзя сказать, как о России перед Петром Великим, что он отжил свой век и больше ему ничего не оставалось делать как исчезнуть: самое сравнение с допетровской Россией показывает, что я разумел учреждения, быт, а не существование Новгорода. Стремление его идти по тому же пути, по которому впоследствии пошла вся Россия, чего г. М ... З ... К ... не признает, доказывается следующими словами митрополита Филиппа новгородцам:

«А ныне слышу в детех ваших, в новгородцах, да и в многих у вас в молодых людех, которые еще не навыкли доброй старине еже стояти и поборати по благочестию, а инии деи не познав доброго наказания отец своих, благочестивых родителей, да по животех их остались, по грехом, ненаказани, как жити в благочестии: да и нынеча деи те несмысленные, копяся в сонмы, да поостраются на многая стремления и на великое земли неустроение, нетишину, хотячи ввести мятеж велик и расколу в святей Божьей церкви, да оставя православие и великую старину да приступити к латыном» (Акт. Истор. Т. I. № 281, стр. 516)²².

Стремления секуляризовать¹ церковные имущества в Новгороде и Пскове — слишком общеизвестный факт.²³ Конечно, г. М ... З ... К ... может мне возразить, что в Новгороде шла речь о духовном устройстве и быте, а при Петре о гражданском и государственном; но сходство тем не менее разительно; в разных сферах происходили в наших древних обществах и петровой России одинаковые явления: недовольство прежним, оставление обычаев отцовских и прилепление к иностранной новизне.

Особенно сильные нападки со стороны г. М ... З ... К ... вызывает мой взгляд на Иоанна Грозного. «В словах автора, — говорит критик, — без его ведома промелькнула мысль, оскорбительная для человеческого достоинства, та мысль, что бывают времена, когда гениальный человек не может не сделаться извергом, когда испорченность совре-

менников, большею частию бессознательная, разрешает того, кто сознает ее, от обязательности нравственного закона, по крайней мере до того умаляет вину, что потомкам остается соболеznовать о нем, а тяжкую ношу ответственности за его преступления свалить на головы его мучеников» (стр. 169 и 170).

Это не аргумент против меня. Надобно умышленно закрыть себе глаза, чтоб не видать, что история исполнена таких оскорбительных для человеческого достоинства явлений. В их уменьшении, в уничтожении их возможности учреждениями, образованием, перерождением нравов и обычаев и заключается смысл и цель истории. Г. М ... З ... К ... думает, что человек искони был то, что теперь, только формы изменились; а мы, напротив, думаем, что человек с большими усилиями, сквозь тысячу ошибок, заблуждений, предрассудков и страданий стал тем, что он теперь есть, и не позволяем себе отделять форму от содержания²⁴. У г. М ... З ... К ... есть готовый рецепт для всех исторических деятелей и явлений, а мы по необходимости выводим его из данных, фактов. Все то, что защищали современники Иоанна, уничтожилось, исчезло; все то, что защищал Иоанн IV, развивалось и осуществлено; его мысль так была живуча, что пережила не только его самого, но века и с каждым возрастала и захватывала больше и больше места. Как же прикажете судить этого преобразователя? Неужели он был неправ? Что касается до образа его действий, я отзывался о нем слишком резко и определительно, чтоб можно было усомниться в моем мнении на этот счет. Мой отзыв остается в своей силе, несмотря на негодование г. М ... З ... К Практическая жизнь и деятельность у нас даже до сих пор кажется чем-то прозаическим и не совсем чистым; название «человек практический» очень недавно и только в образованных слоях общества перестало быть синонимом с неблагородным, нечестным человеком. Не знаю как для г. М ... З ... К ..., а для меня это факт многозначительный. Он дает нам меру для общественного быта эпохи, в которую слово «практический» могло иметь такое значение. Вы скажете: в древней Руси этого не было. Действительно не было — потому что не было идеала для лучшего, — идеала, принесенного к нам с реформой и новыми учреждениями. Действуя практически в такой среде, нельзя было не подвергнуться ее влиянию, не принять на себя ее оттенка. И это было с Иоанном IV. Вы находите, что было бы клеветой упрекать Сильвестра, Адашева, князя Курбского,

митрополита Филиппа и многих других в равнодушии, безучастии, в отсутствии всяких духовных интересов? Во-первых, согласитесь, что несколько людей не составляют целого народа, целого общества; и в Азии была не одна замечательная личность, а все-таки Азия страна безличности. Во-вторых, все лица, которых вы назвали, положим, очень были преданы своему делу, но заметьте, все они защищали обычай, старину, уходящую патриархальность, каждый в смысле своего звания; их нельзя назвать поэтому поборниками идей, возможных только в личности, отрешившейся от данного, непосредственного содержания и свободно избирающей лучшее по своему крайнему разумению; что касается до беззлобия обвинителей Иоанна, то это по крайней мере еще вопрос; о Курбском этого сказать нельзя; о множестве других бояр, наводивших крымцев на Россию, замышлявших отдать Россию Литве, — тоже нельзя; нельзя даже совершенно безопасно сказать, что они ходатайствовали за честь России. Если уж вы не находите возможным оправдать Иоанна, не идеализируйте, по крайней мере, его современников; скажите лучше, что все вместе сливалось в такой хор, который даже через триста лет страшно слышать нам, современникам лучшей эпохи. Такое замечание было бы по крайней мере понятно. От ужасов того времени нам осталось дело Иоанна; оно-то показывает, насколько он был выше своих противников. Для его оправдания, право, мне вовсе не было нужно прибегать к тем *tour de force*²⁵, тем насилиям над «здравым чувством», на которые как будто намекает критик: я судил по фактам, по всей истории, как ревностный защитник исторического развития и здравого смысла, а не туманно-мистических теорий, прекрасных в голове, мертвых покуда в действительности.

Стр. 171. «Несколько далее автор говорит: «В начале XVIII века мы только что начинали жить умственно и нравственно». Против этого считаем излишним возражать. Доведенная до такой крайности односторонность становится невинною».

Итак, г. М ... З ... К ... находит мою мысль до того забавною или нелепой, что не удостоивает ее даже возражения. Это в его воле. Повторяю, что я отвечаю не для критика, а для читателей: я не льщу себя надеждой убедить первого; наши мнения слишком резко расходятся; последние могут быть беспристрастны, выслушав нас обоих, и потому к ним я и обращаюсь. Умственное и нрав-

ственное развитие невозможно без развитой, самостоятельной личности; все древнерусские формы, как ведущие свое начало из патриархального порядка вещей, препятствовали ее развитию; стало быть, действительно, не шутя, мы начали жить умственно и нравственно только в XVIII веке; до этого времени, т. е. до реформы, заметно какое-то тревожное, беспокойное стремление к такой жизни — никак не более: все факты тогдашнего нашего умственного и нравственного развития доказывают это самым убедительным образом.

Остановимся на этом. Восемь тезисов г. М ... З ... К ... о древней русской истории²⁶, из которых половина, по собственному его признанию, «имеет вид гипотез», не касаются до нас. Так как у критика «не было ни возможности, ни намерения доказать их», то и нам не для чего писать на них опровержения. Станем ждать времени, когда эти тезисы примут вид строго выработанной системы под даровитым пером г. М ... З ... К

ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЕЛЬСКУЮ ОБЩИНУ

Русская сельская община, как все предметы, до которых не касалась наука, подает повод к бесконечным недоразумениям. Попробуйте о ней поспорить с кем бы то ни было, и вы увидите, что каждый соединяет с нею свое особое понятие. Оно и не может быть иначе. Община — явление живое, действительное и оттого весьма сложное; она органически связана со всеми сторонами нашей народной жизни, находится под их влиянием и сама на них влияет. Естественно, что каждый смотрит на общину с своей точки зрения, подводит ее под общие свои понятия о народной жизни вообще и нашей в особенности. А кто может похвалиться, что понял ее вполне, проник все тайники ее в прошедшем и настоящем, и с уверенностью может указать хотя главные ее направления в будущем? Оттого каждый видит в русской сельской общине одну какую-нибудь сторону и потому, порицая или защищая ее, относительно прав; не прав же потому, что или вовсе не замечает, или не довольно взвешивает другие стороны того же явления.

Первый, самый обильный источник недоразумений относительно русской сельской общины — это смешение общины административной с поземельною. Находят, что община поглощает индивидуальность, не дает почти никакого простора личности и гражданской самостоятельности членам общины и тем парализует их силы, существенно мешая вместе с тем развитию нравственных и экономических сил всего государства. Упрек справедлив, но к кому он относится? Очевидно к общине административной. Подать лежит не на земле, а на душе; рекрутскую повинность отправляет не всякий за себя, а несколько лиц из числа тысячи ревизских душ. Все повинности натуральные, подати, сборы, самый поземельный оброк¹ расчисляются по числу душ. При таком личном характере податей и повинностей ответственность за исправное отправление их со стороны общины неизбежна. Государству невозможно иметь дело непосредственно с каждым из подат-

ных людей в отдельности, и оно поручает это общинам, возлагает на них надзор над каждым из своих членов и ответственность за них. Для этого общины снабжены большою принудительною властью относительно каждого из своих членов. Кто приписан по уплате податей и повинностей к общине, тот не может выйти из нее без ее согласия, не может отлучаться из нее без ее позволения; не платит он податей — община его наказывает, потому что за него отвечает перед правительством; а если он так замотался, что и платить не может, — община или ставит его в рекруты вместо исправных хозяев, или совсем от него отказывается и отдает его в распоряжение правительства. Такая круговая ответственность всех за одного тяжела для первых, тяжела и для последнего, потому что на практике стеснительна для правых и виноватых. Три четверти возражений против общины направлены с этой стороны, но относятся не ко всем сторонам ее, а только к одной, административной. Честь этого различия бесспорно принадлежит, если не ошибаемся, «Сельскому Благоустройству», в особенности почтенному редактору его, г. Кошелеву². Везде и при всяком случае он указывает на различие и, отстаивая общину поземельную, постоянно напоминает, что не к ней относятся возражения, вызываемые против общины ее теперешним административным устройством. Действительно, последнее зависит от общей финансовой системы, существующей у нас с Петра Великого, и с изменением ее может измениться административным или законодательным порядком, не касаясь поземельного устройства.

Обратимся теперь к поземельной общине.

Владение землею миром, как называется наша сельская община, чрезвычайно оригинально. Так как самый способ этого владения не всем одинаково известен и тем затемняются рассуждения об этом предмете, то я считаю необходимым представить его, насколько сам знаю. Те, которым он больше и лучше известен, потрудятся исправить мои ошибки и оговорить невольные и неизбежные недомолвки. По крайней мере, всякий, прочитав следующие строки, будет точным образом знать, что я разумею под общинным владением и на каких фактах основаны все дальнейшие выводы; а это первое условие всяких рассуждений и споров.

Русская сельская община, поселена ли она на своей земле или на казенной, или хоть на помещичьей — если только последняя предоставлена в полное ее пользование,

как, например, в оброчных имениях³, — дает каждому из своих членов равное участие в мирских землях и угодьях. Временная отлучка, хотя и продолжительная, не лишает члена общины права на такое участие, особливо когда в селе остается семья отлучившегося. На таком положении остаются членами общин тысячи торгующих по свидетельствам крестьян⁴, живущих в городах, имеющих там торги и промыслы: их семьи остаются очень часто в деревнях и живут там своими хозяйствами на полном крестьянском участке. Но если крестьянин совсем покинет свое общество, перечислится в другое или переедет на постоянное жительство в город, и после него никого не останется в том обществе, то он лишается участия в мирских землях и угодьях, без всякого вознаграждения: участок его оставляется им безвозмездно в распоряжение мира, исключая движимости, которая остается его собственностью, и принадлежавших ему жилых и других строений, которые он может вывезти с собою, продать, уступить односельчанину, но не может ни в каком случае ни продать или уступить постороннему, ни оставить за собою на прежнем своем участке. В отношении к государственным крестьянам этот народный обычай закреплён законом, с необходимою оговоркой, что избыю и другими строениями оставляющий общину крестьянин не может распорядиться как полною собственностью, если они построены из казенного леса.

Итак, в мирских землях и угодьях имеет часть только член мирского общества, пока остается его членом, т. е. пока имеет в нем оседлость; получает он ее безвозмездно, не платя за нее ничего вперед; он имеет право на часть, равную со всеми прочими членами того же общества, хотя и может, если сам захочет, взять меньшую часть, чем другие. Конечно, взятие участка, равного со всеми, бывает обязательно там, где земледелие не составляет главного промысла жителей, а раскладка податей и повинностей производится по земле; но такой случай составляет изъятие из общего правила, и притом изъятие, вытекающее не из самого общинного владения, а из финансового характера, сообщенного нашим общинам законодательством. Наконец, оставляя свое общество и перенося оседлость в другое место, крестьянин лишается всякого права на часть в земле и угодьях, и лишается безвозмездно, не в праве даже оставить своего бывшего жилья за собою, ни строений, потому что они на мирской земле, в которой у него нет более части; последняя поступает в распоряже-

ние мира; выбывающий член общины не может по своей воле сдать ее другому крестьянину, посадить его вместо себя, войти с ним об этом в сделку, потому что земляной пай не принадлежит ему более с тех пор, как он перестал быть членом общества. Не знаю, встречаются ли случаи, чтобы крестьянин, надолго отлучаясь из общества, но продолжая в нем числиться, отдал свой пай другому крестьянину внаем на время отлучки. Быть может, что такие сделки и бывают, но они противны основным правилам мирского владения, по которому всякий может пользоваться своею частью, но не может уступать ее другому от себя, по частному условию.

Как же пользуются члены общины мирскими землями и угодьями? Способ пользования весьма различен, смотря по землям и угодьям. В исключительном, постоянном пользовании находится усадьба; лес состоит в общем пользовании всех членов общины, по мере надобности; также и выгон, если по местным обычаям выгоны не прирезаны к усадьбам; луга и сенокосы тоже, смотря по местным обычаям, или разделяются на участки ежегодно перед косью, по числу земляных частей, и тогда каждый косит и убирает свой участок особенно на себя; или же сено косится и ставится в копны всем миром, и затем уже делится на равные части, тоже по числу земляных частей. Мне не встречалось видеть, чтобы сенокосные и луговые места делились на постоянные участки, но очень может быть, что есть в иных местностях и этот обычай. Наконец, при повсеместной почти у нас трехпольной системе хозяйства полевая мирская земля делится на три поля: озимое, яровое и пар. Последний служит пастбищем для скота всей общины, который пасется вместе; каждое из остальных двух полей — озимое и яровое — разделяется или по числу душ, или по числу тягол на равные части. Эти части редко отводятся к одним местам. Качество и плодородие почвы, местоположение пашни: на ровном месте, на низком или высоком, на косогоре, вблизи или вдали от села или деревни и т. д. — все это принимается крестьянами в самое внимательное соображение при наделе участков. Оттого каждое поле разбивается сначала на клинья, и каждый клин, для безошибочной уравнительности участков, делится на столько жеребьев, сколько всего следует быть поземельных участков. Затем крестьяне мечут жребий всем миром, и кому в каком поле и клину какой жребий достанется, тот им и владеет. По жеребью же распределяются ежегодно и луговые участ-

ки, где в обычае отводить их участками. При разделе лугов и сенокосов обращается такое же внимание на свойство местности, качество и количество травы и т. п. Впрочем, членам общины не запрещается меняться жеребьями, доставшимися им в поле или сенокосе, и уступать их друг другу по добровольным сделкам. Такие сделки действительно на все время их отвода.

Итак, только такими угодьями, каковы лес, выгон, пастбище, крестьяне владеют сообща, усадьбами же и полевой землею каждый из членов общины владеет или пользуется про себя, отдельно от прочих членов мира. Такое отдельное пользование применяется местами даже к сенокосам и выгонам, о чем уже было сказано выше.

Сроки пользования одними и теми же земляными паями чрезвычайно разнообразны, смотря по местности, обстоятельствам и обычаям. В одних местах передел производится ежегодно; у государственных крестьян законом определено переделывать землю не иначе, как с наступлением новой ревизии: здесь за начало принят не тягловый, а душевой надел; наконец, есть сельские общества, в которых поземельные участки никогда не переделываются и остаются неизменными. Подобное устройство землевладения я видел в помещичьих имениях, и, сколько знаю, оно устанавливалось по настоянию владельцев, а не крестьянского общества, но потом вошло в обычай, за который крестьяне крепко держатся, по причинам, которые представлю ниже. Между этими тремя главными видами срочного и бессрочного общинного землевладения есть множество оттенков: так, например, в некоторых местах передел бывает не ежегодно и не вследствие новой ревизии, а с принятием в общество или выбытием из него членов и т. п.

Вот главнейшие из известных мне фактов общинного землевладения.

Возражения против него идут преимущественно от сельских хозяев и экономистов. Разверстка поземельных жеребьев, говорят они, подает повод к чрезмерной их дробности, так что по иной полосе и соха с трудом пройдет. Переделы земли, особливо когда они часто возобновляются, отнимают у крестьянина всякую охоту унавоживать и улучшать землю, потому что она может достаться другому. Правда, есть у нас земли, которые теперь пока не удобряются и по качеству и положению своему совершенно однообразны. В таких местностях при отводе жеребьев нет чересполосицы, и вопрос о том, где пахать в

нынешнем году, где в будущем, не представляет никакой важности. Но это — хозяйство первобытное, младенческое, и рано или поздно оно должно уступить место улучшенным способам земледелия. Положим, что время это не скоро наступит; но все же когда-нибудь оно наступит. Там, где потребность более тщательной обработки земли уже чувствуется, хорошие хозяева-крестьяне уже тяготеют к теперешней системой разверстки и надела, и она остается лишь по настоянию большинства, которое, частью по привычке и по нелюбви к нововведениям, а частью и из ошибочного расчета, упорно держится старины. Большинству, конечно, выгодно вводить в общий передел земли, унавоженные хорошими хозяевами, и получать частичку в них даром, что при жеребьевом наделе легко может случиться и часто случается. Таким образом, ленивый или по крайней мере посредственный хозяин получает при переделе, без всякого вознаграждения, часть в земле удобренной, а последний взамен ее — пустую землю, теряя свою хорошую. Но какой же конечный результат такого порядка? Хороший хозяин, не имея понуждения трудиться и унавоживать свою полосу, не прилагает к ней рук и хозяйничает подобно большинству, отчего крестьянское мирское хозяйство не может выбиться из заведенной колеи и подняться над уровнем жалкой посредственности.

Что это коренное неудобство теперешнего порядка общинного землевладения необходимо устранить, в том все согласны. Но как устранить? Здесь-то и расходятся мнения. Одни отвергают самое начало общинного землевладения и требуют совершенной его отмены, с разными вариациями насчет того, когда и как этому совершиться. Они считают общинное землевладение неисправимым и требуют замены его личной наследственной поземельной собственностью, которая одна, по их мнению, вполне может соответствовать предстоящей гражданской самостоятельности и правам крестьянского сословия. Другие смотрят на дело совсем иначе. По мнению их, переделы и чересполосицы не суть неизбежные, существенные принадлежности общинного землевладения, и потому последнее, несмотря на их отмену, легко может быть сохранено. Переделы, чересполосицы вытекают из теперешнего способа пользования общинными землями, который следует изменить; но общинное землевладение удержать необходимо. Мнение это высказано в этой форме г. Самариным⁶ и потом неоднократно высказывалось г. Кошелевым в «Сельском Благоустройстве». Неотъемлемая и ве-

лика заслуга этих писателей состоит, бесспорно, в том, что они ознакомили публику с сущностью и формами общинного землевладения, уяснили фактическую его сторону и выставили на вид странные и даже забавные недоразумения относительно этой, столь повсеместной и общепринятой между нашими крестьянами, формы пользования общественною землей.

Различение способа пользования общинною землей от общинного землевладения не удовлетворило многих. Какой может оно иметь смысл? Если изменить теперешний способ пользования общинною землей, чем же станет само общинное землевладение? Должно же оно, в той или другой форме, перейти в личную собственность!

С этим мнением я никак не могу согласиться. Сделав это различие, уступив передел общинных земель и в то же время крепко отстаивая общинное землевладение, гг. Самарин и Кошелев, как мне кажется, доказали глубокое знание дела и верное прозрение в великую роль, которую, по-видимому, суждено играть общинному землевладению в устройстве и судьбах нашего землевладельческого сословия. Я позволю себе изложить здесь те мысли, которые сложились в моей голове после долгих размышлений о наших общинах.

От переделов мирской земли, рано или поздно, придется отказаться совсем: это бесспорно. Вместе с тем, или последовательно, придется отказаться и от начала, из которого переделы проистекают, именно от наделения каждого из членов общины равным земляным паем; ибо при постоянных, непеределываемых участках и с увеличением народонаселения это станет решительно невозможно.

Но и за этими важными переменами общинное землевладение сохранит еще много особенностей, одному ему свойственных. Юридически оно определяется следующими положениями:

1) член общины не имеет права собственности на отведенный ему земляной пай, а лишь право владения и пользования. Потому он не может отчуждать его ни при жизни, ни на случай смерти; не может его закладывать; дети и родственники не наследуют его по смерти крестьянина; наконец, отведенный обществом земляной пай не может быть продан в удовлетворение долгов и взысканий, лежащих на владеющем им члене общины, какие бы они ни были;

2) владение и пользование общинною землей неразрывно связано с постоянною оседлостью в общине. Вла-

деть и пользоваться общинною землею может лишь сам член общины непосредственно или его семейство; поэтому нельзя владеть общинными земляными паями в одно и то же время в нескольких общинах, а можно только в одной; нельзя владеть в одной и той же общине двумя или более паями, если есть члены общины, не наделенные землею и желающие получить пай на свою долю, но нет свободных паев; нельзя сдавать, уступать, дарить и вообще отчуждать каким бы то ни было образом, при жизни или на случай смерти, владение и пользование общинным участком посредством частной сделки не только члену другой общины, но даже члену той самой, к которой принадлежит владелец;

и 3) владение и пользование общинною землею соединено с отправлением известных податей и повинностей и есть пожизненное; но если после умершего владельца остались малолетние сироты или взрослый сын, не имеющий своего земельного пая, то они имеют предпочтительно перед всеми прочими соискателями право удержать за собой отцовский пай. Общинные участки отводятся безденежно, то есть без требования залога, поручительства или задатка в обеспечение исправного отправления податей и повинностей. По смыслу общинных учреждений, каждый волен во всякое время отказаться от своего участка, отбыв соединенные с его владением подати и повинности. Он вправе распорядиться своею движимостью и строениями как хочет, но не имеет никакого права на вознаграждение за сделанные им в своем паю хозяйственные улучшения. Оставляя совсем общину, он обязан свезти или продать свои строения; но от усмотрения общины зависит позволить ему жить в ней, не владея земельным паем, и в таком случае жилое строение и усадьба остаются за ним. Наконец, поземельный участок отнимается у владельца, если он неисправно платит подати и повинности, и все другие меры взыскания окажутся безуспешными или невозможными.

Все эти положения существуют в действительности и частью держатся обычаем, частью перешли в закон. Рассматривая их поодиночке, можно подметить сходство их то с тою, то с другою формою землевладения, выработанными римским правом и законодательствами новых христианских народов; но взятые в совокупности, они представляют особый гражданский институт, не похожий на все известные доселе и всего менее на личную собственность. Как же после этого не сказать, что общинное

землевладение может сохраниться, несмотря на прекращение переделов, устранение чересполосицы и отмену права каждого из членов общины на равный надел землею!

Но всего любопытнее и поразительнее то, что общинное землевладение, которое обыкновенно считается запоздалым остатком варварских времен, уделом безличных масс, не представляет, за устранением названных выше несущественных его принадлежностей, *ни одного* положения, которое бы не подходило под правила любого гражданского права, наиболее благоприятствующего личной независимости и свободе.

Многие найдут это мнение или ложным, или, по крайней мере, преувеличенным; а между тем, это истина неоспоримая.

Говорят: безвозмездный отвод земляного пая есть благодеяние, которое не подходит ни под какие юридические правила, и возможно лишь до тех пор, пока есть довольно земли для такого рода благотворений. Увеличится народонаселение, вздорожает земля, и тогда оно по необходимости прекратится. Придется и с этим распрощаться, как с переделом участков и равным наделом землею всех членов общины.

Это замечание основано на очевидном недоразумении. Нельзя называть благодеянием или благотворением отвод земли, с обязанностью платить за то подати и отправлять повинности. Правда, исправное отправление их ничем не обеспечивается. Но разве это благотворение? Это кредит, к развитию которого стремятся все законодательства в мире, видя в нем один из могущественнейших двигателей промышленности и благосостояния. И надобно сказать, что кредит, оказываемый владельцу общинной земли, далеко еще не такой рискованный, какие встречаются в Европе, где считать умеют.

Скажут: чем оправдать правило, что за участок, оставляемый членом общины, последняя не дает ему никакого вознаграждения? Какая же тут справедливость! Крестьянин владел участком, может быть, несколько поколений сряду, улучшил, удобрил его, положил в него труд и капитал — и все это он должен оставить даром, безвозмездно! Это, очевидно, отнимает у него всякое поощрение улучшать свое хозяйство и заставляет хозяйничать кое-как, спустя рукава, жить со дня на день.

Кажется, будто это действительно так; а взгляните поближе: на деле оказывается совсем другое.

Все знают, что такое договор об отдаче земли в содержание из выстройки: хозяин предоставляет свой участок другому лицу с условием, чтоб он выстроил на нем такое-то строение; по истечении определенного числа лет участок возвращается в полное распоряжение и собственность хозяина, и вместе с ним поступает в его собственность безвозмездно и поставленное на нем строение. Что мы тут видим? Наниматель участка положил на него труд и капитал и оставляет их, по истечении срока, хозяину, без всякого вознаграждения. Мне возразят: за то наниматель и не платит в таком случае хозяину наемных или арендных денег. Действительно, иногда не платит, но иногда платит, смотря по обстоятельствам и условию. Примеров подобных сделок множество. Таковы: отдача земли по берегу реки, из выстройки мельницы, даже завода; отдача в содержание фабрики, требующей капитальных исправлений. В огромных размерах те же начала лежат в основании условий правительства с частными лицами и компаниями о постройке железных дорог, которые, по истечении известного срока, обращаются в собственность государства безвозмездно. Но оставим эти примеры, возьмем отдачу внаем и аренду земель — формы договоров, имеющих некоторые общие черты с раздачею участков из общинных земель. Ни в римском, ни в германском, ни во французском праве нет правила, чтоб арендатор или наниматель земли имел право на какое-нибудь вознаграждение за произведенное им улучшение почвы и усиление ее производительности. (Не говорю о строениях: они и на основании общинного владения считаются личною собственностью крестьянина.) Кодекс Наполеона выражается об этом очень категорически (С.¹¹¹ 599): «l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée». Правда, Ф. Вальтер, в сочинении своем «System des gemeinen deutschen Privatrechts», 1855, стр. 580, называет, в числе прочих, особенную форму поземельных отношений между владельцами и крестьянами в Германии, именно временный колонат (Colonat-recht auf Zeit), в силу которого собственность на землю принадлежит господину, а временное пользование и право собственности на сделанные в ней улучшения (Besserungen) крестьянину. Однако из описания этой формы землевладения видно, что господин обязан вознаградить крестьянина, когда отзывает ему или его наследнику в пользовании землею.

Но чтоб он был к тому обязан, когда крестьянин добровольно отказывается от участка, этого не сказано и ни из чего заключить нельзя. Мне, пожалуй, укажут на целое учение о *Meliorationen*, об *accessiones*, об *impensae* и *expensae*", то есть об улучшениях, сделанных в вещи, издержках, употребленных на нее или по поводу ее, за которые хозяин обязан дать содержателю или владельцу вознаграждение. Но когда существует эта обязанность? Тогда лишь, когда хозяин возвращает вещь из чужого владения или пользования, законного или незаконного, добросовестного или недобросовестного, особливо же когда он разрывает договор о пользовании землею, что в некоторых случаях допускается; но никогда не применяется это правило к случаям добровольного отказа арендатора или нанимателя от взятого им в содержание участка.

Что постановили законодательства, то подтверждает и простой здравый смысл. Когда я спокойно владею или пользуюсь землею в качестве арендатора на более или менее продолжительный срок, я могу, соображаясь с этим сроком, найти для себя выгодным, в течение первых лет арендного содержания, не только не получать никакого дохода от заарендованной земли, но даже положить в нее труд и капитал, ибо рассчитываю в остальные годы арендного срока воротить все издержки и сверх того получить барыш. Если посреди этой моей операции, когда сделаны затраты, а выручка еще впереди, у меня вдруг отнимут аренду, понятно, что мне по всей справедливости следует вознаграждение, потому что я улучшил землю, увеличил ее капитальную ценность, сделал ее способною дать больший доход, в чистый себе убыток. А если я владел землею не в качестве арендатора, а в качестве собственника, тем более следует, потому что я мог рассчитывать свои хозяйственные обороты на весьма длинный, даже на неопределенный срок. Но если я, срочный или бессрочный арендатор, владел своим участком спокойно, без помехи, и сам, по своим расчетам, оставляю землю, дело представляется уже совсем в другом виде. При верном расчете я успел воротить все мои издержки на улучшение земли и получил сверх того прибыль; неверен был мой расчет — никто, как я сам, и не виноват в том. Итак, хозяин, получая свою землю улучшенною, конечно, в выигрыше, но и я, если вел умно свои дела, не в проигрыше. За что же вознаграждать меня? А за ошибки, промахи, неудачи никого не вознаграждают. Это также общее правило. Наконец, заставить хозяина вознаграждать арендатора за сде-

ланные им улучшения было бы во многих случаях явную несправедливость. Арендатор может иногда сделать такие улучшения, что у хозяина земли и состояния не хватит заплатить за них. Что ж тогда делать?

После всего сказанного, едва ли стоит опровергать мысль, будто бы безвозмездное возвращение хозяину улучшенной арендатором земли отнимет у последнего побуждение и охоту заняться хозяйством на снятом участке как следует. Если он займется им, то уж конечно не ввиду вознаграждения со стороны хозяина, а ввиду тех выгод, которые сам надеется извлечь из аренды при помощи сделанных им улучшений. В самом деле, крайне слабоумен должен быть арендатор, который согласится лучше довольствоваться ничтожным доходом от аренды, чтобы только хозяину не достались даром сделанные им улучшения. Большинство рассуждает так: лишь бы мне побольше извлечь выгод, а получил я их — какое мне дело, что другому стало от этого хуже или лучше?

Итак, правило общинного владения, наиболее кажущееся несправедливым, оправдывается всеми положительными законодательствами и выходит, на поверку, весьма разумным.

Далее: некоторые найдут, может быть, странным запрещение члену общины сдавать свой земляной пай кому-нибудь другому по частной сделке или частному распоряжению. Но запрещение субаренды¹⁰ не то ли же самое? А оно очень известно в положительных законодательствах и нисколько не считается необыкновенным или чрезвычайным. То же должно сказать и о том, что пользование общинными паями не наследуется: ведь и пожизненная аренда тоже не переходит по наследству.

Особенность общинного землевладения действительно составляют: запрещение владеть паями в разных общинах; право владеть постоянно одним лишь паем; нераздельность права владеть паем с прочною оседлостью там, где пай отведен; наконец, привилегия сирот и безземельного сына преимущественно перед другими владеть отцовским паем. На первые три условия указывают как на ограничения в экономическом и гражданском отношениях. Но это несправедливо. Они были бы ограничениями, и ограничениями весьма стеснительными, если бы никакой другой земли, кроме общинной, не было, и если бы взятие общинного участка было обязательно. Но когда рядом с общинною землею существует поземельная личная собственность, когда всякий может покупать или иначе

приобретать землю и располагать ею по произволу, когда, наконец, каждый волен брать или не брать поземельный пай в общинной земле, какое же это ограничение или стеснение? Это ни более, ни менее как простое условие, обязательное лишь для того, кто добровольно захочет владеть общинным поземельным участком; тот же, для кого это условие покажется стеснительным, постарается устроить иначе. Очень стеснительно домовладение в городе, потому что оно обставлено разными ограничительными условиями, необходимыми там, где здания теснятся между собою; еще более стеснительны для лица условия домашней или частной службы, начиная от домашних секретарей и гувернеров и оканчивая самыми низшими служительскими должностями и чернорабочими: однако никто не называет их несправедливыми и стеснительными именно потому, что от доброй воли каждого зависит иметь дом в городе или не иметь, вступить в частную службу или не вступать.

Рассмотрение юридических оснований общинного землевладения дает нам возможность глубже вникнуть в сущность этого любопытного учреждения и беспристрастно оценить неизмеримо важную роль, которую оно, по всем видимостям, призвано играть в будущих судьбах России. С изменением действующей ныне административной и финансовой системы, а с тем вместе и гражданских прав земледельческих классов, с постепенным прекращением переделов общинной земли и прав каждого члена общины на получение из нее участка наравне со всеми прочими, владение и пользование общинными землями перейдет мало-помалу в пожизненное арендное содержание, которое, при известных условиях, может быть и наследственным. Но эта система аренд будет иметь свое особое назначение, свой характер, совершенно отличный от аренд частных, которые, по самому свойству личной собственности, неудержимо обращаются, рано или поздно, в промышленные спекуляции. Маленькая ферма, владение которой обусловлено разными исчисленными выше ограничениями, не сподручна ни богатому капиталисту, ни предприимчивому человеку, ни зажиточному собственнику, ни тому, кто, не имея ни способностей, ни охоты к сельским промыслам и занятиям, обеспечивает свою жизнь и кормит свое семейство занятиями и промыслами городскими или какими-нибудь другими. Таковую ферму возьмет небогатый крестьянин, который, не мечтая о больших прибытках, думает об завтрашнем лишь

дне и рад, когда к концу года свел концы с концами; ее возьмет и не крестьянин, человек, которому некуда деваться, но у которого есть семья, и он бы рад трудиться, да не везет ему в городе; ее возьмет иной предприимчивый и оборотливый человек из простонародия, который и свой капитал имел, да разорился на неудачной спекуляции; у этого и надежда будет впереди: авось опять справлюсь, сколочу капиталец и опять пушу его в оборот; ее возьмут и бедный сирота, и вдова с детьми, и все люди, которых природа не наделила ни особенным талантом, ни широким полетом, ни жаждой деятельности, богатств, приобретений, славы, отличий — словом, люди, по выражению народа, смиренные, которые составляют большинство в человеческих обществах, работают, трудятся и хотят иметь свой угол и свой кусок хлеба. Для таких людей подобная ферма, несмотря на ограничительные условия, соединенные с владением ею, — сущий клад. Чтобы получить ее, не надо никаких издержек; первое обзаведение потребует небольших средств, которые легче добыть, чем, например, на покупку земли; ферма даст чем заплатить арендную плату и прокормиться с семьей, небогато, но хоть как-нибудь; никто не отымет земли, не прогонит с нее, пока человек исправен: владей хоть до смерти! Жену с детьми никто не потревожит и после смерти; если же судьба улыбнулась, завелись деньги, вышел какой-нибудь благоприятный случай, можно во всякое время и бросить ферму, купить свою землю, пойти в торг, взяться за какой-нибудь промысел и распрощаться с арендой. В устройстве общественной экономии и быта я не могу представить себе ничего рациональнее системы таких небольших ферм. Существовая о бок с личной поземельной собственностью, она служит верным, единственно возможным убежищем для народных масс от монополии землевладельцев и капиталистов. Система мелкой, личной, поземельной собственности, в которую многие предлагают обратить общинное землевладение, не может идти в этом отношении ни в какое сравнение с системой мелких аренд. Это вытекает само собою из самого свойства личной собственности.

Все знают, какое огромное развитие промышленности и духу предприимчивости дает начало личной собственности. Оно создало те чудеса индустрии, которыми так справедливо гордится Европа и Северо-Американские Штаты. Оно — живая сила, поддерживающая современные образованные общества в вечном движении, толка-

ющая их беспрестанно вперед на пути всяких преуспеваний. Но давно уже, рядом с этими благодетельными и блистательными действиями личной собственности, история отметила и теневую ее сторону. Где только личная собственность господствует исключительно, там, рано или поздно, непременно наступает полная социальная анархия и бедствие народных масс, страшные общественные недуги, против которых доселе оставались бессильными все средства, — недуги, которые развиваются неудержимо, питаясь и поддерживаясь сами собою. Оба явления не случайно совпадают с исключительным господством личной собственности и между собою, но состоят в теснейшей связи. Личная собственность, исключительная по своей природе, стремится к непрерывному расширению и увеличению; стяжание есть ее лозунг и знамя. Таким образом, в личной собственности лежит причина и источник столкновения и борьбы материальных интересов, которая ниспровергает все административные стеснения и препоны и, наконец вырвавшись на свободу, не знает границ. Если бы все люди были равных способностей, талантов, знаний, в особенности если бы они выходили на такую борьбу равно хорошо вооруженные и не имели никаких неотложных насущных потребностей, конкуренция материальных интересов только оживляла бы промышленное развитие и деятельность, не производя общего зла и бедствий; но в том-то и беда, что бойцы не равны, средства нападения и обороны у них неодинаковы, а между тем, есть материальные потребности общие для всех и без удовлетворения которых обойтись невозможно. При таких условиях окончательный исход борьбы несомненен: рано или поздно собственность сосредоточивается в немногих руках и дает им безграничную материальную власть над не имеющими собственности. Мелкие собственники не могут держаться и постепенно переходят в работников. Массы народа должны по необходимости безусловно подчиниться этому нового рода владычеству, беспощадному, произвольному, которого единственный закон — личная выгода. Создается гнет нестерпимый и тем более ненавистный, что не оправдывается никакою разумною необходимостью и требованием общественного блага.

Такой порядок действует губительно на народные массы и в материальном, и в нравственном отношениях. Они тупеют от нищеты, голода, чрезмерного труда и безвыходного положения; озлобление и отчаяние овладевают ими.

Кто может примириться с мыслью, что общежитие существует не на благо человека, а на беду его и несчастье? И массы с этим не примиряются, а привыкают ненавидеть общественные учреждения, под которыми живут. Все то, что составляет физиологическое, неизбежное условие всякой общественной жизни: власть, имущественное неравенство, личная собственность, личная самостоятельность и развитие — представляются им орудиями угнетения, своекорыстными выдумками притеснителей — собственников. Открывается широкое поле для всякого рода идеалов социального блаженства, которые тем краше и недействительнее, чем ужаснее ежедневная жизнь. Народные массы, глубоко оскорбленные, жадно питаются ими и в справедливом негодовании начинают требовать невозможного и неосуществимого. Возникает другого рода борьба — борьба масс народных с обществом, страшная и разрушительная. Общество с ужасом начинает замечать внутри себя эти элементы, ежеминутно грозящие гибелью, и не вникая сначала в органические причины зла, старается пособить ему косвенными мерами. Частная благотворительность, разумеется, оказывается недостаточною; на чрезвычайное зло нужны и чрезвычайные меры. И вот благотворительность организуется в тысячах учреждений. Для извлечения масс из той бездны зол и несчастий, в которую ввергла их необузданная борьба интересов, расточается столько же ума, изобретательности, гениальности, творятся такие же сверхъестественные усилия, какие потребовались для приведения низших классов, конечно, бессознательно, в такое положение. Сколько самоотвержения, великодушия, человеколюбия и высокой христианской любви выказали и выказывают при этом общества! Это торжественная *culpa mea*¹¹ современного просвещенного человечества, но бессильная перед роковыми законами, лежащими в основании теперешней общестственности, бессильная потому, что самое начало социальной анархии продолжает в ней действовать и служить неиссякаемым источником глубоких общественных язв. Социальные теории, надеющиеся воссоздать общественный мир и равновесие сил и в то же время сохранять исключительное господство начала личной собственности¹², доказывают только, что корень зла не поняты; те же, которые отрицают вовсе это начало, осуждают общество на вечную регламентацию, апатию и бездеятельность. Указывают на ассоциацию как на панацею против такой безурядицы. Эта мера хорошая, бесспорно, но, по самому

свойству своему, она не может быть учреждением всеобщим; успех ее зависит от тысячи случайностей, в том числе от собственности, капитала. В этом смысле и ассоциация — мера паллиативная, как благотворительные общества и учреждения, как такса в пользу бедных, как огромные публичные работы, и не врачует болезни в самом корне.

Доискиваясь до источников разнообразных явлений общественной жизни, люди в наше время более и более приходят к убеждению, что все эти явления друг другом обуславливаются, тесно связаны между собою и представляют вместе одно органическое целое, покоящееся на таком же равновесии всех отправлений, как вообще всякий организм, какой бы он ни был. Лишь только одна из функций берет верх над другими, начнет развиваться на счет других, равновесие нарушается, и общественное тело приходит в болезненное состояние. Эти общественные болезни весьма разнообразны и сложны. Усиливаясь сначала незаметно, они наконец, если будут запущены, обращаются в хронические, ничем не излечимые, поражают весь организм и ускоряют его смерть. Мало того: каждый общественный организм, подобно физическому, имеет свои привычки, свои предрасположения к той или другой болезни; он может привыкнуть к известному ненормальному состоянию до того, что оно кажется нормальным и здоровым; при помощи разных паллиативов он может некоторое время обольщать себя насчет своего здоровья, пока наконец сильнейшие припадки скрытой болезни вдруг не раскроют ему глаз и не обнаружат, иногда слишком поздно, опасного состояния¹.

Социальная анархия, то есть ничем не умеряемая борьба частных интересов, принадлежит именно к числу тех страшных разъедающих общественных недугов, которые исподволь, незаметно, разрушают общественные организмы. Только уравновешенная другим началом, эта борьба поддерживает и развивает жизнь. Какое же это начало? Обыкновенно указывают на правильную администрацию, суд, на паллиативные средства, о которых говорено выше. Но это заблуждение! Ни администрация, ни суд не могут устоять против социальной анархии, по той простой причине, что они соответствуют совершенно другим функциям общественной жизни. Суд существует на вора, разбойника, обидчика, убийцу; полиция, в обширнейшем значении этого слова, тоже относится к поверхности общественных явлений, когда они уже заявили себя или грозят

заявить в том или другом факте. Борьба капиталов, собственности, совершающаяся в условиях закона и без нарушения общественного порядка, ускользает и от суда, и от администрации. Ее нельзя поймать и остановить ни в каком ощутительном явлении без нарушения законов и самой справедливости. Ей может противодействовать только начало, вполне ей соответствующее. Одно лишь развитие кредита убивает ростовщичество, а не законы о росте; обильный подвоз хлеба понижает цены на него и прекращает дороговизну, а не хлебные таксы и не запретительные меры.

Применим все сказанное к землевладению. Земля, к несчастью, не безгранична; количество ее определено. Предоставьте ее всю в частную собственность, сколько бы ее ни было, и она тотчас же сделается предметом своего рода ажиотажа и коммерческой конкуренции. Ее начнут скупать и перепродавать с барышом. Делом этим займутся сильные капиталисты и промышленные компании; цена ее будет подыматься, и с увеличением народонаселения масса землевладельцев, за самыми малыми исключениями, обратится в батраков и бездомников, на полной милости земледельцев, которые будут иметь все средства заставить их служить себе и работать на самых для себя выгодных, а для них тяжелых и обидных условиях. Таков закон социальной анархии и личной собственности в применении к земле; он дробит последнюю на мельчайшие участки и неудержимо направляет их в руки немногих богатейших собственников, которые и ставят потом массам арендную и заработную плату, какую хотят. Возражения на этот непреложный закон развития социальной анархии, подтверждаемый всеми наблюдениями, невольно вызывают улыбку.

Стоит ли говорить об этом в России? — скажут вам. — У нас земли не оберешься! Слава Богу, есть где расселяться еще в продолжении тысячи лет! А в Америке, в Азии незаселенных и способных к заселению земель еще бездна! Колонизация, конкуренция городских промыслов, требующих множества рук, конкуренция земледельческих произведений других стран будет всегда парализовать монополию землевладельцев на арендные цены и определение заработной платы.

Таковыми-то рассуждениями успокоиваются люди насчет беды, которая ходит кругом их. Присмотритесь пристальнее: разрешают ли эти соображения вопрос хоть сколько-нибудь? Положим, земли у нас теперь еще до-

вольно; но ведь когда-нибудь ее будет мало? Дожил же Китай до того, что народонаселение переполняет его огромные пространства. Сегодня, завтра, послезавтра, да разве этим можно решить вопрос об органических законах общественной жизни? Допустим, что и колонизация, и конкуренция других стран действительно могут смягчить действия зла; но ведь это только временно. Если конкуренция производителей всех стран устанавливает постоянные отношения между последними и делает их как бы членами одного и того же промышленного мира, то ведь и поземельные собственники всех стран не замедлят заметить соединяющие их общие личные выгоды, на какой бы точке земного шара они ни находились, как одинаково понимают эти выгоды банкиры и большие капиталисты. Говорить о всемогуществе конкуренции к излечению социальных зол, происходящих от монополии, значит не видать последнего члена посылки и остановиться на одном из средних. Нетрудно представить себе, что наступит время, когда в индустриальном и промышленном отношении весь мир будет составлять одно целое, управляемое одними экономическими законами. Что же? лучше будет положение масс от всемирной монополии землевладения и поможет против нее всемирная конкуренция?

Нет, не количественное, а качественное врачевание социального недуга может положить ему конец; и не количественная, а качественная оценка раскрывает его глубокий внутренний смысл. Личная собственность, как и личное начало, есть начало движения, прогресса, развития; но оно становится началом гибели и разрушения, разъедает общественный организм, когда в крайних своих последствиях не будет умеряемо и уравновешено другим организующим началом землевладения. Такое начало я вижу в нашем общинном владении, приведенном к его юридическим началам и приспособленном к более развитой и граждански самостоятельной личности. Существовая для народных масс, будучи устроено по их нуждам, не представляя никакой возможности для спекуляций и потому несколько не будучи привлекательно для людей зажиточных, богатых, предприимчивых, не довольствующихся малым и скромным существованием, общинное владение будет служить надежным убежищем для людей неимущих от случайности спекуляций, от монопольного повышения цен на земли и понижения цен на земледельческий труд. В этом затишье будут вырастать посреди

прочного семейного быта, живительного труда, под соломенною, но все же своею крышей, питаемые хоть черным и черствым, но все же каким-нибудь и притом своим куском хлеба, здоровые, свободные земледельческие и сельскохозяйственно-промышленные поколения; отсюда будут выделяться элементы, способные не потеряться в водовороте и случайностях промышленной игры, уступая место тем, которые без такого пристанища были бы осуждены на безысходное горе, отчаяние и преступления. Общинное владение предназначено быть великим хранилищем народных сил, из которого они будут беспрерывно бить живую струей и в котором будут беспрестанно обновляться для новой плодотворной деятельности. При существовании такой среды, нейтрализующей горькие и разрушительные последствия азартной промышленной борьбы, общественный организм останется в нормальном состоянии, и то, что без нее ведет каждое общество, рано или поздно, к социальному перевороту и разрушению, то при существовании ее сделается признаком жизни и здоровья — тем же, что обращение крови и соков во всяком органическом теле.

Мне скажут: ведь это утопия! Но отчего же утопия? — спросил бы я, — когда то, что я говорю, уже существует у нас в действительности, хотя, конечно, в зародыше, в неразвитом виде. Эта утопия — факт осязаемый, не подлежащий ни малейшему сомнению. Не с большим ли правом можно считать утопией надежду восстановить равновесие общественных сил, нарушенное исключительным господством личной собственности, посредством ассоциаций, конкуренции, целой системы общественной благотворительности, сияющей обнять все неимущие и голодные массы? Ведь эти способы врачевания, сколько мне известно, пока еще нигде и никогда не привели к желаемому результату, не умирили вражды, не восстановили гармонии общественных сил.

Многие думают и так: материальное обеспечение масс отнимает у них всякое побуждение к деятельности, к улучшению своего быта и тем осуждает их надолго, если не навсегда, на беспробудный сон. Мы и теперь наклонны к умственной дремоте; что же с нами будет, когда нужда не будет нас толкать к деятельности? Некоторые простирают заслуживающую, конечно, всякого уважения ревность к возбуждению промышленной деятельности в нашем народе до того, что серьезно предлагают при предстоящем преобразовании быта помещичьих кре-

стьян не наделять их вовсе землею ни в пользование, ни в собственность, и предоставить им входить с землевладельцами в полюбовные сделки. Это средство должно заставить нашего крестьянина стряхнуть с себя вековую лень, встрепенуться и приняться живо и бойко за работу. Оно, может быть, и так: промышленная деятельность закипит, но при этом кипятке только часть сельского населения успеет кое-как устроиться, остальная же погибнет в злой доле, станет бродяжничать, пойдет на разбой, переполнит города на укомплектование жалкого городского пролетариата, станет круглым бездомником, как везде было, где крестьянина освобождали без земли и оседлости.

Когда же, наконец, Боже мой, кончатся вечные недоумения, мешающие людям понимать друг друга? Все мы, от первого до последнего, желаем развития промышленной деятельности и неразлучного с ним материального благосостояния и довольства. Но чтобы возбудить в человеке деятельность, не сбивайте его с ног и, главное, с толку, и из боязни промышленного застоя не вгоняйте его в промышленную белую горячку, которая есть тоже источник деятельности, но истощающей, а не поддерживающей силы. Высокое промышленное развитие, когда оно совершается правильно, идет об руку с развитием умственным и нравственным, рождающим потребности и нужды, неизвестные народу в колыбели. В сытом и физически обеспеченном человеке они скорее и прочнее развиваются, чем в том, которого гнетут нужда и голод. Устраняйте только препятствия, искусственно замедляющие естественный рост народа, а остальное предоставьте лежащим в нем живым силам. Искусственные приемы хороши как временные средства против местных патологических явлений и невозможны или убийственны, когда направлены против всей экономии общественного организма.

Гораздо серьезнее возражение такого рода: если участи в общинном землевладении будут оставаться без передела, то с увеличением народонаселения должно же наступить время, когда множество людей останутся без арендных участков? Итак, общинное владение только временно устранил зло безземельности и бездомности масс, а потом оно разовьется своим порядком, как и везде.

Это, конечно, справедливо. Но ни я, ни кто другой, говоря об общественной экономии, конечно, и не думал приискать такие условия, которые бы водворили рай на

земле, без следа искоренили бы бедность и нищету. Какое бы ни завелось между людьми идеальное правосудие и административный порядок, преступления и проступки никогда не переведутся, процессы никогда не прекратятся, полиция и администрация никогда не останутся без дела. Весь вопрос только в том, в каких отношениях, в какой пропорции будут находиться между собою нарушение прав и правосудие, беспорядки и устройство. Не в том сила, чтобы каждый без изъятия имел свой верный кусок хлеба, свой кров, свой достаток, а в том, чтобы бездомовье и нищета не стали общим правилом для массы народа. В каждом здоровом организме есть во всякое время возможность болезней; но если нет повода, нет благоприятствующих обстоятельств, эта возможность и остается до времени возможностью; а представится случай, причина — возможность переходит в действительность, появляется болезнь, развивающаяся последовательно и правильно, по свойственным ей законам. Бездомность, необеспеченность быта, пока она не охватила огромной массы людей, есть такое же печальное явление общественной жизни, как и многие другие, но не есть еще признак органического расстройств. Против них разные паллиативные меры имеют настоящее свое употребление и оказывают действие. Но когда в это положение придут большие массы или, что еще хуже, большинство народонаселения, тогда-то опасность становится велика, и тут паллиативы ничего не помогут: очевидно, общественный организм страждет, и нужны сильные, радикальные лекарства, успех которых всегда сомнителен.

Я думаю, что при существовании общинного землевладения, разумеется, в надлежащей пропорции с личной поземельною собственностью, опасного для общественной экономии перевеса людей бездомных никогда быть не может, как бы народонаселение ни увеличилось. Участок, которого теперь едва достаточно для прокормления четырех человек, с умножением народонаселения и необходимым, вследствие того, улучшением сельского хозяйства, будет кормить восемь, десять, двадцать человек. К средствам, извлекаемым непосредственно из земли, придут на помощь другие промыслы, всегдашние спутники густого сельского населения и более развитого общественного быта, а это, в свою очередь, еще значительно увеличит число людей, оседлых на одном участке.

Замечу еще одно, весьма важное обстоятельство: если вокруг густых масс оседлого и домовитого сельского на-

родонаселения обрастут многочисленные слои бездомных людей, в этом еще нет большой беды. Беда, когда в быту, в привычках, в убеждениях массы сельского населения исчезнет понятие о домовитости, о ничем не тревожимой оседлости, о прочности его ежедневной жизни. Когда масса народа глубоко пустила корни в землю, создается крепкий быт и крепкие нравы, которые сообщаются и остальному родонаселению, каково бы оно ни было. А в нравах вся сила народа; в них тот гений его, который на деле исправляет недостатки законов и учреждений и спасает общество в години великих бедствий. Везде, где сельские массы домовиты и прочно оседлы, они являются самым охранительным общественным элементом, о который сокрушаются все невзгоды, внешние и внутренние. Отвоевывая мало-помалу из-под сельского класса почву, к которой оно прирастает по своему положению, исключительная личная собственность поражает нравы и крепость народную, устойчивость масс в самом их источнике.

Но, спросят меня, в какой же именно пропорции должны быть распределены в каждом общественном организме общинное владение и личная собственность? На это я не могу отвечать. Задача эта может быть решена лишь опытом, мудростью правительств и наукой, которая, сказать мимоходом, пока еще мало о ней заботилась. Эту задачу едва ли и можно решить одною формулой. Смотря по местности, по главным промыслам и занятиям жителей, по национальным особенностям, она, вероятно, получит несколько различных решений; легко может быть, что решение будет зависеть даже от степени развития народа, от его исторического возраста и степени возмужалости. А пока ничего не сделано для решения этого вопроса, пока он даже и не поставлен, трудно согласиться с теми, которые так горячо настаивают на продаже государственных земель в частные руки, ожидая от этого чрезвычайной пользы для общественного и экономического развития. Мне кажется, что этим делом вовсе не следует слишком спешить. Государственные земли могут еще понадобиться под общинные земли или для промена на общинные же земли, состоящие в частной собственности. Во всяком случае, лучше сперва осмотреться хорошенько... Велико счастье того государства, у которого много таких земель; но рассчитывая на это богатство, не думать о будущем не следует.

Наконец, под умеряющим влиянием общинного землевладения и личная поземельная собственность будет

заселяться на условиях гораздо выгоднейших для массы, чем при исключительном господстве личной собственности; а раз заселенная густо она, по естественному ходу дел, получит значение общественное, как город, фабрика, завод и т. п. Таким образом то, чего нельзя достигнуть никакими законодательными мерами, то под влиянием общинного землевладения устроится и введется само собою, без нарушения чьих-либо прав и без всякой регламентации, стесняющей свободные сделки и бойкий размах промышленных предприятий.

Многие рассуждают так: если общинное землевладение должно служить к обеспечению быта масс, то средство это, при постепенном вздорожании земель, обойдется несравненно дороже, чем все возможные таксы для бедных и общественные благотворительные учреждения, вместе взятые. Стало быть, это просто не расчет — мера в финансовом и экономическом отношении неправильная и убыточная.

Мне кажется, что сравнивать обеспечение для массы земледельцев оседлости и пользования землею с общественною благотворительностью, в каких бы то ни было видах, значит не понимать вопроса. Сохранение за сельским населением возможности трудиться для себя есть мера общественной организации, которая уравнивает экономические силы; все же прочие формы попечения о народе клонятся лишь к ближайшему, непосредственному смягчению и отвращению зла, уже произведенного социальной анархией. Отношение их — такое же в общественной экономике, какое в медицине между гигиеною и терапией. И система мелких аренд, и такса для бедных равно имеют предметом пользу народных масс, преимущественно беднейшие классы; но только это одно и есть у них общее: во всем прочем они совершенно различны. Если оценивать сравнительную их выгоду по тому только, которая из них дешевле, то, идя логически, надобно признать, что выгоднее жить в сырой и зловонной комнате и есть несвежую пищу, потому что лечение происходящих от того болезней (если только оно возможно!) обойдется дешевле, чем прожить всю жизнь в сухой квартире с хорошим воздухом и питаться здоровою пищею. Подобные выводы и расчеты свидетельствуют только о глубоком, коренном извращении всех понятий. Общественная благотворительность отучает людей стоять на своих ногах и, напротив, приучает высматривать хлеб из чужих рук; этим она унижает и развращает их, развивает в них празд-

ность и тунеядство, а вместе требовательность и претензии, ничем не оправдываемые. Новые поколения, рожденные и воспитанные в такой среде, всасывают в себя с молоком матери эту нравственную порчу. Хороши выйдут из них граждане! Иные действия имеет отвод земель в пользование. Земляной участок — это одно лишь условие, возможность, которая приносит что-нибудь тогда только, когда оплодотворяется трудом. Стало быть, чтоб им воспользоваться, надобно непременно и во что бы то ни стало трудиться. От степени труда зависит и мера вознаграждения, которое может расти и умножаться; это не то, что благотворение, которое по необходимости скудно измерено и определено и только утоляет на время голод. Владелец участка может, трудясь усердно, поправить свои дела, жить в довольстве, даже разбогатеть и стать собственником-капиталистом, потому что участок дает ему точку опоры с чего подняться. И он трудится. Все нравственные его силы употребляются в дело. В этой здоровой атмосфере труда, оседлости, семейственности рождается и воспитывается доброе, трудолюбивое племя. Наконец, отвод земляных участков уже потому не имеет ничего общего с благотворительностью, что последняя оказывается безвозмездно и есть чистый расход, убыток, тогда как за арендные участки земледельцы вносят арендную плату, которая, при процветании сельского хозяйства и благосостояния масс, с возрастанием цен на произведения и земли, может быть периодически, постепенно, возвышаема, не обращаясь в спекуляцию и аферу, рассчитанную на зависимое положение земледельческих классов, потому что правительство не торгаш и не спекулянт. Повторяю: обеспечение землевладения за сельскими массами есть мера социальной экономии и общественного благоустройства, а отнюдь не мера благотворительности. Филантропические идилии не имеют с нею ничего общего. Ограждение низших слоев общества от монополии частной собственности посредством общинного владения есть государственный институт, подобно администрации, правосудию, а не чрезвычайная мера, вызываемая чрезвычайными обстоятельствами.

Наконец, мне возразят: пользование общинными участками очень стеснительно; в них нельзя учреждать субаренд, нельзя владеть постоянно двумя арендными участками и т. д. Возможно ли, чтоб эти ограничения на деле соблюдались? Их, наверное, будут обходить, владеть несколькими участками под чужими именами, сдавать эти

участки другим под разными благовидными предложениями, так что в действительности эта система не осуществится или осуществится лишь отчасти.

Едва ли. С увеличением народонаселения строгое исполнение этой системы будет охраняться бдительным надзором самих заинтересованных, то есть тех, которые желают получить такие участки для себя. Они тотчас же разузнают, кто и как владеет арендой и имеет ли на то право, и в своих собственных интересах, будут разоблачать нарушения закона. Стало быть, слишком часто они повторяться не могут, но что все-таки они встречаться будут, в этом нет сомнения. Их нельзя будет вполне искоренить; нельзя ведь совершенно искоренить и тайной продажи контрабандных и неоплаченных акцизом¹³ товаров, нельзя совершенно искоренить злоупотреблений, убийств и других преступлений, однако таможенная, акцизная система и юстиция существуют же и оказывают свое действие?

Таковы основания, которые побуждают меня смотреть на общинное землевладение как на один из важнейших и существеннейших элементов в теперешнем и будущем устройстве земледельческого класса в России.

Самые снисходительные из читателей найдут, может быть, что если и принять изложенные выше начала, то все же непонятно, что они могут иметь общего с общинным и мирским устройством? Да и к чему оно? Если мир не может переделывать участков и раздавать их по своему благоусмотрению, то не проще и не вернее ли учредить особое казенное управление, которому и дать в руководство, к неперемennomу исполнению, правила о раздаче мелких ферм.

И с этим никак нельзя согласиться. Никакое казенное управление в мире, как бы оно совершенно ни было, не в состоянии так беспристрастно и справедливо применять систему арендных участков к данным частным случаям, приспособить топографическое очертание этих участков к данной местности, к ближайшим потребностям и целой мирской общины и каждого из ее членов, как именно та община, которая поселена на этих участках. Она всего более заинтересована в точном исполнении правил арендной системы, потому что большинство претендентов на свободные арендные участки будет преимущественно нарождаться из нее же самой и принадлежать к ней. Сверх того, особое казенное управление стоило бы государству больших издержек, тогда как главные его обязанно-

сти — распределение участков и сбор с фермеров арендных платежей — могут производиться, как и теперь производятся, мирскими обществами без всяких издержек со стороны правительства. Поэтому нельзя не отдать преимущества управлению арендными участками посредством общин над управлением их посредством коронных чиновников. А если случатся претензии, недоразумения и злоупотребления, то их разберет суд обыкновенным порядком.

В Европе, где земледельческие классы освобождены от землевладельцев с столькими пожертвованиями, с пролитием крови, исключительное господство личной собственности водворяет мало-помалу их зависимость снова. Вот многозначительные об этом слова того же Ф. Вальтера. Я нарочно выписываю их буквально:

Nachdem durch die neuere und neueste Gesetzgebung in Preussen der gutsherrliche bäuerliche Verband aufgelöst, die Mittelzustände erblicher Nutzungsverhältnisse in das volle Eigenthum des Bauern umgewandelt, die bisherigen Leistungen zwar als Reallasten beibehalten, deren Ablösung aber angebahnt und durch die Rentenbanken erleichtert ist: so wird es, wenn dieses vollständig ausgeführt sein wird, nur noch eine doppelte Klasse von Bauerngütern geben: Güter, die im unbelasteten Eigenthum des Bauern stehen, und gewöhnliche Pachtgüter. Es fällt dadurch das Bauernrecht unter das gemeine Recht. Dasselbe ist der Gang und die Richtung der Gesetzgebung auch in andern Ländern. Ob die dadurch für den Bauern bezweckten Vortheile, bei fortgesetzten Theilungen des Bodens, bei der daraus entstehenden Verarmung, und bei der Leichtigkeit hypothekarischer Anleihen sich auf die Länge werden halten können, ist sehr zweifelhaft. Wahrscheinlich wird, bei der zunehmenden Macht des Geldes, das Grundeigenthum immer mehr an die Reichen fallen, und, wie das Beispiel von Oberitalien in der Nähe der Städte zeigt, die Nachkommen sich glücklich schätzen, als Pächter auf der Scholle zu sitzen, welche ihre Vorfahren als Eigenthümer gebaut haben. Es werden sich zwischen dem Herrn und dem Pächter, der die Aufkündigung fürchtet, thatsächlich neue Bande der Abhängigkeit bilden; allein ohne den Geist des Wohlwollens und der gegenseitigen Zuneigung, der ehemals diese Institutionen belebte und dem Herrn nicht bloß Rechte gab, sondern auch Pflichten auferlegte. Es wird vielleicht dem Boden durch die stärker angespannte Kraft des Pächters ein grösserer Ertrag abgewonnen werden; allein dieser Gewinn wird nicht, wie sonst beiden unveränderlich festgesetzten Leistungen, seinem

Fleisse zu Gute kommen, da der Herr den Pachtzins des gebeserten Gutes nach Ablauf der Pachtzeit steigern kann. Es wird vielleicht die Gesetzgebung diesem wucherlichen Geiste eine Schranke entgegenzustellen suchen. Allein mit der dadurch nöthig werdenden Beschränkung der Freiheit des Herrn muss billiger Weise die Beschränkung der Freiheit des Pächters Hand in Hand gehen, und so können doch wieder in irgend einer Form organisirte persönliche Abhängigkeitsverhältnisse, wie das Colonat des sinkenden römischen Reiches, geschaffen werden müssen. Falsch ist, dass man dem Princip der unbedingten Theilbarkeit des Bodens das Erbpachtverhältniss und ähnliche Mittelzustände zum Opfer gebracht hat. Diese Formen waren wohlthätig, weil sie die Erhaltung des Hofes schützen, und dem Bauern billige Bedingungen, Sicherheit der Existenz für sich und seine Kinder, und dadurch den Antrieb zum Fleisse und zur Besserung der Cultur gewährten. Die Folgen der verkehrten Richtung wurden auch bereits in dem reissenden Verfall des Bauernstandes, in der Kläglichkeit seiner Existenz und in dem Anwachs des ländlichen Proletariates sichtbar. Hin und wieder denkt man auch schon mit der Theilbarkeit einzulenken. Will man erbliche Nutzungsverhältnisse festhalten oder herstellen, so wird es zur Vereinfachung am gerathensten sein, alle Formen der Art durch die Gesetzgebung in der Erbpacht oder Emphyteuse nach ihrem ächten Sinne zu verschmelzen und die Theorie vom getheilten Eigenthum über Bord zu werfen¹⁴ (стр. 587 и 588).

В выноске к этому месту Вальтер приводит слова Нибура в том же смысле:

Mit ganz untadelhaften Absichten und wirklich in der Meinung, dem Bauer wohl zu thun, richtet man den ganzen Bauernstand zu Grunde durch die ihm gegebene Berechtigung zu verkaufen, zu zerstückeln und zu verpfänden: und so geht es in allen Dingen. Die allerplattesten Meinungen sind allgemein herrschend geworden; und mögen Ministerien oder Stände darüber zu entscheiden haben, so bekommt man dieselben Resultate. Die Leute thun es nicht aus Bösem: aber alle deutsche Staaten, die nicht ganz stationär sind, geben, nach den Ausdruck eines ausgezeichneten Mannes, mit ihrer Gesetzgebung dahin, unsere Nation dahin zu bringen, wo die Italiener sind: in den Städten Pfuscher und Krämer, auf dem Lande zeitpachtendes oder tagelöhnendes Lumpengesindel¹⁵ (там же).

Все эти бедствия отстраняются просто, естественно, сохранением общинного нашего землевладения, с теми лишь необходимыми коррективами, на которые указыва-

ет местами самый опыт, самая жизнь. Можно ли после этого сочувствовать тем, даже умеренным противникам общинного землевладения, которые, не рекомендуя насильственных мер для его отмены, не без удовольствия ожидают того времени, когда оно постепенно и естественно перейдет в частную собственность. Нет, тысячу раз нет! История, народные инстинкты и разные благоприятные обстоятельства сохранили, к счастью, это учреждение до той минуты, когда Россия из полупатриархального быта переходит в быт гражданский, промышленный и коммерческий. Дорожите, как зеницею ока, этим неразвитым еще, но драгоценнейшим залогом правильной социальной организации. Беритесь за него с крайнею осторожностью и не спешите преобразовать, пока не изучите все его стороны, не вникните глубоко в его сокровенный смысл. Если где местами смысл народный ослабел и не дорожит более этою своею святыней и верным оплотом против будущих бед, поддержите его, закрепите законом на вечные времена. Мало-помалу оно перейдет в личную, пожизненную поземельную аренду, но храни нас Боже, чтоб оно перешло в личную собственность.

С.-Петербург.

3-го ноября 1858

ДВОРЯНСТВО И ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЕСТЬЯН

Крепостной вопрос разрешен, и разрешением его почти все остались недовольны. Крестьянин тужит, что ему еще два года придется работать на барина или платить прежний, может быть, тяжелый оброк; ему жаль земли, которая отрежется из его поля на барина; его берет раздумье над тяжелой повинностью, которая останется на нем по уставной грамоте¹. Многого, что ожидает его впереди, он еще не разобрал хорошенько, но то, что он понял, вовсе не отвечает его ожиданиям и надеждам. Дворяне тоже недовольны и, может быть, еще более, чем крепостные. Повинности их бывших подданных урезаны, часть земли будто перестала им принадлежать, издельная работа тоже значительно умалена против действительности². Чем заменить ее? Наемные работники страшно дороги, да и хорошо еще, когда их можно нанять хотя бы за высокую плату, а то местами и их никак нельзя добыть. Чтобы поставить хозяйство на новую ногу, нужны деньги, нужно много денег, а их нет и занять не у кого. Притом как-то неловко, тяжело и почти унижительно чувствовать себя на каждом шагу связанным законом и юридическими условиями в том самом имении, где до сих пор жилось так свободно, почти без всяких ограничений, полным хозяином. Мы убеждены в том, что все эти и подобные им неприятные впечатления только что начавшейся реформы мало-помалу рассеятся, что недоумения и частные неудобства, которые по ее поводу возникли и будут еще возникать, постепенно разъяснятся и уладятся. Помещики и крестьяне понемногу привыкнут к новому порядку дел, присмотрятся к тому, что им кажется теперь диким, и увидят полезные и выгодные стороны реформы, заслоняемые пока новостью дела, чрезмерными ожиданиями и чрезмерными опасениями. Временные потери помещиков, где оные и будут, уравновесятся впоследствии прибылями и тоже забудутся. Частные случаи безвозвратных потерь и совершенного разорения, конечно, представятся и между помещиками, и между крестьянами; но они не-

избежны при всяком коренном общественном перевороте, встречаются даже в самое спокойное время, при обыкновенном ходе дел и, след < овательно >, не идут в счет. В конце концов, освобождение крестьян окажется через несколько лет не таким страшным, как казалось с первого взгляда, на другой день после обнародования манифеста.

Многие, пожалуй, и готовы с этим согласиться. Лучшая, образованнейшая часть дворянства досадует, собственно, не за освобождение крестьян, с необходимостью которого уже свыклась, не за надел их землею, которою и до сих пор крестьяне пользовались на самом деле, не за материальные пожертвования, которые дворянство всегда приносило и теперь приносит на общую пользу. Настоящая причина горечи и негодования гораздо глубже. Дворянство не может примириться с мыслью, что правительство освободило крестьян, как ему хотелось, а не как хотели дворяне, что дворянство даже не было порядочно выслушано; что правительство не сочло нужным объяснить перед ним, почему освобождает крестьян так, а не иначе, почему отвергло его предложения³. Роль первого сословия империи в деле такой важности вышла жалкая и унижительная. Правительство его успокаивало, спрашивало мнения, заставляло работать и потом решило помимо него, соображаясь с его желаниями, когда хотело и насколько хотело. Дворянство видит в этом обман, оскорбление, нестерпимый произвол и насилие, и вот что его глубоко возмущает. Оттого с каким-то злорадством смотрит оно на все ошибки и промахи правительства по крепостному вопросу, придавая им размеры и значение, которых они, если смотреть на дело спокойно и хладнокровно, на самом деле, может быть, и не имеют.

К чувству глубокого оскорбления присоединяется еще и тяжелое раздумье: что же станет теперь с дворянством? До сих пор оно было первым сословием в империи; совершив освобождение согласно с его предложениями и без земли — оно сохранило бы свое положение, и поселенные на помещичьих землях крестьяне остались бы к владельцам в вассальном подчинении и зависимости. Но теперь, когда освобождение совершено правительством помимо дворянства, когда каждый бывший крепостной крестьянин будет иметь свой клочок земли, вырванный у помещиков из рук насильственно, что ожидает дворянство впереди? Власть бюрократии и чиновников страшно усилится, все местное управление окончательно

перейдет в их руки, а дворянство, потеряв всякое значение и всякую власть, сравняется с другими классами народа и исчезнет в их огромной массе. Такое последствие освобождения, в том виде как оно совершилось, неизбежно и наступит очень скоро. При всеобщем обеднении дворянства ему не выдержать нового порядка дел, новых условий хозяйственного быта, не имея кредита, который бы дал возможность изворотиться на первых порах; а у нас, вследствие плохого законодательства, частный кредит не существует; правительство же, истощив банки на свои надобности, подорвало и этот обильный источник ссуд. Что ж делать? Большинство дворянства должно будет поневоле продать свои имения и, расплатившись с долгами, остаться ни при чем.

Такие мысли и чувства волнуют теперь дворян; отсюда негодование и злоба, с которыми большинство их встретило Манифест 19-го февр <аля>.

Отбросив преувеличения и крайности, естественные при раздражении, нельзя не согласиться, что в раздумье и опасениях дворянства есть своя доля правды. Положение этого сословия в самом деле теперь критическое. В нем совершается крутой переворот, какого оно никогда еще не испытывало. Речь идет не о минутном расстройстве, но о дальнейшем существовании и судьбе сословия, шедшего до сих пор постоянно во главе образования и всякого успеха в России. В такую важную и критическую для него минуту правильная и беспристрастная оценка настоящего положения, причин, которые его приготовили, и уяснение вероятной и возможной будущности есть дело первостепенной государственной важности, ибо только зная настоящее и прозревая в будущее, можно решить, по какому пути следует идти дворянству, какие лучшие средства выйти ему из теперешних затруднений, не теряя своего значения, только приспособляясь к новым обстоятельствам и условиям. Оставаться при одном негодовании было бы для него унижительно, бесполезно и бесплодно; надеяться на счастливые случайности тоже нельзя и нечего: они сто раз его манили и обманывали. Только опираясь на самого себя, доверяя себе и своим силам, действуя сознательно и разумно, дворянство будет в состоянии перенести кризис, снова окрепнуть и удержать за собою то почетное место, которое оно занимало так долго. Если дворянство не поймет этого и не будет сообразно с тем действовать, то другие элементы заменят его

и выполняют его дело, потому что история ни перед кем и ни перед чем не останавливается; она пользуется тем, что ей годно, осуждая на ничтожество и забвение все, что силится ей поперечить.

Мы глубоко убеждены, что русскому дворянству может предстоять счастливая будущность и блестящая роль. Оно самое образованное и сравнительно самое богатое из всех сословий; оно содержит в себе живые зародыши возрождения. Теперешнее критическое его положение есть результат неблагоприятных обстоятельств, которые уже изменились, и политических ошибок, которые могут еще быть исправлены.

Мы обращаемся к лучшей, просвещеннейшей части русского дворянства, без лести и страха, с одним искренним желанием добра, с надеждою, что голос наш будет услышан. Если, ставя правду, особенно в таком важном деле, выше всего, мы должны были высказывать горькие истины,—она оценит чистоту наших побуждений и, приняв все или хоть некоторые из наших мыслей, переложит их в дело своим авторитетом, влиянием и примером.

I

Прежде всего предстоит решить вопрос: что есть дворянство? Необходимо ли высшее сословие везде и всегда, или оно существует только при известных обстоятельствах и условиях, и с изменением их должно рано или поздно исчезнуть? При теперешней чрезвычайной разногласии мнений, при крайних и резких суждениях в самом противоположном смысле, обойти эти вопросы нельзя. Если высшее сословие явление временное, историческое, и рано или поздно должно перестать существовать, говорить о будущем дворянства в России есть явная несообразность и нелепость. Каждому дворянину следовало бы в таком случае посоветовать воспользоваться теперешним преобразованием, как он умеет и знает, не заботясь об остальном. Если же высшее сословие существует везде и всегда, изменяясь только в своих формах, то вопрос о будущем дворянства есть один из самых жизненных вопросов России, и переход этого сословия из одной формы в другую, сообразно обстоятельствам времени,—предмет, достойный глубокого размышления и близкий каждому дворянину.

С мыслью о дворянстве мы привыкли непременно соединять представление о какой-нибудь исключительной наследственной привилегии. Это производит чрезвычайное смешение понятий и сбивает с толку. Для одних дворянство есть привилегированный класс крепостников, стало быть, с прекращением крепостного права дворянство должно исчезнуть. Смотря по точке зрения, одни об этом горюют, другие радуются, но и те и другие согласны в том, что без крепостного права нет дворянства. Есть также мнение, сложившееся у нас исторически, что наше дворянство есть прежде всего сословие, наследственно посвятившее себя государственной, военной и гражданской службе; дворянин, никогда не служивший или торгующий, кажется каким-то странным, уродливым изъятием из общего правила, почти не дворянином; такой же не дворянин в настоящем смысле и тот, кто дослужился до дворянства из других сословий. То же самое думают многие и о других, так называемых дворянских привилегиях; распространение их на другие сословия кажется им унижением для дворянства, каким-то посягательством на его высокое общественное положение, а уравнивание в гражданских правах считается равнозначительным уничтожению этого сословия.

Смотря с этой точки зрения, нет места для сомнения и спора. Служебные и все прочие привилегии дворянства рушатся одни за другими; немного еще пройдет времени, и почти все удержавшиеся еще доселе мало-помалу тоже отменятся. Отсюда следовало бы заключить, что наше дворянство падает и осуждено вскоре совсем исчезнуть. Но так ли это на самом деле? С дворянством мы соединяем понятие о высшем, первенствующем сословии в империи. Неужели без исключительных наследственных привилегий оно существовать не может? Мы противного мнения, и история представляет блистательные доказательства в нашу пользу. В какой стране высшее сословие богаче, могущественнее, влиятельнее, чем в Англии? А оно не пользуется никакими привилегиями. Семейство первейшего лорда и последний нищий равны в правах. Участие аристократии в верхнем парламенте основано в Англии главным образом на владении майоратами, которые переходят из рода в род к одному лицу не по закону, а в силу завещательных распоряжений, введенных обычаем; участие в нижнем парламенте и в местном управлении основано также на поземельном владении.

доступном по праву для всякого. Итак, наследственная привилегия и высшее сословие — две вещи совершенно разные, которых нельзя смешивать, не впадая в грубые ошибки. Нам потому только представляется привилегия в такой неразрывной связи с понятием о высшем сословии, что дворянство до сих пор было у нас и во многих других государствах привилегированным сословием. Точно так же нам думалось, что фабричная и мануфактурная промышленность только и может существовать при за-претительном или по крайней мере покровительственном тарифе; но впоследствии оказалось, что такой тариф не только ее не охраняет, но существенно мешает ей развиваться, устраняя соперничество и тем погружая ее в усыпление и дремоту. Из упадка дворянских привилегий следует только, что это сословие не может более оставаться в теперешнем своем виде, что оно перерождается, что настало для него время изменить свои формы. Это достоверно и несомненно; но вывод, что в России с упадком дворянских привилегий не будет вовсе высшего, первенствующего сословия, совершенно произволен, не основан ни на чем и объясняется лишь превратным понятием о том, что такое высшее сословие, какое его назначение в общей экономии народной жизни, какие истинные причины его существования.

Различие сословий, различное участие их в государственной и общественной жизни есть явление общее всему человеческому роду, от начала мира до нашего времени. Какое общество мы ни возьмем, на какой бы ступени развития оно ни стояло, в каждом непременно некоторая его часть выделяется из массы народонаселения и в том или другом виде первенствует над нею. В этом отношении общества, в которых массы народа не имеют никаких прав, и те, где основным законом признано полное безусловное гражданское и политическое равенство всех сословий и не существует никаких привилегий, подчинены одному, очевидно общему, всемирному закону. Ясно, что неравенство сословий дано не обстоятельствами, а самой природой человека и человеческого общества, и причину его открыть нетрудно. Люди по физической природе, по умственным и другим своим способностям, неравны между собою со дня рождения. Из этого прирожденного неравенства вытекает и неравенство внешней их деятельности: одни предприимчивы, изобретательны, неутомимы, другие нет; одни делают много, скоро, хорошо; другие

мало, медленно и плохо. То, что человек творит во внешнем мире, становится его собственностью, которую он оставляет после себя детям или завещает близким; отсюда новый источник неравенства. Одни, создавая много, имеют большую собственность; другие, творя мало, имеют мало принадлежащих им вещей или вовсе не имеют собственности; одни получают наследство и потому не имеют нужды приобретать ее; другие не получают наследства и должны сами приобретать собственность.

Прирожденное физическое и нравственное неравенство нельзя изменить; никто его и не оспаривает, так оно несомненно и очевидно; но неравенство имущественное многим кажется чем-то произвольным, искусственным, случайным. Его, по-видимому, прекратить очень легко: стоит только отменить собственность и наследство. Такие предложения делались социалистами, но они оказались совершенно неосуществимыми, потому что противоречат закону свободы, столько же непреложному, как закон общежития. Право собственности, право оставлять ее после себя своим детям и близким, есть для огромного большинства людей лучший плод и награда трудов и усилий. Отнимите эти два сильнейших побуждения для деятельности, и одни только избранные будут продолжать трудиться и работать, а большинство не станет ничего делать, впадет в бездействие, в умственную и нравственную апатию. Как бы общественная жизнь ни была идеально устроена, с какою бы строгою справедливостью и беспристрастием ни распределялись вещественные, материальные блага между людьми, с какою бы нежною заботливостью ни пеклось общество после умершего об оставшихся в живых, дорогих ему лицах, — все это никогда не заменит права собственности, права оставлять наследство частным лицам, потому что в этих двух правах выражается свобода человека, которая ему так дорога, без которой он становится животным, а общество человеческое — стадом баранов.

В природном и имущественном неравенстве людей коренится, как сказано, причина общественного неравенства, возвышения и первенства одного слоя общества над массой народонаселения. С одной стороны, природный ум, таланты, добродетели, знание, опытность дают в каждом обществе естественное преимущество одним людям перед прочими; с другой — приобретенное собственными трудами или полученное по наследству имуще-

ство, ставя человека в независимое материальное положение, освобождая его от ежедневного тяжелого труда из-за куска хлеба и тем доставляя необходимый досуг, открывает ему возможность посвящать себя науке, искусствам, заниматься общественными делами и интересами — возможность, которой лишен бедный труженик, борющийся ежедневно с голодом и нуждою. К этому должно прибавить, что материальная независимость дает средства к более тщательному воспитанию с малолетства, а оно пробуждает и изоцряет ум, развивает таланты, укрепляет хорошие природные наклонности и подавляет в зародыше дурные — словом, вызывает к деятельности все душевные и нравственные силы, которые при отсутствии воспитания и при тяжких заботах с самой юности о существовании остаются неразвитыми, глоснут, грубеют и наконец замирают в массах людей, не имеющих собственности и живущих трудом.

Итак, природные свойства и собственность суть неискоренимый, вечный источник неравенства людей и различия высших и низших сословий во всех человеческих обществах, во все времена, на всех ступенях развития. Отчего же у всех почти народов, с успехами образования и с развитием материального довольства, среднее и низшее сословия смотрят на высшие классы враждебно и восстают против них? Отчего борьба сословий составляет такое же необходимое явление в жизни каждого народа, как и самое их различие? Отчего почти у всех народов рано или поздно создаются самые необузданные теории равенства, наполняющие историю слезами и кровью, и безусловно отрицающие всякое неравенство, которое, однако, как мы видели, есть основной закон человеческих обществ? Причины должно искать не в существовании высших классов, а в том, что они большею частью, не зная и не понимая своего назначения и роли, замыкаются в наследственные касты, обставленные привилегиями, никого не пускают в свою среду из других сословий, управляют делами страны в одних исключительно своих интересах, не думая о благе и пользе прочих сословий и общественных элементов.

Исключительность, привилегия, узкий, близорукий эгоизм — вот подводные камни, о которые разбились и разрушились высшие сословия в большей части государств. Дворянство должно быть первым между равными, а оно, сложившись, почти всюду становилось господи-

ном и, как всякий господин, постепенно обленивилось, тупело и ограждало свое видное и выгодное положение не заслугами, а привилегиями и насилием, в ущерб другим классам народа. Последние, с успехами образования, с большим развитием материального довольства, не могли этого не заметить, теория равенства, злая критика прирожденных привилегий выражали этот взгляд, это отрицательное отношение народа к дворянству, и чем дворянство было безумнее, тем эти теории, эта критика были страстней, беспощадней, радикальней. Самый страшный пример такого рода представляет нам Франция, где в первую революцию погибла от народного гнева значительная часть дворянства⁴; напротив того, Англия и до сих пор представляет образец высшего сословия, которое с редким благоразумием рано отказалось от привилегий и духа исключительности, сделало все сословия причастными правам, которыми само пользуется⁵, и, вследствие того, удержало и по наше время свое значительное положение в глазах народа и политическую роль в государстве. Причина весьма понятна. Высшее сословие, которое отмежеввалось от других породой, привилегиями и властью, есть предмет справедливой зависти для других классов народа, особенно для тех, которые по образованию и богатству стоят не ниже его; для них привилегия породы кажется вопиющею несправедливостью, власть одного сословия над другими — нестерпимым притеснением. Отсюда до ненависти к высшему сословию, до полного отрицания высшего сословия и его необходимости вообще — один шаг. Напротив, когда доступ в ряды аристократии открыт для всех и каждого, когда она, вследствие того, беспрестанно обновляется новыми притоками из других классов и из себя выделяет в массу народа чуждые ей элементы; когда, не пользуясь никакими привилегиями, она наравне со всеми прочими сословиями подчиняется законам страны и обязанностям, налагаемым государством, — тогда зависти и ненависти нет и не может быть места; теории, враждебные высшему сословию по принципу, не находят многочисленных последователей; принадлежать к высшему сословию становится целью стремлений, и оно, вследствие того, сохраняет свое высокое политическое и общественное значение.

Редко где аристократия вела себя так легкомысленно и безумно, как во Франции, и так политически расчетливо и дальновидно, как в Англии. В большей части европей-

ских государств монархическая власть достигла законодательными и административными мерами того, что во Франции сделалось посредством революции, в Англии — вследствие глубокого политического смысла английского народа и высшего дворянства. Исключительные привилегии дворянства, власть его над народом, дух касты — все это пало мало-помалу под действием центральной правительственной власти. Это тоже была своего рода революция против дворянства, но более медленная, тихая и произведенная не снизу, а сверху.

Мы не пишем истории дворянства; нам дороги только общие ее черты и общий результат. Что же мы видим? Всюду есть, были и будут высшие сословия, и всюду, где только они отделились от народа, замкнулись внутри себя и исключительно присвоили себе и своему потомству всю власть, не заботясь об общем благе и о прочих классах, там аристократии либо были истреблены народом, либо подавлены правительствами, которые заступили их место. Везде чрезмерно сильная власть правительства была необходимым последствием неправильного отношения аристократии к невежественным и бедным массам. Напротив, там, где дворянство не чуждалось народа, обновлялось свежими и лучшими его соками, не пользовалось исключительными привилегиями и, ища своих польз, заботилось в то же время и об интересах других классов, там оно удержало власть, сохранило почет в глазах народа, изменялось сообразно с потребностями времени и обстоятельств и, не допуская ни одного общественного элемента до исключительного господства над прочими, осталось в стране по-прежнему высшим, уважаемым сословием. Вот чему нас учит история. Важный, многозначительный урок, которым необходимо воспользоваться всякому дворянству, мечтающему о власти и политической роли.

II

Судьбы русского дворянства представляют многие общие черты с дворянством прочих континентальных государств, но имеют и свои отличительные, характеристические особенности. Не касаясь дворянства остзейского, малороссийского и польского в западных губерниях, которое образовалось под влиянием особенных местных обстоятельств, мы остановимся на дворянстве великорусском, самом многочисленном и принадлежащем к пер-

венствующему племени, из которого и около которого сложилось русское государство.

Русское дворянство тем существенно отличается от прочих европейских, что с самого начала, уже в колыбели, имело значение служебного класса. Из-за жалованья и добычи удальцы всякого племени и происхождения поступали в службу к князьям; были между ними и такие, которые служили потомственно; никаких определенных прав в отношении к князьям они не имели; на самом деле последние должны были делиться с ними добычею и совещаться о всех делах и предприятиях, как с своими военными товарищами, — иначе дружина могла не послушаться князя, что нередко и бывало, или, будучи им недовольна, оставить его и поступить на службу к другим князьям.

Так продолжалось до тех пор, пока князья перестали переходить из княжества в княжество, из удела в удел, и уселись на местах. Вместе с их оседлостью начинается некоторая оседлость и их военных спутников, получивших в управление или в кормление города и волости. Здесь первый зародыш поземельных прав нашего дворянства, которое тогда окончательно получило значение служилого класса, подчиненного князю, и сохранило лишь право переходить от него на службу к другим князьям. Со всем тем, князь по-прежнему советовался с служилыми людьми, судил вместе с ними тяжбы и по совету с ними издавал законы и отправлял другие дела княжества.

Окончательное образование нашего дворянства относится к тому времени, когда уделы мало-помалу исчезли в русской земле и соединились в одно Московское государство. Тогда бывшие удельные князья поступили в ряды слуг московского государя и стали около московского престола как высшее, знатное дворянство; бывшие же их слуги образовали низшее, городовое, местное дворянство. Те и другие получили от московского государя в пользование земли для службы, а поселенные на них крестьяне впоследствии прикреплены к земле. В XVII веке эти населенные поместья, с прикрепленным к ним сельским населением, мало-помалу обратились в полную наследственную собственность высшего и низшего дворянства и образовали теперешние дворянские имения. Огромное большинство их имеет такое происхождение, потому что московские государи лишили почти всех бывших удельных князей их родовых вотчин и обратили их в поместья,

а взамен их пожаловали князьям или их потомкам другие земли, на поместном праве.

Как только дворянство сложилось, тотчас же обнаружилось в высших слоях его стремление организовать в политическое сословие — наследственное, привилегированное, отделенное от народа. Ряды высшего дворянства сомкнулись, и право участвовать в царских советах обратилось в исключительную привилегию только известных знатных родов. Вход и выход в городское и местное дворянство в XVII веке мало-помалу тоже прекратился.

Московские государи рано почуяли опасность, которая грозила с этой стороны их власти, и всячески старались предупредить ее и ослабить. Они стали давать сельским и городским обществам самоуправление посредством выборных, стали выводить и возвышать лица им преданные из низшего дворянства и других классов, и даже из иностранцев, на верность которых рассчитывали; поручали им местное и разные отрасли центрального управления, и под разными благовидными предложениями призывали их к участию и в царской думе. Разные законодательные меры, издаваемые в том же духе и с тою же целью, шли об руку с административными распоряжениями. Таким образом, очень рано началась борьба между царскою властью и вельможеством. Смотря по личному характеру государей, она то утихала, то принимала бóльшие размеры, как при Иоанне Грозном, но не прекращалась она никогда, и рядом с постепенными расширениями пределов государства и внешними сношениями наполняет всю нашу историю от Иоанна III до царствования Петра Великого включительно, составляя одну из интереснейших и поучительнейших ее страниц. Два с половиною века длилась эта борьба с переменным счастьем. Были минуты, когда высшее дворянство оставалось на время победителем, именно когда свергнув с престола династию Годуновых, оно выбрало своего царя — князя Василия Ивановича Шуйского; в другой раз оно восторжествовало, поставя царем Михаила Феодоровича Романова и обязав его обеспечить присягою гражданские права и политическую роль высшего дворянства на будущее время⁶. Но эти минуты были непродолжительны. Борьба кончилась полным, совершенным торжеством самодержавия. При Петре ряды высшего дворянства разомкнуты окончательно и стали доступны для всех и каждого, по годности к службе. Сенат, составленный из лиц, назначаемых государем из высших

сановников, дослужившихся до известного чина из какого бы то ни было звания, заменил Боярскую думу, составленную из родичей известных только знатных родов. Последующие безуспешные попытки высшего дворянства воспользоваться слабостью самодержавной власти и возвратить себе прежнее политическое значение были лишь слабым отголоском борьбы, которая окончательно завершилась в пользу самодержавия при Петре Великом.

Чем объяснить такой печальный для высшего дворянства исход борьбы? Какой тайной силой обладало самодержавие, чтоб побороть своего могучего противника? Скажут: сила, хитрость; но ведь этими же средствами располагало и высшее дворянство. Таланты государей? Действительно, между ними многие были одарены необычайным государственным и политическим смыслом, однако не все были таковы; притом же мы знаем, что и в высшем дворянстве были люди высоких талантов; сверх того, были минуты, когда обстоятельства особенно благоприятствовали вельможеству, и таких минут было немало: малолетство Иоанна IV, царствование сына его Феодора, время междуцарствия, первые годы царствования Михаила Феодоровича, царствование Феодора Алексеевича, Смутное время перед воцарением Петра. Если, несмотря на свое политическое положение, на свежие еще исторические воспоминания, на богатство и на благоприятные обстоятельства, высшее дворянство не воспользовалось этими минутами и пало в борьбе, то причины должно искать глубже, в его общественном положении, в его отношениях к массам народа. Наше высшее дворянство не имело корней в народе, было ему чуждо, стояло к нему почти враждебно. Областные правители с своими слугами и людьми, приезжая на кормление, немилосердно грабили и обирали местных жителей, так что целые области разбегались от их притеснений. Чванясь своей породой и знатностью, оно высокомерно и презрительно обращалось с прочими классами и тем отталкивало их от себя; оно попустило, а может быть, и желало прикрепления крестьян к земле и обратило их мало-помалу в рабов; оно резкой чертой отделилось от остального народонаселения и никого не пускало в свои ряды, ни к высшим государственным почестям и власти. Наконец, выделившись из народа, оно, как всякое замкнутое сословие, пользующееся всеми благами в виде прирожденной привилегии, впало в апатию; ничему не училось и ничего не дела-

ло. Уже в конце XVI и в первой половине XVII века невежество его поражало современников. Самодержавие отлично воспользовалось этими слабыми сторонами знати. Борьба с нею не могла не возбуждать в народе глубокого сочувствия к царской власти и придавало ей в глазах массы значение воплощенной божеской справедливости, карающей сильного и спесивого обидчика. Незнатные и бедные, но грамотные, деловые и практически-опытные люди, призываемые государями к управлению и власти, осыпавшие их милостями, были тоже им преданы. Московские цари, пользуясь этим расположением народа и тогдашних грамотеев и опираясь на них, успели сделать кое-что для общего блага страны, во всяком случае гораздо больше, чем высшее дворянство, и тем окончательно привязали к себе народные массы. Стоит беспристрастно прочесть кровавую летопись царствования Грозного, стоит прислушаться к народным преданиям из того времени, чтоб убедиться, с чьей стороны, даже в эту ужасную эпоху, были симпатии народного большинства.

С реформы Петра Великого падение вельможества очистило остальному дворянству путь к высшим государственным степеням и власти. Отсюда начинается блестящая его история и продолжается до кончины императора Александра I. Во всех важных событиях внешней и внутренней жизни государства оно принимало самое деятельное и благотворное участие. Целая фаланга замечательных государственных людей, дипломатов, писателей, полководцев вышла из среды этого сословия. Не пользуясь юридически исключительной привилегией сидеть в царских советах и стоять у кормила правления, оно на самом деле пользовалось большим значением, большою властью и правилом государством. Служба и чин стали теперь давать диплом на дворянство; вследствие этого лучшие элементы из прочих классов вступили в ряды этого сословия и придали ему особенный блеск, предохраняя от застоя и неподвижности, столько опасных для всякого сословия. В половине XVIII века дворянство успело выхлопотать себе разные гражданские права, соответствующие его положению и духу времени: неотъемлемость дворянства и неприкосновенность лица и имущества иначе как за преступление и по суду себе равных и с Высочайшего утверждения, свободу от телесных наказаний, от личных податей и рекрутства; право служить или не служить, право ездить за границу и поступать на службу.

в иностранных государствах. Дворянство образовалось в местные дворянские общества, с выборными губернскими и уездными предводителями во главе, с правом ходатайствовать о своих общественных нуждах и пользах, делать представления и приносить жалобы, исключать из своих собраний недостойных членов, иметь свои сборы и свою казну; кроме того, местные полицейские, многие судебные и некоторые другие должности стали замещаться лицами, выбранными дворянством из своей среды⁸. При открытом доступе в это сословие его права не были исключительной привилегией; скорее они служили приманкой для других сословий, которые и стремились попасть в дворянство. Последнее стало, таким образом, представителем всего лучшего, богатого и талантливого в народе.

Для начала трудно было находиться в условиях более благоприятных, чем наше дворянство в промежуток времени от Петра до 1825 года. К несчастью, крепостное право поставило это сословие в фальшивое, щекотливое положение к целой половине сельского народонаселения империи; это чудовищное право подсекло дворянство под корень, вытянуло из него лучшие соки, иссушило его, прежде чем оно успело расцвести в полной красе. Уже во время Александра I мысль об освобождении крестьян запала в лучшие умы и стала бродить в обществе. Сам государь был склонен к ней, и указ о свободных хлебопашцах⁹, прекращение пожалования населенных имений и некоторые другие меры свидетельствуют о готовности его привести ее в исполнение. Более хитрое и расчетливое остзейское дворянство, предугадывая верным политическим чутьем последствия этой мысли, поняв, что если оно само не позаботится о разрешении этого вопроса, то он будет разрешен помимо его правительством, поспешило освободить своих крестьян как само хотело и выговорило себе при этом львиную долю¹⁰. Русское дворянство не было так предусмотрительно и дальновидно. Оно всеми силами схватилось за это несчастное право, держалось за него донельзя и целым рядом ошибок, бывших неизбежным, роковым последствием этой основной коренной ошибки, дошло до теперешнего бессилия и ничтожества.

Печальную картину представляет история русского дворянства за последние полвека. Озабоченное одною мыслью удержать за собою крепостное право, оно в царских советах упорно сопротивлялось всяким полезным ре-

формам, прямо или косвенно затрогивавшим крепостной вопрос; под влиянием той же задушевной мысли оно мало-помалу стало во враждебное отношение к литературе, к науке, к университетам и просвещению, во всем стало тормозить развитие народной жизни, где и как и сколько могло. В местном управлении оно начало избирать в представители своего сословия, в полицию и суды только тех, которые защищали помещиков и их драгоценное крепостное право, не заботясь и не думая ни о чем остальном. Стремясь неудержимо все далее и далее по этому роковому пути, дворянство присвоило исключительно одному себе печальную привилегию рабовладения, как будто нарочно хотело на одном себе сосредоточить всю силу народного негодования; оно затруднило другим классам вступление в службу и переход в дворянство и чрез это стало все более и более смыкаться в исключительное привилегированное сословие. Не имея материальной необходимости работать и трудиться, оно отвыкло от труда и после нескольких лет службы предавалось покою и совершенному бездействию в своих имениях. Даже воспитанием стало оно пренебрегать вследствие того, что крепостное право и другие привилегии освобождали его от необходимости вести трудовую жизнь. Дети невольно заражались примером родителей. Словом, наше дворянство снова повторило историю нашего старинного вельможества, только уже не в политической, а в гражданской сфере. При таких условиях образование, мало-помалу проникавшее к нам из Европы, разумеется, не могло принести пользы дворянству; напротив, оно послужило ему во вред. Праздность и бездействие развили в дворянстве суетность, роскошь, мотовство. Не умея брать из Европы то хорошее, что она выработала, оно заимствовало только внешний лоск образованности, привычки довольства, комфорта и разврата, стоившие России очень дорого. Такие наклонности расстроили дворянство и ввели его в долги; пришлось, чтоб не отставать от других, заложить имения; но как ссуды служили не к поправлению расстроенного состояния, а к продолжению того же образа жизни, то кредитные учреждения, всюду предназначенные для устройства дел и обогащения заемщиков и всюду оказавшие это благодетельное действие, у нас повели только к окончательному разорению большинства помещиков. После того дворянству оставалось одно из двух: или приняться снова за службу и на счет казны и просите-

лей поправить свои дела, избегая в то же время кредиторов и тюрьмы, или налечь на крестьян и пополнять дефициты огромными оброками и усиленными работами подданных. Одни прибегли к первому из этих способов и тем уронили всякий кредит к служащим дворянам; другие обратились ко второму, все более и более раздражая против дворянства сельское население; третьи не пренебрегали обоими способами, находя, вероятно, соединение их особенно для себя выгодным.

В то время как дворянство, запутанное крепостным правом, клонилось к упадку, события шли своим чередом, принося свои нужды и потребности. Внутренний быт требовал коренных реформ; менее важные из них постепенно совершались, хотя очень медленно, потому что дворянство мешало им на каждом шагу; что касается до более важных преобразований, то они не двигались с места, тоже по вине дворянства. В самом деле, что можно было сделать хорошего, когда половина народонаселения принадлежала частным лицам и не имела никаких гражданских прав? А на этом пункте дворянство было непреклонно, и все попытки самодержавия остались бессильными; постановлены были, правда, после разных сопротивлений высшего сословия, некоторые частные ограничения произвола помещиков, но они большею частью остались на бумаге, не перейдя в действительную жизнь¹¹. Между тем, потребность радикальных реформ становилась все ощутительней, народ все более и более тяготился крепостным правом, чаще и чаще заявлял свое нетерпение...

В таком положении захватила нас неожиданно Крымская война. Разом открыла она всем глаза на страшное положение, в каком мы находились. Оказалось, что настоятельная потребность реформ, о которой многие давно и напрасно твердили, не была праздною болтовнею опасных мечтателей и злоумышленников, но действительною насущною потребностью, которую теперь увидал и понял всякий. С тем вместе для всех стало до последней очевидности ясно, что крепостное право не может долее держаться, что ему приспел последний час.

По окончании войны государь поднял этот вопрос, самый коренной, самый существенный, без разрешения которого невозможен никакой успех, никакие преобразования¹². И вот, дворянству снова представился удобный, счастливый случай поправить прежние ошибки и, став во главе великой реформы, выиграть себе отличное положе-

ние и перед народом, и перед правительством; но оно так глубоко пало и вследствие того было так ослеплено и обессилено, что на такой великий политический и гражданский подвиг ему недостало ни понимания, ни мужества. Не будучи подготовлено к реформе размышлением и знанием дела и потому не подозревая, что освобождение крестьян хотя и потребует сначала некоторых жертв, но в последнем результат будет для него и материально, и политически гораздо выгоднее, чем удержание крепостного права, дворянство погрузилось в копеечные расчеты, забаррикадировалось за своими отжившими привилегиями и на первые заявления правительства о прекращении крепостного права отозвалось пассивным отрицанием; потом, когда увидело, что дело не останавливается на одних заявлениях, пустилось спекулировать на освобождение и стало выводить баснословные суммы, за которые соглашалось расстаться с этой печальной привилегией; когда же и это не удалось, оно пробовало запугать правительство угрозами народных бунтов и дворянской конституции¹³! Но правительство, раз решившись покончить с крепостным вопросом, конечно, не могло испугаться этих угроз. Целый народ не восстает, когда с него снимают ярмо рабства; дворянство же, изолированное от других классов народа, бессильно вынудить у правительства конституцию. Кончилось тем, что правительство освободило народ, великодушно и благоразумно приписав этот подвиг не одному себе, но и дворянству. Но слова Манифеста никого не ввели в заблуждение¹⁴. Английская газета «Times» говорит, что дворянство с самоубийственной близорукостью оттолкнуло от себя в руки императора всю честь и всю заслугу этого великого дела. Нельзя, к сожалению, не согласиться, что это так: дворянство отнеслось к вопросу об освобождении крестьян нехотя, отрицательно, пассивно и было обойдено. Ему остались на долю одно напрасное сетование и бессильная злоба.

III

С изданием Манифеста и Положений 19 февраля для дворянства начинается новая эпоха. Как ни тягостна ему отмена крепостного права при настоящих его обстоятельствах и в теперешнем его положении, но она снова дает ему возможность поправить старые ошибки, связать свои интересы с пользами и выгодами прочих классов, занять

в стране твердое и почетное общественное положение и возвратить прежнее, теперь ослабленное влияние на быт государства. Но для этого дворянство должно совсем иначе взглянуть на свои права, обязанности, отношения и выгоды, чем смотрело до сих пор: вместе с изменившимися обстоятельствами и обстановкою и оно должно переродиться. Сама судьба как будто ведет его на этот путь, несмотря на его горькие сетования.

Положения 19 февраля обрисовывают довольно ясно те новые условия, в которые отныне рано или поздно будет поставлено дворянство в России. Крепостное право уже не может быть, как было до сих пор, отличительною характеристикою дворянских преимуществ. Земли, занимаемые теперь крепостными крестьянами, обратятся так или иначе в собственность последних, и всякие обязательные отношения их с бывшими помещиками совершенно прекратятся. Дворянство обратится таким образом в класс землевладельцев и постепенно уравнивается во всех гражданских правах с прочими сословиями; ибо свободы от имущественных податей и рекрутства оно со временем лишится, а свобода от личных податей, от телесных наказаний и некоторые другие дворянские преимущества распространятся на все сословия. Чтобы предвидеть это, не надобно быть пророком; это очевидно для всякого, кто хоть немного знает историю и понимает теперешний ход дел в России.

Влияние этих существенных перемен на быт и положение дворянства предсказать тоже не трудно. В значении его, с тем вместе и в личном его составе произойдет коренная перемена. Теперь дворянство есть привилегированное, наследственное и отчасти замкнутое в себе сословие, независимо от того, владеет оно имениями или нет; следовательно, рождение и пожалование определяют теперь принадлежность к дворянству; тогда же главным, существенным признаком высшего сословия станет более или менее крупное землевладение. Уже и теперь многие права дворян в составе дворянских обществ приурочены к владению имением известного размера; уже и в наше время с понятием дворянина невольно соединяется понятие о владельце имения, преимущественно населенного. Тогда владение значительною поземельною собственностью выступит еще более на первый план и станет главным характеристическим отличием дворянства. Конечно, лица, принадлежащие по рождению к известным дво-

рянским фамилиям, особливо когда они хорошо воспитаны, имеют достаток, хотя бы и не состоящий в земле, или достигли своими талантами и заслугами почетного положения в обществе и государстве, будут по-прежнему принадлежать к дворянству; но зерном, главным интересом, около которого сгруппируется это сословие, будет, как сказано, крупное землевладение. Большинство мелких землевладельцев, хотя и дворянского происхождения, силою обстоятельств и имущественными интересами более чем теперь приблизится к небольшим землевладельцам других сословий и мало-помалу сольется с ними в одно сословие, точно так же, как большие поземельные собственники из других сословий, силою тех же имущественных интересов, станут сближаться с дворянством и наконец вступят в его ряды.

Эта новая группировка сословий по имуществу и землевладению, конечно, произойдет не вдруг, а исподволь, незаметно. Воспитание, образованность, быт, привычки и фамильные воспоминания долго будут задерживать эти переходы из одного общественного разряда в другой, но сама жизнь приведет к тому мало-помалу. Имущественные интересы, материальная обстановка, род занятий, среда, в которой вращаются люди, имеют на них огромное влияние и перерождают их уже во втором поколении; не должно также забывать, что с успехами народного образования умственный и нравственный уровень прочих сословий возвысится вместе с улучшением их материального быта, а это значительно облегчит переходы из одного сословия в другое. Наконец — что мы считаем особенно важным как для дворянства, так и для прочих сословий — эти переходные ступени между ними свяжут их в одно целое, и теперешняя, во всех отношениях гибельная разобщенность классов прекратится. Дворянство, перестав быть замкнутым сословием, будет принимать в себя новые элементы из других классов и выделять из себя в низшие слои народа те, которые стали ему чужды. Вследствие этого, весь народ составит одно органическое тело, в котором каждый будет занимать высшую или низшую ступень одной и той же лестницы; высшее сословие будет продолжением и завершением низшего, а низшее — служить питомником, основанием и исходною точкою для высшего. То, чему весь мир удивляется в Англии, что составляет источник ее силы и величия, то, чем она так справедливо гордится перед прочими народами, — имен-

но правильное, нормальное отношение между низшими и высшими классами, органическое единство всех народных элементов, открывающее возможность бесконечного мирного развития посредством постепенных реформ, делающее невозможным революцию низших классов против высших, — все это будет и у нас, если только дворянство поймет свое теперешнее положение и благоразумно им воспользуется. Сила обстоятельств неудержимо толкает нас на этот путь, вопреки нашим беспрестанным ошибкам и поразительной близорукости.

Что может создать русскому дворянству отличное положение в народе, что пророчит ему возможность долгой и счастливой будущности, это именно то, против чего оно так восстает, за что в особенности так негодует на правительство, — это освобождение крестьян с землею. Новое устройство сельского народонаселения в России слагает у нас быт беспримерный в истории. Огромное большинство народа, за самыми незначительными изъятиями весь народ, будет у нас причастен благу поземельной собственности. Этим мы заранее навсегда избавляемся от голодного пролетариата и неразрывно с ним связанных мечтательных теорий имущественного равенства, от непримиримой зависти и ненависти к высшим классам и от последнего их результата — социальной революции, самой страшной и неотвратимой из всех, потрясающей народный организм в самых его основаниях и во всяком случае гибельной для высших сословий. Где массы народа имеют свой кров, свой трудовой кусок хлеба, как бы он скуден ни был, где они имеют точку опоры против случайных напастей в клочке земли — там нет места всем этим печальным и страшным явлениям, насильственно вынуждаемым голодом и отчаянием. В этом отношении будущность русского дворянства даже светлее, обеспеченнее, чем высших классов в Англии, где круг землевладельцев мало-помалу все стесняется и огромные массы народа, живущие теперь в довольстве от промышленности и торговли, могут когда-нибудь, вследствие ограничения по тем или другим причинам всемирного промышленного и торгового владычества Англии, остаться без куска хлеба. Россия — государство по преимуществу земледельческое. Как бы ни развились у нас фабричная промышленность и торговля, они никогда не создадут у нас такого могучего среднего сословия купцов и фабрикантов и столько же многочисленного безземельного и бездо-

мовного класса фабричных рабочих и пролетариев в противоположность землевладельческим классам и поземельной собственности, как в Европе. Главным центром промышленности на очень долгое время, если не навсегда, останется у нас земледелие, и около него будут группироваться все прочие отрасли производительности и промышленной жизни; с тем вместе и класс землевладельцев навсегда останется главным, первенствующим сословием: по землевладельческим интересам будут, главным образом, располагаться общественные разряды и группы.

Повторяем, сама история, помимо нас, вопреки нашей воле, толкает нас вперед по этому пути, готовя дворянству общественное положение и будущность, каких ни одно высшее сословие не имело ни у одного народа. Наделение всех крестьян землею дало ему гранитный, несокрушимый фундамент; общение с другими классами делает его законным представителем страны, а преобладание землевладельческих и земледельческих интересов свяжет его неразрывными узами с большинством народонаселения, имеющего те же самые интересы, и навсегда сохранит за ним значение высшего сословия. Из теперешнего своего положения оно возьмет с собою и упрочит высшую степень образованности, славные воспоминания из прошедших событий, в которых играло такую деятельную и почетную роль, высокое положение на ступенях общественной иерархии, которые наполняет теперь собою преимущественно перед всеми другими классами.

Сумеет ли дворянство воспользоваться этим своим завидным положением и, не сопротивляясь более истории, пойдет ли сознательно и разумно по открытому перед ним широкому пути — в этом теперь вся сила, весь жизненный вопрос настоящей минуты. Упорствуя по-прежнему, оно сгубит себя и свое потомство, но хода дел все-таки не переменит. Если оно будет, как доселе, чуждаться других классов народа, оно по-прежнему останется изолированным и бессильным; стараясь, вопреки закону, урезать у бывших своих крепостных часть земли или всю землю, притесняя их и обирая, как встарь, оно окончательно раздражит массы, вызовет их на открытую вражду, и ненависть их рано или поздно выразится не в пользу, а в ущерб дворянству, его значению и силе. Преследуя минутные денежные выгоды и оставаясь по-прежнему в нравственной апатии и невежестве, стараясь во что бы то ни стало удержать привычки роскоши не по средствам,

дворянство расстроит себя вконец и должно будет расстаться со своими имениями. Лица других классов сменят его и, сделавшись большими землевладельцами вместо теперешних дворян, будут играть их роль. На некоторое время общий уровень образования, конечно, от этого понизится. Новое дворянство, заступив место теперешнего, принесет с собою грубые привычки разбогатевшего мужика и мещанина; но пройдет пятьдесят лет, сменятся одно, два поколения, и этот минутный перерыв сгладится и забудется, оставив только грустное раздумье для будущего потомка некогда богатого дворянина и поучительный пример неразумия и ослепления целого сословия для будущего историка.

IV

Но, скажут нам, положим, что будущее сияет розовыми лучами; а настоящее? Какие средства имеет дворянство ступить на новый путь? Что ему предстоит делать? Какое будет оно иметь вознаграждение за те стеснения прав и материальные лишения, которые создало для него освобождение крестьян? Нельзя же жить для одного будущего, как бы оно ни было вероятно и даже несомненно; нужно что-нибудь и для настоящего.

Если большинство дворянства серьезно убедится в невозможности оставаться в теперешнем своем положении, чего мы ему желаем от всего сердца, если оно, беспристрастно взвесив справедливость и вероятность сказанного выше, твердо решится стать на новый путь, то и средства выйти из теперешнего затруднительного положения найдутся — они под руками.

Положения 19 февраля действительно потребуют пожертвований со стороны дворянства, в некоторых случаях, быть может, и весьма чувствительных; но они, во всяком случае, никого не выбрасывают на улицу, никого не лишают крова и пищи, не отнимают всех средств существования. Революции поступают иначе, и в этом лежит огромное преимущество всякой мирной реформы, как бы она крута ни была. Положения 19 февраля открыли дворянству возможность исподволь перейти к новому порядку и предупредили грозившую катастрофу снизу; в этом великая их заслуга, несмотря на частные недостатки. Как ни ощутительны лишения и стеснения, налагаемые на дворянство вследствие освобождения крестьян, однако

одни слишком пристрастные и раздраженные люди решатся утверждать, что дворянство лишилось всего. Еще львиная часть осталась ему на долю, и ею очень можно воспользоваться для того, чтоб выйти из временного затруднения. Кто хоть сколько-нибудь читал или даже перелистывал Положения, тот, конечно, с этим согласится.

А средства? Средства совершить переход отданы Положениями 19 февраля в руки дворянства¹⁵. С этой стороны нельзя не удивляться умеренности и благоразумию, с которым правительство воспользовалось выгодным своим положением при освобождении крестьян. Мысль об этой реформе и инициатива принадлежат ему: оно провело ее вопреки дворянству; вопреки ему оно сократило крестьянские повинности, оставило за крестьянами часть земли, дало им личные права и независимое от дворянства общественное устройство¹⁶. Будучи довольно сильно, чтобы настоять на этих важных реформах, чтоб произвести их без глубоких потрясений и без междоусобной войны, наперекор видимому недовольству, тайному и явному сопротивлению дворянства, правительство отдало приведение их в исполнение в его руки. Не коронные чиновники будут вводить Положения, а мировые посредники, которые в большей части случаев, в противность Положениям, избираются самим дворянством¹⁷; в губернских присутствиях на три коронных чиновника заседают пятеро дворян; да и самые чиновники — кто они, большею частью, как не те же дворяне? Какой превосходный случай разойтись с крепостными полюбовно, без обиды, внушить к себе благорасположение в будущих соседях и удержать на них самое сильное и продолжительное из всех влияний — влияние, возникающее из доверия к образованности, справедливости, нравственным качествам бывших господ? Этого рода влияние переживает силу и право и устанавливает отношения, которых не создает никакой закон. «Дворяне отпустили от себя без обиды» — это слово будет звучать в отдаленнейшем потомстве бывших крепостных и будет при случае очень полезно для потомков теперешнего дворянства, не только для нас, современников. Передав исполнение Положений 19 февраля в руки дворянства, правительство как бы заслонило себя, выставило в этом важном деле на первый план дворянство и тем открыло ему широкую дверь для спокойного и достойного выхода из настоящего в лучшее будущее.

Исход будет уже зависеть от него и лежать на его ответственности перед судом потомства и истории.

Если дворянство хочет пережить теперешнюю трудную минуту с пользою для себя, то ему следует, оставя ни к чему не ведущие сетования и бессильную досаду, серьезно позаботиться о сохранении за собою своих имений, о возможном сближении со всеми классами народа, о приобретении возможно большего влияния на местные дела и управление.

Те, которых освобождение крестьян расстроивает в материальном отношении, у кого дела имения запутаны, пусть бросают службу и едут жить в свои деревни. На это решиться, конечно, не легко, но нечего же делать. Деревенская жизнь избавит от многих требований и привычек роскоши и этикета, на которых дворянство разоряется в столицах и за границей; кроме того, жизнь в деревне даст возможность пристально заняться хозяйством, не дать себя обкрадывать на каждом шагу, и, что всего дороже, оно даст много досуга для чтения и размышления; наконец, этим способом дворянство всего скорее ознакомится с положением своих собственных дел, с Россиею, с народом. Лучше же это сделать теперь, чем впоследствии, когда уже будет поздно; ибо освобождение крестьян скоро положит конец тому спустя рукава, в каком мы жили до сих пор, получая доходы от имений чрез старост и управляющих, не заботясь ни о чем, а истощение средств заставит же нас когда-нибудь бросить привычки роскоши, которыми мы теперь так дорожим.

Переселение дворянства из городов и столиц в свои имения есть, по нашему глубокому убеждению, одно из самых капитальных условий его возрождения. Одно это уже повлекло бы за собою много самых благих последствий. Постоянное пребывание большинства дворян в имениях открыло бы дворянству возможность сохранить их за собою, дало бы ему дельное направление и полезную деятельность; вместе с тем, от такого переселения провинции оживились бы во всех отношениях: они наполнились бы порядочными, просвещенными людьми, в них распространились бы привычки и требования образованности, развилась бы местная общественная жизнь и местные интересы, отсутствием которых Россия так страдает. Теперь все жалуются на нестерпимую скуку в губерниях, на отсутствие в них людей и самых простых, незатейливых потребностей и удобств образованной жизни; с пере-

селением дворянства в деревни все это скоро изменилось бы к лучшему.

Кроме занятий хозяйством и поправления своих дел, дворянству следует особенно озаботиться и о том, чтоб сблизиться с прочими классами народа и привлечь их к себе. Для этого не нужно ни трат, ни чрезмерных усилий: отсутствие всякого чванства и спеси, ласковость, твердое знание дела, верность в слове и честность в расчетах — вот качества, которые требуются для того, чтоб снизить общее к себе доверие и благорасположение в массах народа. Чем реже встречаются у нас эти качества, тем они выше ценятся. Но прежде и больше всего дворянству должно стараться свято исполнить все свои обязанности относительно крепостных. На этом пункте нельзя довольно настаивать, потому что от него будет зависеть все остальное. Пусть дворянство самым добросовестным образом рекомендует мировых посредников, пусть воспользуется своим влиянием, чтоб разойтись и рассчитаться с крепостными без всякой для них обиды и притеснений. Ничто так не послужит ему в пользу и в настоящем и в будущем. Справедливый надел землею, возможно скорое отпущение на оброк, добросовестное и честное составление уставных грамот, возможно скорый переход к выкупу крестьян с землею, по соглашению или при содействии казны, — вот чего мы ожидаем, чего мы требуем от дворянства для его же пользы. Чем скорее оно совсем расстанется с крепостным правом, чем скорее из владельцев дворяне обратятся в соседей бывших своих крепостных, тем лучше во всех отношениях, потому что тем скорее у дворянства будут развязаны руки. С прошедшим надобно покончить во что бы то ни стало, хотя бы с пожертвованиями. В крепостном праве — весь узел развязки, в его правильном прекращении — ключ к возрождению дворянства и России.

В общественной деятельности дворянству следует стремиться к той же цели. Общественная деятельность должна служить ему средством для сближения с прочими классами народа, для приобретения на них влияния, для занятия в мнении общества того же высокого положения и значения, какое принадлежит ему теперь материально и юридически и которым оно, к сожалению, так дурно пользуется. Множество мест замещается теперь в провинции выборными от дворянства: пусть же оно выбирает лучших людей, самых образованных, знающих,

беспристрастных, деятельных, честных. Это внушит общее доверие к дворянскому сословию. Оно по закону может иметь влияние на народное образование и воспитание; пусть же воспользуется этим, чтобы распространять грамотность и просвещение во всех классах народа, пусть заводит школы, улучшает по возможности училища, поощряет частные учебные заведения; чем народ образованнее, тем высшему сословию лучше, тем возможнее сближение классов, тем вернее влияние образованнейшего класса на прочие. Дворянству вместе с другими сословиями предоставлено по закону участие в составлении смет, раскладке и учете земских сборов на местные потребности; пусть же оно пользуется этим своим правом настойчиво и серьезно; пусть сделается сберегателем общественных денежных интересов; это придаст ему огромное значение в глазах всех платящих, т. е. в глазах всего местного населения, не говоря уже о том, что чрез сокращение издержек оно само много выиграет в материальном отношении. По своему положению и связям с центральным управлением дворянство имеет большое личное, закулисное влияние на местное управление и дела; пусть же пользуется этим влиянием не во вред себе, как теперь, не для извлечения минутных выгод и личных протекций, а на общую пользу, для упрочения за собою видного и почетного нравственного положения в глазах целой губернии. Оно имеет право ходатайствовать о своих пользах и нуждах, делать правительству представления, приносить жалобы; пусть же пользуется этим великим правом для блага всех. Что нужды, что эти ходатайства, представления и жалобы, может быть, и не будут сперва уважены; дворянство должно продолжать настойчиво ходатайствовать, представлять, жаловаться; если право на его стороне и оно не выйдет из пределов закона, придется напоследок уважить, особливо когда дворянство всех или большинства губерний будет действовать в одном духе; интриги и происки могут заглушать справедливые желания лишь на некоторое время, а не навсегда; выдержка, твердость, сознание своего права и строгое пребывание в границах закона должны наконец восторжествовать над предубеждениями, недобросовестностью и рутиной.

Нужно ли прибавлять, что дворянство должно соединить свои силы, отказаться от теперешней разрозненности, от раздробления на партии, ничего не значащие, ни-

чего не выражающие, кроме мелких претензий, отсталого местничества и личного тщеславия?

Дельные, серьезные занятия у себя дома хозяйством, общественная деятельность, направляемая общею мыслью, беспрестанные сношения по делам общего интереса — все это свяжет дворян той же местности в одно живое целое и заставит умолкнуть партии, обязанные своим происхождением отсутствию серьезного труда и интереса, праздности и скуке.

Вот чего мы ожидаем и требуем от дворянства во имя его собственных выгод, настоящих и будущих. Если не все разделяют наши мысли, то, конечно, найдутся и такие, которые нам сочувствуют. Пусть же те, которые, не увлекаясь ближайшим, смотрят вперед и видят ясно теперешнее критическое положение, употребят все усилия, чтоб раскрыть глаза остальным дворянам и, действуя на них своим влиянием и примером, положат начало новому быту этого сословия. Медлить нечего. Каждая потерянная минута все более и более отдаляет возможность возрождения. Пройдет еще несколько лет, и оно, может статься, окажется невозможным.

V

Многим из наших читателей деятельность дворянства, заключенная в означенных тесных пределах, покажется слишком мелкой и ничтожной. Дворянство, скажут они, готово и на нее, но под условием расширения его прав, установления конституционных гарантий, участия в политической жизни государства. Конституция — вот что составляет теперь предмет тайных и явных мечтаний и горячих надежд дворян; она во всех устах и сердцах; об ней толкуется во всех кружках, в столицах и захолустьях, это теперь самая ходячая и любимая мысль высшего сословия.

Прежде всего уясним себе, что такое конституция? Под это понятие подходят предметы очень разнородные. В обширном смысле под конституцией разумеется всякое правильное государственное и общественное устройство, покоящееся на разумных, непреложных основаниях и законах, — устройство, при котором нет места для произвола, личность, имущество и права всех и каждого обеспечены и неприкосновенны. Такой порядок дел возможен при всяком образе правления — в неограниченной монар-

хии, как и в республике. Блистательным примером благоустроенной неограниченной монархии может служить Пруссия в последние тридцать — сорок лет до 1848 г.¹⁸. В тесном смысле под конституциею разумеется такое политическое устройство государства, где верховная власть ограничена политическим представительством, палатами или камерами, разделяющими с нею, в большей или меньшей степени, законодательную и высшую административную власть. Смещение понятия о конституции в этих различных значениях рождает тысячи недоразумений между правительствами и народами, в особенности же между людьми, одинаково желающими добра своей родине.

В каком именно смысле необходима, желательна, своевременна и возможна у нас конституция: в смысле ли внутреннего благоустройства или в смысле представительного правления?

Не только для дворянства, но и для целого народа совершенно необходимы личная и имущественная неприкосновенность, огражденная от произвола и насилия независимым, гласным судом уголовным и гражданским; необходим правильный государственный бюджет, публикуемый во всеобщее известие, и вообще правильное финансовое устройство; необходимы хорошее управление и полиция, действующие по законам, а не по произволу, и ответственные перед правильным, обыкновенным судом; необходимы умные, толковитые и приспособленные к потребностям страны уголовные и гражданские законы, расширение гласности, развитие народного просвещения в обширных размерах и т. п. Между тем, нельзя не сознаться, что наше управление, и местное, и центральное, требуют коренных преобразований, наши законы спутаны и обветшали, наше финансовое положение беспорядочно, расстроено и опасно, судопроизводство никуда не годится, полиция ниже критики, народное образование встречает на каждом шагу препятствия, гласность предана произволу, не ограждена ни судом, ни законом. Во всех этих отраслях нашей жизни заметны тот же хаос, та же безурядица, то же смещение понятий и произвол, как и в наших мыслях, о чем бы мы ни стали рассуждать; отсюда общее недовольство, брожение умов, стремление к другому порядку дел, высказывающееся все резче и резче по мере того, как время идет, а насущная потребность коренных преобразований в законодательстве и управле-

нии остается неудовлетворенною. Значит ли это, что выход из теперешнего положения невозможен без представительного правления и палат? История всех других континентальных европейских государств, кроме Франции, доказывает противное; всюду преобразования, требуемые временем, совершились до введения политических обеспечений, и потому нет основания считать у нас первые невозможными без последних. Преобразования, вводящие прочный, разумный и законный порядок в стране взамен произвола и хаоса, по самому существу дела должны предшествовать политическим гарантиям, ибо подготавливают и воспитывают народ к политическому представительству. Там, где, как у нас, царствует глубокое невежество, гражданское и политическое растление, где честность и справедливость — слова без смысла, где не существует первых зачатков правильной, общественной жизни, даже нет элементарных понятий о правильных гражданских отношениях, — там прежде представительного правления и установления палат нужны законодательные реформы; там общество должно сперва переродиться, чтоб политические гарантии не обратились в театральные декорации, в намалеванные кулисы, ничего не значащие, ничего не стоящие.

Но, скажут нам, как же получить необходимые преобразования, когда они не делаются? Положим, что путь законодательной реформы вернее, прочнее, правильнее; однако когда этим путем ничего не выходит или выходит, но вяло, медленно, неполно, одно и есть средство произвести реформу — это представительное правление; оно разом двинет дело преобразования; иначе мы очевидно попадем в заколдованный круг: политические гарантии, говорят нам, невозможны без предшествующей им законодательной реформы, однако и последняя, в свою очередь, оказывается у нас неосуществимою без представительного правления. Как же, спрашивается, выйти из этого противоречия? Значит, на самом деле нам суждено не двигаться с места?

Этот довод, по-видимому, очень убедителен; но при сколько-нибудь внимательном обсуждении дела он разлетается в прах. Необходимые законодательные реформы, и у нас и всюду, не столько были плодом прекрасных чувств и благородных мыслей, сколько результатом неотложных, практических потребностей. Когда целый порядок дел или какое-нибудь особое учреждение, создан-

ные предшествующим законодательством и историей, до того обветшают, что становятся на каждом шагу помехою и для народов, и для правительств, тогда наступает время реформы, которой уже никто и ничто отвортить не в состоянии. Светлые умы заранее предчувствуют и предсказывают эту минуту; тупые и близорукие держатся существующего порядка, даже когда все видят, что с ним нельзя более уживаться; но отмена его наступает независимо от опередивших и запоздавших, в силу неотразимых практических нужд, которые имеют свое развитие и свою судьбу. Многие давно уже предвидели и призывали горячими желаниями освобождение крестьян, многие и теперь еще возражают против него; а оно наступило независимо от желаний одних и сопротивления других, в ту минуту, когда массы народа и правительство не могли долее существовать с крепостным правом и теми явлениями, которые оно производит во всех сферах быта и управления. В этом смысле наступление неизбежных преобразований, которых так жаждут все просвещенные и благомыслящие люди в России, которые составляют такую неотложную потребность нашего времени, обеспечено и несомненно, и ничто в мире не отвортит их. Сила обстоятельств и вещей уже требует их с каждым днем настоятельней. Теперешние предубеждения против реформы, пустые страхи, интриги тех, кому она неприятна и нежелательна или по неспособности и невежеству недоступна, должны скоро рассеяться перед светом истины, очевидной пока для меньшинства, но которая в короткое время станет убеждением всех. Одно освобождение крестьян, не говоря о других условиях теперешнего нашего быта, вынудит реформу как необходимое свое последствие.

Многим этот вывод покажется, быть может, малоутешительным. Они, может быть, найдут, что реформа, потребность которой так настоятельна, откладывается, таким образом, на неопределенное время в долгий ящик; политические гарантии, по их мнению, вернее и скорее подвинули бы это дело.

Может быть, и об этом можно мечтать; но мечта и действительность — вещи совершенно разные. Мы, с своей стороны, очень мало интересуемся фантазиями; то только и имеет цену в наших глазах, что возможно и достижимо; но возможны ли и достижимы ли у нас политические гарантии в настоящее время? Вот в чем весь вопрос. Мы глубоко убеждены, что нет; а следовательно,

и мечтать об них теперь нечего. Чтоб иметь представительное правление, надобно сперва получить его и, получивши, уметь поддерживать, а это предполагает выработанные элементы представительства в народе, на которых бы могло твердо и незыблемо основаться и стоять здание представительного правления. Где же у нас такие элементы? Повсеместное, с каждым годом возрастающее брожение умов, на которое иные могут, пожалуй, сослаться, свидетельствует только о пробуждении народа к новой жизни, о насущной потребности коренных реформ в законодательстве и управлении — потребности, остающейся неудовлетворенною; но оно ни в каком случае не есть конституционный элемент. Если, не останавливаясь на поверхности вещей, на словах и возгласах, на отдельных мнениях, которые мы так склонны принимать за мнение всех, мы дадим себе труд взглядеться вглубь и понять настоящее положение вещей в России, что мы увидим? Составных стихий народа у нас две: крестьяне и помещики; о среднем сословии нечего говорить: оно малочисленно и пока так еще незначительно, что нейдет в счет. Что касается до масс народа, то, конечно, никто, зная их хоть сколько-нибудь, не сочтет их за готовый, выработанный элемент представительного правления. Дай Бог, чтоб эти безграмотные, большею частью бедные, неразвитые массы, лишь со вчерашнего дня вышедшие из рабства, сумели как следует пользоваться своими гражданскими правами и тою скудною долею самоуправления, которая им предоставлена законом. Остается дворянство. В наше время трудно себе представить исключительно дворянскую конституцию. Слава Богу, мы живем не в средние века, не в варварские времена, когда она была возможна. Политические права одного сословия и отсутствие политических прав для всех других — это теперь что-то немыслимое, такое, что встретило бы единодушное противодействие не только со стороны правительства, но и со стороны масс народа и всего просвещенного, либерального в России.

Но допустим даже на минуту, что дворянское представительное правление возможно. Где, спрашивается, в дворянстве элементы для его поддержания? Что уполномочивает нас видеть в этом сословии то твердое основание, тот гранитный пьедестал, на котором могла бы незыблемо покоиться политическая конституция? Все предыдущее изложение доказывает противное. Дворянство матери-

ально расстроено, политически стоит изолированно или враждебно с прочими классами, не представляет ничьих интересов, кроме своих собственных, не составляет стройного, органического сословия, не пользуется даже своими сословными правами и участием в местном управлении, как бы следовало ожидать от сословия, призываемого к политической роли в государстве. При таких условиях представительное правление у нас невозможно; мысль о нем не более как праздная мечта, отголосок раздражения и страсти, не взвешивающей настоящего, глубокого смысла слов. Толки о представительном правлении в устах сословия, бессильного привести свою мысль в исполнение, смешны и были бы совершенно безвредны, если б не роняли этого сословия еще более в глазах правительства и всех понимающих настоящее положение вещей в России. Мы уверены, что если б каким-нибудь чудом политическая конституция и досталась теперь в руки дворянства, то это была бы, конечно, самая горькая ирония над нынешним жалким его состоянием; она обнаружила бы вполне всю его несостоятельность и скоро бы пала и была забыта, как много конституций в Европе, не имевших твердых оснований в народе. Стоит только вспомнить конституционную историю Франции и теперешнее ее положение¹⁹.

Нет, не в бесплодных мечтах о представительном правлении должно искать дворянство выхода из теперешнего своего трудного положения. Ему прежде всего надобно самому переродиться, самому расстаться с привычками неумеренной роскоши, дарового добывания денег от крестьян или от службы и правительства, забыть жизнь спустя рукава; ему надо перестать думать только о своих минутных пользах и выгодах и серьезно подумать о будущем, о пользе других сословий страны, государства; ему надо много трудиться, образовать себя как следует, привыкнуть действовать по началам строгой справедливости и беспристрастия в ежедневном частном быту, в убеждении, что только труд, знание и безусловная добросовестность ставят сословие высоко в мнении народа и доставляют ему влияние и власть. Переродившись нравственно и поправя свои материальные средства, дворянство найдет на первый раз обширное и достойное поприще для гражданской деятельности в сфере провинциальной, губернской, где теперь столько дела, и которая никогда не очистится и не улучшится, пока за это не примется

деятельно высшее, образованнейшее сословие. Сделать провинциальную жизнь не только возможной и сносной, но даже удобной и приятной — вот ближайшее призвание дворянства, и, повторяем, это оно может сделать, на это оно имеет все средства. Россия еще во всех отношениях печальная пустыня; ее надо сперва возделывать, начиная дело снизу, а не сверху. Когда жизнь мало-помалу отвлечется от столиц и больших центров в провинцию, тогда произойдет и желаемая всеми административная децентрализация. Во всяком случае, самоуправление, эта любимая мечта всего просвещенного и либерального в России, может начать осуществляться пока только в провинции, при деятельном содействии дворянства. В этой плодотворной школе оно и приготовится как следует к дальнейшей более обширной политической деятельности, которая без того навсегда останется неосуществимой фантазией. Опыт показывает, что даже в небольших государствах невозможна гражданская и политическая свобода, без сильного развития местных интересов и местной жизни; как же будет она возможна без этого условия в такой огромной империи, как Россия? Будем же благоразумны и, не растрачивая напрасно сил на идеалы, займемся тем, чем можно и что у каждого из нас под руками. Время принесет свое, когда мы будем готовы. От нас зависит ускорить или замедлить его ход.

КРАТКИЙ ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ ИСТОРИЮ

Колыбель ее — западно-русские племена: малороссийское и белорусское. На юге: Киев, Галиция, Козачина¹; на севере: Полоцк, Смоленск, Псков и в особенности Новгород. Эти племена не могли образовать государства и подпадали под власть и влияние Литвы, Польши, Московии. В них вырабатывался, рано или поздно, аристократический элемент, которым тяготились массы, и недоставало сильной центральной власти.

Русское государство основано великорусским племенем (теперь оно составляет от 35 до 40 миллионов). Возникает лишь в XII веке выселками из белорусского и малороссийского племени в страны на восток, заселенные финскими племенами². Новгородцы колонизировали север — Двинскую область, Вологду, Вятку, Пермь, с юга потянулись колонии в Рязань, Владимир, Москву. Новгородские поселения были, кажется, главным образом — торговые, княжеские, судя по последующему времени, по преимуществу — военные, при участии, однако, церкви и свободного движения русского племени. Заселение азиатской и европейской России русским племенем продолжается непрерывно и до сих пор и составляет один из главнейших, господствующих интересов внутренней истории.

Как образовалось великорусское племя, отличное от малороссийского и белорусского, сказать трудно. Может быть, отличия зависят от других географических условий (евреи в Сибири³); но более чем вероятно, что финский элемент примешан в этом племени к русско-славянскому, что доказывается: 1) тем, что прежде тут жили финские племена; 2) местными названиями и финскими словами в великорусском диалекте; 3) особенно постепенным обрусением финских племен; это совершается теперь, на наших глазах, и не могло не быть прежде, сыздавна.

В древнейшие времена заметно яркое различие великорусского племени от западно-русских. Последние смотрели на первое свысока, с презрением. В нем нет почти

индивидуального начала, нет поэтического характера, личной храбрости, удалства, рыцарства; действует масса-ми, не пускается на рискованное дело, выжидает, страшно выдержанно. Князья на этой почве перерождаются: из переселяющихся из области в область и воюющих становятся оседлыми и уже в XII веке мечтают о единодержавии. Андрей Боголюбский и Всеволод напоминают последующих московских царей.

Нашествие татар остановило на двести лет развитие великорусского племени; но наконец и с татарами оно справилось. Московские князья начали понемногу дело освобождения. Умели подольститься к ханам (Иван Данилович⁴), прикинуться их вернейшими слугами и так искусно вели дела, что ханы им поверили, предоставили старшинство над всеми прочими и сделали их главными сборщиками податей. Князья московские умели с необыкновенным искусством воспользоваться этим положением: ордынские подати употребляли на подкупы в Орде и на покушку себе владений; клеветали на своих соперников ханам как на мятежников, выпрашивали себе, для их усмирения, татарскую помощь и стали мало-помалу все-сильны в России. Окрепнувши, они сняли маску, заговорили другим языком с Ордой и к концу XV века окончательно сбросили иго Орды.

Итак, государство образовано великорусским элементом — единственным между славянскими племенами, сумевшим основать прочное государство.

Исторический тип, который лег в основание этого нового государственного тела, есть 'тип des Guts- und Hausherrn'. В этой чистоте и последовательности он нигде и никогда не был проведен в истории. К нему, правда, примешались смутные воспоминания западно-русского развития, татарского господства, византийские элементы, польско-аристократические черты: но все эти элементы играли очень второстепенную роль и остались на поверхности. Корень и сущность исторического типа государства — des Guts- und Hausherrn. Он развивался неуклонно и совершенно выработался в мельчайших подробностях в XVII веке.

Главные черты этого типа:

1) Дружина свободная обратилась в двор и дворню. Слуга — высший титул и награда. Название холоп (Knecht) стало общим для всех служащих московскому

царю, не исключая высших сановников. Писались полуменами, в унижительном смысле. Получали сперва области и города, потом земли в кормление. Это была милость (жалованье). Совершенно и безусловно зависели от царя, как принадлежащая ему собственность (аристократические стремления, занесенные из Польши, рушились на этой почве). Анекдот о кн. Вяземском и его отношениях к Ивану Грозному⁴.

2) Массы народа назывались, в отношении к царю, сиротами. Этим выражалось, что царь был их защитник, опекун, оберегатель от сильных людей, своих дворовых.

3) Царь был государь — безусловный господин и наследственный владелец земель. Так как другого типа государственности не было, то он делил все свои владения между женою и детьми, как частные лица. Это продолжалось даже тогда, когда появилась надежда и уверенность освободиться от монгольского ига. Лишь с Дмитрия Донского (конец XIV в.) младшие князья стали получать меньшие части против старшего. Эти части все уменьшались и уменьшались и с XVII в. их вовсе перестали давать.

4) В XVII веке строго проведено начало обязанности всех и каждого нести в пользу государства личную службу, натуральную повинность. Вытекая из начала рабства, эта обязанность простиралась на всю жизнь и на все потомство. Необходимое разделение занятий родило общественные разряды, наследственные; начало рабства выразилось в том, что они были приписаны к земле или к ведомству, учреждению, заведению. Примеры: служащее дворянство, составлявшее многие разряды, было расписано по городам и областям; горожане — тоже; крестьяне — по деревням и селам; стрельцы — к Москве и городам; казаки, даже артиллеристы и наборщики. Вообще, как только требовались люди для какого-нибудь дела — они приписывались с женами и детьми к ведомству и отправляли дело до изнеможения сил или до смерти и наследственно и сначала безвозмездно. В XVIII и даже XIX веке, до нашего времени, это начало, переставши быть всеобщим, как прежде, удержалось в больших размерах: солдат, поступая на службу, совершенно вырывался из среды своей и наследственно переходил навсегда в военное ведомство, составляя особое звание; казенные и многие частные фабрики (посессионные) имели своих

приписных людей, мастеровых и крестьян, которые работали наследственно на фабрику, то же продолжалось с печатниками Московского университета; солевозы, лашманы, казаки etc. В XVII веке, как сказано, все служили лицом или отправляли натуральные повинности — хлебом, припасами, напр., рыбою, птицами и проч. Нужны были мастеровые — каменщики, плотники, ремесленники — их собирали со всего государства и посылали куда нужно. Оригинальна была служба купцов. В XVII веке продажа водки была регалией и существовали внутренние и внешние таможи; кроме того, казна получала из Сибири подать от инородцев мехами и торговала ими. Все эти ветви финансового управления заведывались московскими купцами, которых посылали с этою целью в города. Меха сдавались им по оценке, и они должны были их продать, на свой страх, не ниже оценки. Сборы кабацкие и таможенные должны были быть не меньше положенного. Эта служба была разорительна. От нее бегали, и чем меньше становилось купцов, тем чаще приходилось служить. Они жаловались. И вот выбирают богатейших купцов из городов и переселяют их в Москву, чтоб облегчить московское купечество. За заслуги давалось звание гостя, которое, таким образом, из торгового занятия обратилось в чиновническое отличие.

Этот тип удержался в строгой последовательности до XVIII века, несмотря на византийские и польские влияния, которые оставались на поверхности и не проникали в глубину жизни. Тип *Haus- und Gutsherrn* повторялся от царя до последнего подданного.¹ В этом отношении быт представлял удивительное единство. Все и все было крепостное, обязанное нести службу или отправлять работу до смерти и наследственно. Да и служба едва-едва специализировалась; в конце концов, в силу крепостного права, можно было заставить каждого делать все что угодно, отправлять всякого рода работу².

Таким образом, индивидуальность не имела простора; начала личности не было вовсе. То, что составляет основание всего европейского развития, что определило европейскую жизнь, — именно этого у нас не было.

Такой быт, конечно, объясняется исторически. Другого не могло быть, и при данных обстоятельствах он был полезен и благодетелен, потому что помог образоваться и установиться политическому телу. Никакое другое сла-

вянское государство не устояло, даже при блестящей постановке обстоятельств: все пали от чрезмерного развития аристократии и слабости центральной власти. Очевидно, что в этом племени государство могло образоваться и упрочиться только под условием сильной центральной власти, и при данных обстоятельствах она не могла образоваться иначе, как по указанному типу.

Но, признав это, надо сказать, что индивидуальность в этих условиях задыхалась. Если мы — европейский народ и способны к развитию, то и у нас должно было обнаружиться стремление индивидуальности высвободиться из-под давящего ее гнета; индивидуальность есть почва всякой свободы и всякого развития, без нее немыслим человеческий быт. И вот, в конце XVII века у нас начинается брожение, которое предвещало появление этого начала. Явилось оно к нам из Европы и в европейской форме (князь Хворостинин⁹).

Крепостное начало проникает до XVIII в. весь наш частный и публичный быт. Это основание всего. Есть и другие элементы: воспоминание западно-русского происхождения (вечи и соборы), аристократическое начало (западно-русское княжество и польское) и византийское (в быту церковном и во внешних атрибутах власти с Иоанна III); но все эти элементы остались на поверхности и не проникли вглубь (соборы прекратились к концу XVII века, аристократические стремления подавлены Иваном IV и династией Романовых, церковь тоже приведена в должные границы при Иване IV и Алексеем Михайловичем в борьбе с Никоном). Безличность быта не была навязана, наложена насильственно. Она была в нравах большинства. Масса свободных шла в кабалу. Взгляд на наказания: жен (по Олеарию¹⁰, песням и пословицам), крестьян и солдат (анекдоты и виденное). Странно, но не позорно и естественно.

Но жизнь есть только известное определение данных элементов. Все они, самые противоположные, всегда, во всякую данную минуту налицо. Начало личности было и у нас исстари и рвалось на свободу. Беглецы, разбойники, казаки как другая сторона медали. Дикая, безграничная, необузданная воля, воспетая в особом отделе народной литературы. Делами о разбойниках завалены архивы. Стенька Разин, казаки (Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири). Эти проявления индивидуальности идут в па-

раллель с крепостным началом, соответствуют ему и доказывают неспособность индивидуальности создать гражданский быт; этим объясняют крепостное начало.

В сложившемся таким образом быту личное начало могло быть вызвано, пробуждено к нравственному, духовному развитию только извне и только начиная с высших слоев, потому что внутри, в частной и гражданской жизни, не было для этого элементов.

Это пробуждение выразилось, в начале XVIII века, в Петре Великом.

Петр — первая свободная великорусская личность, со всеми ее характеристическими чертами: практичностью, смелостью, широтою, и со всеми недостатками, обусловленными тою средою и теми обстоятельствами, при которых она появилась. В обществе, построенном на крепостном начале, личность могла заявить себя не иначе, как с большою ненавистью к порядку дел, который ее давил, со всею необузданностью и гневом угнетенной силы, рвущейся на простор, с пристрастием к цивилизованной Европе, где личность служит основанием общественного быта и права, свобода ее признана и освящена. Далее, личность могла выступить только со всею неопытностью, мечтательностью, пренебрежением к действительности, как является всякое новое начало, верующее только в себя и в свою силу. Все эти черты мы находим в Петре: он с ненавистью смотрит на старину и окружающее его, все его предубеждения в пользу европейского просвещения. С неудержимой, ужасающей силой и верой в свой идеал, он пересоздает весь наш быт от азбуки до синода, от бороды до платья, от ассамблеи до сената. Никакие препятствия его не останавливают. Во всех его действиях лежит в основании убеждение, что нет ничего невозможного, что можно все пересоздать сразу, и он спешит сделать в свое царствование то, что в обыкновенном порядке исторического развития есть дело веков и поколений. Только перед смертью он понял, что человек слабое творение. Своему делу, своей мысли Петр посвятил себя вполне, безгранично, с полным самопожертвованием. Его искренность и самоотвержение так же велики, как его дела. Он высказывает начало, что его наследником должен быть тот, кто наследует ему по духу, а не по плоти. Он страшный, неумолимый деспот, но не во имя своего лица, а во имя принципа, и потому деспотизм его просветлен идеею

и не оскорбляет. Поставя начало, он сам первый ему следует: учится, работает, выслуживается до чинов за действительные заслуги и выигранные сражения. Перед цивилизацией чувствует себя варваром, стыдится (случай в собрании в Голландии¹¹. С гордостью говорит дочерям, что не получил образования с детства¹²). Во всем этом Петр — новое, небывалое, чрезвычайное явление в русской истории. Он — целая революция, и как всякая революция — более программа для будущего, которую пришлось выполнить последующему времени. Но было бы ошибочно думать, что Петр — какая-то случайность в русской истории. Можно доказать положительными данными, что все его преобразования, не исключая ни одного, были постепенно подготовлены предшествующим временем и развитием: все вопросы решены им в том духе, в каком они поставлены предшествующей историей, только решены резко, круто, быстро. Петр — фокус, в котором они внезапно сосредоточились и ярко разрешились. Оттого он стал на грани между двумя периодами русской истории и заслонил собою прошедшее. Он выразил собою стремление прогрессивного меньшинства, которое тяготилось бытом тогдашнего времени, и стоял в его главе. Называть его изменником родине за пристрастие к иностранному, упрекать и ненавидеть его за то, что он был деспот, отыскивать в нем пятна с точки зрения гуманности — смешно и жалко. Это судить его с точки зрения, под которую он не может подходить. Петр — варвар, и не мог быть другим, но великий человек, наш герой и полубог, наша надежда и знамение русского народа. Страна, создавшая такого человека, не может не иметь будущности. Эта мысль служила нам утешением в самые тяжкие безотрадные минуты и, исцеляя наши душевные язвы, заставляла умолкать отчаяние, как медный змий в пустыне¹³. С Петром Великим начало личной свободы было поставлено в России, как программа, как требование, которое должно было постепенно осуществиться в действительности. Задача была необыкновенно трудна. Надобно было провести ее очень искусно, не подвергая опасности выигранное государственное начало, идя постепенно сверху вниз, от высших слоев русского общества к низшим. Эту задачу разрешают, в нашем внутреннем быту, XVIII и первая половина XIX века. Теперь она разрешена вполне, и постепенное ее развитие для нас очень

ясно и крайне интересно. Бросим беглый взгляд на то, как это сделалось.

Первая личность — Петр Великий — наносит сильнейший удар исторически образовавшимся общественным разрядам и ставит идею государства, которому все и каждый должен служить. Сам он первый подает этому пример. Упраздняет форму *des Haus- und Gutsherrn* и заменяет ее европейскими государственными формами.

Дворянство. Петр разрушает дворянство как исключительную служебную касту, имеющую служебные привилегии. При Анне Ивановне прекращается обязанность дворян служить вечно, до смерти. Положен 25-ти-летний срок. Петр III и потом Екатерина II освобождает дворянство вовсе от обязанности служить, от телесного наказания, от лишения прав личных и имущественных без суда; предоставлено право свободно жить в России и за границей. Образованы дворянские корпорации, с выборными представителями, с некоторою долею самоуправления, с правом ходатайствовать перед правительством о своих пользах и нуждах.

Городское сословие, в высших своих разрядах, именно купечество, получило те же самые почти права. Низшее городское население (мещане и ремесленники) получило их только отчасти, в гораздо меньшей степени. Но с 1846 года положено начало, при организации управления С.-Петербурга, самоуправлению городов, посредством выборных от всех городских обывателей. В нынешнее царствование это распространено на Москву и Одессу¹⁴. Есть проект сделать то же самое для других городов.

В 1832 или 1833 году художники, ученые, образованные люди всех классов и разрядов освобождены от подушной подати и телесного наказания. Долго торговавшие купцы получили наследственное право не платить подушной и не подвергаться телесному наказанию.

Те же права получило, мало-помалу, и белое *духовенство* с семействами, которое у нас до сих пор образует особое сословие.

Начиная с Александра I, подымается вопрос о таком же постепенном освобождении низших городских и *сельских* классов. Еще Екатерина II запретила свободным добровольно записываться в крепость. Но она ввела крепостное право в Малороссии и раздала множество населенных имений, с людьми, в частную собственность. Только

с Александра I совершенно и навсегда прекратилось в России обращение людей в частную собственность, и крепостные государства резко отличены от крепостных дворянства (другие классы, имевшие то же право владеть крепостными, лишились постепенно этого права). Освобождение тех и других идет параллельно, не перерываясь до нашего времени.

Низшие городские и сельские классы получают при Александре I право приобретать недвижимую собственность¹⁵, поступать в высшие учебные заведения (крестьяне — переходить в городские классы), и получив диплом, все права высших классов, освобожденных уже прежде. При Николае водворяется принцип, что крепостные крестьяне государства — свободные люди; сельские общества образуют особые общины, под управлением выборных; множество натуральных повинностей по владению казенной землей отменяется и заменяется денежными; многие разряды крестьян освобождены от телесного наказания. Юридически их быт установлен и права признаны. Допущен свободный переход из городов в села, из сел в города, под известными условиями (какие?). Но над свободными крестьянами тяготеет правительственная опека и произвол чиновников. Кроме того, по-прежнему остается еще наследственное звание солдат; рекрут, солдат — все еще раб государства и употребляется в фабричных и заводских работах, обращается в разные невоенные должности, и солдатское звание продолжает быть наследственным. Равным образом удерживаются еще очень многие разряды крестьян и мастеровых, приписанных к фабрикам, ведомствам, заведениям наследственно, с обязанностью почти бесплатной и почти бессрочной работы. Они и солдаты были свободны только по имени. В нынешнее царствование совершается (отчасти уже совершилось) совершенное их освобождение. Все приписные к ведомствам освобождены от обязательной работы. Солдаты перестали быть наследственным званием, сроки их службы сокращены на 10 лет (вместо 25—15) и употребление солдат в другие должности, кроме военной, если не совсем еще отменено, то значительно сокращено¹⁶. Телесные наказания — по суду. Самое важное то, что опека чиновников снимается. Для удельных крестьян это уже сделано, для государственных должно сделаться на днях. Крестьянские общества получают право выкупить занима-

емые ими казенные земли и чрез это обратиться в свободные общины. Идет речь об отмене подушной подати ¹⁷ (для низших городских сословий это уже сделано). Кнут отменен. Телесные наказания только по суду. Число вовсе освобожденных от телесных наказаний чрезвычайно расширено. Женщины освобождены от них вовсе. Уничтожение крепостного права дворянства, совершившееся в наше время, подготовлено тоже непрерывным рядом постепенных ограничительных мер, которые начались с первых годов царствования Александра I, значительно усилены и умножены при Николае, который все свое царствование мечтал об освобождении крепостных дворянства ¹⁸, но не справился с этим делом. Теперь это совершилось. Главные основания: 1) дворовые освобождены безвозмездно; 2) крестьяне получили все гражданские права, наравне с прочими свободными, и образуют общины с выборными и с большою долею самоуправления; 3) удержали за собою большую часть господских земель, которые обрабатывали при крепостном праве на себя, по известной оценке, и за нее, или работают, или платят оброк, определенный законом, — то или другое по своему усмотрению; 4) по соглашению или по одностороннему желанию господина, надел может обратиться в полную собственность крестьян за сумму, определенную заранее законом, причем государство выдает сумму частью деньгами, частью облигациями, и платит на них проценты, а крестьяне платят государству эти проценты и погашение (рассрочка погашения на 49 лет). В 9-ти западных губерниях в 1863 году введен обязательный выкуп, по причинам политическим ¹⁹. На этом основании, из 10 миллионов мужского пола душ уже теперь можно считать половину свободными собственниками. На остальных, кроме получения оброка или права требовать работы (и то без принудительных мер от себя, а лишь через посредника), помещики не имеют никаких прав, никакого юридического влияния.

Выводы. 1) Прекращение частного крепостного права не есть у нас особняком стоящая, разумная политическая и социальная мера, какою была везде в Европе, а была заключительным, последним явлением в ряду целого исторического нашего движения в течение XVIII и XIX века, которого существенный смысл — водворение на нашей почве личного начала, нравственной почвы и условия раз-

вития и упразднения исторического типа, под которым сложилось русское государство. Процесс начался сверху и шел постепенно вниз, в массы, пока не совершился вполне в наше время.

2) Отмена частного крепостного права сопровождалась и отменой государственного крепостного права относительно сельских масс: а сельские массы составляют у нас более $5/6$ населения, за исключением всех других классов и даже солдат и низшего городского населения. Мы — мужицкое царство. Оттого освобождение сельских масс у нас без сравнения важнее, чем было в Европе, где самостоятельно развились, имели свою жизнь, свою блистательную историю — церковь, дворянство, средние классы, монархическая власть, а крестьянство не составляло, как у нас, всего, или почти всего, как определяющий элемент внутренней жизни. У нас все другие общественные элементы развились поздно, слабо, несамостоятельно. Они были плохой копией с превосходных образцов. Сельская масса была у нас издавна и с каждым днем более и более определяющим началом, камертоном внутренней жизни, хотя и бессознательно, пассивно. Ею определяется весь строй русской истории, хотя она нигде до сих пор не выступала вперед, на первый план, как планета Нептун производила пертурбации в движении небесных светил, хотя до недавнего времени о ней ничего не знали.

3) Наше движение историческое — совершенно обратное с европейским. Последнее началось с блистательного развития индивидуального начала, которое более и более вставлялось, вдвигалось в условия государственного быта; у нас история началась с совершенного отсутствия личного начала, которое мало-помалу пробудилось и под влиянием европейской цивилизации начало развиваться. Конечно, должно наступить рано или поздно время, когда оба развития пересекутся в одной точке и тем выравниваются. Но теперь это глубокое различие задатков развития, общих предположений, есть одна из главнейших причин, что мы друг друга мало понимаем. Образованных русских находят в Европе чрезмерно радикальными, забывая, что это крайность индивидуального принципа, который именно у нас и развивается теперь. Мы не можем относиться ко всему нашему иначе как отрицательно. У нас же просвещенные люди находят европейский быт узким, не до-

вольно широким, слишком обусловленным историческими преданиями, и, конечно, мы не правы, потому что мы смотрим с точки зрения еще не определившейся, не жившей, только проснувшейся индивидуальности, которая потому и не видит еще ясно, что определиться она может только в исторической форме и ни в какой другой, и что ей предстоит у нас то же самое со временем. Это главный источник всех недоразумений и взаимного отчуждения.

4) Не только в Европе, но, в особенности, мы сами теперь относимся очень отрицательно к нашей истории, видим в ней только дикость, только варварство, находим, что мы тысячу лет спали, не сделав решительно ничего, что в нашем прошедшем нет человеческого смысла, что наша история не европейская, а азиатская — глубочайшая неподвижность. Справедливо ли это? Я не думаю. Наша история длится с появления великорусского элемента, который ее определяет и до сих пор (от 35 до 40 милл. на население в 70 милл.), следовательно, с XII века, и продолжается не 1000 лет, а 700. Случайное призвание князей варяжских северными племенами, исчезающее в общем ходе истории по внешним, случайным причинам, считается началом русской истории. В эти 700 лет мы успели, по возможности, колонизировать огромное пространство, образовать огромное государство. Не имея предшественников на своей почве, которые бы передали нам по наследству, фактом, какую-нибудь цивилизацию, участь всему у других — из книг, по слуху, по впечатлениям немногих путешественников, по немногим заходившим к нам отголоскам Европы, большею частью, особенно сначала, представляемой у нас не лучшими ее представителями, мы осуждены были жить своим умом, должны были вобрать в себя множество элементов, которые нельзя считать принадлежащими к аристократии человеческого рода; вынесли в самом начале двухсотлетнее иго монголов. Несмотря на все эти неблагоприятствующие условия, страшно замедлявшие развитие, мы успели выработать кой-какие зачатки гражданского общежития, где их прежде вовсе не было; успели сбросить историческую форму безличности, которая на нас тяготела. Выработавши почву, возможность нравственного развития в свободной личности, мы начинаем внутреннюю жизнь, внутреннее развитие, не имея строго разграниченных сословий, не имея за собой преданий сильной аристократии, силь-

ной и самостоятельной церкви с светской властью, с огромным земледельческим сельским населением, которого социальное положение и привычки делают нас надолго, если не навсегда, обеспеченными против самых страшных из всех волнений — волнений народных масс против высших, образованных, владеющих классов. Нельзя сказать, чтобы при тех условиях, с которых мы начали, всего этого не было достаточно для 700-летней деятельности!

Дальнейший ход нашей истории и внутреннего развития есть тайна для нас самих. Почва приготовлена. Что на ней вырастет, что она принесет в сокровищницу всемирной истории — это покажет будущее. Верно то, что на наших глазах второй период русской истории окончился, исчерпан совсем, и для нас начинается другое время, другая жизнь. Верно также, что мы развивались, страдали, боролись, работали в прошедшем, и в этом крестном, терновом пути развития — залог нашего будущего.

Европе готовится сюрприз видеть в мнимых ордах — способное к развитию спокойное племя.

МЫСЛИ И ЗАМЕТКИ О РУССКОЙ ИСТОРИИ

С. Соловьева История России с древнейших времен. Т. 13, 14, 15. М., 1864—1866.

Н. Устрялова История Петра Великого. СПб., 1858—1863.

С каждым десятилетием, а в последнее время чуть ли не с каждым годом, русская история выигрывает в интересе, значении и важности. Мы начинаем серьезно сожалеть, что знаем ее слишком поверхностно и мало. Такие же сожаления слышатся теперь нередко и от европейских историков и ученых.

Когда-то история привлекала, как любопытная сказка о старине. Быль могла тогда безнаказанно перемешиваться в ней с небылицей. История в этом виде тешила воображение и подстрекала интерес повестью о прошлых временах и отдаленных предках.

После история стала поучением и справкой. Что и как происходило прежде, служило указанием и советом в практической деятельности. История обратилась в архив старых политических и государственных дел, в том числе и неоконченных.

Напоследок история делается источником и зеркалом народного самосознания¹. На перепутье двух периодов, в межуточное время, когда ход народной жизни оставляет привычное вековое русло и ищет новых путей, колеблясь между несколькими, наивная справка с деяниями предков не может уже вразумить насчет того, что и как делать, да и нет уже больше того ясного настроения души и того досуга, какие необходимы, чтоб восхищаться полуволшебной сказкой, художественным сочетанием исторической правды с выдумкой. Торная дорога кончилась; предстоит идти целиком, наугад, ощупью, и тогда-то наступает время глубокого раздумья. Народная мысль разрешается в целый ряд вопросов, догадок и предположений, посреди которых мало-помалу и созревает народное самосознание, единственный верный руководитель на этой ступени развития.

Но трудно и тяжело дается самосознание. Сначала история допрашивается подробно, но пристрастно судьями, у которых решение готово заранее. Вопросы предлагаются ей нарочно так, чтоб получить желанный ответ. Такие ответы еще не история, не истина; по ним узнается не то, что было, а то, чего домогался, что хотел видеть историк. Только впоследствии возмужавшее и окрепшее народное самосознание приходит к правде в истории и вступает на твердый путь в практической жизни.

Русская история прошла все эти фазисы, кроме самого последнего. Она являлась и сказанием и поучением. События и главные деятели рассматривались в ней с самых различных точек зрения; однако и до сих пор наше народное самосознание еще не установилось. Кто скажет, что мы себя знаем и понимаем? С каждым новым шагом вперед мы, напротив того, по знаменитому слову Сократа, убеждаемся более и более, что почти совсем себя не знаем². Наша мысль не в соответствии с нашей верой в самих себя, в нашу народную мощь, в предстоящие нам великие судьбы; наши взгляды на русскую историю, наша оценка исторических событий и деятелей России оказываются, одни за другими, детским лепетом незрелой и нетвердой мысли и забываются так же легко, как возникают. При кажущемся мирном и спокойном, отчасти даже сонном, строе нашей жизни, какой-то быстрый водоворот кружит нашу мысль, унося, одну за другой, все слабые попытки кристаллизировать наше народное самосознание в сколько-нибудь определенные формы.

Умственное наше бессилие никогда, может быть, не чувствовалось так глубоко, как теперь. Россия, без малого за двести лет, круто двинутая на новый путь, теперь снова и так же круто, хотя и в иных формах, поворачивает в другую колею³. Целый круг понятий и взглядов, нажитый в минувшие два века, изменяется. Точно будто поднимается завеса и перед глазами открываются новые перспективы, которых мы до тех пор и не подозревали⁴. Примкнув к семье романских и германских народов, мы твердо уверились, что нам предстоит и двигаться в круге идей и направлений, выработанных их жизнью и трудами; а на поверку оказывается, что общего у нас с этими народами одни только свойственные всем людям стремления и задачи, все же остальное — вовсе непохоже на европейское, и мы, может быть, более чем когда-либо

предоставлены собственным средствам и усилиям. Теряя наглядный образец, созерцанием которого лениво себя убаюкивали, мы теперь невольно начинаем спрашивать самих себя: что же мы такое, что нас такими сделало и куда мы идем? Эти вопросы поднимаются у нас теперь со всех сторон; во всем, что у нас ни думается, ни делается, видны попытки отвечать на эти вопросы. В литературе и искусстве одинаково слышится задача понять себя, уяснить себе смысл и значение нашего исторического существования.

Посреди этой заботы на первый план естественно выдвигается изучение русской истории. События и лица, казавшиеся нам до сих пор известными и переизвестными, подвергаются новому исследованию, воссоздаются в искусстве, перерабатываются в ученых трудах. Из лаконического летописного сказания, из сухого свидетельства официального документа мы стараемся вызвать оживлявший их дух, усиливаемся воскресить прошедшее во всей его животрепещущей правде. Мы начинаем чувствовать, что происшествия, решавшие судьбы русского народа, что лица, игравшие большую роль в самые знаменательные эпохи нашей истории, подернуты каким-то туманом, не имеют ярко очерченного образа, и вот все старания направлены к тому, чтоб разогнать этот туман, сорвать таинственный покров. В какой степени удачны эти усилия — другой вопрос; несомненно только, что работа, вызванная новым оборотом нашей истории, идет вперед, и, оглянувшись недалеко назад, нельзя не заметить, что уже произошла некоторая перемена в наших взглядах на прошедшее, верный признак, что народное самосознание зреет, что время его наступает.

Петр Великий и его эпоха не могли быть обойдены, или остаться незамеченными при таком усиленном общем нашем стремлении к самосознанию. Не поняв Петра, нельзя понять России: он много для нее сделал; его глубоко любили и глубоко ненавидели современники и потомки; следы его неизгладимы в русской истории; но для верной оценки Петра Великого наше время едва ли не самое неблагоприятное. Мы всеми путями порываемся выйти из того периода русской истории — периода заимствований у Европы, — который он собою открыл и начал. У его подножия еще идет горячий спор об историческом наследстве, которое он по себе оставил¹. К Ивану Грозно-

му, к эпохе самозванцев, к Алексею Михайловичу мы относимся спокойно и объективно; все это уже давно прошло, забыто, и мы почему-то наивно воображаем, что, интересы и вопросы тех времен давно исчезли без следа. Но Петр как будто еще жив и находится между нами. Мы до сих пор продолжаем относиться к нему, как современники, любим его или не любим, превозносим выше небес или умаляем его заслуги; но число его поклонников редет, а число порицателей растет, по мере того, как мы выходим из поставленных им условий нашей народной жизни, и пока новый наш исторический путь не обозначится вполне, мы все будем колебаться между старой и новой Россией, видеть в совершающемся то возврат к допетровской старине, то продолжение его реформы. Много, много еще пройдет времени, пока для Петра наступит спокойный, беспристрастный, нелицеприятный суд, который будет вместе и разрешением вопроса о том, что мы такое и куда идем.

По какой-то счастливой случайности, профессор Соловьев окончил древнюю русскую историю и перешел к эпохе преобразования именно в то время, когда ряд новых коренных законоположений, пересоздающих внутренний строй петровской России, возбуждает особенный интерес к делу и эпохе Петра, и невольно ставит вопрос: была ли его реформа благом для России или ошибкой гениального государя? Новый труд профессора Соловьева составляет продолжение его «Истории России с древнейших времен». До сих пор вышло только три тома, из которых собственно два посвящены истории царствования Петра; последний том оканчивается полтавской битвой. Судя по этому, надо полагать, что история Петра займет еще по крайней мере три тома. Как в прежнем своем сочинении, так и в новом, достойный ученый держится на строго исторической почве. Труд его не апология и не памфлет, а добросовестный фактический рассказ, перерываемый лишь изредка взглядами и суждениями самого автора. К сведениям, взятым из напечатанных источников, профессор Соловьев прибавляет множество новых, почерпнутых из архивов, что возвышает ученое достоинство его замечательного труда. О высоком интересе нового сочинения профессора Соловьева нечего говорить: история Петра Великого не может не быть интересна в высшей степени; но автор умел придать своей книге особенную

занимательность последовательным и ясным рассказом, искусным расположением частей, отличной группировкой характеристических подробностей. Рельефный материал, над которым он трудился, конечно, облегчал ему работу; но ему принадлежит несомненная заслуга, что он сумел им прекрасно воспользоваться.

Другое сочинение, посвященное Петру Великому, принадлежит академику Устрялову. Оно, можно сказать, только начато. В 1858 году вышли три первые тома, содержащие историю Петра только до 1700 года, т. е. собственно до начала реформ. В следующем 1859 году издан особо шестой том, содержащий историю царевича Алексея Петровича и следственное дело о нем; наконец, в 1863 году вышел четвертый том (в двух частях), в котором рассказ доведен до конца 1706 года. Из этого видно, в каких обширных размерах задуман этот ученый труд. Книга профессора Устрялова богата критическими исследованиями и драгоценнейшими материалами, из которых много чрезвычайно любопытных открыты ученым автором и напечатаны впервые. Всякий, кому дорого имя Петра, дорогá Россия, конечно, от всей души пожелает, чтоб автор выполнил свою программу до конца, в том же объеме и с тою же подробностью, как начал.

Из числа сочинений по русской истории, появившихся в последние годы, истории царствования Петра Великого Соловьева и Устрялова — самые крупные и замечательные. Все, без сомнения, уже знакомы с ними, следовательно, передавать вкратце их содержание нет надобности, тем более что, как бы тщательно ни было составлено из них извлечение, оно не может заменить подлинников, исполненных животрепещущего интереса.

Сообщая множество неизвестных доселе фактов, выставляя происшествия и лица в новом свете, оба историка значительно подвинули вперед разрешение существенных вопросов не одной петровской эпохи, но и всей русской истории. До сих пор мы не умели связать между собою двух ее периодов, разделенных Петром Великим, и не могли объяснить себе, каким образом родилась и выросла на древней русской почве личность, подобная Петру. На петровский период русской истории мы смотрели как на что-то совершенно новое, не имеющее ничего общего с предыдущим временем; в самом Петре напрасно старались мы отыскать черты, родственные с прежними деяте-

лями России. Нам представлялось, что у нас в эпоху Петра, словно в волшебной сказке или на сцене, страна, люди, нравы, понятия вдруг исчезли без следа и сменились новыми⁶.

Кроме нас, нет народа в мире, который бы так странно понимал свое прошедшее и настоящее. Ни один народ не разрывается в своем сознании на две половины, совсем друг другу чуждые и ничем не связанные. Подобно нам все европейские народы переживали в своей истории крутые перевероты, иногда по нескольку раз; однако ни один из них не смотрит на себя как на какие-то два различные народа. Реформация, французская революция существенно, коренно изменили старый быт и создали новый; но ни дореволюционная Франция, ни дореформационная Германия не отделены в глазах французов и немцев такой непроходимой бездной от теперешнего их быта, как отделена, по нашим понятиям, древняя Россия от новой, петровской. Норманнское завоевание было не только переверотом в целом быте Англии, но даже внесло в нее чуждые элементы, чужую национальность; однако, несмотря на то, англичанин сознает свою солидарность и связь с Англией донорманнского периода. Одни мы, русские, лишены до сих пор единого народного сознания. Теоретически, отвлеченно, мы понимаем, что преобразованная Россия и сам Петр не с неба к нам упали; что было же что-нибудь и прежде; что как-нибудь Петр и его реформа были подготовлены; знаем мы, что никакого завоевания у нас в конце XVII века не было, что страна и народ теперь те же самые, что и до Петра. Но все это представляется нам как-то сухо, отвлеченно, книжно, мертво, входит в нашу голову как-то холодно и безучастно, точно результат математической выкладки, вывод из ряда посылок и умозаключений. В непосредственном, живом сознании мы все продолжаем как-то двоиться, и эта половинчатость лежит тяжелым камнем на всем нашем нравственном существе и деятельности.

В этом удивительном психологическом факте есть глубокий смысл. Раздвоенные в народном сознании, мы не можем высвободиться из вопиющего противоречия между нашим взглядом на самих себя и постепенным, величавым ходом нашей истории. События идут у нас как-то своим чередом, точно как будто помимо нашей воли и понимания. Мы сильны инстинктами, неясными

стремлениями, непосредственным чувством и слабым разумением; наша мысль не умеет как-то совладать с фактами и осилить нашу умственную разладицу.

Где источник этой умственной немощи? Он глубоко скрыт в вековой привычке смотреть на себя чужими глазами, сквозь чужие очки. Толстый слой предрассудков, в которых мы не отдаем себе отчета, присутствия которого даже не подозреваем, мешает нам понимать себя правильным образом. Думать и учиться мы стали поздно, гораздо позднее других народов. Это дало нам возможность пользоваться, без больших усилий, тем, до чего другие народы дошли тяжким трудом и горьким опытом. Но зато мы не привыкли думать и, принимая чужие мысли за свои, не выходим из духовного малолетства. Оттого наш собственный опыт остается непродуманным и жизнь наша есть стихийная, неосмысленная. Наши взгляды, убеждения выведены нами не из нас самих и не из нашей истории, а приняты целиком от других народов. Оттого мы и не умеем связать прошедшего с настоящим, и все, что ни говорим, ни думаем, так бесплодно, в таком вопиющем разладе с совершающимися фактами и с ходом нашей истории.

Наша умственная апатия и бессилие так же стары, как мы сами. Напрасно будем мы утешать себя мыслью, что они ведут свое начало от реформы Петра Великого. С тех пор, как мы себя помним, наша мысль всегда была в плену, находилась в вечной кабале, что не мешало фактам и событиям идти своим чередом, на основании указаний практики и потребностей. Правда, практическая наша жизнь и деятельность тоже часто, и даже очень часто, руководились посторонними элементами, вследствие нашего умственного рабства; но в этой сфере чуждые примеси скоро давали себя чувствовать так сильно, что приходилось, волей-неволей, от них отказываться и слушаться одного здравого смысла и народных инстинктов. Но в области мысли и понимания мы испокон века были покорными слугами других, и наша жизнь шла своей дорогой, а голова — своей.

Сперва мы подпали под умственную опеку византийцев и оставались под ней чрезвычайно долго. Греки наводнили нашу страну, торговали в ней, брали с нас дань. Старинные архивы константинопольских патриархов, если б они сохранились, поведали бы нам любопытные ве-

щи и показали бы, как выгодна была для тогдашних фанариотов русская епархия. Мы не любили греков и считали их хитрецами. Толстой, посланник наш в Турции при Петре Великом, отзывался о них почти теми же словами, как и старинные наши летописи⁹. Князья, подобные Ярославу I, люди практические, нетерпеливо сносили господство греков и пытались заменить присылаемых к нам из Греции митрополитов своими ставленниками из русских¹⁰. Несмотря на эти попытки, полное духовное владычество над нами греков продолжалось. Мы жили по греческим законам, питались греческой письменностью, наслаждались греческим искусством и художниками, ездили в Грецию, как позднее в Париж. Это умственное господство над нами греков продолжалось чрезвычайно долго. Следы его тянутся, постепенно слабея, вплоть до Петра Великого.

С Ивана III, московского великого князя, начинается мало-помалу умственное наше порабощение литовско-польскому владычеству. Весьма замечательно, что и это духовное иго, подобно греческому, развивается в обратном отношении к политической силе и значению владычествующего элемента. Чем сильнее становится Московское государство в отношении к Литве и Польше, тем сильнее литовско-польская нравственная власть над нами. Высшей своей точки она достигает в XVII веке¹¹ и затем постепенно ослабевает, но еще очень заметна даже в царствование Екатерины II. Подобно грекам, литовцы и поляки стремились к нам толпами и пытались внести свои порядки даже в наш государственный строй; но это им окончательно не удалось. Иван III, Иван Грозный, Борис Годунов, Федор Никитич Романов¹², царь Алексей Михайлович были люди практические и отразили этот напор в государственной сфере; но в общественной жизни, в литературе, в нравах и одежде, во всей области умственного развития мы приняли новое духовное ярмо беспрекословно, несли его так же покорно, как прежде греческое.

Почти в одно время с литовско-польским элементом, именно при Иване III, начинают водворяться у нас элементы западноевропейские. Они усиливаются при Иване IV, играют уже большую роль при Алексее Михайловиче, еще бóльшую при Петре Великом и господствуют почти безгранично при Анне Ивановне. Со вступлением на престол императрицы Елизаветы произошел перелом¹³,

и с тех пор началась чрезвычайно медленная убыль этого нового господства, что продолжается и до сих пор. В течение этого длинного умственного и нравственного служения третьему господину, которое еще не кончилось, повторилось точь-в-точь то же, что было прежде. В государственной и политической сфере мы сравнительно скоро очнулись и стали на свои ноги. Ни Петр, ни Екатерина II, в самый разгар вторжения в Россию иностранных элементов и иностранцев, не жертвовали им русскими интересами и вполне самостоятельно представляли государство; но во всех других сторонах русской жизни, начиная от покроя платья и оканчивая взглядами и убеждениями, иностранные элементы владычествовали у нас безгранично, и мы являли собою все, что есть оскорбительного и отталкивающего в добровольной духовной кабале. Чем сильнее и значительнее мы становились в государственном и политическом смысле, тем угодливее и раболепнее делались перед иностранцами в умственном и нравственном смысле. В царствование императора Александра I невиданный политический блеск и слава идут рука об руку с небывалым у нас до тех пор духовным закрепощением иностранному игу.

В утешение себя мы обыкновенно говорим, что были до сих пор «в науке» у других народов. Но это не совсем точно. Работая умственно разным господам поочередно, мы в действительности мало чему научились. Когда было нам учиться: мы только идолопоклонничали! Учиться — значит узнавать и брать в толк; это предполагает известную самостоятельность, а мы лишь повторяли чужие речи, переводя их на наш язык. Действительное серьезное учение может начаться разве только теперь, когда мы стали догадываться, и то пока еще очень смутно, что пора наконец выйти из духовной кабалы, пора подумать хорошенько над тем, что мы твердим с чужих слов. Если б мы учились серьезно и сознательно, разве были бы возможны наша теперешняя умственная и нравственная скудость, наше слабоумие, невежество, ветреность, безалаберность и всяческое малолетство? Европейские народы тоже учились друг у друга и теперь учатся беспрестанно; мы находим ли у них что-нибудь подобное тому духовному самоотречению, которому мы предавались то в пользу греков, то в пользу литвы и поляков, то в пользу западных европейцев? Нет, нигде ничего подобного не бывало; по одному

этому мы уже можем судить, как далеко ушло наше развитие.

Теперь мы вступаем в новый период исторической жизни. Четвертый акт самоотречения для нас больше невозможен; хотелось бы верить, что он сделался невозможным, потому что мы стали зрелее; во всяком случае, и идолопоклонничать более не перед кем. Внутренний наш быт перестраивается коренным образом, по указаниям потребностей и нужд, не имеющих ничего общего с нашей умственной несостоятельностью. Теперь должна, кажется, наступить пора плодотворного учения и труда, пора серьезной проверки наших взглядов и стремлений. Когда эта пора действительно наступит, мы должны будем волей-неволей глубоко взглянуть в смысл нашей истории, сличить наши исторические воззрения с живою летописью, с тем, что мы теперь, во всех общественных слоях и элементах. Много неожиданностей предстоит нам на этом пути! Мы воображаем, что знаем и понимаем ход нашей прошедшей жизни; придется отказаться от этого заблуждения; придется убедиться, что мы задаем русской жизни, в прошедшем и настоящем, вопросы, которых она не ставила и не ставит, придаем ей краски, которых она не имеет, представляем себе события и лица совсем не так, как они были в действительности, — все оттого, что живем чужими мыслями, видим себя сквозь чужие очки. В нашей духовной природе, от нашей умственной бездеятельности, образовался, незаметно для нас самих, нарост, который должен быть открыт и разрешится только вследствие серьезной умственной работы и сознательного ученья. Уже теперь, благодаря трудам, подобным истории профессора Соловьева и академика Устрялова, начинают разоблачаться многие предвзятые взгляды и исторические миражи, результат старых и новых предрассудков, не проверенных мыслью и работой. Если мы не видим связи между древней и новой Россией, не понимаем, как могла личность, подобная Петру, явиться в исходе московского периода русской истории, то очевидно, что в наших исторических знаниях должен быть большой пробел; видимо, что мы или не так смотрим на Петра и его дело, или не так понимаем старую Россию, как следует, или, наконец, и наша оценка Московской Руси и Петра и его преобразования неверна. Простой здравый смысл приводит к этому заключению; ибо как бы ни была

велика и могуча личность Петра, как бы отрицательно ни относилось его преобразование ко всему старому — все же он родился в том обществе, которое преобразовал, был дитя своего времени и обстоятельств, и в этом смысле, как он, так и его дело должны же были находиться в органической связи с той средой, из которой возникли и к которой относились. Припомним, что дело Петра пережило его и живет до сих пор; было ли бы это возможно без органической связи нашего прошедшего с настоящим? А отсюда следует, что в нас, в нашем незнании или ошибочных взглядах, должна скрываться причина, почему мы ее не видим и не понимаем.

Исторические исследования оправдывают эти выводы вполне. Как только начали несколько вникать во внутренний быт России XVII века и в тогдашнее положение дел, тотчас же и оказалось, что тогдашний страшный хаос и безурядица должны были разрешиться так или иначе. Исчезло представление об идеальном состоянии, которое Петр будто бы Бог вестъ почему и зачем переломал на иностранный лад. Вообще, по мере того как разрабатывалась русская история, идеалы оттеснялись все более и более в ту седую старину, об которой мы ничего не знаем и узнать не можем. С другой стороны, ближайшее знакомство с Петром и его делами снимает с него тяжкое обвинение в платонической любви к иностранцам, в каком-то чудовищном, небывалом плане вынуть у своего народа живую душу и вдохнуть в него чужую. Освобожденный от риторических прикрас и фимиама похвальных речей и лести, Петр является перед нами живым человеком, с ошибками и удивительными делами, с недостатками и чертами гения, с пороками и великими добродетелями. Сделавшись из мифа историческим лицом, Петр выигрывает в размерах и величии. Голая историческая истина о нем поражает гораздо сильнее, чем вымысел, именно потому, что походит больше на сказку, чем на правду — так она необыкновенна!

Несмотря, однако, на множество прекрасных работ и исследований по русской истории, на обнародованные в огромном числе новые источники, она все еще так же мало известна и понятна, как и сама Россия. В русской истории поставлено множество вопросов, но пока все еще не хватает сил и средств разрешить их: недостает необходимых подготовительных работ. Кое-где открываются

просветы; точнее определяются некоторые задачи; рождаются догадки, более или менее правдоподобные, которые и служат пока жалкой заменой дознанной исторической нити, связующей, по-видимому, бессвязные факты и эпохи. Все это только чаяние будущих исторических трудов, черновые заметки для программы будущей русской истории.

В каком же виде представляется, на основании скудных указаний, общий ход русской истории? Где ее главные узлы? Какое значение важнейших ее эпох и событий? На эти вопросы приходится уже теперь отвечать несколько иначе, чем думалось еще недавно.

I

Четыре года тому назад праздновалось тысячелетие нашего государственного существования. Боже! сколько мы расточали остроумия, сколько глумились над собою по этому поводу¹⁴! Тысячу лет прожили — так рассуждали мы — и чего достигли? Самые неотложные потребности гражданского общежития и благоустройства еще удовлетворяются кой-как в двух-трех центрах громадного нашего царства, а вне их как будто вовсе не существуют. Сколько же столетий нужно нам прожить еще, чтоб стать хоть тем, чем была Европа в XVIII веке? А она, между тем, будет идти вперед не по дням, а по часам.

Рассуждая так, мы сравниваем свое настоящее не с своим же прошедшим, а с посторонним образцом, который у нас под глазами. Вот наша общая, всегдашняя ошибка зрения, которая перепутывает все наши понятия.

Представим себе колониста, который в дикой глуши, разделенной огромными пространствами от жилых и промышленных центров, впервые заведет хозяйство. Как бы хорошо он ни повел свое дело, сколько бы ни создал удобств для своей ежедневной жизни, все его успехи не выдержат никакого сравнения с обстановкой городского и даже пригородного жителя, и мы, чтоб справедливо оценить его труды и усилия, должны будем сравнивать быт, созданный в глуши, не с лучшими образцами в мире, а с теми условиями и обстановкой, посреди которых бросила его судьба, и наперекор которым он сумел-таки заложить основания устроенной и образованной жизни. Мы именно такие колонисты¹⁵. Судя о том, что мы сделали,

не по тому, что вообще может человек сделать хорошего на свете, а по тому, что мы могли сделать при данных обстоятельствах, мы были бы справедливее к нашим предкам, а главное, почерпнули бы в изучении нашего прошлого силы на новый труд, тогда как теперь мы растрачиваем их на бесплодное и дешевое остроумничание¹⁶. Вникая глубже в дело, нельзя не изумляться, сколько мы успели переделать в такое сравнительно короткое время! Невольно приходишь к мысли, что мы не только не ленились, а, напротив, работали без усталости. Чтоб достигнуть того, чего мы достигли в прожитые нами века, нужны были чрезвычайные, нечеловеческие усилия.

Начнем с того, что мы прожили не тысячу лет, а гораздо меньше. Раскроем первую нашу летопись¹⁷, которая писана, во всяком случае, не позже XI века. Составитель ее знает малороссиян и перечисляет разные отрасли этой ветви русского племени; называет северо-западные отрасли того же племени: кривичей (белорусов) и славян; упоминает еще радимичей и вятичей, происшедших от ляхов; но замечательно, что великорусов он вовсе не знает. На восток от западных русских племен, где теперь живут великорусы, обитают, по летописи, финские племена, частью существующие и теперь, частью уже исчезнувшие. Где же были тогда великорусы? Об них в перечислении племен, живших в теперешней России, не упоминается ни слова. Если б они существовали уже в то время, когда составитель летописи писал свои этнографические заметки, то, наверное, он знал бы эту отрасль русского народа и упомянул бы об ней. Из его совершенного молчания следует заключить, что в то время этой, теперь самой многочисленной и по исторической роли самой значительной ветви русского племени, еще не существовало. С другой стороны, мы знаем, что колонизация финского востока¹⁸ началась с XII века. Таким образом, мы имеем всё основание предполагать, что великорусы образовались в особую ветвь не ранее XI века¹⁹. С того времени они успели сложиться в сильное государство, занять и обрусить огромную территорию. Только на великорусской почве прочно и крепко зародилось русское государство; только здесь мощные его ростки пробивались беспрестанно, пока им не удалось пустить глубоких корней в Москве. В Андрее Боголюбском и Всеволоде, в князьях тверских и рязанских слышатся зачатки государственности,

осуществившиеся трудами и умением московских единовластителей, при благоприятных обстоятельствах и в единственно возможной тогда форме. Пока русская история не ступила на великорусскую почву, этой настойчивой, органической потребности объединиться в государство не заметно, по крайней мере, в такой степени. Разные народы приходят к западно-русским племенам, завоевывают их и берут с них дань, господствуют над ними и потом исчезают или сменяются другими господами. Варяжская дружина была не первая и не последняя, придавшая западной России извне характер государства. Перед варягами то же делали обры (авары) и хозары, после них литовцы и поляки²⁰. Лишь только внешние властители сливались с туземцами, как, напр <имер>, варяги и литовцы, государство расползлось, и страна становилась добычей новых завоевателей или пришельцев.

Исконная несамостоятельность западной России, неспособность ее образовать единое сильное государство, резко выдвигает вперед характеристическую особенность Великороссии, которой главнейшая жизненная задача как будто исключительно в том только и состояла, чтоб создать и упрочить государство. Этой цели она приносила и приносит в жертву лучшие свои силы. Глубокий смысл такого стремления великорусов заключается в том, что Россия есть единственное свободное славянское государство.

Спрашивается: что же такое великорусы? Откуда взялись они, когда до XI или XII века они не существовали? Откуда взялся у них этот удивительный смысл к государству — удивительный тем более, что его, в этой степени, не оказалось ни у одного из прочих славянских народов?

Эти вопросы — основные, первые, не только в русской истории, но и в истории всего славянского племени. К сожалению, они-то именно и разработаны всего слабее. Пока мы должны довольствоваться одними догадками, по некоторым намекам и отрывочным указаниям.

Восточная отрасль русского племени образовалась частью из переселенцев из Малороссии и северо-западного края на финской земле, частью из обруселых финнов. Русские переселенцы, под влиянием новых условий, на новой почве, получили иной характер, отличный от первоначального корня, от которого отделились; с другой

стороны, обрусевшие финские племена внесли новую кровь, новые физиологические элементы в младшую ветвь русского племени. Эта ветвь давно отличается от своих родичей заметными, выдающимися нравственными и физическими чертами и, след < овательно >, давно уже успела образоваться и получить свою особую физиономию. К тому времени, когда начало слагаться Московское государство, процесс ее образования уже вполне совершился, новая племенная отрасль сложилась вполне. С тех пор она только окрепала, политически объединялась, расселялась далее и далее и поглощала финские племена, что безостановочно продолжается и до сих пор. Таким образом, в каких-нибудь три-четыре века возникло новое зерно для исторической жизни, завязался новый исторический узел, и притом так крепко и прочно, что, несмотря на все невзгоды, он разросся в следующие три-четыре века в одно из сильнейших государств в мире. Не медленности этого движения надобно удивляться; напротив, изумительна крепость и мощь этого зародыша, который развивался и развивается так быстро. Говоря об истории других государств, существующих многие столетия, мы имеем в виду, иногда не отдавая себе ясного отчета, историю государственного существования племени или народа уже сложившегося, имевшего уже пред тем определенную физиономию; но история русского государства есть вместе история возникновения и образования целой отрасли русского племени, которая составляет главное его зерно. Между тем и другим есть громадная, неизмеримая разница!

В образовании великорусской ветви, ее расселении и обрусении финнов состоит интимная, внутренняя история русского народа, оставшаяся доселе как-то в тени, почти забытая; а между тем в ней-то именно и лежит ключ ко всему ходу русской истории. Изучая ее пеструю внешнюю оболочку, мы постоянно, до позднейшего времени, теряли из виду внутренний, господствующий в ней факт, и, конечно, оттого мало ее понимали.

На историю постепенного расселения великорусов и постепенного обрусения финнов стали очень еще недавно обращать серьезное внимание. О древнейшем ее периоде письменные свидетельства крайне скудны; для московской эпохи они уже гораздо обильнее; а за последние полтора-два столетия ее можно проследить по докумен-

там, с величайшей подробностью, — была бы только охота рыться в архивах. Но самым важным и любопытным временем является именно начало колонизации и обрусения финнов, когда великорусская ветвь стала слагаться. Разъяснить, как это совершилось, может только пристальное сравнительное изучение немых памятников старины, русских и финских — названий живых урочищ, языка, областных наречий и этнографии, а за это дело едва-едва у нас только принимают, и то еще очень вяло. Соображая скудные письменные известия с позднейшим движением колонизации в России, видно, как заметил проф. Соловьев, что расселение направлялось, главным образом, на восток²¹ и происходило, по-видимому, самыми различными путями и способами. С одной стороны, поселения двигались из Новгорода, по северу теперешней Великой России, к Уралу; с другой, заселялись внутренние наши губернии из Малороссии. Как только завязались первые узлы или центры русского населения в этих странах, тотчас же стали выходить от них новые поселки в различных направлениях и самым различным образом. Вольными дружинами заселялся, по-видимому, преимущественно север, из Новгорода. Весьма замечательно, что северное население и до сих пор удерживает своеобразный характер, напоминающий их новгородское происхождение; в гражданском и общественном быту оно заметно выше, развитее. Князья, с своей стороны, тоже выводили колонии; впоследствии государственная колонизация получила правильный ход и громадные размеры. В края, заселенные инородцами или подверженные вторжениям кочевников, русское население продвигалось под прикрытием ряда крепостей, которые отодвигались все дальше и дальше; в других местах, как, напр<имер>, в Сибири в XVII веке, правительство заселяло край добровольными поселенцами, которые привлекались туда разными льготами. При помощи таких же льгот заводила новые поселения и церковь, в особенности монастыри. Могущественным двигателем колонизации была также помещная система²², особенно с тех пор, как стали даваться в поместья незаселенные земли (дикие поля); таким же двигателем явилось впоследствии крепостное право, при помощи которого, еще в недавнее время, заселились Заволжская степь и Оренбургская губерния²³. Наконец, припомним, что в очень ранние времена люди из самых различных побу-

ждений оставляли общество и основывали новые поселения вдали от человеческих обиталищ. С одной стороны, благочестивые отшельники уходили в пустыни и глушь лесов, чтоб без помехи предаваться молитве и созерцательной жизни: так возникли пустыни, скиты, обители и монастыри, сделавшиеся впоследствии центрами более или менее многочисленного населения. С другой стороны, все тяготившееся тогдашним общественным строем, повинностями, службами и притеснениями, все искавшее простора и разгула бежало в степь и основало независимые казачьи общества. Беглыми людьми и крепостными, еще не очень давно, заселялись Новороссия и Кавказ.

Совокупными действиями всех этих видов колонизация России подвигалась быстро. Пустыри и степи обращались в заселенные места. Когда-нибудь точные исследования восстаноят этот процесс постепенного распространения русского племени по огромной территории, и это, конечно, будет одна из замечательнейших и любопытнейших страниц русской внутренней истории.

Столько же интересна история постепенного поглощения финских племен русским. Если не ошибаемся, покойный Сенковский первый обратил внимание на этот знаменательный факт²⁴. Наблюдение это так поразило его, что великорусы представились ему чуть ли не славянским прививком на финском корне. В наше время Духинский подхватил этот намек и обратил его в орудие целей, не имеющих ничего общего с наукой и исторической истиной. Для достижения этих целей ему очень хочется доказать, что великорусы не славяне, а монголы, туранцы²⁵. Г. Духинский не заслуживает чести опровержения. Доказывать, что мы не по указу Петра или Екатерины называемся русскими, а были ими с тех пор, как себя помним на великорусской почве, значило бы унижать науку. Если б даже фразистая заметка Сенковского была полной исторической истиной, если б великорусы действительно были не что иное, как обрусевшие финны, то и тогда ослабявшийся инородческий элемент, утративший свой язык и самое воспоминание о своей первоначальной народности, следовало бы причислить к славянам; теперешние жители саксонского королевства и немецкого поморья считаются же немцами, хотя они, в значительной степени, онемеченные славяне; жители теперешней Греции считаются же греками, несмотря на то, что в них много

славянской примеси; жители Ломбардии — итальянцами, хотя они, собственно говоря, смесь немцев (лангобардов) с туземными жителями. А мысль Сенковского, вдобавок, не есть историческая истина. Мы знаем несомненно, что финские племена обрусевают; но смешивались ли западно-русские переселенцы с туземцами или вытесняли их и занимали их места — этого мы не знаем. Если судить по позднему времени, то последнее гораздо вероятнее. Припущенники²⁶ есть и теперь еще в Башкирии; многие думают, что если б постепенное мирное вторжение русских в Башкирию не было остановлено административными распоряжениями²⁷, то русский элемент значительно бы ослабил башкирский в местах теперешних поселений этого народа. В Оренбургской губернии много деревень с чувашскими названиями, из которых природные обитатели — чуваша — были совсем вытеснены русскими припущенниками, когда последние усилились в числе. Таким образом, мы не имеем права утверждать положительно, что великорусы — смесь финнов с западно-русскими поселенцами. Верно только, как сказано выше, что массы финнов обрусели и что обрусение их продолжается и до сих пор. Тамбовская и Пензенская губернии — обрусевшая мордва: это обличает наружный вид тамошних крестьян и географические названия. Вотьяки (старинная водь) в Вятской губернии русеют на наших глазах; то же заметно на Петербургской губернии, где, по словам окрестных чухонцев, еще около пятидесятих годов в некоторых чухонских деревнях женщины и дети совсем не понимали по-русски, а теперь и понимают и говорят. Любопытные сведения о постепенном обрусении чухонцев С.-Петербургской губернии собраны покойным профессором С. Куторгой, во время его геологических исследований здешней губернии²⁸. Знакомые с приволжским краем (бывшей Низовской Землей) сообщают наблюдения, сходные, в главных чертах, со сведениями покойного Куторги; там еще до сих пор можно, не справляясь с историческими свидетельствами, видеть на местах старинное распределение финских племен и направление русской колонизации, можно отличить прежнее местожительство двух ветвей мордовского племени — эрзы и мокши, с их столицами, Арзамасом и Моршанском. Этнографические исследования Тверской губернии, по всей вероятности, повели бы к любопытным результатам относительно старинного

распределения северных финских племен. К сожалению, мы пока очень равнодушны к такого рода историческим вопросам, а между тем финские племена неудержимо обрусевают, и следы старинного быта изглаживаются безвозвратно и бесследно. По тому, что происходит теперь у нас под глазами, чрезвычайно трудно составить себе понятие о том, что и как делалось в начале колонизации в губерниях, теперь совершенно русских — Московской, Владимирской, Костромской, Ярославской. Считать ли большинство жителей этих губерний обрусевшими финнами или русскими поселенцами преимущественно из Малороссии — вот вопрос чрезвычайно важный, но который, может быть, навсегда останется неразрешенным, по недостатку данных; тогда как одно лишь разъяснение этого вопроса может вести к правильному разрешению другого, несравненно важнеего вопроса: определяются ли отличия великорусов от западнорусских племен другой обстановкой жизни на новой почве, в течение веков, — или же постепенным смешением поселенцев с финскими элементами. И то и другое предположение имеет своих защитников, но ни одно из них не подкреплено пока серьезными и точными научными исследованиями. Профессор С. Куторга указывает в сведениях, сообщенных им Географическому обществу, на много слов, по-видимому, заимствованных великорусским наречием из финского языка, так как они только в финском языке объясняются этимологически. Приведенные им слова относятся к земледелию и домашнему быту, из чего можно предполагать, что, с этой стороны, русское племя подчинилось влиянию финнов и позаимствовало от них понятия и привычки, которых оно не имело или которые были, по крайней мере, менее развиты и вкоренены у них, чем у финских племен. Но такой важный и решительный вывод, очевидно, не может быть принят в науку и возведен в исторически достоверный факт на основании беглых путевых заметок, собранных в одной губернии. Только подробное изучение великорусского наречия сравнительно с другими русскими и славянскими языками, и в то же время с финскими, может окончательно решить этот вопрос, около которого, повторяем, сосредоточен весь интерес древнейшей истории Великороссии. К сожалению, сколько мы знаем, на такого рода труды пока только ука-

зывается; никто, кажется, за них еще не принимался, по крайней мере они вовсе не известны.

От этнографических элементов обратимся теперь к культуре великорусов.

Всем известно, какое огромное, решительное влияние имеет на развитие и исторические судьбы государства степень культуры, которую приносят с собою переселенцы, образующие в новой стране господствующий элемент. Живой пример тому представляют древние греческие колонии, а в настоящее время английские поселения, раскинувшиеся почти по всему земному шару.

Спрашивается: какую степень культуры принесли с собою в Великороссию переселенцы из западной России? Вопрос этот тоже вовсе не исследован, даже едва затронут. Почти ничего не подготовлено для его исследования, и мы едва ли ошибемся, если скажем, что значительные научные предрассудки и предубеждения существенно мешают и долго еще будут мешать правильному его постановлению, без чего успешная его разработка невозможна.

Одна из существенных, коренных ошибок, затемняющих дело, состоит, кажется, в том, что, исследуя древнейший быт славян, мы безразлично сводим в общие результаты находимое у разных славянских народов; вследствие этого в нашем представлении складывается один общий тип, один общий уровень древнейшей славянской культуры, и этот-то тип мы затем невольно и бессознательно одинаково приписываем всем славянским народам, стоявшим, по-видимому, на различной ступени развития. Этим мы лишаем себя возможности ясно и отчетливо различать то, что в действительности могло быть весьма различно.

Колонизация Великороссии из западной России началась, как мы сказали, по-видимому, в XI или в XII веке, следовательно, спустя каких-нибудь полтора или два века после принятия христианства при Владимире. Это великое событие было делом князя и меньшинства народа и шло, как все великие реформы у славян, сверху вниз; массы народа были погружены в язычество; а история всех народов показывает, как медленно народные верования переживаются в массах и как туго водворялось в них христианство, даже после того, как оно было признано за господствующую веру. Целые века проходили, пока христианство проникало в ежедневный быт, внедрялось в на-

родные обычаи, нравы и убеждения. Мы знаем также из истории, что церковь, для достижения этого результата, не только энергически боролась с языческими представлениями, но мудро и осторожно щадила языческие предрассудки, исподволь заменяя их христианскими образами и целым рядом таких благоразумных снисхождений, переводя мало-помалу языческие верования в христианские, пока наконец первые вовсе не изглаживались и исчезали перед новым учением и истинами. Навстречу этим усилиям шло естественное стремление новообращенных — приспособить новое вероучение к своим укоренившимся представлениям, понять и усвоить его себе в формах известных и обычных. Таким образом, языческие представления долго выражались и отчасти развивались под христианскими формами, пока наконец дух христианства не упразднил языческое мирозерцание в самом его основании.

Полутораста или двухсот лет, прошедших со времени крещения Руси при Владимире до вероятного начала колонизации Великороссии, было слишком недостаточно для совершенного перерождения русских язычников. Культура не могла не быть тогда все еще по преимуществу языческой.

Какова могла быть степень этой культуры? При исследовании этого вопроса ученые, нам кажется, впадают тоже в важную ошибку, которая едва ли не есть главная причина безуспешности и безрезультатности всех поисков в этой области, и без того чрезвычайно запутанной и темной. Чтоб дорыться до первоначальных наших языческих представлений и верований, нужно проникнуть сквозь те формы, в которые они облеклись под влиянием новых верований. Уже это одно, само по себе, чрезвычайно трудно, потому что, облекаясь в новые формы, язычество значительно изменяется в самом существе, о котором мы имеем лишь самые отрывочные исторические свидетельства. Посреди такой сбивчивой и необыкновенно тонкой работы воображение невольно разыгрывается. Стертые и однообразные черты, до которых мы доискались, нас не удовлетворяют; мы охотно приписываем скудость и бледность того, что нашли, действию времени, силе разрушающих влияний и дополняем недостающее, по нашему мнению, цветами нашей собственной фантазии, воображаем, что за тем, что до нас дошло, скрывается целая раз-

витая, полная система языческой мифологии и мирозерцания, которые впоследствии утратились. Гримм открывал, по более развитым и определившимся остаткам скандинавской мифологии, следы исчезнувших таких же верований у остальных германских народов²⁹. Быть может, этот метод не вполне верен и в применении к германской мифологии; в скандинавской мифологии могли полнее и отчетливее развиться, при благоприятных обстоятельствах, зародыши мифологии, которые у прочих германских народов, при других условиях, не успели определиться и дошли до нас в этом начальном своем виде. Мы обращаемся с данными славянской мифологии гораздо произвольнее³⁰ и дурно подражаем Гримму. Смешивая мифологические данные, собранные у разных славянских народов, мы едва замечаем, что, судя по некоторым указаниям, русский Олимп едва начал слагаться около времен Владимира и, вероятно, потому не удержался в народной памяти. В западной России припоминается еще Перун в названиях урочищ и в некоторых выражениях; у белорусов сохранилось воспоминание о Волосе или Велесе, переделанном в Власия, как Святovid у северных славян преобразился в святого Вита. Прочие боги, которым, по летописи, поклонялись в западной Руси, не удержались в народной памяти и занесены, кажется, от других, славянских и даже неславянских, народов. Вероятно, поэтому они и исчезли без следа. Перун был бог грома и молнии, Волос — бог скота. Вот все, что мы об них знаем. Беднее мифологию трудно себе представить. Нам скажут: это потому, что памятники недостаточны, что христианство тщательно истребляло следы язычества. Но в Западной Европе языческие воспоминания удержались же в народе, несмотря ни на что; у нас литовцы и мордва до сих пор сохранили, с гораздо большей ясностью и определенностью, древние мифологические представления, чем русские племена. Сравнительно позднее водворение между этими народами христианства не опровергает этого вывода: успели же сохраниться в народной памяти западно-русских племен Перун и Волос; если остальные языческие боги исчезли, то это ничему другому приписать нельзя, как тому, что они либо только начали слагаться в то время, когда были застигнуты христианством, либо заимствованы от других народов незадолго до крещения Руси при Владимире.

Очень замечательно, что великорусы не сохранили ни малейшего воспоминания о Перуне; есть только следы Волоса. Все местные названия, все обороты речи, в которых поминается о Перуне, встречаются теперь исключительно только у малороссиян и белорусов. Это подтверждает, что колонизация Великороссии началась уже после принятия христианства, когда воспоминание о языческих богах стало слабеть. Волос удержался, может быть, единственно потому, что был приурочен к православному календарю.

Мифологические божества являются у язычников как плод уже известного развития. Характер божеств, значение их, большая или меньшая определенность их формы в народных понятиях дают мерилу степени этого развития. Судя по таким признакам, мы можем безошибочно заключить, что у русских славян развитие в эпоху язычества стояло на весьма низкой ступени.

Впрочем, мифология еще не вполне исчерпывает языческое мирозерцание. Неопределенность ее форм доказывает только, что оно не успело сложиться в учение, не перешло в сознание. Заметим также, что богатая мифология предполагает, между прочим, большую силу и живость фантазии которой одарены не все народы, по крайней мере, не все в равной степени. Особенная осторожность необходима в выводах и заключениях, когда речь идет о славянах — племени, которого развитие, по всем видимостям, еще впереди, и призвание в истории еще не обозначилось. Поэтому, не делая никаких окончательных заключений о том, почему слабые, едва намеченные зачатки западнорусской мифологии совсем исчезают на великорусской почве, постараемся определить мирозерцание великорусов в ту отдаленную эпоху, когда эта отрасль русского племени начала складываться.

Было время, когда этот вопрос живо интересовал нас. Обильные материалы для его изучения представляют бытовые народные памятники — песни, сказки, обряды, праздники, поверья, приметы и проч. Как ни мало разработан этот материал, но общие и главные черты древнейшего мирозерцания великорусов выступают из него очень ясно и выпукло. Нас всегда поражал первобытный, непосредственный реализм, которым дышат эти остатки старины. Иносказание, символизм играют в них самую незаметную роль; антропоморфизм является в очень сла-

бых, первичных намеках и формах; первобытные, грубые факты, которые можно предполагать в основании роскошно развившейся греческой мифологии и даже в основе менее блестящей и поэтической мифологии германской, у великорусов являются во всей своей первоначальной непосредственности. Мы думаем, что в этом смысле исследование великорусских языческих представлений было бы необходимым и лучшим введением к греческой и германской мифологии, как картина мирозерцания, которое и у греков и немцев предшествовало мифологическому периоду, но впоследствии было ими мало-помалу забыто и сохранилось только в немногих, слабых, едва понятных намеках их мифологий. Ключ к этому первобытному мирозерцанию лежит в наших народных поверьях и праздниках, приуроченных к дням и временам года. Рассматривая их, мы найдем, что в основании их лежит первобытное, непосредственное поклонение предметам, явлениям и силам природы, при самых слабых зачатках олицетворения, послуживших у других народов исходной точкой для дальнейшего мифологического развития. На этой ступени культуры человек подчиняется силам и явлениям природы вполне, безусловно, безгранично. Каждый шаг, каждое движение его, дома и вне дома, обставлены обрядами, точное соблюдение которых предохраняет от зла и напастей; никакое действие, даже самое незначительное, не может быть предпринято без соблюдения такого предохранительного и спасительного обряда. Вся жизнь, от колыбели до гробовой доски, совершается, таким образом, посреди непрерывных обрядностей и ритуалов, и свободной инициативе человека не оставлено ни малейшего простора. К этому главному, основному элементу древнейшего языческого мирозерцания великорусов присоединяется поклонение умершим, которое переплетается с поклонением силам и явлениям природы, поставлено в зависимость от него и приурочено ко временам года. Нельзя, однако, не заметить, что древнейшее поклонение предкам далеко не ясно; чрезвычайно трудно различить в дошедших до нас фактах первоначальную основу от позднейших западно-русских и вообще славянских влияний, а также от христианских представлений.

Народные бытовые памятники западнорусского населения далеко не имеют такого первобытного, непосред-

ственно реального характера. В них фантазия играет гораздо большую роль. В некоторых белорусских обрядовых песнях встречаются поэтические олицетворения сил и явлений природы, приуроченные к именам святых. Вообще у западнорусского народа отношение к природе более поэтическое и более свободное; нет того поглощения человека обрядом, как у великорусов. Последние ограждают себя им на каждом шагу от зловредных влияний и сил; у малороссов и белорусов обряд и ритуал не имеют этого заклинательного значения чар; они улетучились в предание и поэтическое действие, не лишенное изящной торжественности, украшающей важные минуты и события жизни, возвышающей их над прозаическим течением ежедневности.

Откуда взялось это поразительное различие, которое теперь мало-помалу сглаживается, но еще лет двадцать, тридцать тому назад бросалось в глаза? Произошло ли оно вследствие влияния финской примеси или вследствие внешних условий и обстановки западнорусских колоний в новой родине? Разрешение этих вопросов пролило бы яркий свет на начало и процесс образования великорусской ветви. Замечательно, что в бывших новгородских колониях³¹ обрядовая сторона народной жизни имеет, кажется, более светлый и поэтический характер; но в то же время нельзя сказать, чтоб у одних заведомо обрусевших финнов замечался тот характер обрядности, который мы выше приписали великорусам. При теперешнем состоянии русской этнографии вопрос такой существенной важности неразрешим, и для разных предположений открывается широкое поле. Одно только можно, кажется, вывести с некоторою вероятностью: высленцы в Великороссию из западной Руси — смешались ли они с туземцами-финнами или нет — переродились в новой родине. Характер их мирозерцания, их обрядов и поверий указывает на какой-то перерыв во внутренней жизни русского племени, который можно объяснить и чуждой примесью и суровой, негостеприимной страной, в которой они поселились. Такого перерыва не было у западнорусов, оставшихся на старых местах, продолжавших развиваться на том же корню, под более благоприятными географическими и климатическими условиями.

Отсутствию культуры в мирозерцании древнейших великорусов отвечало отсутствие ее и в их социальном

быту. Прямыми источниками для его изучения служат опять народные праздники, обычаи, нравы, пословицы; вспомогательным — вся наша история до Петра. Ни в чем, может быть, привычка наша перемешивать разные обычаи и нравы и выводить из этого пестрого материала общие выводы не оказала нам такой плохой услуги, как в понимании русской истории. Наклонность и способность славянского племени, в том числе и русских, к общинной и артельной жизни не подлежит сомнению. В минуты великих общественных бедствий и радостей, при всех чрезвычайных случаях и событиях, эта сторона славянского характера всегда выступает у нас на первый план весьма ярко. Другое дело ежедневная, будничная жизнь. Основная черта народного характера будет стремиться выразиться и в ней; но в какой степени она проникнет собою подробности частного и общественного обыденного быта и в каких именно формах выразится — это уже зависит от исторического возраста народа, от условий его развития, от тысячи разных обстоятельств, в которые поставлена народная жизнь. Обстоятельства могут задержать, подавить, исказить народный характер, и, наоборот, могут способствовать его правильному раскрытию. Как в жизни частного человека, так и в жизни народа могут выдаваться целые эпохи, когда основной фонд его характера как будто совсем исчезает, а на самом деле только дремлет и впоследствии снова выступает наружу. Потому-то большая ошибка задаваться каким-нибудь, хотя бы неоспоримым, несомненным народным свойством и делать из этого посылку, что оно непременно выражалось в каждую эпоху жизни того народа, даже когда нет на это никаких исторических указаний, или когда данные противоречат такому выводу; большая ошибка смешивать быт разных ветвей одного и того же народа и известные черты, встречаемые у одной из них, переносить на другие.

В жизни западной России, уже в отдаленную эпоху, заметно большое движение; есть городские общины, есть какие-то зачатки феодальных отношений, есть намеки на аристократические элементы. Очень рано появляется деление наследства — признак развития начала личности. Таким образом, в западнорусском населении общественный быт и отношения представляют в начале истории некоторое разнообразие и сложность. Следы этого сохранились

до сих пор в тамошней семье и общине, особливо в Малороссии, чему, конечно, значительно способствовала и последующая история.

Совсем другое находим в Великороссии. С тех пор, что здесь образовалась особая ветвь русского племени, ни которого из названных выше общественных элементов мы в ней не встречаем. В основе всех частных и общественных отношений лежит один прототип, из которого все выводится, — именно двор или дом, с домоначальником во главе, с подчиненными его полной власти чадами и домочадцами. Это, если можно так выразиться, древнейшая, первобытная и простейшая ячейка оседлого общежития. Этот начальный общественный тип играет большую или меньшую роль во всех мало развитых обществах; но нигде он не получил такого преобладающего значения, нигде не удержался в такой степени на первом плане во всех социальных, частных и публичных отношениях, как у великорусов. В крестьянском быту он, еще в очень недавнее время, живо сохранялся в первоначальном виде, когда общество и государство уже приняли другие формы³². Не говоря о внутреннем устройстве крестьянской семьи и семейных отношений, личных и по имуществу, припомним значение очага в народных поверьях; бесчисленное множество примет, относящихся к избе, печи, угольям; особенные, полужазыческие обряды, сопровождающие основание новой усадьбы и переход в новую избу, причем горящие уголья играют такую важную роль.

Таким образом, зачатки великорусского элемента, лежащего в основании Московского государства и Российской империи, были, по-видимому, вот какие: в XI или XII веке переселенцы двинулись разными путями из западной России на восток, в финские земли. Они не принесли с собой никакой культуры³³: ни умственной, ни гражданской. В новой родине, печальной и суровой, они не нашли ни образованных народов, ни даже остатков прежде бывшей культуры. Туземцы, финские племена, разбросанные на огромном пространстве нынешней Великороссии, подпали постепенно под власть и влияние переселенцев и, может быть, смешались с ними, всего вероятнее — стали постепенно обрусевать, и таким образом внесли новую кровь, новые элементы в русское начало, принесенное колонистами с запада. Под влиянием новой

почвы, новой обстановки и притока финской крови сложилась постепенно новая ветвь русского племени. По мере того как она вырабатывалась и получала свою особую физиономию, подготавливались элементы для новой государственной формации, резко отличавшейся, подобно своей основе, от всего, виданного дотоле. На характере великорусов отразилась история их происхождения и постепенного образования; а характер этот, в свою очередь, определил особенности гражданского и государственного строя, который образовался у этого удивительного народа. Переселенец стал на новой почве колонизатором и распространился постепенно по громадной территории. В вековых трудах расселения образовалась та подвижность, то умение найтись в трудных обстоятельствах, тот практический такт в сношениях с инородцами, которыми так отличается великороссиянин перед своими соплеменниками. Преобладанием, в новом отечестве, над всеми другими племенами объясняется то чувство превосходства над инородцами, которое великорусы глубоко носят в своей душе, хотя и не всегда высказывают. Не принеся с собою из родины никакой культуры и не найдя ее на новой почве, переселенец посреди тяжких условий, в которые был поставлен в негостеприимном климате и в дикой стране, долгое время осужден был оставаться при грубых умственных и социальных зачатках первобытного человека. Трудная, упорная борьба с природой-мачехой, поглощая все силы, не оставляла ему досуга для высших помыслов, развила, рядом с суеверным фатализмом, признаком гнетущей внешней обстановки, какой-то грубый реализм и надолго помешала образоваться в нем той идеальной сдержке, которая дает человеку точку опоры против окружающего, против изменчивости обстоятельств и случайностей, как бы влагает в него центр тяжести, поддерживающий равновесие посреди бурь житейского моря и в то же время служащий складалищем опытности и воспоминаний, накопленного жизнью умственного запаса. Не без основания ставят великорусам в упрек большую плутоватость, отсутствие предусмотрительности, жизнь со дня на день; замечают с изумлением, что у этого народа как будто нет исторической памяти, что величайшие события и эпохи его истории как будто пронесли над его головой незаметно, не оставя почти никаких следов в народных воспоминаниях. Как ни различны между собою

все эти черты, но они сводятся к тому же первобытному, непосредственному реализму, которого источник скрывается не в прирожденных свойствах великорусов, а в полном отсутствии культуры русских масс, выселившихся первоначально из западной России, в совершенном отсутствии культуры на почве, на которую они пришли, и в тех внешних условиях, в которые они были здесь поставлены, в том труде, на который были здесь обречены в течение столетий.

Для полноты этой характеристики великорусского элемента необходимо коснуться еще двух его особенностей, которые объясняются сказанным выше и без него остаются совершенно непонятными.

Западнорусские переселенцы были уже христианами, когда перешли в новую родину, и перенесли на финскую почву церковь восточного исповедания, со всеми ее учреждениями. Несмотря на то, что языческое мирозерцание упорно держалось между колонистами, даже до позднейшего времени, название христианина стало отличительным их признаком посреди язычников-туземцев и надолго заменило сознание народности. Русский и православный, в народном понятии, одно и то же; православный, хотя бы и не русский по происхождению, все-таки считается русским; природный русский, но не православной веры, не признается за русского. И так в Великороссии христианская вера восточного исповедания стала народным знаменем, заступала место народности. Этим объясняется огромное политическое значение православия в Великороссии; в западной России оно получило его впоследствии, под влиянием борьбы с римским католичеством. Хотя, таким образом, оно играет великую роль в целом русском племени, однако характер его на западе и востоке был весьма различен, на что, как нам кажется, не обращено еще должного внимания. В XVII веке малороссияне укоряли москалей за чрезмерный формализм в делах веры, за то, что внешняя сторона поставлена у них на первом плане и производит непримиримые вражды и пагубные раздоры между братьями и христианами. Не раз слышались после того с разных сторон подобные же укоры, но уже православной вере, свидетельствующие о полном непонимании дела. Обобщая упреки и относя их к исповеданию, теряют из виду народ. Христианство принимается внешним или внутренним образом, смотря

по степени культуры; в ней, а не в православии, должно искать причины различного характера, который оно долго имело в восточной и западной России. Пока языческое мирозерцание не было вполне отжито великороссиянами, до тех пор они не были в состоянии усвоить духовное содержание христианства и останавливались преимущественно на его внешней, обрядовой стороне, приносивая христианское учение и истины к своим полуязыческим представлениям и верованиям. Задержанные в своем развитии на новой почве, западнорусские поселенцы, естественно, гораздо позднее стали доступны внутренней, духовной стороне православия, чем их братья в первоначальной родине. Флетчер, бывший в Москве в конце XVI века, прямо называет нас язычниками¹⁴. Весьма знаменательно, что туземные ереси и расколы появляются в Великороссии не прежде XVII века¹⁵ и еще в XVIII веке вращаются около одних внешних, обрядовых и богослужебных предметов, глубоко погружены в церковный формализм. Предшествовавшие им ереси и секты частью занесены к нам, по-видимому, из Византии, частью, кажется, с запада или, что может быть вероятнее, образовались в областях (преимущественно в Пскове), принадлежащих по своему происхождению и степени культуры к западнорусским группам. В западной России развитие продолжалось на том же корню, на котором началось, и потому культура была сравнительно выше; вот почему и православие воспринималось здесь более и более духовно, что и дало западной России силу бороться с римским католичеством духовным оружием. В Великороссии православие, соответственно ее степени культуры, получило характер государственного и политического учреждения, под покровом которого окрепло и выработалось национальное сознание. Не понимая этого, нельзя понять русской истории. А между тем, еще не так давно люди высокого образования, извращая вопрос, думали, что православие, отделив нас от остального образованного европейского мира, задержало наше развитие и было главной, если не единственной причиной нашей видимой отсталости в культуре от прочих народов¹⁶. На самом же деле оказывается, что мы сильно отстали в культуре от Европы потому, что жизнь Великороссии началась с азбуки, с самой первой ступени оседлого быта, едва ли ранее XII века, при самых неблагоприятных условиях, в каких когда-ли-

бо находился другой народ. Не православие заражено формализмом, а мы восприняли его преимущественно с формальной, внешней, обрядовой стороны, потому что по степени развития были неспособны подняться до внутреннего, духовного содержания христианства. И при всем том православие оказало России неисчислимые услуги. Благодаря ему мы сохранили сознание национального единства и не сделались добычей других христианских народов, опередивших нас в образованности. Православие дало возможность в тиши и уединении сложиться и укрепнуть славянскому зародышу, заброшенному в дубри и пустыни, на край света; оно хранило его и оберегало до тех пор, пока из этого слабого зачатка образовалось могучее политическое тело, которому не страшны стали внешние борьбы и бури. Будь мы с самого начала колонизации римскими католиками или сделайся ими вскоре после водворения на новой почве, мы были бы роковым образом втянуты в круг западноевропейского развития, которое, по крайней мере до сих пор, действовало разлагающим образом на все славянские племена, которых коснулось. Последнего термина этой посылки мы не знаем: он еще впереди. Не может быть никакого сомнения в том, что славянские племена не могут развиваться, не усвоивши себе плодов высшей, европейской культуры; но вопрос вовсе не в этом, а в том, когда, на какой ступени развития они могут принимать в себя европейский элемент, не теряя своей политической и народной самостоятельности; на это история отвечает очень категорически примером России и прочих славянских государств и народов.

Другое характеристическое явление русской жизни, получившее свой особый оттенок в Великороссии, есть склонность к молодечеству, к разгулу, к безграничной свободе — удаль, не знающая ни цели, ни предела. Профессор Соловьев очень метко и верно указал на огромную роль, которую эта черта играет в нашей истории. Она создала казачество; она наводнила страну разбойничьими шайками; она производила страшные взрывы, потрясавшие государство, и выступает во всех наших внутренних смутах. Черту эту нельзя объяснить ни административным гнетом, ни склонностью к переходам и бродячей жизни, ни частыми разореньями, отучавшими народ от оседлости, ни крепостным правом; все эти обстоятельства, ко-

нечно, вызывали наружу указанную черту характера, может быть, усиливали ее, но нам не объясняют, почему она в нас есть, почему принимает у нас такие невиданные и небывалые формы. Один из ее элементов, бесспорно, — большие силы, ищущие простора и деятельности и не находившие их в ежедневной житейской обстановке. Но такие же громадные силы чувствуются и в североамериканце. Отчего же они проявляются у него иначе — в гражданской деятельности, труде, промышленной предприимчивости? Поэтому-то мы и думаем, что должен быть еще другой элемент, которым эта черта нашего характера вполне объясняется. Разгадки опять-таки должно искать в отсутствии культуры, к чему мы беспрестанно должны возвращаться, объясняя многие особенности нашей истории и быта. Молодечество, безграничная удаль, разгул, стремление к безграничной свободе, которая манит человека из гражданской обстановки в поля и леса, на приволье, есть лишь обратная сторона той внешней обрядности, того предохранительного и спасительного ритуала, которым человек без культуры обставляет каждый свой шаг, из боязни, чтоб ему не приключилось какой беды. Им не руководит внутреннее сознание, полагающее границы деятельности и указывающее способы, как действовать; его извне как бы опутывает обряд и обычай, которому он подчиняется слепо, по привычке или из боязни его нарушить. Натура не особенно сильная сдерживается этой внешней уздой; но сила с ней не уживается; она разрывает гнетущие ее внешние оковы и, не умеряемая внутренним содержанием, истощается в безграничном и беспредметном разгуле. Глубоко проходит эта черта чрез всю русскую жизнь; беспрестанно отзывается она в ней. Послушайте рассказы о том, как кутит наемный рекрут-охотник до окончательного поступления на службу! Кто не знает и не видал своими глазами, как человек, долго живший порядочно и честно, вдруг, ни с того ни с сего, сбивается с толку и делается никуда не годным. Сколько у нас людей, проведя жизнь, чуть-чуть не до старости, за каким-нибудь делом, вдруг без всякой причины бросают его и начинают фантазировать в ущерб своей деятельности и материальному положению. Сколько можно привести других подобных примеров из самых различных слоев нашего общества и самых разнородных положений и профессий! Струна казачества в нас еще не совсем за-

глохла и все еще звучит от времени до времени. В образованных слоях нашего общества внешний формализм, с одной стороны, удаль и разгул — с другой, переносятся в сферу мысли и духовной деятельности. Нравственная пустота, сила, без внутреннего центра тяжести — вот элементы нашего умственного казачества¹⁷. Так долго переживаются первобытные черты, так трудно пополняется пробел духовной, внутренней стороны, завещанный отдаленными веками.

II

Указывают, как на особенность и странность русской истории, что в XI и даже в XII веке мы стояли по образованию выше современных европейских народов; но с тех пор они развивались далее, а у нас культура почему-то начала падать. Причины этого явления приписывают нашествию монголов и татарскому игу. Но значение ига сильно преувеличивается. Другие иронически замечают, что не будь у нас татарского владычества, не было бы и Московского государства¹⁸. Которое же из этих двух мнений справедливо? Было ли татарское иго для нас злом или благом? Нет сомнения, что татарское владычество было горестным, тяжелым и несчастным эпизодом русской истории; оно нас разорило, унизило, сдавило, замедлило, пожалуй, наше развитие, легло тяжким бременем на наши плечи; но напрасно станем мы отыскивать следов органического влияния диких кочевников на нашу жизнь. Несколько слов, позаимствованных русскими у татар, так же мало доказывают такое влияние, как турецкие слова, вошедшие в сербское наречие, — влияние на сербов турецкого элемента. Учреждений у татар мы никаких не заимствовали, да и трудно было их заимствовать у победителей и господ, которые правили нами издалека. Словом, нам не известно ни одного явления русской жизни, которое бы мы вынуждены были приписать органическому влиянию на нас татарщины и не объяснялось бы собственным, внутренним развитием западнорусских поселенцев на новой почве. Что Московское государство сложилось благодаря татарам — об этом смешно и говорить. Стремление к объединению Великороссии появилось очень скоро после начала колонизации и беспрестанно проявлялось под самыми различными формами; москов-

ские князья только воспользовались татарским игом для достижения той же цели, которую имели и другие князья, их предки и современники; а между умением воспользоваться обстоятельствами, умением при их помощи провести план и фактами или условиями, определяющими развитие исторической жизни, есть огромная разница, которой можно пренебречь остроумия ради, но которую нельзя оставить без внимания при серьезном разрешении исторического вопроса.

Причина кажущегося попятного движения нашей культуры лежит не в татарском иге, а гораздо глубже. Чтоб выяснить ее, необходимо хорошенько условиться в том, о чем мы хотим говорить. В Малороссии, в северо-западной России, культура нисколько не понизилась. В первой вечевое и дружинное начала продолжали развиваться по-прежнему; создавалась сильная аристократия, с которой боролись князья. Южнорусские летописи исполнены высокого драматического интереса, указывающего на деятельную, умственную и нравственную жизнь тамошнего населения. Такою же полною жизнью продолжала жить и северо-западная Россия, к которой принадлежала не одна Белоруссия, т. е. кривичи, но и славяне — новгородцы и псковитяне, признаваемые и Шафариком³⁹ за особую группу. Здесь развилась преимущественно муниципальная жизнь, промышленная и торговая деятельность, и муниципии этого края продолжали сильно и быстро развиваться; никакого упадка культуры не заметно; напротив, видно постепенное ее усиление. Быстрое обрусение литовцев, покоривших западную Россию, тоже говорит в пользу тамошней культуры. Наконец, живой интерес к вопросам веры и церкви, религиозные борьбы, в особенности с римским католичеством⁴⁰, вызвавшие большое умственное движение, создавшие школы и целую духовную литературу, не доказывают упадка культуры, а, напротив, подтверждают, что она пустила здесь корни.

Итак, говорить об упадке образованности можно только, имея в виду одну Великороссию. Но будет ли точно это выражение? Основываясь на том, что сказано выше, мы думаем, что нет; что культуры здесь вовсе не было, и потому упасть она не могла. Нас вводит в заблуждение то простое обстоятельство, что в самом начале колонизации Великороссии с запада переселенцы принесли с собою живые воспоминания о родине; в княжеском роде

и высших слоях населения сначала поддерживались с нею связи; очень возможно, что новые выселения освежали эти воспоминания, точно так же, как и частые перемещения князей и дружинников из западной России в восточную и обратно. Таким образом, сначала происходил естественный обмен между западной и восточной Россией, что и поддерживало некоторое время западнорусский строй жизни на новой почве. Оттого-то мы сперва не видим резкого перехода от западной России к восточной; в последней сначала как будто происходит то же самое, что в первой; видны те же интересы, те же учреждения, те же дружины и города с их вечами, та же оживленная жизнь. Но когда связи между обеими половинами русского мира понемногу ослабевают и прекращаются, жизнь Великороссии, не обновляемая более новыми переселенцами и выходцами из западной России, перестает искусственно поддерживаться на одинаковой высоте с последней и приходит, мало-помалу, в естественный уровень с теми элементами, которые сложились на месте. С тем вместе, оживленное движение, характеристические образы, поэтические черты, свидетельствующие о том, что довольно развитая индивидуальность лежит в основе общественности, мало-помалу бледнеют и замирают. Летописи становятся сухи и прозрачны, превращаются в календарь событий; личность деятелей стирается за голыми фактами, точно будто замедлился пульс общественной жизни. Другого, конечно, и не могло быть, когда первоначальные элементы жизни Великороссии, которые мы характеризовали выше, мало-помалу начали вступать в свои права. Грубейший, первобытный реализм слагающегося народа при полном отсутствии благоприятствующих культурных условий постепенно стал выдвигаться из-под временного наплыва западнорусской жизни. Следовательно, мнимый упадок культуры состоял только в том, что действительная основа жизни Великороссии стала проступать наружу из-под обманчивого, наносного, чуждого покрова.

В высокой степени любопытно и поучительно проследить в истории Великороссии постепенное развитие тех зачатков, на которые мы указали выше. Один и тот же материал — русское племя — поставленный только в разные условия, дает на западе и востоке России совершенно различные результаты, вырабатывается в различные фор-

мы, под которыми лишь с трудом можно разглядеть общее всем им основание. Интерес такого исследования перестает быть местным, русским, и становится всемирно-историческим, когда вспомним, что внутренним ходом великорусской жизни поставлен и разрешен вопрос государственного существования, а следовательно, политической независимости и самобытности славянского элемента. История показывает, что для этого недостаточно было одного ума, личной доблести, талантов, в которых никогда не было недостатка у славян: нужен был целый строй жизни, который выдержал бы в суровой дисциплине мягкий, расплывчатый, впечатлительный, женственный славянский элемент до эпохи его исторической возмужалости. В Великороссии он отрешился от остального образованного мира и влияний высшей культуры и должен был сам в себе искать условий государственной жизни, соответствовавших его историческому возрасту. Он и нашел их. Из своей уединенной, своеобразной и тяжелой жизни он вынес то, чего прочие славянские народы напрасно искали другими путями.

Постараемся теперь показать в общих чертах, какое влияние имел обрисованный выше характер зачатков великорусской жизни на все наше последующее развитие. Культурные условия этих зачатков отзываются как основной тон в целом ходе нашего образования и гражданского быта даже до настоящего времени.

Мы сказали выше, что православие заменило нам вначале сознание народности. Отсюда тогдашний государственный и политический характер нашей церкви. Сперва одна она и представляла наше народное единство; церковное единение задолго предшествовало государственному и в течение столетий подготавливало его. Переезды митрополитов из Киева во Владимир, а отсюда в Москву были столько же государственными, сколько церковными событиями, даже более государственными, чем церковными. Алексей митрополит навлекает на себя сетования патриарха за то, что держит сторону московского князя в распрях его с удельными. Церковь стоит во главе народных войн против татар, благословляет на подвиг Дмитрия Донского, склоняет колеблющегося Ивана III. Во всех важнейших политических событиях, решавших судьбу нарождающегося государства, церковь играет первую роль; она его вскормила, выходила и передала на руки светской

государственной власти, когда процесс образования политического тела уже совершился. Не понимая этого высокого призвания в судьбах Великороссии — призвания, определившегося составными стихиями последней, — нельзя понять характера нашей церкви в древнейшую эпоху великорусской истории.

Так же значительна была и образовательная роль церкви. Если мы ее недостаточно ценим, то единственно потому, что не берем в расчет среды, на которую ей приходилось действовать. Изукрашая старинный наш быт вымыслами или просто не думая об нем вовсе, мы бы хотели видеть в тогдашней деятельности нашей церкви большее развитие нравственных, духовных элементов, большее обращение к уму и сердцу людей. Но рассмотрите внимательно памятники: они разрешают все недоумения. Церкви приходилось бороться не с злой волей или развращенным умом, а с грубейшими языческими нравами, с дикими предрассудками, с первобытным реализмом, при котором люди приближались к зверям и бессловесным. Борьба эта продолжается чрез всю древнюю историю, местами и до сих пор. Встречаются и теперь кое-где в захолустьях примеры невообразимой дикости нравов. Имея дело с такой средой, церковь должна была вооружиться не проповедью, не поучением, а внешней дисциплиной, чтоб сперва хоть наружно приблизить этих людей к образу и подобию Божию. Знакомый хоть сколько-нибудь с теперешними нравами и обычаями нашего народа не станет отрицать, что они еще очень грубы и суеверны. Что же было в древние времена и каково было ведаться с ними? Церковь и делала, что могла, прибегая к единственно возможным тогда и самым действительным средствам. Прибавим к этому, что личный состав ее обновлялся под конец большею частью из туземцев; следовательно, в нее по необходимости вторгались те же самые элементы, которые она призвана была воспитывать.

Вообще ход нашего образования — и духовного и светского — вследствие всей совокупности условий, при которых возникла жизнь Великороссии, был очень своеобразен. Развитие культуры было чисто внешнее; вместо самостоятельности видим пассивное восприятие чужого; меньшинство является проводником этого чужого в нашу жизнь, и потому весь культурный процесс идет сверху вниз, из вершин общества в народные массы. Припом-

ним, что переселенцы из западной России явились в Великороссию без всякой культуры и, следовательно, без зачатков духовного развития; что новая их родина была точно такая же и не внесла непосредственно в их жизнь никаких образовательных элементов; что затем и после, в продолжение всей нашей истории, односложность нашего быта никогда не нарушалась притоком в наш народный состав чужого племени или наплывом завоевателей; что, наконец, в течение столетий все силы Великороссии были обращены на грубый материальный труд заселения дикой страны между дикими племенами и при самых враждебных человеку природных условиях. Все эти обстоятельства вместе взятые на целые века сделали невозможным развитие великорусской ветви из самой себя. Ее не воспитывала среда, в которой она жила; нравственная и умственная сторона в ней дремала. Единственным путем культуры Великороссии — путем окольным и чрезвычайно длинным — было постепенное, так сказать, всасывание в себя образовательных элементов извне, из других стран, более образованных. Наша подражательность, обезьяничанье, наша падкость к новому и чужому, наша способность принимать всевозможные виды и образы ставятся нам в укор; но такая восприимчивость и впечатлительность, выработанные в нас, правда, до виртуозности, доказывают только отсутствие в нас всякого содержания и сильную потребность наполнить эту пустоту единственным способом, который оставался, — впитыванием, вдыханием в себя образовательных элементов извне. Эти внешние влияния чрезвычайно медленно оседали в народе и продолжали жадно восприниматься отовсюду до тех пор, пока почва не напиталась ими и не народилась для самостоятельного, нравственного и духовного развития.

Отсюда множество явлений в нашей жизни, на которые мы теперь горько жалуемся, потому что время их проходит. Внешний характер образования, раздвоенность общества, отчуждение высших слоев народа от низших и высокомерное отношение первых к последним, посягательство незаметного меньшинства на обычаи и нравы большинства народа — все это обуславливалось стремлением грубой среды к культуре. Нам не нравятся теперь формы, в которых оно выразилось; но они были такие,

а не другие, именно потому, что такова была среда. Иной ход образования, иные формы стремления к нему для нее были невозможны.

Отсюда же и другая особенность развития нашей культуры, на которой нельзя не остановиться, — так она поразительна. Попытки меньшинства водворить в большинстве внешние формы образованности, заимствованные от других народов, не имели и не могли иметь между собой никакой органической связи, потому что вытекали не из хода внутренней жизни, а определялись внешними материалами, которые случайно попадались под руки и, следовательно, тоже не могли иметь между собою никакой внутренней связи. Преобразования на греческий лад при Иване III⁴², польские и литовские влияния в XVII веке, западноевропейские влияния в XVIII и в первой половине XIX века представляют этому обильные примеры. Нередко страшные силы поглощаются в таких попытках бесследно, целые направления вдруг возникают и вдруг же исчезают. Существование у нас литературного памятника, книги, произведений искусства на русском языке и с кажущейся русской обстановкой не дает еще права заключать, что это продукт народной жизни, не доказывает, что мысль и направление, которые в них выражаются, нашли в стране сочувствие, привились, были распространены; такие памятники очень часто оказываются переделками или переводами с иностранных образцов, делом прихоти, вкуса, мысли небольших кружков, даже отдельных личностей; круг действия и влияния этих памятников и произведений ограничивается нередко небольшим числом любителей, в лучшем случае известным слоем общества, составляющим незаметное меньшинство. Потому-то, разрабатывая историю нашей культуры, мы ходим на почве весьма шаткой, не представляющей ничего органического. Между несомненным фактом и средой, в которой он оказывается, не существует необходимой, непосредственной связи и потому не может быть сделано безошибочной посылки от первого к последней. Изложите, например, весь ход русской литературы от начала до конца; разберите и объясните подробно все ее памятники — и вы все-таки не будете иметь истории развития русской мысли в литературе; отбросьте наплывной материал, и в результате останется, кроме природного таланта, отрица-

тельное отношение к среде и развитие языка, выработка самостоятельной формы для выражения будущей самостоятельной мысли. То же и во всем остальном.

Обратимся теперь к гражданскому и государственно-му быту Великороссии: он точно так же представляет своеобразное развитие зачатков, принесенных сюда переселенцами с запада, поставленных в условия, о которых мы уже говорили выше.

Первобытный, начальный тип оседлого общежития — дом или двор — лежит в основе великорусской общности до самого Петра Великого. Где было завоевание или хоть добровольное призвание чужеземцев, там в жизнь вносится дружинный элемент, из которого впоследствии развивается аристократия или олигархия. Где ранние поселения становятся центрами торговли и промышленности, там развивается со временем муниципальная жизнь, и поселения обращаются в государства, наподобие древних и средневековых городских республик, с городским патрициатом и чернью. Но где ни того, ни другого нет, где народ слагается из самых первобытных элементов, не имеет никакой культуры и не находит в стране высшей образованности, которая могла бы иметь на него непосредственное, ежедневное влияние, там формы общежития могут быть только развитием дома или двора, этой первичной социальной ячейки, общей всем оседлым народам в мире. Если никакие внешние обстоятельства не помешают ее естественному развитию, например, если народ не обратится в военную дружину и не получит вследствие того военного характера и устройства, то тип дома или двора мало-помалу непременно разрастется и определит характер всей гражданской и государственной жизни.

Так и случилось в Великороссии. Едва ли есть другая страна в мире, которая представляла бы такое полное, беспримесное и последовательное развитие типа двора или дома от первых его зачатков до высшей ступени; едва ли где этот тип так выносился и вызрел, как в Великороссии. У малороссиян в составных элементах общества находим присутствие дружинного начала; у северо-западных отраслей русского народа муниципальный элемент рано начал играть важную роль. Ничего подобного нет в Великороссии, с тех пор как здесь сложилась особая ветвь русского племени.

Эта характеристическая особенность великорусского быта имеет неизмеримую важность. Ею объясняется беспримерная его своеобразность. Благодаря ей древний быт Великороссии представляет небывалую социальную форму, которая не может быть обойдена во всемирной истории, заносащей на свои страницы всевозможные типы человеческих обществ; что же касается русской истории, то в ней шагу нельзя ступить, не возвращаясь беспрестанно к особенностям социального развития Великороссии; здесь ключ к правильному пониманию глубоких общественных различий между древней западной и восточной Русью и различных политических судеб обеих половин одного народа в течение столетий; здесь, наконец, разгадка множества явлений нашего быта, нашего прошлого и настоящего, всего нашего народного характера.

Дом или двор, как мы уже сказали выше, представляет человеческое общество, поселенное на известном месте, состоящее из членов семьи и домохозяев и подчиненное власти одного господина, домоначальника. В этой социальной единице заключаются, как в зародыше, зачатки всех последующих общественных отношений: и семья, и рабство, и гражданское общество, и государство.

Развитие древнего великорусского общества и государства действительно представляет выделение и самостоятельное развитие этих зачатков. Сначала дом или двор оставался, как еще недавно у наших крестьян, постоянной единицей, к которой все приурочивалось. Отделившийся член семьи переставал принадлежать к этой единице и не имел в ней никакой доли; только наличные члены дома принадлежали к нему и участвовали в нем. На этой ступени развития связи личные и определяемые местом жительства не различаются. Так у наших крестьян: сын, отделившийся от семьи, переселившийся в другое место или отданный в солдаты, и дочь, выданная замуж, — отрезанные ломти, не имеющие части в семейном имуществе, которое скорее принадлежит дому, двору, чем главе семейства. Развитие этой первичной формы общежития выражается сначала в том, что личные связи перестают совпадать с сожительством в одном дворе или доме и получают самостоятельное значение. С тем вместе выдвигается на первый план союз семьи и родства, независимо от места поселения, причем общее достояние двора или до-

ма обращается мало-помалу в личное имущество главы семейства или родоначальника и после его смерти делится между членами того семейства или рода. Вслед за тем и союз свойства получает значение и становится основанием прочных личных связей; дочь, выданная замуж, уже перестает быть оторванным и чуждым членом семьи: укрепление личных связей, основанных на родстве, делает безразличным, где она живет — между своими или чужими. По личным связям и чужие делаются своими. Рабы обращаются в имущество, предмет гражданских сделок.

На этих-то простейших основаниях построена общественность древней Великороссии. И частный, и государственный быт ими проникнуты. Политическая организация удельных княжеств — если только к ним идет это выражение — приводится к тем же основаниям по мере того, как забываются западнорусские формы, занесенные во время колонизации. Княжеская дружина преобразуется в княжеский двор, который состоит из князя, членов его семьи и дворян, слуг княжих. Княжество принадлежит князю, есть его наследственный удел; князь — дедич и отчич княжения. Тип этот лежит и в основании Московского государства: он только раздвинулся, принял громадные размеры. Точно так же, как прежде князь, так теперь московский государь есть отчич и дедич Московского государства. Царский дом, или двор, состоит из членов царского семейства. Слуги царя, или холопы, окружают его, нисходя по степеням от высших, приближенных, до низших. Прибавляется только к прежним составным элементам двора, или дома, — народ, «сироты царские», т. е. состоящие под защитой, охраной и попечением государя.

Собственно говоря, переход от удельной системы к государственному единству был возвращением в государственной сфере к первоначальному типу двора или дома. Во время уделов княжества обратились в имущество князей, которое они делили между членами своего семейства, покупали, продавали. С Дмитрия Донского начинается ясное представление о государственном единстве и о единстве государственной власти, вследствие чего часть, достававшаяся великому князю, становится все больше, а части прочих князей все меньше. С Ивана III все владения переходят в руки одного государя, а остальным князьям достаются ничтожные уделы. Итак, можно

сказать, что с этого времени в государственной жизни Великороссии начальный тип дома или двора восстанавливается во всей своей первоначальной чистоте и остается господствующим до Петра Великого. Если это не вдруг бросается в глаза, то причины следует искать в том, что внешние наслоения, разные, заимствованные извне, формы заслоняют от нас действительную сущность дела. Западнорусское представление о великом князе усвоено и Великороссию; оно занесено сюда переселенцами. Но как же различно оно здесь и там! Западнорусский великий князь есть старший из князей, глава княжеского рода; в Великороссии он перерождается в территориального владельца. Великое княжение из власти становится областью. При помощи великого княжения старший, великий князь, делается материально сильнее прочих князей, и это мало-помалу ведет к объединению всей Великороссии под властью великокняжеского двора, или дома. Иван III усваивает туземному, великорусскому типу внешние формы византийской царской власти. Таким образом, западнорусская форма заменилась иною, греческой; но самый тип власти в сущности остался тот же самый, каким был и вытекал из самых основ великорусской жизни.

Тот же самый тип лежит и в основании крепостного права, которое было лишь одним из его выражений. В XIX веке крепостное право под влиянием европейских экономических воззрений и заметно усилившегося промышленного развития начало местами вырождаться в отталкивающую, возмутительную эксплуатацию людей из барыша; юридическое право на человека стало обращать его в капитал, из которого можно и должно прежде всего извлекать наибольший процент. Крепостное право начало было, таким образом, обращаться в рабство, что и ускорило его падение. Но в древней России оно не имело этого характера. Оно было только властью, иногда жестокой и суровой, вследствие грубости тогдашних нравов, но не правом собственности на человека. Крепостное право не исключало попечительности о людях, справедливости в обращении с ними, правильного, не слишком тяжелого определения их обязанностей и повинностей. Так называемые патриархальные отношения между владельцами и их крепостными вытекали из того, что основанием крепостного права служил начальный тип великорусского общественного быта — дом, или двор. Такой харак-

тер сохранило у нас крепостное право, у большинства владельцев даже до позднейшего времени, не успев получить ни строго юридического, ни строго экономического характера, как, например, в Польше и западных губерниях.

Говоря о крепостном праве, мы теперь представляем себе только известные отношения частного права, упраздненные на наших глазах, и едва подозреваем, что они были запоздалым остатком целого общественного строя, который в старину господствовал исключительно в нашем государственном и частном быту. Княжеские слуги имели сначала вольный переход от князя к князю; когда утвердилось московское единодержавие, такие переходы запрещались и наказывались как преступление. Точно так же и крестьяне сначала вольно переходили от владельца к владельцу, а потом такие выходы прекращены. В XVII веке строго разграничены между собою разные разряды, «чины», отправлявшие царскую службу и тягло, с запрещением перехода из одного разряда в другой под страхом наказания. Самые по природе своей свободные промыслы, как, напр<имер>, торговля, подведены под то же самое начало; московские купцы обращены на царскую службу и образовали особый служебный разряд, к которому приписывались принудительно торговцы и посадские других городов, смотря по потребностям царской службы, и из которого не было добровольного выхода в другие разряды. Мало-помалу это начало распространено на все виды царской службы: пушкарки и печатники, мастера и рабочие разного рода приписаны наследственно каждый к своему ведомству без права перехода к другому занятию. Вместе с тем каждый приписанный к княжеству, частному владению, служебному разряду или ведомству поступал под полную их власть, суд и управление. Следы этого порядка дел удержались до позднейшего времени и окончательно отменены лишь в нынешнее царствование; сохранились они теперь, и то отчасти только, в сословии белого духовенства. Такое стремление каждого землевладения, каждого ведомства, каждого особого управления замкнуться в особую единицу, составить особое целое, с полною властью над принадлежащими к нему лицами, характеризует великорусский быт в течение всего московского периода и получило полное развитие в малейших подробностях гражданской и государствен-

ной жизни в XVII веке. Следовательно, крепостное начало было в то время, можно сказать, основанием всей нашей общественности, а это начало прямо вытекало из первообраза великорусского быта — двора, или дома. Поэтому-то оно и было в нравах. Чадам и домочадцам, состоящим под властью господина, по тогдашней терминологии «государя», казалось очень естественным состоять под его «наказанием» (т.е. и наставлением, и исправительным взысканием). Эпитет «грозный» выражал хвалу, по крайней мере, одобрение, а никак не порицание. Не настаивать, не руководить подвластных, не взыскивать с них, когда они того заслуживали, считалось, в глазах самих подвластных, предосудительным признаком равнодушия, невнимания. Рассказ Олеария о русской жене иностранца, которая плакала о том, что муж никогда не бил ее⁴¹, — есть карикатура, но не злостная выдумка; в основании этого рассказа лежит правда, которую ни Олеарий, ни передававший этот случай не поняли, потому что она лежала совершенно вне круга их понятий. Еще на нашей памяти простолудин после наказания благодарил за то, что его учили уму-разуму. В старые времена это было у нас повсеместно делом самым обыкновенным. Факты такого рода, а их можно привести множество, чрезвычайно характеристичны. Они доказывают, что древняя великорусская общественность, построенная снизу доверху на начале двора, или дома, и проникнутая вытекавшим из него крепостным правом, была в народных нравах и убеждениях, поддерживалась не насилием, а сознанием. Теперь нам становится трудно вдуматься в этот строй жизни, потому что мы из него выросли; но в народных массах он еще жив — во взгляде на вещи, в привычках, пословицах и преданиях, и пройдет еще много, много времени, пока он совсем забудется. Подчиненный власти считал себя в древней Великороссии не рабом, не предметом промышленной эксплуатации, а несовершеннолетним, неразумным, малосведущим, темным человеком, которого надо учить, наставлять, вразумлять и направлять. Оттого и наказание считалось мерою исправления, а не делом каприза, своеволия или жестокости. Такой взгляд образовался, как сказано, по той причине, что крепостное право возникло из домашней власти и развилось по ее образцу; поэтому-то именно оно и не было ни строго юридическим, ни экономическим явлением. Одно глубокое непонимание дела

может переносить на этот склад жизни юридические понятия и измерять его последними. Постепенная отмена крепостных отношений, составляющая существенный смысл нашего внутреннего развития в XVIII и XIX веке и завершившаяся в 1861 году, действительно, а не в переносном смысле обозначает ступени нашего гражданского роста⁴⁴ и перехода от несовершеннолетия к возмужалости. Многие удивляются, почему великорусский крестьянин, несмотря на крепостную зависимость в течение без малого трех веков, нисколько не походил на раба. Особенно это поражало иностранцев. Но кто вник в характер и внутренний смысл крепостных отношений, тот найдет это явление очень понятным и естественным.

При исследовании своеобразного быта старинной Великороссии сам собою представляется следующий вопрос: как согласить с этим строем жизни, основанным на крепостном праве, общинный быт массы великорусского населения, его несомненную способность и привычку к общинной и артельной жизни? Вопрос этот один из труднейших в особенности потому, что, кажется, никогда еще не был правильно поставлен. У всех славянских племен есть природное расположение к общинной жизни; это факт, не подлежащий сомнению. Но как оформилась в истории эта общая всем им черта — это другой вопрос, которого никак не следует смешивать с первым. Между тем, говоря об общинном быте русского народа, мы обыкновенно не различаем природной способности, предрасположения, от организации, от определенной и установившейся формы отношений и потому, при обсуждении этого вопроса, никак не можем прийти к точным, положительным результатам. Живя вместе, имея общие дела, общие занятия, общие интересы, люди естественно образуют группу, целое общество, особенно при живости характера, общительности и большом добродушии которым мы отличаемся. Но всего этого еще мало, чтоб признать существование у нас общинного быта. Такой быт предполагает общественное устройство и известный способ ведения общественных дел, перешедший в обычаи и нравы. Есть ли у нас общинный быт в этом смысле или нет, сказать очень трудно. Рядом с фактами, несомненно доказывающими его существование в одних местностях, приводятся данные из других местностей, доказывающие совершенно противное; нередко такие противоречащие

факты встречаются в одной и той же местности и даже не на большом расстоянии друг от друга; еще чаще можно заметить, что в одном и том же обществе есть очень развитые и твердо установившиеся общинные учреждения по одной какой-нибудь стороне общественной жизни и полное их отсутствие — по другой. Последнее, можно сказать, факт почти повсеместный в Великороссии. То же противоречие видим и в пословицах, выражающих народный взгляд на общину. Есть пословица: «мир — великое дело»; но есть и другая: «мир силен, как волна, и глуп, как свинья». Рядом с пословицей: «дружка об дружке, Бог обо всех» — есть тоже пословица: «моя изба с краю, ничего не знаю». Всего подробнее и точнее развиты в целом народе обычаи, относящиеся к общественной раскладке всякого рода повинностей, податей, сборов, натурой и деньгами, а также к разделу полей и угодий; все другие общинные обычаи далеко не так повсеместны, как эти. Из всего этого можно, кажется, заключить, что природная наша способность к общинной жизни, которой никто не отрицает, находится еще в развитии и успела принять определенные обычные формы в тех только случаях, когда обстоятельства тому благоприятствовали; но едва ли можно положительно утверждать, что общинный быт у нас уже существует, что он уже теперь представляет нечто развитое, прочно установившееся и выработанное во всех частях и повсеместно⁴⁵.

Правильному разрешению вопроса об общинном быте Великороссии мешает также, как нам кажется, еще и то, что мы в этом отношении недостаточно различаем разные эпохи русской истории, а это, в свою очередь, существенно вредит правильности наших исторических воззрений. О внутреннем быте великорусских крестьянских и городских обществ мы имеем до царствования Ивана Грозного одни только скудные известия, относящиеся почти исключительно лишь к податям, повинностям и раскладам. Из этих сведений видно, что волости были обременены налогами, что суд принадлежал не им, а кормленщикам⁴⁶ или частным владельцам. Необыкновенные усилия употреблял Иван III, чтоб обуздать произвол наместников и волостелей⁴⁷. Иван IV в изданном им Судебнике усилил меры, принятые в этом отношении Иваном III, и даже намеревался отменить вовсе местных царских правителей, а суд и полицию передать самим обществам.

Во всем этом трудно усмотреть следы сколько-нибудь установившейся общинной жизни в Великороссии; наоборот, из этих указаний, по-видимому, следует, что сельское и городское население жило вполне под частным правом или под произволом княжеских слуг и кормленщиков, тип власти которых был тот же, что и частных владельцев. Не надо также забывать, что в то время еще существовал свободный переход с одного места на другое, что на частных землях люди жили по договорам с владельцами и что такие договоры заключались последними не с целым обществом, а с отдельными лицами. При таком порядке дел едва ли могла существовать выработанная, самостоятельная жизнь городских и сельских общин. Таким образом, до XVII века мы не имеем никаких известий об общинной жизни великорусского народа, а те сведения, которые дошли до нас, делают существование прочного общинного быта невероятным и говорят скорей против него, чем в его пользу. В XVII веке крепостное право было в полном цвету; оно определило всю общественную и государственную жизнь во всех малейших подробностях; следовательно, в течение этого века, менее чем когда-либо прежде, мог существовать самостоятельный быт общин; но весьма вероятно, что в этом веке он начал мало-помалу слагаться, и именно под влиянием крепостного начала. Первый его узел завязан, как кажется, налогами, повинностями, вообще тяглом, которое сельчане и горожане должны были тянуть в пользу казны. Ей было удобнее, проще и вернее иметь дело не с отдельными лицами, а с целым городом, сотней, слободой, волостью, деревней — словом, с обществом; вследствие этого на общество легла обязанность раскладывать подати, повинности и службы. Это должно было съютировать⁴⁸ между собою лица, принадлежащие постоянно и наследственно к одному податному, тягловому обществу, должно было связать их одним общим делом и создать юридические общинные, податные единицы с выборными представителями во главе. В таком, кажется, виде стала мало-помалу осуществляться великая мысль Грозного, брошенная им едва ли не в разгаре кровавой борьбы с олигархами. За ту же мысль позднее снова ухватился Петр Великий, но так же безуспешно; общинный быт тогда не успел еще выработаться. Много делалось попыток в том же смысле и впоследствии, но и они остались без результата, пока,

наконец, уже в наше время со всех сельских обществ не было снято бремя административной опеки⁴⁹, чем и положено действительное основание к развитию сельского общинного быта. В крестьянстве, жившем на землях частных владельцев и впоследствии закрепощенном за ними, общинное начало появилось едва ли ранее XVIII века, и вот почему: когда существовала поместная система, огромное большинство помещиков и вотчинников (последних, кажется, было очень немного) жили в своих имениях и хозяйничали сами или через своих приказчиков и ключников; издельное хозяйство⁵⁰, по условиям тогдашнего быта, было повсеместно; казенных и общественных повинностей и тягостей помещичьи и вотчинные крестьяне не несли; в имениях, принадлежавших духовному ведомству, а также и тем из придворных чинов, которые, по обязанностям службы, не могли жить в своих поместьях и вотчинах, вероятно, тоже существовало изделье и приказчиье управление; следовательно, общинный быт мог начать вырабатываться в дворянских населенных имениях лишь в XVIII веке, когда крепостные, приписанные к этим имениям, были привлечены к участию в государственных и земских повинностях, податях и службах и когда изделье отчасти заменил оброк натурою или деньгами.

Все сказанное нами выше об общинах и общинном быте пока, разумеется, не более как одни догадки и предположения. Профессор Чичерин первый указал на податное, финансовое, тягловое происхождение наших городских и казенных сельских общин⁵¹. Они и доселе глубоко запечатлены этим характером. Что в их быте принадлежит гению славянского племени и что истории и особенным обстоятельствам, посреди которых они развились, — покажет будущее; но в прошедшем великорусского племени они едва ли имели то значение, которое им некоторые приписывают; по крайней мере наш древний общинный быт ничем не заявил себя в ежедневной, будничной жизни, не оставил по себе следа, что было бы непременно, если б он развился и играл какую-нибудь роль в народной жизни. Другое видим мы в Малороссии и в северо-западной России, начиная с отдаленной эпохи; может быть, именно это обстоятельство и вводит нас в заблуждение относительно великорусской старины: не различая в прошедшем восточную Россию от западной, мы бес-

престанно·впадаем в ошибки. В Великороссии общинное начало, как мы сказали выше, есть, кажется, сравнительно явление новое; оно развивается и ему, видимо, предстоит будущность в наших судьбах. Городовые положения С.-Петербурга, Москвы и Одессы, земские и крестьянские сельские учреждения⁵² указывают на вероятный исход из старинной великорусской крепостной организации, упраздненной в течение XVIII и первой половины XIX века. Но пока это только зародыши будущего, а не зрелый плод прошедшего.

К тому же результату приводят и другие соображения. В общественном строе древнего великорусского общества не было места для общинного быта. Вся организация Великороссии в XVII веке представляется в таком виде: в частном быту — полновластный глава семейства и дома и господин над холопами; в общественном — значительная часть сельского населения подвластна частным владельцам и духовенству; весь остальной народ разделен на наследственные «чины», или разряды, приуроченные к известным надобностям царской службы, и находится в такой же подчиненности своему разряду, как помещичьи и вотчинные крестьяне своему владельцу; в администрации — воеводы и разные царские слуги, с такою же точно властью над подчиненными им городами (ставшими с Алексея Михайловича исключительно царскими) и сельским населением; все государство представляет колоссальный дом, или двор, подвластный московскому царю, который заведывает им посредством своих слуг. Посреди такой организации куда вставить общинное устройство и быт? Подвластные одному владельцу или одному чиновнику, люди могли жить вместе, могли вместе, общими силами, тянуть тягло; но образовать органическое общежитие они не могли: весь склад этого общественно-го строя исключает общину. Те, которые предполагают и отыскивают в древней Великороссии установившийся и развитый общинный быт, недостаточно, как мы думаем, вникают в историческое призвание великорусского элемента среди других ветвей русского народа и славянского племени. Глубокий смысл московских государственных и общественных порядков тот, что в них осуществилось государство, в формах, вполне доступных и понятных великорусскому народу. Как был устроен частный быт, точно так же было устроено и все государственное здание.

Домашняя дисциплина послужила образцом для дисциплины общественной и государственной. В царской власти, сложившейся по типу власти домовладыки, русскому народу представилась в идеальном, преображенном виде та же самая власть, которую он коротко знал из ежедневного быта, с которой жил и умирал. Царь, по представлениям великорусского народа, есть воплощение государства. Чтоб проникнуть во внутренний смысл этого типа, неизвестного или забытого у других народов, нужно глубоко всмотреться в основание великорусского быта. Русский царь, по народным понятиям, не начальник войска, не избранник народа, не глава государства или представитель административной власти, даже не сентиментальный *Landesvater* или *bon père du peuple*⁵³, хотя в двух последних типах и есть кое-что напоминающее великорусский идеал царя. Царь есть само государство — идеальное, благотворное, но вместе и грозное его выражение; он превышает всех, поставлен вне всяких сомнений и споров и потому неприкосновенен; потому же он и беспристрастен ко всем; все перед ним равны, хотя и неравны между собою. Царь должен быть безгрешен; если народу плохо, виноват не он, а его слуги; если царское веление тяжело для народа — значит царя ввели в заблуждение; сам собою он не может ничего захотеть дурного для народа. Девиз царя: «не боюсь смерти, боюсь греха», и горе народу, когда согрешит царь, потому что если «народ согрешит — царь замолит, а царь согрешит — народ не замолит». Совершенно понятно недоумение западных европейцев перед таким типом государственной власти, ключ к которому у них потерян. Не зная, что она собою выражает, они были бы готовы подвести ее под известный шаблон восточных деспотий, если б царская власть не была в России действительным органом развития и прогресса в европейском смысле. В чем же тайна этой всемогущей власти? Каким чудом она одна остается неподвижной и несокрушимой в русской жизни в течение столетий, несмотря на внутренние потрясения и внешние замешательства и когда все вокруг нее по ее же инициативе движется и изменяется? Это становится понятным только при глубоком изучении внутреннего смысла истории Великороссии. Установление ее государственного единства, а следовательно, и политического бытия, совпадает с судьбами царской власти: вместе они появились, окрепли, бедствовали

и спасались от бед. В самые трудные и тяжкие времена, когда приходилось чуть ли не сызнова начинать политическое существование, великорусский народ прежде всего принимался за восстановление царской власти, обеспечивал ее себе и делил с царем радости и горе. Народ и царская власть сжились у нас, как Англия с своим парламентом; оба учреждения глубоко национальны. В этой способности создать себе идеал государства в формах народных и потому доступных и понятных каждому, от мала до велика, в умение поддерживать и сохранять, как зеницу ока, царскую власть, в которой этот идеал выразился, несмотря ни на какие обстоятельства, через всю историю, и заключается значение Великороссии посреди других славянских племен и народов. У всех славян зачатки быта были одни и те же; но вследствие разных исторических условий в их жизнь вторглись чуждые элементы, прежде чем она успела сложиться в государственную форму, отвечавшую их народным понятиям и историческому возрасту; или же их естественный рост, а с ним и равновесие составных общественных стихий были нарушены. Оттого прочие славяне и потеряли свою политическую самостоятельность; но в массах народных сохранялся утраченный в действительной жизни идеал государства и государственной власти. Он тянул весь русский народ к Великороссии; он покориł Москве Новгород и Псков, присоединил к ней Малороссию, как в наше время влечет к нам народные массы в Западном краю и в самом Царстве Польском. Этого не понимают в Европе и отрицают самый факт, стараясь объяснить рядом случайностей и минутных обстоятельств органические явления русской жизни.

Народный характер царской власти и великое ее значение в судьбах русского племени проливают яркий свет на некоторые эпизоды великорусской истории и объясняют их иначе, чем мы привыкли смотреть на них до сих пор. Следившие за успехами критической разработки русской истории знают, как изменился в последнее время взгляд на Ивана Грозного. Увлечшись самыми честными побуждениями, Карамзин не понял и ошибочно истолковал борьбу Грозного с вельможеством. После Карамзина старались, в особенности профессор Соловьев, исправить эту ошибку и отчасти в том успели⁵⁴. Говорим отчасти, потому что выяснена пока только психологическая сторона действий и побуждений Грозного: объективная, предмет-

ная сторона вопроса остается по-прежнему очень загадочною. Вдумываясь в ход великорусской истории, невольно останавливаешься перед рядом событий, начиная с Ивана Грозного и оканчивая царствованием Михаила Федоровича. Чувствуется, что за этот промежуток времени обычная ее нить как будто порвана и теряется; что-то необыкновенное начинается при Грозном; затем крайне натянутое положение после его смерти, при его сыне, собственно говоря, при Годунове; после того — страшные смуты, посреди которых чуть-чуть не погибает государство; его спасают сверхъестественные усилия всего народа; избрание Михаила Федоровича Романова полагает конец разгрому, но отголоски и последствия его отзываются долго после, почти через все царствование Михаила. С Алексея Михайловича все опять возвращается в обычную колею, и несмотря на то, что его время совсем не то, что прежнее, до кровавых расправ Ивана, видишь, однако, что оно есть естественное его продолжение, что нормальный ход великорусской жизни восстановлен и обратился на старое свое русло. Таким образом, период времени от Ивана IV до царя Алексея Михайловича составляет одно целое, до сих пор мало разъясненное в главных своих основаниях и пружинах. Сравнительно очень богатая литература об этом периоде обыкновенно ограничивается промежутком времени между избранием Бориса Годунова и Михаила Федоровича. С точки зрения внешних событий это совершенно правильно. Но так ли по внутреннему смыслу событий? Мы не думаем. Буря подготовлялась издавека, и раскаты ее слышались долго после. Повторяем, нам этот эпизод является какой-то удивительной, загадочной вставкой в русскую историю, и чем больше уясняются факты, тем он становится, на наш взгляд, темней и непонятней. Сблизьте с эпохой смут фигуру Грозного — и она предстанет перед вами в трагическом величии. Значит, однако, не одна кровожадность и подозрительность заставляли его лить токи крови! Он чуял беду и боролся с ней до истощения сил. Прочтите его завещание, писанное в половине царствования⁵⁵: оно исполнено мрачных предчувствий, которые оправдались последующими событиями. Грозный впервые формулирует царскую власть как принцип, возводит ее к единственно доступному ему по тому времени идеалу византийского императорства; но и это кажется ему недостаточным: он производит себя от

Августа Цезаря⁵⁶, как будто для того, чтоб придать больше авторитета, прочности и силы своей власти. Откуда эти заботы? Неужели Грозному нужно было оправдывать царскую власть чужеземными идеалами и иностранным происхождением перед народом, который молил его возвратиться из Александровской слободы в Москву⁵⁷? Не наступи вскоре после смерти Грозного смутное время, мы были бы готовы приписать всю заботу, гнев, тревогу, опасения царя его тиранским наклонностям; но ввиду последующих событий такой приговор был бы наивен и опрометчив. Жестокости и казни Грозного — дело тогдашнего времени, нравов, положим, даже личного характера; но сводить их на одни психологические побуждения, имея перед глазами целый период внутренних смут и потрясений, невозможно. Должны были быть глубокие объективные причины, вызывавшие Грозного на страшные дела. Причины эти были, по-видимому, следующие. Со времени Ивана III в состав Московского государства вошла значительная часть тогдашней западной России — Новгород, Псков, города и княжества литовские⁵⁸. С тем вместе должен был произойти оттуда значительный приток в Великороссию элементов, чуждых ее общественному складу, не дававших в западной России сложиться государству и столько же враждебных к нему в Великороссии. Эти элементы вошли, главным образом, в состав царских служебных чинов и, усилившись новыми литовскими и польскими выходцами из-за границы, получили в царствование Грозного большое влияние. Вспомним роль Глинских, стоявших во главе правления; Бельского, потомка Гедимины, соискателя литовского престола; к той же категории принадлежал и знаменитый Курбский. К этим элементам могли присоединиться старинные великорусские удельные князья, лишённые владений и обратившиеся в слуг московских государей; в то время московская знать едва ли меньше сочувствовала польским и литовским порядкам, чем впоследствии шведским, французским и английским. В попытках всех этих элементов изменить по своему идеалу государственный строй Великороссии, внести в него западнорусские начала и следует, как нам кажется, искать ключа к явлениям и событиям этой замечательной эпохи. В лице Грозного великорусское государство вступило в борьбу с западнорусскими и польскими государственными элементами, вошедшими в состав Мо-

сковского государства. Что это не одна догадка, доказывают обстоятельства избрания на престол Шуйского⁵⁹ и, если верить Котошихину и псковской летописи, — самого Михаила Федоровича⁶⁰. Флетчеру, черпавшему свои сведения, по-видимому, в той среде, которая сочувствовала литовским и польским порядкам, предсказывали предстоявший переворот⁶¹. Рассказ этого иностранца особенно любопытен как отголосок партий, игравших потом большую роль в событиях смутного времени.

Мы не станем развивать далее нашу мысль, боясь выйти из пределов очерка. Позволим себе только заметить, что разработка истории Ивана Грозного, собственно говоря, едва только еще начинается. До сих пор даже не определено критически достоинство тех источников, из которых почерпаются сведения об этой эпохе; а без такой предварительной работы нельзя и приниматься за подобный труд. Страсти и происки, разыгравшиеся впоследствии, зачинались уже при Грозном и встретились с ним лицом к лицу. Оттого так разноречивы сказания и отзывы о нем. Чтоб узнать правду, нужно отличать голос враждебных ему элементов от голоса великорусского народа; в свидетельствах иностранцев — их хроническое непонимание наших внутренних дел от народных сказаний и суждений, внушенных их личными расчетами или записанных со слов той или другой из тогдашних партий. Как бы мы ни смотрели на Ивана Грозного, царствование его, конечно, одно из замечательнейших в русской истории; а мы, даже до сих пор, все больше обращаем внимание на психологический характер его жестокостей, как будто в них вся сущность дела. Не то же ли это самое, что судить о последней американской войне по одним ее ужасам⁶², о царствовании Петра по розыскам и казням, о нашем призвании в Польшу и Западном крае по судьбе враждебного нам элемента? Смотреть так на историю значит заранее отказаться от понимания величайших исторических эпох и событий. Ни в чем наше умственное несовершенство не выражается так осязательно, как в том, что мы не только не понимаем, но почти не знаем царствования Ивана IV и даже мало им интересуемся, воображая, что, и не изучив его, можно понимать русскую историю; а между тем эпоха Грозного, по своему значению во внутреннем развитии Великороссии, есть преддверие к эпохе Петра и имеет с ней глубочайшую связь.

Нам остается еще, в заключение, сказать несколько слов о частном быте и нравах Великороссии. Они тоже определялись, и в общем и во всех подробностях, указанными выше зачатками, лежавшими в основании внутренней ее жизни. Пассивное восприятие чужой культуры, без собственной производительности; по преимуществу дисциплинарная роль церкви и первобытные формы государства — все это свидетельствует о первоначальной, грубейшей непосредственности людей, о крайне слабом развитии в них духовного, нравственного элемента, который немислим там, где индивидуальное развитие еще не начиналось. Это и отражается на частном быте и нравах, которые описываются самыми мрачными красками в туземных источниках и в сказаниях иностранцев. Величайшая неводержанность, всякого рода вероломство, обман, насилие, воровство, частые грабежи и разбои, шаткость во всем, своекорыстие, плутовство во всех возможных видах — вот в чем, на разные лады и с самых различных точек зрения, упрекается великорусский люд всех общественных разрядов и положений. Те же упреки, с небольшими вариациями, слышатся и до сих пор. Странно было бы считать эти пороки русского общества прирожденными и на этом основании отчаиваться в возможности их искоренения. Мы страдали и страдаем нравственной и духовной неразвитостью; наши пороки — признак грубого, недозрелого, но не старческого, переревшего общества. Его здоровые силы выражаются в том, что, чувствуя свою несостоятельность, оно крепко держится за свой государственный строй, обеспечивающий его политическую целостность и независимость. Приписывать первобытным формам государственного порядка Великороссии состояние тогдашнего общества значит извращать вопрос и видеть в следствии — причину, а в причине — следствие. Общество, развивающееся правильно, всегда будет иметь и соответствующие его историческому возрасту государственные формы; следовательно, вся сила во внутреннем развитии; оно должно стоять на первом плане и в историческом исследовании, и в практической деятельности.

В этом смысле можно также сказать, что частный быт и нравы древней Великороссии представляют оборотную сторону быта церковного, государственного и культуры, служат им пояснением и подтверждением. Это видно во всем, на что ни взглянем.

Откуда взялась, например, затворническая, теремная жизнь великорусских женщин высшего сословия в XVII веке? Не понимая ее связи с коренными основами великорусской жизни, мы или остаемся в недоумении перед этим явлением, или приписываем его влиянию татарщины. Но оно прямо вытекает из основных условий великорусского быта. Стоит вдуматься в наш народный взгляд на женщину вообще и жену в особенности — взгляд, выразившийся в пословицах, песнях и свадебных обрядах, — чтоб увидеть ясно, что теремная жизнь женщин есть лишь его практическое применение. Она потому только развилась в одних высших слоях старинного нашего общества, что прочие, по своим средствам и образу жизни, не могли точно так же устроить свой семейный быт. Аналогическое явление представляет почти повсеместное единоженство массы бедного магометанского народонаселения, несмотря на дозволение Корана иметь несколько жен. Только высшие классы старинного московского общества могли осуществить идеал домашней жизни, который носился перед целым народом и обуславливался его основными социальными элементами.

Возьмем другую поразительную черту — еще весьма недавнюю безличность великорусской массы, отсутствие, в огромном большинстве, ясно определенного индивидуального характера, индивидуальной обособленности. И теперь еще, когда эта черта заметно сглаживается, она все еще очень заметна. Русская народная масса превосходна во всех отношениях; а выделится из нее человек — редко, очень редко найдешь в нем те качества, которыми не налюбишься в целом народе. Еще в начале нынешнего века безличность наших народных масс поражала и изумляла не только иностранцев, но даже малороссиян, у которых, напротив, индивидуальность сильно развита вследствие их истории и сравнительно высшей степени культуры. Нам удавалось слышать от малороссиян, бывавших в молодости в Великороссии и возвратившихся сюда спустя лет двадцать, что они были удивлены, при вторичном приезде, переменой, замеченной ими в простом народе: по их отзывам, прежнее однообразие и неподвижность физиономии, прежнее совершенное отсутствие индивидуального характера значительно сгладились. Тот же факт подтверждается усилившимися, особенно в последнее время, раздѣлами крестьянских семейств. Это явле-

ние, конечно, объясняется разными другими обстоятельствами и новыми условиями крестьянского быта; но ими одними объяснить этого явления нельзя, потому что оно между самими крестьянами встречает много возражений — явный признак, что не одна внешняя обстановка побуждает сельский люд к семейным разделам.

Но не одни народные русские массы безличны. Безличностью и бесхарактерностью дышит домашняя и общественная жизнь, умственная и всякая деятельность, даже образованных слоев нашего общества. Живя долго за границей, в Европе, где индивидуальность определилась так резко и так характерно, приучаешься легко отличать русских, по какой-то неопределенности во всем — в наружности, в движениях, в разговоре и в самых взглядах на вещи.

Остановимся еще на одной черте. В Великоросии не было, да и не могло быть другой общественности, кроме, так сказать, домашней и семейной, или родственной. Ее мы и находим здесь, в старину, в полном развитии. Дом и двор, разросшийся, пустивший отпрыски и ветви, — вот единственный центр нашей старинной общественности. Народные обычаи и праздники — живые ее свидетели; еще недавние нравы и обычаи образованных классов великорусского общества доказывают то же самое, несмотря на указ об ассамблеях⁶³. Только великие события и бедствия вызывали тогдашних людей к совокупной общественной деятельности; проходили эти минуты, вступала ежедневная жизнь в свои права — и опять старинное русское общество распадалось на свои замкнутые домашние кружки. Сожительство на одних местах, многообразные точки соприкосновения между людьми лишь крайне медленно подготовляли общественную гражданскую жизнь. А между тем из всех славянских племен ни одно не одарено такими сильными государственными и политическими инстинктами, как великорусы; ни одно не являло их так блистательно через длинный ряд счастливых и тяжелых дней. Это кажущееся противоречие объясняется как нельзя лучше начальными формами нашего быта, из которых мы и до сих пор еще не выработались и не вырабатываемся, по-видимому, весьма долго. Много, и с разных точек зрения, обсуждался у нас вопрос о взяточничестве, всосавшемся в нашу плоть и кровь. Тысячи причин, и очень основательных, приводятся в объяс-

чение, почему оно явилось и чем поддерживается; но рассуждая об этой проказе, не обращают, кажется, должного внимания на очень любопытный факт, что большинство отъявленных взяточников и казнокрадов — лучшие отцы семейств, образцовые супруги, истинные благодетели своих родственников, верные и надежные друзья, вообще люди добрые и благотворительные. Что ж это показывает? Очевидно, все их хорошие стороны сосредоточены только в домашнем, семейном быту; только интересы семейные и домашние составляют для них серьезное дело; все, что вне этого круга — государство и общество, — являются, в их глазах, чем-то посторонним, внешним, чужим, до которого им нет дела; до этого рода интересов они еще не поднялись; другими словами, в их сознании и ежедневных привычках не выработалась, рядом с домашним бытом, среда государства и общества, менее непосредственная, более духовная, связующая людей и определяющая их деятельность невидимым, но оттого не менее реальным началом общественной пользы и блага. Если взглянуть глубже в нашу жизнь, то окажется, что не одни взяточники выражают собою этот вид неразвитости русского общества.

III

Внутренний быт России, в том виде как он сложился в XVII веке, представлял округленное и законченное целое. Московское государство было азиатской монархией в полном смысле слова. Односложная формация осуждала его на совершенную неподвижность впредь до покорения другим народом или до внутреннего распада вследствие собственной дряхлости. Остановись мы на этой точке и не иди далее — трудно было бы сказать, что выиграла Великороссия перед западной Россией и прочими славянами, покоренными чужеземному игу или принявшими исподволь нравы и язык других народов, более образованных. Самостоятельность на манер персидской или китайской едва ли чем лучше несамостоятельного участия в жизни других народов, которые играют роль во всемирной истории и общем ходе культуры.

Но к концу XVII в. замечается в Московском царстве брожение, какого в нем прежде не бывало. Прежние смуты были вызваны столкновением внутри государства

туземных элементов с чуждыми, внесенными извне в его состав. Волнения и неурядицы, предшествовавшие Петру Великому, были совсем другого рода. Они свидетельствовали о расслаблении связей, которыми до тех пор крепко держалось все общество. Появляется хаос в головах и в действительности. Никто не знает, как приняться за исправление неурядиц, которые все усиливаются и вырождаются в бунты, грозящие опасностью даже целостности и единству государственной власти. Видимо, внутреннее, органические причины колеблют государство. И вот посреди этой неурядицы является Петр, с необыкновенной энергией и жестокостью подавляет смуты, преобразует внешним образом все формы быта и придает стране наружный вид европейской монархии того времени.

Если б реформа остановилась со смертью Петра Великого, то не могло бы оставаться сомнения в том, что Московское государство принадлежит к азиатской, а не европейской группе. Мало ли было брожений и великих государей на Востоке! Единичные явления сами по себе ничего не значат и подтверждают, а не опровергают общее правило. Внешний характер петровского преобразования служил бы в таком случае новым доказательством, что мы азиатский народ. Но в том-то и сила, что дело Петра не умерло после него на русской почве; напротив того, оно, несмотря на крайне неблагоприятные обстоятельства, пустило корни и продолжалось почти полтора века, вплоть до нашего времени. Вместо того, чтобы ослабить Россию, реформа вызвала к деятельности дремавшие в ней громадные силы и развила их в невиданных размерах. Вот почему нельзя не признать реформы Петра органическим явлением великорусской жизни — явлением, которое по своей своеобразности и необычности требует самого внимательного рассмотрения. Зная судьбы преобразования в России, мы не вправе говорить свысока, с пренебрежением о полувосточном характере брожения, которое предшествовало эпохе Петра, о крутом, насильственном, внешнем характере его реформы: все это имеет свое значение и свой определенный смысл, есть характеристика приготовления и обстановки событий, которым нет подобия в истории.

Испрашивается: какие внутренние, органические причины вызвали переворот? Чтоб правильно разрешить этот вопрос, постараемся уяснить себе, чем собственно отлича-

ются направление и характер нашей внутренней жизни до Петра и после Петра? Что представляет она в этом отношении нового в последние полтора века сравнительно с тем, что было до реформы?

Перемена, если в нее вдуматься хорошенько, поразительна. Наша жизнь усложнилась новым фактором; в нее внесен европейский идеал, во имя которого меньшинство русских людей стало расходиться с окружающей действительностью, относиться к ней отрицательно, иногда враждебно и, во всяком случае, критически и свободно. Каков бы ни был этот идеал, но он представляет новую силу, введенную в нашу жизнь со времени Петра Великого. С тех пор в ней выступает на первый план личная инициатива, индивидуальность выдается вперед из народной массы, в которой она стучевывалась. Древняя русская история по своей простоте и правильному развитию принадлежит как бы к области естественной истории. Мысль не забегает вперед событий; ее вызывает необходимый ход вещей; человек только следует за ним, отражает его на себе, становится его орудием. Поэтому нет и разлада между действительностью и мыслью, нет внутренних противоречий в человеке и обществе: все однообразно, односложно и просто. Подумаешь, что не люди делают историю, а она делается сама собою, без всякого участия человека, по своим органическим, внутренним, непреложным законам; человека как будто нет вовсе, а действуют одни элементы и силы природы, движимые собственным естеством.

Все это изменилось с преобразованием Петра. Точно в жизнь вошел новый деятель, призванный всюду и во всем произвести разлад. В русском народе, односложном по своему составу, по складу жизни, по единству социального типа, выделяется целая среда — образованный класс, — которая живет чужою жизнью, принимает чужие нравы, меняет свой язык на чужой, прилепляется к идеалам, взглядам, требованиям, выработанным чужою жизнью. В древней России человек, отрешившийся от своего быта, бежал из него вон, на простор; никакого определенного образа гражданского и государственного существования он не умел и не мог противопоставить тому быту, который отрицал, и потому менял его на леса и степи, где не было никакого устроенного человеческого общества. Теперь среда, выделившаяся из народа, остается посреди

его, отрицает установившийся народный быт не во имя какой-то безграничной, не существующей нигде свободы и разгула, а во имя идеала другого, высшего, лучшего быта и стремится водворить его в народной жизни, переделать ее по этому идеалу, пересоздать, согласно с ним, обычаи и нравы. Если б такая среда была внесена в русскую жизнь откуда-нибудь извне, представляла чуждый нам этнографический и исторический элемент, то у нее был бы один такой идеал; но преобразующая среда возникла у нас, между нами, и нами же пополнялась; русская голова и русская душа приняла чужие идеалы, во имя которых переделывался наш внутренний строй, и потому было множество различных идеалов, смотря по времени, по обстоятельствам, обстановке и тысячи случайным условиям действовавших лиц. Отсюда разлад во всем. Быт перестраивался не всегда согласно с его внутренними требованиями, идеал осуществлялся, не всегда отвечая условиям действительности. Естественный, нормальный ход жизни был нарушен: мысль то опережала ее, то от нее отставала; действительные потребности то оставлялись без внимания, потому что не подходили под идеал, то удовлетворялись не так, как бы следовало, потому что на них смотрели не прямо, а сквозь предвзятую мысль. Появилось множество неестественных сочетаний, причудливых комбинаций в мысли и в самых фактах; создалась искусственная жизнь, искусственная действительность, которая, в свою очередь, вызывала искусственную мысль. Мало-помалу призраки перемешались с действительностью, иллюзии с трезвой мыслью. Возник посреди действительной жизни целый мир фантазий и миражей, и различить их между собою не было сил. Смесь их опутывала человека и не выпускала из своего заколдованного круга. Заманчивая и обольстительная ткань, в которой ложь вплеталась в правду, истина в вымысел, ослепляла умственное зрение, лишала его даже способности замечать между ними разницу.

Теперь эта удивительная эпоха, похожая на арабскую сказку, приходит к концу. На это указывают несомненные признаки. Пристрастие к иностранному и чужому, видимо, сменяется в образованных слоях нашего общества охлаждением к Европе, даже не всегда справедливым предубеждением против европейского; национальное чувство растет быстро; идеалы и идеальное направление в ре-

шительном пренебрежении, даже больше, чем бы следовало; мысль становится трезвее, получает практический склад, обращается к практическим интересам⁶⁴; стараются как бы нарочно окоротить ее полет и держаться исключительно в кругу ближайших, фактических условий действительности: в этом тоже заметна своего рода крайность, суживающая горизонт зрения. Такая перемена в направлении запечатлена духом реакции против прежнего; но это обстоятельство именно и доказывает, что эпоха, начатая Петром Великим, уходит в прошедшее.

Что выражала она собою? Возраст или степень развития, через которую проходит в той или другой форме каждый человек и каждый народ. В жизни человека это называется юностью; в жизни народов — героическим периодом. Главной движущей пружиной этого возраста является пробудившаяся умственная и нравственная деятельность, которая становится самостоятельным органом в судьбах человека и народа. На первых порах этот новый двигатель преисполнен сознанием своего всемогущества и неудержимо стремится подчинить себе все, даже самую природу и ее неизменные законы. Отсюда в эту пору жизни необыкновенное развитие сил, рвущихся проявиться наружу, упразднить действительность как она есть и переделать ее на другой лад, не соображаясь с тем, возможно ли это, допускают ли это законы природы. Ясное понимание свойства этой силы, ее призвания и назначения, ее пределов и отношений к действительному миру наступает позднее, и тогда она вступает в гармоническое сочетание с действительностью, которой не может победить, из разрушительного, отрицательного элемента становится зиждательным условием осмысленной и правильно развивающейся жизни.

Наш героический век определился особенными обстоятельствами и условиями, в которых мы находились к концу XVII века. Если он нам кажется не таким привлекательным, как бы мы того ожидали от героического возраста, то это не его вина, а наша: мы стоим к нему слишком близко, теряемся в деталях и упускаем из виду целое. Это просто ошибка зрения. Если б мы знали сухую, прозаическую истину о героическом периоде Греции, и притом с такою ужасающею подробностью, как знаем теперь даже Петра, — Бог знает, показался ли бы нам этот период таким поэтическим, каким мы его себе воображаем

сквозь легенды и сказания, в которых он до нас дошел. Отступите подальше и взгляните в перспективе на Петра, на Екатерину II, на Александра I-го — разве это не фигуры героев и полубогов древности? С точки зрения науки и исторической истины, такая близость к героическому периоду имеет свою очень выгодную сторону: по нашей истории мы можем проследить, почти шаг за шагом, как готовился этот период, какие были его составные элементы, как он родился из недр старинной русской жизни. Формы его даны прошедшим и им объясняются точно так же, как они, в свою очередь, бросают свет на предшествовавший период.

Мы сказали выше, что Московское государство к концу XVII века находилось в ненормальном состоянии. Это отлично обрисовано профессором Соловьевым в первой главе тринадцатого тома его истории. Перед нами картина разложения, с одной стороны, а с другой — слышится громкий протест против внутренних нестроений, искание выхода из растущих замешательств. Скрытая, но главная причина болезненного состояния общества заключалась в том, что простые, первобытные формы, которыми определялся старинный великорусский быт, оказывались уже недостаточными для возникавшей, более сложной общности. Начальная социальная ячейка, двор или дом, и развившееся из нее крепостное право становились узки и тесны для сравнительно более зрелого государственного и гражданского быта. К Московскому государству уже не шли формы вотчины и дедины, к московскому государю — формы домоначальника, отчича и дедича: это чувствовали уже Иван III и еще более Иван Грозный; точно так же Ордин-Нащокин, Одоевский, Голицыны, Матвеев не походили на холопей, а Посошков, Исаев — на царских сирот. Страшные, вопиющие злоупотребления доказывали недостаточность системы управления, основанной на крепостном праве. В обществе стала появляться потребность образования — признак, что духовная жизнь пробуждалась, если не в целой массе народа, то в некоторой, лучшей ее части. Словом, все, на что ни взглянем, к чему ни обратимся, показывает, что общество и государство уже переросли старые формы; противоречие между ними и назревающим содержанием и было главной причиной внутренних неустройств и брожения.

Какой выход предстоял древней России из такого положения?

Мы не разделяем фаталистических взглядов на историю и вовсе не думаем, чтоб можно было, как говаривалось прежде на философском жаргоне, «конструировать» Петра Великого, — доказывать, что он необходимо должен был явиться и не мог не явиться. Такого рода роковой необходимости мы не видим ни в судьбах отдельного лица, ни в судьбах народов. Есть в складе и развитии каждого организма известные основные черты и направления, которые с ним рождаются и сопровождают его до могилы: это типические свойства, которые могут быть исковерканы, обезображены, но не истреблены; они будут отзываться и в своем искаженном виде, в разных ненормальных явлениях. Есть, далее, известные состояния или положения, обуславливаемые известной ступенью развития, известными обстоятельствами и обстановкой. Они — сложный продукт типических свойств, степени развития, наконец внешних условий и случайностей, под влиянием которых организм живет. Такие положения сами по себе переходчивы и потому могут изменяться коренным образом, но не сразу, а постепенно, исподволь. Они-то и представляют ближайшую, непосредственную живую среду внешней истории и внешних событий. В ней возникают явления самого разнообразного свойства, органические и случайные; на нее действуют самые различные внешние влияния, временные и постоянные. Глядя на причудливую и пеструю игру бесчисленных сочетаний, которые вследствие того появляются и исчезают в этой среде, как в калейдоскопе, мы не можем предсказать, какое именно обстоятельство, событие или случайность изменят данное положение; но если глубоко его знаем и хорошо понимаем, то можем, не дожидаясь совершившихся фактов, заранее приблизительно определить, какое будет общее направление и характер предстоящих изменений, потому что оба указываются положением и средой, на которую события и случайности действуют. Итак, можно, не будучи пророком, предугадывать вообще склон, течение жизни; изучая историческую эпоху, можно, точно так же, указывать на общие черты, определившие дальнейший ее ход; но никакой обыкновенный человеческий ум не в состоянии предсказать деятелей, обстоятельства и события. Когда историк пробует «констру-

ировать» лица и обстоятельства, он только себя и других вводит в заблуждение, потому что история не есть раскритичие алгебраической формулы.

Попробуем применить эти мысли к нашей эпохе преобразования, а для того забудем на минуту, что был Петр Великий, и ограничимся одним тем, что знаем о Московском государстве, и, на основании только этих сведений, попытаемся определить, каков мог быть характер и направление предстоявшего ему выхода из того положения, в каком оно находилось в конце XVII века.

При разрешении этого вопроса нам, естественно, представятся вот какие соображения.

В обществах с сложным внутренним составом образуются слои, которые, под влиянием вековой борьбы между собою, смыкаются в корпорации, сословия и вырабатывают каждое свой идеал общественности. Эти идеалы — взгляд корпорации или сословия на то, как должно быть устроено общество с точки зрения того сословия или той корпорации. Каждая усиливается оспорить у другой власть и влияние на ход государственных дел и провести свой идеал, свои взгляды. Таким образом, общество сложного состава вырабатывает идеал нового порядка дел из себя. Когда существующий порядок, построенный по идеалу одной корпорации, оказывается недостаточным и неудовлетворительным, на смену его, изнутри того же самого общества, является другой, выработанный другой корпорацией. В какой степени он удовлетворяет требованиям всех составных элементов общества и пользам целого государства — это другой вопрос; но довольно, что идеал уже готов и что он родился в самом обществе.

Возьмем теперь государство с односложным составом, каким было Московское. Литовско-польские элементы, внесенные в него, начиная с Ивана III, имели свой идеал и пытались водворить его у нас; но эти элементы истреблены, частью при Грозном, частью во время последующих смут; к концу XVII века они совсем исчезли. Затем, как и прежде, весь внутренний быт Московского государства был в XVII веке сверху донизу построен по одному типу или идеалу. Не из чего было образоваться корпорациям, сословиям, с особыми стремлениями; ничего подобного и не было, а были разряды, или «чины», царской службы, правда, отделенные друг от друга, но не имевшие внутренней замкнутости и организации; оттого не

было между ними никакой борьбы и они не имели своих корпоративных идеалов. Отсюда следует, что когда в таком обществе вековой исторический тип отживет свое время, ему нельзя заменить его другим идеалом, взятым из недр собственной жизни, а придется, по необходимости, искать его вне себя, у других народов.

Далее: потребность в идеале, взятом из чужой жизни, почувствуют сперва только те слои и стороны общества, которые вследствие разных причин, важных или неважных, постоянных или мимолетных и случайных, практически натолкнутся на неудовлетворительность существующего и необходимость заменить его новым, чужим. Таким образом, потребность преобразования всего сильнее будет чувствоваться на первых порах меньшинством высших слоев общества и в правительственных сферах, которые более доступны влиянию чужих стран, ближе видят и лучше понимают практический ход государственных и административных дел, чем остальная масса народа. Итак, преобразование пойдет неизбежно сверху вниз, а не снизу вверх.

В обществе неразвитом, без культуры, с одними природными наклонностями и инстинктами и внешней дисциплиной чужой идеал будет представляться со стороны внешних его форм и обстановки, да и вводиться он будет внешним образом. Чем меньше развития и культуры в народе, тем он полнее, безотчетнее подчинится влиянию чужого идеала, примет его за образец себе во всем.

Когда раз чужой идеал будет внесен в жизнь народа, в ней произойдет внутренний разлад: явится партия нововводителей и партия приверженцев старого порядка. Иностраный образец послужит такой же закваской для внутреннего развития односложного общества, какою у других народов служит присутствие в их составе нескольких разнородных элементов. Около борьбы между защитниками нового и старого сгруппируются умственные силы страны; эта борьба сделается центром и двигателем духовного развития; обе стороны должны будут все подробнее, глубже и точнее определять свои взгляды и программы, выяснять свои идеалы. Чем дальше, тем эта борьба будет становиться шире, обнимать больший круг интересов, распространится на все стороны жизни. Внутренняя борьба поведет к более точному определению

и усилению государственного единства и центральной власти.

Чужой идеал мы могли взять в конце XVII века только из Западной Европы. Это указывалось и внутренними признаками, и внешними обстоятельствами. Уже с Ивана III правительство стало обращаться к Европе за художниками, медиками, войском, мастерами всякого рода. Некоторые заезжие европейцы попали в большое доверие к царю Ивану Васильевичу⁶⁵. Число европейских выходцев к нам все увеличивалось, и при Алексее Михайловиче они считались в Москве тысячами. Сношения с европейскими государствами, начавшиеся тоже с Ивана III, познакомили высшие слои тогдашнего нашего общества с европейским бытом и нравами в самой Европе, на местах. С Остзейским краем, принадлежавшим тогда Швеции, мы находились в непосредственном соседстве. Вследствие всего этого, влияние Европы на высшие слои московского общества становилось в XVII веке заметным. Князю Хворостинину еще при Михаиле Федоровиче стало скучно в Москве, и он собирался бежать в Италию, а если можно — и дальше⁶⁶; дьяк Котошихин, оевропеившийся русский, бежал в Швецию. В книге профессора Соловьева собраны любопытные факты о влиянии европейских нравов и обычаев на лучших русских людей перед эпохой преобразования. Итак, путь к заимствованиям из Европы был уже проложен до Петра. Да и откуда же было нам заимствовать, как не оттуда? Византийская империя уже не существовала; из Польши нам мало что приходилось тогда занимать; притом же тамошние государственные порядки, приведшие ее к упадку, не представляли образца, достойного подражания: весь наш государственный и общественный строй был совершенно противоположен польскому, и к концу XVII века итоги сводились в нашу пользу, а не в пользу поляков. Только Европа, с ее внутренним благоустройством и высокой культурой, могла быть для нас предметом удивления и служить образцом, достойным подражания.

Итак, по состоянию Московского государства в конце XVII века можно было предугадывать, что если ему только предстоит обновиться, то такое обновление может произойти разве вследствие внешних влияний, всего вероятнее из Европы; что влияние ее должно начаться с высших слоев и правительственных сфер, через которые

и будет проникать в народ; что по низкой степени культуры в Московском государстве влияние на него Европы будет сперва, конечно, только наружное, вызовется практической потребностью лучших форм жизни и быта и уже потом, впоследствии, пробудит к самостоятельной деятельности живые силы страны и народа.

Все это можно было предвидеть и предсказать заранее. Так и смотрели иностранцы не только в XVII, а даже еще в XVI веке. Но никто в мире не мог предвидеть и предсказать, что преобразователем будет прирожденный царь и что этот царь будет, вдобавок, необыкновенный, великий человек. Ходу и направлению внутренней жизни России, намеченному всей нашей историей и развитием, он придал еще свой личный характер, наложил на них свою печать. Вот именно в этом, как нам кажется, и лежит источник глубоких недоразумений при всех суждениях о Петре Великом и эпохе преобразования. Не различая того, что определялось обстоятельствами, от личного действия Петра, мы, смотря по взгляду на вещи, или считаем его творцом и создателем России, как будто до него она вовсе не существовала, или, наоборот, видим в преобразовании горестный результат его гениального произвола, неестественный и горький плод его самовласти, не имеющий ничего общего с предыдущим ходом нашей внутренней жизни. В сущности, оба взгляда очень сходны между собою; ни тот, ни другой не признает никакого самостоятельного значения древней России; оба полагают всю силу, весь смысл, и успех преобразования в одной личности Петра. Очень понятно, отчего это произошло. Петр Великий, как верно заметил г. Погодин, заслонил от нас своей огромной фигурой древнюю Россию⁶. Новое направление русской жизни слилось в нашем представлении с именем Петра, как будто в нем воплотилось. Видя его везде на первом плане, неизмеримо выше всех сподвижников, главным орудием преобразования, душой нового дела, мы приписываем одной его личной деятельности то, что только в его лице выразилось ярко, выпукло, гениально. Когда новое направление проводится неограниченным государем и таким необыкновенным, каким был Петр, невольно забывается естественный ход вещей, который подготовил его подвиг и сделал событие неизбежным в той или другой форме. Все это очень понятная и естественная ошибка зрения, оптический обман;

но нельзя на такой ошибке строить историческую теорию, которая спутывает все понятия и делает правильную оценку предыдущей и последующей истории решительно невозможною.

Петр Великий и его эпоха есть начало нашего героического века. Не прошло еще и двух столетий, а величайший, удивительный образ его стал уже облекаться в мифическое сказание. Не будь у нас под руками несомненных исторических свидетельств, нельзя было бы поверить, что перед нами живое лицо, а не сказочный богатырь. Даже достоверная повесть о его ранней молодости дышит легендой и мифом. Он готовится к своему подвигу, по меткому выражению профессора Соловьева, не в старой России, а подле нее, вне обычной тогда обстановки царственных детей, между потешными, и в Немецкой слободе. Обстоятельства его как будто нарочно для того вырастили вдали от двора, чтоб поставить в совершенную независимость от той среды и нравов, которые он призван был преобразовать. Около него с юности составляет особая атмосфера, чуждая остальному. Грозный тоже уезжает на время из Москвы в Александровскую слободу, но снова возвращается в центр старинной русской жизни; Петр с детства чужд Москве, хотя и находится в ней, а потом оставляет ее совсем, бывает в ней наездом, изредка, и живет в Петербурге, который сам построил на новом месте. Какая быль больше похожа на сказку?

Петр Великий с головы до ног — великорусская натура, великорусская душа. Удивительная живость, подвижность, сметливость; склад ума практический, без всякой тени мечтательности, резонерства, отвлеченности и фразы; находчивость в беде; рядом с тем неразборчивость в средствах для достижения практических целей; безграничный разгул, отсутствие во всем меры — и в труде, и в страстях, и в печали. Кто не узнает в этих чертах близкую и родную нам природу великоруса? Но в каких громадных, ужасающих размерах она в нем высказалась! Несмотря ни на какие свидетельства, все как-то не верится и до сих пор, чтоб в самом деле мог жить на свете такой человек! Раз почуявши свое дело, свое призвание — а до этого он дошел не через книгу или раздумье, а практикой, опытом — Петр отдался ему всей душой, всем помыслом, без колебаний и оглядки, на всю жизнь. Труженик, в благороднейшем смысле слова, он не знал усталости

и только перед смертью догадался, «коль слабое творение есть человек»⁶⁸. Невозможного для него не было; все казалось ему возможным, чего он хотел, а хотел он, ни больше ни меньше, как пересоздать Московское царство в европейскую монархию, с европейским государственным устройством, администрацией, науками, искусствами, промышленностью, ремеслами, торговлею, сухопутными и морскими силами, даже с европейской общественностью, нравами и формами,— и рассчитывал выполнение этого плана не на сотни лет, а на свой век, желал сам насладиться плодами своего «насаждения».

С этой стороны Петр Великий есть полнейший представитель своей эпохи и ее преобразовательных стремлений. Формы, в которых они осуществились, принадлежат безраздельно времени, в которое он жил; Петру принадлежит необычайная сила, энергия, с которой велось дело, страстность, если можно так выразиться, темперамент реформы.

О преобразованиях на заграничный лад думали и до Петра; кое-что уже было сделано в этом направлении; но никогда еще до него преобразование не было возводимо в принцип; никто до него не проникался так всецело идеалом европейского государства и быта; а те, которые проникались им, не выдерживали сравнения идеала с действительностью, не думали с нею бороться, чтоб переделать ее, и покидали страну. Петр внес этот идеал в русскую жизнь, вступил во имя его в борьбу с тогдашней действительностью. В этом смысле он довершил старое время и начал новое. Разрыв между стремлениями и действительностью был им доведен до последних пределов, но стремления получили цель, им придана сила и власть, цели подчинена жизнь и ее условия.

В отрицательном взгляде Петра Великого на старинный быт и нравы иные подозревают нелюбовь его к России. Но такой упрек относится к разряду тех странных, удивительных недоразумений, которыми преисполнены наши суждения об этой эпохе. Петр любил Россию по идеалу, который о ней составил, различал в ней ту, какую ее застал, от той, какую желал видеть, и старался приблизить ее к этому идеальному образу. Можно не одобрять его взгляда — это другой вопрос; но как подозревать его в нелюбви к России, когда он посвятил все свои силы, весь свой труд, всю свою жизнь на то, чтоб она стала, ка-

кой ей следовало быть, по его убеждению? Нельзя работать неустанно, всю жизнь, без веры в дело, без любви к нему. Петр так трудился, потому что верил в способность русского народа преобразиться в идеальный образ, который перед ним носился. Прочтите гневные его письма к царевичу Алексею Петровичу. О чем вся забота? О том, чтоб сохранить «насаждение и уже некоторое и возвращенное»⁶⁹ его «бедными и прочих истинных сынов российских равноревностных трудами»⁷⁰. В чем главный упрек царевичу? В том, что царевич не помогает ему «в таких его несносных печалех и трудах»⁷¹. «Ты,— пишет Петр царевичу,— ненавидишь дел моих, которые я, для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю и конечно по мне разорителем оных будешь»⁷². Требуя от сына исправления, царь в первом письме грозит ему лишением наследства. «И не мни себе,— прибавляет Петр,— что один ты у меня сын и что я сие только в утрастку пишу: воистину (Богу извольшу) исполню, ибо я за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то како могу тебя непотребного пожалеть? Лучше будь чужой добрый, неже свой непотребный»⁷³. Во втором письме царь опять требует от сына, чтобы он изменился или пошел в монахи, «ибо без сего,— прибавляет он,— дух мой спокоен быть не может, а особливо, что ныне мало здоров стал»⁷⁴. Во всем этом страшном, неслыханном деле Петр, сколько можно судить по тому, что мы теперь знаем, был, кажется, обманут. Тайная интрига, веденная очень искусно, вооружила его против сына, который, по-видимому, не был умышленным врагом отца, а человеком неспособным и посредственным. Розыск и пытка не обнаружили заговора, а только недовольство. Если сведения, которые дошли до нас, полны, то мучительная смерть царевича Алексея лежит на душе Петра Великого⁷⁵. Однако чем можно было довести Петра до такой крайности? — только внушая ему мысль, что дело его попадет после его смерти в недостойные руки и погибнет. Из-за одной этой мысли Петр Великий забывает все, даже династические интересы, казнит сына и провозглашает начало, что царь имеет право назначить по себе преемника по духу, а не по плоти, не стесняясь потомством. Как государственное учреждение этот закон не выдерживает критики и не пережил Петра, но он вполне характеризует его личность и взгляд: все для дела, все для

государства и России, все должно преклоняться перед ними, служить только им, а не лицу, не личным интересам. Сам он служил им наряду с другими. Оттого какая простота в жизни, в обращении, в переписке! Ошибки свои — а кто ж не ошибается — Петр признает, даже в печатных указах, просит извинения в письмах. Дело прежде всего, а лицо — даже сам Петр — после.

Мысль о коренном преобразовании России по европейскому образцу созрела в Петре Великом, по-видимому, не вдруг, а постепенно. Как человек в высокой степени практический, Петр приведен был к тому наблюдениями, опытом и нуждой. К его времени мы уже вдвигались в круг европейских государств и принимали все большее участие в общих делах Европы. Сама сила вещей вынуждала нас облечься в европейские формы. Давнишняя наша потребность приобрести Остзейский край вовлекла нас в войну с Швецией¹, а это настоятельно потребовало преобразования войска по европейскому образцу и создания флота; эти реформы, в свою очередь, вызывали нововведения и перемены во внутреннем быте. Так мало-помалу идеал европейской монархии слился у Петра Великого с мыслью о потребностях, нуждах и пользах России, которые стояли у него на первом плане. Полезное, по его мнению, вводилось, несмотря ни на какие препятствия. Что оно не нравилось, еще не доказывало, что оно не хорошо. Мало ли что, замечает он в одном указе, принималось по принуждению, за что потом благодарили и что уже принесло плод? Вот чем объясняется принудительный характер преобразования. Оно было по необходимости внешнее, вводилось с страстью, возведено в правительственную систему и излагалось не в назиданиях и книгах, а в законах и правительственных распоряжениях. Какой же могло оно иметь характер, кроме принудительного? Как человек безгранично убежденный в своем деле и нетерпеливый Петр действовал круто и жестоко. Одаренный страшной нравственной силой и энергией, он не понимал слабости, не допускал никаких уступок и сделок с обновляемой средой. Мысль о постепенности внутреннего развития, о переходных мерах была ему вовсе чужда, да и не по тогдашнему времени. С лишком полвека спустя после него во Франции только так мало заботились о постепенном переходе от старого к новому.

Учреждая в России новые порядки, Петр выписывал из-за границы иностранцев, давал им места в службе, водился с ними, ласкал их. Что могло быть естественней? Они тогда лучше нас знали дело, и потому Петр употреблял их. Но отсюда упрек, будто бы он предпочитал иностранцев русским. Какие же на это доказательства? Никаких, ни малейших. Напротив, иностранцы жалуются на Петра Великого, что он их дурно рассчитывает, не исполняет заключенных с ними условий, старается при первом благовидном предлоге от них отделаться. Он вызывает из Европы фабрикантов, заводчиков, мастеров, и одно из первых с ними условий — обучить тому мастерству, фабричному или заводскому делу, русских. За исполнением этого условия строго смотрел царь и неисполнявших удалял из России. В коллегиях и присутственных местах определялись чиновниками иностранцы и русские — в равном числе; первые должны были обучать последних европейским административным порядкам и за то получали больше жалованья. Что не пристрастие именно к немцам или голландцам руководило в этом случае Петра, доказывается тем, что он старался с тою же целью вербовать в службу преимущественно «шрейберов цесарской службы», австрийских славян, знающих новое дело, а между тем говорящих на родных нам языках. На высших военных и административных постах, кроме Лефорта, не встречаем при Петре ни одного иностранца — все до последнего русские. Зная иностранные языки, Петр писал и переписывался почти всегда по-русски.

Другой упрек Петру, и самый распространенный, заключается в том, что он будто бы нарушил предание, разорвал русскую историю и русскую жизнь на две, друг другу чуждые и даже враждебные половины; будто бы, благодаря Петру, мы утратили чувство народности и оттого блуждаем теперь, не зная, откуда и куда идем.

Это обвинение относится, разумеется, к тому, что Петр Великий привил к нашей жизни идеал европейской монархии и быта. Но взглянем в дело поглубже, не принадлежит ли этот упрек к числу странных недоразумений?

Мы уже сказали, что стремление к Европе и практическая необходимость подражать ей, заимствовать от нее появились в Московском государстве задолго до Петра и заметно усилились перед началом преобразования. Зна-

чит, была уже в русской жизни наклонность в эту сторону. Стало быть, Петр Великий не создал направления, за которое его обвиняют; он лишь его усилил, возвел в систему. Не только он не нарушил традиции, а напротив, следовал преданию московских государей с Ивана III и особенно с Ивана Грозного.

Не должно также забывать следующего, очень важного обстоятельства. Говоря, что Петр Великий насильственно привил русскому народу чужой идеал, мы, собственно говоря, сильно преувеличиваем. Не только огромное большинство народа осталось совершенно чуждым и враждебным этому идеалу, но даже в высших слоях русского общества очень, очень немногие пристали к нему с убеждением. Борьба между привитым чужим и своим началась, если хотите, даже до Петра; при нем она стала ярче, продолжалась и после него, продолжается даже и теперь, изменив только свои формы. Следовательно, никак нельзя утверждать, что Петр убил в нас чувство народности, лишил нас связи с прошедшим; он только внес, правильное сказать, только усилил элемент брожения, а вместе с тем и развития в нашей односложной жизни. С его времени яснее выступила вперед внутренняя борьба, которая, в других формах, по другим поводам, происходит у всех народов, играющих роль в истории. Где нет такой борьбы, там нет жизни и развития. Она необходима, чтобы выяснить народное самосознание, вызвать к деятельности народные силы. Если у нас возникла теперь потребность отдать себе отчет в самих себе, понять себя, то это благодаря преобразованию, которое началось еще до Петра. Итак, дело реформы не было нарушением нормального хода нашей жизни, а напротив, естественным, необходимым ее продолжением.

Наконец, нас смущает внешний, принудительный, характер петровской реформы, и из него мы выводим, что если б Петр не вздумал так круто и насильственно вносить в нашу жизнь чуждых элементов, то они бы вовсе в нее и не вошли. Но во-первых, европейские элементы появились в России уже до Петра; а потом — взглянем поближе, куда приведут нас подобные рассуждения. Если мы могли обойтись без европейской закваски, то, значит, в ней не было никакой надобности; стало быть; старинная русская жизнь имела уже в себе все необходимые условия и задатки для дальнейшего, самостоятельного разви-

тия. Каким же чудом один человек, хотя бы и необыкновенный, гениальный, мог всего в каких-нибудь четверть века сдвинуть целый русский народ с его прямого пути, отклонить его от естественного, самостоятельного развития на целые полтора ста лет? Делая упрек Петру Великому, мы этим как будто хотим возвысить значение древней России, а на самом деле только вторим тем, которые называют Петра творцом новой, низводим старую Русь на степень исторического материала, до такой степени мягкого и несамобытного, что гениальный человек мог вылепить из него что ему было угодно. Мы думаем, что для объяснения внешнего и насильственного характера петровской реформы нет никакой необходимости прибегать к предположениям, из которых совсем не то следует, что они должны доказать. Дело, как мы сказали выше, объясняется гораздо проще. В конце XVII века потребность преобразования сильно чувствовалась в России. По односложности нашей жизни и по степени нашего развития в XVII веке мы были способны только к внешнему, а не к внутреннему преобразованию; а всякое внешнее действие есть, по необходимости, принудительное, насильственное; более или менее это уже зависит от обстоятельств, характера деятелей, времени и нравов народа и тому подобных условий. Петр, по своему личному характеру, провел реформу сильно, стремительно, жестко и сурово. Не будем же терять из виду самого дела из-за его случайной обстановки.

Наконец, рассуждая о реформе и ее последствиях, мы опускаем из виду, что все образованное меньшинство русского общества бросилось в «прорубленное Петром Великим окно в Европу» и протеснялось туда наперерыв, неудержимо, с удивительной энергией, до нашего времени. Будь направление, данное Петром нашей жизни, неестественным, оно бы и кончилось с его смертью, тем более, что большинство современников смотрели подозрительно и враждебно на его нововведения, а ближайшие преемники его власти не имели ни его гения, ни его силы, ни его взглядов. И что же мы видим? Несмотря ни на что, образованное русское меньшинство с небывалым самоотречением бросается навстречу европейскому влиянию и идет по этому пути гораздо далее Петра Великого, до отступничества от всего родного, до забвения родины и самого языка. Неужели можно приписать такое те-

чение мыслей, такое направление меньшинства русского общества в продолжении нескольких поколений одной подражательности, угодливости, суетности, легкомыслию или случайности, обратившейся потом в дурную привычку? Бесспорно, все это играло большую роль, точно так же как и во всяком другом историческом явлении рядом с хорошими участвуют и дурные стороны человеческой природы. Но ведь мы знаем, что не одни льстецы и пустые люди шли у нас по этому пути. В сравнительно малочисленном слое русского общества, который безраздельно отдался европейскому влиянию, было много людей талантливых, умов глубоких и светлых, людей, горячо любивших родину, искренно искавших правды. Эти люди, отрешавшиеся от России нередко до забвения русского языка, честно, с убеждением служили ей мечом и пером, честно умирали в битвах за ее независимость и достоинство. Таких людей было немало, и мы их еще помним. Они доказывают своими делами и жизнью, что реформа на европейский лад при Петре не была случайностью или прихотью, а отвечала известной, живой потребности и потому не была нарушением естественного течения русской жизни. Нам теперь она кажется такою потому, что отжила свой век. Но прошедшего нельзя мерить настоящим. Всему есть свое время и своя мерка.

От этих общих соображений обратимся к ближайшим, осязательным, практическим. Возьмем внешние и внутренние вопросы, которые поднял и разрешил Петр, и посмотрим, отклонил ли он хоть один из них от его естественного, правильного течения, нарушил ли он в этом отношении традицию? Самое внимательное изучение коренных русских вопросов того времени докажет совершенно противное; мы увидим, что все они разрешены Петром Великим в том самом смысле и направлении, в каком ставились перед преобразованием. Приведем в подтверждение несколько примеров.

Говорят, Петр приложил последнюю печать к закреплению народа. Мы не знаем и даже не можем догадаться, на чем основан этот упрек? Не на том ли, что при нем помещный и холопий приказы слиты в один? Но проследите внимательно законы XVII века: к концу его помещные крестьяне стали такими же крепостными, как вотчинные; права владельцев на крестьян ничем также не отличались в это время от прав на холопей. Но допустим,

что Петр действительно сделал новый, окончательный шаг к слиянию этих различных разрядов несвободных людей в один: разве можно сказать, что он разорвал предание? Подобная мера в то время, когда все было подведено под форму крепостного права, не может ни в каком случае назваться нововведением, противным духу старинных учреждений.

Находят, что смешение поместного права с вотчинным показывает грубое незнание нашего старинного юридического быта. Но мы хотели бы, чтобы нам показали, чем в исходе XVII века поместья отличались от вотчин? Такого различия не существовало уже до Петра. Оно удерживалось только по имени.

Назовут, может быть, нововведением, противным духу старины, табель о рангах, учреждение и устройство сената? Но стоит только проследить историю местничества и постепенного упразднения его¹⁸, начиная с Ивана III, чтоб убедиться, что замещение мест по годности к службе, а не по роду, было задачей, к разрешению которой московские государи стремились постоянно. Петр и разрешил ее в этом смысле.

Преобразования Петра по духовному ведомству¹⁹ были довершением начатого при Иване III, особенно при Иване IV, и последующих мер, принятых в течение XVII века. Сделанное Петром по этой части представляет весьма последовательное развитие задуманного задолго до него и оконченного его преемниками.

Как мы уже видели, не Петр стал впервые приглашать на службу иностранцев; задолго до него начали это делать московские государи, уже со времен Ивана III.

Первое начало регулярного войска положено Иваном IV в учреждении стрельцов. Сообразно с общим характером древней России, они из войска обратились в общественный и вместе служебный разряд, жили семьями в особых слободах и торговали, отправляя военную службу как повинность, подобно казакам. Около них возникли новые виды регулярных войск, сперва иноземных, потом, по образцу их, и русских. Петр только преобразовал эти войска, заменив ими все бывшие дотоле различные их роды.

Называют нововведением татарским и ненавистным установление при Петре подушной подати; считают эту меру шагом назад, сравнительно с стариной, когда суще-

ствовало посошное тягло, или подать, определявшаяся по количеству и качеству земли. Но послушайте, что говорят современники; посмотрите, на что народ жалуется беспрестанно и горько в течение всего XVII века: его тяготит именно раскладка повинностей по земле. Земли были обмерены, Бог знает как. Вследствие тяжких податей люди, крестьяне и посадские, разбегались, а с оставшихся, часто очень немногих числом, правили, что следовало, на основании посошной раскладки. При таких обстоятельствах введение подушного налога было благодеянием, разрешением вопроса, поставленного стариной, и притом разрешением самым разумным в то время, когда не земля, а рабочая сила имела цену.

Коллегиальное устройство тоже не было нововведением. Зародыши его находим уже в устройстве приказов⁸⁰.

Суд по форме, установленный Петром, был не что иное, как организованный, определенный законом старинный суд судебных приказов. Жалобы на бесчисленные, вопиющие дела московских судов XVII века вызвали не коренное их преобразование, а более точное определение судебного порядка, причем, по возможности, предусмотрены и устранены важнейшие и обычные в то время злоупотребления. Не вина Петра, что после него — и мы до сих пор не знаем, когда именно и как — старинный словесный суд заменился письменным.

Важнейшее дело и забота всего царствования Петра — завоевание и упрочение за Россию балтийского побережья — было задумано не им, а задолго до него, еще Иваном Грозным⁸¹.

Можно привести много других примеров в доказательство, что и во внешних и внутренних делах Петр Великий продолжал начатое его предместниками, шел по пути, указанному всей нашей историей. Перерыва в ней никакого при нем не произошло; только все старинные, вековые задачи сошлись в это царствование, как в один фокус, и сильно двинуты к развязке; дело столетий сжато и втиснуто в какие-нибудь четверть века. Повторяем, нас вводит в заблуждение темперамент преобразования, оригинальная, своеобразная форма, приданная ей необыкновенной личностью Петра. Вот, как нам кажется, существенная и единственная причина всех наших недоразумений.

Говоря это, мы далеки от мысли оправдывать каждое действие Петра Великого, каждую принятую им меру. Во многом он, разумеется, ошибался; многое из того, что он ввел, оказалось несостоятельным еще при его жизни или после него; зато другое пережило века и стоит до сих пор твердо; многое из задуманного им еще не осуществилось; к иному, пришедшему в упадок и забытому, может быть, придется еще воротиться. Но дело вовсе не в том. Существенная сторона вопроса о Петре Великом и его эпохе заключается не в критическом разборе его планов и их выполнения, не в оценке практического достоинства его законов и распоряжений, а в определении места, занимаемого петровской реформой в нашем историческом развитии. Мы старались показать, что она есть органическое продолжение старины, вытекла из нее необходимо и естественно и представляется нам каким-то скачком потому только, что вводилась у нас одним из величайших деятелей истории, который своею необыкновенною личностью и делами затмил обыденный ход нашей исторической жизни. Восстановить потерянное в сознании преемство внутреннего нашего развития, указать органическую связь там, где теперь представляются как будто порванные концы исторической нити, — вот теперь главная, первая задача русской истории. Разрешить ее необходимо не только в видах удовлетворения исторической любознательности, а для того, чтобы внести хоть сколько-нибудь света и порядка в нашу мысль, блуждающую в невероятном хаосе и тьме. Все наши недоразумения, если их разобрать хорошенько, сводятся, мы глубоко в этом убеждены, к тем, которые скопились около Петра Великого и его эпохи; а они, повторяем, произошли от смешения дела реформы с личностью Петра. Преобразование, по ходу древней русской жизни, было неизбежно, неотвратимо. Не явись Петра, оно приняло бы, вероятно, какие-нибудь другие формы, но все-таки, рано или поздно, непременно бы совершилось. Петр дал только преобразованию известный вид, форму, темперамент, определил ее ход на последующие времена.

Петр Великий принял титул императора и окружил царскую власть внешней обстановкой европейских монархий. Этим обозначалось окончательное вступление России в политическую и международную систему Европы. В общем ходе нашей истории и преобразования эти нововведения разумелись сами собою.

Гораздо важнее было новое значение, которое Петр Великий придал царской власти внутри государства. Мы заметили выше, что с Алексея Михайловича наше внутреннее развитие, отклоненное от своего естественного хода приливом польско-литовских элементов, снова восстановилось. С тех пор царская власть является вполне такою же, какой была при Иване III, при Василии Ивановиче, при Грозном и Годунове и какая сложилась в представлениях великорусского народа. Петр Великий только возводит ее в государственный принцип, в идею, освобождает от исторически сложившихся и уже обветшавших форм, которые напоминали давно отжитый в государственной сфере тип домоначальника. Принцип этот он проводит по всем ступеням государственной иерархии.

Некоторые считают Петра Великого основателем самодержавной власти в России. Но это ошибка. Самодержавие родилось с Великороссией. Андрей Боголюбский был такой же самодержец, как Всеволод Большое Гнездо, как московские великие князья и цари до смутной эпохи. В этом отношении, как и всегда, ошибка происходит оттого, что дело не различается от лица, у которого оно в руках, которое его представляет и ведет. Петр Великий выражает начало старинной царской власти гораздо резче, определеннее и сознательнее, чем все его предшественники (исключая, впрочем, Ивана Грозного), потому только, что он не только царь, но и преобразователь, что в его лице выразилась и сосредоточилась реформа, что он был ее двигателем и орудием. Борьба необходимо определяет точным образом принципы, приводит к ясному их сознанию. Иван III высказывает новгородцам определительно и точно, чего требует от них московский великий князь, в чем сущность его власти; Василий Иванович — псковичам; царь Иван Васильевич Грозный формулирует свою власть в борьбе с литовско-польской олигархией⁸²; точно так же и Петр Великий в борьбе с старинными государственными и общественными порядками в России, которые начали преобразовывать, только выражает с совершенною определительностью существо царской власти, которая испокон века принадлежала русским государям.

Но не создавая самодержавия, Петр придал ему свою деятельность, свою личность, свою жизнью новый характер и в этом смысле определил весь последующий ход нашей истории. Преобразование, как мы сказали выше, возведено им в правительственную систему и вошло с его времени в число атрибутов верховной власти вполне

согласно с глубочайшими инстинктами русского народа. Служа государству и государственным пользам преданнее, неутомимее, бескорыстнее, вернее последнего из своих подданных, Петр своими «несносными печальями» и великими делами вписал навеки в наш государственный устав, что власть есть труд, подвиг, служба России, прежде всех и больше всех. Это был его завет и благословение потомству, пережившие его армии и флоты, его «виктории» и учреждения, его слабости и ошибки. Оттого после Петра менялись правительственные системы, направления, взгляды, темпераменты, а власть осталась непоколебимой через весь последующий, тяжелый период нашей истории. Преобразование и служение русскому государству и русскому народу осталось ее знаменем и до наших дней, когда, по-видимому, довершается дело Петра, прикладывается последний камень к его зданию и начинается новый период нашего исторического существования.

Что Петр своим лицом и своею жизнью укрепил царскую власть, начавшую было перед ним колебаться, поднял ее и придал высокое нравственное и народное значение — в этом его величайшая, бессмертная заслуга перед Россией. Наступала пора глубокого внутреннего перерождения, когда сильная центральная власть есть для народа вопрос существования. Ей предстояло у нас не только представлять с достоинством Россию при внутренних смутах, при борьбе враждебных друг другу направлений, при олигархических стремлениях, при революционных движениях в Европе, подымавших против нас внешние бури, но, что было несравненно труднее, ей, по целому ходу нашей истории, выпадала на долю крайне трудная задача — продолжать в то же самое время начатое Петром Великим дело внутреннего нашего преобразования.

Новый период нашей истории мы понимаем, если возможно, еще менее, чем отношение Петра Великого и его эпохи к древней России. Европейские формы, в которые снаружи облеклась наша жизнь, спутывают все наши мысли и заслоняют от нас действительность; а она, между тем, идет своим чередом, решая одну за другой задачи, поставленные всей нашей историей, и которых истинного смысла мы не умеем себе объяснить.

Реформа Петра была, как мы видели, внешняя. Он переменил одни лишь наружные формы нашего внутреннего быта и заменил их иностранными, что, разумеется, не могло переродить нас в европейцев. Эти реформы были

только новым условием нашей жизни, под влиянием которого она стала исподволь развиваться далее.

Ход этого развития представляет высокий, животрепещущий интерес. На поверхности русского общества замечается после Петра полная безурядица: тысячи стремлений и направлений, проникнутых европейскими задачами и интересами, страхами и надеждами и не имеющих прямой связи ни с народною жизнью, ни между собою. Рядом с ними и в пестром с ними смешении живут старинные взгляды, понятия, привычки и предрассудки, плод вековой жизни и опытов. Те и другие борются между собою, но часто уживаются мирно в одном лице. Хаос совершенный, приводящий в отчаяние, в котором ничего нельзя разобрать.

А между тем под этой разнохарактерной оболочкой совершается дело истории, медленно, в правильной постепенности. Старинных разрядов, служебных и общественных, Петр едва коснулся и завещал их новому времени. Никакой внутренней организации он не мог им дать, потому что она не дается, а вырабатывается самою жизнью. На почве «чинов», в старинном смысле слова, и крепостного права, исключавших всякую тень органической общественной жизни, нельзя было основать ничего прочного. Всякие попытки придать правильный строй нашей общественности при такой почве не могли вести ни к чему. Петр менял несколько раз учреждение городов и провинций — и все понапрасну. Те же заботы продолжают и после него, при его преемниках, и тоже не приводят ни к каким существенным, положительным результатам.

Так продолжается до половины XVIII века. С этого времени начинается, с одной стороны, постепенное упразднение крепостного начала, с другой — видны попытки организовать наш внутренний быт.

Постепенное упразднение крепостного права и дарование гражданских прав русскому народу совершалось, как и все движение нашей жизни, сверху вниз, начиная с высших слоев общества и оканчивая низшими, и шло, не прерываясь, до нашего времени. Сперва получили гражданские права дворянство, духовенство и купечество, потом разнородные средние слои общества, затем казенные крестьяне, наконец, помещичьи. Снятие административной опеки с государственных крестьян, которые при императоре Александре I были свободными только по имени и лишь в последующее царствование получили гра-

жданские права, включает ныне собою этот ряд преобразований старинной русской жизни.

Несравненно труднее было заменить прежний крепостной строй правильной организацией, тем более, что отмена крепостного права совершилась не вдруг, — а отлагать вопрос внутреннего устройства впредь до окончательного уничтожения крепостных отношений было невозможно.

Петр III и Екатерина II вводят сословную организацию, которую в применении к городам начал вводить еще Петр Великий. Старинные служебные разряды преобразованы в европейские сословия, старинные городские тягловые общества — в замкнутые европейские муниципии. Но сословия и городские корпорации, выросшие на исторической почве, совершенно различной от нашей, не могли у нас приняться. Наши старинные служебные разряды или чины и тягловые общества, плод нашего односложного государственного и народного состава, не имели ничего общего с европейскими сословиями и корпорациями, выработавшимися вследствие долгой внутренней борьбы разнородных составных стихий европейских государств. Под влиянием новых условий государственного быта бывшие разряды или чины только разомкнулись, и некоторые из них освобождены от обязательной службы; множество разрядов, старых и новых, с наследственным служебным характером, продолжали существовать подле сословий, отчасти в их составе, под именем «званий» и отменены окончательно лишь в нынешнее царствование. Что касается тягловых городских обществ, то старинная их замкнутость, вытекавшая из условий их крепостного и служебного быта в XVII веке, упразднена целым рядом постановлений, изданных в царствование Александра I и Николая. К ним тоже не привилось европейское начало городских корпораций.

За сословной организацией, по мере распространения гражданских прав на все состояния и звания, появляется общинное, земское устройство. Начало его введено в наше законодательство в минувшее царствование с образованием обществ государственных крестьян и с изданием нового с.-петербургского городского устройства; но обширное применение получило оно лишь в нынешнее царствование. Теперь общинное устройство узаконено во всех без изъятия крестьянских обществах, а из городов распространено на Москву и Одессу. Введением земских учреждений оно сделало важный шаг вперед, обнимая

теперь уезды и губернии, и в заведывании местными делами, местными интересами, отчасти заменило сословное устройство.

Таким образом, петровская эпоха была, во всех отношениях, приготовлением, при помощи европейских влияний, к самостоятельной и сознательной народной жизни. Участие европейского элемента в нашем быту было нужно не для одних практических целей, но и для нашего внутреннего развития. Люди и народы приходят к самосознанию через сравнение себя с другими, и чем предмет для сравнения лучше, краше, развитей, совершенней, тем полней и глубже человек и народ вникают в самих себя, открывают в себе неизвестные им самим, дремлющие в бездействии силы. Такому периоду жизни соответствуют пробуждение и развитие индивидуальности и выработка форм для предстоящей деятельности. Самостоятельная русская мысль и жизнь, которые должны наполнить эти готовые, но пока еще лишенные содержания формы, далеко впереди. Образованный слой русского общества, за очень редкими исключениями, продолжает по-старому питаться чужими мыслями, действовать по чужим образцам. Мы до сих пор едва догадываемся, что наши взгляды — выводы из чужой жизни, и добродушно принимаем их за результат самостоятельного нашего развития. Вот где источник наших внутренних противоречий и разлады. Не понимая себя и среды, к которой принадлежим, мы блуждаем в потемках, ходим ощупью, куда и как случится. Наша умственная и нравственная жизнь, не имея еще пока корней у себя дома, не имеет по тому же самому и никакого центра тяжести и носится в воздухе; при всем блеске наших природных способностей она холодна, бесплодна и мертва. Она согреется, оживет и сделается плодотворной только с той минуты, когда опустится из неопределенной шири на русскую почву, прильнет к ней и будет из нее питаться. Уравновесить умственные и нравственные силы с действительностью, соединить в одно гармоническое целое мысль и жизнь может отныне одно только глубокое изучение самих себя в настоящем и прошедшем. Других путей нет и быть не может.

Т. Н. ГРАНОВСКИЙ

Сочинения Т. Н. Грановского. В двух частях.
с портретом автора. Издание (второе) К. Солдатенкова.
Ц. 2 р. Москва, 1866.

Кто не знал Грановского и случайно не слышал о нем, тот едва поймет сердечный трепет, с которым эта книга снова будет встречена его друзьями и многочисленными слушателями, разбросанными по всей России; лишь очень немногие, умеющие вдумываться в писателя по его произведениям, открывать живую душу в неподвижных чертах портрета,— те догадаются, отчего не могут забыть Грановского все, кто знал его более или менее близко или кто слушал его лекции.

Имя Грановского неразрывно связано с блестящей эпохой Московского университета во время попечительства графа С. Г. Строганова¹ и с лучшим временем московских литературных кружков и салонов. Никогда, ни прежде, ни после, не было у нас сосредоточено в одном пункте столько образованности, ума, талантов, знания. Москва была в сороковых годах центром умственного движения в России, к которому, прямо или косвенно, примыкало почти все замечательное в ней в умственном и научном мире. Здесь запасались и вырабатывались те нравственные силы, которые пошли в дело при начавшемся после Крымской войны обновлении нашего внутреннего быта и строя².

В этот знаменательный рассвет нашей умственной и научной жизни, короткий, как наше северное лето, Грановский был одним из самых замечательных и видных деятелей. Он точно был создан для роли, которая выпала ему на долю. Трудно вообразить себе натуру более гармоническую, более сочувственную и обаятельную. Чуждый односторонности и исключительности, Грановский был не столько ученым и педагогом, сколько художником на кафедре. Действие его на слушателей и окружавших объясняется не строгой последовательностью ученой аргументации, а тайной непосредственной убедительности самого изящного, глубоко-прочувствованного изложения.

Этого рода силе всегда и везде предназначен самый обширный круг влияния, по свойству человеческой природы, и особенно нас, русских, сохранивших, Бог весть каким образом, южные черты под полярными широтами. Огромная начитанность, изумительная память, тонкая образованность и вкус, наконец, самая наружность, верно передававшая его лучшие внутренние качества¹, — все это вместе делало Грановского одним из самых значительных и влиятельных лиц и в университете и в образованном московском обществе. В то время как большинство талантливых и мыслящих людей легко вдавались в крайности, Грановский, в цветущую пору своей деятельности, принадлежал к числу тех, очень немногих, которые умели понимать и ценить долю истины, заключающуюся в каждом направлении, в каждой мысли, и потому он оставался связующею нитью между противоположными взглядами, уже в то время начинавшими зарождаться в московских литературных и ученых кружках. И сильными и слабыми своими сторонами Грановский полнее, лучше всех других выражал характеристическую черту тогдашнего умственного движения в Москве. То было пробуждение умственной жизни. Существенный и важный смысл его заключался в неопределившихся еще стремлениях и предчувствиях; напрасно старались бы мы увидеть в нем развитие и борьбу уже установившихся мнений и взглядов; ни тех, ни других еще не существовало². Тогда совершался такой же перелом в русской мысли, какой, вслед за тем, начался и во внутренней жизни России. Между тем и другим явлением нельзя не заметить тесной органической связи. Взгляды, появившиеся во время этого литературного и научного движения, представляют первые попытки самостоятельного критического отношения к нашему прошедшему и настоящему; они многозначительны не как твердые результаты науки, а как признаки пробуждения у нас литературных и научных интересов. При этом характере тогдашнего нашего умственного движения, натура, подобная Грановскому, должна была играть одну из первенствующих ролей. Его чуткий, исполненный такта ум как будто сознавал, что время формулировать мнения и взгляды для нас еще не пришло, и он как будто медлил решительно стать в ряды которой-либо из враждовавших между собою литературных партий. Все это необходимо взвесить и принять в самое внимательное соображение, чтоб понять и по заслугам оценить то весьма немногое, что уцелело от многообраз-

ной и чрезвычайно обширной деятельности Грановского. По самому свойству его личного характера и того времени, лучшие стороны этой деятельности не могли укладываться в книгу или статью, а выражались в лекциях, в беседах, в личных сношениях, переходили этими путями в повседневный оборот и оплодотворяли русскую мысль и жизнь новыми живительными мотивами. Только тупая близорукость способна сказать, глядя на два не слишком больших тома сочинений Грановского: что же такого замечательного сделал прославленный московский профессор? Где его труды, где его заслуги?⁵ Труды его в тех поколениях, которые с университетской скамьи понесли в русскую жизнь честный образ мыслей, честный труд, сочувственно отзывались к делу преобразования; заслуги его в воззрениях, выработавшихся в московских кружках, в умственной работе которых он принимал такое живое и деятельное участие и в которых занимал такое видное место. Мы теперь мало ценим этого рода труды и заслуги. Когда литературные и ученые кружки пришли в упадок, над ними стали подсмеиваться, об них начали отзываться с пренебрежением⁶. По мере того как они разлагались, значение их, разумеется, утратилось. Но по тому состоянию, в которое они тогда пришли, было бы крайне ошибочно судить о том, что они были в эпоху их процветания. Можно сказать без преувеличения, что в московских литературных кружках зародилось и созрело все наше последующее умственное движение, как некогда из средневековых цехов преподавателей и учащихся выработалась впоследствии немецкая наука. Оттого мы убеждены, что история образования, развития и преемства наших литературно-ученых кружков составит, со временем, любопытнейший и поучительнейший отдел в истории нашего просвещения. Для теперешнего, поверхностного на них взгляда, существование их было будто бы бледно, ничтожно и почти бесследно; но вспомним, например, литературный кружок «Арзамасского гуся». Мы знаем о нем кое-что, только благодаря рассказам бывших его членов; а между тем, из него вышла целая фаланга замечательнейших русских писателей, государственных людей и общественных деятелей. Кто измерит то влияние, которое этот кружок имел на своих сочленов? Кто определит, в какой мере это благотворное влияние перешло потом в замечательные литературные произведения, в законодательные и административные меры, в практическую деятельность, в общественную и даже частную жизнь?

П. В. Анненков обычным своим мастерским пером восстановил для нас, насколько было возможно, стертый образ другого кружка, который в тридцатых годах составил-ся в Москве около Н. В. Станкевича⁸. Для того, кто не имеет смысла к такого рода явлениям, глубокое уважение и сочувствие, с которым биограф Станкевича говорит о нем, покажется совершенно непонятным. «Что же такое в самом деле Станкевич? — подумает он; — что же он написал, что сделал замечательного? Неужели право на уважение потомства и на страницу в истории дают каких-нибудь два, три десятка писем к друзьям, в которых выражаются одни, никогда не осуществившиеся, намерения исполнить разные литературные и ученые труды?» Так, с видимым основанием, скажет всякий, кто сам не испытал на себе чарующего, живительного и благотворного влияния наших исчезнувших литературных и ученых кружков, — и, разумеется, жестоко обманется. Станкевич был другом и предшественником Грановского⁹. Их натуры, характер их действия и влияния на людей были чрезвычайно сходны и родственны между собою. Станкевич, подобно Грановскому, стоял во главе литературного кружка, из которого вышло несколько замечательнейших литературных и общественных деятелей; только кружок этот был гораздо теснее, а потому и сфера непосредственного влияния и действия Станкевича гораздо ограниченнее. Но если мы припомним, что из этого кружка вышли Грановский, Белинский, Кольцов, Боткин, не считая многих второстепенных деятелей¹⁰, то должны будем признать, что он далеко не бесплодно существовал для России и для русского образования; что Станкевич оставил по себе нечто большее тех немногих писем, в которых мы напрасно стараемся теперь уловить тайну влияния его на окружавших его друзей; указывая на них, он мог бы сказать: «вот — мои книги!»

К исходу сороковых годов блистательное развитие московской литературной и научной жизни ослабело. Будущее раскроет и объяснит, произошло ли это от случайных причин или к тому привел целый ход русской жизни¹¹ и возраставшее с каждым годом разъединение мнений и взглядов: нам, современникам, нельзя судить с необходимым беспристрастием о том, чему мы были живыми свидетелями. Как бы то ни было, на Грановском эта перемена отразилась болезненно и скорбно. Резкая противоположность направлений шла вразрез с тем гармоническим складом умственных и нравственных стремлений,

который составлял, можно сказать, его живую душу. Последние шесть-семь лет своей жизни Грановский был уже не тот, полный сил и веры, каким его знали все прежде¹². Печальный исход Крымской войны надрывал глубокой скорбью его русское сердце¹³. Мы увидим, что он как будто снова встрепенулся, но умер внезапно, среди забот об основании в Москве учено-литературного журнала¹⁴ и с живым предчувствием нового времени, которого только начало суждено было ему увидеть.

Редкий человек проходил у нас в жизни с таким поэтическим ореолом, как Грановский; редкий внушал к себе столько сочувствия и умел так глубоко сочувствовать другим. После него из видимого, осязательного наследства осталось только два тома сочинений; невидимое наследство осталось громадное, — в воспоминаниях о нем, в том, что думалось и делалось хорошего и честного посреди нас под влиянием, по наитию, в память Грановского. Пройдет одно какое-нибудь поколение, и имя этого замечательного русского общественного деятеля будет жить разве еще в рассказах отцов детям, но никогда не исчезнут и не изгладятся в России плоды честной его мысли и честной его деятельности.

Благоговейная память почитателей и друзей снабдила новое издание сочинений Грановского лучшим его портретом из всех, какие нам удавалось видеть¹⁵. Тяжело и горестно думать, что мы должны уже бережно и заботливо сберегать для грядущих поколений память о том, кто мог бы еще жить теперь между нами и был бы так полезен своим словом, мыслью, авторитетом, значением. Грановский умер одиннадцать лет тому назад, на 42-м году от рождения.

ВОСПОМИНАНИЯ О В. Г. БЕЛИНСКОМ

Я познакомился с Белинским впервые зимою 1834 года, когда готовился вступить в Московский университет. Белинский был рекомендован моему отцу князем Александром Александровичем Черкасским (отцом известного кн. Влад<имира> А<лександровича> Черкасского), с которым он был дружен¹. Белинский явился к нам в качестве учителя русского языка и словестности, истории и географии. Живо помню первый урок — о логическом строении предложения. Затем воспоминания мои о Белинском до лета 1835 года довольно смутны. Помню, что он заставлял меня много переводить с немецкого. В одном переводе отрывка из путешествия А. Гумбольдта по Южной Америке (напечатанного в хрестоматии) я перевел слово *Krater* словом «кратер» и получил за это замечание, из которого, однако, понял, что мой учитель не знал, что это слово значит. Когда я объяснил его значение, слово «кратер» было заменено словом «жерло». Для истории было куплено, по указанию Белинского, руководство Пёлица, в русском переводе². Помню также, что Белинский не всегда аккуратно приходил на уроки, что он как-то раз приходил поздравить отца с праздником (Рождеством или Пасхой) и что на одном уроке, когда мы были вдвоем, он мне по секрету объявил, что-де Екатерина II вовсе не была такая великая и безупречная женщина, как об ней рассказывают³. Это произвело на меня очень сильное впечатление. Мне хоть тогда и было за 16 лет (я род<ился> 1818, ноября 4-го), но наивности, незрелости и детства был колоссальных. Вообще же Белинский ко мне благоволил, и мне он нравился, хотя я не подозревал в нем ничего особенного, да, к счастью, и родители видели в нем не более как учителя низкого происхождения, который и не мог не быть более или менее чужаком, с дурными манерами:

Более мы сблизились с ним летом 1835 года. Родители мои уехали в деревню и оставили меня в Москве готовиться к экзамену, который должен был начаться в конце

августа. Уезжая, отец просил всех учителей, в особенности Белинского, принять к сердцу мои успехи. В это время я оставался совершенно один, знакомых у меня почти не было, и тут уже ничто не мешало нам разговаривать о чем угодно. Я Белинскому, видимо, полюбился. Месяца полтора он ходил очень аккуратно, но потом стал опять пропадать неделями. Учил он меня плохо. Задавал по книжке, выслушивал рассеянно, без дополнений и пояснений, и наконец предоставил меня собственной судьбе, говоря, что я юноша умный и с учебником справлюсь сам. Но насколько он был плохой педагог, мало знающий предмет, которому учил, настолько он благотворно действовал на меня возбуждением умственной деятельности, умственных интересов, уважения и любви к знанию и нравственным принципам. Мы занимались с ним больше разговорами, в которых не было ничего педагогического в школьном смысле, и я только по счастливой случайности не провалился на экзамене; но эти разговоры оставили во мне гораздо больше, чем детальное и аккуратное знание учебника и руководства. Чтоб понять и оценить это, надо вспомнить время и среду, в которых я жил. Страшное бессмыслие, отсутствие всяких социальных, научных и умственных стремлений, тоскливый и рабский биготизм⁴, самодержавный и крепостной *statu quo*⁵ как естественная норма жизни, дворянское чванство и пустейшая ежедневная жизнь, наполненная малоискренними родственными отношениями и сплетнями и пошлостями дворянского кружка знакомства, погруженного в микроскопические ежедневные дразги, придворные слухи, допотопное хозяйство, светские этикеты и туалеты. Для юноши эта среда была заразой, и те, которые в ней не опошлели и из нее выдрались, были обязаны, подобно мне, тем струйкам света, которые контрабандой врывались, чрез Белинского и ему подобных в эту тину и болото. До сих пор тоскливо становится, когда вспомнишь об этой обстановке, не способной вызвать даже на большое преступление.

Расстались мы с Белинским очень дружески, т. е. насколько могла быть дружба между умным человеком, который полюбил неразвитого парня за то, что из него могло потом выйти порядочного, и парнем, который больше инстинктом, чем головой, ценил умного человека, полюбил его и привязался к нему.

В чем, собственно, состояли наши разговоры, этого я решительно не помню. Удержалось у меня только в памяти, что Белинский издевался над греческим языком, которому учил меня К. А. Коссович (теперь проф <эссор> университета, а тогда студент на выпуске)⁶, и над греческими красотами, которыми я тогда восхищался. Вообще отрицательное отношение ко всей окружающей меня действительности, социальной, религиозной и политической, благодаря Белинскому во мне засело, хоть в очень наивной, неопределенной и мечтательной форме. Белинский подействовал на меня не как политический агитатор, а как мыслящий человек. Оба мы тогда мало знали, и потому от наших разговоров ничего не могло во мне остаться, кроме неопределенных стремлений. Они были и прежде во мне, но теперь благодаря Белинскому путь их был намечен.

После вступления в университет я с Белинским встречался очень редко, а затем он уехал в Петербург⁷. В университете я со всем увлечением, к какому только был способен, отдался влиянию немецкой науки, которая с 1835 года стала талантливо преподаваться целым кружком талантливых и свежих молодых профессоров. Они по убеждению, а может быть, и не без некоторого расчета, относились свысока, иронически к доморощенным деятелям, к пробам русского ума и ко всему французскому, которое тогда царило в русских сколько-нибудь развитых головах⁸. Отдавшись беззаветно обаятельному влиянию профессоров, я не имел охоты искать других сближений. Со второго курса, кроме того, я сблизился, чрез Елагиных, Киреевского и Валуева, с славянофильским кружком, тоже не особенно расположенным к Белинскому⁹. Но самое главное — мне с ним негде было встречаться. Грановского, Герцена тогда еще не было в Москве; с Боткиным и Кетчером я не был знаком. В то время, когда я познакомился и сблизился с Елагиными, Кетчер у них уже не бывал¹⁰. Так и случилось, что с Белинским мы видались очень редко и случайно. Встречи эти я помню очень живо, хотя и не могу восстановить их хронологии. Одна, описанная с дипломатическою точностью Панаевым, была на Арбатской улице. Я бросился его обнимать и целовать, но он меня оттолкнул, потому что не любил ребяческих излишней любви¹¹. Другой раз (помнится, прежде этого трагического для меня события) он зазвал

меня к себе обедать, пожирал жареную говядину и особенно мне ее рекомендовал как необыкновенно полезную вещь для людей, ведущих сидячую жизнь. В это посещение он, как мне теперь ясно, был под сильным влиянием гегельянских идей, в том направлении, которое привело его потом к «Бородинской годовщине»^{* 12}.

Последнее наше свидание (а может быть, второе; память мне изменяет) было у В. П. Боткина, которого я тогда совсем не знал. Смотря на меня как на «юношу, подававшего надежды»; Белинский хотел ввести меня в круг порядочных, мыслящих людей и вследствие того назначил мне быть у В. П. Боткина вечером, в день сборища (по-видимому, для них был отведен один день в неделю). Вечер этот я помню очень смутно. Помню Боткина в цветной шапочке на голове, помню Каткова в студенческом мундире (я сам был студентом чуть ли не первого курса). Было довольно народу, но я никого не знал. О чем-то много спорили¹⁴. Затем подали ужин *à la fourchette*¹⁵, и все, в том числе и Белинский, устремились с необыкновенной жадностью на еду, — жадностью, которая меня несколько удивила. Я был тогда совершенный мальчик по развитию, и потому-то весь этот вечер с своими спорами и лицами так бесследно испарился из моей памяти.

Затем действительное и серьезное мое сближение с Белинским произошло уже в Петербурге, куда я переехал весною 1842 года. Тогда я уже был магистрантом и написал большую часть своей диссертации на магистра. По приезде в Питер отыскал Белинского, который принял меня очень дружески, читал мне отрывки из писем Станкевича и был в очень либеральном настроении духа¹⁶. Но после того я опять долго его не видал и начал встречаться очень часто, только когда переехал жить с Тютчевым и Кульчицким в доме Жербина, на Михайловской площади¹⁷. Тютчев был тогда полунемецким буршем, кончившим курс в Дерпте, и служил в министерстве финансов, в департаменте разных податей и сборов. Кульчицкий, кандидат Харьковского университета, служил в канцелярии военного министерства. Как они по-

^{*} В это посещение Белинский, указывая мне на карту Европы, объяснял, что рядом с протестантской культурой, наукой, искусством в Берлине возникает другой центр католической культуры, философии, искусства в Мюнхене¹¹. Он как будто считал их равноправными. Таким путем дошел он и до «поэзии покорности».

знакомились с Белинским — я не знаю, но оба ему очень нравились, и к ним он ходил зачастую по выходе книжки «Отечественных Записок»¹⁸. С обыкновенным своим младенческим добродушием и доверчивостью Белинский всучил им в сожители некоего Милановского, воспитанника Московского университета. Милановский, напоминавший лицом Каткова, подкупил Белинского либеральными фразами, но оказался проходимцем и эксплуататором чужих карманов. Он надул пастора Зедер <гольма>, издававшего свой курс истории философии на русском языке, бесовестно употребил во зло добросердечие Н. Н. Тютчева и т. д. Белинский приходил в ужас от того, что пускался в либеральные откровенности с таким господином, трусил, что он на него и на весь кружок донесет. Это не помешало ему выгнать Милановского из своей квартиры со скандалом¹⁹. Словом, этот барин оказался невозможным сожителем Тютчева и Кульчицкого и был изгнан, а на его место и в его комнату поступил я.

Месяцев одиннадцать, которые я провел тут, были из счастливейших в моей жизни, и этим счастьем я обязан кружку, в который попал, и в особенности главе этого кружка, Белинскому. Он имел на меня и на всех нас чарующее действие. Это было нечто гораздо больше оценки ума, обаяния таланта, — нет, это было действие человека, который не только шел далеко впереди нас ясным пониманием стремлений и потребностей того мыслящего меньшинства, к которому мы принадлежали, не только освещал и указывал нам путь, но всем своим существом жил для тех идей и стремлений, которые жили во всех нас, отдавался им страстно, наполнял ими всю свою жизнь. Прибавьте к этому гражданскую, политическую и всяческую безупречность, беспощадность к самому себе при большом самолюбии, и вы поймете, почему этот человек царил в кружке самодержавно. Мы понимали, что он в своих суждениях часто бывал неправ, увлекался страстью далеко за пределы истины; мы знали, что сведения его (кроме русской литературы и ее истории) были не очень-то густы²⁰; мы видели, что Белинский часто поступал, как ребенок, как ребенок, капризничал, малодушествовал и увлекался, и между собой подтрунивали над ним. Но все это исчезало перед подавляющим авторитетом великого таланта, страстной, благороднейшей гражданской мысли и чистой личности, без пятна, — лично

сти, которой нельзя было подкупить ничем,— даже ловкой игрой на струне самолюбия. Белинского в нашем кружке не только нежно любили и уважали, но и побаивались. Каждый прятал гниль, которую носил в своей душе, как можно подальше. Беда, если она попадала на глаза Белинскому: он ее выворачивал тотчас же напоказ всем и неумолимо, язвительно преследовал несчастного дни и недели, не келейно, а соборно, перед всем кружком, на каждом шагу. Известно, что и себя он тоже не щадил. Панаеву немало доставалось за его суетливость, мне — за «прекраснодушие»²¹ и за славянофильские наклонности, которые в то время были очень сильны²². Влияние Белинского на мое нравственное и умственное воспитание за этот период моей жизни было неизмеримо, и оно никогда не изгладится из моей памяти. Я его боготворил, благоговел перед ним. Его влияние поставило много честных и честно думающих людей на Руси. Многие, побывавши под сильным влиянием, сделали меньше гадостей, чем могли бы сделать по естественному влечению.

Я упомянул о кружке. Он в то время состоял из следующих лиц: Панаева, женатого, у которого мы иногда собирались. Это был самый богатый и самый фешенебельный член кружка. Михаил Александрович Языков — остряк, хромой и забавный господин, смешивший нас своими шутками и комическими выходками. Иван Ильич Маслов, прозванный Тургеневым прекрасной нумидянкой. Маслов служил секретарем коменданта Петропавловской крепости генерала Скобелева, был у него другом дома и сообщал вести и рассказывал о том, что говорилось и делалось в крепости²³. При Николае Павловиче это было и интересно, и очень небесполезно знать. И. С. Тургенев (за несколько лет до «Хоря и Калиныча»). Белинский тогда очень благоволил к Тургеневу и восхищался до небес его «Парашей» — грехом юности, который не попал в собрание его сочинений, — за несколько стихов отрицательного и демонического свойства. (Белинский особенно восторгался стихом, где говорится о хохоте сатаны, и даже, помнится, привел этот стих в одной из своих критических статей)²⁴. Некрасов к нам не ходил тогда, а бывал у Белинского. Я помню, что раз днем я застал их вдвоем: они играли в карты. Затем, кроме нас троих, не было никого. Краевский был тогда большой литератур-

ный и журнальный барин и с нами обращался немножко свысока и у нас не бывал. Остается еще назвать В. П. Боткина, который водился с нами во время проезда из Москвы за границу и своей комической свадьбы, в которой все мы принимали участие в качестве свидетелей и друзей²⁵. Наконец, проездом же из-за границы в Москву был у меня и у Белинского Катков, но не на приятельской ноге. Белинский говорил об нем, что он — пузырь, надутый самолюбием и готовый ежеминутно лопнуть²⁶.

Как мы проводили время и что происходило в нашем капельном кружке, это легко представит себе всякий, кто знаком хоть понаслышке с молодыми литературными кружками 30-х и 40-х годов. Аристократическим изяществом людей с достатком все мы, кроме Панаева и Тургенева, не отличались. Аристократические салоны и литературные тузы были нам известны только по имени²⁷. Но весело нам было очень, насколько можно было веселиться при отвратительной тогдашней обстановке сверху и кругом. Каждый литературный кружок, в том числе и наш, был тогда похож на секту, в которую новые члены принимались трудно, по испытании и рекомендации. Мы мечтали о лучшем будущем, не формулируя положительно, каким оно должно быть²⁸, жадно собирали все анекдоты, слухи и рассказы, из которых прямо или косвенно следовало (или должно было следовать), что апокалипсический зверь не долго провоевствует, также жадно и зорко следили за всяким проявлением в слове или печати мыслей и стремлений, которыми были преисполнены. Каждый месяц приносил нам новинку — статью, а иногда и больше, Белинского, которую читали и перечитывали. Жорж Занд и французская литература были нашим евангелием²⁹. За событиями политическими в Европе мы следили внимательно, но нельзя сказать, чтоб с большим толком и настоящим пониманием.

Взаимные отношения членов кружка были самые дружеские, тесные, интимные. Камертон им давал Белинский. Шуткам и остроумиям, часто очень неостроумным, не было конца. Запевалой почти всегда был Белинский, особенно усердно и любовно глумившийся надо мной (Тютчева он уважал). Кульчицкому тоже доставалось; его обзывали «гадюкой». Я получил от Белинского постоянное название «молодой глупдырь» (встречается в новгородских былинах)³⁰. Споры и серьезные разговоры не ве-

лись методически, а всегда перемежались и смешивались с остротами и шутками.

Все это очень известно и обыкновенно в наших русских дружеских кружках, и по складу нашего ума не может быть иначе. Отмечу некоторые особенности нашего тогдашнего кружка, обусловленные родом жизни и вкусами Белинского. Он работал, как истинно русский человек, — запоем и, когда мог отдыхать, т. е. когда необходимость не заставляла его работать, охотно ленился, болтал и играл в карты, ради препровождения времени. Игроком он никогда не был. С половины месяца, или так между 15 и 20 числами, Белинский исчезал для друзей — запирался и писал для журнала. Ходить к нему в это время было неэтикетно. Белинский болтал охотно, но проведенное в разговоре время приходилось ему наверстывать ночью, потому что работа была срочная, к выходу книжки 1-го числа. С выходом книжки Белинский становился свободным и приходил почти каждый день к нам, иногда к обеду, но всего чаще тотчас после обеда — играть в карты. Кроме нас, он хаживал вечерами на пулюку к Вержбицкому, кажется, военному и женатому, о котором мы не имели понятия. П. В. Анненков говорил мне, что там Белинского обыгрывали наверное¹¹. Источники этого рассказа мне совершенно неизвестны; также я не знаю, где, как и почему Белинский познакомился и сошелся с Вержбицким. Так как друзья Белинского знали, что он почти каждый вечер проводит у нас, то приходили к нам, и, таким образом, квартира наша мало-помалу обратилась в клуб. Каждый вечер кто-нибудь из друзей забежал хоть на минуту повидаться с Белинским, сообщить новость, переговорить о деле. Как только приходил Белинский после обеда — тотчас же начиналась игра в карты, копеечная, но которая занимала и волновала его до смешного. Заигрывались мы вчасую до бела дня. Тютчев играл спокойно и с переменным счастьем; я вечно проигрывал; Кульчицкому счастье валило всегда чертовское, и он играл отлично. Белинский плел лапти¹², горячился, ремизился страшно и редко оканчивал вечер без проигрыша. На этих-то картежных вечерах, увековеченных для кружка брошюрой Кульчицкого «Некоторые великие и полезные истины об игре в преферанс», изданной под псевдонимом кандидата Ремизова¹³, происходили те сцены великого комизма, которые приводили часто в негодование Тютчева,

забавляли друзей, а меня приводили в глубокое умиление и еще больше привязывали к Белинскому. Поверит ли читатель, что в нашу игру, невиннейшую из невинных, которая в худшем случае оканчивалась рублем-двумя, Белинский вносил все перипетии страсти, отчаяния и радости, точно участвовал в великих исторических событиях? Садился он играть с большим увлечением и, если ему везло, был доволен и весел. Раз зацепившись и поставя ремиз, он старался отыгаться, с азартом объявлял отчаянные игры и ставил ремиз за ремизом. Кульчицкому, как нарочно, в это время валили отборнейшие карты. Поставя несколько ремизов, Белинский становился мрачным, пыхтел, наконец жаловался на судьбу, которая его во всем преследует, и наконец с отчаянием бросал карты и уходил в темную комнату. Мы продолжали игру, как будто ни в чем не бывало. Кульчицкий нарочно ремизился отчаянно, и мы шумно выражали свою радость, что наконец-то «гадюка» попалась. После двух-трех таких умышленных ремизов и криков, соседняя дверь тихонько приотворялась, и Белинский выглядывал оттуда на игру с сияющим лицом. Еще два-три ремиза — и он выходил из темной комнаты, с азартом садился за игру, и она продолжалась вчетвером по-прежнему. Такая наивность и ребячество меня всегда глубоко поражали в замечательных людях и еще сильнее к ним привязывали. Та же черта была и в Герцене, с которым Белинский имел всего более родства по натуре. Они во многом напоминали друг друга. Я дорожу этой чертой, как очень характеристической в Белинском, и потому так подробно описываю случаи, по-видимому совершенно ничтожные.

В эпоху, которую описываю, талант, нравственная физиономия и образ мыслей Белинского сложились окончательно и достигли своего апогея. Никаких колебаний и шатаний из стороны в сторону не было. Его симпатии клонились к стороне Франции, а не Германии или Англии³⁴. Его идеалы были нравственно-социальные более, чем политические. Политической программы ни у кого в тогдашних кружках не было. К тогдашнему нашему *statu quo* Белинский относился отрицательно на всех путях и ненавидел панславизм во всех его направлениях и со всеми его идеалами, чутко схватывая, что эти идеалы — пережитое прошедшее, которое и привело к печальному настоящему³⁵. Ненависть и любовь его одинако-

во выражались страстно, подчас ребячески, с чудовищными преувеличениями, но в которых всегда лежала верная, светлая и глубокая мысль, которую мы понимали. Раз как-то в споре Белинский с яростью объявил, что черногорцев надо вырезать всех до последнего³⁶. Другой раз, по поводу какой-то книги, романа или стихов, где поминались русские шлемы, латы, доспехи, он напечатал коротенькую рецензию, в которой говорил, что ничего этого никто не видал, а все знают лапти, мочалы, рогожи и палки³⁷. Враги Белинского пользовались этими страстными выходками и отчасти умышленно, отчасти по тупоте не хотели или не умели понять того, что он говорил или хотел сказать. После положительная сторона его ненавистей и отрицания выступила яснее. Говорят, что за границей он страшно тосковал и стремился назад³⁸. В Москве, в одном разговоре с Грановским, при котором я присутствовал, Белинский даже выражал славянофильскую мысль, что Россия лучше сумеет, пожалуй, разрешить социальный вопрос и покончить с капиталом и собственностью, чем Европа³⁹. Но Белинский ясно понимал, что тогдашнее положение наше — с ног до головы ненормальное, что правительство идет само не зная куда и когда-нибудь расшибет себе башку об стену. Здесь будет кстати сказать, что Белинский не любил поляков и с необыкновенным своим чутьем, далеко опережавшим время, прозревал в них узких провинциалов. Ему особенно не нравилось в поляках то, что они считают Варшаву наравне с Парижем, Мицкевича — наравне с Гете, что послушать их, — их политики, поэты, художники, философы за пояс заткнут европейские светила⁴⁰. Эта черта, т. е. провинциальность, недавно подмеченная и разоблаченная Драгомановым у галичан и разных западных славян⁴¹, не ускользнула от зоркого глаза Белинского в поляках. Белинский вменял русским в особенное достоинство, что они трезвы умом, не таращатся, относятся к себе отрицательно и что им нечего охранять⁴². Петра Великого он боготворил. «Пишите скорей его историю, — говаривал Белинский, — пройдет сто лет, и никто не поверит, что Петр не миф, а историческая действительность»⁴³.

Из периода времени, который описываю, сохранилась в моей памяти еще одна черта Белинского, которую не могу пройти мимо. К концу моего пребывания в Петербурге, до московской профессуры, сюда приехал Рубини,

с которого началась здешняя итальянская опера. Наш кружок бросился с жадностью на эту новинку. Раз как-то давалась «Лучия де Ламермур». Мы были в ложе: Панаевы, Тютчев, Белинский и я (других не помню). В известной патетической сцене горького упрека героя оперы своей возлюбленной, Белинский был глубоко потрясен, насилу сдержал слезы и назвал Рубини великим актером. Объективной цены этот отзыв не имеет никакой, но он характеризует и Белинского, и время. Наше полное музыкальное невежество объясняет, каким образом ничтожная пьеса могла так глубоко подействовать на Белинского и вызвать то горькое чувство, которое лежало в душе каждого в то время⁴⁴. Оно объясняет и огромный успех Лермонтова и Некрасова — гораздо больше, чем их действительные поэтические достоинства.

Наконец, в 1843 году я оставил Петербург почти с таким же сожалением, с каким оставлял Москву, чтоб переехать в Петербург. К кружку, к Белинскому я привязался всей душой. Связи с ним после того никогда не прерывались. С Белинским они еще укрепились дружбой с Герценом, Грановским, Кетчером, Е. Коршем и другими членами московского кружка, которого Белинский был членом⁴⁵. Каждый раз, что Белинский приезжал в Москву, мы с ним виделись очень часто на дружеской ноге^{*}.

Вскоре, т. е. несколько лет спустя после переезда моего в Москву, затеян был Белинским альманах под названием «Левиафан». Все друзья должны были дать что-нибудь. Я изготовил для него статью: «Взгляд на юридический быт древней России», доставившую мне известность и почетное имя⁴⁶. Но между тем возникла мысль основать новый журнал в Петербурге. Говорилось, что это будет журнал Белинского, что он основывается для него, чтоб вырвать его из когтей эксплуататора Краевского. Белинский попал на удочку с всегдашней своей младенческой доверчивостью. Что Панаев стал редактором «Современника», — это было еще понятно. Он дал деньги. Но каким образом Некрасов, тогда мало известный и не имевший ни гроша, сделался тоже редактором, а Белинский, из-за которого мы были готовы оставить «Отечественные Запи-

* Я забыл сказать, что, напутствуя меня на дорогу в Москву, Белинский сказал: «Ну, молодой глупдырь, вот вам мой завет в Москве: когда встретитесь с Шевыревым, обходите его за версту. Заметьте: в тот день, как с ним встретитесь, вы сильно поглупеете»⁴⁷.

ски», оказался наемником на жалованье, — этого фокуса-покуса мы не могли понять, негодовали и подозревали Некрасова в литературном кулачестве и гостиннодворчестве, которые потом так блистательно им доказаны⁴⁸. Статьи, предназначенные для «Левиафана», вошли в «Современник». Барышнические рекламы этого журнала нам очень не нравились. Стали доходить до нас дурные слухи. Белинский похвалил «Деревню» Григоровича; Некрасов выразил ему неудовольствие за то, что он похвалил в его (Некрасова) журнале повесть, о которой он (Некрасов) отзывался дурно⁴⁹. Все это сильно нас огорчало. Мне не было никакой охоты сближаться с новой редакцией и порвать связи с Краевским, к чему нас очень подзадоривали. Разницы в редакции не было, в сущности, никакой. Посреди всего этого я получил очень дружеское письмо от Белинского, который с нежностью упрекал меня за то, что я ничего не даю в новый журнал, предназначенный для выражения мнений и стремлений нашего кружка. «Вы, москвичи, — говорилось в этом письме, — много обещаете, а дойдет до дела, ленитесь. Болтать вы здоровы», — и все в этом тоне⁵⁰. Любя Белинского безмерно, я не стерпел и высказал ему все, что у меня было на душе; я написал, что поддерживать *его* журнал был бы рад радостью, но не журнал Некрасова, что лавочнический тон новой редакции мне не нравится и что это те же «Отечественные Записки» в другой обложке и проч. В ответ на это получил огромное письмо Белинского, листах на четырех, в котором он ругал меня на все корки, как только он один умел ругаться. (Это письмо я сжег гораздо после, во время неистовств правительства против литературы в 1848 г.) Смысл ругательств был тот, что я мальчишка, прекраснодушествующий москвич, дрянной мечтатель и т. д. В конце, однако, Белинский прибавил, что ругней облегчил себе душу и что только тогда и бывает доволен, когда во время писанья его бьет лихорадка. Смысл ругательств Белинского я понял вполне, и, конечно, ни одну минуту не был на них в претензии. В них Белинский заглушал то, что чувствовал сам. Справедливость того, что я ему писал, — вот что приводило его в ярость, но сознаться в этом ему было тяжело⁵¹. Поняв, в чем дело, я решил молчать и не расстраивать его больше. Через несколько времени, получаю от него другое письмо, нежное, кроткое, дружеское, с вопросом, отчего я молчу,

неужели рассердился. Затем в конце — о моих сомнениях относительно его отношений к «Современнику» и к Некрасову, Белинский, как будто нехотя, прибавлял, что я прав⁵². Это признание было мне очень дорого лично; оно, к несчастью, подтверждало то, что мы уже обстоятельно знали чрез В. П. Боткина, ездившего в Петербург.

Заново в эту беспорядочную летопись еще следующий факт. Не помню, в письме или в разговоре, Белинский отзывался об «Антоне Горемыке» Григоровича, который произвел огромное впечатление, — что чтение этой повести произвело на него такое же действие, как будто его самого отодрали кнутом⁵³.

В промежуток времени, что я был в Москве (1843—1848, в начале), Белинский женился, ездил с М. С. Щепкиным в Крым, ездил за границу⁵⁴. Отправился он с Тургеневым, которому, однако, скоро надоело возиться с больным, и он его бросил, оставя на руках П. В. Анненкова, который был тогда за границей, нарочно с ним съехался и очень дружески за ним ухаживал⁵⁵. На возвратном пути из-за границы Белинский ехал на пароходе с каким-то флигель-адъютантом и с обычной своей горячностью и младенческим простодушием разразился в проклятиях насчет действий правительства. Рассказывали, что этот разговор, переданный кому следует, обратил внимание III-го Отделения на Белинского. Так ли это — не знаю. Вероятнее, что переписка его с Гоголем, ходившая по рукам⁵⁶, и следствие о русской литературе, произведенное генералом Бутурлиным и М. А. Корфом, поднявшее из архивной пыли бесконечные доносы на литературу, в том числе графа С. Г. Строганова⁵⁷, заставили Вия открыть свой глаз на угасавшего Белинского. Угасал он очень кстати. Попов, старший чиновник III-го Отделения, бывший его учитель в пензенской гимназии, любивший его и заходивший к нему изредка, переменял к этому времени прежний свой тон с ним. Его требовали в III-е Отделение, куда он не мог явиться по болезни⁵⁸. Вскоре он умер. После его смерти, когда разыгралось дело Петрашевского и ключ к литературе сороковых годов был подобран в III-м Отделении, Л. В. Дубельт яростно сожалел, что Белинский умер, прибавляя: «Мы бы его сгноили в крепости»⁵⁹.

В 1848 году, подав в отставку из университета⁶⁰, я, промежуток времени между концом лекций и началом экза-

менов, поехал в Петербург искать места по учебной части в университете, лицее или училище правоведения. Тогда я навестил и умиравшего Белинского, который жил на Лиговке, в доме Галченковых. Он был очень плох. Помню, мы сидели с ним под открытым небом в садике или на дворе. Он едва говорил, задыхался. Из тогдашнего разговора помню, что он подтрунивал над вооружением Петропавловской крепости. Это, говорит, из боязни, чтоб я ее не взял. О В. П. Боткине он отозвался так: Боткин съездил в Европу и познакомился с ней как скиф: заразился европейским развратом, а великие европейские идеи пропустил мимо ушей. Боткин действительно возвратился в мое время из-за границы смакующим буржуем, падким до тонких наслаждений и закрытым наглухо для социальных стремлений того времени. Он был очень мало симпатичен⁶¹.

Вскоре после возвращения моего в Москву Белинский умер. Понимал ли он, что близок к кончине, этого я из разговора с ним не мог заметить. О смерти его мне рассказывали, что он был в забытии, бредил, говорил речи народу, как будто оправдывался, доказывая, что любил народ, желал ему добра⁶². Кончина Белинского, которая в другое время произвела бы сильное впечатление, прошла почти незамеченной посреди европейских волнений и безумств тогдашнего правительства, потерявшего голову от страха. Таких сатурналий мракобесия, каких мы были тогда свидетелями, едва ли скоро увидят наши потомки.

Белинский был небольшого роста, очень невзрачен с виду, сутуловат и страшно застенчив и неловок. Наружность его доказывала, что его воспитание и жизнь прошли вдали от светских кружков. Значительна была его голова и в ней особенно глаза. Несмотря на весьма некрасивые плоские волосы, прекрасно сформированный интеллигентный лоб бросался в глаза. Глаза большие, серые, страшно пронизательные, загорались и блестели при малейшем оживлении. В них страстная натура Белинского выражалась с особенною яркостью. Характеристично было в его лице, что конец носа был приподнят с одной стороны и имел впадину с другой. Верхняя губа с одной стороны была слегка приподнята. То и другое можно видеть на его маске. Спокойным он почти никогда не бывал. В спокойные минуты глаза его были полузакрыты, губы

слегка двигались. Очень некрасивы были у него выдававшиеся скулы. Ходил он большими шагами, слегка опускаясь, как бы приседая при каждом шаге. Сморкался и кашлял он чрезвычайно громко и неизящно. Вечно бывал он нервно возбужден или в полной нервной атонии и расслаблении. Детей он очень любил. Нежно был он привязан к своей дочери, из которой вышла, говорят, очень пустая девушка. Жена его, бывшая классная дама в одном из московских институтов, и сестра ее, жившая с нею и по выходе ее замуж за Белинского, — женщины очень посредственные, чтоб не сказать больше. Жена, говорят, мало давала ему счастья и только во время болезни ходила за ним. Лично я их мало знал, и обстоятельства женитьбы Белинского мне совершенно неизвестны⁶³.

Для полноты моих воспоминаний о Белинском я должен еще прибавить то, что об нем слышал, и отзывы о нем друзей.

Обстоятельства встречи Белинского с каким-то франтом у Панаева и его самобичевание перед ним за «Бородинскую годовщину» очень известны, и останавливаться на этом нечего⁶⁴.

Мне рассказывали, что еще в Москве Белинский, будучи учителем, давал уроки у Мих <аила> Мих <айловича> Бакунина, сенатора, вероятно, его двум дочерям, Авдотье Михайловне и Прасковье Михайловне. По какому-то случаю у Мих <аила> Мих <айловича> был обед, к которому учтивый хозяин дома пригласил и Белинского, пришедшего его поздравить перед обедом. Гости были разные московские сановные старички. Зашел разговор о французской революции, о казни Людовика XVI. Гости отзывались об этих событиях с ужасом и омерзением. Белинский, читавший в это время историю революции и приходивший в такой восторг, что катался на полу, — молчал глубоко. Хозяин, из учтивости, счел нужным втянуть в разговор Белинского и имел несчастье спросить его, как он думает об этих событиях. Тогда будто бы Белинский встал и, задыхаясь от страсти и ярости, торжественно вскричал: «Я бы, на месте их (то есть вождей революции) трижды казнил Людовика!» Эффект этой фразы на старичков был будто бы потрясающий⁶⁵. Сходный с этим анекдот рассказывает И. С. Тургенев, перенося его в Петербург, в салон кн. В. Ф. Одоевского. Белинский будто бы сказал громко, при гостях, что наши непорядки

исправит мать пресвятая гильотина⁶⁶. Мне кажется, что к обоим рассказам следует относиться очень критически. Что-нибудь лежащее в основании их, вероятно, было; но едва ли чудовищные размеры сказанного не выросли в устах рассказчиков.

Герцен передавал мне, что в каком-то разговоре, коснувшемся любимой Белинским женщины, последний пришел в такую ярость, что схватился за нож. Что это такое было — я не знаю. Записываю для соображения будущих биографов Белинского.

Герцен высоко ценил ум Белинского, говоря, что у него совершенно русская, светлая голова, удивительно последовательная, бьющая до конца. В пример он приводил, что Белинский, не зная по-немецки и только из отрывочных разговоров друзей познакомившись с системой Гегеля, тотчас же сообразил, в чем дело и суть его, и сам, без чьей-либо помощи, вывел все последствия из гегелевской философии, которые выведены из нее позднее либеральной и радикальной фракцией гегелевых последователей⁶⁷.

Между Белинским и Грановским была великая дружба, но я думаю, что непосредственной симпатии между ними не было, да и не могло быть. Это были две натуры, совершенно противоположные. Грановский был натура в высшей степени художественная, гармоническая, нежная, сосредоточенная. Мысль всегда представлялась ему в художественном образе, и в нем он передавал свои мысли и взгляды. Это не была маска, за которой он прятался, а свойство его природы. Всякая резкость была ему неприятна, всякая односторонность его шокировала. Многие считали его за это дипломатом, чуть-чуть не двоедушным и хитрым и вместе с тем слабым, бесхарактерным. Но такие суждения не шли в глубь этой натуры, удивительно изящной и резко отличавшей его от диковатой русской и в особенности московской среды. Представьте же себе рядом с Грановским — Белинского, страстного, нервного, вечно переходившего из одной крайности в другую, необузданного и мало образованного. Он не мог не смущать иногда Грановского своими выходками; точно так же как и сам, вероятно, не раз бесился и выходил из себя от гармонической, сосредоточенной умеренности и идеальности Грановского. Грановский к тому же был плохой философ, плохой диалектик и часто был побиваем в отвлеченных спорах, даже когда был прав. О Белинском Гра-

новский говорил всегда с большим уважением, с большою любовью, но прибавлял, что он страшно увлекается и впадает в крайности. Если б эти натуры не сплочали в теснейший союз внешние обстоятельства, благородство общих стремлений, личная безукоризненность и сумасшедший гнет мысли, науки и литературы сверху, Белинский и Грановский, наверно бы, разошлись, как Грановский впоследствии разошелся с Герценом^{6*}.

Остается сказать, что для Белинского, вовсе не знавшего по-немецки и с трудом читавшего французские книги*, друзья — Боткин, Станкевич и, кажется, Панаев, делали извлечения из иностранных книг и даже, говорят, переводили целые книги, может быть, статьи и брошюры. Я знаю об этом из рассказов. Говорили также, что Станкевич, сохранивший на Белинского до конца огромное влияние, сдерживал его в крайностях и увлечениях письмами из Берлина, с дружеской правдивостью говорил ему жесткие истины насчет его незнания и непонимания философии⁷. Когда я жил в Петербурге, Белинский мне говорил, что философия молодому уму не дается, а дается зрелому возрасту. «Теперь я, — прибавлял он, — только-только созрел достаточно для занятия философией». Этот отзыв был, может быть, отголоском писем Станкевича, особенно когда Белинский убедился, что его советы и упреки оказались совершенно справедливыми в глазах Белинского.

Вот и все. К сказанному я не могу прибавить ни одной черты из того, что у меня удержалось теперь в памяти. Образ его я ношу в своей голове и в своем сердце как святыню.

С.-Петербург.

6 февраля 1874 г.

* Переведа «Отец Горно» Бальзака (или другой роман, не помню), Белинский перевел слова «les vaisseaux se sont cassés» — «корабли сломались», когда речь шла об артериях. Над этим очень смеялись и приводили эту ошибку как доказательство его невежества.

ФИЛОСОФИЯ И НАУКА В ЕВРОПЕ И У НАС

М. Г. и М. Г.!

То, что я буду иметь честь представить на ваше обсуждение, есть несколько мыслей о роли и значении философии и науки на европейской почве и у нас. Позволяя себе обратить ваше внимание на этот предмет, по-видимому, весьма отвлеченный и сухой, я очень далек от мысли утомлять вас проведением невозможной параллели между несуществующей русской философией и когда-то живыми, а теперь поблекшими европейскими доктринами. Передо мною носится другая задача, глубоко занимательная и современная.

Как бы ни были прискорбны многие явления русской жизни в наше время, оно имеет одну знаменательную характеристическую черту, за которую ему простится многое: везде, на всех путях, самоуверенная и самодовольная рутина постоянно, хотя и медленно уступает перед проблесками своеобразной мысли, которая все чаще и чаще пытается выразиться в образе, слове, деле. Взгляните на все стороны нашей современности: на искусство, знание, на самое практическую жизнь — всюду вы встретитесь с попытками выбиться из готовой колеи на какую-то новую дорогу. Эти опыты, правда, пока редко бывают удачны; слишком часто они отзываются еще то фразой, то натяжкой, то даже гримасой; но не надо забывать, что нас давит всею своею тяжестью авторитет великих европейских образцов, на которых мы воспитывались почти целых два века; а главное, мы еще не выучились думать и работать сосредоточенно, мы боремся против рутины как-то инстинктивно, бессознательно, урывками, ощупью, случайно. Наши слабые начинания организуются в стройное дело лишь с той минуты, когда нам совершенно уяснится, что мы такое теперь и чем должны быть, а такое сознание может быть результатом лишь критической мысли и работы, которая теперь у нас только начинается.

Работа эта нелегка, и совершить ее не под силу одному человеку, а разве одному или двум поколениям мыслящих людей. Но у нас она необходима и настоятельна, теперь может быть больше, чем когда-нибудь, и потому каждый, мне кажется, обязан нести на суд других все, что им передумано. Только прикладывая песчинку к песчинке, мы можем ускорить критическое выяснение наших задач и наших воззрений.

Глубоко сознавая эту обязанность, я решаюсь, отложив в сторону авторское самолюбие и щепетильность, предстать перед вами с несколькими беглыми замечками, в сыром виде, как они пришли мне на ум, в надежде, что и другие сделают то же самое, и из такого грубого материала сложится со временем стройное здание самостоятельной русской критики и русской науки.

I

Будущий историк, исследуя наше время, не без изумления спросит: чем объяснить быстрые смены различных направлений, точнее сказать — настроений, которые мы, русские, пережили в такое короткое время? Кто помнит, что у нас думалось и писалось лет тридцать тому назад, тому невольно кажется, будто с тех пор прошел добрый век — так все изменилось в наших мыслях и нашей литературе. За каких-нибудь двадцать, двадцать пять лет нельзя было писать ни о каком, даже самом обыкновенном, житейском предмете, не предпослав философского вступления, довольно отвлеченного и туманного свойства¹. Общечеловеческие соображения, в которых нередко здравый смысл только предполагался или подразумевался, проторгались решительно всюду, даже в разборы книг о поваренном искусстве. А теперь? Теперь философия совершенно забыта. О ней никто не думает; поминают ее вскользь, разве для того только, чтоб потешиться над забавными простаками, которые могли заниматься таким вздором². Говорить серьезно о философии теперь почти так же смешно, как носить напудренный парик. Современники и свидетели прежних наших бесконечных философских споров, сотрудники и усердные читатели журналов того времени, переполненных философскими умозрениями, не могут не чувствовать себя теперь перенесенными в какой-то другой, чуждый им мир.

Удивительная перемена! В последнее время вышло в свет немало замечательных книг по части философии в

русском переводе¹. Лет двадцать тому назад появление их у нас было бы целым событием; журналы, задолго вперед, возвестили бы о их выходе и посвятили бы им обширные статьи в отделе критики; об этих книгах и по их поводу завязались бы бесконечные споры на словах и в печати; всякий, кто и не читает журналов, счел бы своею обязанностью, кстати и некстати, заявить, что эти книги ему известны, что он имеет о них свое мнение; имена их переводчиков и издателей произносились бы всеми с сочувствием или злобой, смотря по взгляду и литературной партии, но во всяком случае не было бы закоулка, где бы о них не говорили люди, хотя бы только претендующие на название образованных. А теперь? Теперь эти почтенные труды едва кому известны; они прошли почти незамеченными и украшают собою не кабинеты ученых, литераторов, журналистов и любителей, а кладовые издателей, которые горюют, зачем так непроизводительно употребили свои деньги.

Отчего такая странная перемена и что она означает: упадок ли у нас науки и литературы, или движение вперед, большую зрелость мысли и знания?

Нам кажется, ни того, ни другого. По правде сказать, и самая-то перемена больше на словах, чем на деле. Все обстоит у нас по-старому, как ведется многие и многие десятки лет. Философия никогда не была у нас предметом серьезного интереса. Живая в ней потребность есть плод богатой умственной и нравственной жизни, которая у нас пока еще впереди и представляет лишь чаемое будущее. В Греции философия явилась на смену религиозным верованиям, развившимся из первобытного обожения сил и явлений природы. Когда древние греки вышли из возраста, которому такие верования свойственны, философия стала для них необходимостью, жизненным делом; она дала ответ на вопросы, которые неизбежно представляются возмужавшему человеку и народу и которых юношеские представления не разрешали. У новых европейских народов философия шла долгое время рука об руку с религией. Христианство рассеяло сомнения древнего мира, и потому философия была сперва только отголоском веры, служила ей и вторила. Но когда католическая церковь пропиталась язычеством и, утратив христианский дух, налегла тяжким бременем на мысль, совесть и быт европейских народов, явился протест против обманчивого подобия веры; авторитет католичества был отвергнут, и на смену ему явился протестантизм, опирав-

шийся, в борьбе с унаследованной верой, на науку и знание. Философия сделалась тогда таким же орудием протестантства, как прежде была орудием католичества. Так в Западной Европе философия не расходилась с религией. Она выросла на почве веры, вскормлена борьбою за религиозные вопросы, переплеталась в тысячи сочетаниях с вероучением и видоизменялась вместе с движением религиозных верований. Оттого философия вошла в плоть и кровь новых европейских народов, была у них жизненным делом; а когда религиозный интерес охладел, философия оказалась единственною преемницею богатого наследства, завещанного многовековым религиозным развитием. На нее и перенесены были все ожидания и надежды, которые в средние века возлагались на религию.

Находим ли в нашем прошедшем что-нибудь подобное? Вся наша деятельность и силы были поглощены исключительно выработкой одних непосредственных внешних условий государственного и народного существования. Столетия прошли в этих заботах, в борьбе за бытие, в развитии первых зачатков гражданственности и языка. При таких условиях вера и церковь посвятили себя у нас тем же трудам, стоявшим на первой очереди, и стали нашим народным знаменем, выражением нашего государственного единства, а раскрытие внутренней стороны христианства было, по необходимости, предоставлено будущим, менее удрученным поколениям. На Западе борьба церкви с государством и католичества с протестантизмом заставляли людей додумываться до высших начал, которые могли бы разрешить эту борьбу; у нас церковь никогда не выделялась из народной и государственной жизни, не представляла обособленной, гнетущей силы, следовательно, не было никакого внешнего повода к богословским спорам и развитию философии. Откуда же ей было родиться на такой почве? С чего бы могла она стать здесь насущною потребностью, живым делом? Ничего такого никогда и не бывало. Философия завезена к нам из Европы, вместе с другими заграничными новизнами, и имела в России одну с ними судьбу. Выводы из нее, насколько они были практически пригодны, пошли в дело, которое предстояло делать, а сущность философских учений, их научная, теоретическая сторона, в которой выражалась самая суть жизни европейских народов, стала предметом праздного дилетантизма и быстро сменяющейся моды. Что в Европе было отголоском и результатом внутреннего развития, то у нас вырождалось, умалялось, утрачивало

значение, ввиду наших нехитрых потребностей, или обращалось в предмет досужего любопытства для большинства так называемых образованных людей, исчезающих, как пылинки, в огромной массе, — много-много, что усваивалось отдельными единицами, которые горячо, с убеждением, примыкали к европейской жизни. Этим все и ограничивалось. Наша почва не представляла условий для акклиматизации чужеземного растения европейской философии, и она глхла у нас, не пустив корней. Что происходило в покрое нашего платья, в обстановке нашей ежедневной жизни, то делалось и с нашими философскими взглядами: они были таким же рабским отголоском европейских учений, в их хронологической последовательности, но без той внутренней связи и внутреннего процесса, который в Европе их постепенно создавал, вытесняя старые учения и ставя на их место новые⁴. Так велось у нас сто лет тому назад, так идет и теперь. Мы удивляемся, что в каких-нибудь двадцать лет исчезли и следы того философского увлечения, которое замечалось у нас прежде во всех образованных кружках и, казалось, предвещало у нас философии прочную и светлую будущность. Но не то же ли было и прежде? Разве не так же занимали в свое время умы наших образованных слоев Гоббс, Пуффендорф, Вольф, Локк, Лейбниц, Руссо, Вольтер, французские энциклопедисты, Кант, Шеллинг, как впоследствии Гегель и Шопенгауер, а теперь О. Конт и новейшая английская школа? Да и что же иное наше теперешнее пренебрежение к философии, как не отголосок того же пренебрежения к ней в Западной Европе?⁵ Отношение между европейским философским движением и нашими сменяющимися настроениями остается все то же, каким было сто лет тому назад. В Европе, за секуляризацией целого быта, последовала и секуляризация философии. Настал критический период, глубоко потрясший самые основания европейской жизни и подкопавший под корень стародавние воззрения. Он продолжается и до сих пор. Каков бы ни был его исход, каждый акт великой драмы европейской жизни есть результат прошлого, каждая крайность страстной мысли в разгаре борьбы есть вывод из целого ряда бытовых и научных данных. Прошрое, пережитое, отвергнутое, живет еще в настоящем, предполагается в новых созданиях европейской мысли, объясняет и оттеняет ее. Кант продолжается в Фейербахе, как Локк в Бокле. У нас нет и не может быть этого преемства философских воззрений; мы берем каждое учение

особняком, принимаем или отбрасываем его по впечатлениям, ищем в нем догматической истины, а не ответа на поставленные предыдущим вопросы, и потому так же скоро с ним расстаемся, как его приняли. На нашу жизнь эти случайные перепрыжки от системы к системе, от воззрения к воззрению не имеют решительно никакого влияния и ничего собою не выражают. Сегодня идет полоса позитивизма, вчера шла полоса идеализма; как знать, завтра, может быть, пойдет полоса спиритизма или чего-нибудь подобного.

II

Эти факты естественно наводят на такую мысль: нельзя ли нам вовсе обойтись без философии, благо никто о ней у нас теперь и не помышляет? К философии, в последнее время, сильно охладели и в Европе. Если она была необходимым спутником тамошнего развития, которому мы так чужды, то с какой стати нам поднимать старые дрожжи? Что нам в этой философии, натворившей столько бед, расплотившей столько заблуждений, и однако все-таки не приведшей ни к каким положительным результатам? Точные науки — другое дело: чему они учили тысячу лет тому назад, то остается истиной и теперь. Новые в них открытия не упраздняют сделанного прежде; знания накаплиются и запас их все увеличивается и увеличивается. А философия? Она до сих пор не выработала ни одного положительного, твердого результата и, вертясь, как белка в колесе, на самом деле не двигается с места. Должны же когда-нибудь люди понять тщету и бесплодность усилий открыть какую-нибудь непреложную истину путем философии; и почему же не быть нам счастливым народом, которому суждено расстаться, раз навсегда, с этим заблуждением, — тем более что в нас нет и никаких задатков для развития этой призрачной науки?

На первую половину этих полусомнений и полувопросов отвечать нетрудно. Род человеческий, от создания мира, задавался философскими вопросами, и, несмотря на тщету решений, периодически возвращался и возвращается к ним снова. Если безумно искать того, чего нельзя найти, то такое безумие есть, во всяком случае, родовое, принадлежность человеческой расы, и мы, составляя часть ее, по всей вероятности, пойдем одною дорогой с другими племенами. Философия везде и всегда сопровождала умственную жизнь и была ее показателем. Как только

сложится у нас такая жизнь, неизбежно явятся и философские взгляды. А что касается безуспешности попыток добиться чего-нибудь положительного философским путем, то против этого предрассудка можно сказать многое. Не слишком ли мы требовательны и нетерпеливы? Что последнее слово философии не сказано, — это не подлежит сомнению; но из-за того, что оно не выговорено, не упускаем ли мы из виду частных, очень прочных результатов, которые ею добыты? Дознанная неудовлетворительность прежних философских систем не есть ли уже, сама по себе, важный, хотя пока, правда, только отрицательный вывод? Трудно отвергать, что, признав множество взглядов не ведущими к разрешению задачи, мы, тем самым, точнее чем прежде очерчиваем пределы вопроса и его решения, а это, конечно, есть важный результат; значит, мы настолько приблизились к решению или, если хотите, настолько удалились от ошибочного решения; несколько шансов на пути заблуждений меньше, — стало быть, несколько шагов на пути к истине выиграно.

Но этого мало. Каждое философское учение, отвергая другие, приходит к тому посредством исследований, которые и побуждают уклониться от прежнего решения и предложить новое. Положим, оно тоже ошибочно; но частные исследования, которые к нему привели, нередко имеют свою безотносительную цену и подвигают дело вперед. Как часто случается встретить в учении, давно отвергнутом, отдельные замечания и мысли, поставления и разрешения частных вопросов, которые остаются бесспорными и которыми последующие учения пользуются для других заключений. Эти заметки, мысли, исследования составляют прочный капитал философии, переходящий по наследству от поколения к поколению; он постепенно все растет и увеличивается. Нетерпеливо желая видеть последний результат долговечной работы, мы смотрим свысока на это накопление частных трудов и думаем, что если все не сделано, то не сделано ничего; однако именно этот запас опытности и делает для нас невозможным возврат к старым, отвергнутым системам, повторение задов, что было бы непременно, если б накопленный материал не обуславливал нашей мысли и не направлял ее неизбежно обязательно на новые пути. Этот ход бесспорно длинен и утомителен; но не надо забывать, и это всякий знает, что чем сложнее задача, тем труднее ее решение. Понятно, что задачи философии, самые сложные и трудные из всех, должны требовать для своего решения

и больше времени, и больше усилий. Пока все сколько-нибудь важные частные вопросы, которых разрешение предполагает философия, не будут совершенно выяснены, до тех пор она по необходимости будет перепадать из ошибки в ошибку, из заблуждения в заблуждение; но круг их, как сказано, будет все тесней и тесней, пока, наконец, мысли не останется другого исхода, кроме истины, возможной и доступной для человека.

А если это так, то способность народа к философии, характер участия в ее развитии и самое значение такого участия — все это должно представиться совсем в ином свете, чем мы привыкли думать. Мы воображаем, что народ по натуре способен или не способен к философии, и фаталистически объясняем, почему у одних есть философские учения, а у других нет, — точно у каждого из них на роду написано иметь или не иметь философии. Мы думаем, что уж если нет и не бывало безусловно истинной философской системы, то не стоит иметь никакой; в связи с этим взглядом нам представляется, что философия — плод кабинетной работы, высижена упорным головным трудом и потому стоит внимательно прочесть книжки, где напечатаны философские учения, чтоб отлично усвоить их себе и потом применять их результаты в любой стране и у любого народа. Но на поверку выходит, что все эти и подобные им представления о философии в действительности совсем не оправдываются. Философия, как всякая другая наука, вырабатывается исподволь, постепенным накоплением частных исследований. Как ни одна наука, касающаяся с какой бы то ни было стороны человека или природы, не сказала еще своего последнего слова, несмотря на тысячелетние усилия, так и философия; потому-то историческая обстановка философского движения и развития играет в ней такую большую роль. При изучении философских доктрин так же важно объяснить, при каких обстоятельствах и условиях они сложились, как и то, чему они учат; недостаток окончательных выводов науки, имеющих догматическое достоинство и важность, выдвигают на первый план историческую сторону и весь интерес сосредоточивается главным образом на том, как, по какому поводу и при каких данных определилась философская доктрина. Но тут-то и оказывается, что понять ее гораздо труднее, чем кажется с первого взгляда. Если философские воззрения, имевшие в свое время огромное влияние на людей и целую эпоху, впоследствии утратили свое значение и оказались

недостаточными, то сила их действия, очевидно, зависела не от одной степени их истинности, но и от того настроения и расположения умов, которое делало людей особенно склонными принимать известные воззрения и им сочувствовать; а такое настроение и расположение, в свою очередь, зависят от известных обстоятельств и обстановки. Человеку и народу необходимы особенные, могучие побуждения, чтоб вызвать их к деятельности, тем более к философским взглядам. Нужны глубокие противоречия в жизни, большой внутренний разлад и страдания, столкновения сильных страстей, чтоб заставить людей подняться умом до высших вопросов философии и попытаться найти им решение. В кабинете мысль только обрабатывается, получает научную форму и обделку, но зарождается она всегда посреди борьбы и страданий; она, можно сказать, вымучивается у эпох и народов. Оттого так разнообразны философские системы, так запечатлены они местным колоритом и современными условиями. Можно выучить наизусть философские учения и повторять их слова, не принимая их к сердцу и не соединяя с ними того глубокого жизненного смысла, какой они имеют в устах людей и народов, которые их создали. Такое наружное восприятие доктрины и остается холодным, без всякого влияния на жизнь, и заменяется очень легко другим, таким же безучастным и вялым. Философское учение, вылившееся из глубины души у одних, у других обращается, при таких условиях, в предмет пустого любопытства или моды, и служит не для разрешения жизненных вопросов, не для удовлетворения требований ума, а как средство для более или менее приятного и остроумного разговора, который дает желанный случай блеснуть дешевым знанием и умением фехтовать на словах.

Таким образом, нельзя утверждать, что тот или другой народ способен или не способен к философии. Все к ней способны; только отсутствие поводов и побуждений задуматься над философскими задачами объясняет отсутствие серьезного к ней интереса, какое замечается, например, у нас; а с другой стороны, действительная, жизненная постановка философских вопросов у каждого народа так своеобразна, так обусловлена его историческими особенностями и обстоятельствами, что философские воззрения можно, не искажая истины, считать такими же национальными явлениями, как произведения изящной литературы или искусства. Наш обычный прием — собирать в одно философские учения всего мира и обозревать их

по известной системе, прирезывая и прикраивая их по усмотрению, есть верный способ сделать невозможным правильный взгляд на развитие философии, потому что философские доктрины не могут быть схематизированы таким образом, без утраты существенного своего смысла. Они возникают при самых различных обстоятельствах, по самым разнообразным поводам, и вследствие того так различны, что трудно подвести их даже под общие группы, а вытянуть в последовательный ряд, как мы делаем, совсем невозможно. Что мы, русские, до сих пор не имели философии и очень мало о ней заботимся, хотя когда-то много о ней толковали, доказывает только, что нас еще ничто не заставляло глубоко задуматься; а когда раз такая необходимость явится, будут и у нас философские учения и сильно отзовутся в умах и сердцах, потому что, вместо более или менее остроумного повторения того, что думали другие, они займутся разрешением наших настоятельных, насущных вопросов и, след<овательно>, будут ответом на живые народные потребности⁶.

III

Пойдем теперь далее и спросим: в каких наших вопросах могут заключаться задатки для развития философии и у нас?

Очень трудно отвечать на этот вопрос. При решении всех наших несложных задач, мы до сих пор так добродушно и наивно руководимся сметкой, практическим навыком, много-много что справкой в иностранных книгах, что можно смело сказать, таких задач пока нет вовсе. Да и поводов к ним нет, по-видимому, никаких. Нас не давят предания отжившего и чуждого нам мира; церковь, подобная католической, только по имени христианская, на самом же деле языческая, нас не угнетает; один народ не сидит у нас на плечах у другого, город не пригнетает села, феодал — вассала; нет бесконечной дробности обычаев, преданий и прав, которая представляла бы чрезвычайные преграды государственному и народному единству. Правда, мы не раз кряхтели и изнемогали под тяжестью ноши, которая на нас взваливалась разными внутренними и внешними невзгодами; но наш ум и совесть не возмущались глубокими сомнениями, не разрывались внутренними противоречиями, которые только и вызывают думу — эту почву философии, эту живую точку отправления философских воззрений.

Есть, однако, и у нас один вопрос, которому, кажется, суждено, рано или поздно, стать родоначальником и источником самостоятельного и народного философского мышления. Такой вопрос — наша нравственная личная несостоятельность и негодность, о которые сокрушаются у нас всякие благие начинания, откуда бы они ни шли. Едва ли можно указать в целой истории другой пример подобного личного нравственного ничтожества, при таком величавом государственном развитии. Для нас, современников, оно пока еще заслонено переходом, который мы совершаем в новый период исторического существования, перестройкой нашего внутреннего быта и связанными с тем заботами... Но когда уляжется эта временная суетливость и возбуждение, когда новые пути обозначатся яснее и мы опять станем лицом к лицу с самими собою в ежедневной будничной жизни, везде и всегда однообразной и прозаической, — нам придется серьезно и мучительно задуматься над нашей полной современной нравственной негодностью, при которой никакой правильной ежедневный быт, хотя бы самый неприхотливый, невозможен и немыслим.

Одной из характеристических особенностей нашего исторического развития было и до сих пор есть — чрезвычайно слабое, едва заметное участие в нем личного действия, воли-энергии человека. Не будь нескольких деятелей, да очень немногих, затерянных в массе мыслящих людей, можно было бы подумать, что не история народа развивается, а совершается стихийный, безличный процесс. В Западной Европе переходы из одной фазы исторического развития в другую обозначались усиленным движением умов, разгаром страстей, борьбой партий, нередко разрешавшейся междоусобиями или войнами. В страстных порывах уносилось отжитое и зарождалось новое; бури расчищали дорогу торжественному ходу истории. Ничего подобного у нас не происходило. Когда по ходу вещей наступала пора сменить обветшалые формы, замечалось, что сложившиеся долгим временем привычки ослабевали и расшатывались; но из-под них не прорывались ни бешеные страсти, ни непомерные притязания гордой мысли; вместо того, сквозь трещины оседающего здания проступали плесень и гнилость и их усиление служило предвестием, что будет перемена, что она близится. Наконец, она действительно наступала: государство призывало микроскопическое меньшинство к преобразованию и при его сочувствии и деятельном участии проводи-

ло реформу, которая совершалась обыкновенно молча. После того, гнилость и плесень на время еще продолжались и даже как будто усиливались, а затем понемногу исчезали, впредь до приближения нового перелома в государственной жизни.

Обе формулы исторического развития, в Европе и у нас, имеют свои выгоды и свои неудобства, до которых мы здесь не коснемся; но дело в том, что глубокое их различие объясняется различною, здесь и там, ролью лица. В Европе история совершалась при деятельном его участии; лицо внесло там в ход ее свои взгляды, убеждения, страсти и произвол. Этот деятель — человеческая личность — так ярко выступает там в историческом движении, что с первого взгляда можно подумать, будто он один творит историю и нет других движущих ее пружин. У нас наоборот: лицо так стушевано, так бледно, таким является пассивным носителем истории, что можно подумать, будто сами элементы, сочетаясь между собою, без посредства лиц, по присущим им законам, необходимо и неизбежно, как природа, выводят одни за другими различные фазы исторического движения. Большинство людей, не участвуя деятельно в этом стихийном процессе, подчиняются ему, как судьбе, не отзываясь на него ни мыслью, ни сердцем. В этом, между прочим, причина необыкновенной трудности разгадать смысл разных событий русской истории, имевших, по-видимому, большое влияние на ход дел; об этих событиях часто нет других сведений, кроме лаконической строчки в летописи или современном акте; мысль тогдашних людей не осветила для нас значения факта, его причин и последствий; она остановилась на нем, как будто для того только, чтоб безучастно и пассивно занести его в сухой перечень событий.

Отсюда — противоположные задачи внутреннего развития в Европе и у нас. Там надо было выдвинуть вперед те общие основания, на которых зиждется общественный строй и которые беспрестанно оттеснялись чрезмерно выдающимися притязаниями отдельных личностей и созданных ими добровольных товариществ и союзов. У нас, наоборот, главные направления внутренней истории выражают потребность вызвать к деятельности и жизни личность, ввести ее тоже в общую экономию развития.

В последние десять — пятнадцать лет сделано у нас, в этом направлении, несравненно более, чем когда-либо прежде. Но способны ли мы, современники одной из зна-

менательнейших эпох русской жизни, наполнить живым содержанием новые формы общественности? Составим инвентарь тех личных, умственных и нравственных сил, которыми мы располагаем для обновления нашей гражданственности. Какая поразительная и прискорбная бедность! Слова заступают у нас место мыслей и убеждений, сноровка и наружный такт — решения воли и характер, надерганные из печатного фразы — продуманное знание. Инстинкты, капризы, случайные обстоятельства и обстановка определяют наши действия, в которых оттого нет ни плана, ни последовательности, ни выдержки. Мы лишены почти всякого умственного и нравственного содержания, и потому нет у нас ни идеалов жизни, ни твердой воли, ни живых интересов к чему бы то ни было. Все скользит по нас, вызывая иногда взрывы; но они не имеют значения и проходят без последствий, потому что им не на что опереться в пустоте, царящей внутри нас. Нас нельзя назвать ни хорошими, ни дурными людьми: мы не подлежим нравственному изменению. От внутренней пустоты и бессодержательности скука томит нас и мы несем ее всюду: в семью, в приятельскую беседу и общество; от скуки мы с жаром бросаемся на все, в надежде развлечься, и не можем ни на чем остановиться и успокоиться, по неспособности сосредоточиться на чем бы то ни было. От той же умственной и нравственной бессодержательности мы неспособны удержать своих мыслей и чувств на известной высоте и тотчас же перепедаем из мечты в грязь и пошлость. Мы самые ненадежные люди, но не преднамеренно, а по легкомыслию и ветрености. Никаких благ, даже материальных, мы не умеем ценить, потому что ничто не западает глубоко в нашу душу.

Руки опускаются, когда подумаешь о нашей умственной и нравственной нищете, особенно ввиду громадного дела обновления, над которым нам приходится работать, и на которое нужно много сил, много труда и умения. Внутри нас нет сдержки, нет узла и центра, к которому сходились бы впечатления, в котором бы они сосредоточивались, перерабатывались, группировались, и из которого, в новом виде, действовали бы на внешнюю нашу жизнь, деятельность, общество. Не то — европеец, даже самый посредственный. Каковы бы ни были его нравственные качества и умственные свойства, как бы высоко или низко он ни стоял на общественной лестнице, он всегда хорошо знает, к чему, зачем и как идет; намерение, цели и средства у него обдуманы и соображены,

у нас — редко, почти никогда. Нетрудно себе представить, какие из нас могут выйти деятели в домашнем и частном быту, или в том круге общественной жизни, который нам принадлежит, — как мы в них устроимся, и как они устроятся, благодаря нашему участию! Факты налицо. Мы сами громко, во всеуслышание, заявляем, что наш частный и общественный быт ниже посредственности. Но вместо того, чтоб обратиться на самих себя, мы ищем объяснения наших зол в разных внешних, побочных обстоятельствах, и, пребывая упорно в иллюзиях, убаюкиваем себя тем, что нас впоследствии улучшит внешняя обстановка, для которой мы пока сами не годимся и которая, пока мы таковы, не может ни явиться, ни держаться. В этом заколдованном кругу мы безнадежно вертимся, не видя себе ниоткуда ни света, ни помощи.

Все это, положим, и так, скажут иные, но какое же оно имеет отношение к философии? Нас исправит и воспитает церковь, школа, закон, когда они деятельно и серьезно возьмутся за дело.

Совершенно справедливо. Евангельская проповедь и учение у нас, как и везде, очеловечат простые сердца народных масс; закон как внешняя охрана, как помеха вредному для других людей и общества произволу всех и каждого, выдрессирует большинство к правильной гражданской и общественной жизни. Но школа? Тут уж вопрос становится труднее. Как и к чему воспитывать, — разве можно решить этот вопрос, не уяснив себе наперед человеческой природы и к чему следует вести человека? Ведь в воспитание входят не одни педагогические приемы, но и ясное понимание общей системы приготовления человека к жизни. К тому же проповедь, воспитание, законодательство и управление производятся людьми, и их взгляды дают им то или другое направление. Сумма идей и убеждений, вращающихся в образованных слоях, служит камертоном общественной жизни и всем ее отправлениям, а идеи и убеждения неразрывно и тесно связаны с тем или другим разрешением высших вопросов, т. е. именно с философией. Каковы господствующие философские взгляды, таково будет и настроение образованных слоев общества. Таким образом, все пути ведут к философии; мы от нее никак отделаться не можем и волей-неволей беспрестанно к ней возвращаемся, часто сами того не подозревая.

Вот с какой стороны, как мы думаем, действительный, серьезный интерес к философии должен со временем за-

родиться и у нас и стать когда-нибудь тоже жизненным делом. Научное сибаритство и дилетантизм должны будут уступить место глубокому изучению, когда мы наконец поймем, что от того или другого решения философских задач зависит то или другое направление нашей практической жизни и деятельности. Не у нас одних так. Везде, где философия развивалась, она, как уже замечено, коренилась в житейских потребностях людей и выносилась в книгу, на трибуну и кафедру из глубочайших и сокровеннейших недр народной жизни. Наша собственная вина, если мы этого не видим или не понимаем.

Но когда мы наконец убедимся, что коренное наше зло есть наша умственная и нравственная негодность, и начнем задумываться над тем, как бы ее устранить или хоть ослабить, нам придется гораздо серьезнее, чем теперь, вглядываться в прежние и новые философские учения, познакомиться с ними в той обстановке, условиях и с теми предпосылками, которые их вызвали. Как следует понимать господствующие в наше время философские направления, какой их действительный смысл, в чем их сильные и слабые стороны — вот вопросы, разрешением которых мы должны будем начать непривычный нам труд философского мышления. Такой труд, руководимый и направляемый нашими насущными потребностями, нашими основными задачами, должен, как я убежден, привести нас прежде всего к выработке новых научных оснований этики или учения о нравственности, которое, в теперешнем своем виде, не выдерживает критики, не соответствует нынешнему состоянию наук и потому находится в полном пренебрежении и упадке.

Этим я заключаю свои заметки. Более подробное их развитие выходит из рамки публичного чтения и составляет уже предмет научного исследования.

БЕЛИНСКИЙ И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ДВИЖЕНИЕ НАШЕЙ КРИТИКИ

(письмо А. Н. Пыпину)

...Вы желаете знать, что я думаю о значении Белинского как критика, его отношении к последующему развитию русской литературы и о тех общих выводах по этому вопросу, которыми вы закончили биографию Белинского в июньской книжке «Вестника Европы» (1875 г.)¹.

Не знаю, с какого конца приняться, чтоб отвечать вам. Отделываться общими местами, говоря с вами, я не могу, да и вы вызываете меня на объяснение, конечно, не из простого любопытства и не из одного дружеского ко мне расположения. Вы, без сомнения, хотите выслушать откровенное мнение современника Белинского, чтоб при помощи лишнего показания очевидца снова обсудить важный и спорный вопрос о том, в какой мере последующее движение русской литературы и критики можно признать за непосредственное продолжение деятельности Белинского². Как бывший его ученик, знавший его близко, преданный ему всем сердцем, живо и свято хранящий его память до сих пор, я должен казаться вам субъектом вполне годным для подобного расспроса.

Но роль свидетеля, как вы знаете, сама по себе далеко не легкая и очень деликатная; а у нас, вследствие разных условий и ввиду наших удивительных нравов и понятий, она еще затруднительнее, чем где-либо. Мы не умеем заявлять напрямик наши мнения, да и привыкнуть к этому у нас не было пока никакой возможности. Волей-неволей мы высказываемся осторожно, вполголоса, беспрестанно озираясь, из боязни, чтобы от наших слов не вышло какого-нибудь печального недоразумения. В откровенной и прямой речи, того и гляди, проронишь слово, полезное и желанное для тех, кому и не думаешь вистовать. Кто же у нас понимает, что можно, стоя на одной почве и разделяя основные взгляды и стремления, расходиться в выводах и применениях одной и той же мысли³? Никого вы

не уверите, что различие мнений не пустой повод, не вздорная придирка, за которыми скрывается вражда и ссора.

Несмотря на такие неблагоприятные условия, я решаюсь ответить на ваши вопросы прямо, без обиняков. Близко знающие нас и наши дружеские отношения не перетолкуют моих слов, а до других мне нет дела. Если, при существующей у нас путанице понятий, без недоразумений обойтись нельзя, то умолчаниями и полуютковренностями делу не поможешь, скорей вызовешь новую вереницу недоразумений; напротив, высказываясь вполне, не оглядываясь по сторонам, можно еще надеяться как-нибудь выкарабкаться из хаоса мнений, с которым мы не умеем справиться.

В вашем замечательном биографическом очерке вы не раз высказываете мысль, что Белинский выражает собою переход от чисто эстетического направления нашей литературы и критики к общественному и политическому, насколько последнее у нас вообще возможно. Этот взгляд кажется мне как нельзя более верным¹. Развитие самого Белинского, хотя и неправильное, непоследовательное, быстрыми переходами и скачками от одного воззрения к другому, служит лучшим подтверждением вашего взгляда. Каждый из нас знает и помнит, как в воззрениях Белинского, сначала чисто и строго литературных и эстетических, постепенно начал преобладать элемент общественный, публицистический, который мало-помалу оттеснил эстетическую точку зрения на второй план. Этот ход развития Белинского подал повод к тысячам недоразумений, вызвал против него тысячу заслуженных и незаслуженных обвинений, вводил его самого много раз в ошибки и промахи, но пришелся как раз по времени и совпал с полусознательным, чтоб не сказать бессознательным, движением в том же направлении самого русского общества. Это, вместе с замечательным талантом, с удивительной, страстной энергией, с глубокой правдивостью и честностью Белинского, и выдвинуло его на первый план среди наших литературных критиков, и поставило его, в продолжение почти десяти лет, во главе нашей журналистики. Равного ему, в течение всего этого периода, не было. Белинский живо чувствовал и предугадывал новое направление, к которому исподволь склонялась русская общественная мысль. После 1861 года выяснилось с совершенною очевидностью, до какой степени чутье Белинского было верно, как он тонко понимал, куда кло-

нится наше развитие⁵. Он не хвастал и не преувеличивал, говоря, что хорошо знал русскую публику. Она также умела читать и понимать его.

Значительные личности, обозначающие и выражающие собою целый фазис умственного движения, нельзя определить какую-нибудь одной чертой. Всякая эпоха, личность, событие, произведение ума или таланта, завершившие собою одну фазу развития и начавшие другую, если их рассматривать в связи с прошедшим и последующим, поражают многосложностью выраженных в них мотивов. Оно и понятно. Кто-то очень верно заметил, что действительность в каждую данную минуту заключает в себе налицо все и всякие возможности; только обстоятельства более или менее благоприятствуют развитию одних, убивают другие. Оттого, где только обстоятельства позволяют, там непременно зарождается значительное явление, которое одною своею стороною заканчивает предшествующее, подводит под него итоги, а другою zaczynaет последующее. В каждом таком явлении выражается полнота, многосторонность, разнообразие действительной жизни — более или менее, смотря по большей или меньшей значительности самого явления или фактов, которые оно собою обнимает. Чем событие, лицо, произведение крупнее, тем комплекс их сторон и мотивов сложнее и разнообразнее. В полученном итоге всегда налицо весь матерьял, из которого он сложился, только одни составные части выражены ярко, выпукло, другие едва заметно.

Белинский был, бесспорно, одним из таких значительных и сложных явлений. В нём выразились, сосредоточившись, как в фокусе, мотивы, бродившие в мыслящих слоях тогдашнего русского общества. Как всегда бывает, современники и ближайшие преемники и последователи Белинского не вполне поняли и оценили его значение, потому что новые мотивы, на которые он только намекнул, ускользнули от внимания и выяснились лишь впоследствии, когда то, что он сделал, прошло через анализ, когда каждый выраженный им мотив был разработан отдельно и односторонность его продолжателей и толкователей дала возможность яснее оттенить настоящий смысл его направления и деятельности.

О Белинском существуют у нас, как вы знаете, самые противоречивые отзывы.

И. С. Тургенев, которого слова вы приводите, ступает отрицательную сторону деятельности Белинского⁶.

Вы победоносно доказываете, что Тургенев ошибается, что и у Белинского отрицание играет большую роль. Другие идут гораздо дальше вас и видят в Белинском одного из представителей отрицательного направления.

Многие противопоставляют Белинского последующим критикам в том, что он имел идеалы, а они — нет^а. Но такой взгляд опровергается фактами. Критики, выступившие непосредственно после Белинского, несли с собою идеалы, высказывали их и проводили.

У нас также очень распространено мнение, что Белинский был идеалистом, а последующие наши критики представляли собою реальное направление; но И. С. Тургенев, проводя параллель между Белинским и выступившими после него критиками, дает понять, что смысл, чутье действительности были гораздо больше развиты у Белинского, чем у них^а, а это противоречит ходячим мнениям.

Но это еще не все. Критика находится у нас теперь в совершенном разложении и упадке. Одни возводят причины этого прискорбного явления к Белинскому, в котором видят родоначальника современного ложного направления; другие, напротив, не признают солидарности между Белинским и его продолжателями и приписывают последним упадок нашей критики.

Посреди таких разноречивых суждений трудно найти, не проверив общих оснований, из которых они вытекают. Слова «идеализм» и «реализм», «идеал» и «отрицательное направление» употребляются у нас беспрестанно, и все предполагают, что с ними соединен определенный, точный смысл; а на поверку выходит, что каждый понимает эти выражения по-своему, вследствие чего мы не можем столкнуться о самых простых вещах. Такая путаница понятий происходит, как мне кажется, от крайне слабого и поверхностного знакомства с движением философских идей и воззрений в Европе. На беду, наше незнание и непонимание еще осложнились переломом в общественной жизни, который мы толкуем каждый по-своему, редко справляясь с прошедшим и настоящим.

Мы воображаем, будто идеал и идеализм — одно и то же, будто реализм и позитивизм, относясь отрицательно к идеализму, должны относиться отрицательно и к идеалам. Страннее этого недоразумения нельзя себе представить. Идеализм и реализм — это два полюса дуалистического воззрения, против которого борется наука, стараясь свести их к одному началу. Борьба эта — теоретическая,

научная, продолжающаяся до сих пор; вероятный исход ее едва только начинает обозначаться в смутных чертах. Поводом к нападкам на идеализм послужило выделение поставленного им начала из действительности и перенесение его в метафизический мир, отрешенный от реально-го¹⁰. Научный вопрос, из-за которого идет спор, вертится около того, можно или нельзя объяснить идеальное начало условиями и явлениями реального мира? Огромное большинство образованного русского общества, по складу русского ума, склонно думать, что можно. Правильно ли такое предрешение вопроса или нет — это покажет дальнейшее развитие науки в будущем. Как бы то ни было, но спор между идеалистами и реалистами не имеет ничего общего с признанием или непризнанием идеала, потому что без идеала не могут обойтись ни те, ни другие. Идеал есть синтез, в который слагаются результаты наблюдений, опытов, исследований, и служит нормою для деятельности. Он разграничивает мысль от дела, теорию от практики, стоит на перепутье между созерцанием, которым заканчивается процесс познания, и стремлением осуществить на деле, воплотить дознанное. Деятельность, в которую замешаны умственные процессы, немислима без идеала; он ставит ей цель и дает норму, и потому, отрицая идеал, мы отрицаем деятельность в принципе. Оттого-то и крайние идеалисты, и крайние реалисты несут с собою идеалы, хотя они у тех и других различны. Мы же перемешали идеалы с идеализмом, теоретическое отношение к явлениям с практическим.

Современная философия пока еще не выработала теории самопроизвольной деятельности и воли; неудивительно, что у нас существуют о них самые сбивчивые понятия. Чем разнится идеал от мечты, как относится к действительности, какие может принимать формы — все эти вопросы мы не затрагиваем; а не разрешив их, нельзя шагнуть при оценке движения литературы и критики.

Мы знаем, что идеал и воздушные замки существенно различны, хотя их прежде часто смешивали. В чем же их разница? В том, что идеал есть прообразование будущего в действительном мире, положим, более полное и совершенное, чем будущая действительность, но к которому она или будет или, по крайней мере, должна приближаться; а мечта, фантазия так и остаются в нашем представлении, не переходя в жизнь.

Я уже заметил, что люди с реальным направлением и идеалисты, как только обращаются к действительности,

непременно опираются на идеал. То, из чего он вырабатывается у тех и других, одно и то же: это данные, факты, явления; только постановка идеала и его, так сказать, фактура совершенно различны. Для реалиста факт, данное, с его условиями и законами, стоит на первом плане, и связь того, что есть, с тем, что должно быть, ни на минуту не теряется из виду. Цель всякой деятельности — переделать существующие сочетания в желаемые новые; но достижение ее вполне зависит от свойства данных сочетаний и предполагаемых новых, а сочетания, в свою очередь, — от свойства фактов и условий их сочетаний, как существующих, так и предполагаемых. При такой зависимости от факта, идеал не может иметь, в глазах человека с реальным направлением, заранее подробно определенной и законченной формулы. Он может только указывать путь, наклон, строй деятельности, да и то условно. Идеал есть собственно запрос, поставленный действительности, — запрос, от которого реалист готов и отказаться, если свойства фактов не дают ответа или если нет налицо условий для их желаемых сочетаний. Итак, для реалиста центр тяжести — в фактах, а не в идеале. Последний к ним приурочивается, ими поверяется и видоизменяется.

Иначе смотрят идеалисты. Создавая идеал, они слушаются только своего доброго или злого сердца, своего правильного или ошибочного взгляда и желания. Они убеждены, что действительность должна подчиниться идеалу, а если она его не слушается, они от нее отворачиваются, отрицают ее во имя идеала. Относясь к ней так свободно, сосредоточившись исключительно на своей любимой мысли, идеалисты не придают значения способам осуществления и мало на них останавливаются. Все их внимание, все силы обращены на выработку идеала. Они формулируют его в своем уме во всех подробностях, заранее решая, как, в каком виде он должен перейти в жизнь. Она должна с ним сообразоваться, а не он с нею, и, если она ему не уступает своих прав, — тем хуже для нее. Таким образом, идеалисты переносят центр тяжести из действительной жизни в идеал. Во имя идеала они готовы насиловать действительность, перекраивать ее по данному заранее шаблону. Мысль идеалистов безусловна в своих требованиях, враждебна свободным проявлениям действительной жизни, если они с нею не совпадают. У идеалистов идеал так же стеснителен и узок, как устаревшие исторические формы, отжившие свой век, несмотря на глубокое различие во всем остальном. В науке

и философии такая постановка идеала создает метафизику, в общественном и политическом быту — деспотизм и доктринерство, в области художества — теорию искусства для искусства.

На указанные различия идеалов мы не обращаем внимания, а между тем они играют решительную роль в истории и определяют ход развития культуры.

В тесной связи с сказанным находится и другое, весьма важное недоразумение. Мы думаем, что отрицательное направление возможно без положительного, другими словами, что можно отрицать что-нибудь, не имея идеала. Но чистое, голое отрицание есть пустая отвлеченность, форма без содержания. В действительности, отрицая, мы непременно должны что-нибудь полагать, что-нибудь ставить на место отрицаемого. Отрицание без идеала того, что должно осуществиться и во имя чего мы отрицаем, есть логическая нелепость. Такое отрицание в Европе возможно разве как крик отчаяния, а у нас выражает только лень мысли и зуд деятельности.

После этих необходимых оговорок я могу, не боясь недоразумений, высказать вам свой взгляд на значение Белинского и на отношение к нему последующих критиков. Вы, может быть, не согласитесь со мною, но во всяком случае смысл того, что я хочу сказать, будет для вас совершенно ясен.

Представляя собою переход русской мысли из сферы отвлеченной — литературной, эстетической, философской — в общественную, Белинский носил в себе идеал нравственной человеческой личности, как он создавался у нас по европейским образцам целым периодом исторического развития, и в то же время страстно отрицал наше тогдашнее общественное безобразие. Белинский ясно понимал необходимость реформ, нетерпеливо ждал их осуществления, и чем дальше, тем отрицательнее относился к окружавшей его действительности. По своей точке зрения, по своей натуре и по тогдашнему настроению лучших умов, Белинский не мог довольствоваться одним чисто теоретическим наслаждением истиной, красотой и нравственным идеалом, а хотел видеть осуществленным то, в чем был глубоко убежден, чему был предан всем сердцем. Тем сильнее раздражала его житейская гниль и пошлость, на которые он натывался на каждом шагу. В приведенном вами сопоставлении Белинского с последующими нашими критиками И. С. Тургенев ступал отрицательную сторону Белинского, развитую в нем, как

все мы знаем и помним, до болезненной страстности. Мне кажется, что в этом Тургенев неправ и увлекся полемикой. Отбросив или даже только смягчив отрицательную сторону деятельности Белинского, нельзя, мне кажется, составить себе ясное представление об этой личности, обаятельной именно своею живою цельностью и многообразием. Но и вы, как я думаю, увлеклись не меньше И. С. Тургенева, утверждая, в противоположность ему, будто движение русской литературы и критики после Белинского было продолжением и дальнейшим развитием направления, какое он собою выразил. Вы, мне кажется, упустили из виду, что после Белинского идеалы у нас сначала переродились¹¹, а потом стали более и более удаляться на второй план, уже с перерождением идеалов, а тем более потом, когда они потускнели, на первый план все сильнее и резче выступало отрицательное направление, которое, в последнее время, почти исключительно господствовало в нашей литературной критике. Но про Белинского никак нельзя сказать, чтоб он был представителем отрицательного направления. И вы, и И. С. Тургенев вдаетесь, как мне кажется, в крайность, только в противоположном смысле. Вы оба слишком подчеркиваете одну характеристическую черту Белинского, оставляя в тени другие, отчего образ его выходит у обоих неполный и неверный. Благодаря этому, читатель получает неправильное представление не только о Белинском, но и о последующем ходе нашей литературной критики. Что она имела непосредственную связь с деятельностью Белинского, это, конечно; бесспорно. Противуполагая Белинского последующим деятелям, И. С. Тургенев, а с ним и мы, современники Белинского, хотим только сказать, что новое движение русской литературы продолжало его односторонне, не исчерпало всего того, что им намечено, не обняло всей полноты его содержания, а вы обходите этот вопрос, особенно налегая на то, что и Белинскому далеко не было чуждо отрицательное направление. Вы, разумеется, совершенно правы; но не надо забывать, что перед Белинским, во всю его жизнь, носились идеалы, которые давали тон и смысл его отрицанию; идеалы его, правда, менялись, но никогда, до конца своей жизни, он не расставался с ними. Только во имя идеалов Белинский относился отрицательно сперва к предшествовавшей русской литературе¹², потом и к русской современной действительности. К нему вполне применяется ваше замечание, что ненависть есть обратная сторона любви¹³. И то

и другое шло у него рядом, в теснейшей связи. Именно потому, что Белинский имел идеалы, вносил их в свою деятельность, влияние его и было так сильно. Белинский воспитал целые поколения и воспитал их не одним отрицанием отжившего, отсталого, негодного, но и поднятием мысли и настроения на высоту нравственного идеала, который потом формулировался каждым по-своему и служил ему точкой опоры в практической деятельности.

После Белинского тон, характер, направление критики мало-помалу существенно изменились. Деятели, выступившие вслед за ним, недолго остановились на идеале нравственной личности, который был им выдвинут. Они скоро перешли к идеалам общественным, социальным. Но их идеалы не были продолжением и развитием идеалов Белинского. Последний, в лучшую пору своей деятельности и до конца, твердо стоял на реальной почве, не сходя с нее никогда; преемники же его, напротив, были идеалисты. Такое отклонение нашей критики от реального направления в сторону идеализма и привело ее постепенно к упадку. Белинский, вырабатывавший свои идеалы с внутренней борьбой и страданиями, о которых мы теперь не имеем никакого понятия, никогда их не формулировал и не навязывал действительности. Вся сила и обаяние его воззрений заключались в стремлениях, глубоко проникнутых нравственным элементом. Они-то и настраивали каждого сообразно с особенностями его природы, подымали силы, вызывали самодеятельность в самых разнообразных направлениях; отсюда рождалась борьба мнений и вопросы разъяснялись¹⁴. Как настроение, идеалы Белинского предоставляли широкий простор личной деятельности каждого, не заключали ее в тесную рамку, столь удобную для нашей умственной лени; напротив, они будили к умственной деятельности, вынуждая искать применения идеала к самым различным обстоятельствам и условиям. Белинский действовал прямо на живую почву и источник всякого идеала — на человеческую нравственную, духовную личность. Последующие критики относились к действительности совсем иначе. Отжившим формам жизни они противопоставили свои, столько же настойчивые и требовательные, и потому столько же стеснительные. Программа была дана, но способы ее выполнения не были указаны. Что же такие идеалы имеют общего с идеалами Белинского? Последние создали школу в литературе и критике, первые привели и ту и другую к упадку. И это не была случайность, а логическое по-

следствие неправильной постановки идеалов¹⁵. Сила, центр тяжести не могут заключаться в тех или других формулах, а лишь в умственном и нравственном строе людей и обществ. Ближайшие преемники Белинского, как идеалисты, не поняли этого, верили во всемогущество сформулированного идеала и были убеждены, что, заменив старые новыми, они обновят русскую среду. Надежды их не исполнились. Действительность не уступила идеалу. И вот, когда они сошли со сцены, отрицательное направление, получившее уже при них более острый характер, чем при Белинском, выступило на первый план, стало главной задачей, сосредоточило на себе лучшие силы. Но отрицательное направление действует глубоко, имеет важное воспитательное значение только тогда, когда идет рука об руку с выработкой идеала, проводит его в общественное сознание и в действительную жизнь. У нас же случилось иное. После критиков, непосредственно следовавших за Белинским, мы посвятили всю умственную деятельность отрицанию, а о созидании, уяснении и проведении идеалов перестали заботиться. Они отходили все дальше и дальше, меркли понемногу в нашем сознании и наконец совсем испарились. Осталось одно голое отрицание, которое, не опираясь на идеал, выродилось в бессодержательное остроумничание¹⁶. Мы стали издеваться не только над нашей действительностью, над обветшалыми привычками и убеждениями, но и над идеалом вообще, прикрывая отсутствие руководящей мысли и бедность интеллектуального содержания громкими названиями реализма и позитивизма, которых значения и смысла мы не понимали. Негодование, страстность прежних деятелей сменились бесстрастной и безучастной насмешкой по поводу всего на свете. Под кажущейся ядовитостью критики трудно стало отыскать, при всем желании, что-нибудь похожее на общую мысль, на убеждение, на руководящие идеи. Отсутствие серьезного критического направления, немыслимого без идеала, лишило критику доверия в глазах публики и влияния на действительную жизнь. Деятельность без идеала, отрицание без созидания, которое мы великодушно предоставляли будущему, вероятно, рассчитывая, что оно будет толковее нас, — вот нелепость, до которой мы дошли, — и что всего курьезнее — во имя реального и позитивного направления! Так пренебрежение идеалами отмстило нам ничтожеством отрицания, которое только в идеале и черпает свою значительность и силу. В руках Белинского отрицание было лишь орудием,

средством, а не целью; после Белинского в нем уже выразилась горечь обманутых ожиданий и неисполнившихся надежд; а затем, еще позднее, средство выросло мало-помалу в самостоятельную силу, стало целью. Положение и отрицание, которые сначала шли рядом, вместе, а не порознь, потом распались. Мы теперь запутались в отрицании до того, что даже забыли, во имя чего отрицаем. Отрицание, оторванное от идеалов, не может не выродиться в бесцельное и бессодержательное движение, которое в конце концов должно стать в отрицательное отношение не к тому или другому ошибочному или ложному идеалу, а к идеалу вообще, и сделаться бесплодным.

Все эти явления, служащие признаками сбивой с толку мысли, конечно, принадлежат уже не тому времени, о котором мы, собственно, хотели говорить; но эти явления произошли вследствие ошибочной постановки идеала после Белинского, вследствие того, что путь, им указанный, был оставлен и забыт.

Против совершившегося факта нельзя спорить: его надо признать и понять. Можно сказать *a priori*¹, не вдаваясь ни в какие исследования, что в обстоятельствах и условиях нашего прошедшего и настоящего, в жизни и настроениях наших интеллигентных слоев, конечно, были сильные побудительные причины, почему русская мысль направилась в сторону идеализма, а потом отрицания, а не развития идеалов на реальной почве. Я убежден, что это вполне соответствовало массе умственной и нравственной гнили, накопившейся в нашем обществе; разлагая и унося ее, оно, конечно, принесло большую и весьма существенную пользу. Для меня также совершенно ясно, что, в силу закона развития, работа мысли после Белинского не могла продолжаться сразу, вместе, по всем наметенным им направлениям, и естественно ударились лишь в то, для которого было налицо наиболее благоприятных условий. Не говорю уже, что было несправедливо, как делалось у нас еще недавно, вменять отрицательное направление в вину, укорять его в каких-то злых умыслах и безнравственности. Такие приемы, обличая совершенное незнание и непонимание дела, были бы далеко не в уровень с задачей объяснить выдающееся явление, так долго совершавшееся на наших глазах и овладевшее почти всеми умами. Но, отбросив в сторону сплетни, недостойные инсинуации и мелочные счета кружков и партий, нельзя не сказать, что идеализм и отрицательное направление, одержавшие верх после Белинского, не разре-

шили поставленной им задачи, поняли ее узко и односторонне и оставили целую существенную сторону его деятельности неразработанной. Лишь в недавнее время мы стали догадываться, что идти дальше в исключительно отрицательном направлении нельзя. В нас заметно пробуждается сознание, что без идеалов в смысле Белинского жить невозможно. Их опять начинают требовать и искать. Но возникающая потребность в таком идеале, обращение к нему, лучше всего доказывает, что наследство, завещанное Белинским новому времени, не состояло в одном идеализме и отрицательном направлении; что в нем заключалось еще нечто, что мы оставили без внимания, над чем подсмеивались и без чего, однако, в конце концов никак не можем обойтись.

Я знаю, что такой взгляд вызовет множество возражений; знаю, что, высказывая его, я затрогиваю вопрос весьма щекотливый, разделяющий мыслящих русских людей на два враждебные лагеря, что стоит коснуться этого вопроса, чтоб затихшие споры и страсти вспыхнули с новою силой. Но именно потому-то и следует, мне кажется, выговориться до конца. Добрая брань лучше гнилого мира, который ничего не разрешает и все запутывает. Вопрос о положительном и отрицательном направлении, об идеализме и реализме у нас везде предполагается, но мы как будто боимся его поставить; а не разрешив его, мы никогда не поймем друг друга и никогда не выясним средних терминов, около которых могла бы сгруппироваться русская интеллигенция. Эта последняя цель кажется мне до того важной, особенно теперь, что я решился коснуться этого нашего больного места с своей точки зрения, представляя другим сделать то же с своей.

Вы, может быть, спросите меня, чего же я жду, на что надеюсь? Какое новое направление может, по моему мнению, оживить и возродить нас умственно и нравственно?

Кроме серьезной, честной мысли и серьезного, честного научного труда, я, признаюсь, ничего не вижу и ничего не могу придумать. Формулированных, безусловных идеалов, с печатью действительности и реальности, нет и быть не может, стало быть, нечего и искать их. Формулы меняются и перерождаются, смотря по обстоятельствам и условиям. Но известный умственный и нравственный строй, без которого человек и общество жить, действовать и творить не могут, достигается только наблюдением, опытом, знанием. Серьезная теоретическая и практическая деятельность и без особых усилий, сама собою,

создаст умственное и нравственное настроение, которого мы теперь не имеем ни в положительном, ни даже в отрицательном смысле. Отрицательному направлению мы придавали Бог весть какую цену; но оно имеет смысл только как орудие положительной творческой деятельности, расчищая для нее путь, само же по себе ничего не значит, ничего создать не может. Создает только положительная деятельность, выясняя, вырабатывая идеал из данных фактов, для их иного сочетания. Несмотря на несомненную связь и взаимную поддержку, положительной и отрицательной деятельности, каждая из них предполагает особое предрасположение ума и делает свое особое дело. Положительная деятельность выискивает и группирует факты, из которых складывается идеал; отрицательное направление, напротив, подбирает отжившее и обветшалое, предназначенное к сломке. Оба ведут к одной цели; одно не может быть без другого; когда одно из них берет верх над другим, развитие неполно и неправильно, потому что заменить друг друга они не могут. Без отрицательного направления ум легко успокаивается на добытых результатах, переходит в созерцание и дремоту; при одностороннем же отрицательном направлении, место идеалов заступает рутина, против которой люди и общество без идеалов оказываются бессильными. Кто мог предвидеть, что Франция в конце XIX века станет клерикальной?^{1*} А это совершается на наших глазах. Нравственная природа, как и физическая, не терпит пустоты; где нет живой деятельности, опирающейся на идеалы и в них почерпающей свежесть и силу, там место ее заступает исторически данная рутина, заведенный порядок, изношенные лохмотья.

Вот что я имел сказать вам. Делаю это тем охотнее, что для всех наших направлений и литературных партий пора высказаться, устранить недоразумения, определить точки действительного разномыслия. Полное разъяснение различных взглядов и направлений, определив место каждого в ряду других, создало бы у нас умственную и нравственную силу, в которой мы так нуждаемся. Только спокойный обмен мыслей, чуждый полемических придилок, мог бы создать у нас положительное направление, которое теперь у нас не разрабатывается и глохнет, за недостатком тепла и света. Наша общественная мысль, лишенная идеалов, представляет поразительную разнородность и хаос. Печать не руководит мнением, а стереотипирует вальпургиеву ночь, шабаш ведьм, происходящий

в наших головах. Вы думаете, что в настоящее время естественные науки способны дать строй нашим мыслям, как во время Белинского его давала философия. Нет, естественные науки не дадут его. В них нет и не может быть ответа на вопросы, которые лежат вне их круга. К тому же под именем естественных наук теперь гуляет по свету выродившаяся философия, окончившая свой век¹⁹. Ею мы начинали себя всласть, но не получили от нее ни ответа на вопросы, ни строя мыслей. Белинский не знал естественных наук и умер четверть века тому назад, а глубже и лучше, чем мы, понимал человека и человеческое общество. Чему же научили нас естественные науки, правильнее сказать, философия, прикрывающаяся их названием? Нет, наполнить пустоту в наших мыслях, вылечить нас от нравственного бессилия могут только идеалы, от которых мы отреклись в принципе и горячее, честное искание которых составляет глубокий смысл многострадальной журнальной и критической деятельности Белинского.

НАШ УМСТВЕННЫЙ СТРОЙ

Наш теперешний умственный строй, если в него хорошенько вдуматься, едва ли не беспримерное явление в истории; верно то, что ни одно из современных европейских обществ не представляет ничего подобного.

Прислушайтесь к толкам мыслящих и просвещенных людей всевозможных направлений и оттенков, — и везде услышите одну и ту же жалобу: мало у нас производительности, слишком мало труда, энергии, выдержки. В уме, талантах, способностях — нет недостатка, но они пропадают даром, вырождаются в пустоцвет. Куда ни обратиться, во всем сильно чувствуется недостаток осмысленного и капитализированного труда. Оттого малейшее, ничтожнейшее дело тормозится у нас громадными препятствиями, превышающими силы одного человека. Наталкиваясь на них на каждом шагу, всякий побьется-побьется да и сложит руки и ничего не делает.

Несогласные ни в чем, мы все совершенно согласны в этих сетованиях и расходимся только в объяснении, отчего это у нас так? Одни, большинство, сваливают вину на внешние обстоятельства, другие — на нашу будто бы прирожденную вялость и дряблость, причины которой ищут в этнографических, географических, климатических и тому подобных условиях.

Допустим, что эти объяснения более или менее справедливы. Что ж из этого? Должно быть, на них нельзя успокоиться, когда жалобы не только не прекращаются, а, напротив, из года в год усиливаются. Нам, волей-неволей, поставлена задача, которая настойчиво напрашивается на решение и которой, видно, нельзя обойти рассуждениями, положим, очень убедительными, о том, откуда она взялась и почему решить ее невозможно. Объяснения, очевидно, не исчерпывают предмета; да они и не могут его исчерпать. Нам нужно дело, труд, работа, то, что возможно, то, что должно быть, а наши рассуждения обнимают только то, что было и есть. Удовлетворить нашим требованиям может только дело, а не умствования. И у нас наступает, если уже не наступил, один из тех фа-

зисов развития, когда мыслящее отношение к действительности, к себе и окружающему стремится перейти в деятельное, творческое. На смене этих фазисов одного другим вертится вся жизнь и отдельных лиц, и человеческих обществ. Работа всегда прерывается остановкой, чтоб подумать о том, что сделано и как вперед вести дело; а потом опять начинается работа.

Если наши жалобы не пустые фразы, не праздные слова, а выражение продуманной и прочувствованной потребности, то такому нашему расположению и настроению должны бы, кажется, отвечать наши убеждения и взгляды. Когда человек говорит, что вокруг него мало работают, что он и сам хотел бы потрудиться, но ему мешают разные обстоятельства, надо предполагать, что он считает себя и других способными к деятельности; другими словами, что он допускает не только возможность, но и действительное существование тех условий, без которых она не мыслима. Но на деле оказывается противное. Взгляды, между которыми делятся образованные слои нашего общества на группы, отрицают, прямо или косвенно, самые условия деятельности. Как это ни странным покажется, но это так. В вопиющем противоречии убеждений и стремлений, дела и его предпосылок, и заключается та наша удивительная особенность, которой нет подобной в целом мире. Насущные потребности и здравый смысл толкают нас на труд, на работу, а взгляды, теории отвергают самые основы труда, доказывая, по всем правилам искусства, их несостоятельность и невозможность.

Настроения, господствующие в нашем образованном обществе, колеблются между двумя мирозерцаниями, которые и определяют наши теоретические воззрения. По одному из них — условиями материального мира определяются явления мира духовного. Как первый, так и последний одинаково подчинены закону роковой связи условий и их неизбежных последствий. Этим самостоятельная и самодеятельная личность отрицается в самом принципе¹. Противоположное этому мирозерцание видит в материальном мире нечто вовсе не существенное; существенным же, имеющим действительное бытие, считает один духовный мир, выносит его за пределы материальной природы и признает недоступным положительному научному исследованию, которому будто бы подлежат только явления материальной природы. По этому воззрению, знание явлений духовного порядка может быть лишь непосредственным, а не результатом индукции, по-

тому что это знание основано на личном, субъективном сознании, факты которого не подлежат критической проверке. Положительная наука, по тому же взгляду, ограничена пределами естествоведения и не в состоянии поднаться до анализа и критики явлений духовного мира².

Оба мирозозерцания исключают друг друга. Только в этом и состоит их тесная взаимная связь. Чтобы понять, почему каждое из них ставит свои положения так односторонне, стоит только их сопоставить и сравнить между собою: смысл обоих тотчас же вполне выяснится. Одно смешивает положительное знание с естествоведением и, на основании этого смешения, отрицает объективность личного сознания и самопроизвольности. Другое, не споря против такого отождествления положительного знания с естествоведением, признает, вследствие того, явления духовного мира недоступными положительной науке и сводит знание этих явлений на непосредственное личное убеждение, не подлежащее научной проверке. Деятельная, творческая сторона человека отрицается обоими мировоззрениями, но различным образом — одним прямо, другим косвенно. Доктрина, сводящая весь мир духовных явлений к законам внешнего мира, последовательно приходит к чистому фатализму. В самом деле, если нет самопроизвольности, хотя бы в самой ограниченной доле, если каждое духовное явление есть роковой результат внешних явлений и невольная причина роковых последствий, то всякое усилие поставить цель и стремиться к ее достижению есть не более как самообольщение, мираж ума, который не может же вечно продолжаться и должен когда-нибудь разоблачиться перед научной критикой; а раз эта минута настала, — самое стремление ставить цели, самая решимость бороться с препятствиями к их достижению должны исчезнуть. Не пробуем же мы схватить рукою луну! Другая доктрина, перенося действительно сущее из реальных индивидуальностей в метафизическую сущность, тоже приводит к фатализму, потому что, при таком взгляде, источником деятельности, творчества, является не реальный, действительный человек, а метафизическая сущность. Правда, доктрина не отрицает самостоятельности и самодеятельности отдельного, индивидуального лица; но она не определяет и не может определить доли той и другой, которая ему остается за перенесением центра их тяжести в метафизическую сущность.

Здесь не место критически рассматривать и оценивать научное достоинство обоих мировоззрений. Истинны они или ошибочны, — это вопрос, который может быть решен только при помощи правильной теории познания, до сих пор еще, как известно, не установившейся окончательно. Оставим этот вопрос в стороне и обратимся к тому, что нас теперь занимает.

Из двух наших основных мировоззрений одно отрицает самодеятельность, другое — возможность объективного научного исследования явлений духовного мира. Спрашивается: как согласить с этими взглядами потребность в творческом, осмысленном труде? Разве осмысленная деятельность, творящая новое, возможна, когда в принципе отрицается самопроизвольность и когда область положительной критической науки ограничивается одними материальными явлениями? К какому периоду истории рода человеческого мы бы ни обратились, везде и всегда господствующие мировоззрения, строй убеждений, течение мыслей отвечали живым потребностям времени. Всякая мысль, по существу своему, есть как бы пятка, на которую человек опирается в борьбе с окружающею действительностью и с самим собой. Мыслью определяются его внутренние и внешние отношения, и в этом заключается великое, творческое значение теории. Самые, по-видимому, отвлеченные философские системы находились в общении такого рода с действительною стороною людей. Они переносили в мир отвлеченностей, часто в форме, трудно доступной большинству, то, чем в данную минуту бились живые человеческие сердца. Везде и всегда действительные потребности заставляли людей подходить к философской истине именно с такой-то, а не с другой стороны, оттенять с особенною яркостью именно этот, а не другой ее закон. Одни мы точно составляем изъятие из общего правила¹. Требования времени настоятельно толкают нас на развитие нравственной личности, самостоятельной и самодеятельной — этой основы не только гражданского и общественного, но вообще всякого человеческого существования; а наши мировоззрения находятся в вопиющем противоречии с этой насущною потребностью. Вместо того, чтоб работать нам в руки, они нас поддерживают, нам мешают, парализуют в самом зародыше наши поползновения к деятельности.

Не без некоторой зависти смотрим мы, и с этой стороны, на Западную Европу. И есть чему позавидовать! Сумела же она выработать свои доктрины так, что они раз в раз

отвечали и отвечают живым потребностям, идут с ними рука об руку, освещают, направляют их и ведут к сознательному, возможно правильному их удовлетворению в данное время и при данных обстоятельствах. Народится другое племя, явятся новые потребности, и мысль, теория снова спешат им на подмогу, создаются новые мировоззрения, новые доктрины, выдвигающие на первый план другую сторону истины, или другой закон, оставшийся до тех пор в тени, незамеченным, потому что не было повода, нужды обращать на них внимание; а пришло время, — и вот вся зоркость мысли, все силы науки устремляются на них. Так было в Европе всегда, так ведется и теперь. Теория и практика, системы и насущные потребности живут там не в разладе, а в тесном единении. Кажущаяся и действительная односторонность европейских мировоззрений объясняется именно этим бесценным их свойством — тесной связью с живою действительностью, с насущными потребностями.

Всем известно, из каких элементов сложилась европейская жизнь и развилась европейская культура. В основание европейской общественности легла сильно развитая личность. Личная независимость, личная свобода, возможно-нестесненная, всегда были исходной точкой и идеалом в Европе. Весь ее гражданский и политический быт, сверху донизу, был построен на договорах, на системе взаимного уравнивания прав. Европа долго боролась, прошла через целый ряд глубоких потрясений, прежде чем ей наконец удалось справиться с разрозненностью и замкнутостью враждебных друг другу союзов, ввести их в некоторые границы и подчинить условиям правильно организованного государства. Пока государственный принцип не выработался, связующим звеном служили римско-католическое вероучение и церковь, представитель влияния и власти христианства посреди разрозненного европейского мира¹. По образцу других союзов, церковь, с папою во главе, сложилась в Европе в сильную, крепко организованную корпорацию, которая по своему значению возвышалась над всеми прочими и держала весь европейский мир в своих руках. Но власть ее мало-помалу обратилась в нестерпимый гнет; вера и христианское учение стали служить ей благовидным предлогом для неслыханных злоупотреблений, так что римское католичество стало напоследок синонимом подавления свободы мысли и совести и вопиющего извращения евангельских истин. Это вызвало сначала протесты, которые постепен-

но перешли в открытое восстание и кончились отпадением значительной части европейского населения от римско-католической церкви⁵. Борьба эта, длившаяся столетия и продолжающаяся отчасти и до нашего времени, имела, по самому свойству вопросов, о которых шла речь, преимущественно теоретический характер и велась сначала на богословской, а потом на научной почве. Мысль и совесть, опутанные тысячью цепей, рвались на свободу, опираясь сперва на текст и смысл священного писания, а впоследствии орудием борьбы явились доводы науки, знания⁶. Эти теоретические споры, богословские и научные, и привели наконец европейское общество к гражданской и политической независимости от римско-католической церкви и главы ее — папы.

Вот условия, придавшие европейской мысли ее оригинальный, своеобразный склад.

Сильно поставленная индивидуальность и естественное ее последствие — замкнутая корпорация — тормозили дело политического и гражданского объединения. Поэтому, когда время пришло, мысль обратилась в Европе на то, что особенно озабочивало людей, — на выработку объективного права, в противоположность субъективным, личным притязаниям. Потому-то первое, а не последнее так ярко выдвинуто европейской мыслью и наукою на первый план. Об индивидуальном, личном нечего было заботиться, оно и без того слишком выпукло заявляло себя всюду, и обстаивать его теоретически не было никакой надобности. Как предполагаемая и более или менее враждебная началу объединения, личность, индивидуальность и оставлена наукою в стороне: наука занялась преимущественно общим, объективным, сравнительно более слабым, пришла к нему на помощь и обставила его теоретически с особенным вниманием.

Точно так же, и по сходным причинам, особенно тщательно разработан в Европе вопрос знания, объективной истины, а истина индивидуальная, вера, личное убеждение, заслонены, оставлены в тени. Протестовать и бороться против гнета римской церкви можно было, особенно сначала, не иначе как стоя на одной с нею почве и употребляя против нее ее же оружие — толкование священного писания; а такое толкование мало-помалу превратило спор из богословского в научный. Объяснениям духовенства стали противопоставляться объективные научные доводы; сила и авторитет последних, веских самих по себе, усиливались еще недоверием к толкованию тех, кто

считался исключительно уполномоченным проповедником истин веры. Так, вследствие несносного ига и злоупотреблений церкви, вера, личное убеждение стали исподволь резко противопоставляться объективной, научной истине; их естественное различие превратилось в отрицание веры и личного убеждения и в присвоение характера истины исключительно результатам научного, объективного исследования. Таким образом, в научном знании выковалось оружие для борьбы с церковью точно так же, как в политических и гражданских учреждениях выработаны средства для борьбы с индивидуальностью и корпорациями. По ходу вещей, полемика с церковью заострилась в отрицание личного, субъективного убеждения, а выработка государства и его враждебное отношение к личному произволу и самостоятельным корпорациям — в отрицание индивидуальности, принципа самостоятельности и самопроизвольности. Недоверчивость, подозрительность ко всему, что прямо или косвенно касалось внутреннего, психического мира, накопившиеся веками, придали критической стороне ума особенную тонкость, чуткость и преимущественно отрицательный склад и сузили науку, положительное знание. Отбиваясь от метафизики и схоластики, на которые главным образом опиралась церковь, наука искала и для себя твердой, несокрушимой точки опоры и нашла ее наконец в неизменных законах природы, менее сложных, чем психические, и более доступных для исследования. Что только математические и естественные науки считаются положительными, это объясняется не самым существом этих наук, а историческими обстоятельствами, при которых развилось в Европе научное знание. Между тем предрассудок этот укоренился и пережил условия, которые его породили. И не он один дожил до нашего времени. Из той же эпохи борьбы знания с римскою церковью унаследована нами злосчастная мысль, будто естественные науки не могут иначе как отрицательно относиться к явлениям духовного, психического мира, будто материальное и психическое, духовное исключают друг друга. Вековою борьбою знания с римским католицизмом объясняется также, почему все явления и законы, неизвестные в материальном мире, вычеркнуты из науки как иллюзии или ошибки.

Многое изменилось в Европе со времени этой борьбы. Резкости и крайности, ею вызванные, значительно сгладились; но первоначальная закваска сохранилась. Она невидимо проникает всю европейскую мысль, дает ей тон

и склад, слышится беспрестанно во всем и держится тем упорнее, что исторические предпосылки ею давно забыты.

Спрашиваем: имеет ли такая постановка вопросов и вся эта борьба с ее последствиями хоть что-нибудь общее с тем, что мы видели и видим у себя?

Чрезмерным развитием личной энергии, железною стойкостью лица, его необузданным стремлением к свободе, его щепетильным и ревнивым охранением своих прав мы, кажется, никогда не имели повода хвалиться. Юридическая личность у нас, можно сказать, едва появилась и продолжает и теперь поражать своею пассивностью, отсутствием почина и грубейшим, полудиким реализмом. Во всех слоях нашего общества стихийные элементы подавляют индивидуальное развитие. Не говорю о нравственной личности в высшем значении слова: она везде и всегда была и есть плод развитой интеллектуальной жизни и всюду составляет исключение из общего правила. Нет, я беру личность в самом простом, обиходном смысле, как ясное сознание своего общественного положения и призвания, своих внешних прав и внешних обязанностей, как разумное поставление ближайших практических целей и такое же разумное и настойчивое их преследование. И что же? Даже в этом простейшем смысле личность составляет у нас почтенное и, к сожалению, редкое изъятие из общего уровня крайней распушенности во все стороны. В нас аппетиты часто бывают развиты до болезненности, но нет ни охоты, ни способности трудиться, с целью удовлетворить им, бороться с препятствиями, отстаивать себя и свою мысль. Оттого, в ходе общественных и частных наших дел, нет ни обдуманной системы, ни даже последовательности, нет преемственности от поколения к поколению, и потому нет капитализации труда, знания и культурных привычек. Сменились люди, и дело пропадает; все идет совсем иначе, до тех пор, пока случай не натолкнет опять на то же дело другого человека, который выкопает его из-под спуда, стряхнет с него архивную пыль и опять пустит в ход, чтоб после него оно снова было брошено и забыто. Так как в нас самих нет никакой устойчивости, то ее нет и быть не может и в нашей обстановке, которая всегда есть живое отражение человека и общества. Мы вечно фантазируем, вечно отдаемся первой случайной прихоти, меняя их беспрестанно. Мы жалуемся на обстановку, на злую судьбу, а особенно на всеобщее равнодушие и безучастие ко вся-

кому доброму и полезному делу. Но ведь и всем, подобно нам, желалось бы, чтоб дело делалось само собою, чтоб жизнь несла нам дары труда и образованности без всякого с нашей стороны участия в черной работе. И вот, мы прячемся за ход вещей, за логику событий, которые должны работать за нас. Так и выходит на самом деле: все делается как-то само собою, помимо нас, но зато совсем не так, как бы нам хотелось. Стихийные силы, не заправляемые человеком, приносят нам, вместо того, о чем мы мечтаем, самые причудливые неожиданности.

Излишнею пытливостью и смелостью мысли, чрезмерным напряжением и развитием умственной деятельности, перехватывающей через край, переступающей сильным размахом границы возможного, — этими недостатками мы тоже не страдаем. Напротив, мы слишком мало думаем, элемент мышления равен у нас почти нулю, не принимает почти никакого участия в наших делах и предприятиях, а потому и не входит определяющим, существенным элементом в наше мирозерцание и нашу практическую деятельность. До последнего времени мысль была у нас прихотью достаточных классов, избранных людей, которые одиноко стояли в среде, погруженной в ближайшую грубую непосредственность и жившей одними преданиями и рутинной. Как прихоть, мысль и носилась у нас свободно над действительностью, нигде и ни за что не зацепляясь, ни в чем не встречая преграды, как ветер на наших необозримых равнинах. Не будучи прикована к нашим ежедневным нуждам, трудам и заботам, не имея балласта, она легко улетучивалась в фантазию и бред. Исподтишка мы подсмеивались над узкостью европейской мысли, над ее точностью и педантизмом^а, не подозревая, что в Европе мысль не забава, как у нас, а серьезное дело, что она там идет рука об руку с трудными задачами действительной жизни и подготавливает их решение. Только мысль, подобно нашей, служащая игрушкой, способна испаряться в широкие отвлеченности, терять почву из-под ног; там, где она запряжена в тяжелый воз ежедневной жизни, она по необходимости и узка, и одностороння. Мы же воображаем, что широкими отвлеченностями решаются мировые вопросы; нам и в голову не приходит, что совсем напротив, с ними люди, на деле, только бесплодно вертятся в пустоте, убаюкивая свою лень. Призраками, которые мы считаем последним словом науки, мы только благовидно оправдываем наше высокомерное и

безучастное отношение к нашей печальной ежедневности.

Ясно, что не у нас, не на нашей почве, могли развиваться, в виде научных воззрений, отрицание самостоятельной и самодеятельной личности, отрицательное отношение к положительной науке и критическому исследованию явлений духовного порядка⁹. Не может теория, развившаяся под влиянием действительных, насущных потребностей, отрицать самодеятельность там, где она вовсе себя не заявляла в жизни; не может она скептически относиться к таким или другим применениям мысли, устанавливать границы между личным убеждением и объективным знанием там, где мышление и наука являлись лишь в виде экзотического растения. В такой стране самостоятельное мировоззрение, отвечая на действительные потребности, заявляющие себя в бессознательных и полусознательных стремлениях, станет, напротив, с особенной заботливостью и тщанием выяснять начала нравственной индивидуальности, личности и автономии мышления, подавляемых стихийным характером среды, в которой они, по недостатку точки опоры, расплываются и теряются. Мы поступаем иначе. Принимая из Европы без критической проверки выводы, сделанные ею для себя из своей жизни, наблюдений и опытов, мы воображаем, будто имеем перед собой чистую, беспримесную научную истину, всеобщую, объективную и неизменную, и тем парализуем собственную свою деятельность в самом корне, прежде чем она успела начаться. Еще недавно мы точно так же относились к европейским учреждениям и нравам, пока наконец опытом не убедились, что обычаи и учреждения везде и всегда носят на себе отпечаток страны, где они образовались, и живые следы ее истории. Но относительно науки мы далеко еще не успели разделаться с старым предрассудком и остаемся в убеждении, что она составляет исключение из общего правила. Отнесись мы к ней критически, мы тотчас же заметили бы, что она, как и все на свете, имеет свои особенности, что и она односторонняя: одно оттеняет слишком ярко, на другое не обращает должного внимания; что она тоже имеет свои предубеждения и предрассудки. Недостаток серьезной критики европейской науки и ее исторического развития мешает нам в то же время взвесить и оценить как следует ее действительно сильную сторону, на которую было указано выше. Великое значение европейской науки заключается не в непогрешимости ее результатов, а в том, что она вырос-

ла и развилась из живых потребностей среды и времени, что она соответствует им и на них работает. Оттого наука в Европе — народное дело, оттого она там и в великом почете.

Мы считаем себя европейцами и во всем стараемся стать с ними на одну доску. Но чтоб этого достигнуть в области науки и знания, нам не следует, как делали до сих пор, брать из Европы готовые результаты ее мышления, а надо создать у себя такое же отношение к знанию, к науке, какое существует там. В Европе наука служила и служит подготовкой и спутницей творческой деятельности человека в окружающей среде и над самим собой. Ту же роль должны мысль, наука играть и у нас; но для этого нам надо прежде всего критически взглянуть на результаты европейской мысли, доискаться до ее предпосылок, всюду подразумеваемых и нигде не выраженных. В них скрыта живая связь теоретических задач и практических потребностей. Уяснив себе таким путем историческую сторону европейской науки, мы поймем, что и она, как всякая другая наука, не есть сама безусловная истина, а обусловленный обстоятельствами и степенью знания ответ на вопрос, тоже родившийся в данное время и посреди известной обстановки, следовательно, тоже не безусловный. Убедившись в этом, мы освободимся от научного фетишизма, который подавляет у нас самостоятельное развитие науки и знания, и вынуждены будем, по примеру европейцев, вдуматься в источники зла, которое нас гложет. Тогда нетрудно будет указать и на средства, как его устранить или ослабить. Такой путь будет европейским, и только когда мы на него ступим, зародится и у нас европейская наука; с тем вместе выводы знания перестанут у нас быть такими безрезультатными, как теперь, а свяжутся, как в Европе, с решением важнейших наших вопросов. Очень вероятно, что выводы эти будут иные, чем те, до каких додумалась Европа; но, несмотря на то, знание, наука будут у нас тогда несравненно более европейскими, чем теперь, когда мы без критики принимаем результаты исследований, сделанных в Европе. Предвидеть у нас другие выводы можно потому, что условия жизни и развития в Европе и у нас совсем иные. Там до совершенства выработана теория общего, отвлеченного, потому что оно было слабо и требовало поддержки; наше больное место — пассивность, стертость нравственной личности. Поэтому нам предстоит выработать теорию личного, индивидуального, личной самостоятельности

и воли. В Европе, в силу исторических обстоятельств, личное, субъективное убеждение оставлено в тени; нам, по нашим историческим условиям, надо, напротив, с особым вниманием разработать вопрос о субъективной истине, высвободить ее из-под давления истины объективной, вернуть ей права, отнятые по ошибке и недоразумениям, и самым точным образом разграничить между собою тот и другой вид истины. Словом, мы должны делать то же и так же, как европейцы: путем науки, исследования, знания мы должны выдвинуть на первый план не то, чем мы сильны, а то, чем мы слабы. У нас лицо расплывается в стихийных элементах; стало быть, все наши умственные силы и вся наша творческая деятельность должны быть направлены на то, как бы его укрепить и развить. Только когда у нас разовьется индивидуальное начало, когда народится и на Руси нравственная личность, может измениться и наша печальная ежедневная действительность. Теперь наша практика представляет либо рутинное, бессознательное продолжение привычек, имевших когда-то свое значение, но с изменившимися обстоятельствами потерявших смысл, или же бесплодное отрицание неприветной действительности; тогда наша практическая деятельность превратится в воспроизведение в реальном мире преобразующей, просветляющей и обновляющей мысли.

Время идет и берет свое. И у нас мало-помалу знание перестает быть делом одной любознательности, предметом приятной беседы, занятием просвещенного досуга. Жизнь становится сложнее, практические вопросы, помимо нашей воли, напрашиваются на практическое решение. Мы тоже должны наконец так или иначе научиться самому тяжкому и мучительному делу из всех — серьезно и глубоко думать. Наступает время, когда мы должны будем перестать верить с чужого голоса, будто только и есть положительная наука, что математика и естествоведение с их прикладными техническими отраслями; что психическая, духовная сторона человека, которая теперь многим из нас представляется чем-то далеким, туманным и в сущности ненужным, на самом деле играет в практической жизни огромную роль и имеет на нее, конечно, не менее влияния, чем знание математики и материальных свойств тел. Уже теперь нам нельзя больше довольствоваться готовыми решениями и формулами европейской науки; часто приходится нам строго проверять их; но выполнить эту работу за нас никто не может, всего менее европей-

цы. У них предпосылки науки, чуждые нам, выстраданы целыми веками, передавались по наследству из поколения в поколение, всосались в плоть и кровь и обратились во вторую природу до того, что <они> их сами не замечают; у нас же они невольно бросаются в глаза, при малейшем внимании. Нас они до сих пор только потому не поражали, что мы еще не доросли до научной критики, и наука у нас, в глазах очень многих, к сожалению, все еще больше предмет роскоши, без которого можно, пожалуй, и обойтись.

АВДОТЬЯ ПЕТРОВНА ЕЛАГИНА

(биографический очерк)

I

10-го июня 1877 года в селе Петрищеве Белевского уезда предано земле тело *Авдотьи Петровны Елагиной*. Это имя, близкое и дорогое теперь немногим ее родным и почитателям, пережившим покойную, было в свое время очень известно в интеллигентных слоях русского общества, принимавших более или менее живое и деятельное участие в нашем литературном, научном и культурном развитии. В последние годы царствования Александра I и в продолжение всего царствования императора Николая, когда литературные кружки играли такую важную роль, салон Авдотьи Петровны Елагиной в Москве был средоточием и сборным местом всей русской интеллигенции, всего, что было у нас самого просвещенного, литературно и научно-образованного. За все это продолжительное время под ее глазами составлялись в Москве литературные кружки, сменялись московские литературные направления, задумывались литературные и научные предприятия, совершались различные переходы русской мысли. Невозможно писать историю русского литературного и научного движения за это время, не встречаясь на каждом шагу с именем Авдотьи Петровны. В литературных кружках и салонах зарождалась, воспитывалась, созревала и развивалась тогда русская мысль, подготовлялись к литературной и научной деятельности нарождавшиеся русские поколения.

Осыпанный покойной вниманием и ласками с молодых лет, безгранично обязанный на первой поре жизни многим ей лично, почтенному ее семейству и ее салону, связывая с дорогим мне семейством Елагиных лучшие воспоминания молодости, я считаю обязанностью сохранить для будущего времени то, что знаю сам и из рассказов родных об этой замечательной русской женщине.

Авдотья Петровна увидела свет 11 января 1789 года в родовом имении Юшковых, селе Петрищеве Белевского уезда Тульской губернии. Ее мать, Варвара Афанасьевна, рожденная Бунина, была очень образованная женщина и прекрасная музыкантша; отец, Петр Николаевич Юшков, занимал в царствование Екатерины видное место в тульской губернской администрации и принадлежал к известной дворянской фамилии¹. Дядя его, женатый на графине Головкиной, был губернатором в Москве во время чумы².

Первоначальное воспитание Авдотьи Петровны было ведено очень тщательно. Гувернантками при ней были эмигрантки из Франции времен революции, женщины, получившие по-тогдашнему большое образование. В особенности называют М-ме Doreg, отличавшуюся вполне аристократическим складом и характером. Это обстоятельство имело большое влияние на умственный и нравственный строй покойной, придало ей французскую аристократическую складку, общую всем лучшим людям той эпохи. С немецким языком и литературой Авдотья Петровна познакомилась чрез учительниц, дававших ей уроки, и В. А. Жуковского, ее побочного дядю, который воспитывался с нею, был ее другом и, будучи старше ее семью годами, был вместе ее наставником и руководителем в занятиях³. Русскому языку учил ее Филат Гаврилович Покровский, человек очень знающий и написавший много статей о Белевском уезде, напечатанных в «Политическом журнале»⁴.

Пяти лет от роду Авдотья Петровна лишилась матери, умершей в чахотке⁵, и вместе с тремя своими сестрами, Анной (впоследствии известной писательницей Зонтаг)⁶, Екатериной (Азбукиной) и Марьей (Офросимовой), поступила на воспитание к своей бабушке, Марье Григорьевне Буниной, рожденной Безобразовой, умершей в 1811 году, — женщине с большим характером. Она жила в селе Мишенском Белевского уезда, куда переселился и отец Авдотьи Петровны после смерти жены. Зимой это семейство проводило в Москве. Живо сохранился в памяти покойной Елагиной торжественный въезд и коронование императора Александра I⁷.

Авдотье Петровне еще не исполнилось 15-ти лет, когда за нее посватался у бабушки, не сказав ей самой ни слова, Василий Иванович Киреевский, проживавший тоже в Москве. Ему было около тридцати лет; человек он был очень ученый, в совершенстве знал иностранные язы-

ки⁸, но был своеобразен до странности. Брак совершился 16 января 1805 года и был из самых счастливых. Киреевский страстно любил свою жену и довершил ее образование, читая с нею серьезные книги, в особенности исторического содержания и Библию. Вероятно, в это время окончательно утвердилась в молодой тогда Авдотье Петровне глубокая религиозность, без сомнений и колебаний, которая сопровождала ее до могилы. Киреевский был религиозен до нетерпимости, ненавидел Вольтера, скупал и истреблял его сочинения. Вследствие ли влияния мужа, или начального воспитания, трудно сказать, но Авдотья Петровна всю свою жизнь не сочувствовала отрицательному направлению, когда оно выражалось резко и в крутых формах; оно было противно ее религиозному направлению, ее литературным и эстетическим вкусам и привычкам; но эта нелюбовь к отрицательному направлению была чужда всякой исключительности и фанатизма. Авдотья Петровна много читала и думала, часто слышала самые разнообразные суждения об одних и тех же предметах, и это сделало ее замечательно терпимой ко всякого рода взглядам, лишь бы они были искренни, правдивы и выражались не в грубых формах.

От брака с Киреевским Авдотья Петровна имела четверых детей. Из них зрелого возраста достигли: Иван Васильевич (род. 1806 года 22 марта), Петр Васильевич (1808 года 11 февраля) и Марья Васильевна (1811 года 8 августа). Счастливое супружество покойной с первым мужем продолжалось недолго. В 1812 году, осенью, В. И. Киреевский скончался в Орле, от горячки, которую схватил вследствие самоотверженного служения на общую пользу. Беспомощное состояние раненых пленных французов, неурядица и злоупотребления в госпиталях возмущали его. Будучи частным человеком, он самопроизвольно, без всякого полномочия или приглашения от властей, принял в свое заведывание госпиталь в Орле, привел его в порядок, заботился о пленных и раненых, обращал якобинцев и революционеров к религии, спокойно переносил оскорбления, которыми они его за то осыпали, и сделался жертвой госпитальной горячки.

24-х-летняя вдова была в отчаянии, лишившись в лице любимого мужа наставника и руководителя. «Делайте теперь со мной что хотите», — сказала она своей тетке, Екатерине Афанасьевне Протасовой. К этой тетке, овдовевшей еще в 1793 году, переселилась она с своими детьми из с<ела> Долбина Калужской губернии Лихвинского

уезда, старинного имения Киреевских, где жила с мужем, ненадолго приезжая с ним по зимам в Москву⁹. Протасова жила в Орле и около Орла, в деревне Муратове, с двумя своими дочерьми. С этим семейством жил и Жуковский, которого нежная, глубокая многолетняя привязанность к Марье Андреевне Протасовой известна из его биографии¹⁰. Здесь Авдотья Петровна очутилась в образованном, веселом светском кружке, который составилась в селе Черни, у Александра Алексеевича Плещеева. Плещеев был женат на Анне Ивановне Чернышевой, женщине очень образованной, имел свой домашний оркестр и был неподражаемый чтец и декламатор, вследствие чего поступил позднее лектором к императрице Марии Федоровне¹¹. В кружке Плещеева, кроме его жены, Жуковского, дочерей Е. А. Протасовой и близких приятелей и знакомых: Д. Н. Блудова, Д. А. Кавелина, Апухтина¹², участвовали многие из образованных пленных французов, в том числе генерал Бонами¹³. Здесь проводили время очень весело, читали, разыгрывали французские пьесы, играли в распространенные тогда в избранных кружках jeux d'esprit¹⁴, исполняли музыкальные пьесы.

Через два года кружок этот расстроился. В 1814 году Александра Андреевна Протасова выдана замуж за А. Ф. Воейкова, известного сатирического писателя, вскоре занявшего кафедру русской словесности в Дерптском университете. С ним перебралось в Дерпт и семейство Протасовых, а Авдотья Петровна поселилась с детьми снова в селе Долбине, вместе с Жуковским, возвратившимся в 1813 году из ополчения¹⁵.

Уединенная жизнь ее в Долбине продолжалась целых семь лет. В продолжение этого времени в жизни ее совершились два важных события. В 1817 году, 4 июля, Авдотья Петровна вступила во второй брак с Алексеем Андреевичем Елагиным, своим троюродным братом¹⁶. Оба происходили из рода Буниных: Авдотья Петровна — от Афанасия Ивановича, а второй муж ее Елагин — от родной сестры Бунина, Анны Ивановны Давыдовой, которой дочь, Елизавета Семеновна Елагина, была матерью Алексея Андреевича. Другим важным событием было вступление в том же 1817 году Марьи Андреевны Протасовой в супружество с профессором Дерптского университета Иваном Филипповичем Мойером.

Четыре года спустя, 4 июля 1821 года, Авдотья Петровна переехала из Долбина на житье в Москву и прожила здесь безвыездно 14 лет — до 1835 года. Этот про-

должительный период времени был, как она сама говорила, счастливейшей эпохой в ее жизни. С этого же времени она принимает живое и непосредственное участие в жизни литературных и ученых московских кружков. Еще в царствование Александра I-го образовался в Москве, около Николая Полевого, замечательный литературный кружок, к которому принадлежали Пушкин, князь Вяземский, Кюхельбекер и князь Одоевский (издававшие вместе «Мнемозину»), В. П. Титов, Шевырев, Погодин, Максимович, Кошелев, Росберг, Лихонин. В этом же кружке впервые выступила в свет Каролина Карловна Яниш, впоследствии известная писательница Павлова¹⁷. Одного перечня этих имен достаточно, чтоб показать, в каком замечательном обществе вращалась тогда Авдотья Петровна.

С 1826 года блестящий кружок Полевого сменился другим, не менее блестящим и талантливым, группировавшимся около только что начинающего поэта Дмитрия Ивановича Веневитинова¹⁸. Зерно этого кружка составилось из молодых людей, служивших при архиве министерства иностранных дел и готовившихся, под названием «архивных юношей»¹⁹, к дипломатической карьере. Кроме Пушкина и князя Вяземского, принадлежавших и к кружку Полевого, мы встречаемся здесь с И. С. Мальцевым, сослуживцем Грибоедова по дипломатической миссии в Персии, Н. А. Мельгуновым, С. А. Соболевским, поэтом Баратынским, Д. Н. Свербеевым и другими²⁰. Но душа и центр этого кружка, Веневитинов, умер весной 1827 года, едва начав свое блистательное литературное поприще, не достигнув и двадцатидвухлетнего возраста.

С 1828 года в московских литературных салонах появляются новые лица, ставшие потом видными деятелями в литературе и науке. В Москве поселился Н. М. Языков²¹; сыновья Авдотьи Петровны, Иван и Петр Васильевич Киреевские, поехавшие учиться за границу, возвратились в 1830 году в Москву, по случаю холеры²². Тогда возникла в их кружке мысль об издании журнала «Европеец». План этого журнала обсуждался в 1831 году, при участии Жуковского, который нарочно для этого приехал из Петербурга. В 1832 году издание «Европейца» началось, но со второй же книжки журнал был запрещен²³.

К этому же времени относится знакомство с А. И. Тургеневым и появление в кружке новых деятелей — П. Я. Чаадаева и А. С. Хомякова. Тогда же зародилась

ждается и так называемое славянофильство, развившееся потом в особую философско-историческую доктрину. Первым представителем этого направления был Петр Васильевич Киреевский, которому сперва сочувствовали только Хомяков и Языков. Иван Васильевич Киреевский не разделял сначала мнений брата и присоединился к ним лишь впоследствии²⁴. Авдотья Петровна сочувствовала Петру Васильевичу не в отрицании петровской реформы, а в нелюбви к Петру, за его жестокость и лютость. Воспоминания о них живо сохранились в семейных преданиях Лопухиных, которые находились с Елагиной в каком-то далеком родстве или свойстве²⁵.

С тридцатых годов и до нового царствования дом и салон Авдотьи Петровны были одним из наиболее любимых и посещаемых средоточий русских литературных и научных деятелей. Все, что было в Москве интеллигентного, просвещенного и талантливое, съезжалось сюда по воскресеньям. Приезжавшие в Москву знаменитости, русские и иностранцы, являлись в салон Елагиных. В нем преобладало славянофильское направление, но это не мешало постоянно посещать вечера Елагиных людям самых различных воззрений до тех пор, пока литературные партии не разделились на два неприязненных лагеря — славянофилов и западников, что случилось в половине сороковых годов.

Блестящие московские салоны и кружки того времени служили выражением господствовавших в русской интеллигенции литературных направлений, научных и философских взглядов. Это известно всем и каждому. Менее известны, но не менее важны были значение и роль этих кружков и салонов в другом отношении, — именно как школа для начинающих молодых людей; здесь они воспитывались и приготавлились к последующей литературной и научной деятельности. Вводимые в замечательно образованные семейства добротой и радушием хозяев юноши, только что сошедшие со студенческой скамейки, получали доступ в лучшее общество, где им было хорошо и свободно, благодаря удивительной простоте и непринужденности, царившей в доме и на вечерах. Здесь они встречались и знакомились со всем, что тогда было выдающегося в русской литературе и науке, прислушивались к спорам и мнениям, сами принимали в них участие и мало-помалу укреплялись в любви к литературным и научным занятиям. К числу молодых людей, воспитавшихся таким образом в доме и салоне Авдотьи Петровны Елагиной, принадлежали: Дмитрий Александрович Валуев, слишком ра-

но умерший для науки²⁶, А. Н. Попов²⁷, М. А. Стахович²⁸, позднее трое Бакуниных, братья эмигранта²⁹, художник Мамонов³⁰ и другие. Все они были приняты в семействе Елагиных на самой дружеской ноге, — Валуев даже жил в их доме — и вынесли из него самые лучшие, самые дорогие воспоминания. Пишущий эти строки испытал на себе всю обаятельную прелесть и все благотворное влияние этой среды в золотые дни студенчества; ей он обязан направлением всей своей последующей жизни и лучшими воспоминаниями. С любовью, глубоким почтением и благодарностью возвращается он мыслями к этой счастливой поре своей молодости, и со всеми его воспоминаниями из того времени неразрывно связана светлая, благородная, прекрасная личность Авдотьи Петровны Елагиной, которая всегда относилась к нему и другим начинающим юношам с бесконечной добротой, с неистощимым вниманием и участием. Такой же благодатной средой был для нас салон Свербеевых, открывшийся, кажется, несколько позднее, чем у Авдотьи Петровны. В сороковых годах он уже был в полном блеске³¹. Теперь не слышно более о таких салонах, и оттого теперь молодым людям гораздо труднее воспитываться к интеллигентной жизни, чем было нам, когда мы начинали жить. Разрозненность, одиночество, недостаток живого, материнского участия просвещенных женщин, недостаток непосредственного общения и связи между старым и новым мыслящими поколениями, быть может, более всего объясняют болезненность, раздражительность, сердечную отчужденность, составляющие обычные свойства и характерную черту выдающихся умов и талантов нового поколения, идущего на смену нашему. Бремя, которое взваливается на интеллигенцию всей обстановкой русской действительности, еще кое-как выносится при соединении сил, но оно тяжело давит лучших людей поодиночке.

Возвратимся к нашему очерку. Кто не участвовал сам в московских кружках того времени, тот не может составить себе и понятия о том, как в них жилось хорошо, несмотря на печальную обстановку извне. В этих кружках жизнь была полным, радостным ключом. Лето проводилось где-нибудь за городом, зима в Москве. В 1831 и 1832 годах Елагины и Киреевские жили летом в Ильинском. Тут, между прочим, разыгрывалась шуточная комедия «Вавилонская принцесса», написанная в стихах Ив. Вас. Киреевским и Языковым, который в то время жил с Елагиными и Киреевскими³². В 1833 году они поселились

в селе Архангельском, подмосковном имении князя Юсупова. Пользуясь драгоценной картинной галереей, Авдотья Петровна много занималась в то лето живописью и сделала несколько прекрасных копий с картин Юсуповской галереи. Она очень любила живопись и не оставляла ее даже в последний год своей жизни. Ослабление зрения ее особенно тревожило.

В 1834 году она опять провела лето в Ильинском, а в следующем году, рано весной, в марте, уехала впервые за границу³³, сперва в Карлсбад на воды, а потом в Дрезден. Пребывание в чужих краях продлилось до июля 1836 года. Во время этого путешествия она, чрез рекомендательные письма Жуковского, познакомилась с Тиком и Шеллингом.

К этому времени стали подрастать и дети ее от второго брака: сыновья Василий (родился в 1818 г. 13 июня), Николай (1822 г. 23 апреля), Андрей (1823 г. 18 сентября) и дочь Елизавета (в 1825 г.). Все они воспитывались дома, сыновья доканчивали свое образование в Московском университете. Это обстоятельство и привычка жить в просвещенной, литературной и научной среде удерживали Авдотью Петровну постоянно в Москве, откуда она редко отлучалась. Так, в 1841 году, она во второй и последний раз ездила за границу, чтоб познакомиться с невестой Жуковского³⁴.

С 1835 года в салоне Елагиных появились новые лица — некоторые из молодых профессоров Московского университета, недавно возвратившихся из-за границы и вдохнувших в университет новую жизнь³⁵. То было время его процветания и небывалого блеска. В 1838 году с Елагиными познакомился Гоголь³⁶, а в сороковых годах салон Авдотьи Петровны стали посещать Герцен³⁷, Ю. Ф. Самарин, Аксаковы, Сергей Тимофеевич и Константин Сергеевич, Н. П. Огарев, Н. М. Сатин. Не называем прежних постоянных посетителей и членов кружка, живших в Москве и приезжих, русских и иностранцев.

В эту же эпоху радостными событиями в личной жизни Авдотьи Петровны и в семействе Киреевских и Елагиных были: переезд Екатерины Афанасьевны Протасовой весной 1837 года с семейством Мойера и дочерьми А. Ф. Воейкова из Дерпта на постоянное житье в село Бунино Орловской губернии Болховского уезда³⁸; частые приезды Жуковского и женитьба его (в 1841 году)³⁹; брак старшего из детей, прижитых в браке с Елагиным, Василия Алексеевича, с троюродной своей сестрой, Екатериной Ивановной Мойер (1846 г. 14 января).

II

С половины сороковых годов звезда жизни и счастья А <вдоты> П <етровны> начала меркнуть. Семейные горести и несчастья стали быстро следовать одни за другими. Печальный их ряд открылся смертью одной из любимых племянниц Авдотьи Петровны, Екатерины Александровны Воейковой (1844 г.); позднее, в том же году, 27 декабря, умер сын ее, 21 года от роду, еще студентом, Андрей Алексеевич Елагин, подававший большие надежды; в декабре следующего 1845 года скончался Д. А. Валуев, ставший как бы членом семьи Елагиных; в 1846 году, 21 марта, Авдотья Петровна лишилась второго мужа, А. А. Елагина; год спустя — новые утраты: сперва скончалась Екатерина Афанасьевна Протасова (12 февраля 1848 г.), а вслед за нею (4 июля) дочь Авдотьи Петровны, Елизавета Алексеевна Елагина. Кругом становилось пусто. 1846 и 1847, позднее 1849 и 1850 годы проведены в деревне. Блестящее время московских кружков и салонов приходило к концу. Наступала другая эпоха.

Литература, наука отступали на второй план перед грозными политическими событиями, восточной войной и внутренними преобразованиями, которые наступили с новым царствованием. Близкие, друзья все еще по-прежнему собирались, но круг их из года в год редел: одни умерли, другие разъехались. В 1856 году над Авдотьей Петровной разразился новый удар: сыновья ее Киреевские, Иван и Петр Васильевичи, умерли вскоре один за другим (11 июля и 25 октября), чрез два года не стало И. Ф. Мойера, а три года спустя (5 сентября 1859 г.) скончалась дочь Елагиной, Марья Васильевна Киреевская.

Последние годы жизни Авдотья Петровна проводила в Москве, летом в деревне, иногда оставаясь тут круглый год, но большею частью возвращаясь на зиму в Москву. Жила она с своим сыном, Николаем Алексеевичем Елагиным⁴⁰, который остался неженатым, устроил для нее прекрасную усадьбу и дом в деревне Уткино, близ родимого ее пепелища, села Петрищева, и с трогательно нежностью заботился об угасавшей матери. Здесь доживала Авдотья Петровна свои дни, окруженная дорогими воспоминаниями прошлого, не переставая заниматься, читать, рисовать. С избранием сына, Николая Алексеевича, в 1873 году в предводители дворянства Белевского уезда, она перестала ездить на зиму в Москву и проводила зимние месяцы в Белеве. Но недолго суждено ей было наслаждаться

ся тихой, спокойной, радостной старостью: 11 февраля 1876 года скоропостижно скончался Николай Алексеевич Елагин, лелеявший ее последние годы, посвятивший ей свою жизнь. Из всего ее многочисленного семейства оставался теперь в живых только один сын, Василий Алексеевич Елагин¹¹. Но воспитание детей приковывало его к Дерпту. Сюда, в семейство сына, и переселилась Авдотья Петровна 11 мая того же года и здесь тихо скончалась 1 июня 1877 года, на 89 году от роду.

Нам остается добавить немного для характеристики покойной.

Авдотья Петровна не была писательницей, но участвовала в движении и развитии русской литературы и русской мысли более, чем многие писатели и ученые по ремеслу. Она не единственный у нас пример в этом роде. Кто заподозрит громадную роль в нашем развитии Грановского, перебирая два тощих тома его статей? или Николая Станкевича, который ничего после себя не оставил, кроме писем? Чтоб оценить ее влияние на нашу литературу, довольно вспомнить, что Жуковский читал ей свои произведения в рукописи и уничтожал или переделывал их по ее замечаниям. Покойная показывала мне одну из таких рукописей — толстую тетрадь, испещренную могильными крестами, которые Жуковский ставил подле стихов, исключенных вследствие замечаний покойной¹². К сожалению, я не могу сказать, какие именно стихотворения Жуковского прошли чрез такую переделку и все ли ей подвергались.

Авдотья Петровна много переводила с иностранных языков, но значительная часть этих переводов, вследствие разных случайностей, не были напечатаны. В молодости, еще до замужества, она перевела по заказу Жуковского много романов и получала за них гонорары книгами; так переведен ею, между прочим, «Дон-Кихот» Флориана¹³. В «Европейце» напечатан сделанный ею перевод одной рыцарской повести из *Sagen der Vorzeit* Файт-Вебера¹⁴, а в «Москвитянине» 1845 года отрывки, отмеченные Иваном Киреевским из мемуаров Стефенса¹⁵. Наконец, много ее переводов напечатано в «Библиотеке для воспитания», издававшейся П. Г. Редкиным, между прочим, статья о Троянской войне¹⁶ и др. Остались в рукописи ненапечатанными: «Левана, или О воспитании» Жан-Поль Рихтера; «Жизнь Гусса» Боншоза, в двух томах; «Тысяча одна ночь»¹⁷; «Принцесса Брамбилла» Гофмана¹⁸; многие проповеди Винэ (Vinet)¹⁹. Еще в самый год своей кончи-

ны Авдотья Петровна перевела одну из проповедей ревельского проповедника Гуна.

Основательно знакомая со всеми важнейшими европейскими литературами, не исключая новейших, за которыми следила до самой смерти, Авдотья Петровна особенно любила, однако, старинную французскую литературу. Любимыми ее писателями остались Расин, Жан-Жак Руссо, Бернарден де Сен-Пьер, Массильон, Фенелон.

Покойная до самой кончины имела живой, ясный и веселый ум. Ее записки к знакомым и близким, писанные года за два до смерти, поражают твердостью почерка, свежестью оборотов и стиля. Трогательно было видеть, как ветхая днями Авдотья Петровна не переставала заниматься чтением, переводами, живописью, рукодельем. Бывало, в Уткине, по поводу какого-нибудь разговора, старушка тихими шагами отправлялась в свою комнату и выносила оттуда сделанный ею на клочке бумаги, иногда в тот же день, перевод какого-нибудь места из только что прочитанной книги, которое почему-либо остановило на себе ее внимание. Родным и близким она дарила то нарисованный ею в тот же день акварелью цветок, то связанный ее руками за несколько времени перед тем кошелек. Покойная страшно любила цветы. Она сама, смеясь, рассказывала, как однажды в Уткине, сойдя в цветник полюбоваться ими и срезать розу, она упала и не могла подняться. Проходивший мимо мальчик, которого она позвала на помощь, испугался и убежал; в таком положении прождала она, пока домашние не спохватились и не начали ее искать.

Не было собеседницы более интересной, остроумной и приятной. В разговоре с Авдотьей Петровной можно было проводить часы, не замечая, как идет время. Жизнь, веселость, добродушие, при огромной начитанности, тонкой наблюдательности, при ее личном знакомстве с массою интереснейших личностей и событий, прошедших перед нею в течение долгой жизни, и ко всему этому удивительная память — все это придавало ее беседе невыразимую прелесть. Все, кто знал и посещал ее, испытывали на себе ее доброту и внимательность. Авдотья Петровна спешила на помощь всякому, часто даже вовсе не знакомому, кто только в ней нуждался. Поразительные примеры этой черты ее характера рассказываются ее родными и близкими.

Покойная всю свою жизнь сохранила основные характерные черты того времени, когда воспитывалась и сло-

жила. Литературные, художественные, религиозно-нравственные интересы преобладали в ней над всеми прочими; политические и общественные вопросы отражались в ее уме и сердце своей гуманитарной и литературно-эстетической стороной. Такова была складка того поколения, к которому принадлежала покойная Авдотья Петровна, и этому направлению она осталась верной до последних дней жизни.

Это поколение сошло теперь в могилу. Представителей его между нами можно пересчитать по пальцам, и все они уже древние люди. Мы, ближайшие свидетели заката их деятельности, уже в молодости чувствовали и отчасти понимали их различие с нами, а нынешние люди отошли от них так далеко, что перестали их понимать, относятся к ним равнодушно, даже холодно. И в самом деле, между поколением александровской эпохи, к которому принадлежала покойная Елагина, и теперешним лежит целая бездна. Не только нашим детям, но даже нам самим, трудно теперь вдуматься в своеобразную жизнь наших ближайших предков. Лучшие из них представляли собой такую полноту и цельность личной, умственной и нравственной жизни, о какой мы едва имеем теперь понятие. Отдельно взятые, лучшие личности александровского времени изумляют высоким просвещением и нравственным идеализмом не только на словах, но и на деле. На нас немногие личности александровской эпохи, с которыми мы имели случай встречаться, всегда производили, с этой стороны, обаятельное впечатление: в них, несмотря на все превратности судьбы, не было и тени той угловатости, односторонности, резкости, ни той нравственной надорванности, которые составляют обычные недостатки нашего поколения и, еще больше, чем нас, удручают тех, которые следуют за нами.

Чем объяснить это различие, невольно бросающееся в глаза? Многие видят в нем доказательство вырождения поколений, другие, именно славянофилы, считали идеи, которыми жило прежнее поколение, чуждыми нам, не способными привиться к русской почве; третьи уверены, что эти идеи не могли развиваться, потому что для них не были благоприятны политические условия. Но ни одно из этих предположений не решает вопроса. У нас между поколениями потому нет умственной и нравственной преемственности и связи, что нам пришлось в короткое время нагонять Европу, и дело веков у нас скомкалось в несколько десятилетий, а такая скороспелая работа не могла

не привести к разладу между поколениями и к крайнему умственному и душевному утомлению, которое мы по ошибке считаем за признак вырождения. Великодушные, гуманные идеи, которыми были проникнуты лучшие люди александровской эпохи, могли быть слишком отвлеченны, непрактичны, неосуществимы в тогдашней форме и в тогдашнем обществе, но чуждыми нам они не могли быть, и последующее время доказало, что они такими вовсе не были. Идеи XVIII века были результатом развития человеческого рода в течение веков. По своей всеобщности, своему общечеловеческому характеру, они близки и дороги всякому народу, всякому племени. Народ или государство, которым они чужды, подписывают тем свой смертный приговор, не могут деятельно участвовать в общем развитии и успехах, играть продолжительную роль и иметь важное значение во всемирной истории; они осуждены прозябать и рано или поздно входят в состав других, более талантливых и живучих народов. Не одни только национальные особенности, но и всеобщие идеи дают народам и государствам историческое, всемирное значение; национальность определяет только формы, в которых эти идеи производятся и осуществляются, никак не более. Наконец, политические и административные порядки выражают степень культуры, и не определяют способности к ней. У нас, как и везде, эти порядки, по мере нашего развития, не ухудшались, а скорей, напротив, вырабатывались и смягчались, и если они оставляют желать многого, то причина опять-таки заключается в той же низкой степени культуры. Таким образом, причин упадка и исчезновения блестящего и просвещенного культурного слоя александровского времени надо искать не в вырождении поколений, не в характере идей, которыми жил этот слой, и не в политических и социальных условиях России XIX века, а в чем-нибудь другом. Мы думаем, что эти причины лежат гораздо глубже — в уединенном и обособленном положении культурного слоя александровской эпохи посреди крайне невежественных низших и средних классов тогдашней России. В царствование Александра I-го образованные кружки резко выдавались вперед над остальной массой населения, не имели с нею почти ничего общего и жили своею особою жизнью, соприкасаясь с остальными слоями и классами русского общества только внешним образом. Правда, никакого антагонизма и вражды не было между теми и другими, но не было также между ними никакого сближения и

взаимодействия. Образованные кружки представляли у нас тогда, посреди русского народа, оазисы, в которых сосредоточивались лучшие умственные и культурные силы, — искусственные центры, с своей особой атмосферой, в которой вырабатывались изящные, глубоко просвещенные и нравственные личности. Они в любом европейском обществе заняли бы почетное место и играли бы видную роль. Но эти во всех отношениях замечательные люди вращались только между собою и оставались без всякого непосредственного действия и влияния на все то, что находилось вне их тесного, немногочисленного кружка. Упрекать их за то в аристократическом пренебрежении к другим, в недостатке патриотизма, в равнодушии к успехам и развитию отечества было бы непростительной ошибкой и вопиющей напраслиной. Эти люди, напротив, горячо любили свою родину, горячо желали для всех и каждого тех благ, которыми сами жили в своих чаяниях и стремлениях. Занимались они не одной литературой и искусствами, как многие думают, между ними немало было и таких, которые имели большое политическое образование, были искренними поборниками свободных учреждений, мечтали для своего отечества об освобождении крепостных, о финансовой реформе, о коренном преобразовании школы, суда и администрации, о свободе веры, слова и печати. Успехами России в течение девятнадцатого века мы существенно обязаны этим людям. Но они проводили высокую культуру, которую несли с собою, не в будничной обстановке ежедневной жизни грубых масс, не лично и непосредственно, а в общих административных и законодательных мерах или в литературных, художественных и научных произведениях. Существование этих людей и их кружков было плодотворно для России только в общем, отвлеченном смысле, но не отражалось в живых фактах на окружавшем их русском обществе. Эти изящные, развитые, просвещенные, гуманные люди жили полною жизнью в своих кружках, не внося своим существованием ничего в наш тогдашний печальный, полудикий быт. Люди, глубоко понимавшие всю цену просвещения, не думали устраивать школ и обучать грамоте мужиков, посреди которых жили; к местной, губернской и уездной администрации, наполненной невеждами, земскими ерышками и подьячими старого закала⁵⁰, грабившей живых и мертвых, возмутительно притеснявшей простой народ, люди, проникнутые идеями правды и гуманности, относились с очень понят-

ным омерзением и гадливостью; но они ничего не делали, чтоб поддержать лучших людей в этой печальной среде, чтоб помочь им выбраться из грязной действительности, чтоб пролить хоть какой-то луч света в это царство мрака. Так же чуждо было для них и все остальное — и сельское духовенство, и купечество, и мещанство. Из своего прекрасного далека они безучастно смотрели на то, что делалось в ежедневной жизни вокруг них, из боязни унизиться и испачкаться в нравственной и всяческой грязи соприкосновением с нею. Скажут: то была барская спесь. Совсем нет! Таланты, выходившие из народа, хотя бы из крепостных, даже люди подававшие только надежду сделаться впоследствии литераторами, учеными, художниками, кто бы они ни были, принимались радушно и дружески вводились в кружки и семьи, на равных правах со всеми. Это не была комедия, разыгранная перед посторонними, а сущая, искренняя правда — результат глубокого убеждения, перешедшего в привычки и нравы, что образование, знание, талант, ученые и литературные заслуги выше сословных привилегий, богатства и знатности. Но темное большинство, не способное, по крайнему невежеству и отсутствию культуры, понять и оценить те высшие интересы, которыми жили образованные кружки, не возбуждало в них деятельного участия; а большинство, в свою очередь, бессмысленно и равнодушно смотрело на непонятную для него жизнь, занятия, радости, печали, стремления и наслаждения просвещенных людей, как на барские затеи и причуды. Обоим элементам этого странно раздвоенного и разобщенного общества, жившим рядом друг подле друга, и в мысль не приходило постараться сблизиться, понять друг друга, опираться друг на друга, работать дружно вместе. С этой точки зрения, между старыми и новыми поколениями лежит целая бездна. Теперь редкий из истинно просвещенных людей не ставит себе задачей популяризировать свои знания, по возможности поднимать до себя окружающих его необразованных людей, растолковывать им пользу науки и знания, сообщать им знания и науку в доступных им формах и объеме⁶¹. Ничего подобного прежде не было. Ключ ко всему, что думалось и делалось в избранных кружках, существовал только для них самих; для остальной России оно казалось непонятным чудачеством, диковинной штукой, которой себя только тешили господа и дворяне. Многие с досадой и злорадством нападают на неудачные, смешные, подчас очевидно ошибочные формы, в которых

выражается современное стремление сделать всех причастными науке и знанию, связать в одно целое разрозненные общественные слои, наглядно и осязательно показать необразованной части русского населения пользу и необходимость того, чем заняты его образованные и просвещенные вершины. Но за подробностями, промахами и уклонениями опускается из виду главная, существенная сторона в стремлениях нашего времени. Те, которые видят только смешное и вредное в том, что делается, не могут или не хотят понять, что наши блестящие кружки просвещенных людей первой половины XIX века замерли и постепенно исчезли именно вследствие того, что стояли одиноко, были разобщены с остальной русской жизнью. Воспитанные в этих кружках люди, несмотря на все свое обаяние, были тепличными растениями и не могли выдержать обыкновенной температуры. Им предстояла задача акклиматизировать в России то, что они несли с собою; но это было невозможно, потому что почва далеко не была для того подготовлена. Непосредственная грубость и невосделанность этой почвы делала немыслимой пересадку в нее прекрасных, но тонких и нежных растений, привыкших к искусственной теплоте и свету, и они завяли, не пустив корней.

Поколение александровской эпохи сыграло свою историческую роль и уступило место новым деятелям. Теперь, кажется, уже настала пора судить о нем с полным беспристрастием, не делая ему упреков, которых оно не заслуживает. Нельзя, не нарушая исторической правды, помянуть его иначе как добром. Оно всегда будет служить ярким образцом того, какие люди могут вырабатываться в России при благоприятных обстоятельствах. Обвинять его за то, что оно стояло особняком посреди русской жизни, было бы более чем странно. Такое положение создано ему всем ходом развития нашей культуры и ближайшими задачами его времени.

*Сельцо Иваново,
17 июня 1877 года.*

МОСКОВСКИЕ СЛАВЯНОФИЛЫ СОРОКОВЫХ ГОДОВ

Сочинения Ю. Ф. Самарина. *Том первый.* Изд.
Д. Самарина. 1877, стр. I-VII и 402. ¹⁸8.

I

Близкие Юрия Федоровича Самарина ставят ему вековечный памятник и оказывают русской мысли и науке большую услугу, предприняв издание всех сочинений и писем покойного. В первом томе, вышедшем теперь в свет, собраны критические статьи разнородного содержания и по польскому вопросу¹; во втором и третьем, как видно из предисловия к первому тому, будет напечатано все написанное Самариним по крестьянской реформе и земскому делу²; в четвертом и пятом — его труды богословские и философские, в шестом и седьмом — письма. При благоприятных условиях, к этому может прибавиться еще несколько томов. Второй том уже печатается и должен скоро появиться в продаже.

Вышедший теперь первый том содержит в себе двадцать четыре отдельных сочинения и заметки, из которых только четыре издаются впервые. Мы назвали их не статьями, а сочинениями и заметками, потому что между ними есть и записка по вопросу о народности в науке, написанная для тесного круга сотрудников «Русской Беседы», не предназначавшаяся автором для печати³, и очерк «С. Т. Аксаков и его литературные произведения», читанный на публичном литературном вечере в Самаре, и выдержка из дневника⁴, и проект адреса самарского дворянства в 1863 году, и заметки, написанные карандашом на обертках прочитанных книг⁵, и заметки, набросанные по официальным источникам и сведениям, собранным при поездке в Царстве Польском⁶. За исключением этих семи или восьми вещей, прочие, примерно две трети всего тома, суть журнальные или газетные статьи, большею частью критические разборы книг и полемические заметки,

напечатанные при жизни автора в «Москвитянине», «Московском сборнике», «Русской беседе» и «Дне».

Несмотря на крайне разнообразное содержание первого тома, оно проникнуто, от начала до конца, одним духом, одним замечательно выдержанным и последовательно проведенным направлением. Колебания, сомнения и борьба, через которые прошел покойный, как почти все мы, русские люди, завершились задолго до выступления его на литературное поприще и общественную деятельность. Первый том обнимает лишь малую долю всех его письменных трудов с 1846 по 1872 год, но по ним можно следить, как взгляды и мысли Самарина зрели и крепились, все более и более уясняясь в подробностях и применениях; однако с первой же страницы видно, что они уже вполне сложились. Вот почему первый том, собранный из случайных и разновременных сочинений, представляет, несмотря на то, округленное и вполне законченное изложение так называемого славянофильского учения, которого Юрий Федорович Самарин был одним из самых выдающихся и талантливых представителей.

Славянофильство и славянофилы — названия, данные наскоро, случайно, по внешним признакам, и далеко не характеризуют того, что они были на самом деле. О славянофилах много было говорено и писано; много говорится и пишется и теперь. Несмотря на то, большинство публики имеет о них до сих пор крайне туманные, сбивчивые и противоречивые понятия. Большинству славянофильство и теперь все еще представляется какой-то странной смесью глубоких мыслей, взглядов и стремлений с смешными причудами, сбрасывающимися в глаза нелепостями⁸, глубокой веры с святошеством и суевериями, требований свободы гражданской и общественной с национальным изуверством и грубым посягательством на несомненные права, веротерпимости с религиозным фанатизмом, просветительных и прогрессивных идей с обскурантизмом и реакционерными замашками⁹. Где же и в чем правда? Откуда могли взяться такие вопиющие противуречия в одном и том же учении? Сочинения Ю. Ф. Самарина представляют очень удобный случай вновь попытаться разрешить вопрос, что такое славянофильское направление и в чем сущность учения славянофилов? Теперь это будет и очень кстати. О славянофильстве много говорится в обществе; оно, по поводу настоящей войны, снова у всех на устах и толкуется очень различно¹⁰. Так как Ю. Ф. Самарин был одним из числа

основателей этого учения и признается одним из самых полных и верных его выразителей, то для ознакомления читателей с основными положениями этой доктрины мы не можем придумать ничего лучшего, как изложить ее по его сочинениям. Мы это и сделаем, насколько возможно, подлинными его словами.

Задачей славянофилов было сознательно, систематически уяснить и определить *положительные* основания или начала русской и славянской жизни. По мнению славянофилов, противники их, западники, разрешали ту же задачу *отрицательно*. Под этим славянофилы вовсе не разумели, что западники отрицают русскую действительность; они только ставили западникам в упрек, что последние, сравнивая русскую жизнь и действительность с европейскою и не находя в ней того, что они считали желательным и необходимым в каждом развитом и образованном обществе, указывали на эти недостатки как на отличительные характерные признаки русской действительности. Славянофилы, признавая самый факт этих недочетов, видели в них, напротив, выражение самобытного склада русской и славянской жизни, который считали по существу не ниже, а выше европейского. То, в чем западники видели недостаток, славянофилы, напротив, находили достоинство, и именно на том, чего по-видимому нам не доставало, строили свои общественные, политические, научные и церковные идеалы.

«Историческая наука, — говорит Ю. Самарин, — зачалась в России вслед за переворотом, перервавшим у нас живую нить исторического предания. Оттого наука явилась не как плод народного самосознания, а как попытка со стороны цивилизованного общества, оторвавшегося от народной почвы, восстановить в себе утраченное самосознание, прийти в себя.

У других народов идея истории представлялась как своя история; форма и содержание зарождались нераздельно в живом народном самосознании; у нас же возникла сперва чисто формальная потребность истории, ибо внутреннее содержание ее составляло для нас искомое. Нам пришлось задать себе вопрос: чего нам искать в своем прошлом и какую бы нам сочинить для себя историю?

Перед нами лежала разработанная, разъясненная история других народов... Напрасно старались отыскать у нас героев, законодателей, аристократию и демократию, поэтических рыцарей и гордых прелатов; их не оказалось, и

пришлось сознаться, что явления нашей жизни, в сравнении с древним классическим миром и с западным, были бледны и тощи, что из данных, по-видимому сходных, у нас слагалось не то, чего бы хотелось, и, наконец, что итог всего нашего прошедшего развития совсем не походил на западноевропейскую цивилизацию, принятую нами за образец. Итак, вместо ответа на первый вопрос, мы пришли к сомнению: видно, мы чем-то обделены, чего-то существенного нам недостает, уж не страдаем ли мы коренным, прирожденным недугом? А если так, то где же он таится, как назвать его и в чем искать врачевания? Разумеется, самое возбуждение этих вопросов, сравнительно с прежним направлением (т. е. приспособлением к русской старине явлений европейской исторической жизни), из которого они вышли, являло несомненный успех. Они должны были заставить нас оглянуться пристальнее на самих себя, строже себя допросить; но в то же время они были так поставлены, что решение их зависело безусловно от субъективного убеждения каждого взирающего на предмет. Одному могло показаться, что наше историческое прошедшее было неполно, потому что Россия лишена была возможности принять в себя из первых рук результаты классической древности; другой мог приписать мнимую незаконность нашего развития удалению России от духовного средоточия средневековой западноевропейской жизни. Несколько лет тому назад г. Кавелин в очерке юридических отношений древней России доказывал, что отличительная особенность их заключалась в слабом развитии личности, исчезающей в обществе, а теперь г. Чичерин доказывает нам, что вся беда произошла у нас от недостатка союзного духа и от исключительного господства ничем не сдержанной личности. При всем разнообразии, при всей резкой противоположности этих мнений, промелькнувших в литературе русской истории, мы относим их к одной школе, по следующим двум общим их признакам. Во-первых, во всех указанных случаях, исследователь смотрит на предмет со стороны, с своей точки зрения, предварительно избранной, приносит с собою готовый масштаб; он приступает прямо к суду над прошедшим, не удостоверившись, того ли он ищет в древней России, того ли требует от нее, что требовала от себя самой Россия и в чем полагала свое призвание? Во-вторых, — и это есть прямое, неизбежное последствие неприменимости основных понятий, вынесенных из чуждой

нам среды, к явлениям нашей жизни, — выводы носят на себе постоянно отрицательный характер.

Такого рода выводы, сколько бы их ни набралось, имеют все одно общее свойство: они не объясняют изучаемого предмета, они только ограничивают его извне... не раскрывают перед нами его внутреннего содержания, не вводят нас в его сердцевину, не дают нам живого о нем представления.

В конце своей книги о русской администрации г. Чичерин сводит итог своих разысканий, и перед читателем является длинный перечень всего, не оказавшегося в наличности. Отсутствие союзного духа, отсутствие систематического законодательства, отсутствие общих разрядов и категорий, отсутствие юридических начал и юридического сознания в народе, отсутствие общих соображений, отсутствие теоретического образования и еще несколько других отсутствий удалось отметить г. Чичерину на перекличке учреждений допетровской Руси.

Так что же, наконец, в ней присутствовало? Ведь жизнь народа не может наполняться тем, чего в ней нет или чего мы в ней не нашли. Должны же мы допустить в ней и положительное содержание, да и самое множество действительно или мнимо отсутствующих в ней начал может быть понято только как признак решительного преобладания каких-либо других творческих сил. К сожалению, их-то мы и не видим.

...Отрицательное воззрение на русскую историю имеет основание совершенно независимое от намеченного порицания, но вытекает прямо из характера нашего умственного воспитания, из разобщения нашей мысли с народной средою, в которой мы живем, из привычки прилагать к ее явлениям понятия и категории, не ею самую выработанные, но внесенные в нее из чуждой ей среды, из которой мы перенесли на веру готовое умственное просвещение.

В сущности, отрицательность выводов есть выражение неспособности угадать причину своеобразности народной жизни и уловить в ней те духовные побуждения, в которых сперва бессознательно обнаруживаются предрасположения народа к его историческому призванию и которым позднее, в эпоху зрелости, предназначено развиваться в стройную систему понятий и найти для себя идеальные образы» (стр. 197—204)¹¹.

Так определяли славянофилы отношение своих взглядов на русскую жизнь, русскую историю к взглядам про-

тивников. Не станем здесь разбирать, были они правы или нет, а постараемся определить, в чем усматривали славянофилы положительные стороны русской и славянской народности и как они их понимали.

Основание всего русского и славянского быта есть, по мнению Ю. Ф. Самарина, общинное начало. Оно вначале явилось у нас в виде родового устройства, «которое было низшею его степенью». Последнее «прошло, а общинное начало уцелело в городах и селах, выражалось внешним образом в вечах, позднее в земских думах». Это «древнеславянское общинное начало, освященное и оправданное началом духовного общения, внесенным в него церковью, беспрестанно расширялось и крепло» (стр. 51)¹².

Русскую народность автор понимает «в неразрывной связи с православною верою, из которой истекает вся система нравственных убеждений, правящих семейною и общественною жизнью русского человека» (стр. 111)¹³.

Ближайшее пояснение этой основной мысли находим в следующих словах:

«Семейство и род представляют вид общежития, основанный на единстве кровном; город с его областью — другой вид, основанный на единстве областном и позднее епархиальном; наконец, единая, обнимающая всю Россию государственная община — последний вид, выражение земского и церковного единства. Все эти формы различны между собою, но они суть только формы, моменты постепенного расширения одного общего начала, одной потребности жить вместе в согласии и любви, потребности, сознанной каждым членом общины как верховный закон, обязательный для всех и носящий свое оправдание в самом себе, а не в личном произволении каждого. Таков общинный быт в существе его; он основан не на личности и не может быть на ней основан, но он предполагает высший акт личной свободы и сознания — самоотречение.

В каждом моменте его развития он выражается в двух явлениях, идущих параллельно и необходимых одно для другого. Вече родовое (напр <имер>, княжеские сеймы) и родоначальник. Вече родовое и князь. Вече земское или дума и царь.

Первое служит выражением общего связующего начала; второе — личности». Князь в отношении к миру есть «представитель личности, равно близкий каждому», «признанный заступник и ходатай каждого лица перед миром». Община не может обойтись без него, потому что

он отвечает глубокому, существенному требованию народного духа — «требованию сочувствия к страждущей личности, сострадания, благоволения и свободной милости».

«Призвав его и поставив над собою, община выразила в живом образе свое живое единство. Каждый отрекся от своего личного полновластия и вместе спас свою личность в лице представителя личного начала». В идеальном образе князя, которого искала древняя Русь, видны следы возвышенного, христианского понятия о призвании личной власти, о нравственных обязанностях свободного лица» (стр. 52 и 53)¹⁴.

«Эти истинные начала получили жизненное осуществление в русской народности. Начала, внесенные романскими и германскими племенами, представляются односторонними, т. е. относительно ложными. Вот почему славянофилы дорожат нашей народностью. Для них, как и для всех, цель составляет истина, а не народность» (стр. 151)¹⁵.

«Католицизм в области религии есть такое же несомненное проявление романской стихии, как протестантизм — проявление германской» (стр. 111).¹⁶

Латинство несет с собою помучение и извращение всех самых коренных нравственных понятий в целом обществе. К этому прямо ведет латинское «представление об отношениях правящей церкви к подвластным ей душам. Личность исчезает в церкви, теряет все свои права и делается как бы мертвою составною частицею целого; из нее, из этой частицы, то есть из души человеческой, вырезывается самая неприкосновенная ее святыня — совесть, и отдается церкви, личная совесть исчезает в какой-то собирательной совести, которая олицетворяется в церкви и которой единственным органом служит ее воинство; а так как церковь свята и непогрешима, то интерес ее совпадает с законом нравственным: что полезно для церкви — то благо, что для нее вредно — то зло». Вот почему прививка латинства к славянской стихии не случайно сопровождалась образованием ненародной, строго замкнутой и притянутой к Риму иерархии, постепенным возникновением около нее аристократии военно-политической, отторжением власти от подданных, высших слоев общества от низших, быстрым развитием цивилизации в кругу привилегированных сословий, но цивилизации, не проникающей в народные массы, и постепенным стугущением тьмы в низменных слоях общества и т. д.

«Историческая задача латинства состояла в том, чтоб отвлечь от живого организма церкви идею единства, понятого как власть, облечь ее в видимый символ, поставить, так сказать, над церковью полное олицетворение ее самой, и чрез это превратить единение веры и любви в юридическое признание, а членов церкви в подданных ее главы. Эта задача, перенесенная в мир славянский, в историческую среду общинности, не в тесном только значении совокупления экономических интересов, но в самом широком смысле множества, свободно слагающегося в живое органическое единство, должна была возмутить истинное развитие народной жизни до последней ее глубины. Действительно, латинство, по свойству внутренних побуждений, из которых оно возникло, было враждебно в одинаковой степени: общинности, этой характеристической племенной особенности славянства, и началу соборного согласия, на котором построена и держится православная церковь. Понятно, что разрыв в пределах церковной общины приводил неминуемо к разложению общины гражданской и что, наоборот, среда, в которой предназначено было развиться историческим силам славянства, так сказать предопределилась внутренним сродством двух указанных выше начал — общинности и соборности.

...Протестантство есть то же латинство, только обращенное в отрицание, латинство, с придачею к нему частицы *не*. Это крайняя противоположность латинства, но противоположность столь же односторонняя, как и оно. Это страстный протест личной свободы, отчаявшейся в возможности осуществить единство неискusstvenное, но протест, не выходящий из круга тех же разорванных, одно другому противопоставленных понятий, из которых одно воплотилось в романском мире, а другое в германском. Подобно тому, как латинство, в окончательном своем результате, ограничивается требованием внешнего, юридического признания истины, облеченной в образ церковного самодержавия, так, наоборот, протестантство, жертвуя всяким объективным содержанием, обращается наконец к изолированной личности с простым требованием искренности и подчиняет все формы общежития договорному началу, то есть сделке, в которой личный интерес служит и побуждением, и нормою. Оттого, несмотря на противоположность верований, воззрений и привычек, протестантская Европа, при всей ее враждебности к ла-

тинству, внутренне сознает свое тесное с ним родство» (стр. 337—339)¹⁷.

Эти взгляды выражены Самариним в следующих тезисах или положениях:

«1. Развитие германского начала личности, предоставленной себе самой, не имеет ни конца, ни выхода. Путем истощивания исторических явлений личности, до идеи о человеке, т. е. о начале абсолютного соединения и подчинения личностей под верховный закон, логически дойти нельзя, потому что процесс аналитический никогда не переходит сам собою в синтетический.

2. Это начало (идея человека или, точнее, идея народа) явилось не как естественный плод развития личности, но как прямое ему противодействие, и проникло в сознание передовых мыслителей Западной Европы из сферы религии.

3. Западный мир выражает теперь требование органического примирения начала личности с началом объективной и для всех обязательной нормы — требованием общины.

4. Это требование совпадает с нашею субстанциею; в оправдание формулы мы приносим быт, и в этом точка соприкосновения нашей истории с западною.

5. Общинный быт славян основан не на отсутствии личности, а на свободном и сознательном ее отречении от своего полновластия.

6. В национальный быт славян христианство внесло сознание и свободу; славянская община, так сказать, растворившись, приняла в себя начало общения духовного и стала как бы светскою, историческою стороною церкви.

7. Задача нашей внутренней истории определяется как просветление народного общинного начала общинным церковным.

8. Внешняя история наша имела целью отстоять и спасти политическую независимость того же начала не только для России, но для всего славянского племени, созданием крепкой государственной формы, которая не истощивает общинного начала, но и не противуречит ему» (стр. 63 и 64)¹⁸.

После этих выписок делается вполне понятным, в каком смысле славянофилы отстаивали принцип народности в науке, почему они считали народность одним из необходимых условий всех открытий и успехов в области знания.

«Мысль познающая,— говорит Ю. Ф. Самарин,— как орган науки достигает до полного своего развития и могущества только при условии совокупного и сосредоточенного участия в процессе постижения всех сил и способностей духа; воля придает мысли постоянство напряжения, побуждая и сдерживая ее; теплое сочувствие согревает мысль и вооружает ее безошибочностью духовного инстинкта, угадывающего в исторических явлениях едва проявленные движения человеческой души. Мы говорим здесь не о той, если можно так выразиться, отвлеченной любви к предмету, без которой никакой истинно-ученый труд невозможен, которая рождается от самого труда, возрастает по мере встречаемых препятствий, но которая вовсе не зависит от прямого отношения познающего лица к объекту; так, например, специалист пристращается к букашкам или к одному виду растений. Не об этой любви к предмету идет речь. Между мыслью, воспитанною в среде народности, и рядом исторических проявлений той же народности на всемирном поприще существует более прямое и близкое сродство, вследствие которого мысль преимущественно становится способною овладеть для науки именно теми явлениями, в которых она сама с собою встречается и узнает себя... Все это применяется не только к истории в тесном смысле, но и к другим наукам... Мы приходим к убеждению, что именно народность мысли, определяя как бы специальное ее назначение в области науки, наводит ее на пути к открытиям, постепенно раздвигающим пределы общечеловеческого знания... Если католик внес в область науки свое ограниченное воззрение на римскую церковь, если лютеранин так же односторонне определил значение Реформации, если ни от того, ни от другого мы не можем ожидать последнего слова определения взаимного отношения двух вероисповеданий: то почему не допустить, что произнес-ти это слово призван тот, кто не участвовал в борьбе, не заразился возбужденными ею страстями и, по возвышенности своей точки зрения, стоит над сторонами, ведущими между собою спор? Если таково призвание православного мыслителя, то не ясно ли, что оно выпадает ему не ради превосходной силы его ума, а единственно потому, что мысль его воспитается в другой духовной среде и что примирение противоположностей будет ему доступно не только как требование религиозного сознания, но как осуществленный факт в полноте духовной жизни православной церкви. Обнаружение односторонности выработан-

ных воззрений и примирение их путем возведения противуположностей в высший строй явлений, может быть, предстоит нам и в других областях знания. Может быть, вопросы об отношении личной свободы к общественному, предустановленному порядку, о соглашении выгод сосредоточенности поземельного владения (*la grande propriété*) и раздробление земли на мелкие участки (*la petite propriété*) и многие другие найдут свое разрешение именно у нас, вследствие того, что наука найдет их в жизни и взглянет на самые вопросы с новой точки зрения, на которую поставит ее народная жизнь. Может быть также, что это мечта; но возможность подобного участия в решении поставленных вопросов оправдывается прошедшими веками. В ответ на мировой запрос история не приносит логической формулы, а выводит на сцену нового деятеля, живой быт свежего народа, и много спустя, мысль, воспитанная в сочувствии с ним, возводит его на степень понятия и переносит из действительности в область науки как понятие, как закон (стр. 116—118)... Всякое воззрение предполагает точку зрения, всякий акт мышления — исходное начало (стр. 115)¹⁹. Чем же подготавливается и переделается этот приступ к предмету, эта точка зрения?.. Воспитанием мыслящего субъекта в самом широком значении слова: коренными его убеждениями, всецело наполняющими его и которыми он проникается постепенно, вдыхая в себя воздух семьи, родины и т. д. Точка зрения есть плод всего личного и народного развития. У каждого человека и у каждого народа есть точка зрения: само собою разумеется, что народная имеет всегда значительность историческую, которой может и не иметь личная» (стр. 150)²⁰.

Таковы основные воззрения славянофилов, проведенные Ю. Ф. Самариным большею частью полемически, в изданном теперь первом томе его сочинения. Эти воззрения представляют в частях и целом строго обдуманную, стройную систему. С ними можно соглашаться и не соглашаться, но ни в каком случае нельзя открыть в них даже намек на замаскированную программу политической партии или что-нибудь похожее на поднятие знамени невежества, фанатизма и грубости против просвещения, образованности и цивилизованного строя жизни. Мы только потому останавливаемся на этих упреках, что они нередко высказывались, отчасти, может быть, повторяются и до сих пор. Как читатели могут видеть из приведенных выписок, славянофильство было исключительно на-

учной, исторической, философской и теософической доктриной, без всякого политического характера, и не имело почти ничего общего с фанатиками, обскурантами, квасными патриотами и дикими людьми, готовыми видеть в насилии и кулаке оригинальное выражение русско-народного духа²¹.

Славянофильство никогда не было политической партией. Только совершенное непонимание дела могло вести к подозрениям, будто славянофилы преследуют какие-то затаенные политические планы, прикрываясь внешностью научных, религиозных и народных стремлений. Они имели свой весьма определенный взгляд на политические и общественные вопросы и задачи в России и Европе, проводили, доказывали и защищали их, насколько позволяли цензурные условия, в своих сочинениях, еще более в разговорах и спорах, но никогда не составляли из себя того, что называется политической партией — сплоченной общественной силы, действующей по одному лозунгу, по одной программе, под предводительством одного или нескольких признанных вождей, имеющей целью изменить общественный или политический строй страны, если можно, в пределах законности, а если нельзя, то подготавливая переворот. Ничего подобного, повторяем, славянофилы не представляли и не имели на уме²². Когда последователям этой школы открывалась законная возможность действовать практически, они действовали в духе своего учения²³. Самым блистательным и благородным представителем такой деятельности был сам покойный Самарин. Но они не искали возможности выступать на практическое поприще, и это¹ не было случайностью, а вытекало из самого существа их доктрины. Славянофилы по принципу были враждебны всяким политическим комбинациям, всякому навязыванию каких бы то ни было политических программ государству и народу. Они были глубоко убеждены, что зло должно запутаться и пасть вследствие своей внутренней несостоятельности, что добро, правда должны рано или поздно восторжествовать вследствие присущей им внутренней силы. Так они думали, так и поступали. Мы на этом потому особенно настаиваем, что у нас, к сожалению, и до сих пор не различают строго вещей совершенно различных, не имеющих между собою ничего общего. Иное дело — иметь известные воззрения, их уяснять, развивать, доказывать, проповедывать; иное — стремиться водворить их в жизни, в действительности, в виде политической программы, обязательной

для всех. В более зрелых обществах это различие давно всеми признано, и правительством и обществом, и служит краеугольным камнем свободы исследований, слова, мысли, науки, верований, даже при весьма ограниченных политических свободах, как доказывает пример Германии во второй половине XVIII и первой половине XIX века²⁴. Если взгляд на политические и общественные учреждения есть уже сам по себе признак политической партии, то нет учения, которое не было бы политической партией, и всякий ученый, мыслитель, философ должен быть признан за политического деятеля. Рассуждая последовательно в этом роде, пришлось бы, пожалуй, и евангельскую проповедь признать за политическую пропаганду.

II

С славянофильством случилось то же, что со всеми школами и учениями в мире. Противники, в жару полемики, делали за них выводы из их тезисов, приписывали им то, чего они не говорили, осыпали их насмешками, и все это пошло ходить по белу свету под фирмою славянофильства. Плохую услугу оказали ему и ярые, неразумные последователи, которые толковали его вкривь и вкось, развивая во всевозможных направлениях заключающиеся в нем мысли и делая из них всевозможные применения. Эти *enfants perdus et terribles*²⁵ славянофильства страшно исказили его и дали о нем совершенно ложное понятие²⁶. Наконец, у славянофилов не было недостатка и в ложных братьях, которые слыли тоже славянофилами, но преследовали совсем другие, далеко не такие возвышенные и чистые цели²⁷. Все эти примеси поставлены на счет славянофильского учения и до того его затемнили и запутали, что мало знакомому с ним невозможно ориентироваться в этом хаосе. Что ж мудреного, что славянофилы то считались опасной политической партией, преследовавшей какие-то затаенные разрушительные и контруправительственные цели²⁸, то бессмысленным бредом и сумасбродством горсти московских мечтателей, которые от нечего делать договорились до чертиков.

Чтоб вполне беспристрастно и справедливо оценить это учение, надо прежде всего отбросить все эти приросты, эти вольные и невольные искажения, от которых, повторяем, не обереглась ни одна доктрина, с тех пор, что мир стоит. Но и в самом учении, восстановленном в его

первоначальном виде, по подлинным словам и тезисам его корифеев, необходимо, как нам кажется, строго различать историческую, теософическую, философскую и научную его сторону от тех идеалов, которые носились перед основателями славянофильской школы, — идеалов, для которых они жили и которые они формулировали в своей доктрине. Изучая ход развития идей и учений, мы, почти на каждом шагу, встречаем, что великие мысли, которым суждено было впоследствии играть решительную роль в судьбах народов и в истории человеческого рода, мотивировались сначала слабо и недостаточно и потому не пользовались сочувствием современников и забывались на более или менее долгое время; но так как в этих мыслях заключалась правда, истина, то они потом всплывали снова и, мотивированные лучше, правильнее, становились одним из элементов и условий исторического движения. Постараемся же оценить славянофильство с этих двух точек зрения. Разберем сперва их мотивы и формулы, а потом их стремления и идеалы.

Что касается до мотивов и формул, то с этой стороны против славянофилов можно сказать многое, с чисто исторической и философской точки зрения.

Славянофилы, как мы видели, считают свое учение положительным, а учение западников — отрицательным определением русской народности. С своей точки зрения, они, разумеется, совершенно правы. С этой точки зрения, привитое к нам со времен Петра из Европы было отрицанием того, что было до него. Но западники, с своей точки зрения, могли с таким же правом назвать отрицательной доктрину славянофилов. В самом деле, со времен Петра сильные европейские влияния на Россию стали совершившимся фактом; с тех пор, в продолжение полутораста лет, они не только не ослабевали, но, напротив, все усиливались, более и более проникали в русскую жизнь и стали одним из ее составных элементов. Указывая на быт и учреждения допетровской России как на единственный источник истинно народного, славянофилы становились в отрицательное отношение к европейскому на русской почве, отвергали факт, усвоенный русскою жизнью²⁹. Отстаивая этот факт, западники, с своей точки зрения, относились к русским явлениям так же положительно, как славянофилы с своей.

Но не одно отношение славянофилов к русской жизни и к воззрению противников вызывает возражения. Самые их определения допетровского русского быта всегда

подвергались, и, как мы думаем, вполне заслуженно, сильным возражениям. Не входя в подробности, остановимся лишь на самом главном и существенном.

Славянофилам возражали, не без основания, что общинное начало, в том идеальном значении, какое они ему придавали, не было определяющим принципом русской жизни до Петра; что рядом с ним существовало и другое, прямо ему противоположное, начало обособленной индивидуальности, личности, которое, развиваясь и усиливаясь все более и более, повело к постепенному созданию у нас общественности и юридической гражданственности, сходной по своим основным началам с европейской, хотя и своеобразной, вследствие различия исторических условий и предпосылок у нас и в Европе; что невыработанность у нас личности в смысле умственной, нравственной и гражданской культуры, даже до настоящего времени, не допускает возможности того сознательного и добровольного ее самоотвержения, какое приписывает ей Самарин в допетровском периоде. Из этого противники славянофильских воззрений выводили и выводят, что наш древний быт представлял не гармоническое и сознательное соглашение начал, а хаотическое их смешение, предшествующее развитию, — смешение, какое замечается во всех человеческих обществах на первых ступенях их исторической жизни. В подтверждение ссылались на весь последовательный ход внутренней русской истории до нашего времени и на наш современный быт и нравы. Сознательно выработанная гармония начал, добровольное самоотречение личности, говорили противники славянофилов, не есть исторический факт, а задача будущего, не нечто уже когда-то достигнутое и впоследствии утраченное, а искомое³⁰.

Точно так же и взгляд славянофилов на различные христианские исповедания, составляющий основной пункт славянофильской доктрины, не мог не вызвать опровержений. Славянофилы вполне правы, говоря, что римское католичество носит на себе несомненную печать романской национальности, а протестантизм — германской; развивая ту же мысль далее, можно прибавить, что в Великобритании и романских землях протестантизм видоизменился сообразно с национальными особенностями тех стран и принял национальный характер. Иначе, разумеется, и быть не могло. Каждый человек и каждый народ принимает одну и ту же истину по-своему, насколько к тому способен и сообразно с своим характером. Это по-

ложение, справедливое по отношению ко всем людям и всем народам в мире, должно быть справедливо и относительно славян. Вероисповедание славянских народов должно бы выражать собою особенное, свойственное славянскому племени понимание христианского учения, как латинство выражает особенное его понимание романскими племенами, протестантизм — германскими. Если же это на самом деле не так, если оно сохранилось в том самом виде, в каком определилось в Греции, до разделения церквей, то из этого бы следовало, что христианская проповедь не проникла глубоко в наше народное сознание и славяне остановились пока на одном внешнем восприятии евангельского учения. Этого, конечно, не могут допустить славянофилы, и потому противоречат сами себе. Одно из двух: или христианское учение уже получило особенный оттенок у славян, соответственно с их народными свойствами и особенностями, или христианство не вошло еще в плоть и кровь славянских народов. Не допуская ни того, ни другого, славянофилы должны отказаться от своих выводов относительно романских и германских рас и от общих законов развития всех народов на свете, от начала истории³¹.

К этим главным возражениям, которые делались и делаются славянофилам, можно в настоящее время прибавить и следующие соображения, из которых выходит, что вообще глубокое усвоение христианского учения еще впереди, что оно есть задача дальнейшего развития рода человеческого.

Философская критика, начиная с Локка и Канта, мало-помалу выяснила до последней очевидности, что наши представления и идеи не суть нечто неизменное, неподвижное, существующее само по себе, независимо от человека³². Мы теперь знаем, что они — произведение свойственного человеку способа принимать и усваивать себе явления действительного мира, с которыми он находится в непрерывном взаимодействии. С этим взглядом отношение человека к представлениям и идеям существенно изменилось против прежнего. Они перестали быть для нас, как прежде, предметами одного созерцания и обратились в точки отправления и опоры активного отношения к окружающему миру, отношения, цель и задача которого пересоздать окружающее сообразно с нашими нуждами и желаниями и приладить себя к тому, что нас окружает. Зная, что представления и идеи изменяются, а также, как и почему они изменяются, видя в них продукт

психических процессов, сопровождающих творческую деятельность человека посреди окружающего, люди уже не беззаветно подчиняются представлениям и идеям, как они волей-неволей подчиняются законам природы и условиям государственной и общественной жизни, и пользуются ими как орудием и средством для деятельности и целей, которые ею преследуются. Представления и идеи, в глазах современных людей, — это леса, которые ставятся архитектором при постройке здания и снимаются, когда оно окончено, это линии и углы, которые наносятся на геометрическую фигуру, когда нужно доказать какую-нибудь геометрическую фигуру, когда нужно доказать какую-нибудь геометрическую теорему. Современный человек понимает жизнь и свое призвание к деятельности в творческом отношении к действительному миру, а не в созерцании представлений и идей. Преобладающее практическое направление, близорукое пренебрежение к идеальным стремлениям, предпочтение ближайшего более отдаленному, равнодушие к благам, представляющимся как вывод, хотя бы и несомненный, из целого длинного ряда посылок, — все это только обратная сторона созревающего нового миросозерцания, признак его младенчества, шаткости, невыработанности. Окрепнет оно, разовьется в целую, стройную, глубоко продуманную систему, и эти теневые стороны современности исчезнут мало-помалу сами собою.

Зарождающееся новое миросозерцание приводит к другим взглядам и на прошедшие судьбы человеческого рода и на то, что совершается вокруг нас. На длинные обходы и уклонения от истины, в которых мысль как будто терялась и запутывалась, мы уже не можем смотреть как на попятные движения, на даром потраченный труд и время. Они представляются нам, напротив, как большее и большее разъяснение, дополнение, и как бы сказать, усиление истины тщательной теоретической и практической разработкой того, что ей по-видимому противуречило, что ее, казалось, отвергало. Несколько слов будет достаточно, чтоб пояснить эту мысль.

Сначала человек пассивно, страдательно относился к окружающему, пользовался им, когда оно было ему пригодно, но не умел устраивать и видоизменять его так, чтобы оно служило его целям, для его надобности.

Наблюдение, опыт и вызванная ими работа ума дали ему мало-помалу средства приспособлять окружающее к своим потребностям и самому к нему прилаживаться. С тем вместе появился целый мир представлений, идей, которых происхождения и значения он не понимал, кото-

рых отношения к себе и окружающему он не знал. Этот мир представился ему в виде таких же несомненных, реальных и неизменных фактов, как окружающая его действительность.

По мере того, как знания и опытность росли и расширялись, жизнь, ее формы и обстановка, под влиянием возмраставшей творческой деятельности, развивались и изменялись, — представления и идеи следовали тому же движению и постепенно изменялись, то от него отставая, то ему сопутствуя, то его опережая. Сначала человек этого не замечал, но впоследствии подметил и стал всматриваться в законы изменения и перерождения представлений и идей. Таким образом и этот мир вошел мало-помалу в круг его наблюдений и опытов, его изучения и исследований.

Вот когда родились отвлеченные науки и философия — самая отвлеченная из всех. С тех пор и до нашего времени мир идей и мир фактов, доступных чувствам, существовали рядом, один подле другого, как две равные, хотя и глубоко различные реальности. Человек знал и ту и другую, жил обеими, но сначала не задумывался над тем, как же они друг к другу относятся, откуда их различие, где и в чем их связь. Лишь с той минуты, когда он сознал, что они ставят ему противоположные требования, тянут его в разные стороны, стал он задумываться над этими вопросами, но не умел их разрешить. Так оба мира и оставались разобщенными. Чем более они выяснялись в сознании человека, тем их противоположность выступала резче и резче. Она выразилась в идеализме и реализме, из которых каждому исходной точкой служила уверенность или в действительном, объективном, реальном существовании мира представлений и идей, или мира внешних факторов, доступных чувствам.

Начиная с Локка и Канта, целый ряд критических исследований, законченных лишь в наше время, привел наконец к разрешению вопросов о взаимных отношениях идеального и реального мира. Теперь дознано, что окружающий нас реальный мир доступен нам лишь в форме наших понятий и представлений, а они — результат психических процессов, вызванных взаимодействием нашей психической среды и окружающего действительного мира. Последний, равно как и мы сами, — несомненно существует как реальность; но и себя, и окружающий мир мы знаем и можем знать только в виде представлений и понятий, которые вырабатываются в нашей душе. Поми-

мо наших понятий и представлений, мы ничего о себе и окружающем не знаем и знать не можем; помимо представлений и понятий они для нас не существуют и существовать не могут.

Таким образом, оба противоположных мира, идеальный и реальный, казавшиеся разделенными непреступаемой бездной, ничем между собою не связанными, мало-помалу приблизились друг к другу в наших понятиях и оказались наконец тесно между собою связанными в человеке. Прежнее воззрение, будто человек стоит между двумя мирами — идеальным и реальным, более и более заменяется другим, по которому человек является их общим средоточием. Изменения, которые в них происходят, суть вместе и изменения самого человека.

С этим коренным поворотом в воззрениях, который исподволь подготовлен долгим развитием и успехами знания и опытности, открывается совершенно новый взгляд на ход истории рода человеческого и на исторические судьбы различных народов, игравших или играющих в нем роль. История представляется не как периодическое колебание между истиной и ложью, не как приближение к истине и отклонение от нее, а как непрерывный, последовательный ряд усилий человека улучшать свое положение, при помощи приспособления к себе окружающего мира и прилаживания себя к данной обстановке. Все, что человек ни делал в продолжение своей длинной, многострадальной истории, все его открытия, верования, создания его творчества, вели и ведут, прямыми или обходными и извилистыми путями, к этой главной цели всех его стремлений и усилий. Нередко человек блуждал, шел наугад; нередко, по незнанию, он ступал на ошибочную дорогу; но исследование, опыт, знание заставляли его бросать эти пути и искать новых, лучших. Кажущееся удаление от найденной уже истины было на самом деле только необходимой и неизбежной проверкой опытом новой идеи, теории, требования, не перешедших в действительную жизнь. Такая проверка расширяла, распространяла, дополняла истину, и после испытания на деле человек возвращался к ней с большим убеждением, с более глубокою уверенностью в ее непреложности. Этот взгляд, правильность которого выясняется более и более с каждым новым открытием в науке, с каждым крупным событием в истории, опровергает выводы славянофилов относительно хода развития русской истории и тех видоизменений, которым, в течение почти двух тысячелетий, под-

вергалось евангельское учение. Реформа Петра была, по существу своему, лишь расширением нашей опытности и нашего умственного кругозора. Неприглядная и тяжелая форма, в какой совершилось это расширение, только доказывает, вопреки мнению славянофилов, как мы тогда были неразвиты, как низка была наша тогдашняя нравственная и духовная культура. Что касается различия христианских исповеданий, то они не только отражают в себе различие национальных характеров и особенностей рас, но, что гораздо важнее, представляют постепенное развитие в людях способности понимать и усваивать евангельские истины — развитие, шедшее рука об руку с успехами знания, опытности и творческой деятельности. Католичество и протестантизм, бесспорно, ошибочно поняли христианское учение. Оба были лишь зеркалом в гадании, потому что люди, по своей степени развития и понимания, не могли стать к евангельской истине лицом к лицу. Романский элемент был прямым продолжением греко-римского; естественно, что греко-римские воззрения на христианство взяли в нем верх над другими, более согласными с духом христианского учения. Люди, по незнанию и неопытности, думали, что все содержание христианства можно уместить в юридические формы, в создания художественного творчества, в плохо понятые построения логических схем Платона и Аристотеля³³. Это, конечно, было заблуждением, но заблуждением, вытекавшим вначале из наивного непонимания истинного смысла христианства. Сбившись с прямого пути и запутавшись в ошибочном толковании, римская церковь, позднее, перестала быть по духу христианской и выродилась в учреждение, с которым не могли уживаться ни государство, ни наука, ни нравственность, ни совесть. Протестантизм отрицал латинское толкование христианства; но он далеко не был одним только отрицанием этого толкования. Протестантизм отверг значение церкви как юридической, государственной власти и понял христианство как внутреннее убеждение. В этом его заслуга не отрицательная, но весьма положительная, и важный шаг на пути к более правильному разумению христианства. Слабая сторона протестантизма, ошибочность его толкований евангельского учения заключалась не в широком просторе разума в делах веры, не во внесении критического исследования в учение, которое не боится критики, а в том, что он свел все содержание христианских истин на предмет познания и критического исследования и из-за этой их стороны

проглядел другую, несравненно важнейшую, ту, в которой лежит вся сила и глубокий смысл евангельской проповеди.— Христианство есть очищение душевного внутреннего строя единичного человека, поднятие его нравственной жизни, путь к возможному совершенству его индивидуальной внутренней нравственной деятельности. Пока не были выяснены ни отношения внешнего мира к внутреннему миру человека, ни значение мышления, его форм и их роль в наших индивидуальных психических движениях — до тех пор люди не были в состоянии понять правду евангельского учения во всей ее глубине и, естественно, сбивались, останавливаясь на том, что было более доступно их пониманию, более бросалось в глаза и легче поддавалось исследованию. По общему ходу развития рода человеческого, по той ступени этого развития, которую представляет Германия и немецкая наука, деятели Реформации и протестантизма, взявшие в свои руки истолкование христианства, не могли взглянуть на него иначе как на предмет мышления и знания, как на систему теоретических истин. Логическое знание было для людей на этой степени развития последним словом человеческой мудрости, и этот масштаб был применен к христианству. Но так как оно далеко им не исчерпывается, то протестантизм мало-помалу выродился в сухой, бессодержательный рационализм, не имевший никакой причины существования рядом с наукой. Так христианство вышло из протестантизма. Последним словом протестантской науки было его отрицание. Книга покойного Давида Штрауса «Старая и новая вера», поражающая нелепостью заключений и совершенным непониманием христианства, была откровенным заявлением такого отрицания и вместе свидетельством, что протестантизм, подобно римскому католичествому, сыграл свою роль и больше не имеет ничего сказать³⁴.

В наше время, вместе с коренным изменением мирозерцания, готовится и новое, более полное, более близкое к истине толкование евангелического учения. С тех пор что исследования опять привели к индивидуальному человеку, что он, в глазах науки, стал тем, чем всегда был на самом деле,— основною причиною и источником идей и представлений об идеальном и реальном мире, с тех пор, что оба эти мира стали, в нашем понимании, лишь выражением нашего сознания об отношениях человека к окружающей действительности и общих законов этих отношений,— с тех пор стало выясняться, что

знание, наука не есть последнее слово, что они служат только средством, способом, необходимым и неизбежным условием творческой деятельности, в которой, собственно, и заключается вся полнота жизни. Но такой взгляд возвращает нас опять из сферы представлений, понятий, идей и законов к индивидуальности и личности, к единичному человеку, так как действовать, творить, жить может только он, а не общие схемы, не общие законы и формулы. Деятельность, движение выясняется более и более как последний термин и вместе источник всех явлений. Физика и химия уже открыли в движении атомов и молекул общий источник всех физических и химических явлений; физиология указывает в организованной природе на рефлекс как на естественный и неизбежный исход предшествующего возбуждения. К тому же приводит и исследование сознательной, психической жизни человека: высшее последнее выражение индивидуального существования не есть созерцание, а нравственная деятельность, которая есть потому и необходимое условие, необходимый составной элемент всякой сознательной индивидуальной человеческой деятельности вообще³⁵.

Такой взгляд, составляющий последовательный вывод из всего хода развития человеческого рода, должен, рано или поздно, приблизить нас к более глубокому пониманию христианского учения как указания путей для нравственной деятельности единичного лица и идеалов индивидуального человеческого существования. Эта сторона евангельской доктрины до сих пор, вследствие общего хода развития человеческого рода, заслонялась другими и не была разработана, истолкована и выяснена с тем вниманием, с тою полнотою, как бы следовало по ее особенно важному значению. Теперь наступает время выдвинуть ее на первый план и поставить во главу угла. На нее указывает и общий ход научного движения. Результаты, к которым привело оно в наше время, не только не мешают, но, напротив, способствуют раскрытию этической, т. е. нравственной стороны христианства, в которой ключ к нравственной творческой деятельности. Славянскому ли племени выпадет на долю выполнить эту задачу и развить в действительности нравственную сторону творческой деятельности, или старшие по развитию европейские народы, опередившие нас во всем, прибавят к тому, что они уже сделали, еще и разрешение этой задачи — покажет будущее; но во всяком случае это не будет возвращением к пройденному пути, повторением уже сделанного, а но-

вым делом, новой заботой будущего, которое преобразует теперешние наши понятия, привычки и нравы; мы теперь можем только предугадывать, в каком направлении пойдет дальнейшее развитие, и в этом лучшие умы и передовые мыслители Европы давно уже нас опередили.

III

Мы привели главные возражения, которые делались и делаются против исторических, теософических и философских тезисов славянофильства. Мы, с своей стороны, считаем эти возражения весьма убедительными и думаем, что с этой стороны доктрина славянофилов не выдерживает строгой критики.

Но этой стороной их учение не исчерпывается. Есть у него другая, по нашему убеждению, очень многозначительная и существенная, которая, за спорами и полемикой, осталась в тени, незамеченной, и потому не оценена по достоинству. Мы разумеем идеалы, стремления, задачи славянофилов, которые они только формулировали в своих теориях. Давно настала пора произнести о славянофилах справедливый и беспристрастный суд, а он не может им быть, пока мы будем останавливаться только на том, что они говорили, не принимая в соображение того, что они хотели сказать, и не выяснив себе тех обстоятельств и условий, посреди которых зародилось их учение. Попытаемся оценить славянофилов с этой стороны.

Царствование Александра I было последним, со времен Петра Великого, моментом сильного увлечения европеизмом, в особенности французскими идеями³⁶. В царствование Николая I-го совершается в законодательстве и администрации крутой поворот к старине, в которой, как тогда думалось, хранятся сокровища истинной народности, источники истинно народного духа. Но русскую старину знали тогда очень мало и за нее нередко принимали то, что желалось в ней видеть. Как бы то ни было, но все, в чем выражалось усилившееся предрасположение к иностранному в воспитании, литературе, в управлении и войске, тщательно изглаживалось. Некоторая распушенность последних лет царствования Александра I-го заменилась строгой дисциплиной. Либеральным поползновениям александровской эпохи противопоставлена созданная в то время новая программа, в основу которой положены православие, самодержавие и народность. Первые признаки этого поворота начали сказываться еще при

Александрѣ I, но он сложился в полную правительственную систему лишь впоследствии³⁷.

Такой же поворот, хотя с совершенно иным значением, совершался в то время и во всей Европе. Великое движение умов в XVIII веке, пересоздавшее воззрения, учреждения, быт и нравы европейцев, приходило к концу. Идеи и начала, во имя которых совершалось движение, мало-помалу перестали быть предметом живой веры и глубокого убеждения. Наступила и для них пора критического разбора во всевозможных направлениях и со всевозможных точек зрения. Глубокое раздумье, охватившее лучшие умы, не могло не отразиться и у нас, ставших, с Петра, ревностными учениками Европы. Но вопросы, над которыми у нас пришлось задуматься, были, конечно, совсем другого рода. Различные направления русской жизни выражались не в науке, которой не было, а только в фактах, в изменении нравов, обычаев, привычек, в актах и распоряжениях правительства. Со времен Петра, характер и свойство этих направлений определялись почти исключительно взглядами правительства на наши отношения к Европе и изменялись вместе с ними. Посреди колебаний, которым подвергалась русская жизнь, естественно, должен был, рано или поздно, родиться вопрос: что лежит в основании таких, нередко крутых и внезапных поворотов ее то в ту, то в другую сторону? Что в них было случайно и что вытекало из самой сущности русской действительности? В чем заключается эта сущность и как она относится к началам, выработанным в Западной Европе? Потребность осмыслить события, отыскать их разумную причину, определить закон нашего исторического существования и развития, — вот что вызвало у нас, в сороковых годах, ту умственную и научную деятельность, посреди которой зародилось учение славянофилов и противоположное им направление западников. Работа русской мысли и русского сознания естественно зачалась в то время, когда, после долгого периода европеизма, наполнившего царствование Екатерины и Александра, начался у нас возврат на самих себя, родилось чувство национальности, чувство государственной и народной самостоятельности. Они и вызвали сознательное отношение к самим себе и другим. Разные внешние и случайные обстоятельства способствовали тому, что это первое в России самостоятельное умственное движение возникло в Москве. С самого начала тридцатых годов здесь, вдали от центра законодательной и правительственной деятельности, со-

средоточились лучшие литературные силы и вновь начала развиваться научная и литературная деятельность. Прежде в Москву уезжали жить вельможи, потерпевшие неудачу, впавшие в немилость и потому недовольные; теперь она стала мало-помалу сборным местом русских мыслящих людей всех возможных направлений, не находивших или не искавших служебной деятельности. Образовались литературные салоны, появились журналы, около которых группировались литературные кружки³⁸. Университет играл в этом движении немалую роль, главным образом в лице своих воспитанников, из которых пополнялись ряды писателей и литературных талантов. С 1835 года приезд многих молодых университетских профессоров, получивших образование в Дерпте и за границею, в немецких университетах, влил в зачинавшееся умственное и литературное движение Москвы новую жизнь и придал ему новую силу³⁹. С этого времени Московский университет играл в нем выдающуюся роль. К исходу тридцатых годов это движение Москвы приняло уже обширные размеры. Университетское преподавание, литературная деятельность, литературные кружки и салоны находились между собою в теснейшем общении и оказывали друг на друга большое и благотворное влияние. Почему-либо замечательная журнальная или газетная статья отзывалась в университетском преподавании; выдающаяся университетская лекция составляла событие дня, горячо обсуждалась в салонах и многочисленных кружках; вчерашний спор в литературном салоне завтра переносился в журнал, в газету, становился предметом обсуждения с кафедры. Живое общение умственных, научных и литературных сил в университете и вне университета придавало и преподаванию, и салонным спорам, и журналистике значение, влияние и силу, о которых мы, в наше время, забыли, которых теперь не осталось и следа. Это умственное движение, не ограничиваясь Москвой, охватило и ту часть петербургской литературы и публики, которая находилась в более или менее тесных личных сношениях с москвичами.

Сначала лица различных направлений, приютившиеся в Москве, жили мирно, даже дружески между собою и действовали вместе. Различие взглядов выражалось только в оживленных спорах, в научной и литературной полемике. Но к половине сороковых годов разномыслие, заостряясь все более и более, привело наконец к разрыву между славянофилами и западниками. Неловкости, не-

осторожности и резкости, в которых были виноваты обе стороны, придали разрыву острый, раздражительный характер; но произошел он не от них, а вследствие глубокого разномыслия в принципе, которое и должно было рано или поздно привести к разладу. Правда, славянофилов и западников соединяло то, что они в сфере науки и исследования критически относились к русской действительности. И те и другие своим появлением одинаково обозначили, что целый период русской истории, начавшийся реформами Петра, приходил к концу, что на смену ему выступало нечто новое⁴⁰; но эти новые потребности, эти стремления к чему-то другому складывались у славянофилов и западников в различные идеалы, и они-то глубоко их разделяли.

Кто жил в среде, где зародились воззрения славянофилов и западников, кто лично знал и слышал разговоры и споры людей, стоявших во главе тех и других, тот никогда не забудет глубоко-просвещенного, в высшей степени сочувственного строя мыслей и стремлений этих благороднейших идеалистов. Смешно, жалко и оскорбительно бывает, когда упрекают славянофилов в желании попятить Россию назад, в бессмысленном охранении окаменелых форм прошедшего, в невежественном консерватизме. Это или недоразумение и незнание, или незаслуженная напраслина. Идеалы и славянофилов, и западников, при всем различии, были одинаково чисты, возвышенны и безукоризненны. Стоит внимательно прочесть первый том собрания сочинений Ю. Ф. Самарина, чтоб в этом убедиться. Совершенное беспристрастие и справедливость к противникам, даже когда были поводы увлечься или прийти в негодование, поражают в сочинениях Самарина. Не пренебрежение, а глубокое убеждение, что одна истина способна рассеять заблуждение, внушало ему то удивительное спокойствие в полемике, которое невольно заставляет глубоко уважать писателя. Вспомним также, кто были основатели учения московских славянофилов и стояли во главе этого кружка? Это были люди замечательного ума и таланта, обширного знания и начитанности и европейски образованные. П. В. Киреевский, у которого, кажется, впервые славянофильские идеи стали складываться в определенную доктрину, несколько лет перед тем провел за границей, учился в Берлинском университете и был человек очень начитанный⁴¹. Старший брат его, И. В. Киреевский, когда-то талантливый ученик и последователь Шеллинга

и редактор «Европейца»⁴², был человек многостороннего исторического, философского, литературного и, позднее, богословского образования⁴³; А. С. Хомяков был поэт, полигистор⁴⁴ и замечательный диалектик. Он не получил университетского образования⁴⁵ и казался многим необычайно даровитым и начитанным дилетантом; иные находили также, что он слишком увлекался своим несравненным диалектическим даром и подчас злоупотреблял им, в ущерб истине⁴⁶. Но другие, коротко знавшие А. С. Хомякова, признавали за ним большую глубину критической мысли и считали его главою славянофильского направления. Наконец, К. С. Аксаков и Ю. Ф. Самарин были оба воспитанники Московского университета, по словесному, или филологическому, факультету, хотя различных выпусков⁴⁷, имели степень магистра, и вначале оба были ревностные гегельянцы, как большинство тогдашних мыслящих воспитанников Московского университета. Оба, особенно Ю. Ф. Самарин, получили блестящее воспитание, последний под руководством известного профессора и ученого Н. И. Надеждина⁴⁸, и были соединены нежной дружбой, которая прекратилась лишь со смертью Аксакова. Наконец, оба были моложе перечисленных выше основателей славянофильской доктрины, но гораздо их деятельнее в выработке ее оснований и в ее распространении. Оба оставили много сочинений, частью напечатанных, частью в рукописях. Аксаков больше разрабатывал русский и преимущественно великорусский быт, историю, язык⁴⁹; воззрения его имели местный, московский оттенок. Самым разносторонним деятелем из вождей славянофильства был Ю. Ф. Самарин. С глубоким знанием философии, богословской литературы и истории он соединял основательное и близкое знакомство с вопросами финансовыми, экономическими и народного хозяйства. Никто, не исключая Хомякова, не обладал таким даром полемики, никто не владел лучше Самарина пером⁵⁰. Прибавим, что все пятеро были люди с состоянием, некоторые из них даже богаты и не находились на службе. Живя в одном городе, будучи между собою близки и выдаясь беспрестанно, они могли согласиться между собою по крайней мере в главнейших пунктах и выработать свои воззрения до той степени определенности и единства, которых бы мы напрасно стали искать до и после этой знаменательной эпохи нашего развития⁵¹. Определенность, связность, цельность учения, его систе-

матичность и стройность были, без сомнения, одною из причин его распространения и успехов в публике.

Теперь все первые и важнейшие деятели в обоих лагерях уже сошли в могилу. К 1848 году московские кружки и салоны стали падать. Неудачная война, время реформ, новые живые интересы и стремления, практические задачи и их разрешение — все это дало мыслям другое направление, перемешало старые литературные партии, заставило их одно время сообща и дружно работать над одним делом. Споры, которые в это время возникали иногда между славянофилами и западниками, касались большею частию не теоретических оснований воззрений, сложившихся еще в сороковых годах, а лишь ближайших применений общих взглядов к различным частным случаям и практическим вопросам.

В наше время самое название славянофилов и западников потеряло всякое значение и держится только по старой памяти. Каждый мыслящий человек, принимающий к сердцу интересы своей родины, не может не чувствовать себя наполовину славянофилом, наполовину западником, потому что оба воззрения выражали и формулировали только две стороны одной и той же русской действительности, которые в науке, мысли, исследовании можно и должно отграничить одну от другой и изучать особливо, для лучшего их выяснения, но которые в живой действительности навсегда останутся непосредственно слитыми в одно целое. Как славянофильское, так и западное направление не разрешили вопросов русской жизни. Она прошла посреди славянофилов и западников, не удовлетворив ни тех, ни других, ответив далеко не на все их запросы, и осталась для них по-прежнему загадкой, сфинксом. Европейская программа оказалась невыполнимой на русской почве; славянофильская — далеко не обнимающей всех сторон и стремлений русской жизни. Попытки схватить жизнь целого народа, целого племени в одну формулу и, опираясь на нее, заглянуть вперед, не привели ни к чему. Пришлось ограничиться злобой дня, разрешать при помощи средств, указанных знанием и опытом, вопросы, какие выводит один за другим сама жизнь. В этом отношении и славянофилы, и западники сделали свое дело, сослужили свою службу. Они выяснили, осветили многие стороны нашего и славянского народного характера и быта, нашей и славянской истории, которые оставались до них неизвестными или сознавались сбивчиво и неясно.

Несмотря на то, что воззрения славянофилов уже сошли со сцены, они и до сих пор подают повод к самым странным и прискорбным недоразумениям. Происходит это единственно от того, что их исторические, философские, научные и теософические тезисы, в которых формулированы их взгляды, смешиваются с их идеалами и стремлениями. Какие требования ставили эти люди действительной жизни, России и славянскому племени? Чего они желали, чего надеялись, о чем мечтали? Они носили в своем уме и сердце горячую и просвещенную любовь к родине. Их вдохновенной мысли, опередившей действительность, представлялось человеческое общество, проникнутое нравственными стремлениями, в которых нет ни вражды сословий, ни антагонизма интересов власти и народа — общество, в котором все люди живут между собою в любви, согласии и единении. Они чаяли, что такими должны быть, по природе и историческим условиям, русский народ, славянское племя, что в этом они должны стоять выше других народов, даже тех, которые в остальном опередили их. Назовите людей, которые так думали и надеялись, мечтателями, оптимистами, утопистами, если считаете эти идеалы недостижимыми, но отнеситесь с почтением к их памяти, произносите с уважением их имена. Так мечтали лучшие люди, так ошибались, если это ошибка, достойнейшие личности во все времена и у всех народов. Основатели московского славянофильства жили посреди суровых и тяжелых условий, посреди отупевшего, равнодушного, легкомысленного общества, погруженного в мелочные заботы, жившего из дня в день. В такой среде не трудно было впасть в отчаяние, потерять веру в лучшие дни, вконец извериться даже в среду, в которой, казалось, умер живой дух и нераздельно властвовали одни давящие формы. И посреди таких-то условий, когда ниоткуда не видно было света, эти несколько человек умели сохранить в своей душе горячее убеждение, несокрушимую любовь к родине, непреклонную веру в торжество истины и правды между людьми. Руководимые бескорыстными, благороднейшими стремлениями, эти идеалисты, эти неисправимые мечтатели, высказывали прямо и открыто то, во что верили, не боясь насмешек и клеветы, которыми их осыпали не противники — с этим еще можно было бы помириться, — а ничтожная посредственность и пошлость, обеспокоенная в своих обыденных занятиях и забавах, в своих рутинных понятиях, необычайностью их продуманных и прочувствованных

воззрений. Мимоходом эти мечтатели подметили в нашей истории и современной действительности некоторые своеобразные черты, некоторые отличительные, характеристические особенности нашего быта в прошедшем, настоящем и вероятном или возможном будущем. Они, достаточные и обеспеченные помещики, с особенным сочувствием относились к работающим сельским массам и были из первых, которые на них указывали как на твердый оплот и основание нашей государственной прочности и нашей исторической роли во всемирной истории. Когда новое царствование вызвало к деятельности живые силы страны, славянофилы горячо отозвались на призыв, провели в литературе и в практическом разрешении законодательных и административных вопросов много мыслей и начал, имеющих важное значение не только в настоящем, но и в будущем нашем развитии⁵². Один из самых талантливых представителей славянофильских идей, Ю. Ф. Самарин был и самым неутомимым, полезным и почтенным практическим деятелем, в тесном единении с прежними своими противниками, западниками, и до последней минуты работал над вопросами дня, не уступая никому в неустанном труде и знании дела.

Такова была эта горсть людей. Мир их праху! полное сочувствие их благородным помыслам, их усилиям, их труду, их просвещенной любви к родине! Будем спорить против их теорий, ошибок, увлечений, но не забудем их заслуг и не станем бросать в них камнями: они оборотятся на нас самих. Прошло каких-нибудь тридцать — сорок лет, и многие из мыслей, взглядов и стремлений первых славянофилов обошли всю Россию, сделались общим убеждением всех. Не они одни их насадили, но они, бесспорно, много способствовали их выяснению и упрочению в русском обществе.

Вот что мы считали необходимым сказать по поводу выхода в свет первого тома сочинений Ю. Ф. Самарина. Многие из статей, помещенных в этом томе, представляют теперь лишь интерес полемического изложения славянофильского учения; но немало и таких, которые написаны как будто вчера, так они современны, и прочтутся с удовольствием всеми образованными людьми, без различия мнений и взглядов. Назовем в особенности разбор книги графа Н. Орлова «Очерки трехнедельного похода Наполеона против Пруссии в 1806 году», «Воспоминание о Д. П. Журавском»; «Гарибальди и Пиемонтское правительство»; разбор книги Кулеша «Повесть об украинском

народе»; заметки по поводу книги Адама Мицкевича: «L'église officielle et le Messianisme» и Токвиля «L'ancien régime et la révolution»¹¹. Все мыслящие люди, и в особенности поляки, прочтут с любопытством и участием, к сожалению, небольшой отдел статей по польскому вопросу. По своим взглядам Самарин не мог сочувственно относиться ни к римскому католицизму, ни к общественному и политическому строю прежней Польши; но он умел — что сумели очень немногие — отделить эти вопросы от вопроса о польской народности и говорить о последней везде с большим уважением и сочувствием. Вообще, тон и характер полемики Самарина безукоризненны и как-то поражают в наше время, утратившее чувство правды, справедливости и меры в спорах. Оттого наши споры и остаются без всякого влияния на общество и сделались синонимами с бранью.

Первый том сочинений Самарина издан весьма изящно и выпущен в продажу по крайне умеренной цене: книга в с лишком 400 страниц убористой печати стоит всего 1 р. 75 к.

Желаем этому изданию быстрого распространения в публике и с нетерпением ожидаем его продолжения.

О ЗАДАЧАХ ИСКУССТВА

Посвящается Н. А. Ярошенко¹

Мне случилось однажды разговориться с молодым художником-живописцем, человеком мыслящим и очень симпатичным. Беседа с такими людьми невольно увлекает. Совершенно забыв, что передо мною знающий, опытный специалист, что сам я ничего не понимаю вообще в искусстве и в живописи в особенности, я храбро, спустя рукава, высказал ему все, что мне думалось о той и другой картине, о призвании искусства, о его целях и его современном положении. Собеседник слушал меня снисходительно, кое с чем соглашался и, наконец, сказал: «Отчего вы всего этого не напишете и не напечатаете?»

Меня эта мысль почти испугала.

— Я?! Писать и печатать об искусстве! Да ведь для этого надо знать в нем толк. А я что знаю?

— Так что ж из этого? — возразил художник. — Вы — публика, на которую картина, музыка, пьеса производит известное впечатление. Ну, и пишите о ваших впечатлениях.

— Легко вам сказать — пишите! Впечатление впечатлению рознь. У человека знающего и художественно развитого впечатления одни, у понимающего и художественно неразвитого — другие, — кому же охота выставлять себя перед читателями и знатоками самонадеянным невеждой? Да и какая будет польза, если все мы, публика, выложим перед светом напоказ наши впечатления? У нас что ни человек, то свое мнение. Вышло бы такое вавилонское столпотворение и смешение языков, что было бы отчего совсем растеряться.

— Я не могу с вами согласиться, — сказал художник. — Какое тут невежество и самонадеянность, когда вы напишете и напечатаете, что такая-то картина вам нравится, а такая-то нет? Самонадеянный невежда тот, кто, не зная дела, судит о нем и рядит; высказывать свои впечатления — совсем другое дело. На вкус, как и на милость, нет образца; в этом всякий волен. Вы говорите: какая

польза от того, если всякий напишет о своем впечатлении? По-моему — большая. Благодаря тому, что вся публика рассуждает, как вы, никакого общения между художниками и теми, для кого они работают, нет; нет потому и широкой поверки для художественных задач. Художественная критика слишком специализируется, сводится на технические детали, на подробности выполнения. Пять-шесть человек — да и столько не наберешь — вот наши ценители и судьи. Но они, знатоки, стоят на одной с нами почве. Они те же художники, только теоретики, а не практики; чрез это искусство все более и более обособляется, делается узким, условным, становится исключительным уделом касты жрецов нового разбора. Даже и в науке, где всякое слово подлежит точному анализу и поверке, бывают эпохи застоя и временного помертвения. Что же *должно быть в искусстве*? Если все так пойдет, как теперь, у нас искусство, наконец, задохнется от недостатка света и воздуха. Нам необходимо бы знать, отвечает ли сочувствиям, вкусам, потребностям публики то, что мы ей даем; а она молчит. Нужны титаны-художники, чтоб гениальным чутьем напасть на то, что может в данное время овладеть душою человека. Обыкновенные люди этого не могут; они требуют указаний и поддержки, ходят по проложенным путям. Какая у нас возможна школа, когда все безмолвствуют и говорят одни записные знатоки? Вы боитесь, что разноголосица собьет нас с толку? Напрасно! Зная дело, мы сумеем отличить неосновательные или просто вздорные технические умствования от выражения полученных впечатлений; в последних мы тоже разберем, что ошибка слуха, зрения, внимательности, неопытности и что действительное требование, стремление, чаяние. Вот последние-то для нас особенно и важны. Они-то и служат нам, художникам, камертоном, к которому мы волей-неволей должны прислушиваться, если хотим, чтоб публика нас знала, смотрела на наши работы с интересом и участием. А как мы можем это узнать? Это может нам сказать только сама публика, а вы прячетесь, из ложного самолюбия, из суетной боязни сказать слово невпад и скомпрометироваться.

Я не нашелся вдруг что отвечать — так меня озадачил собеседник. В том, что он говорил, слышалось столько искренности, столько правды, что сразу трудно было отличить в его словах истину от увлечения. Я до сих пор твердо верил, что одни знатоки могут говорить об искусстве, что только их отзывы имеют значение и цену. И вот эту

мою уверенность старались поколебать! Я неохотно поддавался искушению, и требование собеседника казалось мне чрезвычайно странным, чтоб не сказать более.

После мы не раз встречались опять с тем же художником, и, когда ни заходила между нами речь о том же предмете, он твердо стоял на своем и разговоры свои со мной всегда оканчивал теми же словами: пишите, пишите.

Я задумался. Публика — это нечто очень разнокалиберное, неспетое. Из нее раздаются тысячи голосов и ни один не похож на другой. В каком же смысле ее впечатления могут быть полезны художнику, служить делу искусства? Эта мысль стала меня занимать.

Не раз, сидя один, я старался припомнить впечатления картин, виденных на наших выставках, и разговоры, какие случалось вести и слышать по их поводу. Но через длинный ряд годов все перемешалось и спуталось в моей памяти; иное совсем изгладилось, другое удержалось, но бледно и смутно; лишь немного сохранилось отчетливо, ясно. Виденное и слышанное на разных выставках как-то причудливо слилось в один ряд воспоминаний, а то, что происходило в одно время, разбилось на разные ряды; приятельские разговоры у себя дома и в гостях перенеслись на выставки, а то, что я здесь слышал, приплелось к приятельскому вечеру или к беседе за чайным столом. Возобновить в воспоминании обстановку и последовательность впечатлений не было никакой возможности.

Помнится, около одной картины, изображавшей нагую красавицу, собралась кучка солидных людей, которые пожирали ее глазами и передавали друг другу свои впечатления совсем не эстетического свойства. Отзывами этих господ художник мало бы покорыстовался — в интересах искусства.

Припомнилось также, как около одного пейзажа кто-то с апломбом знатока объяснял даме, что художник злоупотребил красной охрой и имей он ее меньше на своей палитре, эффект был бы гораздо лучше. Не понимая ничего в эффектах охры, я в душе позавидовал тонкому наблюдателю и ценителю живописи, который сразу видит, в чем дело и где ошибка. Слышанное замечание я тут же передал проходившему мимо приятелю, тоже живописцу, который уж наверное знал эффекты красок.

Он посмотрел на меня, на картину, пожал плечами и говорит: «Охота вам верить всякому вздору! Ничего этот господин не понимает. Какая тут красная охра. Ее нет и следа! Картина грешит тем, что написана в слишком красных тонах — вот и все».

И это тоже голос из публики.

Живо помню я впечатление на меня картины Крамского «Спаситель в пустыне». Перед этим лицом, измученным глубокой и скорбной думой, перед этими руками, сжатыми великим страданием, я остановился и долго стоял в немом благоговении; я точно ощущал многие бессонные ночи, проведенные Спасителем во внутренней борьбе; я точно видел за опущенными ресницами глаза, в которых читалось и обещание блаженства тем, кто прост сердцем, и покой страдающим и удрученным; и потом вдруг эти глаза светились негодованием, провидя, что слова любви и мира бросят меч посреди людей, — или горели гневом, пророча беды городам, которые гордо возносили свои головы до небес. В умилении и трепете я забыл всех и все около себя. Мне казалось, что я стою перед самим Спасителем. Меня начинали давить слезы умиления и восторга, какими плачет человек, когда правда, чистота, самоотверженная любовь к другим являются перед ним не в виде несбыточной мечты или недостижимого идеала, а как живой образ, действительное существо, и он снова надеется и верит надеждой и верой лучших лет, казавшейся навсегда утраченной...

— Посмотрите! — раздался около меня голос. — Что это за Спаситель! Это какой-то нигилист! Непонятно, как такую картину позволили выставить! Это кощунство, насмешка над святыней!

Мир моих художественных видений мигом исчез. Я опять почувствовал себя очень прозаически настроенным; внимание насторожилось, и, как у человека, готового к обороне и нападению, распахнувшееся сердце вдруг заглодело, и критическая работа ума вступила опять в свои права.

Вот они, впечатления! Мне картина Крамского дала минуту невыразимого восторга и счастья, а в другом она возбудила одно негодование. В котором же из этих впечатлений художник найдет указание, камертон для своей деятельности?

Невольно припомнились мне тут же впечатления совсем другого рода. На одной из выставок около яркой и блестящей картины то и дело толпились посетители.

«Какие удивительные фигуры, что за богатство фантазии, какая роскошь красок», — слышалось со всех сторон. Я подошел. Это была картина Семирадского: Спаситель и перед ним смущенная блудница, выронившая бокал из рук. Взглянув на Христа и блудницу, я отвернулся и не хотел больше смотреть. Для меня весь смысл картины мог заключаться только в этих двух фигурах, а в них-то именно и не было никакого смысла. Они мне показались ниже всякой посредственности¹.

Как же это так? — думалось мне. — Есть же что-нибудь в этой картине, когда ею так восхищаются. Отчего же я к ней не только остался холоден, но почувствовал даже что-то похожее на досаду. Видно, мне на роду написано ничего не понимать в живописи.

Под влиянием этой нерадостной мысли я бродил по выставке наудачу и собирался уж уйти, как со мной встретился знакомый, большой любитель и знаток картин.

— Ну что, — спросил он, — как вы довольны? Все осмотрели?

— Нет, — отвечал я не без некоторого смущения, — видел только кое-что. Ведь я мало знаю толку в живописи.

— Ну, так пойдемте со мной. Посмотрим вместе. На этой выставке многое стоит посмотреть.

Знакомый привел меня к небольшой картине, изображавшей щегольской и роскошный кабинет. По мере того как я вглядывался, стол, кресло, диван начали выделяться из фона, паркет, на который падал свет из окна, ожил; огонь в камине, разные мелочи на столе, картины на стенах — все выступило с такою поразительной правдою, что я на минуту забылся, точно находился в действительной комнате и вижу все эти предметы в натуре².

— Ну, как вам это нравится? — спросил меня приятель.

— Поразительно живо, — сказал я, — так верно, что одну минуту я совсем было поверил, будто передо мной действительный кабинет.

— Вот оно, торжество искусства! — сказал знакомый, трепля меня по плечу.

— Торжество подделки под действительность, — пояснил я.

— А чего ж вы еще хотите? — спросил меня несколько удивленный знакомый.

— Я бы хотел, чтоб изображенный предмет мне нравился, — сказал я, — чтоб он производил на меня приятное впечатление; а этот кабинет только поражает меня своей

правдой; но он мне совсем не по вкусу, и, будь он мой, я бы его устроил совсем иначе. В такой обстановке я бы не мог работать; посреди ее мне было бы вовсе не по себе.

Собеседник сделал гримасу, которая выражала и нетерпение и досаду, и повел меня дальше.

— Может быть, вот эта картина произведет на вас приятное впечатление, — сказал он, остановившись перед «Бурлаками» Репина.

И мысль, и исполнение картины меня поразили. И в атлетической фигуре с окладистой бородой, выступающей впереди, и в испитом мальчике, с рубахой, ободранною лямкой, и в старике, и в высоком сухощавом лентяе, который отлынивал от работы, и в бурлаке с восточным типом, даже в изображении реки, песчаного берега и в вечернем их освещении, я узнал давно знакомое, много раз виденное и прочувствованное. Припомнились стихи Некрасова; припомнилось многое из передуманного, из того, что не раз давило грудь и сжимало сердце. Я не мог оторваться от картины. Она не производила на меня приятного впечатления — совсем нет; но она притягивала меня к себе тем, что вызывала целый ряд мыслей и ощущений, к которым я часто возвращался и с которыми сжился. В них было мало радостного, но на них сложилась моя жизнь. Так друг смотрит долго и пристально на портрет умершего друга, припоминая дорогие черты, — и больно ему и мучительно, а он все смотрит и не может расстаться с тем, от чего ему так горько и так тяжело⁵.

Приятель заметил, что картина произвела на меня сильное впечатление, и смягчился. Может быть, с целью рассеять мои мысли он сказал:

— А замечаете ли вы, что в этой превосходной картине есть кой-какие ошибочки?

— Я ничего не заметил.

— Есть маленькая неправильность рисунка, которую вы, может быть, не видите, за общою верностью впечатления. Посмотрите: вот у мальчика, тянущего лямку, верхняя часть руки, от плеча до локтя, несоразмерно коротка.

— Да, это правда, — сказал я, вглядываясь.

— А вот и грешок против верности самого впечатления. При усилии, с которым бурлаки тянут лямку, нога должна уходить в песок гораздо глубже, чем изображено на картине. — И с этим замечанием я не мог не согласиться. Но содержание картины, общая верность передачи ху-

дожником этого содержания — так на меня подействовали, что указанные частные недостатки показались мне ничтожными, не заслуживающими внимания. Я это высказал. Приятель поспешил со мною согласиться.

— Ну, а взгляните-ка сюда, — продолжал он, подводя меня к другой картине. — Вот уж где нет ни сучка, ни задоринки. И небо, и воздух, и люди, и предметы — все изображено с неподражаемым искусством.

Передо мной расстился на полотне один из восхитительнейших рейнских пейзажей, когда-то виданных очень часто. И мюнстер на островке, и Семигорье, и развалины замков по берегам вдали — все предстало передо мной как живое. Этим самым видом я много раз любовался из Роландсэка в тихие вечера. Рейн катил медленно свои струи. По нем скользили лодки, издали дымился пароход. Пешеходы и фуры на больших колесах по шоссе вдоль реки оживляли вид. Мне припомнилось давно минувшее время; припомнилось и то, как, несмотря на дружбу и ласки моих добрых знакомых в Бонне, меня тянуло на родину, как меня томило одиночество посреди людей, как мне казалось все чуждым в кипевшей и волновавшейся около меня жизни и посреди благословенной природы.

— Ну что, как вам кажется?

— Удивительно верно и живо! Это действительно Рейн, каким я его видел. Но, признаюсь, меня больше хватает за душу вид нашей бедной, серенькой, однообразной природы. Какой-нибудь пригорок, на нем два-три деревца, за ними пашня, сливающаяся с горизонтом, а там — вдали желтоватые лучи заката, пахарь с своей тощей, кудластой лошадкой и понурым видом — за такую картину я вам охотно отдам все рейнские, итальянские и швейцарские виды.

В другой раз, не помню — прежде или после, мы встретились, тоже на выставке, с тем же знакомым.

— Вы, — говорит он мне, — патриот в живописи, это я знаю! Вам давай русские сцены. Пойдемте, я вам покажу нечто в вашем вкусе.

Приятель привел меня к небольшой картине. В деревенском помещичьем доме средней руки сидели за столом двое господ. Перед ними у двери стоял мужик, очевидно, староста, и с ним две красивые крестьянские девушки, с поникшими головами. Староста лукаво и угодливо смотрел на господ, а господа, особенно один из них, нехорошими глазами поглядывали на девушек. Фигуры, обстановка, движения, выражение лиц — все показывало

в художнике большого мастера, но картина мне сильно не понравилась по замыслу, по содержанию⁸.

Собеседник удивился.

— На вас трудно угодить, — сказал он мне не без некоторой досады. — Сюжет взят из действительной жизни, притом сюжет ваш любимый, русский; исполнена картина и в целом, и в подробностях мастерски; вы сами это находите. А между тем она вам не нравится!

— Я не люблю, — заметил я, — когда художник излагает своим произведением какую-нибудь сентенцию — политическую, религиозную, научную или нравственную, — все равно: иллюстрировать правило совсем не дело искусства; на это есть наука или публицистика. Художник, изображая продажу крепостной девки, хотел выказать свое омерзение к крепостному праву и во мне возбудить негодование к помещичьей власти. Но ненависть к крепостному праву, в наше время, — либерализм очень дешевый: оно отменено законом. Каждый мыслящий человек смотрит на него теперь уже не с жгучим чувством ощущаемой нестерпимой боли, а спокойно взвешивает все его стороны, и дурные, и хорошие. Я знаю, что крепостных девок иногда продавали в помещичьи гаремы; но знаю, что иногда помещики строили избы своим погорелым крестьянам, покупали скот и лошадей, призревали сирот, лечили больных, заступались за них в судах и полицейских управах. Взять один из случаев мерзостей крепостного права и иллюстрировать его в картине — так же односторонне и узко, как иллюстрировать одну из его благодетельных сторон. Пусть художник воспроизводит жизнь, правду, а не пишет в картинах приговоров. На меня они всегда производят действие, противоположное тому, какое имел в виду художник.

— Позвольте, однако, — возразил знакомый. — Вы хотите отнять у художника право негодовать и передавать свои чувства на полотне? Почему же художник не может делать того, что могут делать и делают все люди?

— Потому, — отвечал я, — что художник в своем создании не только выражает свои чувства, а вместе и воспроизводит жизнь, действительность, какова она есть. Это непременное условие всех созданий искусства, художественного творчества. Если актер на сцене расчувствуется и в самом деле заплачет на патетическом месте своей роли, вы его за это не поблагодарите. Вы требуете, и совершенно справедливо, чтоб он выражал не свои личные чувства, до которых вам нет никакого дела, а точно, правди-

во воспроизвел на сцене ту роль, которую он взялся представить. Вот потому-то я и думаю, что художник, раз он создает, не вправе отдаваться одним своим чувствам, а должен, если хочет быть истинным художником, подчинить свои чувства объективной правде и ее передать в своем создании. А разве правда крепостного права только в том, что помещики продавали друг другу крепостных девок на растление? Уж лучше бы он изобразил, как помещик сек мужиков за то, что они оставляли свои полосы невспаханными, да тут же приказывал ее вспахать и засеять, чтобы высеченный мужик не остался с семьей без хлеба. Такая картина производила бы, по крайней мере, полное впечатление, в ней были бы и добро и зло вместе, как всегда бывает в действительности. В этом драматизм и трагикомизм жизни.

— Бог вас разберет, чего вы требуете. А помните, — сказал знакомый после некоторого раздумья, — приемную у доктора или казначейство, с разными лицами, получающими деньги и ожидающими своей очереди. Как вам нравятся те картины?»

— Прекрасные этюды, — сказал я. — Лица — живые и мастерски схвачены.

— Значит, вы по крайней мере этими произведениями нашей русской живописи вполне довольны?

— Как вам сказать? Доволен я ими очень, как верным и очень искусным воспроизведением действительности. Но действительность выбрана безразличная и, собственно говоря, совсем неинтересная. Я радовался, глядя на эти картины, успехам русского искусства, умению наших художников писать русские предметы. Успехи действительно поразительные, особенно если сравнить с прежними, еще недавними опытами в том же роде. Но такие работы мне кажутся только пробами кисти, приготовлениями к будущему русскому художеству, русской живописи. А эта будущая русская живопись, когда ее пора настанет, выберет другие сюжеты. Она будет останавливаться на содержании, захватывающем душу, оставляющем после себя неизгладимое впечатление — и впечатление не одной поразительно верно воспроизведенной русской действительности, а глубокой мысли, глубокого чувства.

Я помню, мы расстались тогда с приятелем несколько сухо. Он был мной недоволен и смотрел на меня как на чудака; мне тоже было как-то неловко. Сказать правду, я сам хорошенько не знал, чего хочу, чего требую. Разные мои отзывы самому мне казались чуть-чуть не капризами,

так что было почти совестно перед приятелем, который смотрел на вещи просто, добродушно, без хитроумия и умел наслаждаться тем, что хорошо.

Воспоминания, вместо того, чтоб навести меня на что-нибудь, окончательно сбили меня с толку. Ни на чем я не мог остановиться.

Цепляясь памятью за то и другое, я неожиданно натолкнулся на давнишние, продолжительные, горячие споры с другим приятелем, который весь мир искусства считал прихотью богатых и праздных людей, художественные создания — дорогостоящими забавами досужего сибаритства, пожирающего огромные средства совершенно непроизводительно, а художников и артистов называл дармоедами, прислужниками утонченного разврата, праздности и пресыщения. Не было возможности сбить приятеля с этой позиции. По его мнению, то только и заслуживает поддержки, внимания, ухода, что полезно, что умножает или ведет к умножению предметов, служащих для удовлетворения неотложных потребностей человека. Наука, научные опыты и исследования тоже стоят дорого, но он считал затраты на них производительными, потому что результатом их всегда бывает какое-нибудь полезное для человека открытие или применение — то телеграф, то телефон, то пароход, то машина, уменьшающая труд или сохраняющая здоровье людей.

— Ну, а армстронговы и крупповские пушки, картечницы, разрывные пули и адские машины?¹⁰ О них вы забыли, а ведь и они тоже — плод науки, результат опытов и исследований. Но это мимоходом. Считая науки полезными, вы, конечно, разумеете так называемые положительные или точные науки и из них — преимущественно прикладные. Я взялся бы вам доказать, что и эти науки тратят множество сил, времени и деньги на предметы совершенно бесполезные в вашем смысле. Какую, например, пользу можно извлечь из исследований плотности Юпитера, Урана или Марса, их объема, их расстояния от Земли, Солнца и друг от друга? А чтоб убедиться, что и прикладные науки могут служить досужей роскоши не меньше искусства, войдите в любой косметический магазин или в любой кабинет, уборную, спальню богатой светской дамы, не говоря о других дамах. Но не в этом дело. Как же, спрошу я вас, понимаете вы пользу?

— Полезно все то, — отвечал решительным тоном приятель, — что увеличивает сумму предметов, служащих к удовлетворению непосредственных и неотложных материальных нужд человека, — предметов, необходимых для пищи, одежды, крова, для отдыха от труда, для сохранения здоровья...

— Но ведь для удовлетворения названных вами непосредственных потребностей нужны не одни материальные предметы; нужно, кроме того, и воспитание, и суд, и полиция, и войско, и благотворительные заведения, например, больницы, приюты для немощных, старых, детей и т. п. Все это полезно, потому что ведет, в конце концов, к вашей же цели. Но к той же цели ведет и искусство, которое бы вы хотели стереть с лица земли.

— Как так? — восклицал мой приятель. — Вот этого уж никак понять нельзя!

— Как понять? Да очень просто. Вы ведь признаете полезным то, что удовлетворяет непосредственным потребностям человека, и называете в числе таких предметов одежду, пищу, кров, отдых, здоровье. Но вы знаете, что человек, когда ему весело, пляшет и поет веселые песни, а когда ему сгрустнется — унылые; обыкновенная его речь, не одними словами, но и тоном, выражает различные его душевные движения — радость, гнев, печаль, ласку, презрение и проч. Все эти различные движения — тоже потребности, которым столько же необходимо удовлетворять, как голоду и жажде; они такие же непосредственные и неотложные, как те, которые вы признаете за такие. Им-то и удовлетворяет искусство. Причины его существования — именно в этих потребностях. На самых низших ступенях образования и посреди ужасающей нищеты, вы везде встретите зародыши искусства и художественного творчества. Безобразные каменные татарские бабы в степях¹¹ нельзя же назвать продуктами пресыщения и богатства? Не от избытка и пресыщения вплетает себе крестьянская девочка обрезаки материи в косу, мужик надевает рубаху с красными ластовицами¹², утирает лицо ручником с узорочными концами, ставит резное окно, раскрашивает ставни, украшает, как умеет, дугу. А ведь из этих первых грубых зачатков, которые вы найдете всюду между беднейшими слоями человеческого общества, и созданся в дальнейшем развитии этот самый мир искусства, который вы считаете бесполезным, напрасной затратой времени, труда и денег. Обращая против вас ваше же оружие, я бы мог с таким же правом сказать, что

еда, кров, одежда, отдых, здоровье — ненужные прихоти и роскошь, ссылаясь на то, что на стол, квартиру, туалет многими тратятся громадные суммы самым бессмысленным и беспутным образом. Если, говоря об излишествах этого рода, вы, однако, умеете отличить их от действительных потребностей, то отчего же вы иначе судите, когда речь пойдет об искусстве. Оно, как и все на свете, может вырождаться, идти на службу праздности, роскоши, пресыщению, растлевать, угодничать, продаваться тому, кто больше дает; но ведь и наука может тоже унизиться до всего этого, а ее вы же не станете за то побивать камнями, вычеркивать из числа действительных человеческих потребностей.

— Вы говорите, что искусство бесполезно, потому что оно есть спутник тунеядства, приучает к изыстному сибаритизму. Человек, по-вашему, должен только производить и фабриковать полезные вещи. Ну, а если искусство будет именно в этом направлении развивать людей, например, театр будет отучать их от роскоши и приохотить к труду; музыка будет сопровождать работу и поощрять к ней, как теперь военный оркестр возбуждает военный дух, или, чтоб оставаться в круге ваших представлений о полезном, песня прилажена к мерному звуку прялки в избе, от песни спорится дело дружной артели; если картины наглядно будут учить тому, что предстоит каждому делать и как делать; если статуями увековечится память Жакаров, Фультонов, Стеффенсонов¹³ и других гениев промышленного и фабричного дела? Таким искусством будете ли вы довольны?

Приятель замялся.

— Противником искусства, художников, художественного творчества, — развивал я свою мысль далее, — быть нельзя; можно быть противником известного их направления; но это уж другой вопрос. Я готов с вами согласиться, что направление искусства, творчество художников может быть хорошо или дурно, хотя мы, пожалуй, опять не сойдемся в определении, что хорошо и что дурно. Во всяком случае, этот спор будет совсем иного свойства.

По мере того, как я вспоминал, мысль запутывалась и изнемогала под разнообразием и противоречивостью впечатлений. Художник зло подшутил надо мной, подзадорив изложить их на бумаге! Высказывать в дружеской беседе — что подвернется на язык, совсем не то, что писать. Правда, сказанного слова, как воробья, не поймашь,

но от него можно отвертеться, и не так оно режет глаза; а написанное — торчком торчит и уж его топором не вырубешь! А что я напишу? Ряд бессвязных впечатлений! Это ведь меньше, чем ничего. Читатель вправе не на шутку на меня разгневаться, зачем я совершенно напрасно занял его внимание и отнял время.

Я было уже совсем отказался от намерения писать, как вдруг мне пришла в голову такая мысль: в том, что мне одна картина нравится, а другая нет или что я к ней равнодушен — должны же выражаться мои требования от живописи, а эти требования не могут не быть в тесной связи с каким-нибудь общим взглядом на искусство и на его задачи. Не оттого ли я запутался в впечатлениях, что не подумал до сих пор дать себе во всем этом ясный отчет? Попробую подойти к воспоминаниям с этой стороны; авось либо так доберусь до чего-нибудь определенного, твердого, откуда уж можно будет идти дальше, рассортировать впечатления на группы и привести их к одному общему знаменателю. Я ухватился за эту мысль и начал думать.

Всякое художественное произведение, говорят, воссоздает действительность, действительный мир, действительную жизнь... Положим — так. Но какую действительную жизнь? Ту ли, какая на самом деле есть, или ту, какая нам представляется? Разумеется, последнюю, потому что мы только то и знаем, что нам представляется.

Значит, художественное создание воспроизводит действительность, как мы ее слышим, видим, ощущаем, чувствуем. Итак, мы, собственно, воспроизводим не действительность, а наши представления о действительности, потому что другой действительности, кроме той, какую человек себе представляет, для него никакой нет, не существует.

Но у разных людей представления разные, часто совсем между собою непохожие. Представления состоят из впечатлений окружающих предметов и явлений на наши органы чувств, а эти предметы и явления очень различны; также различны и органы чувств у разных людей. Оттого чуть ли не у каждого человека свои впечатления, отличные от других. Помнится, я недавно где-то читал, что картины одного живописца — кажется, английского — поражали всех необыкновенною странностью теней и красок и никто не мог понять, отчего это? Наконец, один физиолог, изучивший ненормальные явления зрения и их законы, доказал, что странности картин могли

произойти только вследствие известной, им подробно описанной и охарактеризованной ненормальности зрительного аппарата у художника. Если поискать, то такие же странности окажутся, может быть, и в иных музыкальных произведениях, зависящие точно так же только от ненормального устройства органа слуха у композитора. Опытом дознано, что у некоторых людей оба уха бывают настроены не на один лад, и потому, когда они слушают обоими ушами, лучшее музыкальное произведение отзывается в них невыносимым диссонансом; чтобы наслаждаться музыкой, они должны крепко зажать одно ухо.

Я привел самые резкие примеры, бросающиеся в глаза. Но если принять в расчет большую или меньшую чувствительность органов чувств, оттенки их восприимчивости и ее характера, большую или меньшую их опытность в принятии впечатлений, тысячи особенностей, зависящих от тысячи условий, например, от принадлежности к той или другой национальности, от климата, местной обстановки, образа жизни и т. п., то нельзя не вывести отсюда, что представления людей должны быть чрезвычайно разнообразны, чуть ли не столько, как и сами люди.

Разнообразие представлений играет в искусстве несравненно большую роль, чем мы думаем. Это одна из причин, почему люди уже столько времени изучают художественные произведения, толкуют их и до сих пор не могут окончательно согласиться между собою в мнениях об одном и том же предмете. Иначе и быть не может. Мир представлений не может не быть совершенно иной под солнцем Италии или Индии и в России или в Гренландии. Один и тот же Петр Великий смотрит англичанином, французом, голландцем, смотря по тому, кто писал, рисовал или гравировал его портрет. Глаз, привыкший рассматривать картины и статуи, слух, выработанный на лучших созданиях музыкального искусства, будут видеть, слышать и различать их лучше, тоньше, чем глаз и ухо ребенка или человека, который не упражнял их над такими предметами. В этом отношении, как и во всех других, люди воспитываются и развиваются из поколения в поколение, по мере того как круг их впечатлений расширяется и становится разнообразнее. Вообразим себе, что человек, который никогда не видал других картин, кроме старинной голландской или фламандской школы, вдруг увидит итальянскую или испанскую картину, — он не сразу найдется в ней, освоится с ее характером и особенностями. Мы, старики, смолоду пробавлялись легкой итальянской

музыкой, знаем по опыту, как трудно вслушиваться в звуки немецких музыкальных созданий и дойти до понимания их красоты. Один очень образованный француз, слушавший в первый раз «Жизнь за царя» Глинки, признавался мне, что не понимает прелести этих звуков, и пришел в восторг, когда заиграли полонез и мазурку: эти звуки были ему знакомы¹⁴.

С этой стороны представление есть нечто очень условное. В отношении к искусству мы можем говорить не о представлениях всех вообще людей, кто бы они ни были, а только о представлениях нормальных, составляющих как бы средний результат известной нормальной деятельности внешних чувств, при известной степени их навыка и опытности в принятии внешних впечатлений и образовании из них представлений. Поэтому, когда говорится о художественных произведениях, всегда предполагается, что они существуют не для всех без изъятия людей, а только для тех, кто имеет необходимые нормальные для того условия, как естественные или прирожденные, так и приобретенные развитием, навыком, опытностью. Но этим круг людей, для которых искусство существует, естественно и неизбежно суживается. По мере расширения образованности и усиления развития, этот круг будет становиться все шире и шире, но никогда не включит в себя всех людей. Вне его останутся все, кто почему-либо не подходит даже под средний уровень нормальной восприимчивости к воспроизведениям представлений.

Представление есть, впрочем, только одно из условий художественного творчества. Другое, столько же существенное — это воссоздание представления в материальном факте или явлении — образе, слове, звуке, телодвижении, игре физиономии. Спешу, однако, оговориться. «Воссоздание представления» выражает не совсем точно то, что происходит при художественном творчестве. Представление остается при нас, и вывести его из человека наружу ничто в мире не может. Художник только создает такой материальный факт, производит такое материальное явление, которые соответствуют представлениям и вызывают их каждый раз, когда такой факт или такое явление действуют на наши внешние чувства. Оттого-то художественное создание и называется творчеством. Оно в самом деле как будто вновь создает окружающий нас мир, который действует на наши чувства, производит впечатления и чрез них образует или вызывает представления¹⁵.

Говорят, искусство воссоздает действительный мир, самую жизнь, какова она есть. Это не совсем так. Им создаются условия, которыми вызываются такие же представления, как и действительным миром, действительною жизнью. Но художественные создания никогда не воспроизводят действительного мира, каков он есть. Место, которое мы видели, и ландшафт, который нам кажется сходным с этим местом как две капли воды, на самом деле вовсе друг на друга не похожи. Расписанное полотно, очевидно, и не может походить на действительную местность. Но и ландшафт и местность, которую оно изображает, производят на нас одинаковое впечатление, вызывают одни и те же представления. Портрет, написанный карандашом или пером, силуэт, вырезанный из черной бумаги, еще меньше похожи на предметы, которые они изображают, а мы, однако, бываем поражены сходством. Почему? Потому что в нас вызывается, при виде рисунка или силуэта, то же представление, какое вызывал действительный предмет. Мраморная статуя, бюст — что же в них сходного с действительностью? А мы находим удивительное сходство, если черты и выражение схвачены верно. Тут сходство, очевидно, весьма относительное и условное. А что сказать о литературных созданиях, о музыкальных произведениях, которые, по своей внешней стороне, не имеют с видимыми предметами ни малейшего, даже отдаленного сходства!

Итак, весь смысл художественного творчества состоит в таком сопоставлении и сочетании материальных данных, чтоб они вызывали в нас те же представления, что и действительные предметы, действительная жизнь.

Если мы, после всего сказанного, проследим то, что происходит, начиная с художественного творчества и оканчивая художественным наслаждением, то получим целый ряд очень сложных операций, которые будут иметь такой смысл: художник известным сочетанием материальных предметов и явлений создает нечто, вполне отвечающее его представлениям. Зрители, слушатели, словом — публика получает от создания художника впечатления, и, сравнивая вызванные им представления с теми, какие она уже носит в себе, чувствует или не чувствует себя удовлетворенной, смотря по тому, отвечает ли произведение ее представлениям и в какой мере.

В этом смысле, мир искусства есть одна из величайших побед человека над окружающим: художественные создания — плод подробного знакомства человека с обста-

новкой и ее законами, без чего нельзя и помышлять о сочетаниях фактов, с целью произвести известное впечатление и вызвать известные представления. Мы иной раз небрежно перебегаем глазами от одной картины и статуи к другой, скользим, перелистывая, по лучшим литературным произведениям; а какое было нужно громадное накопление знания и опытов, в течение многих тысячелетий, чтоб довести, не говорю уж целую литературу или целую школу живописи, музыки и т. д., а самое малейший стих или самую нехитрую музыкальную пьесу, самую несложную картину до того художественного совершенства, до которого дошли люди в наше время. Теперь нам кажется простым и легким писать порядочными стихами или взять кисть, натянуть полотно, наложить краски на палитру и написать картину; но пройдем мыслью весь путь, которым люди дошли до того, что это стало легко и просто, и нам придется повторить все ступени теоретического и практического знания, которые род человеческий прошел с величайшими усилиями, трудами и колебаниями от начала до нашего времени. Вспомним, сколько усилий, ума и замечательного таланта потрачено русскими художниками, писателями, музыкантами, чтоб только выучиться писать русские предметы и русские стихи, чтоб овладеть русскими мотивами. Какой же громадный труд нужен был, чтоб создать целый мир искусства! Ведь сделанное у нас — капля в море, в сравнении с тем, что сделано человеческим родом для живописи, изящной литературы, музыки и других отраслей искусства от их первых зачатков до нашего времени.

Что это был тяжкий труд, великий подвиг, видно из того, как люди неохотно шли на него сначала и как им тяжело было за него приниматься.

В древнейших преданиях сохранились следы какого-то непонятного нам теперь отвращения первобытного человека от художественного творчества; такое же отвращение проявлялось и гораздо позднее, на памяти истории, в эпохи глубочайшего одушевления и нравственного перерождения людей. Это происходило, может быть, оттого, что наполнявшее душу человека еще не сложилось в определенное, ясное представление или представление уже сложилось, но человек еще не умел подыскивать и сочетать внешние факты и явления так, чтоб они отвечали представлениям и вызывали их. Первый шаг на пути к художественному творчеству, по своей новостности, необычайности и крайней трудности, не мог не страшить лю-

дей, не внушать им суеверной боязни. Но, кроме того, замечается и другой мотив: то, что человек носил в своей душе, так владело всем его существом, он до того им был проникнут, им жил, был в него погружен, что создавать его внешнее подобие казалось посягательством на святую. Известно, что сильное чувство, разрешаясь в мысль или образ, теряет свою напряженность.

Первоначальной неумелости людей создавать во внешнем мире образы, соответствующие представлениям, есть параллельные явления в другой области. Такая же неумелость справляться с окружающим лежит в основании философских воззрений Будды. Мир исполнен зла и страданий. Христианство указывает на дела любви и самоотвержения как на средства исцеления. Европейцы, воспитанные на этом учении, приспособляют окружающий мир к своим потребностям и нуждам¹⁶; буддизм не имеет никакого понятия о приноравливании окружающего мира к требованиям человека, о деятельном, преобразовательном отношении к этому миру. Поэтому он рекомендует человеку уйти в себя, стать совсем бесстрастным, нечувствительным к злу и страданиям. Нирвана, восточный квиетизм, восточный фатализм выражают беспомощность человека, неумение его заставить природу и окружающий мир служить себе и своим нуждам.¹⁷

Другой мотив, внушавший отвращение к художественному творчеству и всякой внешней деятельности, — боязнь осквернить святую чувства, ослабить его поднятую силу внешним образом; внешнею деятельностью, замечается при глубочайшей религиозной восторженности и психическом сосредоточении сил. Художественное творчество, с этой точки зрения, есть огромный шаг вперед в отношениях человека к окружающему; создавая мир искусства, он подчиняет природу своим нуждам и требованиям, заставляет ее служить себе. Подобно тому, как он мало-помалу выучивается готовить себе пищу и запасать ее впрок, прикрываться от холода, жары и непогоды, защищаться от животных и людей, он выучивается создавать сочетания фактов и явлений, которые отвечают его представлениям и вызывают их в других. Сначала эти создания, разумеется, очень несовершенны, но мало-помалу, с успехами знания и опытности, они становятся все более и более совершенными и, наконец, достигают виртуозности, которой мы изумляемся в произведениях великих мастеров. На этом пути, как и на всех других, постепенным совершенствованиям не видно конца, и то,

что нам теперь кажется венцом художественного творчества, может через пятьсот, тысячу лет оказаться чуть не ребяческими опытами. Но с первых же шагов к художественному созданию человек открывает себе новые пути завоеваний в окружающем мире, и в этом, между прочим, заключается одна из причин великого образовательного значения искусства.

Искусство, говорят нам, творит для человека новый мир. Это не иносказание, а совершенная правда, потому что оно создает материальные предметы и явления, которые вызывают в людях такие же представления, как и сама жизнь, сама действительность. Рядом с действительным миром появляется другой мир, вовсе на него не похожий. Между ними только то общего, что оба вызывают одинаковые представления. При высоком развитии искусства обольщение бывает до того полное, что человек принимает художественное создание за самую действительность и наоборот: каждому случалось, наслаждаясь впечатлением действительного предмета, чувствовать, что, только благодаря художественным созданиям, он выучился вполне ценить действительность. И в этом нельзя не признать важного образовательного значения искусства. Создавая новый мир, соответствующий представлениям, оно выясняет их, а с ними и отношения действительного мира к нашим впечатлениям, до поразительной определенности и точности. Искусство, наперерыв с наукой, выучивает нас смотреть и слушать правильно.

Мало того: создавая рядом с действительным миром другой мир, вызывающий одни с ним представления, искусство выводит нас из условий пространства и времени. Давно умерших мы видим как живых; то, чего мы никогда не видали и, может быть, никогда не увидим, мы узнаём со всею живостью непосредственного и личного знакомства. Благодаря художественным созданиям, мы можем по произволу вызывать в себе живые представления тех или других предметов и явлений, которые в действительности отделены от нас громадными пространствами и целыми веками или которые когда-то существовали, но уже исчезли и более никогда не будут действовать на наши чувства.

Но как ни было велико обаяние художественных созданий, как бы их действие на нас ни совпадало с действием окружающего мира, не должно забывать ни на минуту, что произведения искусства относятся только к нашим

представлениям, только для них существуют и для них одних имеют смысл.

Помимо представлений художественные создания и не имеют художественного значения. Говоря об объективности в искусстве, о реальности художественных произведений, надо всегда помнить, что речь идет только о реальности и объективности условной, а именно, только по отношению к представлениям. Эта объективность и реальность всегда зависят от определенности, ясности представлений, от их характера и свойства. Этим объясняется, каким образом люди образованные и развитые могли сравнительно еще недавно наслаждаться крайне несовершенными, по нашим понятиям, даже совсем безвкусными, произведениями искусства, почему были возможны уклонения искусства в разные ложные направления — в аллегорию, символизм, манерность и рутину. Человеку в художественных произведениях в конце концов всего дороже его собственные представления, вызываемые, освежаемые, оживляемые внешними возбуждениями, и он невольно, сам того не замечая, переносит их в создания искусства. Объективная, реальная оценка дается страшно трудно, и вполне объективной она никогда не может быть и не будет. Только долгое развитие и опытность, образовавшаяся под влиянием самых разнообразных и противоречивых направлений и взглядов, более и более смягчает крайности и угловатости субъективной оценки; но никогда она не может быть исключена вполне и обратиться в исключительно и чисто объективную, потому что самая почва художественности — представление — не может быть вырвано из человека и перенесено в мир объективных явлений.

В ошибочном понятии об объективности художественных созданий лежит источник всех недоразумений и бесконечных споров об искусстве. Представление, к которому сходятся и из которого расходятся все явления в области искусства, — это двухлицый Янус, одною своею стороною обращенный к объективному миру, окружающему человека, а другою к его ощущениям, чувствам, стремлениям, желаниям и движениям воли: их человек носит в себе, ими он живет; рядом с внешними возбуждениями, они служат источником его внутренней и внешней деятельности, а со всеми этими психическими состояниями и движениями представления связаны тысячью нитей.

Отношения представлений к внешним предметам и явлениям, создаваемым с целью вызвать и воспроизве-

сти эти представления, — вот объективная, внешняя сторона искусства и художественного творчества; чувства и вообще душевные движения, возбуждаемые в нас произведениями искусства чрез представления, составляют внутреннюю, субъективную сторону художественных созданий и творчества. Все сказанное мною до сих пор об искусстве касалось только его внешней, объективной стороны. Оно дает удовлетворение или наслаждение особого рода, которое, явно или скрыто, сознательно или бессознательно, но непременно входит в художественное впечатление. Как бы ни была велика живость, реальная правда художественного произведения, мы все же относимся к нему иначе, чем к самой реальной действительности. К впечатлению художественного произведения всегда примешивается ощущение, что мы имеем дело не с самою реальностью, а с более или менее совершенным ее подобием. Таким образом, в художественном впечатлении непосредственное чувство реальности осложняется и ослабляется другим чувством, ощущением сходства художественного произведения с действительностью, которой впечатление оно в нас воспроизводит. Когда мы видим на мастерской картине или на сцене страдания, мучительную смерть или порывы страсти, они не потрясают нас так, как если б то, что мы видим, совершалось в действительности перед нашими глазами. Мы потрясены, но вместе с тем и наслаждаемся поразительно верным воспроизведением реального события, тем, что картина или игра актера вызывают в нас те же представления, какие бы вызвала сама жизнь. Тайна художественного наслаждения всегда скрывается в этом ощущении, хотя мы редко отдаем себе в этом отчет.

Художественное наслаждение лежит на рубеже объективной и субъективной стороны искусства. Такое же срединное положение между ними занимают художественные идеалы. Реалисты в искусстве их отвергают¹⁸; художники-идеалисты и философы отстаивают, ссылаются на то, что художественные произведения не рабские воспроизведения действительности и содержат в себе нечто такое, чего в ней нет. Это справедливо. Но, не довольствуясь этим, они идут дальше и выводят отсюда, что художественно прекрасное, художественная красота существует как-то отдельно от действительности и реальности, вносится в нее художником извне, и потому говорят об искусстве для искусства, в противоположность реалистам, не признающим идеи красоты и требующим подчи-

нения искусства разным положительным целям, требующим, чтоб оно приносило ту или другую пользу. Эти бесконечные споры вытекали из ошибочных взглядов на объективную сторону искусства, общих и идеалистам, и реалистам. Еще недавно считали возможным выделить эту сторону и на ней одной построить теорию искусства. Но мы теперь знаем, что оно не воспроизводит объективного или реального мира, а только создает то, что вызывает в людях такие же представления, как реальная действительность. Художественные идеалы — это представления художника, идеальные по своей природе, так как в них впечатления перегруппированы под особым углом зрения, свойственным художнику. Говорить о художественном идеале в объективном смысле, после того как сменилось столько художественных идеалов, невозможно. Объективный художественный идеал, идея прекрасного, воплощающаяся в художественных созданиях, есть лишь вывод ума, обобщение явлений, а не объективный факт. Художественный идеал создан философским идеализмом и безвозвратно пал вместе с ним. Теория искусства для искусства справедлива как требование известного настроения при художественном создании, но в том смысле, как ее понимают поборники неизменной идеи прекрасного, воплощающейся в действительности, она не выдерживает критики. Об «искусстве для искусства» можно говорить с таким же основанием, как и о «науке для науки» или о «любви для любви», или о «правде для правды». Наука не будет наукой, когда мы, вместо искания научной истины, будем преследовать какие-нибудь другие цели и к ним прикраивать научные выводы; правда не будет правдой, когда мы подчиним ее соображениям житейских выгод и т. п. Художественное творчество не должно иметь другой задачи, кроме верного воспроизведения фактов и явлений, вызывающих те или другие представления; в этом смысле теория искусства для искусства непреложна, но она и не говорит ничего: художественное творчество, не достигающее своей цели, не есть искусство. К сожалению, эта теория, вопреки истине и правде, и вследствие самых печальных недоразумений, смешивает идею прекрасного, художественный идеал, с известными образцами художественного творчества, требует, чтоб они непременно носились перед художником во время художественного создания, считает их для него обязательными. Такой взгляд, такие требования не только ошибочны, но они крайне вредны. Художест-

венные идеалы меняются вместе с представлениями, и увековечивать их — значит мешать развитию художественного творчества, которое только и состоит в создании фактов, которые соответствуют представлениям и вызывают их. Идеалисты, поборники идеи прекрасного, художественных идеалов и теории искусства для искусства проиграли свое дело. Их взгляды не пользуются ни авторитетом, ни влиянием. Можно ли сказать, что в их взглядах нет ни малейшей доли правды, что все их требования ложны от начала до конца? Этого я бы не решился утверждать. Что-то похожее на истину просвечивает в их теориях, но эта истина так искажена и обезображена извращенной постановкой задач искусства, что нет возможности стать под знамя идеалистов. По намерению, они должны бы быть поборниками субъективной стороны искусства, которой знать не хотят реалисты; но вместо того, чтоб разрабатывать и выяснять эту сторону, рука об руку с поборниками объективности и реальности в искусстве, они перенесли в последнюю требования первой и истощаются в бесплодных усилиях создать объективные идеалы, неизменную объективную красоту. Ту же ошибку идеализм вносил еще недавно всюду — и в политику, и в философию, и в теорию права, и в учение о нравственности. Не понимая своей настоящей задачи, ни того, чем он силен, и принимаясь за разрешение задач реализма, идеализм везде терпит неудачу и отовсюду вытесняется, в ущерб истине, которой целая сторона, благодаря этому, остается неразработанной и заброшенной.

Возвращаюсь к перерванной нити мыслей. Представление — это центральный пункт, в котором сходятся и объективная, и субъективная стороны искусства. Объективная его сторона — это создание предметов, которые вызывают по возможности те же представления, что и непосредственная, живая действительность, и реальная оценка этого тождества; а субъективная — те ощущения и чувства, которыми сопровождаются представления. Но представления, как известно, никогда не являются в нас обособленными от других явлений психической, внутренней жизни; напротив, в действительности они всегда переплетаются с чувствами, настроениями, стремлениями и желаниями, ими вызываются и, наоборот — их сами вызывают. Когда мы голодны, нам представляются любимые кушанья; когда мы любим, нам беспрестанно думается о любимом предмете. Веселое, радостное, грустное, гневное, раздражительное и другие настроения вызывают

каждое различные представления. Наоборот — и представления приводят душу в известное состояние или настроение; возбуждают в нас те или другие ощущения, чувства, желания.

Эта тесная связь и взаимноедействие представлений, с одной стороны, настроений, стремлений, ощущений, чувств, желаний — с другой, и придает искусству важное значение в развитии людей и общества. Давно и всеми признано, что обстановка имеет решительное влияние на людей, направляет их мысли на деятельность в ту или другую сторону. Оттого воспитатели и педагоги придают такую важность первым впечатлениям ребенка. Создания искусства, видоизменяя по произволу данную обстановку людей и тем вызывая в них те или другие представления, есть поэтому могущественное и незаменимое орудие воспитания и образования. Искусство, посредством художественных созданий, действует на душевный строй, на чувства, желания и волю людей. В этом его общественное значение и великая роль. В наше время на это как-то мало обращается внимания. Между тем именно общественное и нравственное влияние искусства и подает повод к спорам и недоразумениям, к противоречивым суждениям о художественных произведениях. Об их объективной стороне нет и не может быть разномыслия по существу. Задачи объективной стороны искусства слишком определены и ясны, чтоб по поводу их могли возбуждаться серьезные разногласия между компетентными судьями — экспертами, специалистами, знатоками искусства. Что художественное создание должно с возможною приближительностью отвечать представлениям — об этом нет и не может быть спора. Спор может быть только о том, в какой мере эта задача художественного творчества разрешена, какими техническими средствами, способами и приемами она разрешается всего лучше и вернее. Эти вопросы решаются только на основании науки и опыта. В наше время трудности в решении задач искусства начинаются, когда вопрос переносится в сферу субъективных явлений, вызываемых художественными произведениями посредством представлений. Во взглядах на искусство, в оценке художественных произведений с этой стороны царит тот же хаос, та же неурядица, как и во всем, что касается психической жизни человека, ее законов и задач. Целая школа ничего знать не хочет об образовательных и воспитательных задачах искусства. По воззрениям этой школы, единственная задача художественных произведе-

ний — возможно живое и верное соответствие их представлениям, но каким представлениям — об этом школа не заботится. Такова чисто объективная точка зрения. Она имеет свои оттенки. Самые крайние из ее поборников ухитряются и в искусство вносить грубо-материальные требования, видят задачу искусства в создании произведений, вызывающих представления об одних материальных предметах и явлениях. Противоположная ей школа идеалистов, представляющая тоже много различных оттенков, стоит за образовательный и воспитательный характер искусства; но, будучи бессильна найти соответствующие ему формы в современных представлениях, отворачивается от них, крепко держится за готовые художественные формы, созданные до нас, и в них видит единственные образцы прекрасного, а в возможном к ним приближении — единственную задачу современного искусства. Но художественные формы, как и формы речи, создаются представлениями и изменяются вместе с ними. Нашей скудости в представлениях, вызывающих благороднейшие движения души, не поможет, если мы станем вдохновляться представлениями живших до нас людей. Иные времена — иные люди, иные люди — иные представления! Натянутое, искусственное, вымученное вдохновение бледно, вяло, безжизненно — есть не более как поза, которая никого не обманет и не поднимет нашего душевного строя; напротив, оно только оттолкнет шатких от высших задач искусства, отбросит их в лагерь завязтых натуралистов, на стороне которых, по крайней мере, объективная правда.

Между этими двумя крайностями колеблется современное искусство. Сильная выработка по всем направлениям объективной его стороны, а со стороны субъективной — бедность представлений, выражающих или вызывающих высшие, идеальные стремления, — вот к чему, в конце концов, сводится теперь почти все в области художественного творчества. Недостатку представлений субъективной стороны мы стараемся помочь подражанием формам, которые выработаны до нас, но из этого ничего не выходит и не может ничего выйти. Пока в нас самих не возникнет представлений, вызывающих великие художественные создания, мы не извлечем их из созданий других времен и других людей, а будем пребывать в фразе, и, вместо творцов, станем лишь жалкими подражателями.

Таково современное положение и художников, и публики. Их нельзя различать: они — дети одного времени, произведения одних и тех же обстоятельств, получают одни и те же впечатления. Наши художники и наша публика не имеют поведать друг другу ничего нового. Наш театр, наша литература, наши художественные выставки, наши музыкальные произведения выражают тот же разброд чувств и помыслов, какие видим и в образованных слоях русского общества. Художники создают, — мы, публика, наслаждаемся созданиями искусства каждый по-своему, но ни они, ни мы не задаемся вопросом: какого рода душевные движения — чувства, стремления, желания — должны быть или не должны быть возбуждаемы произведениями художественного творчества? Художники и публика смотрят на одну лишь объективную сторону искусства. Мы, зрители и слушатели, обратились в записных знатоков художественных созданий, — всего чаще прикидываемся знатоками и соперничаем с специалистами по части искусства. Неудивительно, что объективная его сторона развивается на счет субъективной и царит над нею в наше время.

Несколько времени спустя, я опять встретился с симпатичным художником, заставившим меня столько думать.

— Ну, что? — спросил он меня, — решились вы наконец передать на бумаге ваши художественные впечатления?

— Да, я написал все, что припомнил, — отвечал я, — но почти раскаиваюсь в этом.

— Отчего так?

— Из написанного ничего не выходит.

— А вам бы, конечно, хотелось заострить ваши впечатления каким-нибудь нравоучением?

— Нравоучением — нет, а прийти к какому-нибудь выводу, заключению, признаюсь, очень бы хотелось; но его-то мне и не удалось добиться. Так мое писание и осталось неоконченным.

— Я вас не совсем понимаю, — сказал художник. — Речь между нами шла, кажется, только о впечатлениях, выносимых публикой с выставок художественных произведений. Какое же тут может быть заключение, вы-

вод? То-то нравится потому-то,— другое потому-то не нравится. Больше нам ничего и не нужно!

— Вы требуете невозможного,— возразил я.— Принявшись вспоминать и стараясь отдать себе отчет, почему мне одна картина очень понравилась, другая — меньше, третья — вовсе не понравилась, и так далее, я набрал много заметок. Совершенно невольно, мысль стала работать над ними, анализировать их и приводить в порядок. Из этой работы сложился взгляд на искусство, выяснились различные требования от художественных произведений. Сам того не замечая, я проделал, таким образом, все те умственные операции, которые мысль проходит от первого полученного извне впечатления до окончательного результата. Но результата-то я и не мог вывести никакого. У нас художники и публика — одно и то же, и учиться им друг у друга решительно нечему. Так, по крайней мере, теперь. Может быть, явится со временем такой гениальный художник, что увлечет за собой публику и перевоспитает ее вкусы,— а может быть, публика так разовьется, что потянет за собой художников и заставит их искать новых путей. Но это — будущее, а его я не знаю, и никто не знает. Теперь же и в ваших, и в наших головах совершенный хаос, разброд, безурядица — и ниоткуда не видно света.

— Допустим, что так. Но ведь и это вывод. Стало быть, что вы написали — имеет конец, хотя он, положим, и не веселый. А потом ваши нерадостные мысли относятся к тому, что говорится в публике и между художниками. Но сами вы имеете же про свой обиход какие-нибудь определенные требования от искусства, по которым и меряете художественные произведения. Вот их-то и желательно бы знать! Сами вы говорите, что анархия, хаос — во взглядах и публики, и художников. При таком положении всякое мнение, всякий голос будут очень кстати, хотя бы только для проверки, сравнений и соображений.

— В том-то и беда, что я не имею для своих требований готовой, выработанной формулы. То, что есть, меня не удовлетворяет, и я довольно ясно и отчетливо могу определить, почему я им недоволен; но как только начинаю обдумывать и захочу формулировать, что бы могло меня удовлетворить в искусстве, я ничего не могу схватить, кроме неподдающихся формуле отвлеченных мыслей и общих стремлений. Прибавьте к этому естественную в наше время боязнь сказать совсем не то, что хо-

чешь. Мысли, подобно людям, утратили свою индивидуальность, и, выскажи я свой взгляд общепринятыми терминами (а других мне взять неоткуда), вы первый подведете его под готовую мерку, наклеите на него готовый номер — и под этим номером сдадите в древлехранилище отживших взглядов на искусство. Мое самолюбие от этого пострадает, но это, положим, не важно: важно то, что возможность требований от искусства, которые я считаю правильными, будет скомпрометирована, — высокомерное и пренебрежительное к ним отношение найдет себе новую пищу и новую опору. Этого бы я никак не хотел. Пусть мысль, если она верна, выскажется, когда совсем вызреет.

— Но, — возразил художник, — если б все рассуждали, как вы, люди были бы осуждены вечно вертеться в круге одних и тех же общепринятых воззрений, даже когда они уже более никого не удовлетворяют. Новые требования всегда являются сперва в старой одежде, — и обыкновенно проходит много времени, пока они успеют выработать себе новые, вполне им отвечающие формы. Если вы не курите фимиама перед своей особой и хотите служить людям и обществу, — какое вам дело до того, что подумают о вас и ваших взглядах? Выскажите то, что вы думаете, и предоставьте другим выбрать из ваших слов ту крупицу правды, какая в них может заключаться. Если окажется, что в ваших мнениях нет ничего нового и полезного, — это вас заставит вновь обдумать ваши взгляды и дать вашим мыслям другое направление; а найдетсЯ, что вы правы, — тем лучше для вас.

— Итак, — сказал я, — вы хотите, чтоб я шел против общепринятых воззрений на искусство в первой шеренге и пал с нею, в сладкой надежде, что, быть может, вторая, третья одержит победу? Извольте...

«Искусство, — говорят одни, — делает видимые большие успехи у нас и всюду». «Искусство, видимо, мельчает, падает, обращается в прихоть и предмет роскоши», — говорят другие.

Оба взгляда совершенно правы. Только они относятся к двум разным сторонам искусства.

Выработка его форм, техники, совершенство выполнения, в смысле точного соответствия представлениям, никогда еще не достигали такой высоты, как теперь. С этой точки зрения, величайшие мастера прежнего времени превзойдены современными художниками.

Но точное соответствие представлениям есть, как я сказал, только одна сторона искусства. Что она сторона существенная, что без нее искусство перестает быть искусством — это бесспорно; но она еще не все искусство — далеко его не исчерпывает.

С точки зрения техники, формы, содержание художественного произведения безразлично. Создавайте что угодно; если объективная сторона художественного произведения вполне удовлетворяет требованиям — оно, в объективном смысле, может быть названо совершенным. Художественное наслаждение, при таком взгляде, может состоять только в удовлетворении, какое нам дает совершенно точное соответствие предмета нашим представлениям. Содержание оставляется при этом в стороне. Мы его забываем и наслаждаемся тем, что то, что мы себе представляем, является перед нами как живое, точно сама реальная действительность. К этому примешивается еще и чувство удивления мастерству художника и восхищение торжеством искусства, могуществом человека — создать новый мир рядом с действительным.

Станьте исключительно на эту точку зрения, и искусство неизбежно обратится в фокус-покус, в кунстштюк. Художественное творчество будет только доказывать, что человек способен создавать предметы и явления, очень точно отвечающие нашим представлениям, другими словами — оно окажется одною из особенностей и курьезов человеческой природы, отличающих людей от остальных организмов. Вот и все.

В самом деле, если вся суть искусства в том только и состоит, чтобы создавать предметы, совершенно отвечающие нашим представлениям, если художественное наслаждение только и заключается в констатировании этого соответствия, с примесью удивления к художнику и к способностям, мощи и уму человека, то содержание художественного творчества и художественного наслаждения становится совершенно безразличным. Пишете ли вы воду или портрет, перламутр или вид Неаполя, кучку грязи или Петра Великого, или жука — это все равно. Вся разница только в бóльшей сложности и трудности задачи, выполнение которой требует бóльшего искусства, бóльшей сообразительности и умения справиться с делом. Как большинство англичан с каталогами в руках проходят по залам музея, интересуясь больше всего тем, действительно ли находится статуя или картина на том месте и под тем номером, как значится в каталоге, так и мы, публика,

при таком воззрении на задачи искусства, будем наслаждаться только тем, что представление схвачено верно и живо; а какое оно, это представление — об этом она не задумается, не станет спрашивать.

Противники этого воззрения называют его натурализмом, реализмом в искусстве. Но это одна клевета на реализм. Взгляд этот вызван как крайность борьбою с притязаниями псевдоклассицизма в искусстве, представляющего другую крайность.

Псевдоклассицизм признает достойным предметом художественного наслаждения только произведения искусства прошедших веков, признаваемые классическими; художественные создания, соответствующие представлениям современного человека, считаются им достойными внимания только в той мере, как они приближаются к классическим. Таким образом, псевдоклассицизм берет за образец художественного творчества не действительные явления, которые вызывают такие представления, а произведения классического искусства, не представления, а формы, созданные прежними людьми, в соответствии с своими представлениями, — вот что, по мнению псевдоклассиков, должно служить прототипом для художественных созданий современников¹⁹.

Что изучение классических образцов и подражание им есть один из лучших приемов для образования и воспитания начинающих художников, против этого едва ли кто будет спорить. Основательное знание истории искусства навсегда останется лучшим способом развития художественного вкуса. Но этими способами и приемами художники только вырабатывают технику, приобретают сведения и навык, необходимые для художественного творчества; а самое творчество, которого единственная задача — создавать предметы, точно и верно соответствующие представлениям, не должно и не может быть ограничено подражанием чужим созданиям. Суживая творчество готовыми образцами, мы существенно искажаем самые задачи искусства. Живые представления — его единственные прототипы — уходят при подражании на второй план, а место их заступают готовые формы. В них, без сомнения, многое превосходно, если хотите, образцово выражает некоторые стороны и наших теперешних представлений; но в них зато много и такого, что нашим представлениям вовсе чуждо, да и превосходное, образцовое, во всяком случае, является в сочетаниях, до того нам чуждых, что нужно глубокое изучение и большая опыт-

ность, большой навык, чтобы отличить в них общее всем людям и свойственное только представлениям людей той или другой эпохи. Ставя художественному творчеству образцом не представления, а готовые формы, выработанные по чужим представлениям, псевдоклассицизм подрывает его под самый корень. Псевдоклассицизм делает с искусством то же, что некогда схоластика сделала с наукой, подставив ей в виде предмета изучения, вместо живой, реальной действительности, выработанные логические формы.

Неестественное отклонение внимания и мыслей художников от представлений и живых явлений к готовым формам художественного творчества создало такое же неестественное понятие о вечно-прекрасном, которое будто бы воплотилось преимущественно в известных произведениях искусства, и обязательное созерцание в этих произведениях вечной красоты. Люди начали становиться на ходули, чтобы настроить себя на лад этого прекрасного; появился деланный восторг, выродившийся в пустую фразу, в пустые слова. Выломавшие себя на убеждении, что только классические произведения искусства — прекрасны, что художественно-развитой и образованный человек только ими может наслаждаться, дошли мало-помалу до квиетизма в созерцании художественной красоты, до смакования произведений искусства, до своего рода художественного сибаритства и сладострастия. Этим весь смысл и все значение искусства были вконец извращены.

Такое уродливое отношение к художественным созданиям, дойдя до последних пределов манерности, не могло не вызвать резкого протеста. Люди мыслящие, сильные и искренние, не способные рутинно тащиться по пробитой колее, возмущенные крайностями, до которых довел псевдоклассицизм, круто поворотили в противоположную сторону, отворотились от классических созданий искусства и бросились очертя голову в односторонний натурализм и реализм или стали отрицать искусство.

Теперь классические и антиклассические увлечения в искусстве прошли. Борьба притихла не оттого, что разрешилась соглашением, примирительным аккордом, а просто от истощения сил²⁰. Наступило какое-то серенькое время; не заметно ни сосредоточенной мысли, ни определенного направления. В проторенные колеи нельзя уж больше ступить, а новые пути еще не найдены, и нет сил их искать. Так у нас и во всем. А между тем чувству-

ется, что что-то нужно, чего-то недостает; что должны же быть какие-нибудь дороги к открывающимся новым про-светам.

Когда люди остановились на распутье, в недоумении, что начать, куда идти, — очень трудно говорить, не впадая в гадания и фантазии. Если мысль стала в тупик и развитие на время остановилось, то это верный признак, что упущен из виду какой-нибудь фактор, которым обуславливается развитие. Его необходимо ввести в дело, чтобы началась новая, живая работа, чтобы пульс жизни снова начал биться.

Мне кажется, что ключ к возрождению художественного творчества, к восстановлению глубокого влияния искусства на людей скрывается в субъективной стороне представлений. На нее обращается в наше время слишком мало внимания, как в искусстве, так и во всем. Я иду еще дальше и утверждаю, что она доселе лишь бессознательно и потому случайно являлась как фактор в художественном творчестве, отчего и не вводилась как принцип в теорию искусства. Если художественная критика и указывала иногда на этот фактор, то его теоретические основания были слишком невыработанны и шатки, чтобы он мог удержаться в ней постоянно и прочно. И древнее, и новое искусство были почти исключительно заняты возможно полным, точным и совершенным выражением представлений в художественных произведениях. Преследуя эту задачу, искусство лишь случайно, временами, делало различие между представлениями. Все те из них, которые годились для главной цели — объективной правды, переводились в художественные создания. Исчезновение субъективного фактора чувствовалось некоторыми, иногда многими, но их сетования смешивались с притязаниями псевдоклассицизма или прямо становились под его знамя, опирались на его теорию изящного и победоносно опровергались и улетучивались посреди споров и борьбы партий. Искусство все более и более уходило в выработку объективной стороны и, вследствие пренебрежения субъективным фактором, суживалось, мельчало.

Теперь, кажется, наступает время, когда искусство, выработав до совершенства свои приемы и формы, объективную сторону художественного творчества, должно начать с большею разборчивостью относиться к самым представлениям, выражаемым в художественных созданиях. Они не могут и не должны быть безразличны для художников, потому что вызывают в человеке разные ощущение

ния, чувства, стремления, настроения. Обладая тайной вызывать всякие, они должны поставить себе задачею не вызывать одних, вызывать другие и этим связать задачи искусства с общими задачами человеческого общежития и развития человека в обществе. Всем и каждому известно, что люди не относятся к произведениям искусства только объективно, что огромное их большинство, напротив, относится к ним субъективно и не столько ценит в них совершенство выполнения, которого, в большинстве случаев, не понимает, сколько те чувства, стремления и настроения, которые в нем возбуждаются художественными произведениями. Но если это так, то роль искусства не ограничивается одним возбуждением представлений; оно, чрез них, действует на наши психические состояния, следовательно, может и должно стать могучим орудием нравственных движений и деятельности. В этом смысле искусство есть наряду с знанием, с верованиями, с юридическими и нравственными условиями общежития, великий воспитатель людей и двигатель общественной жизни. Эта мысль, как сказано, не раз представлялась уму, но, по недостатку правильных теоретических оснований и благодаря недоразумениям, которые из того возникали, каждый раз падала и терялась. Теперь пора выдвинуть ее вперед, возвести в принцип, дать ей право гражданства в теории искусства и приняться за ее осуществление...

— Итак, — резко перервал меня художник, — вы хотите, чтобы художники проповедывали мораль посредством художественных произведений? Вы желаете, чтобы мы писали картины по прописям, на темы, вроде того, что добродетель похвальна, а порок достоин наказания? Покорно благодарю за такую задачу! Я кисти не возьму в руки, палец о палец не ударю, чтобы унижить искусство до такой плоскости! Да и вы сами себе противоречите, ставя нам такие задачи: не вы ли сами восстаете против тенденциозности в художественных произведениях, не любите картин и стихов, написанных на темы гражданских добродетелей и гражданской скорби¹⁾? Как же вы можете рекомендовать художникам упражняться в подобных произведениях?..

— Ну, не прав ли я был, — возразил я, — отказываясь высказывать свои мысли? Вечные недоразумения! Видно, нам суждено никогда из них не выбраться. И добро бы другой кто, вовсе незнакомый, приписал мне то, в чем вы меня упрекаете: к этому у нас волей-неволей привык-

нешь. Но вы, кажется, хорошо знаете мой образ мыслей. Вы не можете сомневаться в том, что я не только не люблю тенденциозности в искусстве, но не люблю и нравственных сентенций, произносимых с целью преподать уроки добродетели. Если термины, которыми я обозначил задачи искусства, вам не нравятся, — Бог с ними, отбросьте их и замените другими, но поймите же, что я хочу сказать. Мысль моя вот такая: вы не станете спорить, что наши ощущения, чувства, настроения, стремления — результат воздействия внешних впечатлений на нашу психическую природу или на нашу душу?

— Положим, что так. Ну, что ж дальше?

— Вы, вероятно, согласитесь и с тем, что ощущения, чувства, настроения, стремления усиливаются, когда они часто повторяются в душе, и, наоборот, ослабевают, когда мы в них не упражняемся. Душа, как и тело, может приучаться и разучаться. Есть психические привычки, как есть привычки тела, желудка, пальцев, глаза — и так далее. Эти психические привычки, подобно телесным, приобретаются упражнением и навыком.

— Все это верно, но что ж из этого следует?..

— Пойдемте по порядку, чтоб потом не возвращаться назад. Задача воспитания в том и состоит, чтоб у человека, общества, народа сложились хорошие телесные и психические привычки и не слагалось дурных. Эта цель достигается тем, что мы, при помощи разных приемов, ослабляем дурные наклонности, не даем им обратиться в привычки, и, наоборот, помогаем развиться хорошим наклонностям и расположениям, способствуем тому, чтоб они обратились в привычки. Упражнение одних, неупражнение других — в этом вся тайна воспитания, и душевного, и телесного.

Нравственность есть не что иное, как результат такого воспитания чувств, душевных стремлений и настроений. Не моя вина, что под нравственным воспитанием или морализацией обыкновенно разумеют холодное, безучастное навязывание сентенций, так называемых нравственных правил, которым сами проповедующие их часто не верят, которые они на каждом шагу нагло нарушают пред глазами самих морализируемых. О внушении нравственности этим способом не может быть двух мнений, и, конечно, не о нем я говорю. Этот способ вытекает из теоретической ошибки и практикуется теперь только по незнанию или по недоразумению. Если хорошенько разобрать, что у нас обыкновенно разумеют под правилами нравственности,

то окажется, что они представляют правила, обязательные для наших внешних поступков, которые мы должны исполнять под страхом наказания, или суждения, которые могут быть убедительны для рассудка. Но мысль, выражая объективный закон того, что существует, не имеет никакого отношения к нравственности, к добру и злу. Природа и ее законы неизменны и неумолимы; в фактах есть своя непреклонная логика, как в беге локомотива, который давит все, что ему попадет на пути. Весь объективный мир есть ряд явлений, обусловленных друг другом и совершающихся с неизбежною, роковою правильностью каждый раз, когда все их условия налицо. Мысль, логика только выражает эту неизменность в форме общих положений и законов, которые не имеют с нашими чувствами, желаниями, стремлениями никакой связи, могут с ними случайно совпадать, но так же случайно могут с ними и расходиться. Точно так же и правила, обязательные для поступков, не относятся к субъективной жизни лица. Если я исполнил требование, обращенное ко мне в виде внешнего правила, то я прав, и никому нет до моих чувств никакого дела, как бы я ни выполнил требование — с внутренним убеждением и желанием или против воли, нехотя. Но нравственность не есть область ума, мысли, суждения, ни область внешних действий, обязательных для каждого под страхом взысканий. Она — мир внутренних ощущений, чувств, стремлений, чаяний, желаний, настроений, мир личной свободы, источник излюбленных действий. В мыслях своих человек должен подчиниться доводам, фактам знания, законам логики; в своих внешних действиях он вынужден волей-неволей сообразоваться с правилами, обязательными в том обществе, где живет; только чувство, психические, субъективные движения составляют область, над которой никто не волен, с которой мы сами не всегда можем справиться; они есть наша индивидуальная жизнь, мы сами лично. Она может идти и часто идет вразрез с убеждениями мысли, с требованиями среды, в которую нас поставила судьба. В таком случае наши индивидуальные стремления, наша личная жизнь или подавляется, теряет силу, упругость, энергию и мало-помалу замирает, или она силится высвободиться из-под оков мысли, логики, искажает их и перетолковывает согласно с своими требованиями и отвергает или пробует обойти правила, обязательные для внешних поступков. Жизнь людей, обществ, народов, всего человеческого рода вертится на возможном соглашении и выра-

внении наших желаний с внешними обязательными условиями существования. Последние мы стараемся, посредством искусного сочетания условий, изменить соответственно с нашими желаниями; точно так же и наши личные требования, стремления и душевные движения мы вынуждены ограничивать, видоизменять, отчасти вовсе заглушать, чтоб по возможности приладить их к неизбежным и неотвратимым внешним условиям.

К этому взаимодействию и борьбе объективного с субъективным, личного и индивидуального с общим и обстановкой сводится, в конце концов, все, что делает человек и что с ним делается. Возможное их соглашение есть цель всей человеческой деятельности, личной и коллективной. Но такое соглашение имеет свои пределы, и можно предсказать, не будучи пророком, что полного совершенного соглашения никогда достигнуто не будет; объективное и субъективное, внешнее и внутреннее, личность и обстановка ее никогда не будут совпадать в окончательных результатах своей деятельности. Именно поэтому есть предел приспособлению и прилаживанию человеком внешней обстановки к его личным желаниям и требованиям, за которым ему только остается приладить и приспособить свои требования и желания к непобедимым внешним условиям. К этому приводят и доводы знания и логики, и правила внешних поступков; последние, разумеется, когда они не могут быть нарушены безнаказанно. Но всего этого недостаточно. Нужно, чтоб наши желания, стремления и душевные движения не шли вразрез с объективными условиями личного существования, иначе то, что происходит внутри нас, будет беспрестанно прорываться, вопреки доводам логики и несмотря на страх наказаний за нарушение правил для поступков. Самая непоколебимость этих правил держится лишь обществом, людьми, и потому если большинство будет их обходить, что обыкновенно очень выгодно для отдельного лица, то правила обратятся в мертвую и стеснительную форму, которая наконец будет совсем отброшена, и целое общество впадет в хаос и неурядицу.

Но для того, чтоб наши внутренние движения и чувства не шли вразрез с неизбежными и неотвратимыми внешними условиями, нужно воспитать чувство, стремление и волю в известном направлении. Воспитание же, как мы видели, состоит только в выработке привычек. Справиться с миром нашей свободы можно не иначе, как действуя на него не одним развитием ума, не одною твер-

достью, непоколебимостью внешних условий, но и постепенным воспитанием психических predispositions и наклонностей, образованием психических привычек, располагающих к добру, делающих нас по крайней мере не слишком падкими к злу. Такое психическое воспитание и есть нравственное развитие, как я его понимаю. Оно дает нам силу бороться в самих себе с дурными побуждениями и побеждать их до тех пор, пока владение собой, господство над своими желаниями, чувствами и настроениями не обратится в привычку, при которой внутренняя борьба и победа добрых побуждений над дурными становится очень легкой.

Между различными способами нравственного воспитания в этом смысле одно из самых сильных и действительных есть искусство. Только оно владеет тайной вызывать по произволу представления, а чрез них чувства, желания, стремления. Наука и логика и внешняя обстановка ограничивают, стесняют, действуют на человека принудительно; одно искусство может направить и воспитать его, незаметно побуждая его добровольно идти по тому пути, по которому оно хочет его вести.

Вот это-то великое дело душевного, нравственного воспитания людей искусство и должно взять в свои сильные руки. Это его задача, и рано или поздно оно ее себе поставит. Таким оно было в разные эпохи своего развития, хотя, может быть, и не совсем ясно сознавало это свое призвание. Теперь, когда оно одолело главные технические трудности, вполне овладело объективными условиями творчества, и наступает пора завоеваний и побед его в области субъективных движений человека посредством художественных созданий, направленных к воспитанию нравственных привычек людей.

Если вы меня спросите, какими путями искусство может достигнуть этой цели, я не сумею вам ответить. Цель для меня совершенно ясна, но пути представляются смутно и сбивчиво. И не мне одному. Никто еще, сколько я знаю, не старался осмыслить, возвести в теорию, как и почему многие художники достигали своими произведениями нравственно-воспитательных целей. Мыслящие художники, основательно знакомые с историей искусства, могли бы оказать в этом отношении существенные услуги. Очень может быть, что общих теоретических правил и нельзя указать, что каждая эпоха, каждый народ, каждая школа искусства должны для этого создавать свои приемы, соображаясь с наклонностями, вкусами, степе-

нию образования и требованиями публики, для которой предназначены художественные создания. При совершенной невыясненности вопроса остаются пока одни лишь общие мысли, которые, вероятно, всякому приходили в голову при поверхностном знакомстве с некоторыми произведениями искусства. Так, для достижения высших целей, искусству вовсе нет надобности делаться тенденциозным. Тенденциозность только вредит делу. Картина, театральная или музыкальная пьеса, литературное произведение, статуя, архитектурное здание не могут и не должны быть выражением нравственной сентенции. Это не их задача, и превышает средства, которыми располагает искусство. Мне смешно, когда художник выводит героем гражданской доблести, олицетворенным протестом против низости и лести, Вольтерского, когда я знаю, что роль эта вовсе к нему нейдет²². Для меня обаяние художественного произведения мигом исчезает, как только я замечаю намерение поучать меня политике или добродетели. Я требую, чтоб оно действовало на мое настроение, а не на мое суждение, на мое чувство, а не на мой ум: выводы и применение я сделаю и без помощи художника, может быть, лучше его, во всяком случае не хуже, и притом в тысяче таких случаев, которых он ни знать, ни предвидеть не может. Я отдаюсь художественному произведению вполне только до тех пор, пока оно действует на строй моей души, но тотчас от него отворачиваюсь, когда вижу, что из-за него выглядывает художник с указкой в руке и с намерением учить меня азбуке сострадания, человеколюбия и других благородных и возвышенных душевных движений. Я признаю за художником право воспитывать во мне чувство любви к ближнему, сострадания, правды, делать меня чутким к благодатным настроениям, но только такими способами, какими это делает окружающая природа и реальная действительность; они влияют на нас не тем, что мы непосредственно принимаем внешними органами чувств, а теми ощущениями, чувствами и настроениями, какие в нас возбуждают внешние впечатления. Вся разница между искусством и действительностью в этом отношении только та, что первое может дать нам преднамеренно, с выбором, по обдуманному плану то, что последняя дает случайно, разрозненно, без выбора и плана.

Высказанный взгляд выражает, разумеется, мои личные требования. Делясь ими, я только выполняю то, чего вы желали и, сознаюсь, не умею осмыслить, то есть возве-

сти в теорию то, что бы мне хотелось видеть в художественных созданиях. Гоголь, Щедрин, Некрасов меня более морализировали, чем иное собрание проповедей; Тургенев «Записками охотника», Базаровым, «Дымом», «Новью» действует на меня сильнее, чем прочими своими созданиями, которыми все восхищались²³; собрание рисунков г-жи Бём²⁴ более действует на мое душевное настроение, чем Мадонны Мурильо, Леонардо да Винчи и даже Рафаэля, исключая одной Сикстинской. «Пляска смерти» Гольбейна, даже в плохих изображениях, всегда производила на меня гораздо более глубокое впечатление, чем «Ночь» Корреджио²⁵; «Лес» Шишкина, «Грачи прилетели» Саврасова говорят мне несравненно больше, чем все картины с гражданскими мотивами, вместе взятые.²⁶

Вы скажете, что это дело личного вкуса и, главное, личного опыта, в которых всегда много случайного, не поддающегося никаким общим соображениям, и будете совершенно правы. Я стою только на том, что задачи искусства не в одном точном соответствии представлениям, но — вместе с тем — и в развитии душевного строя, психических привычек людей в сторону добра и правды. В первом отношении искусство видимо совершенствуется, идет беспрерывно вперед; во втором — я вижу в нем теперь какую-то неопределенность и шаткость, которая доказывает невыясненность мыслей и задач. Есть, правда, попытки связать искусство с общими требованиями развития, но они по большей части неудачны, переходят, если можно так выразиться, в резонерство образами и звуками, выводят искусство из его области в другие. Ясно определить цель, открыть настоящие пути, указать и разработать средства ее достижения — вот, мне кажется, в чем отныне задача современного искусства и художественного творчества. Неясные намеки, робкие, случайные или полусознательные попытки надо проверить, возвести в принцип, поставить краеугольным камнем искусства в будущем. Без этого оно обратится в игрушку, в забаву, в предмет роскоши и пресыщения, в чем его уже и упрекают. Создавать предметы и явления, которые вызывают в нас представления со всею живостью и правдою реальной действительности, очевидно, есть только одна сторона искусства; другую — возбуждением чувств, стремлений, настроений — оно соприкасается с верованиями, политическим и общественным строем, наукой, учением о нравственности (этикой). Все они, как и искусство, существуют для человека, имеют значение и смысл только по отношению

к нему, потому что выражают только его представления и понятия об окружающем мире и его отношениях к этому миру.

Но на представлениях и понятиях человек не останавливается. Они служат ему точкой опоры для деятельности, которая состоит в приспособлении окружающего к себе и в прилаживании себя к нему. По мере того как выясняется, что теоретическое знание, объективное отношение не есть последняя цель, что за ним следует еще деятельность, — творчество в указанном смысле, созерцание философское, эстетическое и всякое другое отходит на второй план, и везде, во всем чувствуется потребность дополнить чистое знание прикладной наукой, теорию — практикой. В области верований это уже вопрос решенный; в ней давно провозглашено, что «вера без дел мертва»²⁷. На этот же путь направляются, все более и более сближаясь между собою, и все отрасли знания. Этика, наука по преимуществу прикладная и практическая, преобразившись в сумму правил и в теорию, потеряла всякое влияние; философия, развившись в учениях идеалистов и крайних материалистов до чистой теории, из которой все выходы к сознательной деятельности наглухо заколочены, почти сошла со сцены и перестала занимать умы; право и справедливость, долго считавшиеся в себе замкнутой, обособленной и исключительной областью — до того, что даже сложилась чудовищная поговорка: «*fiat justitia, pereat mundus*»^{*} — теперь уже смотрят на себя только как на одно из условий существования человека в общежитии и притом условий, по своему содержанию тесно зависящих от всей обстановки индивидуальной и общественной жизни — в данное время и при данных обстоятельствах; политическая экономия, еще недавно проповедовавшая одни чистые законы создания ценностей, предложения и запроса и бессердечно принимавшая все последствия их исключительного господства, на наших глазах должна была склонить голову перед высшими требованиями правильного, разумного и справедливого распределения ценностей ввиду государственной и общественной пользы. О естественных науках и говорить нечего: в них применения теории к практическим потребностям с незапамятных времен получили право гражданства, и тесная связь знания с деятельностью, собственно, никогда не разрывалась. Таким образом, все указывает, что знание, теория ра-

^{*} Пусть погибнет мир, лишь бы совершилась правда (лат.).

но или поздно переходит в практическое применение или замирает; цель же практического применения знания, теории есть удовлетворение пользам, нуждам, потребностям человека в общежитии. Это единство назначения сближает между собою все отрасли знания, разрозненные объективным отношением к предметам и явлениям.

Искусство не может безнаказанно отставать от этого общего движения. Художественное творчество должно служить в руках художника средством для нравственного действия на людей. Наряду и вместе с верованиями, учением о нравственности, государственными и общественными порядками, политической экономией, естественными науками, искусство коренится в человеке и должно его развивать, совершенствовать в общежитии и служить светочем в его индивидуальной и общественной деятельности. Возникнув из человека и его потребностей, они и существуют для него. Теперешнее умаление людей и характеров, старость к наживе и наслаждениям, отсутствие высших стремлений и нравственная испорченность оттого только и происходят, что цели знания и творчества едва только намечены, связь того и другого между собою и с их общим источником — психическою стороною человека — еще не вполне выяснена. Но время должно взять свое. Искусство, в общем движении, должно бы идти впереди, указывая дорогу знанию, облегчая ему провидение его последней цели. Недаром древние смешивали поэтов с пророками.

Успел ли я убедить собеседника — не знаю. Если он после хоть на минуту задумался над тем, во что я так горячо верю, — что составляет основание всех моих взглядов, то цель моя вполне достигнута. Странно было бы мечтать, что художник примет программу, которой я и сам не умел ясно формулировать. Слишком довольно и того, если он возьмется за проверку задачи, без разрешения которой, я убежден, немыслимы теперь никакие успехи искусства.

НАШИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ

Русская мысль, русская действительность — исполнены недоразумений. Мы хотим сказать или сделать одно, а выходит совсем другое; оттого мы почти всегда не понимаем друг друга. Очень сомнительно, всегда ли мы понимаем самих себя.

Между Петербургом и Москвой всего 604 версты. Вот уж с лишком двадцать пять лет, что обе столицы соединены железной дорогой, по которой можно съездить из одного центра в другой всего в каких-нибудь 15 часов. Сношения между этими центрами беспрестанны — деловые, торговые и всякие. Москвичи то и дело ездят в Петербург, петербуржцы — в Москву. Жителей обеих столиц связывают не только дела, но дружбы, родственные связи, умственные и нравственные стремления. Казалось бы, кому же знать и понимать друг друга, как не им, между кем быть общению мыслей и взглядов, как не между ними? Так нет! Битый француз, немец, даже англичанин — и те скорее столкнутся с любым из нас, чем москвич с петербуржцем. Проспорят они день-другой, да так и разойдутся, не сойдясь ни в чем.

Положим, тому сама судьба велела так быть. Вследствие старинных счетов, принадлежащих теперь к области археологии, между обеими столицами существует некоторая холодность, и это мешает им понять друг друга. Большинство петербуржцев смотрит на москвичей немного свысока, как юность на старость, а москвичи не могут этого простить. В этом есть, по крайней мере, хоть повод к капризным, раздражительным пререканиям, всегда вносящим путаницу в споры¹. Но отчего та же путаница, те же недоразумения, то же непонимание друг друга царят у нас в одном и том же городе, между различными кружками, между органами печати, между разными ведомствами. Отчего нас заедает какой-то странный, своеобразный партикуляризм², точно мы живем в средние века! Нигде нет столько толков о единстве, даже о единообразии и, слава Богу, — они, кажется, нигде не проведены так глубоко и энергично, как у нас; а в наших головах партикуля-

ризм засел так крепко, что его ничем не выкуришь. Никаких общих, для всех нас обязательных принципов, мы не признаем, и потому, кроме внешней связи, не имеем между собою ничего общего, точно мы собрались из разных стран и принадлежим к разным народностям.

Не знаю, как вам, читатель, а мне и моим приятелям не раз случалось, благодаря недоразумениям, которые кишмя кишат в русской земле, защищать сегодня то, против чего я вчера стоял горой. Преглупое это положение! Имеешь вид или светского болтуна, которому все равно о чем говорить, лишь бы говорить что-нибудь, или — что еще хуже — человека с задними мыслями, поддерживающего те или другие темы, смотря по тому, что выгоднее в данную минуту и при данных обстоятельствах. Подвергаешься упрекам честных и серьезных людей, мнением которых дорожишь, но понимаешь, что иначе действовать нельзя, знаешь, что и вперед будешь поступать точно так же. Всякий, я думаю, испытал это на себе. Припомнишь папские силлабусы и аллокуции³ и подумаешь невольно о заслугах Вольтера; и прочитаешь книгу Штрауса о старой и новой вере⁴ и так же невольно припомнишь всю глубину и непреложность евангельского учения; Вольтер при этом никак не придет на ум⁵. Это в порядке вещей и от этого никогда не отделаешься, пока противоречия не сведены к какому-нибудь одному взгляду и не перестанут быть источником беспрестанных недоразумений.

I

Шел общий разговор и, как водится, все были всем недовольны. Потребовалось, во что бы ни стало, найти виноватого. Москвичи его тотчас нашли; виноватым во всем оказался, разумеется, Петербург.

— Как вы хотите, чтоб у нас выходило что-нибудь путное, когда всем ворочает Петербург — немец по мыслям, по обычаям, по складу жизни, по симпатиям! Занесла его нелегкая на край государства, в чухонские болота, и оттуда он заправляет всем, ни бельмеса не понимая в русской жизни, в нуждах и потребностях русской земли.

Петербургжцы обиделись. Их ни за что, ни про что выключили из числа русских людей, выбрасывали вон из русского государства, как иностранцев, ничего не понимающих в делах своего отечества и вдобавок, будто бы, совершенно к нему равнодушных. Обида была кровная.

— Если мы немцы, — возразил один из них, — то, должно быть, полоса такая в русской жизни наступила, что русским надо было оборотиться в немцев. Петербург не завоевал России; она завоевала чухонские болота и в них поставила свой государственный центр. Должно быть, ей надоела византийско-татарская столица, какою была прежде Москва; надо думать, что России пришелся по вкусу немец, когда вот уже почти двести лет Петербург стоит в голове страны и из него все идет, распространяясь по русской земле.

Разговор принял желчный тон. Раздражение замешалось в мирную беседу.

— И за что это вы, москвичи, так нападаете на Петербург, — заметил другой петербуржец, — разве Москва не была такой же самовластной в XV, XVI и XVII веке? Разве она не делала тогда того же, что делает теперь Петербург? В самовластии им нечего попрекать друг друга. Изменились одни формы, приемы, отчасти идеалы; сущность осталась все та же.

— Это все польские клеветы на Москву, — возразил москвич. — Москва искони была и есть русский, а не иностранный город, как ваш Петербург.

— Уж и польские клеветы! — отвечает петербуржец. — Вы, москвичи, всегда все сводите на национальный вопрос и этим аршином все меряете, даже то, чего им нельзя мерить. Мысль высказана поляками — значит, по-вашему, она никуда не годится? Немец, — так, по-вашему, нет уж в нем ничего хорошего? Странная это логика! Хоть бы вы дали себе труд определить, в чем же именно заключается существо русской народности, да по этому и отличали все не русское. Ведь и немец, и поляк могут проникнуться русским народным духом, стать в душе русскими, как русский может своими симпатиями, образом мыслей, привычками стать иностранцем или инородцем. Где же и в чем мерка? А без нее все, что вы говорите, — одни слова, слова и слова! К тому же то, что вы считаете чисто, коренно русским, может быть сложилось тоже под влиянием нерусских примесей — византийских, татарских, литовских. Вы это потому только считаете настоящим русским, что к нему привыкли и не даете себе труда анализировать; а ваши предки, жившие в то время, когда это, по-вашему, коренное русское складывалось, горько жаловались на то, что старый быт переставляется и заводятся невиданные заморские новости.

Этот разговор, как и все наши русские разговоры, кончился ничем. Каждый остался при своем мнении. Петербуржцы, обиженные тем, что их считают немцами, более чем когда-либо убедились, что москвичи — народ отсталый, что только и спасения, что в европейских формах жизни, а москвичи еще более утвердились в мысли, что петербургский космополитизм есть могила русской народности, и что будь русская метрополия внутри страны, а не на ее северной окраине, у нас все обстояло бы благополучно. Что жизнь народа, как и отдельного лица, есть школа, чрез которую непременно проходит каждый, что каждый сперва учится у других и только этим путем мало-помалу доходит до самостоятельности в мыслях и поступках, — это поборники народности постоянно опускают из виду. Москва и Петербург — два разных класса одной и той же школы, в которой воспитался русский народ. Каким он выйдет по окончании учения — это еще впереди. С византийско-татарскими идеалами и формами мы не ужились, с европейскими тоже плохо уживаемся. Очевидно, мы должны выработать что-нибудь свое. Какое будет это свое — покажет будущее. Но вместо того, чтоб его искать, до него додумываться, мы лениво расселись по разным классам, через которые нас вела история, и ничего не делаем, чтобы сойти с ученической скамейки в действительную жизнь. Наши идеалы все еще в наших школьных тетрадках и из-за них мы до слез спорим между собою.

II

— Меня приводит в отчаяние, — говорит один приятель другому, — что любовь, уважение к европейской науке и знанию, которыми мы были проникнуты в молодости, почти исчезли в наше время. Появилась нелепая мысль о какой-то, никому неведомой, русской науке, и во имя этой бессмыслицы юношество перестало заниматься, пишутся и печатаются вздорные книги, с претензиями, обличающими детское незнание. Куда мы идем и что выйдет из всего этого? Разве наука может быть немецкой, французской, английской или русской? Разве она по своему существу не есть общечеловеческая?

— Сколько мне известно, — заметил собеседник, — никто не мечтает о русской математике, зоологии, физике или астрономии. О русской антропологии говорят в том же смысле, как о русской флоре или фауне, — в смысле

включения в науку фактов России, пока еще не исследованных и не описанных. О самостоятельной русской науке мечтают только в применении к быту, учреждениям, верованиям людей. Согласитесь, что в этом отделе знаний даже первые основания не успели еще установиться прочно. Что ж удивительного, если по этой части у нас надеются сделать что-нибудь новое, внести в науку свой вклад.

— С вашей оговоркой можно, пожалуй, согласиться, — отвечает поборник науки, — но мысль создать какую-то особую русскую науку все же нельзя не назвать дикой. Попытки, сделанные у нас в этом роде, вполне это подтверждают. Русская наука оказывается фантазией самодовольного невежества.

— Что наши претензии не в уровень с запасом наших знаний и труда, — в этом вы, конечно, правы. Но пусть наши попытки ниже посредственности и в научном смысле ничтожны; это только значит, что мы слишком рано за них принялись, что нам надо еще хорошенько поучиться и пристально поработать. Что сделанное в Европе по наукам, касающимся человека, все очень неудовлетворительно, что ответ на очень многие вопросы еще впереди — этого вы, конечно, не станете отрицать. Почему же не допустить, что может быть нам когда-нибудь выпадет на долю правильно поставить многие задачи науки и разрешить их, по крайней мере заложить прочное основание для их последующего разрешения. Посмотрите, как туго к нам прививаются выводы европейского знания, насколько они касаются человека! Мы с ними никак не миримся. Не значит ли это, что они нам не по нутру? А почему? Потому что науки, касающиеся человека и человеческого общества, до сих пор все еще не более как выводы из житейского опыта одних европейских народов, древних и новых, а далеко не всего человеческого рода, и имеют полный смысл только для них, а не для нас. В этих выводах есть, разумеется, много такого, что будет истиной везде и всюду, следовательно, и у нас; но еще больше в них такого, что истинно только для европейцев, а нам вовсе чуждо и даже не понятно тем из нас, кто не знаком с бытовыми фактами и верованиями европейских народов. Попробуйте втолковать в свежую русскую голову, не выломанную на немецких философских системах, учение Гартмана с его «всенесознающим» или «всенесознаваемым» и с его пессимизмом, и вы поймете, о чем я говорю; а книга Гартмана выдержала много изданий в Германии в несколько лет и немцы ею восхищаются^а. Да что

Гартман и что философия! Возьмите любой курс земледелия или скотоводства, служащий в Европе руководством и настольной книгой для каждого сельского хозяина, да попробуйте по ее наставлениям хозяйничать у нас, и вы увидите, что наука — вывод из наблюдений и опыта, никак не более. Сами европейцы давно перестали на нее смотреть как на нечто один раз навсегда законченное и готовое; и они понимают ее, как я говорю, видят в ней свод положений, беспрерывно изменяющихся по мере накопления опытов и наблюдений. Давно ли политическая экономия считалась системой истин, столько же неопровержимых, как математическая аксиома; а вот, на наших глазах, Рошер⁹ показал, что эти истины не иное что как вывод из явлений хозяйственного быта, достигшего известной степени развития; что они изменяются вместе с изменением хозяйственного быта и что каждая его ступень имеет свою, ему соответствующую политико-экономическую теорию, которая в свое время тоже считалась сводом непреложных истин. Возьмите римское право. Давно ли оно считалось последним словом человеческой мудрости по вопросам гражданского права? Давно ли его прямо называли писанным разумом? А теперь, когда выяснены исторические основания римских учений, когда жизнь создала множество явлений, о которых древним римлянам и не снилось, мы понимаем, что римское право далеко не есть писанный разум, что римская система гражданского права есть тоже не более как свод опытов и наблюдений известного народа, жившего в известных условиях и при известных обстоятельствах. Как же вы хотите, чтоб мы и теперь, как во времена оны, безусловно верили в европейскую науку и не мечтали о своей, которая была бы таким же выводом из наших фактов, как европейская — из европейских! Вы видите в упадке безусловного доверия к европейским учениям шаг назад, а я, напротив, вижу в этом успех, шаг вперед. Что мы принимаем за дело с нашей обычной ветреностью, не подготовившись строгим изучением, рубим с плеча, ругаемся больше, чем думаем, — это, к сожалению, справедливо. Ну и казните нас за это! Вырастем, поучимся и поумнеем. Без науки нельзя жить, и любовь к ней, вынужденная реальною потребностью, никогда не погаснет. Но что считать за науку — вот вопрос! Европейцы приспособили ее к своим нуждам, а вы хотите, чтоб мы ее любили в этой обделке? Это просто невозможно! Если б мы были разви-

тей и знающей, чем мы есть, мы бы стали пристально работать. Вместо того мы только ребячимся.

Приятели в этом тоже не сошлись и продолжают до сих пор попрекать друг друга: один в национальной фанатерии, другой в доктринерстве.

III

— Читали ли вы книгу кн. Васильчикова о землевладении и земледелии?¹⁰ — спрашивает один знакомый друг.

— Как же! и наслаждался ею.

— А на меня, — возразил собеседник, — признаюсь, она произвела самое неприятное впечатление. Научности в ней никакой! Видна, правда, большая начитанность, но вместе с тем желание прикроить факты к предвзятой мысли, систематически враждебной ко всему европейскому.

— В книге, может быть, есть и ошибки, и промахи, более или менее крупные; об этом не спорю и не берусь судить. Но отчего же вы предполагаете, что автор непременно с умыслом ломал и перекраивал факты, чтоб оклеветать Европу? Почему не приписать этого невольному увлечению любимой мыслью? Князь Васильчиков — писатель очень известный, с большими заслугами, с безупречным именем. Мысль, проведенная им чрез все сочинение, не только в высокой степени симпатична, но в главных своих чертах совершенно верна. Книга его — целый гражданский подвиг, смело брошенная перчатка той, к счастью, немногочисленной, но влиятельной части русской публики, которая хотела бы устроить у нас землевладение на европейский манер¹¹, — в пользу одного слоя общества и во вред народным массам. С этой стороны сочинение кн. Васильчикова более принадлежит к публицистической, чем к ученой литературе, и чтобы справедливо оценить достоинство этой работы, необходимо иметь в виду преимущественно ее значение как выражение известного взгляда на предмет, разделяемого очень и очень многими. Этим и объясняется большой успех книги.

— Но куда же девать ее научную сторону, которая очень слаба? Воля ваша, нельзя же ею пренебрегать! Многочисленные ошибки и натяжки в сочинении кн. Васильчикова существенно уменьшают его достоинства, должны ослабить убедительность и влияние его выводов. Меня его антиевропейские тенденции просто коробят. Вы счи-

таете эту книгу значительной и полезной, а я — вредной, потому что она вводит читателей в заблуждение.

— Не знаю, что вам сказать на это. Будь мы с вами европейцы — отвечать вам было бы легко. Европейская публика сразу оценила бы в меру и заслуги автора, и недостатки книги; но из-за ошибок она не просмотрела бы ее достоинств. У нас — другое дело. Мы по одной какой-нибудь частности, не задумываясь, произносим общий, решительный и строгий приговор. Мне один знакомый с отращением отзывался о «Нови» Тургенева. За что это вы так? — спросил я. — Помилуйте! Разве можно было так говорить о дьяконе? Тургенев, говорит, терпеть не может духовенства. Не знаю, любит ли он его или нет, отвечал я, но ведь не об нем же одним говорит Тургенев в «Нови»¹². Собеседник, видимо, затруднился, что на это сказать. У него засела в голове одна частности; а обо всем другом он и не подумал. Случается, впрочем, и наоборот: за какую-нибудь удачную остроту, за одну верную мысль, которая нам особенно нравится, мы превозносим до небес очень посредственные статьи и книги. Поступая по-европейски, надо бы справедливо, беспристрастно и рельефно выставить сильную публицистическую сторону сочинения кн. Васильчикова и рядом с тем указать и на ее недостатки в историческом и научном отношениях. Читатель, зная точку зрения и требования критика, получил бы о книге ясное понятие. Но мы постоянно бьем в одну какую-нибудь сторону и забываем другие. Из этого выходит совершеннейшая путаница и ряд самых странных недоразумений. Вы разбрали книгу за ее научные недостатки, а я, не зная, куда вы метите, сопричту вас к лагерю сочувствующих устройству у нас землевладения по образцу Европы, о чем вам и не снилось. Хорошо, если нам удастся лично объясниться; а если не удастся, мы так и умрем — вы в убеждении, что я ставлю науку и Европу ни во что, я — что вы поборник обезземеления народной массы.

IV

«Скверно нам живется, и что ни год, то хуже. Общество стало вяло, апатично, закопалось по уши в мелкие дразги и материальные расчеты. Общих интересов нет никаких. Недавнее еще воодушевление сменилось полнейшим равнодушием. Впереди даже нет ничего обещающего. Прежде нас шевелили и за живое затрагивали

идеи политической свободы, политических гарантий; теперь и эти идеалы погасли, вместе с старанием усвоить себе и все другие благодатные плоды европейской культуры. Выдумали мы себе какие-то русские задачи и во имя иллюзий отрицательно относимся ко всему европейскому, весьма действительному, реальному; а оно-то только и красило, возвышало, облагораживало нашу жизнь. Это целое падение, поворот назад к допетровским временам, чего доброго, прямым трактом в Азию, из которой мы с большими усилиями и жертвами, казалось, выдрались, благодаря петровской реформе и петровскому периоду нашей истории».

Вот одна из современных тем в русских мыслящих кружках, исповедующих европеизм. Вариациям на эту тему нет конца. Эта часть нашей интеллигенции значительно приуныла в последнее время. Почва уходит у нее из-под ног, и ей становится жутко. С ужасом смотрит она на так называемые русские задачи и видит в них движение вспять к азиатским идеалам. А что, думают многие, если и впрямь так? Что если Петр и его реформа были только временным и случайным отклонением от нашей природной, азиатской колеи, и плоды подвига великого преобразователя бесследно исчезнут, как исчезали без следа крутые реформы Шигоан-ти¹¹ в Китае, поглощенные, затянутые старою плесенью?

Для ипохондриков этого склада единственно возможные идеалы — это европейские, и вне этих идеалов нет спасения; они — мерило русской народной жизни, барометр ее умственной и нравственной атмосферы. Обладание таким барометром очень удобно: с ним все ясно и понятно. Он избавляет от труда ломать себе голову, додумываясь до смысла своеобразных, подчас причудливых явлений русской жизни. Но надежен ли он, верно ли показывает — вот в чем вопрос!

Что такое европейские порядки и идеалы? Это вывод европейцев из того, что они пережили и того, к чему стремятся, плод опытов и наблюдений над тем, что с ними случилось и чего они надеются достигнуть. Они много трудились, работали в течение веков; поэтому у них и сложились идеалы, разумеется, про свой обиход. Другие народы, работая так же упорно и настойчиво, тоже для себя, могут прийти к другим результатам, потому что обстоятельства, времена — другие, да и работающие — другие люди. В самой Европе идеалы много раз менялись, по мере того, как обстановка жизни станови-

лась другая. У отдельных лиц тоже идеалы разные и тоже меняются. Почему же мы, русские, фатально осуждены непременно иметь европейские идеалы и порядки, а не свои, приспособленные к нашим привычкам, вкусам и предрасположениям? Почему, когда нам не нравится то, что есть у европейцев и им нравится, это значит, что мы никуда не годимся? Будем додумываться, искать, как они искали, — может быть, и мы найдем что-нибудь. Свету не только, что в европейском окошке. Один настоящий, необманчивый свет и есть, — это знание, добытое трудом, опытом, творчеством. Идя рука об руку, они создают историю, науку, общественные и политические формы. Для нас европейские идеалы только материал, справка, чтобы при помощи их создать свое и для себя, а не обязательный канон жизни, которая имеет бесчисленное множество путей и выходов; нужно только отыскать и разработать тот из них, который нам ближе по натуре, по вкусам, по нашей обстановке. Если мы охладели к европейским идеалам, к европейским общественным и политическим формам, то это еще не значит, что мы идем назад; напротив, это значит, что мы теперь себя больше чувствуем, чем прежде, что мы подросли, что есть в нас потребность жить своей головой, что мы начинаем понимать отличие наших условий и обстоятельств от тех, которыми обставлена жизнь Европы. От этого унывать еще нечего! Вглядитесь пристальнее в то, что делалось и делается в Европе. Разве там формы обеспечивают гражданские и политические свободы? Формы их только выражают, а обеспечивают их нравы, привычки, укоренившиеся веками, да существование в Европе правительствующих сословий, которые и создали эти формы для себя, в свою пользу. Формы никогда ничего не создают; они только определяют то, что уже существует, как готовый материал, ожидающий обделки. Если бы дело стояло у нас только за формами, они создались бы тотчас же. Беда наша в том, что мы мало думаем и привыкли, живя больше чувствами и впечатлениями, сводить все зло к какой-нибудь одной причине, видеть спасение в одном каком-нибудь средстве. Такое отношение к действительности — просто ребячество! Наше время и его задачи далеко не так легки, как нам кажется. Не одними нами, но целым миром овладело какое-то небывалое беспокойство и тревога. Вековые обычаи и учреждения перегорают в невидимом огне, расплавляются и уносятся потоком истории. Логика событий торжествует над самыми тонкими

расчетами и соображениями; все усилия исправить их оказываются тщетными. Все колеблется, все стало непрочно в целой Европе. Люди не знают, откуда идет поток, куда он направляется, потеряли руководящую нить в этом новом лабиринте и бредут ощупью, спотыкаясь на каждом шагу. А вы хотите свести совершающийся над всем человеческим родом громадный процесс какого-то коренного перерождения к размерам местного и частного вопроса и ждать от его разрешения исцеления от всех недугов? Это смешно!

Для другой, значительной части русской интеллигенции, европейские политические, общественные, философские и научные идеалы — миражи, и слава Богу, что мы от них понемногу избавляемся. Эта часть русского общества радуется возвращению заблудшей русской мысли на лоно народности, приветствует возрастающие национальные стремления, пробуждение национальных русских и славянских симпатий. Отсюда, думает она, должно начаться наше умственное, общественное и всякое возрождение.

Чувства, стремления, надежды — прекрасные! Но в каких формах, образах, принципах, реальностях должен осуществиться и выразиться этот поворот русской мысли? Вот вопрос, с которого сразу поднимаются непобедимые трудности. Сначала разрешение его казалось очень простым. Наша великорусская старина, упраздненная петровской реформой, — вот где поборники русской народности надеялись найти наши прирожденные народные формы, вот что они считали хранилищем наших народных принципов. Но эта надежда оказалась напрасной. Многие из этих принципов и форм стали уже неудобны для нашего времени; многие навсегда разрушены петровскими реформами и совсем исчезли; многие стали даже нежелательны. К тому же мы и до Петра жили и не ра- меняли одни формы на другие. Какие же из них считать настоящими коренными великорусскими? Дело, казавшееся сперва очень простым, вышло на поверку очень сложным. Нельзя было не признать, что умершего оживить невозможно, да и не для чего, а приходится создавать вновь. Без подробной исторической справки об этом нельзя, разумеется, и думать; справка необходима, но только как подспорье, как материал, который надо всегда иметь под руками; планом или фасадом будущего строения она никак не может служить. И вот поборники русской народности вынуждены, подобно поборникам евро-

пеизма, в раздумье стоять перед сфинксом русской жизни с тем же вопросом: что делать? за что приняться? как и с чего начать?

Пока немногие понимают, что экскурсии в область русской и славянской истории еще не дают ключа к разрешению этого вопроса. Большинство поборников народности застряло в идеальном поклонении прошедшему и им меряет настоящее и будущее.

Между этими двумя направлениями распределялось лет тридцать тому назад все мыслящее в России. Все, кто думал о настоящем и заглядывал в темную область будущего, становился или под знамя европейских идеалов, или под стяг и хоругвь русской допетровской старины. Оба лагеря враждовали между собою. Исходная точка, продолжение и цель их борьбы были ясно и точно обозначены. С тех пор, и особенно в последнее время, эти знамена, стяги и хоругви сильно полиняли и поистрепались, надписи на них, явственные прежде, позатерлись, борцы смешались и с трудом различают врагов от друзей. Борьбу сменили недоразумения, в которых мы и погрязли. Поборники европейзма думают, что отступись мы от европейских идеалов и форм, с ними исчезнет и самый смысл к тому, что они выражают в Европе. Странное самоуничтожение, точно мы школьники, умеющие рассказывать урок, пока нам его подсказывают! Сочувствие к тем или другим общественным и политическим формам выражает потребности общества, которое надеется, что этими формами можно им удовлетворить. Стало быть, впереди идет потребность, а не идеал, не форма; потребность же, если она серьезна, действительна, а не выдуманна, не может умереть, непременно скажется и найдет себе удовлетворение в той или другой форме, смотря по обстоятельствам. Если мы прежде верили в европейские общественные и политические формы, а теперь к ним охладели, — значит, мы прежде верили в их способность удовлетворить нашим потребностям, а теперь перестали верить. Почему — это другой вопрос, которого мы теперь разбирать не станем; но во всяком случае приходится от того в отчаяние нечего. Жизнь широка, и путей нет в ней числа.

«Это славянофильский взгляд», — возразят нам поборники европеизма.

Опять недоразумение! Славянофилов больше нет, они испарились, улетучились, исчезли. Славянофилы и противники их, западники, имели твердую почву под ногами,

одни — в допетровских преданиях, другие — в европейских порядках и принципах; но эта почва давно уплыла. И те и другие висят на воздухе, ищут почвы — и не находят! Ни у славянофилов, ни у западников нет программы, как нет ее у нас ни у кого. Действительная жизнь переросла и тех и других, не влезает в рамку, в которую мы ее хотели бы втиснуть. Большинство верит в будущность России и славянского мира: в этом его сила; но оно ходит в тумане, не умея найти и разобраться посреди обломков прежних воззрений. Вот источник бесчисленных недоразумений между русскими мыслящими людьми. Новые задачи и стремления носят старые клички, являются под старыми формами. Между мнимыми славянофилами и мнимыми западниками идет, по старой привычке и рутине, какая-то бестолковая перебранка, не имеющая серьезного смысла, и мы видели, как лет двадцать тому назад, самое живое русское дело второй половины нынешнего столетия — освобождение крепостных с землею — разом покончило все недоразумения. Так будет всегда, при всяком живом русском вопросе. Европейские и русские предпосылки только освещают с двух сторон задачи русской жизни, которая идет вперед, развивается своим чередом. Ни допетровская, ни послепетровская старина не могут служить меркой для настоящего и грядущего; и та и другая войдут в них только как составной элемент, как историческое данное.

V

Было время, и оно не далеко, когда, по чьему-то остроумному замечанию, всякий иностранец считался у нас за великого человека и каждый великий — за иностранца. Но наши мысли и вкусы переменчивы, как наш континентальный климат. Теперь этому преданию доброго старого времени остались верны одни лишь московские и провинциальные барыни, восторгающиеся пленными турками¹⁴. Большинство смотрит совсем иначе. Чтобы заслужить наше благорасположение, надо непременно быть или русским, или братом-славянином. Иностранцем быть нехорошо, а нерусским человеком русского государства из европейцев — совсем нехорошо; в особенности же дурно и предосудительно быть немцем, поляком или евреем.

Повальное отлучение людей по их вероисповеданию или национальности есть худшее из всех наших недоразумений. Оно сбивает все понятия, перемешивает друзей с врагами, ведет к совершенной бессмыслице, потому что вытекает не из принципа, а из случайности рождения и принадлежности к той или другой вере, в которой нас воспитывают от колыбели¹⁵.

Повальное отвержение инородцев и иноверцев можно понять только как реакцию против другой такой же бессмыслицы — против пренебрежения собственной национальностью. Мы сами себя ставили ни в грош, и нас все презирали. И вот в один прекрасный день мы этим возмутились и стали всех презирать, а себя ценить сверх меры, и на этом уперлись, замерзли, обличая ребячество, вовсе не отвечающее ни нашим притязаниям, ни нашему самосознанию.

Можем ли мы формулировать, во имя чего мы считаем себя вправе предавать огульному отлучению те или другие национальности? Если б мы могли, то мы, значит, отлучали бы их во имя принципов, несовместимых с нашими. Это имело бы смысл, было бы в порядке вещей. Но такой формулы у нас еще нет, мы до нее еще не дожили или не додумались. Мы просто-напросто брезгаем и капризничаем, как дети, во имя непосредственного национального чувства, не освещенного национальным сознанием. Как только сознание вмешается в дело, оно тотчас же упразднит национальный вопрос в его теперешней, детской форме. Мы станем разбирать людей не по вере и происхождению, а по принципам, каких они держатся, и тогда все шашки переставятся совсем по-иному: евреи, немцы, поляки окажутся тогда вместе с нами, в различных лагерях, под различными знаменами.

Если б мы больше жили головой, чем чувствами, мы тотчас бы спохватились, что странно, неудобно и просто неприлично смотреть на наших инородцев и иноверцев с нашей национальной точки зрения, как бы она ни была, положим, выше всякой другой. Они — наши подданные и не пришли к нам, а мы их взяли; они вместе и наравне с нами несут все тяготы и жертвы, обусловленные нашей общественной и государственной жизнью. Слова: немец, поляк, еврей — выражения коллективные, обнимающие множество самых разнородных людей; между ними есть и такие, которые нам сочувствуют, разделяют на-

ши стремления, даже наши привычки и вкусы, зачастую не умеют говорить ни на каком другом языке, кроме русского. Соединяя с коллективными названиями разные непохвальные свойства, как присущие той или другой вере или национальности, мы грешим против истины и самых очевидных простых правил справедливости. Захоти наши инородцы и иноверцы платить нам тем же, они, пожалуй, сопричтут каждого из нас к такой компании наших сородичей, в какой очень нелестно находиться.

Нам возразят, что непохвальные свойства, которые мы приписываем разным нашим инородцам и иноверцам, действительно принадлежат огромному их большинству и что свободные от этих свойств составляют лишь редкое исключение.

Но если ближе рассмотреть эти непохвальные черты, то окажется, что они дурны не сами по себе, а только по отношению к нам, и, как всегда бывает, существуют рядом с несомненными достоинствами и прекрасными качествами ума и характера. Значит, все дело в том, чтобы нелюбимые нами инородцы и иноверцы стали хороши для нас. Но они, очевидно, не станут такими до тех пор, пока мы предаем всех их без разбора поголовному отлучению. Можно ли требовать, чтоб люди к нам тяготели, когда мы их от себя отталкиваем? И где же это видано, чтобы возмужалые политические народы брезгали национальностями, которые живут с ними в одном государственном союзе? Французы терпеть не могут немцев, но не бранят немцами эльзасцев; немцы очень не любят поляков, но не дразнят поляками познанцев. Судьба, история связала нас с разными инородцами и иноверцами, и мы должны, во что бы ни стало, для нашей и их пользы, найти, так или иначе, способ жить с ними в ладу. Надо, чтоб им и нам было хорошо вместе; а пришлось они нам по душе или нет, это другой вопрос, и вопрос совсем не такой важный, чтоб из-за него жертвовать существеннейшими нашими интересами, народными и государственными. К тому же и между нами найдутся такие, которым по вкусу в наших инородцах именно то, что русскому большинству в них не нравится. Нельзя же возводить привычки и вкусы в национальные принципы!

Стыдно бывает подчас за нашу интеллигенцию, за наш так называемый образованный слой, когда посравнишь его младенчески капризные отношения к иноверцам

и инородцам с отношениями к ним нашего безграмотного крестьянского люда. Русский простолюдин считает свой народ чуть ли не первым народом в мире, гораздо лучше и умнее всех других, а посмотрите на него посреди соседей иной веры и языка, с которыми ему приходится жить и дела делать; сколько житейского такта, сколько ума и общительности, какое инстинктивное уважение к чужой вере, к чужому обычаю! Так и видишь великий политический народ, создавший громадное государство, поглотивший разнороднейшие национальности. С неподражаемым добродушием он иной раз и подшутит над инородцем, так что тому и самому смешно, — но и только! Еврей, поляк, татарин, немец — ему все равно; он со всеми умеет ужиться. Только мы, цивилизованные, интеллигенция России, утратили эту драгоценную черту русского народного характера, во имя чего-то, чего мы не умеем ни назвать, ни выразить. Разве это не одно из наших бесчисленных и печальных недоразумений?

РАЗГОВОР С СОЦИАЛИСТОМ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ

Молодой N., сын моего старинного приятеля, весьма умный и способный малый, стал мне с некоторых пор очень подозрителен. Из живого, открытого, светлого юноши он как-то вдруг сделался не в меру задумчив, упорно молчалив, дик, нелюдим и злобно сумрачен. В наше старое время такое настроение в молодых людях считалось и действительно было признаком сердечной зазнобы. Нынче это симптом несравненно более зловещий. Он означает, что юноша делается или сделался заговорщиком. Ужасная эпоха!

Что делать с таким субъектом? Допросить его? — он не сознается. Следить за ним? — не уследишь, да и проку в таких приемах мало. Когда человека схватила революционная горячка, то на него можно действовать только убеждением, потому что и сама горячка возникла и процвела на почве убеждения. «Таковы мои убеждения, я действую на основании моего убеждения», — скажет вам каждый революционер. Стало быть, нам надо прежде всего стараться поколебать именно эту основу, если мы хотим исцелить больного. Я частный человек, не имеющий власти изменять ненормальные условия общественного строя, порождающие революционные эпидемии; я могу лечить только индивидуумы, случайно мне встречающиеся. Да и тут я принужден соблюдать величайшую осторожность, дабы полиция никак не пронюхала, что я, не имея особенного патента, занимаюсь таким опасным делом, как беседа с революционером. Ведь он во сто раз хуже чумного! Не боясь заразы для самого себя, я втихомолку написал статью *против революции* и пригласил моего больного прослушать ее. Вот моя статья и с нею результат чтения.

Социализм, как всякое новое учение, проявляется в мире двумя моментами, положительным и отрицательным¹. Положительный момент — это сама доктрина социализма и его будущее, им создаваемое общество. Отрицательный момент сказывается в том отношении, в какое ставят себя социалисты к старому, существующему поряд-

ку вещей. Понятно, что между этими двумя моментами должна быть полная гармония, что они взаимно друг друга обуславливают, т. е. что из самой сущности социалистической доктрины долженствовует вытекать характер ее отношения к современному государственному строю. И наоборот, характер отрицания непременно окрасит собой все учение, даст ему тон и, если не навсегда, то надолго привяжется к его будущей судьбе, ибо в действительности оба момента не суть нечто различное друг от друга, но одна и та же вещь, только обращенная к двум разным сторонам.

Я высказываю мысль не новую, не головоломную и всем известную; но она постоянно забывается. Нарочно или ненарочно, но ее все обходят, а это ведет к весьма прискорбным последствиям, перепутывает все наши понятия как об людях, называющих себя социалистами, так и о самой доктрине. Вот почему я считаю нелишним дать некоторые объяснения тому, что, казалось бы, и объяснять не надо.

Когда мы хотим занять место, долженствующее принадлежать нам по праву исторической очереди, но которое покуда занято другим лицом, *также севшим тут по праву исторической очереди*, то можем обратиться к этому лицу весьма различно, и способ нашего обращения будет, конечно, вполне зависеть от нашего характера и темперамента. Мы либо подойдем учтиво и скажем: позвольте, ваш час прошел, теперь мой черед быть тут; либо крикнем ему: *ôte-toi de là, que je m'y mette*²; либо, наконец, не говоря худого слова, пустим пулю в лоб седока. Все это будет зависеть от *нравственной высоты той доктрины*, которую мы в себе носим и осуществляем нашими поступками. Поклонник ислама мечом прокладывает себе исторический путь, но зато и воцарившись, он мечом продолжает править вселенною. Кротко и вкрадчиво заговаривает христианин, называя себя духовным братом и в то же время указывая еще на третьего, как бы случайно пришедшего с ним, брата, уже не духовного, но мирского, служащего по полицейскому ведомству, имеющему по указанию самого промысла наблюдать за историческим порядком и сего ради всегда находящегося при шпаге. Зато же церковь христианская во все времена и до сего дня старалась и старается забрать в свои руки все высшие и благороднейшие функции в человеческом обществе, семейный мир, воспитание, образование, оставляя в ведении госу-

дарства одних квартальных надзирателей. Наконец, буржуазия, как известно, воцарилась в мире с помощью палача и гильотины¹, но по этому самому она не может избавиться от революций, в свою очередь угрожающих ей тою же гильотиной. Как же, спрашивается, должен нынче социалист подойти к буржуа и предъявить ему свои права? Конечно, не по-турецки и не по-поповски, но также и не на манер беззастенчивого цареубийцы-капиталиста, своим золотом откупившегося от всяких нравственных и человеческих принципов, всегда и везде отказывающегося даже от родного отечества, *всепродавца* по ремеслу своему.

Социалистам необходимо решить для себя этот *важнейший* вопрос, решить его окончательно, определенно, и не теряя драгоценных минут, потому что в нем, как в начале, заключается все будущее, со всеми его характеристическими чертами. Решить его — значит решить самую суть доктрины, хотя не во всех ее подробностях, но в основном принципе. Тут первый шаг: *первый их блин не вышел бы комом!*

Приемы людей могут быть бесконечно разнообразны; однако все это разнообразие сводится к двум главным видам: насильственному и мирному. Пожалуй, можно составить еще третий вид — мирного пополам с насильственным, но из уважения к самим себе мы о нем говорить не станем.

Нынешние социалисты настолько уже умиротворились, что *в принципе* отказываются от насилия. Это можно прочесть, если не во всех, то во многих социалистических изданиях. Но, к сожалению, они отказываются от насилия только в принципе². Они обещают создать царство мира, правды, справедливости, согласия и счастья, но все же это царство должно, по их мнению, начаться — революцией!! Конечно, они оговариваются, что насилие допускается только *в крайности*. Ох, эти крайности! Кто их укажет, кто им судья, кого они не оправдают?! Социалисты и к революции думают прибегать на том только основании, что сидящий нынче на нужном для них месте никак не уступит его добровольно, следовательно, надо его, более или менее, — по зубам. Но зато после, когда уже наступит царство блаженства для всех, они и за этим битым обещают ухаживать и доставить ему равное со всеми счастье!.. Неужели это не насмешка, не грубое издеванье?!

Не значит ли это то, что поведение социалистов будет зависеть не только и не столько от их собственной миро-

любивой доктрины и уважения к правде и справедливости, сколько от упорства ненавистного им порядка вещей? Но если так, то само собой разумеется, что сидящий ныне непременно и даже *притворно* постарается перед ними заломаться, закобениться, чтобы заставить их и его перекобенить, т. е. постарается довести их до последнего безобразия, и тогда — он будет перед ними уже вполне прав.

Нынешние французские консерваторы ничего так не желают, как безобразных выходов со стороны радикалов, и этим побеждают их⁵. Ведь это все азбука!

Неужели в самом деле люди, проповедующие революцию и прибегающие к ней вследствие одной внешней, случайной причины и *наперекор необходимости внутренней*, не понимают того, что революция немыслима без диктатуры? Стало быть, они хотят создать диктатуру. Но ведь она не новость под луной, — о чем же хлопотать? Да кроме того, из всех диктатур самая жестокая, самая убийственная будет диктатура социалистическая, по той простой причине, что она ему не по характеру, не по нраву. В противоречии с самим собой он будет всех терзать и сам бесконечно терзаться. Насильно освобождать кого бы то ни было значит убивать свободу в самом ее источнике, обращать людей в рабов свободы, т. е. в нравственных уродов. И это должно быть делом социализма. Какой позор!..

Вот отсюда-то, из этой путаницы понятий рождаются на свете книжки, подобные «В память столетия пугачевщины», где рядом с прославлением великого дела возникновения и освобождения американской республики восхваляется, да еще в гораздо большей мере, — что же? — дикая, необузданная, тупая и крайне бессердечная месть, очень понятная со стороны невежественной, угнетенной массы, но которая сама себя очень мало понимала и потому не вынесла ни одной ясной идеи, не сказала ни одного смышленного слова. По уверению книжки выходит, что будто бы вся беда и весь неуспех пугачевского предприятия произошел оттого, что Пугачев не был организатором. Хорошо объяснение! Не сам ли автор говорит, как мало слушались Пугачева его сообщники? Отчего же между ними так-таки не нашлось ни одной организаторской головы? Ответ на это очень прост: такие головы, вероятно, находились, да организовать им было нечего и нечем, что во всем бунте не оказалось никакой творческой мысли, а было одно злобное настроение. Извольте организовать — месть! Идея общей человеческой равно-

правности, общего права на землю и счастье не есть изобретение пугачевцев; она всегда жила во всем человечестве и потому, как слишком общая, расплывающаяся и многообъемистая, она и поднявшихся крестьян не могла привести ни к какому положительному результату. Пугачевщина все разрушала, ничего не создавая, и всюду оставляла за собой одно опустошение. Побежденная, она естественно должна была вызвать себе реакцию и усилить над крестьянами гнет крепостного права. Но если б пугачевщине удалось торжествовать, то Россия давно бы существовать перестала, превращенная в груды пепла и развалин. И потому, как бы ни казалось нам дурно российское государство XVIII века, но оно спасло нас от постыдного самоистребления, оно спасло всю будущность России.

До какого умственного помрачения нужно дойти, чтобы признать, хотя и отважного, но пьяного, распутного и невежественного казака великим историческим деятелем, да еще реформатором!

Мы живем в мире не абсолютных, но относительных величин. Не будет у нас никогда ни полного счастья, ни полной справедливости, ни полной свободы; ожидать в будущем мы можем только большей, против прежнего, доли счастья, справедливости, свободы. Вот эту долю мы и должны искать для каждой данной минуты, а определить доля может не иначе как совокупностью всех существующих, наличных условий жизни. Нам может принадлежать по праву и по всей справедливости только то, что мы добыли себе собственным трудом. Не это ли основная заповедь социализма?

Когда в истории идет речь о счастье и свободе, то весь вопрос заключается в слове: *сколько?* Каждая эпоха может дать, люди эпохи способны принять только известное, отмеренное количество добра и именно то количество, которое заготовило для них их прошлое. Другими словами: что посеешь, то и пожнешь.

Социалисты желают разложения современного государственного строя. (Я разделяю с ними это желанье и убежден, что во всем мире не сыщется человек, который бы захотел, чтобы человеческие учреждения остались навсегда такими, какими мы их нынче видим. В наше время даже китайцы зашевелились и требуют прогресса.) Но что такое разложение и каким процессом оно достигается? Не иным как процессом созревания. Зреет ли нарыв, яблоко, человек или государство, они этим са-

мым разлагаются, т. е. переходят постепенно из старых форм в новые, в которых прежнего вида уже признать нельзя, переходят естественно, а не насильственно, ростом, а не революциями. Революции всегда задерживают прогресс. Вызывая реакции, они могут сокрушить даже самый организм или надолго сделать его больным и немощным.

Если б каждый из нас по мере сил своих вносил во все темные углы России столько просвещения, справедливости и свободы, сколько это допускается законом, если бы он в то же время старался о постепенном расширении самого законодательства, а оно по необходимости должно б расширяться под влиянием тепла, производимого умножившимся светом, то со временем все углы нашего милого, но темного отечества были бы свободны и просвещены, т. е. Россия была бы неузнаваема и цель социалистов достигнута. Скажут ли мне, что такой процесс слишком медлен? Не знаю, тут все зависит от степени нашего усердия и любви. Но то знаю, что скорейшего пути нет. Насилие, резня, террор суть враги, а не помощники просвещения, откуда бы они ни шли — сверху или снизу.

Я пишу не для тех несчастных, которые, под влиянием каких-либо особенно жестоко сложившихся обстоятельств в их жизни, с отчаяния и почти бессознательно бросились в омут революционной деятельности. Я имею в виду людей, не потерявших сознание, но проповедующих социализм и рядом с ним его антитез — революцию. Эти господа должны были бы знать и помнить, что революцией, при самых счастливых условиях, могут быть достигнуты разве какие-нибудь мелкие, внешние результаты чисто политического свойства. Но когда, как в социализме, речь идет о коренном изменении всех правовых, нравственных, религиозных понятий, о создании не только новых отношений между людьми в семье, обществе и государстве, но нового нравственного отношения человечества к самой земной планете, его матери, чуть ли не ко всей вселенной, то всякому должно стать ясно, что такая колоссальнейшая задача может быть выполнена не иначе как путем медленной и глубоко захватывающей реформации. Кто этого не понимает, тот не должен дерзать назвать себя социалистом, он весь принадлежит старому порядку вещей и не отделался от его грубых приемов — баррикадами защищать идеи, террором распространять свободу! Нет, господа, как ни кровавы, но все же

такие средства не более как игрушки. Ими можно было потешаться и кое-что достигать в старом кукольном мире. Но когда на историческую сцену выступает уже не марионетка, но *сам человек* в истинном его виде и величии, во всей его правде, то мы бы желали видеть в вас более благоговения к открывающемуся перед вами новому, еще невиданному миру и считаем нашим долгом напомнить вам, что ваше мальчишество крайне неуместно и неприлично для той роли обновителей и просветителей человечества, которую вы на себя слишком легкомысленно берете.

Все сказанное мною я могу подкрепить словами одного из самых уважаемых и ученых современных социалистов, Карла Маркса. Вот что он говорит в предисловии к своему «Капиталу»:

«Та точка зрения, на которой я стою, считает *развитие экономических общественных формаций естественно-историческим процессом*»⁸. Одних этих слов было бы достаточно для людей, умеющих читать, но таких везде очень мало. Маркс не просто сказал — исторический процес, но счел нужным добавить — естественно-исторический, т. е. такой, где все переходы из одной формы в другую совершаются не насильственно, но сами собой. А что именно это он хотел сказать, явствует из того, что в предисловии непосредственно за сим следует:

«Заграничные представители английской *короны* говорят здесь (в самой книге⁹), что в Германии, во Франции, во всех других культурных государствах европейского континента преобразование существующих отношений капитала и труда одинаково чувствуется и одинаково неизбежно, как в Англии. В то же время, по ту сторону Атлантического океана, Уэд, вице-президент С. А. Штатов, заявил на публичном митинге: «По уничтожении рабства наступила очередь преобразований отношений капиталистической и поземельной собственности». Вот признаки, которых нельзя прикрыть ни пурпуровою мантией, ни черною рясой. Они не означают, что завтра произойдет чудо. Они показывают, что даже в господствующих классах зарождается предчувствие о том, что теперешнее общество не есть твердый кристалл, но что это есть организм, способный превращаться и находящийся постоянно в процессе превращения»¹⁰.

К. Маркс так глубоко убежден в необходимости развития общественных формаций, что несколько *не пугается при виде умножения болезненных явлений в современном общест-*

ве. Он смело пишет (в том же предисловии): «Мы (не-мцы), подобно всей остальной континентальной Западной Европе, страдаем не только вследствие развития капиталистического производства, *но также от недостатка этого развития*»¹¹. А вот и объяснение неустранимости Маркса: «Промышленно развитая страна показывает менее развитым картину их собственной будущности»¹². Ибо «дело идет не о высшей и низшей степени развития общественных антагонизмов, происходящих из естественных законов капиталистического производства: дело идет *о самых этих законах, об их тенденциях, действующих с железною необходимостью*»¹³.

А каковы эти тенденции, куда ведет их железная необходимость, т. е. сама сила вещей? К их собственному развитию, к их полнейшему вызреванию, следовательно — к разложению их нынешней формы и переходу в иную, высшую форму. Тут совершается тот же самый процесс, какой мы видим во всяком живом организме. Да это и быть иначе не может: что однажды попало в колесо жизни, должно творить ее законы. Не забудем при этом еще одно важнейшее обстоятельство, именно, что социализм не ограничивается одним экономическим вопросом. Он требует реформы *во всем*, начиная от семейного очага до высшего нравственного идеала включительно. Хотя это страшно усложняет задачу, но настолько же увеличивает степень ее необходимости, неизбежности. «Die Magen frage»¹⁴ отступает в истинном социализме на самый последний план. И это большая ошибка начинать с экономической почвы. Вопрос должен разрешиться прежде в мозгу, в сердце, в нравах...

— Пойдите, — прервал меня Н. — Знаете ли вы, что К. Маркс не остался на той теоретической точке зрения¹⁵, с высоты которой он писал свою книгу?

— Знаю.

— Как же вы объясняете поведение его?

— Я с ним лично не знаком, и мотивов своих он мне не передавал. Из поступка его я могу вывести покуда только одно заключение, что и сильные люди от увлечений не застрахованы.

— Помилуйте, да кто же пойдет к вам страховаться, когда вы людей так дешево оцениваете!

— Вам статья моя не нравится?

— Ваша статья хороша, в ней много правды. Как верно хоть бы то место, где вы говорите, что если бы каждый из нас по мере сил своих вносил во все углы России столько просвещения, сколько это допускается существующим законом, и если б при этом законодательство расширялось под влиянием умножающихся света и тепла, то Россия со временем стала бы просвещенной и цель социализма была бы в ней достигнута. Против этого спорить нет возможности.

— Но?

— Но что, если б ни один из нас пальцем не пошевелил для общего дела?

— Тогда я бы сказал, что Россия погибла и по собственной воле. Но заметьте, что вы делаете предположение невозможное.

— Ну, а если бы законодательство вместо того, чтобы расширяться под влиянием тепла, производимого патриотическим движением наших палец, все бы суживалось и стало бы прихлопывать всех тех, у кого пальцы лежат не по швам?

— Опять предположение немыслимое. Я не могу допустить, чтобы вы в своей деятельности руководствовались такими легковесными соображениями. Реакции везде могут быть и бывают: взгляните в историю любого европейского государства. Но я не стану вам говорить, что прежде осуждения реакции нам надо отыскать все поводы к ней,—я только укажу на несомненный факт, который и вы отвергать не станете, именно тот факт, что невзирая на все реакции, прогресс везде берет верх. Стоит нам взять период времени несколько покрупнее, например, в 20—30 лет, и непременно увидим в итоге прогресса весьма значительный плюс.

Мой собеседник хмурил брови и не глядел на меня.

— Задача теоретиков очень легка,—начал он после некоторого молчания,—потому легка, что они имеют дело с умом человеческим. Когда вам кажется, что ум погрешает, вам стоит только предъявить ему правильно построенный силлогизм,—и ум тотчас же безусловно сдается. Не таков удел людей практики. Мы ратуем не против ума, а против глупости, врага безмозглого, безумного, беспутного, бесчестного. Глупость не идет ни на какие сделки, а если пойдет, то слова не сдержит,—ее нельзя ни убедить, ни умолить, ни усовестить, ни даже устра-

нить. Она все равно что назойливая зловредная муха: ее можно только поймать и раздавить.

Подумав несколько, он продолжал:

— Ловкость и сила — вот что нам нужно прежде всего; а вы, господа теоретики, не отказывайтесь освещать нам поле нашего действия, указывайте нам врага, предостерегайте нас от пропастей, в которые нетрудно свалиться, когда приходится сражаться во тьме кромешной, обдумывайте законы для будущего общественного строя и т. д., но не требуйте от нас, чтобы мы стали заговаривать муху вашими прекрасными силлогизмами. Превратись муха, коли еще может, в человека — и мы тотчас же изменим нашу тактику, но не прежде.

— Согласитесь по крайней мере с тем, — возразил я, — что муху вы ловите и давите, конечно, не в качестве социалистов, и что социализм тут уж решительно ни при чем.

— Ошибаетесь, — отвечал он. — Если б мы не веровали, если б не были убеждены, что наша революция будет в мире, по крайней мере в европейском мире, последнюю, то, пожалуй, мы бы в нее не кинулись. Мы не пойдем расчищать путь и отворять двери для какого-нибудь нового Бонапарта.

— А разве французская революция имела в виду пришествие Бонапарта? Она не меньше вас мечтала о водворении царства свободы, равенства, братства.

— Правда; но если это царство тогда не наступило, то виноваты были вовсе не революционеры, а философы, теоретики, не сумевшие ни предвидеть возможное появление диктатора, ни придумать для человечества ограждений против диктатуры. Вот почему, если результат нашей революции окажется таким же плачевным, как результат революции французской, мы обвиним вас, вы это знайте. Не ваша ли наука обещает обеспечить нам на известных условиях мир и свободу? Надеюсь, что вы не подумаете вменить нам в преступление наше доверие и уважение к вашей науке!

— Извините, но именно я не вижу в вас уважения к науке.

— Почему так?

— Наука поступает с вами добросовестно и правдиво, она не скрывает от вас своих чаяний, гаданий, желаний, предположений и всевозможных гипотез. И я знаю, что на эту, так сказать, поэтическую сторону науки вы очень

падки и даже нередко придаете чаяниям науки более значения, нежели сами ваши профессора. Но у науки есть еще другая сторона, скучная и прозаичная, это правда, зато вполне достоверная, предлагающая вам истины несомненные, вполне дознанные, но их-то вы либо игнорируете, либо всегда стараетесь как-нибудь обойти.

— Сделайте одолжение, укажите пример.

— Не сами ли вы сейчас сказали, что наука гарантирует вам мир и свободу *на известных условиях?*

— Сказал и готов повторить.

— Но ведь самое первое условие, которое она ставит, гласит так: не призывайте Бонапартов.

— Да мы же их не зовем.

— *Entendons-nous* ¹⁶. Верно, что вы не захотели бы посадить Наполеона на всероссийский престол; но отвечайте мне по совести, положив руку на сердце: ведь вы бы очень обрадовались, если бы между вами проявился человек с наполеоновским военным гением или хоть бы Пугачев с *организаторской головой*, по котором так вздыхают распространяемые в кругу вашем книжки? Такому молодцу вы бы не замедлили сейчас же передать главное начальство над всей вашей революционной армией. *Но вспомните, что тут уже все гарантии науки для вас прекращаются, да и сами вы от нее отступаетесь.*

N. молчал. Он задумался и, мне казалось, не находил ответа.

— Вы, как юноша, пылки и нетерпеливы,— продолжал я.— Вы всегда требуете от жизни немедленного исполнения всех ваших желаний и мечтаний; а так как они не носят на себе личного характера, так как вы стремитесь как можно скорей доставить счастье не самим себе, но всем ближним вашим, всему народу, вашему обожаемому отечеству, то ваше юношеское нетерпение подгоняется в груди вашей великодушием ваших стремлений и оно доходит до страсти. Все это как нельзя более понятно. Но не забывайте, что в роли революционера вы выступаете уже как *общественный деятель*, и поймите, что обществу нет никакого дела до вашей юности и до вашего личного темперамента. Ему вы можете служить только правдой, одною трезвой правдой. А где же трезвость в ваших отношениях к Пугачеву, который сам пьян-пьянешенек?! Вы говорите, что готовы принести себя в жертву общему делу, но, говоря искренно, я и тут не вижу правды.

— Как, и это, по-вашему, неправда? Неужели мы и этого не доказали сотни раз?

— Нет, не доказали. Мы видели, что вы отдавали ему ваше имущество, даже вашу жизнь, это верно.

— Что же можем мы отдать еще?

— Что еще? — Вашу нетерпеливость и, извините за выражение, нервозность вашего настроения, а именно такая жертва ему всего дороже от общественного деятеля. На что нам ваша смерть или ваша кровь, какая польза для нас в вашем одиночном заключении или в ваших работах на каторге? Убедитесь в том, что России нужна не смерть ваша, а жизнь. Русские люди уже слишком много раз, да, слишком много раз доказывали, что умеют умирать. Но жить они, положительно, не умеют, еще не научились, и отсюда вся их беда. Да и кто же может знать, как велика или как ничтожна ваша жертва, когда вы отдаете вашу жизнь? Очень может быть, что и сами-то вы цените ее в копейку. Жизнь — копейка, — поговорка наша, русская, и таких копеек, вы это знаете, было немало отдано нами по разным поводам, вот хотя бы по поводу сербской войны¹. И вот на эту копейку покупался великий титул героя: разве это не афера своего рода? Пожалуйста, не подумайте, будто я вам проповедую терпение ради терпения или ради нравственной дисциплины. Я с вами рассуждаю не как отвлеченный моралист и рекомендую терпение единственно потому, что считаю нетерпение вредным или по крайней мере бесполезным. Вы хотите, ни мало ни много, переделать весь существующий общественный строй, дать человечеству целое новое мировоззрение и думаете этого достигнуть — чем же? — революцией!! Позвольте спросить вас, сколько десятков лет должна она длиться? Поймите же, что вы сами себя становите в положение абсурдное.

— Что же, по вашему мнению, надо нам теперь делать?

— Мой искренний совет был бы следующий: прежде всего вам надо публично и торжественно, непременно торжественно, всем юношеством и перед лицом всей России заявить, что вы отказываетесь наперед от всякой революционной деятельности, от всякой, и чтобы это стало для всех несомненно; а потом — начать прилежно учиться. Когда вы совершите такой торжественный отказ от революции, тогда, поверьте, двери всех учебных заведений настежь откроются перед вами, и само высшее правитель-

ство станет за вами ухаживать, как за будущей силой России. А затем вы и все общество примирите с таким социализмом, который всю свою задачу основывает на воспитанье людей в самых мирных и миролюбивых началах. Да не забывайте никогда еще и того, что вы — юноши русские и имеете дело с народом, убереженным судьбою от принципов римских, уже и теперь не знающим сословных разделений, с народом как нельзя более веротерпимым и стремящимся к осуществлению своего исторического идеала не в грубой конституционной борьбе большинства с меньшинством, но в общинном единогласии под эгидой самодержавной власти.

— Самодержавной власти?

— Непременно. Вы, если я не ошибаюсь, сторонник общинного начала?

— Без сомненья.

— Но ведь это начало чисто крестьянское, а семидесятимиллионный крестьянский мир не пойдет ни за дворянством, ни за буржуазией. Или вы этого не знаете? Царь есть единственный и самый верный оплот крестьянства против аристократических или мещанских конституций; он и в будущем лучшая гарантия против возникновения всяких привилегированных правящих классов. И нет сомнения, что всею массой своей, дружно и уверенно Россия может идти только за самодержавным, т. е. свободным царем, не зависящим ни от бояр, ни от плутократов. Сама история заставляет нас создать новый, небывалый своеобразный политический строй, для которого не подыщешь другого названия, как — *самодержавной республики*¹⁸. Европа, конечно, не скоро нас поймет, да ведь не в этом и дело. Согласны вы со мной?

— Не знаю. Дайте хорошенько обдумать. Во всяком случае, вы высказываете мысль очень оригинальную, и я вам за нее благодарен.

— А я вам еще раз повторю; что посредством революции возможно от любого правительства добиться какой-нибудь конституции, это мы знаем из истории; но в виду целей социалистических, революция — чистая нелепость. Не смущайтесь, если увидите, что западноевропейские социалисты не прекратят свою революционную деятельность по примеру вашему. В Европе, к ее несчастью, совершенно иные условия, чем у нас: там монархии ограниченные, связанные, находящиеся во власти правящих классов. Эти монархии могут подойти к народу и народ к ним не иначе,

как *устраняя аристократию*¹⁹ и *буржуазию*, что невозможно без насильственных средств, более или менее крутых, революционных. Вот вам и объяснение революционной деятельности людей, подобных Карлу Марксу. Ведь он не враг ни германского императора Вильгельма, ни королевы Виктории²⁰; он враг юнкеров, князей, пэров, лордов, маркизов, банкиров, фабрикантов и т. д., не так ли?

— Это правда.

— Так неужели вы бы и в России захотели создать стенку между верховною властью и народом?

— Избави Бог!

— Так знайте же, что *революция, да еще такая, которая поднимается вами во имя народа и как бы с его соизволения* (которого в действительности нет), может заставить верховную власть подумывать о сооруженье буржуазной стенки в интересах своего собственного ограждения; а материал для нашей стенки откуда же взять, как не из кулаков, мироедов, жидов, кровопивцев и всяких проходимцев, у которых, кроме греха, ничего нет за душой? Другого материала наша история не выработала. Я, признаюсь, сильно подозреваю, что денежки, коими располагает наша революционная молодежь, сама по себе очень небогатая, идут не от Биконсфильдов или Бисмарков, как то думают некоторые, но от наших доморощенных любителей конституций²¹. Эти господа очень хорошо знают, что вы работаете прямо им в руки.

— Почему вы так думаете?

— Нынче они эксплуатируют народ частенько *вопреки* закону и потому могут подвергаться взысканиям. Существующий закон, хотя и насильно, но все же ограждает крестьянство и его общинное землевладение. Царь никогда не выдаст мужика с руками и ногами. Кому же неясно, что как только царь свяжет мужика, так в ту же минуту конституция свяжет царя? И тогда-то эксплуататоры станут обирать народ уже по всей строгости ими же самими созданного закона, и крестьянство русское будет в самое непродолжительное время точно так же в конце обезземелено, как в Англии.

— Вы говорите о кулаках, жидах, проходимцах, отчего забываете вы русскую интеллигенцию?

— Вы, кажется, меня искушаете? Нет, я ее не забываю. Помилуйте, наши генералы, адмиралы, предводители экспедиций, интендантское и комиссариатское начальство, наши министры, дипломаты, тайные и действитель-

ные тайные советники, князья, графы и бароны, заправители банков, железнодорожные господа, концессионеры, наши облакаты²² и т. д., и т. д., да они вовеки не забыты! А гласные²³ наших земств разве лучше? Еще на этих днях гласные Москвы имели бесстыдство высказать в публичных речах, что образование вредно для народа²⁴! И даже наше ученое сословие полно таких личностей, которые готовы будут писать вам трактатцы по социологии, но в то же время вести с крестьянами процессы не только бессовестные, но и противозаконные. Да, существующий закон, наш государственный закон не в пример нравственнее нашей интеллигенции, и если бы он всегда и всеми соблюдался, то в России жить было бы очень еще не худо. Но кто же нарушает его везде и ежеминутно, как не интеллигенция? Нет сомненья, что в ее среде найдутся люди почтенные, сохранившиеся, честные, но они не могут идти в расчет там, где вся масса насквозь прогнила, развратилась, изолгалась, изворовалась, ум и сердце истаскала в лакействе и затеряла всякий инстинкт чести, даже простой стыд.

— Да вы говорите совершенно как один из нас!

— Вот это самое и дает мне право и силу воздерживать вас от непотребных революционных замашек, которые могут нанести русскому народу самый смертельный удар. Взгляните на запад Европы: везде там уже давно заведены конституционные порядки (и интеллигенции там много более, чем у нас), но и везде вулканы революции, если не в действии, то в виде постоянной ужасной угрозы. Откуда революционные движения и что они означают? Они нынче не что иное как порывы, стремления простого народа к союзу с верховной властью, с которой он разлучен. Тут, очевидно, мирное развитие немислимо. Неужели такое зрелище может вам казаться привлекательным и достойным подражания в земле нашей, где численнѣй перевес простонародья над всеми остальными классами так страшно громаден?.. Да, милостивый государь, если вы воистину патриот, то вам еще *не раз придется поблагодарить Александра Николаевича за то, что он не торопится дать России конституцию!!*²⁵ Не чаю я добра для народа от той, которую он называет Константиновой женой²⁶. Конституция — это плен царя и разорение народа в пользу ничтожнейшего и притом развратнейшего меньшинства.

— Вы правы.

— Вся будущность России, ее внутреннее спокойствие, ее богатство, просвещение, свобода, прогресс и вместе внешнее ее величие — все это лежит *в правильном и справедливом решении аграрного вопроса*²⁷, который у нас нынче на первой очереди. Вот где вся суть, — я думаю, что против этого вы спорить не станете. Но кто же тормозит дело? Интеллигенция, *одна она*, а не верховная власть, для которой, в действительности, никакой нет выгоды в заботности, нищете и невежестве семидесяти миллионов подданных самых консервативнейших. Если верховная власть и действует иногда как бы в согласии с интеллигенцией, так это с ее стороны только временная ошибка, со стороны интеллигенции — это злой расчет. Не ясно ли все это как Божий день? Позвольте мне теперь напомнить вам одно очень умное слово Ю. Ф. Самарина. Он где-то сказал: «В идеале русском представляется самодержавная власть, вдохновляемая и направляемая народным мнением»²⁸. Мне кажется, что это вполне верно. Тут выражено органическое единство власти и народа, а так как народ, без сомнения, по самому существу своему самодержавен, то и единая с ними власть, *eo ipso*²⁹ должна быть самодержавной. Когда наша интеллигенция вся сполна перейдет, втянется в народ и перестанет отделяться от него не только правами и положением, но и тенденциями своими, когда она перестанет жить обособленной корпорацией, как некая опричнина в земле, т. е. когда она вполне сбросит с себя безнравственную и развращающую ее рознь с народом, тогда Россия станет тем, чем ей быть должно и по демократическому ее складу и по смыслу всей ее прошлой истории, выдвигавшей на первый план только царя и народ. Погнавшись за европейскими образцами, мы сбились с нашего исторического пути. Отсюда все наши ошибки, все невзгоды. Нам не удалось, да и не могло удасться сделаться немцами, французами или англичанами, но мы уже стали и не русскими в полном смысле этого слова. Мы говорить разучили, писать забыли, творчество наше иссякло, мы жили и пробавлялись постоянно чужим, мы думали не своими мозгами. Я не стану отвергать того, что такой тяжелый искус нужен был нам, по воле судеб отставшим от цивилизации других народов, но все же не могу смотреть на него иначе как на временное испытанье, а не всегдашнее наше назначенье — вечно оставаться в хвосте других и не иметь ничего

своего. И нынче наступил роковой час, когда мы должны сделаться опять самими собою: когда европейская цивилизация уперлась лбом в стену ею самой созданного пролетариата, и сама не знает, как ей быть и что делать, то какую же она может быть нам указчицей?! «Da stehen die Oshen am Berge»³⁰, — скажем мы ей и еще посмотрим, — не нам ли придется выручить ее, и на этот раз выручить из беды гораздо более опасной, чем иго наполеоновское!

— Я теперь вполне понял вашу мысль и только попросил бы вас представить мне более ясный образ той политической формы, которую вы считаете самой естественной для России, — сказал N.

— Я начинаю с крестьянской общины, вполне автономной во всех делах, до ее одной касающихся; затем союзы общин уездные и губернские или областные со своими выборными представительствами: а целое завершится общим земским собором под председательством самодержавного, наследственного царя. Для того наследственного, чтобы не было борьбы партий и смуты при его избрании, для того самодержавного, чтобы он мог быть всегда царем *всех*, а не того случайного большинства, благодаря которому он бы царствовал.

— А вы не боитесь злоупотреблений власти?

— Как не бояться их! Но употребить во зло можно все на свете и при всяких порядках.

— Однако чем больше ограждений...

— Тем, конечно, лучше. Но я желаю ограждений не внешних, а внутренних. Ах, господа, пуще всего остерегайтесь средств искусственных: берегитесь, чтобы у вас на место живого царя не воцарилось мертвое ограждение, с которым вы потом сами не справитесь! Но, заметьте, какой странный оборот принял наш разговор: мне приходится предостерегать вас, социалиста, против конституционных тенденций! Не явное ли это доказательство лживости того революционного начала, которое вы совершенно незаконно и нелогично вносите в социализм и производите в нем раздвоение, вас самих пугающее? Да, вам необходимо выбрать одно из двух: мирный прогресс социализма или революционные конвульсии конституции.

— Неужели однако, — перебил меня N., — вам и английская конституция не представляется такою, при которой мирный прогресс возможен и даже вероятен?³¹

— Нет, — отвечал я, — английская конституция, бесспорно, самая совершенная. Но это машина, которая, захватывая человечество в свои колеса, перерабатывает его в себе и выпускает уже не в виде людей, но в одну сторону — в виде одичалых, вымученных, в другую — в виде образцово выхоленных — зверей. Такой прогресс уже и сам по себе не представляется мне очень-то мирным, но, кроме того, он азартный и вечно висит на волоске. Несомненно, что как только освободится Индия, а минута эта уже недалека, и Англию постигнет такая катастрофа, какой свет еще не видел³². Да и в самой себе она не мирна, взгляните на Ирландию³³... Бессердечие, вот главный продукт, который производит Англия как у себя дома, так и всюду, куда она является: им она обогащается, им она нынче сильна, им же она завтра погибнет. Отнимите у нее бессердечие — и конституция ее развалится. Родина дарвинизма давно внесла зоологические законы в общество человеческое и ими постепенно оскотинивает людей... Нынче Россия вступает с Англией в борьбу по всей своей южной и юго-восточной границе³⁴. Победить своего врага она ничем не может так успешно, как своею человечностью. А что это значит, я думаю, объяснять не надо. Но прошу вас заметить, что верховная власть, при всем ее желании, и не может быть вполне гуманною, покуда не гуманны те классы, которые стоят между народом и ею. Вспомните поучительный факт, что в вопросе об освобождении крестьян высшее правительство стало с самого начала на гораздо более либеральную, верную и патриотическую точку зрения, чем вся масса дворянства, и что эта так называемая интеллигенция постаралась испортить эмансипацию, насколько в эту минуту могла, не возбуждая против себя слишком великого негодования народа. Ведь государь был совершенно прав, когда сказал московскому дворянству, а в его лице и всему русскому: *«Я опередил вас на пятьдесят лет»*³⁵. И вот этому-то отсталому дворянству вы бы нынче захотели вручить конституционную власть? Или, может быть, вы думаете, что с тех пор наша интеллигенция выросла, исправилась? Так посмотрите, что вокруг нас творится: как только наши передовые люди³⁶ (очень их у нас немного) заводят в печати или в земствах толки о разорении всего крестьянства, о необходимости прийти ему на помощь, о безбожно малых делах, о крайнем истощении податной силы, о допущении переселений, о школах, о дешевом кредите и т. д.,

и т. д., так тотчас вся масса интеллигенции подымет гвалт, толки заглушаются, передовых людей ссылают административным порядком. Не забудьте, что все это совершается при самодержавном царе, что же будет тогда, когда *эта* интеллигенция станет сама *правлящим классом*?!

— Позвольте же,— быстро остановил меня Н.,— у нас, слава Богу, конституции формальной, *de jure*, еще нет. Однако она существует *de facto*. Вы сами сейчас сказали, что верховная власть не может быть вполне гуманною, покуда не гуманны промежуточные классы, отделяющие ее от народа. Значит, и мы имеем стену, которую необходимо пробить во что бы то ни стало.

— О, не горячитесь, наша стенка не каменная, не настоящая, не такая, какие существуют в Европе! Это на скорую руку сколоченный из сборного теса <забор>, на котором только намалевана крепость в подражание французам или англичанам. Она одного дня не проживет и разлетится в щепки, как только вы найдете верную формулу для истинных народных требований. Но вы сами ее еще не нашли, вы даже не согласились хорошенько между собой насчет общей программы действий, в вашей собственной среде ежеминутно образуются расколы. Это, пожалуй, еще небольшая беда, и нельзя винить вас за то, что вы не умели или не успели поймать истину. Я вас виню главным образом за то, что вы затеваете революцию, которая вам нисколько не поможет, потому что народ вы не поднимете, а без него вы бессильны. Да и покуда вы мечетесь во все стороны, грозите, строите заговоры, неистовствуете, тесовый забор наш все крепнет да крепнет, старые гнилые доски заменяются в нем новыми, да потолще, уже припасается кирпич и увесистый булыжник — на всякий случай, и защитники со всех сторон приманиваются такие, которые сумеют дать отпор кому угодно, и против чего угодно... Если вы мечтаете о том, чтобы для счастья и утешения вашего отечества создать в земле русской плохую копию Западной Европы, ну, тогда вы на самом истинном пути: продолжайте вашу революцию еще и еще. Но если вкус у вас потоньше и помысел повыше, то воздержитесь от всяких безобразий, от всего темного и насильственного, всегда помня, что социальный вопрос есть по преимуществу вопрос нравственный... Не знаю, как вы, а я до такой степени ненавижу копии, что в ту же минуту, когда у нас появится таковая, навсегда убегу туда, где можно видеть оригиналы, и оттуда буду смотреть на

русский народ, как на такой, для которого — все хорошо! Тогда гонение на славянство со стороны всяких Бисмарков³⁷ будет в моих глазах вполне оправдано не только с их немецкой точки зрения, но и с точки зрения всемирной цивилизации, в которую Россия ничего своего вносить не может и за эту импотенцию должна быть отодвинута на самый последний план. Но и помимо этого, Россия, с самого момента появления в ней копии, намалеванной нашими министерскими малярами, вступит в период нескончаемых, безысходных внутренних потрясений, которые истощат все ее силы и сделают ее не способной ни к какому развитию. Прошу вас обратить внимание на следующее: чем беднее капиталами, чем умственно неразвитее и, ко всему этому, чем малочисленнее правящие классы относительно всей массы населения, тем они будут чувствительнее ко всякому давлению как сверху, от царя, так снизу, от народа; следовательно, им необходимо будет обставить себя самыми страшными, чудовищными привилегиями, которые всею своей тяжестью лягут на народ и постараются придавить его елико возможно. Таким образом наша конституция принесет крестьянству уже не крепостную неволю, но полнейшую кабалу... Мой взгляд на вещи может быть ошибочным, но если он имеет за себя хоть какие-нибудь данные, то это уже обязывает нас к крайней осторожности, должно воздерживать нас от поспешных решений и особенно от грубых революционных приемов, которые вынуждают к торопливости мероприятий в ту или другую сторону.

Разговор наш кончался, но мне не хотелось отпустить от себя Н., не взяв с него обещание воздерживаться наперед от всяких революционных попыток и, вместе с тем, стараться действовать на своих товарищей в смысле высказанных мною мнений, с которыми он, по-видимому, соглашался. Но Н., как бы спохватившись, вскочил со стула и начал быстрыми шагами ходить по комнате. Это продолжалось минуты две. Наконец он остановился и проговорил очень решительно:

— Нет, этого я не могу обещать ни за моих товарищей, ни за себя!

— Почему же? — спросил я в изумлении.

— Вот видите ли, — отвечал он, — мне нетрудно было бы соглашаться с вами потому, что сам я не раз приходил к выводам весьма аналогичным. Новостью для меня была одна ваша «самодержавная республика». Но если она ме-

ня не ошеломила и я не расхохотался вам в лицо, так это благодаря тому, что у меня тут же промелькнула мысль: почему России, в самом деле, не осуществить самодержавную республику, когда она ухитрилась создать нечто гораздо труднейшее?

— А именно?

— *Самодержавную анархию!* Разве мы не живем, и довольно-таки давно, в самодержавной анархии?

— Да, вы правы,— невольно вырвалось у меня,— это — самодержавная анархия! *Везде — власть, все — власть, и нет ее только в центре!* Царский указ имеет силу на Кавказе, в Ташкенте, на границе Индии, в Камчатке, но сам царь в своей собственной столице не может показаться на улице один, без целого конвоя телохранителей¹⁸!!! Кто же его загнал в Зимний дворец? Не крестьяне же русские, сидящие по деревням, не духовенство смиренное, не купечество толстобрюхое. Так неужели же сотня бесшабашных удалцов? Помилосердствуйте! И не признавайтесь в этом, не срамите себя. Мы смиряли не раз восстания целых народов и не можем нынче справиться с горстью гимназистов! Кто же этому поверит? А если б это действительно так было, так, воля ваша, нам пришлось бы только преклониться перед гимназистами, заставляющими трепетать целое громаднейшее царство и самого его царя! Нет, тут обман очевиден! Но если не крестьяне, не духовенство, не купечество и не гимназисты, так кто же? — *Ведь остается одна интеллигенция, жаждущая конституции!*

— Ну, вот и доискались! — воскликнул Н. и продолжал. — Один весьма почтенный немец из остзейцев, рассуждая в моем присутствии о поступке Веры Засулич¹⁹, сказал, что ей следовало бы чулки вязать, а не стрелять в градоначальников, что она делает не свое дело. Конечно, немец говорил сущую правду, против которой спорить нет возможности; да только он упустил из вида одно весьма важное обстоятельство, то, что в России не одна Вера Засулич, но все без исключения *делают не свое дело*. Неужели взаправду дело министра финансов грабить Россию, неужели дело министра просвещения преграждать молодежи все пути к учению, неужели дело полководца отравлять своих солдат протухлыми сухарями, неужели дело чиновников, этих царских слуг, всюду творить беззакония, чинить неправды, обиды, утеснения и становиться притчею во языцех, неужели дело педагогов забивать

мозги юношества, неужели дело малолетних детей помышлять о самоубийстве и т. д., и т. д.? Анархия не ограничилась у нас одними культурными классами; она гуляет и в мужицкой среде: русский мужик перестал делать свое дело.

— Это как же?

— В Библии Бог сказал человеку: «в поте лица своего снести хлеб свой»⁴⁰. Посмотрите же: лицо мужика все в поту, даже в крови; *но хлеба своего он не ест!!*. Ну а когда главное, так сказать, приводное колесо в машине не действует или действует плохо, тогда во всей машине неминуем хаос. Или это не так?.. Вот и мы, юноши, не делаем своего дела, не учимся, а занимаемся революцией. Мы, стало быть, находимся в полнейшей гармонии со всем остальным. За что же вы нас преследуете? Вы только тогда получили бы право называть нас нарушителями общего порядка, когда бы мы прилежно взялись за наши учебники. Но возможно ли требовать от юношества, чтоб оно подавало всем пример, и неужели это не показалось бы обидным для вас, стариков? Мы революционеры — из уважения к вам!.. Поймите же, что юношество сбито с толку общею неурядицей и бессильно ей противиться. Это обстоятельство очень важное, на которое прошу обратить особенное внимание. Кидаясь в революцию, русская молодежь *не имеет ровно никаких идеалов*, не имеет понятия ни о существе конституций, против которых вы хотели бы ее предостеречь, ни о существе будущего социалистического государства и строит революцию, решительно не ведая, куда и к чему она может их привести. Она занимается беззаконием в великом царстве беззакония... «Все распущено», — это слово вы нынче услышите во всех углах России и во всех слоях общества, от низших до самых высоких.

— Вы, однако, не желали бы крутых мер и не сказали бы известное: «чем хуже, тем лучше»?

— Избави Бог! Это было бы только лишней прибавкой к существующему хаосу. Прежде всего я бы желал *строжайшего и неуклонного исполнения закона во всех сферах, сверху донизу; а затем — полного обеспечения крестьянского хозяйства, или, как вы говорите, справедливого решения аграрного вопроса царскою самодержавною властью и, наконец, податной реформы*. Когда мы перевалим через этот главный и труднейший порог, тогда русская жизнь снова потечет самым мирным образом, и все бурные революционные порывы

прекратятся сами собой за отсутствием повода... Вы хотите, чтобы я начал останавливать *теперь* моих товарищей, но это решительно невозможно: они меня не поймут или просто слушать не станут. Вопль, неумолкающий, страшный вопль, всюду поднимающийся с самого дна земли нашей, терзает их юные сердца, мучит воображение, озлобляет душу. Встревоженные, испуганные, нередко обезумевшие дети мечутся во все стороны. Иным из них удается юркнуть под крылышко школы. Но что же они и тут находят? Мертвое, оупляющее и развращающее школярство, невежественное и подозрительное к ним отношение начальствующего персонала, и вот бедняжки изгоняются или сами бегут из школы в бесшабашный, это правда, но все-таки простор революции, заманчивый своими мечтательными целями. А я, что могу, я, один против всей русской действительности, увлекающей их с силой урагана?! Да и не хочу я отстать от тех, с кем делил всю мою жизнь, и как бы ни был погибелен их путь, погибну с ними. Знайте, что как их, так и меня мог бы спасти — один царь! У нас теперь всюду раздаются вздохи: «Эх, кабы петровская дубинка!» А я скажу: «Эх, кабы твердое царское слово!..» Народ давно и громко воет, к царю воет, надо, чтобы и царь ему откликнулся: «*Слышу, сынку!*» И пусть трепещут окружающие его Мордохеи⁴², уже давно с избытком получившие мзду за свою усердную службу.

— Ну а если такое слово не раздастся? — спросил я.

— Тогда, — отвечал N., — будет продолжаться и усиливаться анархия, а с нею и революция, которая, как я уже вам объяснял, есть неизбежный продукт самой анархии точно так же, как бред бывает невольным и неизбежным спутником горячки. Я с вами откровенен вполне и, как вы сами можете видеть, я не обманываю себя насчет той роли, которую мы, юноши, играем в нынешних судьбах России. Мои товарищи будут, пожалуй, перед вами хвастать и выставлять себя запевалами, идущими впереди всех, увлекающими за собой нацию. Но я знаю, что в действительности это вовсе не так, и снова повторяю вам, что их неудержимо несет общий поток, их гонит и толкает вся совокупность аномальных условий нашей современности. Но тем хуже: *ведь они потому только и сильны и страшны, что действуют не от себя, не от своего ничтожества. Все их ужасное значение именно в том, что они — невольное и слепое орудие силы вещей.* Если бы революция была их собственным изобретением, вымыслом, мозговым продуктом не-

зрелых голов, не имеющих никакой связи со всею окружающею действительностью, то она могла бы возбуждать в нас только жалость или презрение. Но нет, тут разыгрывается не комедия, а ужасная трагедия, из-за которой грозно поднимает свою голову и глядит сама судьба. *Мы, мальчики, страшны вам!!* Ведь не тем же мы страшнее, что мы мальчики, а тем, что в наших мальчишеских затеях отражается ваша старческая гнилость, и вы испугались вашего собственного безобразия!..

Мы оба замолкли. Над чем задумался N., я не знаю: но, признаюсь, я не думал ни о чем или, пожалуй, обо всем, что в сущности одно и то же. Я чувствовал себя подавленным результатами, к которым мы пришли. Чего ждать в будущем, где искать исхода?.. Мое мрачное раздумье прервал наконец N.

— Не малодушествуйте, — проговорил он, — ободритесь: спасение нам еще возможно. *Пусть только прогремит на всю Русь твердое царское слово — и мы все воскреснем!..*

N. ушел, и тут только я вспомнил, что он — революционер, а между тем — как рассуждает! Да, совсем, совсем не так, как те, что называют себя консерваторами. Эти устроили в России облаву на царя и льстивыми словами заманивают его в свои сети⁴³... О, государь, не поддавайтесь! Так говорит вам человек, который никогда у власти ничего не просил, никогда в ней не искал, ни в каком ведомстве не служил⁴⁴ и нынче не выставляет напоказ своего имени.

ПИСЬМО Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ

М. Г., Ваша восторженная речь в Москве по случаю открытия памятника Пушкину¹ произвела потрясающее впечатление в слушателях самых разнообразных лагерей, на которые теперь дробится русская мысль. Полемика, возникшая по этому поводу между вами и профессором Градовским², сильно заинтересовала публику, и номер «Дневника писателя», посвященный этому спору, вышел уже вторым изданием. Все это доказывает, что вопросы, которых вы коснулись с вашим необычайным талантом, всегдашнюю искренностью и глубоким убеждением, назрели в умах и сердцах мыслящих людей в России и живо их затрагивают. Этому можно только радоваться, как признаку оживления, после многих годов нездорового, летаргического равнодушия к высшим человеческим интересам. Что мы такое? Куда идем? Куда должны идти? — эти русские национальные вопросы, сами по себе близкие всем нам, возвышаются на степень общечеловеческих в том виде, как они поставлены в вашем споре с профессором Градовским и ставятся у нас чуть ли не всеми мыслящими людьми. Что важнее и существеннее, что должно быть поставлено на первый план: личное ли нравственное совершенствование или выработка и совершенствование тех условий, посреди которых человек живет в обществе? Одни говорят: стремитесь к внутренней, душевной, нравственной правде, полюбите ее всеми силами души, и сама собою сложится образцовая общественная жизнь; другие возражают: выработайте общественную жизнь, общественные условия до возможного совершенства, и отдельные лица станут сами собой, естественно, направляться на путь добра, нравственного развития и совершенствования.

К этому основному вопросу сводятся в конце концов учения славянофилов и западников и то, что думается, говорится и пишется теперь. Славянофилы выставили своим знаменем первое из двух приведенных решений во-

проса, отождествив его с существенным смыслом греко-восточного христианства и славянского народного гения; а так называемые западники так же рельефно и сильно выдвинули и поставили второе решение, связав его неразрывно с существенным значением петровской реформы и западноевропейской культуры. Как ни разветвлялись славянофильское и западное воззрения, как ни видоизменялись и не сближались они некоторыми своими ветвями, все-таки основной тон их различия, обозначенный выше, удержался и до сих пор. Лучшие люди того и другого лагеря признавали и признают, что противники, до известной степени, правы; но никогда ни те, ни другие не соглашались признать их правыми в принципе, составляющем для тех и других исходную точку мирозерцания. Взаимные уступки делались и делаются крайне осторожно, с важными оговорками и тотчас же берутся назад, когда из них может возникнуть хоть бы малейшее сомнение относительно существенного разномыслия в основном и главном.

Вот в чем, как мне кажется, заключается чрезвычайная важность спора, поднятого между вами и проф. Градовским, и вот почему особенно желательно, чтоб он когда-нибудь был доведен до конца. Речь идет о принципах, глубоко коренящихся в жизни и сознании. Борьба этих принципов не при нас началась и едва ли при нас окончится. В ней принимали живое участие в продолжение тысячелетий самые глубокие и светлые умы.

Меня этот вопрос живо занимал в последние годы; я часто и много о нем думал, и все меня невольно к нему возвращало. Поэтому, надеюсь, вы найдете естественным, что я впадаю в ваш спор, так сказать, сбоку припеку, незванный-непрошенный. Уж, конечно, не решать его я считаю себя призванным, а только помочь его выяснить и поставить правильно. Это везде и всегда главное, особенно у нас, при невообразимой путанице наших понятий, мешающей даже двум человекам столкнуться между собою.

Вы произнесли слово: примирение партий¹. Да, кончить личные счеты, прекратить литературные турниры, вертящиеся на остроумии, оставить дрянные, плоские и пошлые взаимные обвинения — пора, давно пора! Пора спокойно, отбросив личности и взаимное раздражение, откровенно и прямо объясниться по всем пунктам. Но примирение в смысле соглашения — это другое дело! Вы, человек вполне искренний, конечно, не можете, говоря

о примирении, разуместь под ним дипломатическую сделку, вооруженный мир. Дурной мир хорош, лучше доброй брани в делах практических, ибо действительная жизнь есть непрерывный ряд сделок, полуискренних, полулукавых, с задними мыслями; но в вопросах науки, веры, убеждения добрая брань до настоящего, честного мира — куда лучше! А такой мир еще очень далеко впереди. Бог весть, когда он наступит! Наши русские споры отравлены при самом их начале тем, что мы редко спорим против того, что человек говорит, а почти всегда против того, что он при этом думает, против его предполагаемых намерений и задних мыслей. Так мы и встречаемся друг с другом, так и в дела между собою вступаем: вечно мы насто-роже, вечно у нас камень за пазухой. Оттого наши споры почти всегда переходят в личности, наши деловые отношения так неопределенны и неточны, беспрестанно подают повод к тяжбам и процессам. Объективный смысл слов и вещей в наших глазах имеет мало значения; мы всегда залезаем человеку в душу. И вы не остались чужды этой нашей общей слабости, вложив в уста западников размышления, которые серьезному человеку не могут прийти в голову, а разве какому-нибудь шалопаку⁴.

Освободим хоть мы с вами наши разногласия от этого негодного придатка. Мы сами от этого много выиграем, и наши читатели, конечно, будут нам за это очень благодарны.

I

Начну с рассмотрения вашего взгляда на взаимные отношения у нас простого народа и образованных слоев общества, так как в нем резко и наглядно выражается характерная черта славянофильских учений. Подобно славянофилам сороковых годов, вы видите живое воплощение возвышеннейших нравственных идей в духовных качествах и совершенствах русского народа, именно крестьянства, которое осталось непричастным отступничеству от народного духа, запятнавшему будто бы высшие, интеллигентные слои русского общества.

Полемика, которая когда-то велась об этих тезисах между славянофилами и западниками с горячностью, подчас с ожесточением, мне кажется, уже принадлежит прошедшему. Чтоб понять теперь ее живой, действительный смысл, надо обратиться к истории нашей культуры и поднимать архивы. Скажите теперь человеку, не посвящен-

ному в борьбу наших партий, что русский народ — образец нравственного совершенства: он с изумлением вытирает на вас глаза и начнет по пальцам пересчитывать вам такие явления из жизни русского народа, от которых мороз подирает по коже. Скажите образованному человеку, который слышал только о славянофилах, но не знает их доктрин, что он изменник русским народным началам, отщепенец от родной земли, он или обидится, или подумает про себя, что у вас голова не в порядке. Что русское крестьянство далеко не есть образец совершенства, что люди, принадлежащие к образованным классам нашего общества, такие же преданные сыны своей родины, как и народные массы, это знают все и каждый, и об этом нет и не может быть теперь никакого спора. Если об этом когда-то иначе думалось, говорилось и писалось, на то были свои причины, теперь забытые, о которых надо вспомнить, чтоб понять суть ваших взглядов.

Все люди и все народы в мире учились и учатся у других людей и у других народов, и не только в детстве и юности, но и в зрелые годы. Разница в том, что в детстве и юности и люди, и народы больше перенимают у других; а достигнув совершеннолетия, они пользуются чужим опытом, чужим знанием, с рассуждением, разбором, критикой; в детстве и юности люди и народы, перенимая, подражают, стараются сделаться точно такими, как те, кто им служит образцом; а перейдя в совершеннолетие, они уже чувствуют себя и, стараясь совершенствоваться, усваивают себе чужое, не думая подражать и стать теми, от кого пользуются опытом и знаниями.

То же самое было и с нами. Учились мы у всего мира, с кем только не были в сношениях, чуть ли не у всех восточных народов, у византийских греков, у западных и северных соседей; но об этом мы как-то забыли и вспомнили позднее, недавно. Особенно сильно и наспех стали мы учиться у западноевропейских народов. Нужда нас к тому принудила; а страстный характер Петра придал нашему учению чрезвычайную стремительность. Гениальный государь хотел сделать в четверть столетия то, что делается веками! Время этого ученья мы хорошо помним, потому что уже начали тогда себя чувствовать. Утверждали, что Петр и его сподвижники, не разбирая, переделывали нас в европейцев; но это совершенная неправда: и он, и они были русские люди с головы до пяток, горячо любили родину и в позаимствованиях из Европы видели и искали

только пользы для своей страны, не думая подчинять ее материально или нравственно европейским народам.

Но с Петром и его делом случилось то же, что всегда почти естественно случается со всеми великими учениями и великими делами: основная мысль расплывается в приложениях и подробностях и мало-помалу забывается, а они выдвигаются на первый план, становятся главным, существенным делом. Когда таким образом способы исполнения заступают место основной идеи, мертвая схема, шаблон, рутина заменяют живое и осмысленное отношение к предмету. Редко когда новый шаг или поворот в личной и народной жизни не проходит чрез такие превратности. Дело Петра, в неумелых и неталантливых руках преемников его власти, а не его гения; быстро перешло в рутину и шаблон. Позаимствования из Европы, которые, по основной мысли, предназначены были ассимилироваться на русской почве, окаменели; европеизм, долженствовавший по плану Петра служить для русской жизни подспорьем, вырос в самостоятельного фактора и стал жить на русской почве своею, хотя и искусственною, жизнью⁵. Классы, издавна господствовавшие у нас над народною массою, по своему общественному положению первые пропитались европейскими элементами и нашли в их образовательной роли как бы оправдание и освящение своей политической и общественной роли и господства над необразованными людьми. Таким-то образом европеизм, орудие образования, по мысли Петра и государственных деятелей его школы, превратился в орудие угнетения и отворил настежь двери в Россию всевозможным европейским авантюристам и проходимцам, которые, под мантией европейского просвещения, обделывали свои дела или служили интересам, чуждым или враждебным интересам страны.

По мере того, как Россия росла и складывалась, противоестественная и антинациональная в ней роль европеизма, в том виде, как он определился у нас после Петра, стала чувствоваться мало-помалу все сильнее и сильнее. Лучшие умы, вдумываясь в положение и стараясь объяснить себе причины застоя и гнета, под которыми томилась русская жизнь, пришли к двум заключениям: по мнению одних, ненормальное ее состояние произошло от того, что образовательное движение, начатое Петром при помощи европейских влияний, остановилось и выродилось в гнетущую, заскорузлую формалистику, сохранившую только обманчивый внешний вид европеизма; что

живительный европейский дух, великие общечеловеческие европейские идеи испарились, отлетели из этих мертвых форм. Поэтому, думали они, надо открыть этим идеям свободный приток в Россию и тем поднять русскую жизнь, изнемогающую под тяжким бременем мертвящих, окостенелых форм, давно отживших свой век и уже отброшенных в самой Европе. По мнению других, застой и мертвенность русской жизни происходили оттого, что русский ум был озадачен, сбит с толку насильственной реформой Петра, отчего все европейское, дурное и хорошее, стало для нас предметом подобострастного, почти суеверного и рабского благоговения. Надо, думали эти люди, возвратить русскому уму бодрость, самостоятельность и самодеятельность: тогда он станет тем, что он есть по своей природе, выкажет все сокровища русского национального гения, которые теперь таятся под спудом, из ложного самоуничужения перед Европой.

Таковы были два течения русской мысли, из которых потом образовались две так называемые партии — в сущности, вовсе не партии — западников и славянофилов. Давно уже, и совершенно справедливо, замечено, что оба эти направления, более ярко обрисовавшиеся в сороковых годах, выросли на одной почве. Оттого они сначала мирно жили одно подле другого. Оба свидетельствовали о недовольстве теми условиями, посреди которых бесцветно влачилась печальная русская жизнь, окруженная снаружи невиданным дотоле ореолом политического и международного величия, блеска и могущества. Упрек, будто бы западники были отщепенцами от своей страны, совершенно несправедлив; напротив, они были глубоко преданные своей родине русские люди, горячо ее любившие, мечтавшие о ее светлом, великом будущем — не меньше славянофилов. Призывали они своими желаниями не Европу, а европейские идеи, на которые смотрели как на общечеловеческие. Подобно вам, они высоко ценили чрезвычайную отзывчивость русского народа, и в этом видели залог его великих исторических судеб; их пленяла именно та его всечеловечность, которая пленяет и вас. Сначала у западников не было ни малейшей вражды к славянофилам, да и не было к тому никакого повода: оба направления одинаково отрицательно относились к нашему псевдоевропеизму и, в сущности, сходились в своих требованиях, только формулируя их различно. Западники желали видеть общечеловеческие идеалы осуществленными в России; славянофилы желали, чтоб обще-

человеческие идеалы не были России навязаны, а были осуществлены свободным почином, свободною деятельностью русского народа. Оба взгляда пополняли друг друга. Но прежде, чем они это поняли, прежде, чем состоялось между ними то сближение, которое лет двадцать тому назад стало совершившимся фактом⁶, вражда их разделила на два противоположные лагеря.

История этого раскола русской мысли весьма интересна, представляя степень развития, на которой мы стояли в то время, когда он начался, и ход развития русской мысли и русского самосознания.

Если застой и мертвенность русской жизни происходили оттого, что нас давил псевдоевропеизм и отжившие, окостенелые европейские формы, то это доказывало, что предыдущая наша жизнь не имела достаточно упругости и твердости, чтоб противустоять их водворению или, приняв их, переработать сообразно с своим народным гением, другими словами, что мы еще не вступали в период совершеннолетия; а то, что мы начинали тяготиться псевдоевропеизмом и нашею бездеятельностью, нашим застоєм, служило несомненным признаком пробуждения русского народного гения и самодеятельности. Следовательно, вопрос ставился самою русскою жизнью следующим образом: период школьного учения и перенимания кончился; пора было начать жить своим умом, критически отнестись к себе и другим, думать и действовать не иначе как после строгой проверки своих и чужих мыслей и дел. Такой взгляд показывал, что мы не имеем у себя в прошедшем таких выработанных, определенных форм мысли и жизни, которые могли бы нам служить основанием и опорой для дальнейшей работы; но он же исключал возможность осуществить у нас общечеловеческие идеалы иначе как в формах национальных, нам свойственных и нами из себя выработанных; иначе сказать, что общечеловеческие идеалы могут быть только продуктом самодеятельности народного гения, результатом народной жизни, что их нельзя переносить и пересаживать из одной страны в другую.

Когда русская жизнь и мысль начали пробуждаться, мы все это понимали крайне смутно и сбивчиво, вследствие чего развитие пошло у нас с разными обходами и колебаниями.

Долго мы смешивали и теперь еще часто смешиваем общечеловеческое с европейским, последнее принимаем за первое. Это была, без сомнения, слабая сторона запад-

ников. Славянофилы впали в другую ошибку. Поставя требование самостоятельного национального развития, в чем и заключалась их главная заслуга, они стали пытаться определить, в чем же состоят основные черты русского национального характера, долженствующие служить исходной точкой для дальнейшей деятельности русского народа, нравственной и общественной. Но отыскать эти черты было то же, что найти квадратуру круга. Псевдоевропеизм именно потому у нас и водворился и получил права гражданства, что наш национальный характер еще не сложился и не обозначился в ясно определенных чертах; только жизнь и самодеятельность вырабатывают характер и особенности и лица, и народности; но мы до последнего времени были в ученье то у одних, то у других народов, своим умом не жили и потому не могли выработать в самостоятельную национальную личность. Почем же было узнать основные, характерные черты русского народного гения? Прошедшее, история представляли лишь факты ученической, школьной жизни; она могла передать одни ясные следы влияний наставников и учителей, и едва намеченные, не установившиеся и потому неуловимые черты национального характера и гения. За невозможностью узнать, пришлось сочинять. Это была такая же ошибка со стороны славянофилов, как со стороны западников смешение общечеловеческого с европейским.

Логика фактов, играющая роль древней судьбы в истории новых народов, опровергла оба эти направления. Ни чистых славянофилов, ни чистых западников больше нет: и те и другие сошли со сцены. Продолжая противуполагать их взгляды, вы, мне кажется, поднимаете старый спор, уже решенный ходом русской жизни и развитием русской мысли. Разве вы настоящий славянофил? И разве те, против кого вы полемизируете, настоящие западники? Вы сами выгораживаете лучших из них; кто же затем остается? Примирение двух направлений, о котором вы мечтаете, уже совершилось, молча, двадцать лет тому назад, когда славянофилы и западники подали друг другу руки при освобождении крепостных.

С тех пор мы вступили в новый период развития. Теперь вопросы ставятся совсем иначе, чем прежде; название славянофилов и западников вовсе не идет к новым направлениям русской мысли. Предоставьте твердить зады посредственности и фразерам! Ведь их вы не урезоните, и не для них же вы и пишете.

Между мыслящими и серьезными русскими людьми вы теперь не найдете ни одного, который бы из теоретических предрассудков смотрел свысока на наши народные массы или думал, что Россия есть лист белой бумаги, на котором можно написать все что угодно. Всякий очень хорошо понимает, что как отдельные лица, так и нации имеют свой характер, свои особенности, свою физиономию, физическую и духовную, которых нельзя переделывать и с которыми необходимо сообразоваться, рассуждая о дальнейшей судьбе людей и народов и о том, что для них желательно и полезно в настоящем. С другой стороны, точно так же нет ни одного мыслящего и серьезного русского человека, который бы не понимал, что новых условий, созданных в России с начала XVIII века, нельзя вычеркнуть из нашей истории; что как бы мы любовно ни смотрели на народные массы, нельзя признать их в том виде, в каком они теперь существуют, идеалом совершенства. Прислушиваясь к тому, что теперь думается и говорится, не трудно подметить два различных направления русской теоретической мысли, на которые было мною указано в самом начале. Одно, основываясь на воспитательном характере общественных учреждений, ждет всего хорошего только от их перестройки, в полном убеждении, что хорошие учреждения перевоспитают людей и разовьют в них те качества и свойства, которые необходимы для благоустроенного общежития и которых нам, к сожалению, пока недостает в значительной степени. Другое направление, исходя из той же нашей неустроенности, не признает всемогущества учреждений, и, усматривая источник всего зла в нашем нравственном состоянии, действительно крайне незавидном, указывает, помимо учреждений, на разные средства для поднятия у нас нравственности. Многие видят в этих двух направлениях продолжение двух прежних. По-видимому, вы тоже разделяете это мнение. На самом деле, едва ли это так. Новая постановка вопроса есть несомненно шаг вперед русской мысли. Он мог быть сделан, очевидно; только после разъяснения многих недоразумений между западниками и славянофилами, возбуждавших между ними когда-то ожесточенные споры на словах и отчасти в печати. Но нельзя также отрицать сродства и, до некоторой степени, преемства между прежними и новыми взглядами на русскую жизнь и ее задачи. Вера во всемогущество учреждений невольно напоминает точку зрения Петра и поборников его дела на русской почве, какими, без сомнения,

были западники; а указания на нравственное возрождение как на единственное средство обновления сближает поборников этого взгляда со славянофилами. Это сродство выступит еще ярче, если припомним, что подкладкой общественных идеалов все еще служат у нас обыкновенно европейские образцы, а нравственные идеалы переносятся почти целиком из программы славянофилов. Несмотря на такие сближения, не следует забывать и существенной разницы между прежними и новыми направлениями русской мысли. Взгляды славянофилов и западников были первыми, еще незрелыми попытками самостоятельной критики; новые направления переносят русские вопросы на чисто теоретическую почву, и тем придают им общечеловеческое значение.

Казалось бы, две струи русской мысли, обозначающие в настоящее время, тоже не должны исключать одна другую, а взаимно дополнять. Оба направления ее, собственно говоря, предлагают не два различных решения одной задачи, а два средства для устранения двух различных сторон одного и того же зла. Но, судя по некоторым признакам, дело не обойдется без нового раскола и новой борьбы, подобной той, какую вели между собою западники и славянофилы. Поводы к этому с той и другой стороны есть, и весьма основательные.

С давних пор для меня стало выясняться, что коренное зло европейских обществ, не исключая и нашего, заключается в недостаточном развитии и выработке внутренней, нравственной и душевной стороны людей. Это зло действует тем сильнее, что оно как-то мало замечается, что на его устранение почти не обращено никакого внимания. В практической жизни твердо водворилось убеждение, что недостаток личной нравственной выработки может быть вполне заменен хорошим законодательством, судом, администрацией; в науке вопрос о нравственности заброшен, она в наше время не имеет правильного научного основания и остается при старых, заржавелых, рутинных теориях, которым никто больше не верит, которые в глазах современных людей не пользуются ни малейшим авторитетом; в воспитании нравственная выработка играет самую печальную роль и заменяется дрессировкой людей для общества, в чем и полагается вся суть нравственности.

Сознаюсь, что для меня одной из самых симпатичных сторон славянофильских учений всегда представлялось именно то, что они выдвинули на первый план вопрос

о внутренней, душевной, нравственной правде, о нравственной красоте, забытой и пренебреженной. Может быть, я увлекаюсь золотой мечтой, но мне думается, что новое слово, которого многие ожидают, будет заключаться в новой правильной постановке вопроса о нравственности в науке, воспитании и практической жизни и что это живительное слово скажем именно — мы. Смутные чаяния молодых русских умов и сердец бродят около этого вопроса, жадно прислушиваясь ко всему, в чем надеются найти на него ответ. С этим же вопросом соединяются, в самых неопределенных сочетаниях, и неясные представления о будущем значении русского и славянского племени в судьбах мира. Громадный успех вашей речи о Пушкине объясняется, главным образом, тем, что вы в ней касаетесь этой сильно звучащей струны, что в вашей речи нравственная красота и правда отождествлены с русскою народною психеей.

Почему же именно этот вопрос стоит на очереди и стучится во все двери разом, откуда чаяние и надежда, что именно нам, а не другому народу, может быть, выпадет на долю если не разрешить, то хоть по крайней мере разрешать его, — над этим я здесь останавливаться не стану, потому что пришлось бы говорить много и долго, а мне не хочется отвлекаться от того, что я имею вам сказать.

Теперь, пока, для нас, добровольцев русской мысли, самое важное и главное — поставить вопрос о нравственной правде прочно, твердо, сильно, так, чтоб она и ее необходимость стали для всякого очевидными и несомненными, чтоб нельзя было от них ни отмолчаться, ни отыгаться общими местами и высокопарными фразами. Проповедь будет полезна, необходима потом; пока время ее еще не наступило. Теперь надо сперва выработать вопрос в лаборатории строгой и точной науки, надо силою доводов, аргументами современного знания, поставить людей лицом к лицу с нравственной правдой и показать, что все пути неизбежно ведут к ней, что от нее им некуда уйти, что ее миновать или обойти нет никакой возможности.

С жадностью набросился я на вашу полемику с проф. Градовским, в надежде найти в ней хоть намек на это необходимое предисловие к новому слову; но ничего подобного не нашел. Все та же старая аргументация славянофилов, которая едва ли кого удовлетворит теперь. Живи корифеи славянофильства в наше время, после всего то-

го, что мы пережили, они, я убежден, выставили бы новые доводы в защиту темы, на которую указали. Теперь формула, которую они ей дали, оказывается неправильной, слабо обставленной, а вы к ней ничего не прибавили, даже не пытаетесь ее исправить.

Подобно славянофилам сороковых годов, вы ссылаетесь на высокие, несравненные нравственные качества русского народа. Когда славянофилы впервые заговорили об этом, это было действительно и ново, и живительно. Русская интеллигенция раболепно относилась к Европе и всему европейскому; национальное самосознание находилось в состоянии полудремоты; мы только чувствовали свою физическую силу и ею гордились, едва подозревая, как мало она значит, когда не опирается на силы умственные и нравственные. С тех пор в русском обществе и в русской интеллигенции произошла огромная перемена. Куда девался так называемый «квасной» патриотизм и вера в медвежью силу? Рабское поклонение перед Европой не сменилось ли в наше время небывалым подъемом национального чувства, которое даже перепадает в чрезмерную щекотливость, самоуверенность и задор⁸? Не нужно быть западником, чтоб подчас краснеть от выходов, в которых они высказываются. Чистые идеалисты, какими были московские славянофилы, конечно, строго бы их осудили. Перед этими людьми носились совсем другие идеалы национального чувства.

В увлечении духовными сокровищами русского народного гения, вы говорите: «наша нищая неурядная земля, кроме высшего слоя своего, вся сплошь, как один человек. Все восемьдесят миллионов ее населения представляют собою такое духовное единение, какого, конечно, в Европе нет нигде и не может быть»⁹.

Предоставляю этнографам и статистикам сбавить эту цифру на двадцать или на двадцать пять миллионов; между остальными пятидесятью пятью или шестидесятью действительно поразительное единение, но какое? Племенное, церковное, государственное, языка — да; что касается духовного, в смысле нравственного, сознательного, — об этом можно спорить! Перед нами пока только громадного значения факт, которого внутренний, духовный смысл мы определить не в состоянии: он весь в будущем; напрасно стали бы мы искать его в прошедшем или настоящем.

II

Такие же серьезные недоразумения вызывает и ваш взгляд на нравственные качества русского простого народа, их значение и причины.

Подобно славянофилам сороковых годов, вы считаете наши народные качества дознанным, несомненным фактом и приписываете их тому, что наш народ проникся православною верою и глубоко носит ее в своем сердце.

Прежде всего замечу, что приписывать целому народу нравственные качества, особливо принадлежа к нему по рождению, воспитанию, всею жизнью и всеми симпатиями, — едва ли можно. Какой же народ не считает себя самым лучшим, самым нравственным в мире? С другой стороны, став раз на такую точку зрения, можно, вопреки истине и здравому смыслу, признать целые народы безнравственными, даже преимущественно наклонными к безнравственным поступкам известного рода, как это высказывалось и высказывается.

Вы будете превозносить простоту, кротость, смирение, незлобливость, сердечную доброту русского народа; а другой, не с меньшим основанием, укажет на его наклонность к воровству, обманам, плутовству, пьянству, на дикое и безобразное отношение к женщине; вам приведут множество примеров свирепой жестокости и бесчеловечия. Кто же прав: те ли, которые превозносят нравственные качества русского народа до небес, или те, которые смешивают его с грязью? Каждому не раз случалось останавливаться в раздумье перед этим вопросом. Да он и неразрешим! Рассуждая о нравственности и безнравственности, мы обращаем внимание не на то, *как* народ относится к предмету своих верований и убеждений, а на то, *что* составляет их предмет; а это *что* есть всецело результат школы, которую прошел народ, влияний извне, словом — его истории, развития и культуры. Поэтому, чтоб правильно оценить народ, следует говорить не о его нравственных достоинствах или недостатках, которые могут изменяться, а о характеристических свойствах и особенностях его духовной природы, которые придают ему отличную от всех других физиономию и, несмотря на все превратности судьбы, удерживаются чрез всю его историю.

Есть ли такие характерные черты у русского народа? Несомненно есть, как у всякого, даже самого ничтожного племени, осужденного историей на поглощение другою национальностью. Но если вы меня спросите, в чем он, по

моему мнению, заключается, то я, к стыду моему и к великому соблазну для многих, не сумею дать вам ясного, точного, категорического ответа. Я не в состоянии уловить в духовной физиономии русского народа ни одной черты, которую мог бы с совершенной уверенностью признать за основную, типическую принадлежность его характера, а не известного его исторического возраста или обстоятельств и обстановки, в которых он жил и живет.

Что русский народ богато одарен от природы — это едва ли может подлежать какому-либо сомнению и признается даже нашими недоброжелателями и врагами. Но в чем именно состоит эта природная даровитость — вот что, мне кажется, ускользает от определения. Мне скажут: большая живость, подвижность, юркость и бойкость ума, способность трезво относиться ко всему, ширина размаха? Но эти признаки всякого даровитого народа в юности¹⁰. Разве древние греки не были точно такими же в свое время? Мы, говорят, страшные реалисты. На эту черту многие указывают как на основную в русском национальном характере; но пусть мне укажут народ, более русских способный увлекаться отвлеченными идеями, воздушными замками, иллюзиями, и утопиями всякого рода? Какие же мы реалисты! Мы пока просто живые юноши. Указывают также на нашу удивительную находчивость в самых разнообразных обстоятельствах, умение к ним приладиться, умение применить к разным людям и народам. Но можно ли назвать эти свойства основными чертами национального характера? Стоит вспомнить о территории, на которой мы сидим, о народах и племенах, которые нас окружают, о многострадальных судьбах русского народа, чтоб тотчас же понять, откуда у него взялись эти черты. Если б он их в себе не выработал веками, то мы бы теперь с вами и не рассуждали о русском народе: его бы вовсе не существовало. Притом, в юности все выносятся и вытерпливается легче, бодрей, веселей, чем в сердовые года и в старости. Вы указываете, и совершенно справедливо, на необыкновенную отзывчивость русского народа, необыкновенную его способность «перевоплощения в гении чужих наций, перевоплощения почти совершенного»¹¹. И эта несомненная и драгоценнейшая способность русского народа — увы! — не более как свойство чрезвычайно даровитого и умного, даже не юношеского, а младенческого народа: молодой человек, даже юноша, как только сколько-нибудь сложился и имеет что-нибудь сказать свое и от себя, теряет мало-помалу эту

способность. Словом, какую выдающуюся черту русского народа ни взять, все доказывают замечательную его даровитость и в то же время большую его юность — возраст, когда еще нельзя угадать, какая у талантливого юноши выработается духовная физиономия, когда он сложится и возмужает.

Эта-то неопределенность, невыясненность характера нашей духовной природы и заставляет меня с недоверием отнестись к вашей основной мысли, будто бы мы пропитаны христианским духом. Что многие из наших высоких нравственных качеств плод христианства — не подлежит сомнению. Через всю нашу историю тянутся густой вереницей, рассеянные по всему лицу русской земли, христианские подвижники, святые, отрeksiеся от мира, удалившиеся в пустыню и посвятившие себя посту, молитве и религиозному созерцанию; между мирянами еще недавно можно было встретить в семьях, городах и крестьянских избах немало типов поразительной нравственной красоты, своим искренним благочестием, чистотою, простотою и кротостью переносивших мысль во времена апостольские. Всем, кто их знал, они памятны и никогда не забудутся. Но заметьте, что все они — и иноки, и миряне — чуждались мира, сторонились от него и уходили от волнующегося житейского моря в молитву и созерцание. Ежедневная, будничная, практическая жизнь шла своим порядком и едва ли согласовалась с учением Христа, когда благочестивые люди от нее удалялись и не хотели принимать в ней участия¹². Что-нибудь из двух: или исповедание Христова учения несовместимо с жизнью и деятельностью в миру; в таком случае, как же русский народ мог быть пропитан христианскими началами? — или, напротив, народам нет спасения, если они не проникнутся в своей публичной жизни и частном быту истинами христианства; но в таком случае, значит, наша ежедневная, будничная жизнь не была ими проникнута, если святые люди от нее удалялись в дебри, леса, пустыни и находили спасение лишь в отчуждении от мира.

Недоумения мои наводят на различное с вами объяснение многих явлений в русской жизни и русской истории. Самые благочестивые люди, самые горячие патриоты жалуются, что у нас обрядовая сторона слишком преобладает в сознании и в жизни простых людей над делами веры¹³, точно будто вера сама по себе, а жизнь сама по себе. Не раз указывалось на необходимость внутреннего миссионерства, чтоб просвещать народ, еще пропитанный

грубыми языческими предрассудками и суевериями. На совершенное незнакомство женщин из простого народа с самыми обыкновенными молитвами жалуются даже безграмотные крестьяне. Все это показывает, что просвещение народных масс в духе христианства еще ожидает своих деятелей. Не совершилось оно до сих пор потому, что самые ревностные христиане, жаждавшие духовного совершенства, удалялись от мира, служа только образцами святой жизни и предметами благоговения для мирян, которые носили в своем сердце жажду духовного просвещения и совершенства; для огромного же большинства, погруженного в заботы и суету ежедневной жизни, Христово учение представлялось в виде богослужения и обрядов; частое посещение церкви и строгое соблюдение священных обрядов — вот в чем представлялась этому большинству вся суть христианства. Такое по преимуществу формальное отношение к нему наших предков поражало иностранцев до того, что Флетчер, например, прямо называет нас язычниками¹⁴. Что мудреного, что ежедневная, будничная жизнь, предоставленная самой себе, шла нескладно и искала себе образцов и выхода к лучшим порядкам вне отечества, в чужих краях и в чужих людях? Если условием нравственного совершенствования в духе Христовом было отречение от мира, то улучшение мирских порядков и не могло совершаться иначе как помимо церкви и ее влияний: одно было естественным и необходимым последствием другого. Не подготовляемое постепенным улучшением нравов, оно совершалось скачками, посредством законодательных мер по иностранным образцам. Крутой и внезапный характер преобразований Петра, резкое противопоставление светского духовному, нравственных идеалов славянофилов общественным идеалам западников — все это лишь последствия того убеждения, всосавшегося в нашу плоть и кровь, что совершенство в христианском смысле возможно только вне мира и его соблазнов.

Такое воззрение на христианство имеет свое основание в мирозерцании древнего Востока. Отречение от мира, умерщвление плоти, духовное созерцание как высшее благо и высшее совершенство — представлялись издавна для жителей Востока единственным исходом из бед, напастей и треволнений земной жизни. Борьба с ними, устранение их, подчинение внешних явлений человеку с помощью науки и искусства — все это не входило в круг восточных воззрений как принцип; а так как всякий чело-

век и всякий народ принимает истину насколько может ее вместить, то и жители Востока усвоили себе ту сторону христианства, которая была им более других доступна. Ученые и философы, преимущественно греки, обратились на изучение и разъяснение вероучения и догматов; люди, искавшие нравственного совершенства, удалялись в пустыни, очищали себя постом, молитвами и предавались духовному созерцанию.

Но христианство имеет бесчисленное множество сторон, и потому на него можно смотреть с бесчисленных точек зрения. Народы Западной Европы приступили к его принятию с другими задатками и предпосылками и потому усвоили себе преимущественно другую его сторону. Окружающая их природа несет щедрые дары только тому, кто умеет заставить ее служить себе. Уже это одно обстоятельство рано вызвало европейца на упорный труд и борьбу с окружающим, воспитало в нем убеждение, что знанием, трудом и выдержкой можно устранить вредное, воспользоваться благоприятными условиями и создать около себя среду, отвечающую нуждам, потребностям и вкусам. К такому же взгляду приводило и богатое наследство, оставшееся после греко-римского мира, принятое западными народами вначале непосредственно, самым пребыванием на классической почве, а потом сознательно усвоенное долгим изучением. Знакомство с этим миром должно было укрепить и развить в западном европейце убеждение, что не только природа, но и условия общежития могут быть приспособлены к нуждам людей, точно так же как люди могут и должны приспособиться и быть приучены к условиям правильно организованного общественного быта. Оттого западный европеец не думает покоряться данным неблагоприятным условиям или удаляться от окружающей среды, когда она не удовлетворяет его требованиям; напротив, он старается овладеть ими, покорить их себе, пересоздать по своим нуждам и вкусам. Человек с такими взглядами и привычками, приняв христианство, естественно воспользовался им как могучим орудием для расширения своих знаний, для улучшения своего публичного и частного быта, для воспитания людей. Христианство открыло западному европейцу новые, дотоле неведомые ему горизонты и пути для развития и совершенствования действительной жизни и всей обстановки человека. Вы скажете, что от таких применений христианства к условиям ежедневной жизни и житейским нуждам помутился и померк в сознании за-

падных европейцев божественный образ Спасителя¹⁵, который учил, что царство Его не от сего мира? С этим можно согласиться, но только с важными оговорками. Учение о духе не укладывается ни в какие формы и рамки, и потому всякие попытки уловить христианство в какие бы то ни было правила не может не исказить его; я готов идти далее и прибавлю, что, обратив все внимание исключительно на применение христианства к науке, знанию и общественному быту, западные европейцы забыли внутренний, нравственный, душевный мир человека, к которому именно и обращена евангельская проповедь. Последнее и есть, как мне кажется, ахиллесова пятка европейской цивилизации; здесь корни болезни, которая ее точит и подкапывает ее силы. Западный европеец весь отдался выработке объективных условий существования в убеждении, что в них одних скрывается тайна человеческого благополучия и совершенствования; субъективная сторона в полном пренебрежении. Но только до сих пор я иду с вами, а далее мы совершенно расходимся. Славянофилы сороковых годов, а за ними и вы, осуждая западных христиан, опустили из виду, что они, хотя и недостаточно, неправильно, представляют, однако, собою деятельную, преобразовательную сторону христианства в мире. По мысли западных европейцев, христианство призвано исправить, улучшить, обновить не только отдельного человека, но и целый быт людей, воспитать не только отшельников, но и людей, живущих в мире, посреди ежедневных дрязг и соблазнов. По европейскому идеалу, христианин не должен удаляться от мира, чтоб соблюсти свою чистоту и святость, а призван жить в мире, бороться со злом и победить его. В католичестве, созданном гением романских народов, вы видите только уродливое устройство церкви по образцу светского государства, с духовным императором во главе, а в протестантизме, концепции христианства по духу германских народов, — только одностороннюю безграничную свободу индивидуальной мысли, приводящей в конце концов к атеизму; но ведь кроме папы и атеизма, Западная Европа произвела и многое другое, под несомненным влиянием христианства. Вы сами себе противоречите, преклоняясь перед европейской наукой, искусством, литературой, в которых веет тот же дух, который породил и католичество, и протестантизм. Идя последовательно, вы должны, отвергнув одно, отвергнуть и другое: середины нет — и быть не может.

III

Перехожу наконец к теоретическим основаниям всей вашей аргументации — к вашему взгляду на нравственность, ее значение и роль в человеческом обществе.

Возражая профессору Градовскому, вы отвергаете различие идеалов общественных от личных и нравственных. «Чем соедините вы людей для достижения ваших гражданских целей, — спрашиваете вы, — если нет у вас основы в первоначальной великой идее нравственной?» И продолжаете: «А нравственные идеи только одни: все основаны на идее личного абсолютного самосовершенствования впереди, в идеале, ибо оно несет в себе все, все стремления, все жажды, а стало быть, из него же исходят и все ваши гражданские идеалы»¹⁶. Эта мысль, которая составляет один из главных пунктов спора, кажется мне неверной.

Во-первых, нравственных *идей* нет, как нет *общественной* нравственности, вопреки мнению проф. Градовского¹⁷. Нравственное есть прежде всего — личное, известный душевный строй, склад чувств, дающие тон и направление нашим помыслам, намерениям и поступкам. Оттого и нельзя схватить и уложить нравственность в какую бы то ни было мысль, или формулу. Нравственность есть по преимуществу то, что мы называем духом. Всякий в глубине души знает, доброе он замышляет и делает или дурное. Чувство добра и зла он носит в себе. Но спросите, что такое добро, что зло — никто вам не ответит на этот вопрос. Сделайте тот же вопрос в применении к тому или другому данному помыслу, делу, предприятию, и самый темный, необразованный человек не затруднится ответом. Вы, может быть, найдете его ответ ошибочным, признаете, что он называет худым хорошее, и наоборот; но по своему чувству, по своему сознанию, он будет нравственный человек, если воздержится от намерений и поступков, которые сознает худыми. Как слагается в человеке такое неуловимое, так сказать, бесформенное чувство добра и зла, которое освещает для каждого особенным образом всякий его замысел, поступок — это другой вопрос. Дело в том, что у каждого есть такой, свой особенный, личный камертон. Кто ему верен в мыслях и поступках, тот человек нравственный, а кто неверен, непослушен ему — безнравственный¹⁸.

Совсем другое — наши понятия или идеи о том, что хорошо и что дурно. Каждая идея есть формулированная,

определенная мысль о предмете, следовательно, о том, что нам представляется как нечто вне нас существующее, объективное. *Понятие* о том, что добро и что дурно (я здесь говорю только о наших понятиях общественных), есть суждение, основанное на аргументах, почерпнутых не из неопределенного и бесформенного чувства, а из условий и фактов устроенного общежития с другими людьми.

Вы скажете, что и внутреннее сознание добра и зла, иначе говоря, голос совести, в конце концов, складывается под влиянием той же общественной среды? Без сомнения, и именно потому совесть древних греков-язычников иное говорила, чем совесть христиан. Содержание внутреннего сознания добра и зла и понятия о добре и зле одинаковы; но они существенно различаются между собою тем, что первое, совесть, выражает чисто непосредственное личное отношение человека к своим мыслям и поступкам, есть чувство, не укладывающееся ни в какую формулу, тогда как понятие не есть уже личное, а нечто объективное, предметное, доступное всем и каждому, подлежащее обсуждению и проверке. Далее, понятие о том, что хорошо и что дурно, еще более отступает от человека, становится еще более для него предметным и внешним, когда оно обращается в обязательный закон, которому единичные лица, волей-неволей, должны подчиняться, хотя-нехотя должны сообразовать с ним свои внешние действия и поступки.

Вот почему я не могу с вами согласиться, когда вы говорите о нравственных *идеях*, ни с проф. Градовским, когда он говорит об *общественной* нравственности. Нравственность, как факт чисто личный, единичного человека, исключает идею, формулированное понятие людей. По той же причине не может быть и общественной нравственности; ибо если разуместь под этим словом, что в данном обществе наибольшая часть людей нравственны, то оно будет неточно, перенося на сумму людей то, что составляет характеристическую принадлежность отдельного человека; если же с этим выражением связать понятие о той или другой идее, которую они одинаково признают, то оно совершенно ошибочно, потому что идеи не могут быть ни нравственны, ни безнравственны; они или правильны, или неправильны. Нравственный человек тот, что в своих помыслах и поступках остается всегда верен голосу своей совести; подсказывающей ему, хороши ли они или дурны; только в отношении человека к самому

себе и заключается нравственность, только в согласовании мыслей и поступков с совестью и состоит нравственная правда. *Что* именно совесть подсказывает, почему она одни помыслы и поступки одобряет, другие осуждает — это уже выступает из области нравственности и определяется понятиями или идеями, которые слагаются под влиянием общественности, и потому, в разное время, при разных обстоятельствах, бывают весьма различны.

Понятия или идеи никак не следует смешивать с *идеалами*. Последние суть совершеннейшие умственные образцы, факт или идея, возведенные в сознании, чрез обобщение, на высшую степень. В этом смысле можно говорить и о нравственном идеале (а не идее) и об общественных идеалах. Нравственным идеалом будет всегдашнее, ежеминутное, полнейшее подчинение каждого помысла и каждого поступка голосу внутреннего сознания или совести, без малейших колебаний; в высшей степени развитая чуткость к этому голосу; выработанная упражнением до чрезвычайной тонкости чуткость самой совести и т. п. Общественных идеалов может быть множество — столько же, сколько общественных идей или формул, и каждый из идеалов будет выражать полнейшее, совершеннейшее осуществление этих формул в действительной жизни.

Пока мы не разберемся в этих понятиях, до тех пор споры наши будут продолжаться без конца и не приведут ни к чему. Мы смешиваем понятия, идеи, идеалы с нравственностью. Из этого происходит невообразимая путаница.

Во-вторых, идеи, которые вы называете нравственными, определяют взаимные отношения между собою людей в организованном общежитии, схватывают их в формулы. Эти формулы суть общие и отвлеченные, потому что имеют в виду не того или другого человека в особенности, а всех людей, человека вообще, или, если хотите, среднего человека, по одним его общим, а не индивидуальным признакам; а как только вы определите отношение среднего человека к другим, таким же средним людям в организованном общежитии, вы создаете, для действительно существующих индивидуальных людей, общественные идеи.

Вы говорите, что общественные, или гражданские идеалы (т. е. идеи) вытекают из идеи личного абсолютного самосовершенствования впереди в идеале. Оставляя в стороне указанную выше неточность выражений, я утверж-

даю, что нравственность и общественные идеи, идеалы личные и идеалы общественные не имеют между собою ничего общего, и что из их смешения может произойти только путаница и хаос.

Орсини, Шарлотта Кордэ были патриоты, высоко-нравственные люди, а Дюмолар, изнасиловавший, убивший и ограбивший множество женщин и нагнавший ужас на целый околоток, — злодей, полужверь; но все они были преступники против общественного закона и сложили свои головы на эшафоте.

Общественная идея, формулируя условия правильного сожительства людей, вовсе не берет в расчет внутреннего человека и его отношений к самому себе, а имеет дело только с внешними, наружными поступками людей и их отношениями к другим людям и общественному союзу. Внутренняя жизнь, сокровенные помыслы принимаются в расчет при формулировании общественных идей только в той мере, как они обнаруживаются во вне.

Имея дело с внешней, а не внутренней жизнью человека, общественная формула ставит правило или закон, обязательный для этой внешней стороны, и внешними же мерами и способами принуждает исполнять его, сообразоваться с ним. Из каких внутренних побуждений люди исполняют общественный закон, — до этого, с точки зрения общества, нет никому никакого дела. В душу человека общественный закон не заглядывает — и горе тому обществу, где он в нее заглядывает.

Вы думаете, что в самой нравственности заключаются уже условия общественных формул или закона? Это большая ошибка! То, что вы назовете нравственной идеей — любовь к ближнему больше самого себя, самоотвержение на пользу других, есть идея или формула общественная, потому что ею определяются наше отношение к людям в общественном быту, она есть идеал этих отношений. Нравственной стороной названных добродетелей будет только искренность, полнота, сила убеждения. Иначе вы должны назвать безнравственным фанатика, который думал служить Богу, сожигая еретиков на костре¹⁹, — фанатика, которого католическая церковь причисляет к лику святых.

Вы спросите, откуда как не из нравственных идей мог взяться идеальный характер общественных добродетелей и доблестей? На это я уже ответил выше: общественные или гражданские идеи имеют дело не с индивидуальными людьми, а со средним, отвлеченным человеком, вос-

производят не единичный факт, а общую, отвлеченную формулу фактов, которая именно потому, в применении к действительно существующим людям, и обращается в обязательный для них закон, в идеальную норму, к которой они стремятся или с которой волей-неволей должны сообразоваться, по крайней мере, в своих внешних поступках, под страхом наказания.

Вы говорите, что «идеал гражданского устройства в обществе человеческом... есть единственно только продукт нравственного самосовершенствования единиц, с него и начинается, и что было так спокон века и пребудет во веки веков»²⁰. Такой взгляд противоречит историческим фактам. Гражданские идеи зарождаются отнюдь не из нравственного самосовершенствования людей, а из практической, реальной необходимости устроить их сожителство в обществе так, чтоб всем и каждому из них было по возможности безопасно, спокойно, свободно и вообще хорошо жить и заниматься своим делом. Скорей я бы сказал, что общественные идеи слагаются и формулируются вследствие того, что бо́льшая или меньшая доля людей, принадлежащих к составу общества, нарушают условия правильно устроенного общежития и тем вынуждают остальных формулировать эти условия, возвести их в обязательный закон и обеспечить различными мерами, в том числе страхом наказаний, строгое и точное их соблюдение всеми и каждым. Не личное самосовершенствование, а, наоборот, разнузданность, своеволие лиц, необращение ими внимания на пользы и нужды других возвели условия правильного общежития в общественные идеи и формулы. Утверждая противное, вы забываете, что единичные люди выросли и сложились в человеческом общежитии, а не вне его; что с тех пор, как человек себя помнит в истории, он есть член общества, хотя бы сначала только член семьи; что вне общежития с подобными себе он не способен и к личному самосовершенствованию. То, что вы называете нравственной идеей, есть плод сожителства людей, результат продолжительного его развития и выработки. Прежде чем условия правильного сожителства людей в обществе отложились, осели в совести и стали тем, что вы называете нравственным идеалом, они уже существовали в зачатке, в грубом, сыром виде, в самом факте сожителства и развившихся из него обычаях и законах. Опустив это из виду, вы говорите лишь об обществах людей, составившихся по добровольному, свободному почину, под влиянием убеждений религиозных, которые

их между собою сблизили. Так действительно возникли многие общежития людей и не по одним религиозным побуждениям; но заметьте, что такие общества предполагают людей уже развитых, а развиться они могли только в обществе себе подобных, т. е. в человеческом же общежитии. Кроме того, наималейшая доля человеческих обществ образовалась по добровольному соглашению. Огромное их большинство возникло помимо воли людей, вследствие факта сожителства на одних местах, рождения, завоевания и т. п. В них уже никоим образом нравственное самосовершенствование не могло быть основанием общественных идей; напротив, последние, выработавшись под влиянием практических потребностей общежития и обратившись в обязательный для всех закон, стали могущественным средством воспитания людей к правильному общежитию, внедрились и укрепились в них то, что вы называете нравственными идеалами. В этом я вижу новое и сильнейшее опровержение вашей мысли, будто нравственные идеи породили идеи гражданские и общественные. Напротив, условия правильного общежития, составляя насущную практическую потребность людей, живущих вместе, породили общественные идеи, а общественные идеи воспитали уже отдельных людей в нравственные личности, развили и укрепили в них чувство добра и зла. Я иду еще далее и утверждаю, что человеческие общества только в виде редкого исключения, и то одни только добровольные, могут состоять из одних лиц нравственных, живущих только по внушению совести; огромное большинство человеческих обществ, напротив, состояли, состоят и во веки веков будут состоять из небольшого числа людей, живущих по внушениям внутреннего сознания правды и неправды; масса же людей везде и всегда поступает согласно с требованиями общества и его законов по привычке или из расчета и личных выгод; наконец, всегда будет более или менее и таких людей, которых удерживает от грубых нарушений общественного закона только страх наказаний,— людей, готовых нарушить этот закон, как только представится возможность или надежда сделать это безнаказанно. Пропорции этих различных категорий людей могут изменяться, склоняясь то в ту, то в другую сторону, и их взаимное численное отношение служить мерилom хорошего или дурного состояния общественной жизни у данного общества, в данное время; но вовсе исчезнуть ни одна из них не может, потому что их существование определяется челове-

ческой природою и чрезвычайным разнообразием лиц, входящих в состав человеческих обществ, образовавшихся не добровольно, а в силу обстоятельств и условий, действующих помимо сознания и воли²¹.

Если так, скажете вы, то может ли быть речь о нравственности и к чему она? — допустив, что общественные идеи необходимы, что без них обойтись нельзя, что они волей-неволей навязаны людям и водворяются, если не приняты добровольно, силою вещей и страхом наказания, надо признать, рассуждая последовательно, что нравственность совсем излишня, ни на что не пригодна. Но и этот вывод был бы совершенно ошибочен. Общественные, гражданские идеи и формулы не на воздухе висят и не с неба свалились, а родились из сожителства людей и для них служат. Помимо людей они не имеют никакого смысла, были бы чистыми отвлеченностями. Живут они только в людях, а не помимо их; а раз они и не могут жить иначе как в людях, они и являются в них или как формулированное сознательное понятие, или как бесформенное чувство, голос совести. Этим объясняется необходимость нравственности. А что касается ее полезности и пригодности, то она вытекает из того, что только нравственные люди суть непосредственные, живые носители общественных идей и формул. Как только эти формулы и идеи перестают отражаться в совести — это верный признак, что наступает их конец, что они отжили свое время и должны смениться другими. Нравственные люди суть единственные бескорыстные представители общественных идей и формул в стране. Привычка ненадежный их оплот; личный расчет идет туда, где ему выгоднее, не думая об идеях и формулах: они служат ему только средством для его целей; а безнравственные люди всегда ждут минуты, когда можно сбросить с себя несносную узду общественных идей и формул. Роль нравственности в обществе ярко выяснится, если перевернуть вопрос и спросить: может ли существовать общество, состоящее только из таких людей, которые не признают общественных идей и формул, подчиняются им нехотя и готовы, при первом удобном случае, отступить от их требований? Очевидно, такое общество не может существовать, потому что в нем некому выносить на своих плечах общественный строй, осуществлять в действительности общественные идеи и формулы. Но нравственность, повторяю, не создает их, а только осуществляет и охраняет в действительной жизни. Можно быть человеком высоконравст-

венным и стоять за идеи и формулы, отжившие свой век, неудовлетворяющие более потребностям общества, мало того, — задерживающие его дальнейшее развитие; ибо они, с изменившимися обстоятельствами и условиями, изменяются, перерождаются; а нравственный идеал всегда один и тот же и состоит в горячей, полной, искренней, самоотверженной преданности лица добру и правде, как они отражаются в его совести.

Какой же вывод из всего сказанного? Тот, что вы не правы, утверждая, будто «общественных гражданских идеалов, как таких, как не связанных органически с идеалами нравственными, а существующих сами по себе, в виде отдельной половинки, откромсанной от целого... нет вовсе, не существовало никогда, да и не может существовать»²². Говоря это, вы не доводите анализа до конца. Правильный, полный анализ приводит, мне кажется, к тому заключению, что образцовая общественная жизнь складывается из хороших общественных учреждений и из нравственно развитых людей. Оба решения вопроса, о которых я говорил в самом начале этого письма, — и верны, и неверны: они верны, дополняя друг друга; они неверны, если их противопоставить одно другому. Хорошие общественные условия воспитывают людей к добру и правде; дурные сбивают их с толку и развращают. Профессор Градовский настаивает на этом, не отвергая роли личной нравственности, и он, разумеется, совершенно прав. Без сомнения, было бы крайне односторонне думать и заботиться исключительно только о хороших учреждениях: без сильного развития нравственной стороны людей, без усвоения хороших нравственных привычек, гражданские идеалы не могут перейти в жизнь и прочно водвориться. В этом смысле я не раз ратовал за личную нравственность и ее необходимость. Но так же односторонен и ваш взгляд, будто нравственное самосовершенствование может заменить собою гражданские идеалы.

Дух Христа, принятый людьми всем сердцем, овладевший всеми их помыслами и жизнью, ставший в них высшей внутренней, нравственной правдой и чрез них живительным элементом общественных порядков и ежедневной будничной жизни, устроенных по данным опыта и выводам точного, положительного знания, — вот к чему, судя по всему ходу истории, должно рано или поздно

прийти человечество. До сих пор исповедующие христианство в духе, а не на словах и в исполнении одних обрядов, или бежали от мира, или истощались в бесплодных усилиях водворить между людьми, перенося ее в закон, науку, искусство. Учение Христа может жить только в сердцах людей. Когда оно овладеет ими до того, что они будут поступать по духу Христа, не уходя в пустыни, а посреди грешного, падшего, измученного мира, — тогда оно станет делом, жизнью. В этом только и может состоять новое слово, которого вы ожидаете²³.

Теперь вы поймете меня вполне, почему ваш взгляд на наш простой народ — как на хранителя христианской правды, на наши образованные классы — как на отщепенцев от этой правды, на Алеко, Бельтовых, Тентетниковых и им подобных²⁴, как на представителей этого отщепенства и страданий, которые оно порождает, — что все это в моих глазах не выдерживает критики и есть лишь красиво, талантливо, поэтически выраженный парадокс. Не могу я признать хранителем христианской правды простой народ, внушающий мне полное участие, сочувствие и сострадание в горькой доле, которую он несет, — потому что, как только человеку из простого народа удастся выцарапаться из нужды и нажить деньги, он тотчас же обращается в кулака, ничуть не лучше «жида», которого вы так не любите. Вглядитесь пристальнее в типы простых русских людей, которые нас так подкупают и действительно прекрасны: ведь это нравственная красота младенческого народа! Первою их добродетелью считается, совершенно по-восточному, устранившись от зла и соблазна, по возможности ни во что не мешаться, не участвовать ни в каких общественных делах. «Человек смиренный», «простяк» — это человек всеми уважаемый за чистоту нравов, за глубокую честность, правдивость и благочестие, но который именно потому всегда держит себя в стороне и только занимается своим личным делом: в общественных делах или в общественную должность он никуда не годится, потому что всегда молчит и всем во всем уступает. Дельцами бывают потому одни люди бойкие, смышленные, оборотливые, почти всегда нравственности сомнительной или прямо нечестные. Таких людей, как Алеко, вы считаете разорвавшими связь с народом из гордости? Помилуйте! Да это те же восточные люди, которые из «великой печали сердца» от непорядков в общественной и частной жизни или из любви к европейскому обществу и домашнему строю, бросали все и удалялись,

кто за границу, кто на житье в деревню. Это те же пустынножители и обитатели скитов, те же «смирные люди» наших сел, только с другими идеалами. Будь европеец на их месте, он стал бы осуществлять, по мере возможности, свои идеалы в большом или малом круге действий, который отвела ему судьба, боролся бы, сколько хватает сил, с обстановкой, и скоро ли, долго ли, а в конце концов перестроил бы ее на свой лад; мы же, восточные люди, бежим от жизни и ее напастей, предпочитая остаться верными нравственному идеалу во всей его полноте и не имея потребности или не умея водворить его, хотя бы отчасти, в окружающей действительности, исподволь, продолжительным, выдержанным, упорным трудом.

Стало быть, скажете вы мне, и вы тоже мечтаете о том, чтоб мы стали европейцами? — Я мечтаю, отвечу я вам, только о том, чтоб мы перестали говорить о нравственной, душевной, христианской правде и начали поступать, действовать, жить по этой правде! Через это мы не обратимся в европейцев, но перестанем быть восточными людьми и будем в самом деле тем, что мы есть по природе, — русскими.

МЕФИСТОФЕЛЬ АНТОКОЛЬСКОГО

Письмо в редакцию

...Говорят, с поэтом спорить нельзя, поэт волён в своих поэтических вымыслах. Вряд ли можно принять эту сентенцию — предание старых времен — безусловно: ведь на поэтов не было бы никакой управы; а из опыта известно, что управа есть на все на свете. Человек только подумал и никому еще не сообщал своей мысли, а управа тут как тут: заглядывает ему в глаза, читает в выражении его лица, что у него происходит на душе, и творит суд.

Исходя из несомненной и всячески дознанной истины, что есть управа на все, я намерен призвать к суду науки и художественной критики гр. А. Голенищева-Кутузова за его стихотворение «К Мефистофелю», напечатанное в июньской книжке вашего журнала¹. Обвинения, которые я на него взвожу, касаются двух пунктов. Поэт, во-первых, неправильно понял создание Антокольского — его бюст «Мефистофель»²; во-вторых, он не понял вообще Мефистофеля, каким он может представиться уму и сознанию современного человека, при теперешнем состоянии знания.

Гр. А. Голенищев-Кутузов увидал у Мефистофеля Антокольского искривленную усмешку на устах, туман лжи, отраву презренья в задумчиво-блуждающих глазах. Ему показалось, будто взор Мефистофеля над ним, поэтом, смеется; будто Мефистофель язвит и хохочет, подмигивает на красоту, на чувство, сжигает людей огнем презренья³. Признаюсь, я в исполненном глубокого значения произведении Антокольского не заметил ничего подобного. В искривленном рте выражается, на мой взгляд, совсем не хохот и язвительность, а глубокое душевное страдание преждевременно состарившегося человека. Мефистофель Антокольского, с его редкими волосами и болезненной худобой, обличает не старого, но дряхлого человека, который много пережил, много испытал и завял еще в цвете лет. Глаза его, в которых сосредоточена вся

сила и вся энергия этого молодого старика, далеко не выражают презрение, и еще менее того задумчиво блуждают; напротив, взгляд его до того силен, пронизателен и сосредоточен, что от него становится жутко, холод пробегает по жилам, когда долго на него смотришь. Поэту хотелось непременно увидеть в Мефистофеле злобные душевные движения, это было ему нужно для основной его мысли, которая выражена в первой строфе и в самом конце стихотворения⁴, и вот он приписывает бюсту выражение, которого он, я думаю, не имеет. Вот мое первое обвинение. Второе находится с ним в теснейшей связи. Поэт видит в творении Антокольского то, чего, по мне, в нем нет, потому что задался известным, готовым представлением о Мефистофеле, а это представление, как мне кажется, далеко ниже того, что выразил Антокольский, — сознательно или бессознательно — это до нас не касается. Гр. А. Голенищев-Кутузов воображает себе Мефистофеля гением злобы и сомнения, духом презрения, ядовитой насмешки, клеветы; Мефистофель, по его понятиям, должен дышать ложью и развратом, развенчивать святыню и нашептывать людям лукавые речи, переданные в следующих стихах:

Добро и зло, ничтожество, величье,
Все, что живет, что отжило давно...
Где суд тому, где мера, где различье?
Не все ль людьми поругано равно!

Было время, когда отрицание добра, возведенное в принцип, составляло предмет глубокого верования и передавалось в творческих созданиях поразительного величия, красоты и мощи⁵. Но то были создания, возникшие в эпоху юности философской мысли и научного знания. Когда они возмужали и созрели, — эти образы и самые идеи, которые их породили, поблекли. Место полной веры в их действительность заступила критика, продолжающаяся непрерывно и неутомимо до сих пор. Теперь речь идет не о том, есть ли добро и зло как два начала, резко и безусловно противоположные друг другу, а исследуется вопрос, откуда взялось их противопоставление друг другу, где та почва, на которой мог возникнуть дуализм, лежащий в основании древних и новых представлений о Мефистофеле и существах одного с ним характера, свойства и порядка. Начиная от Аримана⁶ и до лермон-

товского «Демона» включительно, наука и искусство не переставали трудиться над выяснением начала зла и вносили в него новые понятия, по мере того как расширялся круг знания и под его влиянием изменялись мирозерцания. Но усилия целых поколений не могли разрешить задачи. Принцип зла и теперь остается таким же сфинксом, каким до сих пор был для испытующей критической мысли. Попытка Гете возвести в принцип традиционного средневекового немецкого Мефисто принадлежит к числу неудачных, потому что немецкий философский идеализм, царивший над умами в эпоху Гете, не давал ключа к разрешению загадки.

Антокольский, если не ошибаюсь, первый перенес Мефистофеля из сферы отвлеченной мысли и принципов на психическую почву⁸. В этом, мне кажется, его огромная заслуга, хотя бы, повторяю, он и не задавался этой задачей. Его Мефистофель — тип человека, утратившего душевную жизнь, идеализм чувства, вследствие одностороннего развития исключительно объективного знания. Современный Мефистофель все знает, все понимает, все провидит заранее. Он знает, что то, что происходит в действительном мире, есть неизбежное роковое последствие данных условий и их известной группировки; что малое и великое, важное и ничтожное, жизнь человека и жизнь атома, судьба всего рода человеческого и капельного человеческого общежития одинаково совершаются по вечным законам, которых ничто в мире отменить или приостановить не может. Что же такое, рядом с правильным и беспощадным ходом вещей, личная жизнь отдельного человека? что значат его усилия, его идеалы, его мечты, его запросы на счастье и удовлетворение, на разумное существование, на продолжительность и прочность порядка вещей, при котором ему живется хорошо? Все это — детские иллюзии, жалкий самообман, который исчезает, как марево, при малейшем соприкосновении с положительным знанием, раскрывающим суровую, горькую, черствую правду действительной жизни. Ты, юноша, тратишь здоровье и жизнь, преследуя общественные идеалы, готов отдать все, чтоб видеть их осуществление, — мечта! Ты погибнешь, а мир будет идти своим заведенным порядком. Ты, счастливый муж или отец, отдаешься весь несравненному благополучию, которое создалось для тебя вокруг твоего домашнего очага; не доверяйся этому: завтра, по-

слезавтра тиф, дифтерит, скарлатина могут отнять у тебя разом все, на что ты, бедняга, опирался как на каменную гору, на чем ты построил карточный домик твоего личного счастья. Ты, оптимист и филантроп, перенесший все заботы и всю любовь на служение людям, на водворение вокруг себя правды, на осуществление добра, хотя бы в микроскопическом круге деятельности, который выпал тебе на долю: берегись! каждую минуту беспощадный ход вещей бессмысленно может пройти губкой по всем твоим начинаниям и сразу уничтожить то, над чем ты работал годами, чему отдал всю душу. Единичное, личное, индивидуальное — ничто, прах и дым! Прочное, неизменное, непоколебимое, единственно-истинное — это роковой ход вещей, обусловленный законами действительности, с которыми человек не может бороться и действию которых он подчинен наравне с последней былинкой.

Однако с тех пор что мир стоит, человек никогда не мог помириться с этими истинами. Как бы знание, наука ни твердили ему, что он и вся его деятельность, жизнь, помыслы, стремления, удачи и неудачи — продукт роковых условий, он не может победить в себе веру, что мир должен идти по его желанию, что он имеет власть переделать его как ему хочется, что он волен в своих мыслях и поступках, что он имеет право на удовлетворение и счастье и никогда не перестает к ним стремиться словом и делом; а когда все пути в действительности к ним заказаны — переносит их в верования и мечты. Факиры, шаманы, столпники, экзорцисты⁹, утописты и мистики не уступают в этом передовым мыслителям, неутомимым деятелям, реформаторам и революционерам. Фаталисты и самоубийцы не составляют исключения из общего правила. Первые возводят рок в провидение и тем утешают себя; вторые спасаются насильственной смертью от жизни, когда она не дает им того, чего они от нее требуют.

Мефистофель Антокольского есть тип человека, в котором вера в возможность личного удовлетворения и счастья разрушена. Оттого он преждевременно и состарился. Его искривленный рот выражает длинный ряд глубоких страданий, обратившихся в нормальное состояние. Когда прекратятся самые страдания, Мефистофель сделается червонным валетом, станет Юханцевым, Лансбергом, Кути-де-ла-Помрэ¹⁰ или подобным субъектом публичных обличений души и совести современного чело-

века. Такие субъекты не случайные явления; они — выражение мирозерцания, выработанного веками, последнее слово целого одностороннего направления философской мысли, развившейся до своих крайних последствий. В этом смысле, Мефистофель Антокольского — представитель целой эпохи. Его нельзя ненавидеть, напротив, он вызывает глубокий интерес и участие. Душевные его страдания не выкупаются глубиной его знания и понимания. Горькое чувство, застывшее на его устах, — плод ошибки, которая его терзает, но до которой он еще не додумался. Когда он ее откроет и поймет — мир и покой возвратятся в его измученную душу.

В чем же его ошибка? Вот великий вопрос нашего времени, который каждый решает по-своему. Большинство, не умея с ним совладать, ни вынести нестерпимой душевной скорби, ищет спасения в прошедшем, в предании, клянет ум и знание. Но мирозерцания прошлого дают ответ на вопросы, поставленные в иных условиях науки; предание сложилось в назидание людей другого склада, других умственных запросов и привычек. Современному Мефистофелю — а каждый из нас более или менее Мефистофель — нужен другой ответ, удовлетворяющий нашему пониманию и стоящий в уровень с наукою нашего времени.

Мне кажется, что корень заблуждений современной мысли лежит в смешении законов общих, отвлеченных, составляющих необходимую предпосылку всего существующего, с условиями личной, индивидуальной жизни. Не умея их различать, люди долго возводили последние во всемирные законы, вопреки неотразимым доводам научного знания; наконец, убедившись в невозможности такого мирозерцания, они, во имя науки и опираясь на ее требования, стали, наоборот, отрицать условия личной жизни и непосредственно применять к ней общие, отвлеченные законы бытия. Лишенная вследствие того оснований и необходимых предпосылок своего существования и развития, она поблекла и замерла. Не раз оба эти мирозерцания сменялись в истории, но никогда еще общие законы не прилагались непосредственно к личной жизни с такою неумолимую последовательностью, как в наше время. Причина лежит в том, что никогда еще свойства и особенности отвлеченной мысли не были выяснены с такою полнотою и подробностью. Зато только теперь

и стало возможно подметить ошибку в выводах и понять ее последствия для личной жизни.

Мы говорим: истина и ложь, — не давая себе ясного отчета о том, что под этим разумеем. Обыкновенно нам при этом представляется нечто объективно-существующее вне нас и помимо нас. Но истина и ложь есть только известный способ нашего личного отношения к предмету. Вне людей нет ни лжи, ни истины, и наука напрасно стала бы допытываться, что есть истина сама по себе. Ее, в смысле предмета, нет, как нет и лжи.

Что такое необходимость и случайность, которые мы тоже противопоставляем друг другу? В общем, отвлеченном смысле случайности нет: все совершается с роковой необходимостью; только для личной индивидуальной жизни существует это различие, и в ней оно играет огромную роль. Все, что совершается в пределах нашего предвидения или преднамерения, то мы называем необходимым; а чего мы не могли предусмотреть или что не лежит в нашем намерении, а между тем совершилось, мы считаем случайным.

На противоположении добра и зла построены все наши нравственные понятия, вся наша нравственная деятельность. Но их различие лежит в условиях индивидуальной жизни; с общей, отвлеченной точки зрения, нет ни добра, ни зла; каждое явление, какое бы оно ни было, есть необходимый результат данных условий и, следовательно, не имеет и не может иметь, само по себе, нравственного значения. Поэтому добро как желаемое и достойное одобрения, зло как нежелаемое, достойное порицания или наказания, не существуют с общей отвлеченной точки зрения; а в индивидуальной, личной жизни мы не можем ступить шагу, не наталкиваясь на их различие и противоположность.

Необходимость противопоставляется также свободной воле. Их противоположение тоже относится только к личной, индивидуальной жизни; для общей, отвлеченной мысли, этого различия вовсе не существует. Нескончаемый спор о свободе воли вертится на смешении общего и индивидуального. В отвлеченном смысле, свободной воли, нет и никакая аргументация в мире не может ее доказать; в личной, индивидуальной жизни, напротив, свобода воли в мыслях и действиях есть, наряду с чувством добра и зла, одно из основных условий суще-

ствования. Тот, кто с общей точки зрения отвергает свободу воли, не в состоянии, если б даже захотел, отрицать ее в своей личной деятельности, где она ежеминутно о себе напоминает.

Эта параллель указывает на два, я бы сказал, порядка условий и законов, управляющих действительностью. Одни, общие, отвлеченные, открываемые наукою, неизменно определяют жизнь, хотя бы и не достигали до сознания. Так, мы можем и не подозревать законов, по которым совершаются в нашем теле многочисленные естественные процессы, можем даже вовсе не чувствовать, как они совершаются; а они между тем идут в нас своим порядком и производят свое действие, помимо нашего сознания и воли. Законы этого рода составляют предпосылку всей действительной жизни и получают вид общих отвлеченных формул только в нашем сознании. В этом виде, они не суть нечто самостоятельное, вне нас существующее, а только особый способ нашего отношения к действительному миру, которого мы составляем частицу. Общие отвлеченные положения живут и умирают вместе с человеком. Непреложными, вечными кажутся они только потому, что до нас были и после нас будут люди, в которых отвлеченные истины живут, в которых они возбуждаются действительным миром. Но если б род человеческий когда-нибудь исчез с лица земли, то с ним и они перестали бы существовать, потому что существуют только в нем и для него. В действительности ни один закон не выражается в виде отвлеченных формул, каким он представляется нашему уму; кроме того, в ней никогда не действует один какой-нибудь закон, а все вместе, одновременно, оттого действительная жизнь с каждым из них в отдельности беспрестанно расходится. Чтобы подметить и исследовать общий закон, наука вынуждена сперва изолировать явление, в котором он выражается, от всех других, искусственно воспроизвести его, искусственно устранить от других явлений, в которых выражаются другие законы, и уже потом над таким отвлеченным явлением она производит свои опыты и наблюдения. Этим и объясняется, почему общий закон и действительная жизнь никогда не совпадают, почему последняя никогда не совершается по требованиям общих формул, выработанных наукою, и не будет с ними совпадать, если бы даже формулы всех явлений сделались когда-нибудь известны.

Действительно существуют только единицы, индивидуальные существа, начиная с атомов и оканчивая такими сложными явлениями, каков человек; только единицы действуют, и их различные сочетания и группы составляют действительный мир, со всем его бесконечным разнообразием. Общие, отвлеченные законы составляют лишь их необходимые предпосылки, необходимые условия, в пределах которых совершается жизнь. Но, сверх того, жизнь единиц обусловлена еще и таким, что общими законами не определяется, из них, так сказать, выпадает, хотя им и не противоречит. Таковы особенные цели, задачи и стремления каждой из единиц или индивидуальностей — и различные комбинации данных, посреди которых им приходится жить и действовать. Каждая из них стремится сохранить свою единичную, особенную жизнь посреди других, устроить свое индивидуальное существование как можно удобнее и лучше, соответственно с своими особыми свойствами, наклонностями и привычками. Между этими индивидуальными задачами, целями и стремлениями и общими законами бытия только и есть то общего, что жизнь единиц, как сказано, совершается в пределах и условиях, поставленных общими законами, и не может их переступить; во всем остальном те и другие совершенно между собою различны. Общий закон не может быть задачей и целью индивидуальной жизни уже потому, что составляет ее предпосылку и действует помимо сознания и воли, вступая в разнообразнейшие сочетания с особенными условиями индивидуального существования. Только мыслью, при помощи положительного знания, мы выделяем общие законы из действительной жизни и формулируем их в отвлеченные схемы. Животрепещущий интерес действительности составляют сочетания явлений, безразличные в общем смысле. Оттого, только в науке мы имеем дело с общим, роковым и неизменным; в действительной же жизни, мы, наоборот, заняты лишь особенным, условным, подвижным и изменчивым. С общим законом единица не может бороться; напротив, сочетания явлений, с которыми мы имеем дело в жизни, в большинстве случаев существенно зависят от деятельности, знания, умения и ловкости отдельных единиц или индивидуальностей. Регулятором этого подвижного мира, беспрестанно изменяющего свой облик, являются, по отношению к человеку, не общие законы, а идеализирован-

ные или обобщенные чувства, кристаллизирующиеся под влиянием упражнения и опыта в привычки и нравственный характер. Без так называемых нравственных начал немыслима жизнь отдельного лица в обществе, ни правильно устроенная общественность, но эти начала не суть неизменные законы бытия, ибо бывают различны в разные времена, у разных народов; они только обобщенные чувства, возведенные упражнением и привычкою в характер. Для личности они то же, что общие законы для всего существующего: с ними она сообразуется в своих действиях, при помощи их ориентируется в волнующемся житейском море, на них опирается в борьбе с окружающим и без них не может жить; между тем, они не имеют, подобно общим законам, своих неизменных формул, вследствие своего личного, индивидуального характера и подвижности, изменчивости явлений, к которым относятся. Мы видели, что общие законы всего бытия совершаются помимо сознания и воли, очень часто и вопреки им; а идеализированные чувства, нравственные принципы становятся обязательными для людей, только пройдя чрез их сознание и волю; они, по внешнему виду, уподобляются общим законам, лишь обратившись чрез частое и долгое применение в бессознательную привычку и нравы. Не вникая в это существенное различие общих законов бытия и особенных условий индивидуальной жизни, мы устраиваем последнюю по схемам отвлеченных законов и тем ее калечим и уродуем. В этом-то, как мне кажется, и скрывается та фатальная ошибка, на которую я указывал выше. Она повторяется всюду и во всем, и есть характеристический признак нашего времени. Упрекают врачей в том, что они заботливо относятся только к тем болезням, которые представляют интерес для науки; но в этом виноваты не одни врачи, а все — и политики, и юристы, и администраторы, и экономисты, и педагоги, и психологи. Мы все только и думаем, что об общем, и пренебрегаем индивидуальным. Богатые знанием, мы бедны чутьем и тактом действительности; преклоняясь перед обществом, мы едва обращаем внимание на людей и относимся к ним свысока или равнодушно. В детях и юношах мы развиваем только общее — ум, знания, таланты; об особенном, личном — именно, их характере, мы мало думаем, да и то только с точки зрения внешнего приличия и дрессировки для общества.

Личности, индивидуумы в современных представлениях — не более как единицы в составе суммы, как цифры в бюджете. Личность рассматривается как нечто тоже только в отвлеченном смысле, а не как живая единица, с ее особенностями, характерными чертами и непосредственностью. Она существует, вычеркнуть из действительности ее нельзя: но она, в глазах всех и в собственном сознании, обезличена. В нравственном смысле она и не может существовать, когда только общие отвлеченные законы суть истины, а все остальное, на чем личная жизнь вертится, именно, чувство добра и зла, свобода воли, необходимость и случайность, считаются за миражи умственного зрения. При таком взгляде не все ли равно: тот или другой человек живет и действует? Ведь в конце концов во всяком случае будет то, чему быть следует; стало быть, безумец тот, кто посвящает жизнь свою и усилия преследованию какой-либо идеальной цели. Если эта цель соответствует ходу вещей, она будет достигнута и без тяжких жертв и лишений; а если нет, то все труды напрасны. Самые усилия, направление деятельности, выбор целей и средств для достижения — не жалкое ли самообольщение, когда каждый наш шаг, каждое движение, каждая мысль есть необходимый результат известных условий, которые создают волю, рожают намерения, цели, стремления? Хотим мы или не хотим, мы все же будем необходимо мыслить и делать то, что мыслим и делаем, побуждаемые условиями, которые действуют помимо нас. Стремиться к добру, воздерживаться от зла — бесполезно при убеждении, что мы шагу от себя ступить не можем, и все, что мы делаем, есть действие, результат данных условий, помимо нашей воли. Что такое добро и зло? Доброе сегодня будет злом завтра, и наоборот. Удалось достигнуть хорошего результата, — мы смотрим сквозь пальцы на то, какими средствами он достигнут. Через десять, пятьдесят, сто лет, думаем мы, не мы, так другие будут спокойно ездить и возить товары по железным дорогам, построенным концессионерами, которые бессовестнейшим образом набили себе карманы на счет государства, акционеров и рабочих¹¹. Сокровища науки и искусства, кем и как бы ни были добыты, принесут несомненную пользу будущим поколениям и культуре страны. Так злые дела и преступления, подобно хорошим и добродетельным, покроются со временем достигнутыми чрез

них хорошими или дурными результатами. Такой склад мыслей создает современного Мефистофеля, он живет исключительно общими, отвлеченными интересами, а не личною жизнью, одерживает победы везде, где нужно знание, искусство, умение справляться с препятствиями, и бесхарактерен, ничтожен, равнодушен и безучастен во всем, что касается интересов личной душевной жизни, потому что они для него не существуют. Он способен пренебречь и материальными благами, и положением, и комфортом, и наслаждением, и влиянием, и властью, словом — всем на свете, но только во имя общего, отвлеченного, а не во имя требований индивидуальной душевной жизни, которые в нем вовсе не развиты, потому что он их считает ребяческими иллюзиями. В общем ходе вещей, думает он, кто-нибудь должен же страдать, кого-нибудь должно же раздавить колесо жизни. По естественному закону, под это колесо подпадают слабые, малознающие, малоразвитые, малоопытные и неумелые. Их, пожалуй, и жаль, но они обречены на гибель, и с этим надо помириться: не становиться же на их место другим из-за фантазии! Эти другие пригодятся на что-нибудь получше роли жертв в борьбе жизни. И добро бы еще, если б такими жертвами что-нибудь выигрывалось и выкупалось. А то — ничего! Нравственное спокойствие, сознание выполненного долга, вера в торжество добра и правды на земле — все это иллюзия тех, которым не достало знания, силы, ловкости или умения стать твердой ногой в действительной жизни и отстоять себя посреди житейской борьбы.

Современный мефистофелизм приписывают упадку нравов, не умея объяснить, как и отчего он произошел. Но упадок нравов есть результат ошибочного мирозерцания, которое развилось последовательно и представляет собою необходимую ступень в общем ходе вещей. Ее пережили в свое время и греки в философии, и римляне в праве, но она никогда еще не представлялась в такой полноте и законченности, как у новых европейских народов¹². Мы испытываем теперь на себе все последствия исключительного, безраздельного господства отвлеченной мысли над живою личностью. Умаление ее, оскудение душевной жизни заставило глубже всмотреться в природу и свойства мышления и в его роль в общей экономии человеческого существования. Это дало новое направление

философской критике, которая предвещает нарождение нового мирозерцания, равно обнимающего все стороны действительной жизни. Вера и надежда, чувство добра и зла, уверенность, что есть свободная воля и в смысле самопроизвольности, и в смысле свободы выбора, наконец, любовь — вот необходимые предпосылки нашего личного существования. Для индивидуальной жизни перечисленные выше условия суть закон, от которого нельзя безнаказанно отступать, не разрушая ее в самом основании. Горе тому лицу и тому обществу, которое, во имя общих, отвлеченных истин, заглушит в себе чувство добра и зла и их различие, не выработает личной инициативы и самобладания. Несомненные истины, в непосредственном применении к индивидуальной жизни, могут обратиться в софизмы, тем более вредные, что они опираются на общие законы действительности. Так, многие у нас уверены, что для достижения хорошей цели хороши все средства, что для общего блага нельзя останавливаться перед жизнью, честью, счастьем отдельных лиц, что если зло неизбежно, то позволительно им воспользоваться для себя и т. п. Во всех этих рассуждениях, общий закон переносится непосредственно в жизнь и деятельность отдельных личностей, чем они выводятся из условий личного существования, этой основы нравственного чувства, нравственного характера. Вследствие общих законов, зло и добро действительно переплетаются в жизни, из зла выходит добро, из добра зло, хорошие люди гибнут, недостойные торжествуют, правде и неправде приносятся человеческие жертвы, — но индивидуальная жизнь управляется не одними этими законами. Кроме них, для нее существуют еще и другие условия, от которых ближайшим образом зависит ее возможная самостоятельность и полнота.

Современный Мефистофель есть жертва печального недоразумения. Он — не деятельное начало зла, а, напротив, разрушенная нравственная личность, потерявшая точку опоры, а вследствие того, всякую инициативу и энергию. Он — воплощенное знание и понимание общих, отвлеченных условий бытия, но не способен ни к какой творческой деятельности, доступной и открытой только для личностей, соединяющих с знанием и пониманием полноту индивидуальной нравственной жизни. В наше время он уже не силен и не страшен, потому что дни его сочтены. Наука породила, наука же и сведет его в могилу.

Антокольский увековечил его образ незадолго перед его смертью¹¹.

Быть может, многие из моих читателей скажут: «Что вы фантазируете! Мефистофель Антокольского совсем не таков, каким вы его описываете. Все, что вы говорите о нем, создано вашим воображением!»

О том, верно или нет впечатление, которое на меня произвел бюст,— я не буду спорить. Несомненно то, что он вызвал во мне именно те мысли, которые невольно вылились на бумагу. Художественный вопрос я совершенно отклоняю, предоставляя рассудить его знатокам дела...

с. Иваново Түльской губ.

Белевского уезда.

10-го июня, 1880 г.

ЗЛОБЫ ДНЯ

I

Русское мыслящее общество и русская периодическая печать представляют в настоящее время удивительное явление, над которым нельзя не задуматься. После радужного настроения, светлых надежд и кипучей деятельности, наполнивших собою эпоху реформ, наступили годы полного и горького разочарования, и было от чего: светлые надежды не сбылись, победное шествие реформ остановилось, отчасти попятилось назад. Радужное настроение превратилось в мрачное, ироническое, дошедшее в некоторых до отчаяния или крайнего озлобления. Всем известно и памятно, к чему повело это новое настроение и сколько бесплодных жертв ему принесено. Надо бы ожидать, что умственные и нравственные силы, встретившие непреодолимые препятствия на своем пути, ударятся в другую сторону и поищут себе нового выхода и деятельности. Одну минуту казалось, что восточная война сосредоточит их на себе¹; но ее результаты показали до очевидности, что здесь им не было суждено проявить себя. Куда они затем исчезли и скрылись — никто не знает; вероятно, работают где-нибудь в тиши и в глубине, куда не в состоянии заглянуть никакой, самый прозорливый глаз: на всей поверхности, доступной наблюдению, их нигде не видно. Какая-то полная апатия, полное равнодушие и безучастие к высшим задачам царят всюду. Каждый закопался в свои частные, личные, большею частью материальные интересы и дела, не думая ни о чем другом. Горсть людей, неспособных расстаться с идеалами, такая умственная спячка повергает в глубокое уныние и вселяет в них самые безнадежные мысли относительно нашего ближайшего и отдаленного будущего.

Параллельное тому явление замечается и в печати. Еще в царствование императора Николая, при самых невозможных цензурных условиях, у нас успели сложиться литературные направления, которые мало-помалу получили отчасти общественный характер и значение². Под вы-

кинутыми ими знаменами собралось все мыслящее старое и молодого поколений. Периодическая печать оживилась, правильное сказать — начала жить, служа органом и выражением борьбы, происходившей на всех пунктах в среде думающих и просвещенных людей. Выработавшиеся за это время воззрения самых различных направлений легли в основание реформ минувшего царствования. Даже и потом, когда преобразовательная деятельность правительства начала приходить к концу, поднятый строй печати долго продолжал держаться на прежнем диапазоне. Борьба различных направлений, обозначавших различные идеалы и стремления, при несколько улучшившихся цензурных условиях, велась с большим ожесточением и глубоко интересовала публику, которая примыкала, смотря по сочувствиям, к тому или другому органу печати и разделялась тоже на враждовавшие между собою кружки. Теперь и в этом отношении произошла знаменательная перемена.

Все направления печати, вызывавшие еще недавно такое живое участие, пользовавшиеся таким большим доверием, как будто выцвели и полиняли. Публика охладела к печатному слову, перестала им интересоваться, изверилась в него. Теперь нет больше ни одного органа периодической печати, которого мнения и взгляды группировали бы около себя большинство читающих. Да и в самых органах, наиболее распространенных, идеалы и программы общего характера стушевались и исчезли.

Резко очерченные мнения и взгляды, делившие, бывало, печать на лагеря, встречаются все реже и реже. Они смешались и обессилели, не возбуждая ни интереса, ни даже особенного внимания читателей, которые становятся изо дня в день равнодушнее к печатным прениям и пререканиям газет и журналов.

Все это совершилось в течение нескольких последних лет. Видишь и глазам своим не веришь! Куда же утекла умственная и нравственная жизнь нашего образованного общества? Разве мы уже совершили все, что могли совершить, и опочили перед сению смертной? Или, как думают наши добрые друзья, в нас больше пороку не хватает, и мы осуждены на веки вечные оставаться полуазиатами, какими-то ублюдками Востока и Европы, недоносками, которым историческою судьбой предопределено прозябать и смиренно идти по пятам, в проложенных колеях, на буксире у других народов — северных, восточных, юж-

ных и западных? Но мы совсем не похожи на народ, собирающийся умирать. Мы развиваемся и, по сознанию собственному и других, сделали за последние сорок — пятьдесят лет замечательные успехи по всем отраслям и во всех отношениях. Что же с нами приключилось?

II

Многие приписывают наше теперешнее незавидное умственное и нравственное состояние внешней обстановке нашей жизни — чрезмерному развитию административной опеки и неблагоприятным цензурным условиям. В этих сетованиях есть некоторая доля правды и большая, значительнейшая доля недоразумения.

В Познани и Эльзасе можно жаловаться на административный гнет, на несоответствие правительственной системы народным потребностям. У нас администрация ничем не ограждена от просасывания в нее господствующих в народе и обществе стремлений и направлений; она, по личному своему составу, волей-неволей отражает на себе движения народной и общественной мысли, степень образования и культуры, и если тот или другой образ ее действий не всегда отвечает желаниям и воззрениям большей или меньшей части русского народа и общества, то он отвечает другим, которых мы не разделяем. Всякая публичная власть и функции есть неизбежно, по своему существу, по своей природе, равнодействующая всех наличных в народе и обществе сил и стремлений. В политическом и социальном мире — это такая же непреложная истина, как в мире физическом. Невыясненность руководящих начал и стремлений в обществе необходимо дает себя чувствовать и в административной деятельности точно так же, как сильно и резко определившееся направление народной и общественной мысли непременно охватывает, рано или поздно, и административные сферы. История всех времен и народов доказывает это неопровержимым образом. То же вполне подтверждает и русская история по мере того, как выясняются скрытые пружины явлений и событий русской народной и государственной жизни. То же самое представляют и цензурные условия: они изменяются неизбежно с успехами мысли и знания в обществе и народе. Можно жалеть о том, что те или другие факты, события, предметы не могут быть ни сообщаемы, ни обсуждаемы в печати,

или могут, но с разными умолчаниями; это, конечно, замедляет выяснение многих вопросов и сторон нашей политической, общественной и народной жизни. Но пока в самом обществе не установится правильного и твердого взгляда на отношения мысли, знания, печати и слова к фактам и практической деятельности людей, пока границы этих двух сторон человеческой жизни не будут точным образом определены и сознаны в обществе и народе, до тех пор нельзя ожидать существенного улучшения и в этой отрасли управления. Она, как и все прочие, подчиняется общему закону, которому следует и вся административная система.

Прибавим к этому, что, замедляя выяснение вопросов и явлений, цензура печати нигде, никогда не в состоянии была помешать образованию и росту направлений и течений общественной и народной мысли, которые возникают и усиливаются, несмотря ни на какие препятствия, и получают влияние вопреки цензурным препонам. История наполнена такими примерами. Стоит только вспомнить события перед первою французскою революцией¹, сетования Канта² и у нас образование так называемых славянофилов и западников в сороковых годах, при самых тяжелых цензурных условиях.

III

Немало у нас и таких людей, которые тайно или явно радуются, что время увлечений разными идеями и задачами, глубоко волновавшими общество, как будто миновало. И слава Богу, думают они, пора отрезвиться и приняться за настоящее, практическое дело; а то эти разные вопросы, задачи и нескончаемые споры такого туману напустили и так с панталыку всех сбили, что ни на что не похоже³. Под носом дело стоит, беда, разорение, а они тут с своими вопросами и идеями! И благо бы еще они к чему-нибудь полезному вели, а то только головы свинчивают, делают людей никуда не пригодными, молодежь с прямого пути сбивают и начиняют всяким вздором. Без всего этого сумбура, которым напрудили наши мозги, будет у нас потише и поспокойнее, да и правительству легче будет, без помехи, разобраться в наших нуждах, которых полный короб.

Но напрасны эти надежды — от идей и вопросов нельзя отчураться, как от своей тени. Они изменяются вместе

с нами, на время как будто утихают и как будто замирают, чтобы потом возникнуть в новом виде и с новой силой. Идеи, вопросы никогда не переведутся, пока существует человеческий род, и если они порой крепко нам надоедают и набивают оскомину, то это верный признак, что они не так поставлены, не отвечают нарождающимся новым потребностям и изменившимся обстоятельствам. Идеи и вопросы суть органические отправления нашей психической природы, как выработка крови мозга, костей — отправления нашего физического организма, и исчезнут только с прекращением нашего существования. Отвращение к идеям и вопросам значит, в сущности, не иное что, как только недовольство теми, которые были до сих пор в ходу, и желание заменить их другими, более подходящими. Так всегда бывает, когда мысль запутается в отвлеченностях, задачи перестают отвечать действительным потребностям. В такие минуты живые люди и цельные умы хотели бы похерить сделанное и придуманное, как практически совершенно непригодное и бесполезное. Но многие из них не замечают, что за этим отрицанием неизбежно идет по пятам новое положение, созидание новых идей и новых вопросов. На одном отрицании нет никакой возможности остановиться ни в области знания, ни в практической деятельности.

Одним из самых ярких и разительных доказательств в пользу сказанного служит в области науки и знания возникнувшее на наших глазах учение позитивистов, последователей знаменитого Огюста Конта. Позитивизм отнесся совершенно отрицательно к философии и философским отвлеченностям и поставил себе задачу освобожденную от всяких отвлеченных спекуляций ума чистую положительную науку, объективное знание. Но уже Льюис⁶ в известном своем сочинении «Вопросы жизни и духа» должен был сделать важные уступки чисто философскому логическому умозрению. Он должен был признать, что знания, науки помимо мысли, ума не существуют, что ум, мысль перерабатывают всякий факт, всякое явление сообразно с присущими им законами, и что вся задача состоит только в строгом соответствии логических отвлечений тем начальным впечатлениям, из которых они выведены. Результатом такой постановки вопроса, как можно заключать уже теперь по некоторым научным попыткам, будет в более близком или отдаленном будущем внесение индуктивного метода в исследования психических

явлений, точное разграничение психологии от физиологии, точный научный анализ психических фактов и, на основании такого анализа, устранение из науки множества представлений и понятий, сложившихся вследствие ошибочного, неправильного или недостаточно точного сочетания впечатлений и ощущений, из которых такие представления и понятия образовались. Таким образом, резкое отрицание и в этом случае только расчистило почву научных исследований и открыло для них новые перспективы. Вопросы и идеи не исчезли, а только получили новую постановку, более соответствующую народившимся новым потребностям знания.

IV

Внимательный разбор воззрений, поочередно царивших над умами в русском мыслящем обществе и которые теперь сходят или уже сошли со сцены и потеряли прежнее обаяние, убеждает, что и у нас такое явление не служит признаком помертвения жизненных сил, а есть результат коренных недостатков, присущих самим воззрениям,—недостатков, которые более или менее ясно и живо чувствуются большинством русской публики. Уныние, апатия, разочарование, которые ею овладели в наше время, не должны вводить нас в заблуждение: они служат только признаком неудовлетворения вследствие роста, хотя бы бессознательного, новых потребностей, ищущих и не находящих себе соответствующего выражения, и предсказывают в будущем появление новых воззрений и направлений русской мысли. Перевести в сознание те неопределенные и неясные причины, которые охладили русское общество к недавно еще руководившим у нас взглядам, и попытаться заглянуть несколько вперед, в возможные и вероятные у нас направления в ближайшем будущем,—вот задача настоящей статьи. Исчерпать ее мы не беремся. Кто же осмелится подумать, что он способен исчерпать такую тему? Мы будем считать себя вполне довольными и счастливыми, если нам удастся хотя бы некоторыми из своих соображений обратить внимание мыслящих людей на предметы, которых мы намерены коснуться, вызвать к ним сочувствие и интерес, которого они вполне заслуживают, и тем по мере сил содействовать введению русской жизни и мысли в плодотворную колею оживленного труда и развития.

Но прежде чем приступить к делу, считаем необходимым оговориться.

Те из читателей, которые ищут и требуют ответа на многочисленные практические вопросы, занимающие в настоящее время русское общество, не найдут в нашей статье ничего непосредственно для себя пригодного и могут ее вовсе не читать. Мы не беремся здесь взвесить и оценить различные возникающие в административных сферах, в периодической печати, книгах и публике предположения о преобразованиях нашей политической, общественной и частной жизни. Мы намерены рассмотреть здесь лишь общие течения и направления русской мысли, служащие руководством при таком или другом решении наших современных практических вопросов, дающие этим решениям тот или другой тон, ту или другую окраску. Смотри по лагерю, у нас различно судят о всех явлениях и потребностях русской жизни, не только в настоящем, но и в прошедшем, а лагеря определяются лишь общими руководящими воззрениями, которые красною ниткой проходят через все соображения и служат исходными пунктами разногласия и прений. Какого бы практического вопроса ни коснулись, важного или второстепенного, по каждому возникает тотчас же глубокое разномыслие, обусловленное различными точками зрения, которые коренятся в тех или других воззрениях на политическую, общественную и индивидуальную жизнь человека вообще и у нас в особенности. Вот эти-то воззрения, составляющие основную предпосылку всех наших суждений, и необходимо, рано или поздно, подвергнуть серьезной критике, чтобы уяснить себе путь дальнейшей нашей деятельности и развития.

Другая необходимая оговорка касается самого характера различных направлений русской мысли. В пылу полемики и борьбы, раздосадованные и раздраженные аргументацией противники, мы легко, к несчастью, слишком часто переходим из обсуждения в личную брань, заподозреваем добросовестность чужих мнений, тащим к нравственному суду целые направления и предаем их публичной анафеме. Такое перенесение полемики с почвы аргументации на не имещую ничего с ней общего арену нравственной оценки спутывает все понятия и оставляет читателя в самом прискорбном недоумении. Никакой взгляд сам по себе не нравствен и не безнравствен: он только более или менее согласен с объективною правдой и исти-

ной, которую и надо выяснить. Самый безнравственный человек, из негодных побуждений, может быть в своих суждениях прав, и самый нравственный, при наилучших намерениях, высказывает мысли, не выдерживающие критики. Притом, в действительной жизни нельзя указать ни одного мнения, которое бы поддерживалось и проводилось одними честными людьми или одними отъявленными негодьями: в каждом лагере рядом с вполне искренними, самоотверженными и честными людьми, действующими из безукоризненных побуждений, ратуют личности далеко не нравственные, руководимые своекорыстными видами и задними мыслями, не имеющими ничего общего с истиной и правдой, которые служат им только благовидным предлогом и маской. Это г. лезелы в пшенице, о которых говорится в притче¹. Какое дело нам, при обсуждении мнений и взглядов, из каких мотивов ратуют те или другие люди? Нам до них нет никакой надобности, да и чужая душа — потемки. Если в том, что они высказывают, дело пополам со вздором и неправдой, — выберем то, что хорошо и справедливо, и воспользуемся хотя крохами правды в том, что они говорят. Нет такого мнения и взгляда, которые бы не были выводом из наблюдений и опыта: весь вопрос в том, в какой мере они полны и точны, а вовсе не в нравственных качествах наблюдателя. Рассматривая различные русские направления и воззрения, мы совершенно устраним личные и нравственные вопросы и предубеждения, сочувствия и несочувствия, и постараемся, со всем беспристрастием, к какому только способны, определить и выразить сильные их стороны, которые и придали им значение, и ахиллесову их пяту, вследствие чего они потеряли свое влияние и руководящую роль.

V

Первые направления, выступившие на сцену и овладевшие умами, были так называемые славянофильское и западническое. Зачатки их можно проследить далеко назад: они коренились в ходе всего нашего развития не только со времен Петра, но гораздо раньше, чуть ли не с XV века². За этот длинный период времени не раз высказывались мысли и взгляды, совсем сходные с воззрениями славянофилов и западников; но те и другие в сороковых годах нынешнего столетия впервые осмыслили,

привели в сознание и систему то и другое направление, представили попытку придумать им научное основание, возвести факты и разрозненные мысли в руководящие начала. Вот почему с них и начинается сознательное, осмысленное движение русской мысли.

Обстоятельства вызвали появление этих двух направлений. Они же, как везде и всегда, определили их содержание, форму и характер.

В царствование императора Николая произошел перелом в ходе русской истории: петровский период ее, ученический и подражательный, видимо, приходил к концу. Рука об руку с небывалым политическим могуществом и влиянием в Европе шло пробуждение национально-го — если не самосознания, то самочувствия, которое с тех пор все растет и усиливается непрерывно. По мере того, как оно развивалось, сложившиеся формы быта и учреждений, представляющие пеструю и разнохарактерную амальгаму допетровских и послепетровских условий жизни, смешение нижегородского с французским естественно бросались в глаза и вызывали на размышление. То, что служило одним государственным целям, было создано ввиду одних лишь государственных потребностей, внутренних и внешних, стало казаться недостаточным и неудовлетворительным с тех пор, что пробудившаяся жизнь общества и народа внесла и поставила на очередь новые задачи, требовавшие разрешения. Искание чего-то нового, чего-то другого, соответствующего народившемуся народному чувству, стало выражаться и в искусстве, и в науке, и в правительственных мерах, и во внешних сношениях. На этой почве выросли и славянофильское, и западническое направления. Они выразили в связной, систематической доктрине то, что происходило в самой жизни, совершалось в головах мыслящих людей, и потому охватили всех, кто только думал и действовал в то время.

Славянофилы обратили особенное внимание на несоответствие русской жизни и народным потребностям привитых к нам европейских форм. С этой стороны их критика была весьма плодотворна и аргументация их составляет ценный вклад, который пригодится и при дальнейшем развитии русской мысли и русского самосознания. Они ярко оттенили мертвящую, притупляющую сторону европейских форм, которые, не будучи у нас осмыслены, а только положены извне, задерживали развитие

народных сил, народного ума и освещали народные потребности ошибочным и обманчивым светом.

Но на этой отрицательной деятельности и критике славянофильство не могло остановиться. Если позаимствованные европейские формы к нам не привились, не вошли в нашу плоть и кровь, и стали только помехою нашему народному развитию, то какая этому причина? Очевидно, они противоречили народному духу, народным началам. В чем же заключается народный наш дух, присущие ему начала, и какие формы им всего более свойственны и подходящи? К этим вопросам славянофилы были приведены неизбежно, неотразимою силой логики. Раз что мы убедились, что то или другое непригодно, мы должны сами себе ответить: что же пригодно? Отрицание само собою ведет к положению. Оно представлялось само собою, лежало у них, так сказать, под руками. Европейские формы, непригодные нам, косвенно, через вторые руки, коснулись народных масс и испортили только высшие, образованные слои. Простой народ свято сохранил старинные предания и обычаи. Он воспитан порядками и строем жизни, созданным до XVIII в., который был нарушен и подорван реформами Петра. Там, за его преобразованиями, надо искать народных начал, воплотившихся в свойственных русскому народу формах. Согласно с таким ответом, славянофилы старались выяснить и определить, в противоположность европейским, старорусские начала в политическом и общественном быту, в церковных порядках и учреждениях, в частной жизни, обычаях и нравах. Исследования, веденные в этом направлении, как всякая научная критика, принесли существенную пользу, которая никогда не забудется, но поставленной задачи они не разрешили. Славянофилы обратились к старине, чтоб объяснить неблагоприятные для развития условия современной им русской жизни, и думали в ней найти твердую, незыблемую почву, на которой можно с уверенностью построить светлые идеалы русского народного духа, который носился перед их мыслью. Но эта почва, при внимательном рассмотрении, оказалась хрупкою и очень непрочною. Русский старинный быт, как и современный, тоже развивался, тоже менял свои формы, точно так же создавался под влиянием не одного русского духа, но и под сильным влиянием иноземных, между прочим, и европейских элементов. Выяснилось, что и реформы Петра не свалились на русский народ как

снег на голову, а подготавливались издавна, всем ходом русской жизни и истории, и что если даже они и принесли с собою много дурного, то нельзя отрицать, что они принесли немало и хорошего. Исследования открыли, наконец, и в древнем нашем быту много черных пятен, делавших уподобление его светлому идеалу более чем сомнительным. В этом случае, как и всегда, идеал остался идеалом, действительность, исторический факт — черствою правдой.

Побежденные на исторической почве, славянофилы перенесли свой лагерь в область религии и церкви, отыскивая здесь корни и основания своих задушевных стремлений и пытаясь найти для них соответствующую форму. Эта сторона их деятельности не была еще, как мы думаем, оценена по достоинству и нашла живой отголосок только в лучшей части нашего духовенства. Верное чутье подсказало им, чего недостает в русской действительности; но и здесь, как и в исследовании форм частной, общественной и политической жизни, они остановились на историческом истолковании явлений, не подвергая их научной критике. Этому следует приписать, почему замечательные труды их по этой части, выяснившие взаимные отношения различных христианских церквей и место, занимаемое ими и в церковной истории, и в догматике¹⁰, мало обратили на себя внимание светского общества и остались доступными только специалистам и небольшому кружку знатоков и любителей.

VI

Тем же путем, как славянофилы, пошли и западники, но пришли к совершенно иным выводам. Точкой отправления, почвой, на которой они выросли, была тоже неудовлетворенность современным состоянием, потребность в других, лучших формах жизни, более благоприятных для развития. Сравнение с западными народами, их учреждениями, нравами, наукой, образованностью, промышленностью было крайне для нас невыгодно, и превосходство их над нами во всех отношениях бросалось в глаза. Однако мы, с Петра, пошли по стопам Европы, все более и более пропитывались ее влияниями. Отчего же в течение полутора столетий мы сделали так мало успехов и остались почти неподвижными, в каком-то мертвенном, нездоровом застое? Правда, мы позаимствовали

у Европы формы жизни, но это было давно. С тех пор Европа все шла вперед и вперед, развивалась, изменяла и постоянно совершенствовала свои учреждения, соответственно с обстоятельствами и новыми условиями существования, созданными успехами наук, образования и гражданской жизни; а мы заостенели на тех слабых зачатках, которые занесены к нам из Европы волею гениального преобразователя, не сумели ничего из них сделать путного и стоим на одном месте. Все, что там жило и растет, принося благодатные плоды, у нас заплесневело, выродилось в какую-то карикатуру европеизма и лежит камнем на народном гении и народном развитии. Какая тому причина? А та, отвечали западники, что нашу жизнь, нашу деятельность тормозят запоздалые остатки допетровского византийства и татарщины; преобразование и водворенные им европейские формы еще не перешли достаточно в нашу плоть и кровь. Надо довершить преобразование, выкурить из нас последние остатки старого, пересадить к нам все то хорошее и полезное, до чего додумалась и доработалась Европа, и приобщиться вполне к ее жизни и развитию. Те же лучезарные идеалы, которыми жили славянофилы, вдохновляли и западников; различались только формы, в которые облекались эти идеалы. Для славянофилов наиболее целесообразными для их осуществления представлялись формы древней русской жизни; для западников — те, которые выработаны современною Европой и дали такие блестящие результаты. Подобно славянофилам, и западники повели, в подтверждение своих воззрений, серьезные исследования нашего древнего быта и истории и тем существенно содействовали разъяснению условий старинной русской жизни и успехам русского народного самосознания. Но по мере того, как шла эта работа, не могли не возникнуть важные сомнения относительно правильности основной точки зрения западников. Формы жизни у всякого живого и развивающегося народа, действуя на его быт, определяя его деятельность, суть, в то же время, продукты всех условий и обстоятельств его существования. Тут есть необходимое и неизбежное взаимодействие. Этот общий закон остается неизменным и в том случае, когда один народ перенимает формы жизни у другого: они определяют его жизнь лишь настолько, насколько им ассимилированы и усвоены, а усвоено и ассимилировано может быть только то, что отвечает существу и потребностям народа. Это одина-

ково применяется и к нам, и к Европе. Как продукты всей совокупности условий европейской жизни, они не могут иметь безусловного значения абсолютно совершенных форм, одаренных чудодейственной силой создать благополучие у всех народов; будучи местными и условными, они при перенесении к другим народам усваиваются ими лишь настолько, насколько отвечают их состоянию в данное время и при данных обстоятельствах. Та же мысль естественно возникает и при исследовании форм древнего русского быта. Многие из них несомненно византийского и татарского происхождения; но и они видоизменились у нас, что доказывает, что, попав на другую почву, они не могли быть приняты целиком и усвоены только отчасти, тою лишь стороною, которая отвечала тогдашним нашим обстоятельствам и условиям быта. Значит, если европейские формы привились у нас отчасти и плохо, виною тому не одни допетровские наши позаимствования у других народов, а сам наш народный организм, который иное принимает, а другое отбрасывает как несвойственное ему, и отождествляет наши идеалы с европейскими формами, как и древнерусскими, одинаково ошибочно.

VII

Два противоположные направления, на которые расщепилась русская мысль, повели к живой полемике, переходившей нередко во вражду и крайности с обеих сторон. Рядом с прискорбным взаимным раздражением, полемика и борьба имели и хорошую сторону. Благодаря им, оба направления должны были все точнее и точнее определить свои основные идеи, подробно исследовать факты прошедшего. Наше народное самосознание сделало, под влиянием этой борьбы, заметный шаг вперед. Выполнив свою историческую роль, оба направления отцвели и сошли со сцены, уступив место другим.

Несмотря на кажущееся непримиримое противоречие, оба учения, славянофильское и западническое, имели одну общую почву, — одну, если можно так выразиться, логику и метод, одно и то же содержание, одни и те же заслуги и слабые стороны. Оба явились первыми попытками осмыслить русскую жизнь и осветили ее с двух сторон, данных ходом нашей истории. Разложив ее на составные элементы, из которых она сложилась со времен Петра,

и отстаивая тот или другой, оба учения поставили во главу угла идеальные стремления и цели, совершенно одинаковые по своему существу и содержанию, носившие общечеловеческий, всемирный характер. Таким образом, в обоих учениях русский народный гений впервые поставил себе идеальные цели, поднялся до одухотворения своих национальных задач и стремлений. Но это был лишь рассвет и ранняя заря нашей самостоятельной, народной, умственной деятельности, первые, нетвердые еще шаги на пути к национальной духовной жизни. В обоих учениях не видно еще самостоятельного творчества. Проснувшаяся мысль, народившиеся идеальные стремления не прокладывают еще себе новых путей, а опираются на готовое, выработанное, в детской уверенности, что в нем заключается ответ на запросы и требования от действительной жизни. Науки, знание разоблачили этот самообман, убедили в непрочности фундамента, на котором надеялись крепко и прочно построить здание русского быта и гражданственности в будущем. Идеалы, лишенные твердой опоры, повисли на воздухе и должны были прокладывать себе другие пути развития и осуществления. Вскоре они поблекли и потускнели. Эпигоны славянофильства и западничества остались при словах и тезисах, лишенных живого значения, твердя — одни о народности, другие о европеизме, цивилизации и прогрессе — и не умея определить, в чем же они состоят. Мыслящая публика, ищущая в словах указаний и разрешения живых вопросов, вызываемых действительностью, отворотилась от них и охладела к спорам, которые ее прежде так интересовали.

VIII

На развалинах славянофильства и западничества возникло новое направление так называемых народников. От славянофилов оно наследовало горячую веру в творческие силы русского народа, не зараженного европейскими влияниями, от западников — идеалы передовых европейских мыслителей, сосредоточивающиеся в наше время преимущественно в сфере социальной и экономической. Направление и стремления народников представляют, без сомнения, заметный шаг вперед в развитии нашего народного самосознания. Они не ищут осуществления своих идеалов, а обращаются к настоящему, к действительности,

и в ней, в ее правильном развитии, видят залог лучшего будущего. Правовые воззрения крестьян, экономический строй их быта представляются народникам теми благодатными зачатками и предрасположениями, на которых прочно и незыблемо может быть воздвигнуто здание желанной новой русской гражданственности, о которой мечтают лучшие умы в Европе, подавленной капиталистическим и буржуазным началом производства и распределения ценностей. Вопросы политические, философские, религиозные и церковные мало интересуют народников, и это вытекает из их основных воззрений на ближайшие наши задачи.

Стремления народников естественно зародились в обстановке и условиях минувшего царствования. Эпоха Николая I, закончившего петровский период русской истории, пробудила национальную русскую мысль, дала ей первый толчок. Царствование Александра II, начавшее у нас социальные и экономические реформы величайшей важности и значения, отразилось в сфере знания и критики в стремлениях и учении народников, которые пытались определить содержание живой народной мысли и найти соответствующую ей формулу. В этом, как мы думаем, их заслуга; это и дает им, по нашему мнению, право на видное место в развитии нашего народного самосознания, наряду с славянофилами и западниками и вслед за ними. Подобно своим предшественникам, они собрали и разработали богатый материал для изучения нашего народного быта со стороны социальной и экономической и значительно выяснили ее своими трудами.

Но и народники на наших глазах сошли со сцены и потеряли прежнее влияние на умы значительной части мыслящей русской публики, которая одно время была сильно увлечена их учениями. Какая тому причина? Их было несколько. Нам кажется, что народники слишком сузили задачу, сосредоточив все внимание и все силы на одной социальной и экономической жизни русского народа: она далеко не обнимает всего народного гения, выражает только одну его сторону, которая, без выяснения других, остается малопонятной и, во всяком случае, далеко не так интересной и поучительной, какую бы она представилась в совокупном исследовании всех ее живых отправлений. С практической точки зрения, стремления, исследования и выводы народников, без всякого сомнения, полезны и плодотворны; но в смысле развития на-

родного самосознания, чего в наше время прежде и больше всего требует большинство мыслящих людей, при теперешнем подъеме народного духа и народных <...>, народники дают слишком мало и потому не могли надолго приковать к себе внимание читателей.

Но главная причина охлаждения к ним заключается в том, что, унаследовав горячий патриотизм славянофилов и идеалы западников, они наследовали от тех и других и их ошибочный метод наблюдений и исследования. Мы видели, что славянофилы просмотрели в допетровском русском быте темные стороны, приведшие его к упадку и реформе Петра, а западники не разглядели в европейских идеалах их исторической и местной подкладки, делающей их непригодными у нас без важных и существенных оговорок; в такой же самообман, и притом двойной, впали и народники. Они не заметили, что в нашем крестьянском быту многие явления, показавшиеся им здоровыми зародышами лучшей гражданственности, идущими навстречу стремлениям и усилиям самых светлых европейских умов, суть не более, как запоздалые остатки исчезающего стадного чувства и полнейшей индивидуальной неразвитости¹¹; что из года в год эти остатки блекнут и замирают, а на место их, между крестьянами, водворяется индивидуализм, грубый, неприглядный и беспощадный, каким он везде и всегда бывает при первом своем появлении и первых попытках вступить в права гражданства. Не заметили народники и того, что в современных европейских идеалах социального и экономического строя есть весьма существенная недомолвка. Опустившись с высоты отвлеченностей и метафизики в реальную действительность, к живым людям, они, эти идеалы, для своего осуществления, требуют и предполагают вполне и высоко развитые нравственные личности. Без таких личностей идеалы останутся одними благожеланиями и отвлеченностями. Между тем, в понятиях и практике нравственности царит у нас <и> в Европе совершенный хаос; нравственность заменена выдрессировкой людей, что показывает, что самое понятие о нравственности заглохло и пока нигде и ниоткуда не видно попыток поставить вопрос о ней на правильную научную почву или хотя бы водворить ее в практике, на деле, при помощи новых приемов. Нравственность держится еще только на предании, которое, на наших глазах, замирает, теряя авторитет и влияние на современных людей.

IX

Рассмотренные направления русской мысли поставили много вопросов, выяснили различные стороны и явления современной и прошедшей русской жизни, но не дали руководящей нити для ее дальнейшего развития. Куда идти, какими путями — осталось в тумане, нерешенным. Это вызвало к жизни консервативное, или охранительное, направление. Неудовлетворительность попыток проложить новые пути естественно охлаждает доверие к возможности, по крайней мере — легкости, открыть их и идти далее. В такие минуты и люди, и народы хватаются за то, что есть, каково бы оно ни было, цепко за него держатся и боятся выпустить из рук, опасаясь пуститься в открытое море неизвестного, без надежного руля и компаса. Консерватизм, в этом смысле, не есть доктрина, с которой его очень часто смешивают, называя консерваторами славянофилов; с таким же основанием можно было бы приписать консерватизм и западникам, так как различные их оттенки отстаивают на русской почве учреждения обветшалые, как славянофилы стоят грудью за обломки московской старины. Существенная разница между консерватизмом — в том смысле, какой мы ему придаем, и в том смысле, какой ему приписывается у нас весьма часто — заключается в том, что в последнем он опирается на какой-нибудь идеал, начало, и во имя их отстаивает и охраняет существующее; консерватизм же как принцип стоит за существующее не во имя какого-нибудь идеала или начала, а потому только, что нет в виду лучшего, или не выяснилось, как к нему перейти. Не будучи доктриной, консерватизм — великая сила, с которой на каждом шагу приходится считаться. У нас публика и народ — величайшие, неумолимые консерваторы. Туго, нехотя, шаг за шагом, микроскопическими уступками поддаются они на доводы доктрин, расчищающих и освещающих исторический путь, иногда задолго перед тем, как обстоятельства с неудержимою энергией направят на него народные силы. В области мысли консерватизм в этом значении не имеет ни доктрины, ни принципов. Он отрицает все новое и отстаивает все существующее. Он играет в практической деятельности роль регулятора, коренника в тройке, балласта в корабле. Обращенный отрицательною своею стороною к новому, он способствует его выяснению и вызреванию в степени неотразимой и неотложной потребности,

очевидной для всех, по крайней мере, для огромного большинства. Только этою отрицательною своею стороною консерватизм и силен. Не неся с собою никакой доктрины, никаких принципов, он лишен положительного содержания и оказывается немоощным перед напором народившегося и возмужавшего нового, когда час его пришел. Дерево не в силах удержать на себе созревшего плода, мать — сохранить в своей утробе вполне выношенного ребенка. Так и консерватизм силен незрелостью будущего по сравнению с настоящим и существующим. Усиление консервативного, или охранительного, направления есть верный признак, что новые потребности еще не выработались до ясной и определенной формулы, точно так же как ослабление консерватизма в умах свидетельствует, что новое стучится в дверь, просасывается во все поры и что появление его в действительности есть лишь дело времени и ожидает благоприятных обстоятельств для своего осуществления.

Х

В последнее время у нас и в Европе стали усиливаться признаки религиозных стремлений, и снова поставлен на очередь одно время почти совсем заглохший вопрос о нравственности. Оба эти явления были совершенною неожиданностью посреди повсеместного упадка предания и торжества убеждения, что хорошие социальные учреждения вернее нравственности приводят к целям, которые она преследует, и делают ее излишнею и ненужною. Что могло вызвать снова интерес к предметам, по-видимому, давно исчерпанным и обогнанным успехами знания, культуры, политической и общественной жизни и нравов? Было ли случайностью, что одновременно стали привлекать к себе большее внимание оба предмета, или между религией и нравственностью существует неразрывная внутренняя связь, вследствие которой нельзя коснуться одной, не обращая мыслью к другой, и обе вместе живут и вместе падают? Многие задают себе эти вопросы, и над ними сто́ит задуматься. Снова возникающий интерес к религии и нравственности не есть строго научный, вызван не одним желанием осветить их с точки зрения знания; у весьма и весьма многих возврат к ним является вследствие живо ощущаемой потребности наполнить душевную пустоту, которая не дает им покоя, найти твер-

дую точку опоры посреди сомнений и треволнений ежедневной жизни. В эпоху торжествующей радикальной критики по всем отраслям знания и жизни, при господстве в наше многогрешное время утонченного реализма и утилитаризма в воззрениях, нравах, привычках и вкусах, — такой оборот мыслей, идущий вразрез со складом быта и убеждений образованных слоев европейского и русского общества, до того необычаен и поразителен, что большинство не верит искренности религиозных и нравственных стремлений и заподозривает в них личину, служащую только благовидным предлогом для достижения целей, не имеющих ничего общего с религией и нравственностью. Но каждый знает из собственного опыта, что такие подозрения часто оказываются совершенно несправедливыми. Факт существования людей глубоко религиозных и держащихся правил нравственности по учению веры, не на словах, а на деле, не подлежит ни малейшему сомнению, а это доказывает, что в наших общепринятых воззрениях не взят в соображение какой-то факт, какая-то сторона жизни. Ускользнув почему-то от нашего внимания, они оставляют в нашем мирозерцании пробел, который и вызывает периодически горькие сетования на неудовлетворенность знания, на его односторонность и неспособность отвечать на все запросы и требования человеческой души и действительной жизни. Пополнить этот пробел, открыть, что именно опущено в нашем современном мирозерцании и почему оно опущено, составляет одну из насущных, настоятельнейших задач нашей эпохи. Не разрешив ее, мы все будем ходить кругом да около, бросаться из одной крайности в другую, нигде не находя удовлетворения и не имея под ногами почвы, на которую можно было надежно опереться, чтобы твердо, с уверенностью идти вперед. Редко кто не мучился, ища выхода из заколдованного круга противоречий между мыслью, идеалом и действительностью, знанием и верою, требованиями общественными и личными, правдою внутренней и юридической. Многие, не выдержав пытки, возвращаются назад с полупути и от отчаяния отдаются на произвол случайностей жизни, в надежде, что, может быть, они прибьют их к какому-нибудь берегу. Огромное большинство, не зарываясь вглубь, довольствуются половинчатыми решениями, приспособленными к их ближайшим потребностям, практическим целям, преобладающим вкусам и привычкам, и не задумываются над тем,

что мосты, построенные ими над пропастью, держатся на компромиссах, не выдерживающих критики. Натуры односторонние, с сильно преобладающею природной наклонностью к тому или другому строю воззрений, между которыми колеблется мысль и действительность, легко находят примирение, заглушив и отбросив всякие возражения и беззаветно отдавшись воззрению, которое им особенно сочувственно по их природе. Благо тем немногим, которые посреди тяжкого раздумья и горьких опытов в жизни не утратили живого чутья к явлениям действительности и не потеряли надежды найти ключ к роковой загадке, не дающей людям покоя с тех пор, что они начали думать!

В настоящем положении поставленных выше вопросов, когда никто не может обольщать себя мечтой разрешить их, полезно будет, если каждый, кто над ними крепко задумывался, представит откровенную исповедь своих блужданий на пути к истине: так накопился бы мало-помалу материал, пригодный для будущих, более счастливых мыслителей, жаждущих правды и истины. Недавно мы читали такую исповедь, к сожалению, в рукописи, дышащую трогательною задушевностью и искренностью¹². Едва ли когда-нибудь у нас тяжесть сомнений, производимых ими душевных страданий и потребность найти решение выражались с такою силой и такою правдой. Найденный автором выход не удовлетворил нас и не разрешил наших сомнений и колебаний. Мы шли другим путем и намерены теперь поделиться с читателями своими наблюдениями и соображениями, — выводами напряженно-го раздумья многих лет.

XI

Между искренно религиозными людьми можно различать две категории. Одни — и их большинство — не задаются критикой своих убеждений. Они просто верят и проводят свои верования в жизнь по крайнему убеждению и доброй совести. Если сомнение их посетит, они отворачиваются от него, как от соблазна, стараются заглушить его в своем уме и в своем сердце и, по возможности, верить и жить, как жили и веровали. В русском народе, в высокой степени общительном, такая простая и деятельная религиозность сопровождается большою веротерпимостью. Мало того: русские религиозные люди из

простого народа очень ценят и в иноверцах, не только христианах, когда они твердо держатся своей веры в мыслях и поступках, и ставят им это в заслугу, уважая в них то, что для них самих свято и дорого. Другие, к которым принадлежит образованное просвещенное меньшинство искренно убежденных религиозных людей, не довольствуясь одною верой и отвечающими ей делами, пытаются согласить свои убеждения с требованиями критического ума и знания, возвести свои верования на степень научной истины и создают, в противоположность критическому научному мировоззрению, свою философскую теорию и доктрину, которая предназначена вытеснить научные мудрования и заступить их место. В настоящем беглом обзоре различных путей, которых ищет и которые прокладывает современная русская мысль, только эта сторона религиозных стремлений подлежит рассмотрению. Когда теология, положительное изучение и толкование фактов религии, переходит в теософию и вступает в область науки, усиливается получить в ней права гражданства и противопоставляет свои выводы результатам критического знания, с намерением упразднить его и заступить его место, она тем самым должна подчиниться всем научным приемам и методу, общим и обязательным для всех отраслей знания, выработанным и проверенным многовековыми усилиями и оправдавшим себя правильною добытых результатов. До сих пор притязания теории вытеснить критическую науку, выбить ее из седла не увенчались успехом. Каждый раз, как богословие покидало почву положительного изучения явлений религиозного сознания и пускалось в область научных теорий и построений, выводы его встречали решительный отпор со стороны научного знания и критики. Несмотря на постоянные неудачи, нападения против научного знания во имя религии то и дело возобновляются. Еще недавно выступил с протестом против науки, во имя религиозных потребностей, один из наших знаменитейших писателей, с искренностью и правдивостью, оставляющими в читателе глубокое впечатление, несмотря на слабость аргументаций и доводов¹³. Что значит это? Наука в своих заключениях, по своим приемам, неотразима; а между тем она не удовлетворяет, оставляет какие-то душевные потребности без объяснения и без ответа. В этом, очевидно, есть какое-то противоречие. Знание, обнимая всю жизнь природы и человека, должно найти в своих рамках место для

всех явлений, всех выражений и потребностей человеческой природы. Если одно из таких капитальных, как религиозные наклонности и стремления, оставлено за дверью, не значит ли это, что все предпосылки науки ошибочны и требуют новой критики и проверки?

Так ставится вопрос в наше время. Обойти его нет возможности. Разрешения его неотступно требуют истина, правда, достоинство самой науки и научного знания. Ум не может успокоиться, пока одна из самых неотступных потребностей людей не найдет ответа и отзыва в области знания.

XII

Многие недоверчиво и подозрительно относятся к религиозным стремлениям, между прочим, потому, что они плохо уживаются с государством и наукой вследствие их будто бы исключительного характера. Считая себя обладателем безусловной истины и правды, насколько она доступна человеку, люди с одинаковым религиозным направлением сближаются и образуют общество с своими уставами, которое вырастает в силу, не терпящую около себя и рядом с собою никакой другой. В доказательство ссылаются на теократии, на папство, на бывшие и у нас до Петра попытки такого же рода¹⁴. Но властолюбие и стремление к исключительному господству относится не к религиозным потребностям вообще, а только к известной фазе их развития. Выше мы заметили, что у простых религиозных русских людей нет и тени подобных расположений. Религиозные стремления могут стать завоевательными, властолюбивыми и исключительными лишь с той минуты, когда из дела убеждения и личной совести они переходят в доктрину, становятся делом ума, науки, критики, когда люди одинаковой веры образуются в светское общество, преследующее светские цели. На этом пути они встречаются лицом к лицу с государством и наукой и, рано или поздно, должны перед ними отступить, как показывает вся история.

Такие периодически возобновляющиеся протесты религиозных потребностей против пренебрежения и отрицания, которые они встречают со стороны точной науки, и в то же время бессилие религиозных стремлений, преобразившихся в теософию и особое учреждение, побороть науку и государство, вынуждают взглянуть на них совсем

иначе, чем смотрелось до сих пор. Все религии основаны на предании, во имя которого они себя отстаивают и предъявляют право на господство и власть в обществе. Вытесненные с этой арены критикой и развитием государства и общественных учреждений, религиозные стремления сосредоточиваются в частной, гражданской индивидуальной жизни и деятельности, не изменяя своего традиционного характера. Считая их в этой сфере совершенно безвредными — пожалуй, в известной степени и в известных отношениях, даже полезными, — мы предоставляем им прозябать, как они там себе знают, не заботясь и не думая о них долее. Единственные стороны, в которых мы признаем характерную черту религии, — это традиционная и обрядовая; что касается их содержания — прецептов¹⁵, учений, то они, думаем мы, лучшими своими сторонами и в несравненно более правильной отделке перешли в науку, в гражданские, общественные, политические уставы, обычаи и нравы. Много ли, мало ли пройдет времени, традиции постепенно замрут и испарятся, а с ними и ритуалы, по мере того, как их бесполезность и ненужность будут яснее и яснее сознаваться большинством людей.

Так смотрит на религию и религиозные стремления огромное большинство думающих и образованных людей и у нас, и в Европе. Очень немногие беспокоят себя вопросом, не скрывается ли за преданием чего-либо такого, что не принято, не переработано наукой и осталось вне ее области, за ее порогом, а между тем составляет живую потребность людей; но очень и, очень многие это чувствуют, и такое чувство выражается отрицательно — в недовольстве наукою, знанием, которого не умеют определить, положительно — в цепкости, с которою держатся за предание, как за якорь спасения, как за доску, поддерживающую посреди волнующегося житейского моря, готового ежеминутно поглотить каждого в своих недрах.

XIII

Темное чувство, влекущее многих к религии, неопределенное беспокойство и какое-то неудовлетворение посреди небывалого развития и совершенства современной цивилизации и ее обильных и роскошных даров не впервые встречаются в наше время. В подобной обстановке царский сын Сакиямуни отказался от всех радостей жиз-

ни, чтобы в уединении решить в себе и для себя великий вопрос внутреннего удовлетворения¹⁶. Нирвана, до которой он додумался, была ответом восточного человека, не созревшего ни до философского мышления и науки, ни до подчинения обстоятельств и обстановки своим внутренним задачам и целям. В Греции, в эпоху ее высшего развития и процветания, является Сократ, который указывает, как высшую задачу, познание самого себя, внутреннюю добродетель. То же самое повторилось и в Риме. Когда он достиг высшей степени культуры, стоики и эпикурейцы — те и другие по-своему — искали внутреннего удовлетворения, которого не находили в блестящей обстановке распустившегося пышным цветом античного мира. Тогда же появилось слово утешения¹⁷, которое и теперь, спустя две тысячи лет, вносит мир, успокоение и благодать в душу, истерзанную испытаниями, придает ей бодрость и силу выносить их. Отчего католичество, побежденное и наукою, и государством, продолжает, однако, жить и оказывается силой, с которою приходится считаться даже величайшим современным политическим деятелям? Оттого, что оно хранит, хотя в искаженном и обезображенном виде это слово утешения и успокоения, которого не могут дать ни наука, ни искусство, ни политическая и общественная жизнь. Весьма знаменательно, что искание людьми точки опоры в самом человеке, в его внутреннем, духовном мире, во все эпохи начиналось в то время, когда целая культура, достигнув своего апогея, склонялась к упадку и разложению. Судя по аналогии, неожиданное оживление религиозных стремлений служит зловещим признаком для современной европейской культуры и показывает, что новое время стучится в дверь, что оно уже наступает.

Против этих аналогий и сближений нам могут возразить, что они вовсе не доказывают того вывода, который мы из них делаем. Если обращение человека к своему внутреннему миру есть заключительный акт всякой цивилизации, то напрасно стали бы мы искать в религиозных стремлениях подкладки, способной отвечать на основные вопросы жизни. В судьбах народов и истории они не более, как заключительное звено развития, после чего оно прекращается и начинается снова, часто на другой почве и при других условиях. История представляла бы, таким образом, не более, как повторение одного и того же про-

цесса, конечно, в разнообразных формах, как учил еще Вико¹⁸. Как дерево и всякий вообще организм имеет свое начало, свое развитие и свой конец, так и народы. Различные фазисы их существования не могут, следовательно, иметь другого значения, кроме повторения, в разных видах, одного и того же круговорота. Что же может быть безотраднее такого взгляда? Не является ли человек, в правильном, периодическом возобновлении одного и того же органического процесса, жалкою пешкой, которой фатально суждено проходить через разные стремления в вечной погоне за удовлетворением, чтобы в конце концов прийти к той же неизбежной гробовой доске неудовлетворенным и, вдобавок, с горьким сознанием, что удовлетворение — лишь мечта и призрак?

Те, которые так смотрят, упускают, как мы думаем, из вида, что сквозь ряд кажущихся повторений одного и того же процесса проходит красною ниткой один общий всему человеческому роду процесс постепенного и последовательного развития, которого стадии мы ощупываем, хотя и не знаем окончательного его результата, который еще впереди. Процесс этот определяется единственно и исключительно накоплением знания и опытности в постепенном приспособлении всего окружающего к потребностям и нуждам людей и в умение воспитать и выработать человека, так чтобы ему жилось возможно хорошо в окружающей его обстановке. Другого смысла не имеет история рода человеческого. Знание и опытность развивают людей в указанных двух направлениях. Капитализация знаний и опытности идет, не прерываясь, от поколения к поколению, от народа к народу, от эпохи к эпохе, вследствие чего каждая новая фаза развития, составляя повторение того же, что было когда-то прежде, в то же время представляет нечто новое, чего прежде никогда не бывало. Это новое и зависит от большей степени знания, опытности, и составляет действительный успех, шаг вперед в развитии человеческого рода. Возьмем для примера хоть то же обращение человека к самому себе, к своему внутреннему миру. Мы видели, что оно возвращалось периодически, в разные эпохи истории и при обстоятельствах, имеющих между собою много аналогичного; а между тем стоит только сравнить между собою вид, способ, формы, в которых выражалось в разные эпохи обращение человека к своему внутреннему миру, чтобы тот-

час же заметить, что оно каждый последующий раз становилось яснее, сильнее, глубже, настойчивее. Отчего это? Единственно оттого, что под влиянием наблюдения, знания и опытности духовный мир человека, его значение и роль в человеческих делах более и более выяснялись, в сознании.

XIV

Почему же, спросят нас, сознание внутреннего, духовного мира человека, раз возникнув, хотя бы и в самом несовершенном виде, впоследствии на долгое время утрачивалось и исчезало, по-видимому, без следа, и люди, отворотившись от него, с новою энергией, бодростью и увлечением принимались за изучение и устройство окружающего, как будто в нем одном можно было найти точку опоры и разрешение всех трудных и сложных задач человеческого благополучия? Не следует ли отсюда, что обращение человека на себя не более, как переходный момент в развитии, минутная стоянка, отдых, после которого люди с обновленными силами снова продолжают свой многовековой труд? Такой вывод тем более правдоподобен, что, как сказано, за погружением человека в свой духовный мир наступало всегда не обновление политической и общественной жизни, а, напротив, ее разложение и разрушение. Таким образом, только в накоплении знания объективного мира и опытности в обращении с ним заключается действительный успех и развитие рода человеческого, а вовсе не в различных видах погружения человека в себя. Последнее есть не более, как признак, показатель перехода знания и опытности из одной стадии развития в другую.

В основании такого взгляда лежит важное недоразумение и ошибка. Что такое знание и опытность? Еще Кант неопровержимо доказал, что они не есть нечто объективное, вне нас существующее, а выражают собою только отношение человека к предмету. Мы называем это отношение объективным, когда не один какой-нибудь человек, а огромное большинство людей, весь род человеческий, находятся в одинаковых отношениях к предмету. Это высший критерий всякого объективного знания и опытности. В самом ли деле дерево зелено, звук высок или низок, тело гладко или шероховато — для этого мы не

имеем другой поверки, кроме ощущений, общих всем людям. Установить какой-нибудь факт объективным образом — значит не более не менее как сделать его несомненным для огромного большинства людей, а вовсе не исследовать его, каков он сам по себе, помимо человека, что вовсе невозможно, как нельзя исчислить точно квадратуру круга или придумать машину вечного движения. Оттого и так называемая объективная истина подвижна, способна к совершенствованию по мере того, как совершенствуются приемы и метод наблюдений; а это доказывает, что развитие самого человека, его наблюдательности, его опытности входит как существенная составная часть в выработку и успехи того, что мы считаем объективным предметным знанием.

Но если это справедливо даже в применении к науке об окружающем нас мире, то что сказать о явлениях и фактах нашего духовного, внутреннего мира, которые мы узнаем не из внешних наблюдений и опыта, а посредством внутреннего сознания, духовными очами? Знание его, умение обращаться с ним имеет ли и может ли оно иметь объективный характер, значение объективной истины? Ответ не может быть сомнителен. Выражая только наше отношение к предметам внутреннего наблюдения, оно так же мало объективно и предметно, как и знание окружающих нас предметов, тем более, что мы имеем дело не с тем, что вне нас, а с тем, что в нас самих и в нашем сознании. Итак, в так называемом объективном, предметном знании и опытности, которые кажутся нам отрешенными от человека, он, на самом деле, есть один из существенных элементов, из которых оба слагаются и без которых совсем немыслимы. Стало быть, и обращение его на самого себя из окружающего его предметного мира не может быть только признаком и перерывом в развитии объективного знания; напротив, оно есть естественное и необходимое его последствие, вывод из него и его поверка. Исследуя и узнавая окружающее, человек изменяется сам и смотрит на тот же окружающий мир другими глазами, а это снова изменяет его прежний взгляд, и заставляет иначе взглянуть на то, что живет и совершается около него. В этом и заключается развитие знания и опытности. В этом же — и объяснение периодического обращения человека к самому себе, к своему внутреннему, психическому миру.

XV

Несомненная связь между человеком и окружающим его миром, так ясно выступающая в развитии знания и науки, далеко, впрочем, не разрешает всех недоумений, возбуждаемых ходом исторического развития, на который было указано выше. Человек с своим внутренним миром и его тайнами и откровениями выступает не как продолжение, разъяснение и дополнение окружающего, — напротив, он отрицает его, спасается от его зол и страданий, в самом себе ищет точки опоры и во имя ее стремится пересоздать весь действительный мир и условия его существования. Что значит это противопоставление внутреннего мира внешнему, доходящее до вражды, и почему оно является заключительным актом эпох культур и цивилизаций, а не заявляет себя в самом их начале?

Позднее появление протестов во имя внутреннего, душевного мира против окружающей среды, в которой суждено жить человеку, легко объясняется законом дифференциации, одинаково замечаемым в развитии природы и человека, и человеческого общежития. Слитное, не различенное в зародыше, является при дальнейшем росте различным и обособленным, иногда до того, что трудно уловить и определить взаимную связь бывших прежде частей одного целого. Последнее замечание особенно относится к высшим, сложным организмам, каково, например, человеческое общество. Сначала индивидуальность людей, из которых оно состоит, не выдается вперед, ступшевыаясь и утопая в общем стадном чувстве. Развитие общества ослабляет это первоначальное безразличие. По мере того, как общество живет, индивидуальность выступает ярче, определеннее и резче. Вот почему обращение человека к себе, погружение его в свой внутренний мир, в противоположность окружающему внешнему, появляется не на первых, а на последних заключительных ступенях развития, когда все задатки эпохи вполне созрели, когда она исчерпала свое содержание и пришла к заключительным своим итогам.

Гораздо труднее объяснить противоположность между индивидуальным человеком и окружающею природой и обществом. Каждый человек есть часть природы и от рождения до конца живет между людьми. Тем, что он есть, он обязан природе и обществу. При такой тесной, органической связи его с окружающим, казалось бы, нет

и не должно бы быть места противопоставлению, доходящему до вражды и отрицания. А на деле мы видим другое. Вся действительная жизнь есть непрерывная борьба. Все, что действительно существует, начиная с низших организмов и оканчивая высшими, живет одно за счет другого, завоевывая свое существование с боя и беспрестанно подвергаясь опасности сделаться жертвою окружающего. На человеке, самом развитом и сложном из всех организмов в природе, этот общий закон жизни выражается всего явственнее и резче. Он непрестанно борется с природой, с подобными себе людьми, с обществом, посреди которого родился, вырос и живет, то побеждая их, то, напротив, изнемогая перед их превосходными силами. Как же согласить вопиющее противоречие между двумя одинаково несомненными действительными фактами, которые, однако, так же несомненно исключают друг друга, — между единством всего существующего и непрерывною борьбой этого существующего с самим собою? Вопрос этот поставлен с тех пор, что человек стал думать, решался на тысячи ладов, но до сих пор удовлетворительного решения его не найдено. Как о свободе и необходимости, так и об отношениях человека к природе и обществу люди спорили между собою испокон века, спорят до сих пор и никак не могут прийти к соглашению. Отчего это? Кант, не находя удовлетворительного ответа на основные запросы знания в современном ему философском догматизме, напал на мысль, не скрывается ли причина неудовлетворительности в том, что не обращается внимания на элементы, вносимые в познание предмета со стороны познающего лица? Эта мысль, разработанная в «Критике чистого разума», произвела целый переворот в философии. Неразрешимое противоречие, перед которым мысль останавливается в недоумении после стольких неудачных попыток найти ответ, снова ставит на очередь вопрос, поставленный гениальным немецким мыслителем, конечно, в других условиях и другой формуле. Если два явления, одинаково очевидные и несомненные, существующие в действительности рядом одно подле другого, исключают себя взаимно в нашей мысли, в нашем понимании, то не происходит ли это оттого, что мы сопоставляем неоднородное, ставим их на одну доску и меряем одним аршином? На этот вопрос наводит многое. Точная наука не занимается индивидуальностью; последняя из нее выпадает и ею отбрасывается как вовсе ей ненужная. Религия,

совершенно наоборот, вся посвящена духовным и душевным интересам лица, его индивидуального существования. Наука имеет задачей знание законов и необходимых условий существующего, явлений; религия ставит на первый план не объективную истину, а напутствие человека к духовной и нравственной жизни посреди житейской борьбы и невзгод, и пользуется выводами науки лишь настолько, насколько они могут служить этой главной, существенной цели. То, что к ней не подходит или ей противоречит, религия отвергает как вредное, как зло. Зорко и ревниво оберегая только личное, индивидуальное духовное и нравственное существование, она останавливает попытки знания проникнуть тайны существования там, где бы они могли поколебать устои личной духовной жизни, и не обинуясь высказывает, что эти устои скрыты от человеческого ведения и непостижимы для ума. Все религиозное миросозерцание, от начала до конца, в общем и мельчайших подробностях, построено на одной основной мысли — сохранить, направить и воспитать духовно и нравственно человека, дать его душе и совести точку опоры против соблазнов и искушений на жизненном пути. Все пригоняется и прилаживается к этой заветной цели: и разные отрасли искусства, и философия, и, по возможности, формы быта и общественности. В этой заботе об удовлетворении духовных потребностей индивидуального человеческого существования заключается сила религии и тайна ее огромного влияния на людей.

XVI

Отчего же знание, наука, не может справиться с индивидуальным существованием и относится к нему равнодушно? Ответ нетруден: задачи знания совсем другие и приемы его совсем не те, какие нужны для духовного и нравственного воспитания и назидания отдельного человека, лица. Наука исследует не цельный предмет в его совокупности, в его живой действительности, а одни условия и законы его существования и деятельности, и обобщает эти законы и условия в общие формулы. Вследствие того она везде и всегда начинает с разложения действительного, живого факта на его составные части и получает в результате уже нечто совсем иное, чем была действительность, подвергнутая научному анализу. Результат этот состоит в обнаружении и понимании условий и законов

действительной жизни. Оттого-то выводы науки представляют совсем иные комбинации, чем какие действительно существуют, и вовсе на них непохожие. Эти комбинации, когда они сделаны совершенно правильно, на основании всех характерных явлений, суть несомненные истины, отвечающие действительности, но истины в объясненном выше смысле, то есть представляющие соответствие нашего понимания с теми законами и условиями, которые действительно управляют живыми явлениями. Наука дает нам, таким образом, знание того, что есть, но с особенной точки зрения, с известной стороны, которая отвлечена от действительности и совсем иначе комбинируется в нашем уме. К чему, спрашивается, нужны нам такие новые комбинации, такое преобразование действительности в нашей голове? Роль их, а потому и науки, в действительной жизни громадная. Благодаря им, и только при их помощи, человек получает возможность производить то, что ему полезно или нужно, устранять или ослаблять то, что ему вредно или не нужно. В фантастическом упоении этою возможностью сопоставлять известные условия и тем производить те или другие явления, человек провозгласил себя владыкою мира, покорителем природы, властелином всех условий — не только естественных, природных, но и социальных — своего существования. Эта власть и господство имеют, как все, свои пределы в самых условиях существования и в недостаточности научных средств все узнать, все исследовать; но не подлежит сомнению, что только при помощи, посредством науки и знания люди улучшили и непрерывно улучшают свой быт, обеспечивают себя против тысячи вредных и опасных случайностей, создали и создают около себя обстановку, благоприятную для развития не только материального, но умственного и нравственного. До сих пор никто еще не указал, где пределы знания, на каком пункте оно должно остановиться. Как глыба снега, катящаяся с горы, знание, развиваясь, не только увеличивается в объеме, но расширяет и свои средства, и вырастает в громадную силу. Но нельзя и не должно требовать от знания того, что оно по своему существу, по своей природе дать не может. Ум не более, как особый процесс, особое отправление человека, человеческой природы. Он ничего не создает, а только производит новые комбинации того, что есть и притом всегда в виде отвлечений и обобщений. Эти отвлечения и обобщения не имеют вне чело-

века никакой объективной реальности, которую долгое время им приписывала философия. Ошибка произошла единственно оттого, что ум, как органическое свойство и отправление, действует бессознательно, помимо нашей воли и понимания. Когда сознание пробуждается, оно уже находит в душе готовые отвлечения и обобщения и, не зная откуда они взялись, принимает их за действительности и реальности особого рода, которые и противопоставляет реальности, доступной внешним чувствам. Естествоведение, именно физиология и критическая психология, раскрыли эту ошибку. Первая доказала зависимость умственных отправлений от мозга и нервов; последняя раскрыла, что содержание этих мнимых существ заимствовано из внешних ощущений или фактов внутренней психической жизни и получило своеобразный вид и форму только вследствие переработки ощущений и психических явлений умственными операциями. Уяснив это себе, мы должны признать, что знание есть не что иное как особый, свойственный лишь человеческому роду способ отношений к окружающему и самому себе, служащий ему средством для достижения своих целей. Цель, задачу человек носит в себе. Она заключается в удовлетворении его потребностей — физических, духовных и нравственных, разнообразных и многосложных, как его природа. Мы называем знание средством, потому что оно, само по себе, в теоретическом, чистом своем виде, представляет сознанию ту же живую действительность, только переиначенную умственным процессом, и остается мертвою, сухою отвлеченностью до тех пор, пока человек не воспользуется ею для сопоставления условий живого, действительного мира, согласно с своими задачами и целями. Так называемые прикладные науки показывают применение отвлеченных истин, знания к действительным живым явлениям и облегчают человеку приложение их к его ближайшим практическим потребностям и нуждам.

XVII

Только в различном назначении, роли и задачах религии и науки заключается, как мы думаем, единственная причина их существенного различия. Религия воспитывает нравственную личность, заботится о ней, направляет и поддерживает ее в действительной жизни и ее тревож-

нениях; наука, знание, выясняет общие условия действительного бытия и дает могучее орудие для их устройства, по возможности, согласно с потребностями и желаниями людей. Обе подходят к одной и той же задаче с двух различных сторон: религия — с психической, субъективной, нравственной, наука — с внешней, объективной. Их противоположность и вражда происходят только вследствие глубоких недоразумений и неясного понимания взаимных их отношений, круга и границ их деятельности. Назначение религии не есть знание; стало быть, ей, казалось бы, и не след выступать противником и врагом его, к каким бы результатам и выводам оно ни пришло. Точно так же и науке, знанию, не след было бы враждовать против религии, когда назначение ее не нравственное воспитание людей, а открытие общих условий и законов существующего. Однако такое решение не удовлетворяет никого. И наука, и религия несут с собою целое мирозерцание: первая — основанное на исследованиях, другая — на предании, и обе взаимно исключают друг друга. Как же разрешить его? Поставленный в упор во всей его непосредственности и резкости, он, мы полагаем, и неразрешим. Те, для которых нравственное развитие отдельного лица представляет главный, существенный интерес, будут всегда более чутки и внимательны к доводам и воззрениям, ведущим к этой цели, опуская или отбрасывая те, которые не имеют к ней отношения или опровергают благоприятную их цели аргументацию, и наоборот, люди, более склонные к строгой и точной умственной деятельности, более расположенные, по складке и свойствам своего ума, видеть существенную и главную сторону действительности в ее необходимых, роковых условиях и законах, будут естественно выдвигать и подчеркивать то, что им больше по душе, и яснее, рельефнее оттенять слабые стороны выводов, рассчитанных не в виду знания, а для соображений, не имеющих с ним ничего общего. В обществе, соединяющем в одно целое людей и того, и другого склада, главная задача — найти средние термины их мирного и безобидного сосуществования рядом, и эта цель может быть достигнута, когда причины противоположности будут обеими сторонами поняты и круг деятельности того и другого направления очерчен добровольно и с возможною точностью. Знание, наука, на многие вопросы не дает в теории точного ответа; в практиче-

ском приложении приходится в таких случаях довольствоваться возможным приближением к недостижимому точному разрешению. Этим приходится довольствоваться и при установлении отношений между религией и наукой.

Такое решение возможно и будет принято рано или поздно, но под следующими неперенными условиями: во-первых, должна быть доказана необходимость духовного и нравственного развития личности и невозможность достигнуть цели, достигаемой религией, непосредственным применением результатов, к которым приводит наука, знание. При положительном ответе на то и другое, останется, во-вторых, объяснить, существует ли для людей науки и знания возможность, не покидая почвы научного мирозерцания, подойти, хотя бы и другим путем, к тем же самым условиям духовного и нравственного развития личности, которые составляют силу религии и из-за которых она отказывается от выводов научного знания? Пока эти вопросы не разрешены в положительном смысле, о практических компромиссах между людьми религиозного и научного направления и речи быть не может, ибо если индивидуальное, духовное и нравственное развитие не необходимо и без него можно обойтись, то дело, которому по преимуществу посвящает себя религия, будет подкопано под самый корень, а с ним и самое призвание религии окажется шатким и спорным; с другой стороны, если научным путем невозможно подойти к тому же, что составляет необходимое условие духовного и нравственного развития личности, то самое знание, наука, как не способная отвечать на одну из главных потребностей человеческого существования и идущая с нею вразрез, окажется вовсе не заслуживающею доверия, которого к себе требует, и должна упасть во мнении людей, умалиться до размеров одностороннего упражнения умственных способностей, полезного лишь в тесном круге одних материальных потребностей, далеко не исчерпывающих всех сторон человеческой жизни и деятельности. Только признание потребности духовного и нравственного развития индивидуальности как одной из основных задач жизни и возможности дойти двумя различными путями до условий ее удовлетворения, могут подготовить почву для компромисса между религией и наукой и их мирного совместного сосуществования.

XVIII

Современную науку упрекают, особенно у нас, в том, что она знать не знает и знать не хочет явлений духовного и нравственного мира, отрицает их в принципе и, будучи материалистическою и атеистическою по своему существу, не признает других способов действия на человека, как чисто внешних, механических, при помощи которых и мечтает создать благополучие человеческого рода. Какое же может быть такое благополучие? Очевидно, такое же, каковы и самые средства, — материальное, внешнее, а не духовное и нравственное, без которого, однако, человек не может быть человеком, и общество человеческое должно развалиться, чему мы видим немало примеров в истории. С порчею нравственности, с пренебрежением духовными и нравственными благами, везде начинался упадок политической, общественной и частной жизни, добрых нравов и порядков между людьми.

В основании таких упреков лежат большие недоразумения и смешение понятий. Тем, которые произносят такие приговоры современной науке, теперешнее ее направление и метод, очевидно, мало знакомы. Они не различают ее от философии и материалистических систем, с которыми она давно уже разошлась и не имеет ничего общего. Наука нашего времени не есть система, не есть миросозерцание, она прежде и больше всего критика и потому не может быть ни деистической, ни атеистической, ни спиритуалистической, ни материалистической. Она устанавливает точным образом предмет своих исследований, старается открыть условия и законы его существования, отношения к другим ближайшим и более отдаленным предметам и, не задумываясь над их сущностью, считает свое дело оконченным, задачу разрешенной, когда условия и законы существования, деятельности и отношений предмета исследования вполне выяснены и определены. Вооруженная превосходным, в мельчайших подробностях выработанным индуктивным методом, поверяя шаг за шагом каждый из полученных выводов, наука все более и более расширяет круг своих исследований, медленно, но верно и твердо поступью переходит от известного, узнанного, к неизвестному и критически не обследованному, от более простого к более сложному, обнимая все более и более обширный круг. Такой характер

науки выработался постепенно в противоположность бесчисленным системам и мировоззрениям, между которыми ум человеческий заблудился и не знал, на чем остановиться. Испробовав свои силы и утвердившись в области материальных явлений и фактов и оправдав в ней правильность своих приемов блистательнейшими теоретическими и практическими результатами, наука в наше время стала захватывать и область явлений психического и социального порядка. Пока сделано ею немного на этом новом поле исследований и сделанное не идет в сравнение с тем, что ею совершено в области естествознания и математики, и это неудивительно. Пройдет еще немало времени, пока она успеет разобраться в своеобразном материале, какой представляют явления психической и социальной жизни, освоится с ним и придумает необходимые применения к ним своего точного метода. До сих пор усилия науки перенести приемы естествознания в исследования психических и социальных фактов не привели, да и не могли привести, к ожидаемым результатам; но эти первые пробы применить к изучению фактов другого порядка точный метод исследований уже принесли огромную пользу тем, что выделили из них великое множество явлений физического мира, которые ошибочно причисляли к области психологии и социологии, значительно очистив, таким образом, материал исследования от посторонних примесей, и указали на тесную, органическую связь между различными порядками явлений, не имевшими между собою, по-видимому, никакой связи и ничего общего.

Таким образом, упреки, которые делаются современной науке, по нашему убеждению, крайне несправедливы. В сфере психической и социальной она только начинает работать, и потому подписывать ей приговор по первым опытам или пробам крайне опрометчиво. Они относятся не к ней, а к тем, которые, забегая вперед, уже предсказывают окончательные выводы, которых она еще не делала и не могла сделать. Наконец, обрушиваясь на науку и взводя на нее массу обвинений, весьма тяжких, мы забываем, что она не рождается на свет готовою, как Минерва из головы Зевса, а окружена в своей колыбели и при первых своих шагах преданиями и остатками прошлого, из которого выработалась, с которыми никак не следует ее смешивать; мы же слишком часто и крайне не-

осмотрительно валим на ее плечи то, в чем она вовсе не виновна, чего она не говорит и не думает, а говорят доктрины, потерявшие в ее глазах кредит и постепенно приходящие в забвение. Мы совершенно убеждены, что наука имеет все необходимые средства для исследования и строго научного определения условий и законов психической жизни, как она их открыла и указала в жизни органической и неорганической природы. Все существенные элементы, из которых складывается духовная и нравственная жизнь человека, с их фактической стороны значительно выяснены и с каждым почти днем выясняются более и более. Для их научного исследования накоплен необозримый материал, большею частью еще сырой, но отчасти уже подработанный, и чувствуется, по ходу научных исследований, что не слишком далеко время, когда для индивидуальной психической жизни, составляющей венец всей жизни и всей природы, будет найдена точная научная формула, какие открыты и открываются по другим сторонам жизни.

Но далее этого наука, знание, не может идти. Определением условий и законов психической жизни и деятельности ее задача оканчивается. Как воспользоваться этим знанием для возможно полного духовного и нравственного развития того или другого лица, при таких или других обстоятельствах и обстановке, это уже не ее дело, как не ее дело учить, как разводить то или другое растение на той или другой почве, при тех или других климатических условиях. Достижение практических целей не входит в задачи строгой науки, а так называемых прикладных наук, занимающих середину между знанием и умением, или искусством. Теоретические основания прикладных наук дает чистая, строгая наука; они же указывают только способы применения этих оснований или начал к потребностям и нуждам людей. Смешение чистой науки с прикладными есть одна из причин путаницы понятий и часто влечет за собою весьма прискорбные практические последствия. Теоретическая формула, как всякая отвлеченность, не может быть непосредственно осуществлена в действительности. Применение должно считаться с готовыми комбинациями действительной жизни, которые устанавливаются совсем не при тех условиях, как научный вывод.

XIX

Если мы теперь от этих соображений о характере и значении научного знания обратимся к действительной жизни, то тотчас же увидим, что необходимость индивидуальной выработки для известной цели или известного назначения — явление до того общее, до того не терпящее исключений, что его нельзя не отнести к числу существеннейших условий и законов, управляющих миром. Только мысли и чувства знакомы с общим и отвлеченным. Действительность их не знает. Она вся, от низших до высших ступеней, состоит из индивидуумов, которые, возникая из общей всем им почвы, живя посреди ее и подчиняясь ее условиям, в то же время имеют каждый свое особое существование, свои потребности, удовлетворение которых и составляет их сознаваемую и бессознательную цель. Стремление к цели и достижение ее разлагаются на две стороны, которые можно назвать субъективной и объективной: первая состоит в приспособлении индивидуума к среде и данным условиям, посреди которых цель должна быть достигнута; вторая — в приспособлении среды и данных условий так, чтобы они благоприятствовали достижению цели. Вследствие того всякая деятельность, направленная к достижению известной цели, влечет за собою изменение и действующего лица, и среды, в которой оно действует. Выравнивание, правильное сказать, согласование их и приближение друг к другу — до того всеобщий и неизменный закон всего существования, что многие усматривают целесообразность в органической и даже неорганической природе, объясняя причину этого явления каждый по-своему, начиная от учений, основанных на предании, и оканчивая Гартманом²⁰ и Дарвином.

Цели и средства их достижения так же разнообразны и бесчисленны, как нужды, потребности и их удовлетворение. Те и другие идут, все обобщаясь и усложняясь, от самых простых, непосредственных и материальных до самых сложных, по-видимому, не имеющих никакого осязательного предмета, каковы цели психические, духовные и нравственные — от простейшей реакции и рефлекса до самых сложных и отвлеченных психических действий и поступков. Все они непременно предполагают, как сказано, индивидуальную выработку, приспособление, начиная с умения младенца направить свой глаз или руку

к предмету и оканчивая высшими духовными и нравственными стремлениями; разница заключается только в том, что, смотря по свойству, характеру или объему цели, требуется приспособление или более частичное, или более общее, обнимающее или одну, большую или меньшую сторону индивидуума, или, напротив, весь или почти весь организм и все его стороны. Выучиться класть себе пищу в рот требует, очевидно, более частичного приспособления руки, чем умение играть на каком-нибудь инструменте или владеть карандашом или кистью; умение обороняться от внешних опасностей и одерживать верх над внешними врагами гораздо менее требует развития психических способностей, чем достижение истины и знания или высокого нравственного совершенства. Так или иначе, но несомненно, что единичная, индивидуальная выработка той или другой способности или целого человека, смотря по цели, которой имеется в виду достигнуть, до того безусловно необходима, что без нее потребности остаются неудовлетворенными и существование индивидуальности или искажается, или прекращается вовсе, точно так же, как и в том случае, когда неблагоприятные объективные условия не могут быть устранены или изменены к лучшему.

XX

Но если духовное и нравственное развитие человека в общей экономии человеческого развития так же необходимо, как и приспособление к его нуждам и потребностям объективных условий существования, то где, спрашивается, искать оснований для такого развития, точки опоры и указаний, куда направиться на этом пути? Как все прикладные науки покоятся на научном теоретическом основании, так и практика духовного и нравственного развития должна иметь свою доктрину, свою догму и канон, без которого она не может шагу ступить, как пароход не может плыть по назначению без руля, буссоли и карты. Для религии таким руководством служит предание.

Философия, витая между небом и землею, думала заменить живой и авторитетный его голос бесплотными отвлеченными идеями, но, путаясь в них, потеряла реальную почву, служившую им подкладкой. Гениальнейший из современных мыслителей, отец новой философии,

Кант, верным чутьем понимал необходимость сохранить в философии начало личности. Его *категорический императив* есть источник познания идей, которые недоступны чистому разуму, неспособному выйти из противоречий. Но его критические исследования, начавшие новую эру научных исследований в области психологии и психических явлений, не разрешили вопроса об отношении мысли и факта, идеи и действительности, и подмеченное верным тактом явление осталось таким же беспочвенным, как и категории чистого разума. С тех пор и до нашего времени остается открытым вопрос, есть ли возможность путем науки и знания открыть и указать твердую почву и основание тех начал, на которых только и может быть построено учение о нравственности и на которые опирается духовное и нравственное развитие людей? В наше время об этих предметах существуют самые сбивчивые понятия. Нравственное и духовное развитие личности отодвинуто на второй план и почти забыто как неважное, без которого можно обойтись и которое вполне заменяется изменением и улучшением условий жизни человека. Дайте людям хороший суд, хорошее управление, поставьте их в нормальное экономическое положение, откройте им широко двери науки и знания, обеспечьте их физическое благосостояние — и они сами собою станут духовно и нравственно развитыми. Факты не оправдывают, однако, этих надежд.

Нравственные качества и совершенство не совпадают ни с умственным развитием и образованием, ни с обеспеченностью личною и имущественною, ни с свободами политическими и гражданскими, ни с культурой. Пороки и преступления, под влиянием всех этих несомненных благ, не уменьшаются между людьми, а только становятся утонченнее. Посреди небывалых богатств, материальных и духовных, тосклива и безотраднa, скучна и бесцветна становится жизнь современного человека. Сомнение закрадывается в его душу: к чему все эти блага, когда с ними живет так тяжело, какая-то тоска наполняет грудь и не дает ими наслаждаться? Да и в самом ли деле они — блага, когда не дают душевного удовлетворения? Стоит ли жить, когда жизнь не радует, а оставляет ничем не наполненную пустоту? И люди тысячами спешат насильственно прекратить свою жизнь, и эти тысячи растут в ужасающей, зловещей пропорции, а живущие при внутренней разорванности мало-помалу впадают в равноду-

шие и апатию. Напрасно говорят им о необходимости энергии и характера для того, чтобы достигнуть великих результатов. Настойчивость, выдержка, умение, находчивость — всего этого имеют в избытке люди нашего времени, не задающиеся нравственными идеалами, а чисто личными целями. Но они более и более вырождаются в хищных зверей, тем более лютых и опасных, что, не останавливаясь ни перед чем, вооружены всеми средствами, какие дает знание, наука.

Эта мрачная картина, краски которой скорее смягчены, чем усилены против действительности, наводит на целый ряд размышлений. Если все усилия ума, создания науки и искусства, которыми люди так справедливо гордятся, не могли дать полного удовлетворения людям, и человек даже при такой обстановке может быть дрябл, бесцветен, ничтожен или негоден — то из этого следует, что одна обстановка сама по себе его не воспитывает, не укрепляет, не улучшает, а необходимо нечто другое — индивидуальная, духовная и нравственная выработка. Но кроме этого вывода, к которому мы уже пришли выше другим путем, та же картина приводит и к другому. Человек есть творец своей обстановки, в том виде, как она им прилажена к его потребностям и нуждам; он — творец науки и искусства. Они только для него и только через него существуют и сами по себе, без него, не имеют ни значения, ни даже смысла. Значит, его возможно полное удовлетворение есть их последняя цель и назначение, и если они этого не достигают, то, очевидно, нужно кроме них что-то другое, чего они не дают и дать не могут. Это нечто и есть душевный строй, нравственный камертон, который, давая нам точку опоры и поддерживая в равновесии наши душевные отправления, открывает наше сердце ко всем радостям и делает способными пользоваться и наслаждаться всеми благами, какие дает наука, искусство и творчество бесчисленных предшествовавших поколений в приспособлении окружающей среды к человеческим потребностям. Для людей, отступивших от предания, такая точка опоры, камертон и равновесие должны быть найдены путем знания и точной науки, имеющей авторитет в их глазах. Мы думаем, что это возможно, если только наука, оставаясь верной себе и последовательной своим началам, перенесет на исследование психических явлений тот же самый метод, который повел к таким блистательным открытиям в естественных науках.

XXI

До последнего времени в исследованиях всех предметов, имеющих непосредственное отношение к духовной и нравственной стороне человеческого существования, точкою отправления служил единичный, индивидуальный человек, каким мы его теперь знаем. Это и понятно. Думает, исследует не отвлеченное понятие человеческого рода или нации, а живой, единичный человек, при том запасе знания и опытности, какой умел приобрести. Поэтому с себя он начинал и себя же сознательно или бессознательно принимал за исходную точку своих общих выводов и соображений. Оттого индивидуализм лег в основание всей науки, философии, политических и общественных учреждений. Так продолжалось до тех пор, пока все стороны индивидуального человека не были исследованы и испробованы на деле в построениях общества и государства.

Теперь этот период развития пришел к концу. По мере того, как стало выясняться, что человек есть органическая часть природы, что мир его идей и понятий не имеет объективного существования и есть лишь результат его умственных процессов над явлениями внешней и внутренней его жизни, точка зрения человека на окружающее и самого себя должна была существенно измениться. Выделение человеком себя из всего остального мира и перенесение из последнего точки опоры в создания его психической деятельности должно было прекратиться и уступить место другому воззрению, в котором точкой отправления является не единичный человек, а человеческое общество, которого он лишь член, в котором он только и может жить и развиваться. Только благодаря общежитию с другими, подобными себе, он и мог стать тем, что есть. Мир знания и науки, играющий такую решительную судьбу в развитии его, открылся перед ним только благодаря обобщениям, которые сделались возможны лишь благодаря общению его с другими людьми. Только в таком общении творческие его силы окрепли и усотерились. Наконец, лишь в общении людей между собою могли зародиться понятия и идеи, которые долго считались исключительным произведением единичного, индивидуального человеческого ума.

Если, таким образом, человек только в обществе себе подобных становится тем, что он есть, и делается способ-

ным к развитию и совершенствованию, то на него и следует смотреть не как на самостоятельную единицу, а как на составную часть целого, подобно органической клеточке, из которых слагается живой организм. Каждая из них живет, но лишь в связи с другими, в составе организма. Так как в человеке дифференциация достигает высшего развития, то человек в обществе стоит гораздо самостоятельнее, может достигать гораздо большего, индивидуального развития, чем составные части всякого другого живого организма. Это и вводит нас в заблуждение относительно положения человека в природе и обществе. Пока не было вполне выяснено, что он составляет их органическую часть, индивидуализм мог быть возведен в безусловный принцип, который как будто находил себе оправдание в мире отвлеченных и обобщенных идей и понятий, которым приписывалось объективное, реальное существование вне действительного мира. При теперешнем состоянии науки и знания, такое отношение к природе и общежитию человека уступило другому, а именно сознанию, что человек находится в полной и совершенной зависимости от природы и общества, кругом ими обусловлен и вне их немыслим вовсе. Чтобы сохранить и, по возможности, улучшить посреди их свое индивидуальное, личное существование, он должен соотноситься с их условиями и законами и, насколько они позволяют, приспосабливать данные в природе и обществе сочетания явлений и фактов к своим личным, индивидуальным нуждам и потребностям. Итак, индивидуальный человек ограничен в своем существовании и в своей деятельности со всех сторон и во всех отношениях природой и обществом.

Такое положение человека, посреди других людей, не выдуманное, не произвольное или договорное, а данное, непроизвольное и неизбежное, может служить прочною основой для научного объяснения тех вечных нравственных истин, которые хранит предание и которые должны лежать во главе угла духовного и нравственного воспитания индивидуального человека с высшими стремлениями в продолжение всей жизни до гробовой доски.

XXII

Человеческое общество только в отвлеченном представлении является единицей; в живой, реальной действительности оно есть собрание людей, связанных единством сожителства и общения. Перенесенное в сферу чувств, оно является высшим нравственным законом — любовью к ближнему. Любовь как чувство единения с людьми не имеет ничего общего с личной дружбой, привязанностью и другими личными чувствами и душевными движениями. Она относится к другим людям в их качестве людей, независимо от их личных достоинств и недостатков или пороков. В этом высшем, отвлеченном значении любовь идеальна, существует вопреки личным несочувствиям и отвращениям. Она должна возвышаться над личными враждами и ненавистями и подавлять их. Отрицательная сторона такой идейной любви есть ненависть не к людям, хотя бы самым недостойным и порочным, а к тому, что в лице их враждебно водворению, осуществлению и укреплению любви к людям. Снисходительность, сострадание, милосердие к людям, кротость и терпеливость в сношениях с ними — суть лишь необходимые последствия идейной любви к людям, которая стоит во главе всех нравственных добродетелей, их общий, высший источник.

Любовь не есть понятие, которое можно анализировать и исследовать. Соответствующее ей общее понятие — предмет научного исследования и знания — есть единение людей в обществе, и притом единение индивидуальное, хотя и пропитанное идеальным элементом и потому идейное. Любовь как чувство есть качество или душевное состояние, которое должно быть присуще индивидуальному человеку вследствие того, что он есть член общежития, сожителства и общения людей. Поэтому-то индивидуальный человек должен носить в себе это чувство всегда, в каждую минуту своей жизни, воспитывать его, развивать, укреплять и усиливать беспрестанным упражнением, ибо только тогда оно обратится в привычку, в плоть и кровь, станет второю его натурой. Заменить любви нельзя ничем: всякая его замена переводит личную, индивидуальную деятельность в сферу общественных комбинаций отвлеченного свойства, в которых непосредственное чувство, непосредственная личная деятельность не принимают участия. Аллегри²¹, бал, спектакль

с благотворительною или общепользною целью хороши в общественном, а не в индивидуальном нравственном смысле, потому что не развивают чувства живой идейной любви к единичным лицам.

В числе добродетелей, которые вменяются людям в обязанность как условия духовного и нравственного совершенства, есть и такие, которые непосредственно относятся к лицу, к его индивидуальной жизни и лишь косвенно действуют на общежитие, подготавливая к нему таких членов, какие нужны для того, чтоб оно в действительности, самым фактом, было тем, чем должно быть, — сожителем и общением нравственно и духовно развитых и, по возможности, совершенных людей. Некоторые из этих добродетелей, каковы, например, умеренность, воздержание, относятся к нравственной и духовной диететике и гигиене: чтобы жить и поступать нравственно, надо обладать собою, уметь держать все свои силы в равновесии, готовыми действовать по нашему расположению; неумеренность, невоздержание расстраивают такое состояние, нарушают равновесие сил, высвобождают те или другие из них из-под нашей власти. Еще более вредно для нашей духовной и нравственной жизни и деятельности, когда такие расстройства делаются хроническими вследствие навыка к неумеренности и невоздержанию. Что касается аскетизма, умерщвления плоти, удаления от соблазнов мира, то это — крайнее развитие умеренности и воздержания под влиянием восточного мировоззрения; ибо нравственное и духовное совершенство требует, прежде всего, борьбы со злом, упражнения душевных сил в уменьи его побеждать; удаляясь от соблазна или устраняя и ослабляя его внешними способами, человек оставляет свои душевные силы в бездействии, не упражняет, не развивает их.

Кроме этих условий нравственного и духовного индивидуального развития, есть целый ряд других, составляющих прямые, положительные и отрицательные прецеденты для достижения на этом пути возможного совершенства. Большинство их предостерегает от естественной склонности поставить свои личные, индивидуальные стремления и требования выше идеальных. Человек никогда не должен терять из вида этой идеальной стороны, отличающей его от остальной природы. Гордость, высокомерие, тщеславие, своекорыстие суть выражения индивидуальных стремлений выдвинуться над другими, стать вы-

ше их, не во имя призвания и требований общественной жизни и пользы, а во имя своего личного я. Смирение, которое многими очень ошибочно смешивается с раболепством и самоунижением, а на самом деле есть скромность, простота, признаваемая иными также ошибочно за синоним глупости, ничтожности и неразвитости,— выражают душевные качества человека, привыкшего смотреть на себя как на равного с другими людьми и, несмотря ни на какие свои преимущества перед ними, не забывающего, что, по идеальному представлению о человеке, он ничем не лучше других и очень далек от идеального совершенства. Наконец, чувство веры, надежды и покорность судьбе суть необходимые условия и предпосылки всякой деятельности вообще, а тем более духовной и нравственной. Без веры (мы разумеем здесь под верою не положения догматов, а субъективное настроение), то есть без твердой решимости и убеждения, без надежды достигнуть цели, никакое дело невозможно. Покорность судьбе не имеет ничего общего с дряблостью при встрече с препятствиями; она, напротив, мужественное признание того, чего нельзя ни предвидеть, ни отворотить. Чтобы жить и действовать, надо уметь прямо смотреть в глаза черствой правде, выносить неудачи, не падать духом и принимать всякие превратности судьбы без малодушного и бесполезного ропота. Кто идет путем такого духовного и нравственного развития и совершенствования, тот будет чист душой, ясна и светла будет его внутренняя жизнь, радость и душевное спокойствие будут его уделом.

Таковы основания нравственности, проповедуемые религией. Они нисколько не противоречат науке и не имеют с нею ничего общего. Они не дают никакой объективной формулы того, что нравственно и что безнравственно, потому что относятся к строю чувств и внутренней деятельности, а не к внешним поступкам. Круг действия этих прецептов ограничивается тем, что происходит в нашей душе, прежде чем оно выльется в доступном для других поступке. В этом смысле мир нравственных движений не от мира сего; нравственность, по ее общечеловеческому значению, не знает различий состояний и общественного положения, пола, возраста, народности, времени и места. Но в этом высшем значении нравственное учение ставит идеал высшего совершенства, едва ли для кого-либо вполне достижимый. Такие же недостижимые идеалы ставит и наука, и общественная и политическая жизнь, и всякого

рода и вида человеческая деятельность, почему и нельзя ставить этого в упрек именно этому учению и тем объяснять пренебрежение и забвение, которым оно подвергалось в наше время. Причины должно искать в том, что, будучи основано на предании, оно подвергалось одной с ним судьбе с того времени, когда наука, исследование отвергли авторитет предания и на его место поставили достоверность критического знания. Но, как сказано, нравственные идеалы, не противореча знанию и относясь исключительно к индивидуальной человеческой деятельности, к нравственному и духовному развитию отдельного лица, составляют насущную потребность жизни и необходимую подкладку правильного человеческого общежития. Общество состоит из людей; каковы они, таково будет и общество, и таково же и общежитие. Если большинство их не будет иметь перед собою нравственного идеала как руководства в индивидуальной жизни и деятельности, общество не может жить и развиваться правильно, захудает и расстроится. Вот почему в эпохи упадка везде и всегда выступали во имя высших идеалов индивидуальной человеческой жизни и деятельности, которые потом служили точкой опоры для возрождения померкнувшей общественной жизни. С такого же нравственного идеала, отысканного вновь и вынесенного из-под спуда, под которым он похоронен, должно начаться и обновление современной общественной жизни. Религиозные стремления нашего времени имеют это значение. Они не протест против науки, а заявление потребности, которая недостаточно еще выяснилась в сознании людей.

XXIII

Не все люди способны возвыситься до усвоения себе идеала нравственного совершенства; еще меньше число тех, которые стараются осуществить его в действительности. Огромное большинство преследует ближайшие цели, старается удовлетворить прежде всего ближайшим потребностям и нуждам, не умея или не желая подчинить их высшим, более отдаленным и высоким задачам и целям. На этом пути люди в своих стремлениях, жизни и деятельности встречаются друг с другом далеко не с намерением добровольно себя ограничить в пользу ближнего, а напротив, достигнуть своей цели, удовлетворить своим желаниям. Отсюда — столкновения, хотя бы и не вра-

ждебные, но во всяком случае требующие проведения граничной черты между деятельностью и притязаниями разных лиц, возможно точного определения круга, за который никому выходить нельзя и не должно, в интересах всех и каждого и правильного, мирного течения общежития. Такие границы деятельности отдельных лиц ставит обычай или положительный закон, право, которое, будучи переведено в чувство, становится справедливостью. Право не есть идея, которая воплощается между людьми; оно лишь отвлеченное понятие от бытового факта, обусловленного сожительством людей. Право и соответствующее ему идейное чувство справедливости не принадлежат к числу тех высших субъективных добродетелей, из которых слагается нравственность. Они вызваны не внутренней жизнью людей, а их внешними отношениями между собою, когда эти отношения требуют точного определения границ деятельности каждого. В этом смысле право более относится к объективному миру, чем к субъективному, личному, душевному. В развитии своем право вполне подпадает под законы мышления, логики, как всякие другие отвлечения и обобщения действительных явлений. Право имеет дело не с единичным действительным человеком, а с отвлеченным понятием о человеке в составе общества, в отношениях его к другим людям, тоже возведенным в отвлеченное понятие. Оттого право приводит в своем развитии к равенству и относительной свободе, в смысле неприкосновенности и полного простора действия в пределах отведенного круга или границ, обозначенных общим отвлеченным образом. В этом состоит и сила, и слабая сторона права. Создавая между людьми границы общего и отвлеченного свойства, оно удовлетворяет потребностям правильного общежития во всех тех случаях, когда нравственная, субъективная сторона недостаточно сильно развита, чтобы предупредить или сдержать столкновения между людьми; недостаточность же права заключается в том, что, меряя всех людей одною общею, отвлеченной меркой, и притом, имея дело с людьми не с их внутренней личной стороны, а только с их внешними поступками, право не может всегда и во всех случаях совпадать с полною, безусловною справедливостью, которая предполагает особую мерку для каждого отдельного человека.

На этой своей ступени право имеет дело с отдельными людьми, хотя и возведенными в отвлеченные едини-

цы. Далее оно уже теряет из вида людей и имеет дело только с общими условиями общественной и политической жизни и определяет их соответственно с ее потребностями и нуждами. В конце концов, эти нужды и потребности указываются пользами и нуждами единиц, из которых состоит общество; но так как эти потребности крайне разнообразны и далеко не у всех людей одинаковы, то право на этой ступени вынуждено руководствоваться в своих определениях не потребностями единичных людей, а целых их групп и слоев, соображенных с условиями общественного и политического быта. Вот почему государственное, политическое и административное право, гораздо более чем частное или так называемое гражданское, имеют объективный характер и устанавливают механизм, прилаженный к потребностям общества, в котором интересы единичных людей отодвинуты на второй план, не имеют, по крайней мере, не должны иметь непосредственного значения и влияния. Механизм этот только покоится на живых людях, существует для них и ими держится. Помимо живых человеческих единиц механизм политический и административный не имеет никакого смысла и значения. Наука, делая его предметом своих исследований, никогда не должна забывать, что между ними и механизмами природными есть существенная разница. Последние тоже состоят из единиц, но в которых субъективная, личная жизнь так мало развита, что ее можно отбросить из соображений и выводов, не впадая в важную ошибку, не отдаляясь чувствительно от истины, но и тут природа неорганизованная и организованная, атомы и клеточки, представляют уже весьма значительную разницу, оказывающую существенное влияние на самую жизнь тел. Тем больше должно быть влияние на жизнь организма, когда он состоит из единиц, которые, кроме общей, имеют еще и свою сильно развитую индивидуальную жизнь: последняя не может не иметь огромного значения в жизни, деятельности и развитии механизма, которому такие единицы служат подкладкой. Индивидуальную жизнь составных частиц нельзя отбросить из соображений и выводов об условиях и законах развития механизмов, на которых последние построены, не впадая в весьма грубые ошибки. Жизнь и развитие человеческих обществ основаны, в конце концов, на жизни единичных людей. Так как субъективная, духовная и нравственная сторона играет в жизни индивидуальных людей огромную роль,

давая ей направление и служа регулятором и камертоном, то из этого следует, что личное духовное развитие и нравственность людей имеют большое значение и играют важную роль в общей экономии социальной жизни и не могут быть выключены из политических и государственных соображений и построений, как это делается, к сожалению, слишком часто. Без правильного духовного и нравственного развития людей не может быть и правильной политической, государственной и общественной жизни, ибо последняя есть только высшая, общая и отвлеченная форма первой.

XXIV

Мы остановились с большим вниманием и подробностью на значении религии и нравственности и их отношениях к знанию, науке и критике, потому что к ним сводятся все вопросы нашего времени, относящиеся, по-видимому, совсем к другим предметам. Чего бы мы ни коснулись, о чем бы ни заговорили — все приводит нас непременно к вопросу о религии, нравственности и науке. Неясность, сбивчивость или ошибочность понятий об этих предметах есть больное место нашего времени, источник всех наших нравственных зол и страданий, наших колебаний, непоследовательности, увлечений и, в конце концов, уныния и отчаяния. Теперь, когда великое движение умов, охватившее все европейские народы с конца XVII века, начинает отстаиваться, для мысли открываются новые просветы, обещающие многострадальному роду человеческому мир, отдых и врачевание глубоких душевных язв.

Для нас, русских, наименее захваченных титанической борьбой, которая разыгралась в Европе, легче критически отнестись к ее результатам. Там каждый вывод был выстрадан, взят с боя и потому пробороzdил неизгладимый след в сердцах и жизни. Мы только начинаем жить более сложную культурную жизнь, в которой другие европейские народы давно уже искусились и стали мастерами, и потому можем и должны свободно, обдуманно, с критикой и проверкой каждого шага, прокладывать себе путь. Вместо того, что же мы видим вокруг себя? Пустоту, уныние или апатию, крайнюю близорукость, недомыслие и нескончаемые пререкания различных направлений, вертящиеся на мелочах и приправленные взаимными недо-

стойнейшими укоризнами и заподозриваниями, представляющими всех мыслящих людей в России каким-то отребьем рода человеческого, каждую мысль — каким-то злоумышлением против отечества и драгоценнейших благ жизни. Что может быть печальнее и вместе отвратительнее этого? С каким-то непонятным остервенением мы все глубже и глубже вязнем в тине и болоте и как будто упиваемся запахом его вонючих испарений.

До такого состояния мы доведены полным отсутствием руководящих направлений, идей и целей. Закопавшись по уши в мелочные дразги, споры и личные счеты, мы потеряли смысл русской действительности, инстинкт и чутье правды, которая одна может поднять наши силы, построить нашу мысль на человеческий лад, возродить нашу веру в себя, окрылить надежду на лучшие времена. Мы видели, что ни одно из направлений, которые прежде давали строй русской мысли и развитию, не удержалось в руководящей роли; все сошли со сцены. Что же теперь начать? Прежде всего, надо перестать поедом есть друг друга, заподозривать, инсинуировать, злобиться и глумиться. В рядах последователей всех направлений, без всякого исключения, есть честные и убежденные люди, как есть глупцы и негодяи, и нет ни единого взгляда или мнения, тоже без малейшего изъятия, которое не было бы вызвано тою или другою стороною явлений действительной жизни. Весь вопрос, стало быть, в том, правильно ли сделан вывод из явления или факта, а вовсе не в том, сделан он честными людьми с доброю целью или негодяем с злыми намерениями. В критике воззрений нравственная сторона не играет никакой роли и вовсе не должна быть принимаема в расчет. Раз мы станем на почву обсуждения, чуждую нравственной оценки, все воззрения окажутся тем, чем они и бывают на самом деле, — именно освещением с разных сторон одного и того же предмета. Разные точки зрения только потому исключают друг друга, что видят только эту одну сторону и не видят других, столько же несомненно существующих в предмете. Убедившись в правильности такого заключения, останется сделать только шаг, чтобы создать одну сомкнутую русскую национальную интеллигенцию, которая охватит все направления и течения русской мысли со всеми их оттенками. Унисона в ней не будет, да он вовсе не желателен: только разные взгляды на предмет ведут к полному его выяснению; но разные мнения будут исходить из одной

общей почвы, иметь в своем основании одну общую широкую предпосылку, исключаящую личные пререкания и цензуру нравственности. Из-за слабых сторон разных направлений русской мысли мы проглядели сильные, доставившие им во время оно влияние и выдающееся положение. Надо отбросить их слабые стороны и разработать общим трудом сильные и влиятельные. Тогда только мы уясним себе, что мы такое между другими народами, предложим себе пути, наиболее свойственные нашему народному гению, и внесем лепту своего труда в общую сокровищницу, накопленную работою всего рода человеческого. Только этим способом мы можем стать чем-нибудь, если вера в наше народное величие не есть мечта Маниловых и мы не осуждены, подобно илотам между народами, унавозить нашу почву для других, более талантливых и достойных работников на поле всемирной истории²².

ПРИМЕЧАНИЯ

Будучи человеком разносторонне одаренным, увлекавшимся, всю жизнь интенсивно работавшим, К. Д. Кавелин оставил богатое и разнородное наследие — публицистические статьи, академические трактаты, очерки и заметки, посвященные ключевым проблемам истории, философии, психологии, этнографии, искусства, а также значительный корпус мемуарных текстов, представляющих собой ценнейший источник для изучения интеллектуальной жизни середины XIX века. Некоторые его труды, особенно исследования по этике и психологии, хотя и вызвали отклики в печати, оказались в прошлом столетии на периферии общественного сознания. Другие — прежде всего статьи по философии русской истории и культуры — получили колоссальный резонанс, заметно повлияв на русскую историческую и общественную мысль. Именно эти работы, высоко оцененные современниками, положены в основу настоящего издания.

В послереволюционное время сборник статей Кавелина выходит впервые, поэтому в него не включены те, безусловно, значимые, но относительно доступные работы, которые уже появлялись в советской печати: адресованная Александру II записка «О нигилизме и мерах, против него необходимых» (1866; опубликована П. А. Зайончковским. — См.: З а й о н ч к о в с к и й П. А. Записка К. Д. Кавелина о нигилизме // Исторический архив. М., 1950. Т. V), а также ходившая по рукам накануне реформы «Записка об освобождении крестьян в России» (1855), вошедшая в обширных извлечениях и в работу Н. Г. Чернышевского «О новых условиях сельского быта» (см.: Ч е р н ы ш е в с к и й Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1950. Т. V. С. 109—135), и в «Голоса из России» (см.: Голоса из России: сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Факсим. изд-е. М., 1974. Вып. 1. Кн. III. С. 114—144; о других статьях Кавелина в этом издании см.: Там же. М., 1975. Вып. 4. Кн. X. С. 44—53, 62—64). Исключение сделано лишь для очерка «Воспоминания о В. Г. Белинском»: хотя он неоднократно печатался в составе сборников «В. Г. Белинский в воспоминаниях современников» (последнее изд-е — М., 1977), мемуарное наследие Кавелина, включенное в настоящую книгу, без этого очерка предстало бы в деформированном виде.

Основная часть трудов Кавелина увидела свет при жизни автора и затем была переиздана в его собраниях сочинений, первое из которых (М., 1859. Ч. 1—4) выходило под наблюдением самого Кавелина и не

содержало значительных разночтений с первопечатными текстами. Второе, посмертное собрание сочинений (СПб., 1897—1900. Т. 1—4; далее при ссылках на это издание в тексте Примечаний указываются только том и страница), значительно расширенное за счет работ, написанных после 1859 г., было подготовлено племянником Кавелина историком Д. А. Корсаковым и Л. З. Слонимским, имевшими в своем распоряжении рукописи кавелинских работ, в том числе ранее не опубликованных. К сожалению, основная часть этих рукописных источников позднее была утрачена (об их судьбе см.: З и м и н а В. Г. Архив Кавелиных // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. М., 1978. Вып. 39), что придает особую ценность этому второму (и последнему) собранию сочинений, снабженному обстоятельной вступительной статьей, библиографией трудов Кавелина и работ о нем, а также краткими примечаниями почти ко всем статьям. Тем не менее принятые в прошлом веке вольные эдиционные принципы не позволяют рассматривать это издание как авторитетный источник текста. Поэтому в настоящем сборнике в основу текстов положены последние прижизненные публикации и лишь в особо оговоренных ниже случаях, а также при исправлении опечаток и явных смысловых несообразностей использован текст посмертного собрания сочинений.

Орфография и пунктуация Кавелина приведены в соответствие с современной нормой, однако сохранены некоторые особенности авторских написаний, несущие смысловую нагрузку или отразившие речевой этикет XIX века. Кроме того, поскольку творческая жизнь Кавелина охватила значительный период времени — более четырех десятилетий (1840—1880-е гг.), в течение которых речевая норма эволюционировала, различные написания одних и тех же слов не унифицированы. Орфография имен собственных, а также названий литературных произведений в тех случаях, когда она отражает широко бытовавшую практику, не приводится в соответствие с современной. Конъектуры даются в угловых скобках.

Материал расположен в хронологическом порядке. Комментарии к статьям «Взгляд на юридический быт древней России», «Дворянство и освобождение крестьян», «Краткий взгляд на русскую историю», «Мысли и заметки о русской истории», «Взгляд на русскую сельскую общину», «Философия и наука в Европе и у нас», «Разговор», «Письмо Ф. М. Достоевскому», «Наш умственный строй», «Наши недоразумения», «Злобы дня» написаны В. К. Кантором; комментарии к статьям «Ответ „Москвитянину“», «Т. Н. Грановский», «Воспоминания о В. Г. Белинском», «Белинский и последующее движение нашей критики», «Авдотья Петровна Елагина», «Московские славянофилы сороковых годов», «О задачах искусства», «Мефистофель Антокольского» написаны О. Е. Майоровой.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Анненков* — Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960
Белинский — Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1952—1959
ВЕ — «Вестник Европы»
Воспоминания — Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977
Герцен — Герцен А. И. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1954—1962
Грановский — Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. 2
Достоевский — Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972—1989
Зими́на — Зими́на В. Г. Архив Кавелиных // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. М., 1978. Вып. 39
К — Кавелин
ЛН — «Литературное наследство». Т. 1—97. М., 1931—1988.
ОЗ — «Отечественные записки»
Панаев — Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1988
Писарев — Писарев Д. И. Сочинения: В 4 т. М., 1955—1956
Письма — Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену. Женева, 1892
РА — «Русский архив»
РВ — «Русский вестник»
РМ — «Русская мысль»
РС — «Русская старина»
Самарин — Самарин Ю. Ф. Сочинения. М., 1877—1911. Т. 1—10, 12
Совр. — «Современник»
Сочинения — Кавелин К. Д. Собр. соч.: В 4 т. М., 1859
Тургенев — Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч. Т. 1—12. М., 1978—1986
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР
Чаадаев — Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М., 1988
Чернышевский — Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1939—1953

Авторы комментария приносят глубокую благодарность В. Г. Зиминой, рецензировавшей рукопись сборника и сделавшей ряд полезных замечаний, а также В. А. Мильчиной и Ал. В. Михайлову за ценную помощь в работе.

ВЗГЛЯД НА ЮРИДИЧЕСКИЙ БЫТ ДРЕВНЕЙ РОССИИ

Впервые — *Совр.* 1847. Т. 1. Кн. 1. Отд. 2. С. 1—52. Печатается по: *Сочинения*. 1. 305—379. Написана на основе курса лекций по истории русского права, читанного К в Московском университете в 1844—1848 гг.

В 1846 г. в связи с замыслом альманаха «Левиафан» (см. об этом примеч. 46 к статье «Воспоминания о В. Г. Белинском»), Белинский писал Герцену о К.: «Его лекции, которых начало он прислал мне (за что я благодарен ему донельзя), — чудо как хороши; основная мысль их о племенном и родовом характере русской истории в противоположность личному характеру западной истории — гениальная мысль, и он развивает ее превосходно. Ах, если бы он дал мне статью, в которой бы он развил эту мысль, сделав сокращение из своих лекций, я бы не знал, как и благодарить его» (*Белинский*. XII. 225).

В своем исследовании К опирался на «Философию истории» Гегеля (1837) и книгу И. Ф. Г. Эверса «Древнейшее русское право в историческом его раскрытии» (СПб., 1835). См. об этом: Цамутали А. Н. Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX века. Л., 1977. С. 8—9. Теоретический подход К к истории не был однозначно оценен в кругу западников: «Статья Кавелина была бы несравненно лучше, если б не была написана с немецко-философской точки зрения» (Боткин В. П. Литературная критика. Публицистика. Письма. М., 1984. С. 264). Напротив, в трактате «О развитии революционных идей в России» (1850) Герцен отзывался о работе К как о значительном явлении в становлении национального исторического самосознания: «Статья представляла собою ясное и сильное изложение темы, основанное на углубленном изучении русского права; она развивала мысль о том, что личное право никогда не удавалось юридического определения, что личность всегда поглощалась семьей, общиной, а позже государством и церковью. Неопределенное положение личности вело, согласно автору, к такой же неясности в других областях политической жизни. Государство пользовалось этим отсутствием определения личного права, чтобы нарушать вольности; таким образом, русская история была историей развития самодержавия и власти, как история Запада является историей развития свободы и прав» (*Герцен*. VII. 244). Точка зрения К была все же не столь радикальной, он пытался обосновать особый путь России к личностному началу: «У нас не было начала личности: древняя русская жизнь его создала; с XVIII века оно стало действовать и развиваться» (настоящее изд. С. 66). О реакции славянофилов на концепцию К см. примеч. к статье «Ответ Москвитянину».

Статья К долгие годы воспринималась как программный документ западничества. Критический ее анализ дан в книге: Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. СПб., 1884. С. 389—395. Основной упрек сводился к тому, что К, как и С. М. Соловьев, думая, что показывает вхождение России в «общечеловеческую цивилизацию», принижал древнерусскую жизнь как «нечто отрицательное, что подлежало разрушению» (Там же. С. 395). Об этом же см. в мемуарах А. Н. Афанасьева (*РС*. 1886. № 8), бывшего студента К: «Автор, поставив краеугольным камнем своего труда личность, не объяснил точно, какой дает объем этому понятию и в какой мере справедливо отрицает влияние личностного начала во

всей допетровской истории; во всяком случае, едва ли верно приписано такое позднее развитие личности в юридической сфере наших предков. Это уступка придуманной системе и некоторым увлечениям западной партии» (Афанасьев А. Н. Народ-художник. Миф. Фольклор. Литература. М., 1986. С. 295—296). Подробнее об исторических взглядах К см.: Цамутали А. Н. Ук. соч. С. 23—34, 41—46, 161—184.

¹ Применительно к Киевской Руси утверждение носит спорный характер. По словам С. М. Соловьева, «Киев был обязан своим благосостоянием тому, что служил складкою товаров между Южною и Северною Европою» (Соловьев С. М. Соч.: В 18 кн. М., 1988. Кн. 1. С. 240).

² Речь в данном случае о том, что русское монашество вело свое происхождение из Византии и, в отличие от западноевропейского, никогда не разбивалось на ордена, сохраняя единство.

³ *Местничество* — порядок назначения в Русском государстве XV—XVII вв. на высокие судебно-административные и военные должности, определявшийся положением феодала на сословно-иерархической лестнице. Название «местничество» произошло от обычая считаться «местами» (за столом и на службе). Место зависело от «отеческой чести», которая слагалась из двух элементов — родословной принадлежности и служебной карьеры самого боярина и его предков. Местнические споры разбирали царь и Боярская дума. Отменено при царе Федоре Алексеевиче в 1682 г.

⁴ К не случайно так осторожно говорит о *почти несомненной достоверности* ранней русской истории. В 40-е годы еще свежа точка зрения основателя «скептической школы» М. Т. Каченовского, подвергавшего сомнению подлинность многих летописных сообщений. Полемику К с М. П. Погодиным (1847) в поддержку Каченовского см.: 1. 100—102.

⁵ Среди *взглядов и теорий* русской истории прежде всего необходимо отметить «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева (1828—1829, опубл. 1836), отрицавшего наличие богатой исторической жизни в России; а также концепцию славянофилов, о которых К писал (ОЗ. 1846, № 7), что они строят фантастические теории «в рассуждениях о том, какое племя лучше и как бы этак сделаться великими и создать новую науку» (1. 705).

⁶ Речь идет о М. П. Погодине, в начале своей научной деятельности отрицавшем возможность теоретического подхода к историческому процессу, но во второй половине 40-х гг. активно защищавшем теорию своеобразия русской истории. Ср.: «Особенно странно в г. Погодине то, что, отзываясь неблагоприятно о системах и теориях русской истории, он сам как бы невольно их строит» (1. 105).

⁷ Впоследствии (см. в настоящем изд. статью «Мысли и заметки о русской истории») под влиянием новых исследований К понимал этот этнический процесс много сложнее, особо выделяя из «русских славян» великороссов, видел в их происхождении (в результате смешения «рус-
18. К. Д. Кавелин

ских славян» с племенами финского происхождения) «интимную внутреннюю историю русского народа» (настоящее изд. С. 185).

⁸ Речь идет о сборе подати с души.

⁹ Татары не предпринимали попытки обратить русских к *исламу*. По сообщениям путешественников XIII в., приводимых С. М. Соловьевым, татары проявляли «необыкновенную терпимость» по отношению к «чуждым вероисповеданиям» (Соловьев С. М. Ук. соч. Кн. II. С. 145).

¹⁰ *Правеж* — взыскание долга, денег, с истязанием.

¹¹ См. примеч. 7.

¹² Проблема отсутствия благодатной исторической почвы для развития славянских племен, с чем связывалось отставание от Европы, широко обсуждалась в русской литературе 40-х гг. Ср.: «Недостатки нашей народности вышли не из духа и крови нации, но из неблагоприятного исторического развития. Варварские тевтонские племена, нахлынув на Европу бурным потоком, имели счастье столкнуться лицом к лицу с классическим гением Греции и Рима — с этими благородными почвами, на которых выросло широколиственное, величественное дерево европеизма» (Белинский. V. 128).

¹³ Здесь К следует гегелевскому пониманию исторической роли христианства: «Благодаря христианской религии <...> человек, рассматриваемый как конечный для себя, есть в то же время и образ божий и источник бесконечности в нем самом; он есть самоцель, имеет в самом себе бесконечную ценность и назначен для вечности» (Гегель Г. В. Ф. Собр. соч.: В 14 т. М.; Л., 1935. Т. VIII. С. 314).

¹⁴ Ср. у Гегеля: «Всякий индивидуум существует у германцев как свободный для себя» (Там же. С. 328).

¹⁵ Цитата из «Повести временных лет». См.: *Повесть временных лет*. М.; Л., 1950. С. 214.

¹⁶ *Целовальник* — тот, кто принял присягу, целовал крест.

¹⁷ М. П. Погодин и С. М. Соловьев придерживались точки зрения о норманском происхождении «варягов-руси». Сводку иных точек зрения дает В. О. Ключевский: «*Татищев* и *Болтин* выводили русь из Финляндии. *Ломоносов* <...> — из Прусской земли: Руссия — это Пруссия; *Гольман* — из Рустринии, т. е. из Фрисландии; *Эверс* — из Хозарии; *Венелин*, *Морошкин*, *Максимович*, *Савельев* и в последнее время *Гедеонов* и *Забелин* — из балтийских славян; <...> *Костомаров* — из Литвы; *Щеглов* — из мордвы, вообще из поволжских финнов; *Юргович* выводит русь из каких-то угро-хозар» (Ключевский В. О. Соч.: В 8 т. М., 1956—1959. Т. 6. С. 130).

¹⁸ О том, что варяги *сажали своих мужей* в покорившихся им славянских городах, см. «Повесть временных лет» (Ук. изд. С. 216).

¹⁹ Об этом см.: Эверс И. Ф. Г. Ук. соч. С. 56—58.

²⁰ О *завещании Ярослава* (1054) см. «Повесть временных лет» (Ук. изд. С. 308).

²¹ *Торки* — тюркоязычное племя, кочевавшее в южнорусских степях в X—XII вв.

²² Владимир Мономах и Мстислав Великий пытались сохранить единство Киевской Руси под началом великого князя. См. об этом: Соловьев С. М. Ук. соч. Кн. I. С. 360—404.

²³ Имеются в виду следующие эпизоды из «Повести временных лет» — за 970 г.: «И сказали новгородцы Святославу: «Дай нам Владими-ра». Он же ответил им: «Вот он вам» (Ук. изд. С. 247); за 1015 г.: «Ярослав же не знал еще об отцовской смерти, и было у него множество варягов, и творили они насилие новгородцам и женам их. Новгородцы восстали и перебили варягов» (Ук. изд. С. 295).

²⁴ На протяжении XII—XV вв. Новгород являлся боярской республикой с вечевой формой правления. Его основой было вече — собрание богатых граждан, избиравших из своей среды руководителей — тысяцкого и посадского. Князь занимал в этой структуре подчиненное положение, так как новгородцы обладали правом приглашения и изгнания не-угодных князей. Торговые связи Новгорода распространялись от Фландрии и ганзейских городов до Югорской земли и от Скандинавии до Астрахани и Константинополя. Расположение Новгорода на стыке путей «из варяг в греки» способствовало развитию в нем ремесел, торговли, культуры. См.: Янин В. Л. Новгородские посадники. М., 1962; он же. Новгородская феодальная вотчина: Историко-генеалогическое исследование. М., 1981.

²⁵ *Посадник* — начальник, старшина города или посада, выборный воевода (в Новгороде); *тысяцкий* — начальник полиции и расправы в Новгороде; *смерды* — свободное сельское население. См.: Ключевский В. О. Ук. соч. Т. 6. С. 144—157.

²⁶ *Кормленщиками* назывались наместники областей, получавшие вместо жалованья право взимать пошлину.

²⁷ Вопрос о влиянии монгольского ига на становление русского самодержавия активно обсуждался русскими историками и мыслителями. Мысль К. спустя несколько лет (1850) подхватит Герцен: «Оправившись мало-помалу от учиненного монголами разгрома, русский народ очутился лицом к лицу с царем, с неограниченной монархией, гнет которой был особенно тяжким благодаря влиянию, приобретенному ею под сенью ханской власти» (Герцен. VII. 162). О влиянии «монгольского права» на развитие русской государственности см. также фундаментальное исследование (1851) члена-корреспондента Петербургской академии наук К. А. Неволлина «История российских гражданских законов» (Неволин К. А. Полн. собр. соч. СПб., 1858. Т. IV. С. 136).

²⁸ *Ордынский выход* — дань, платимая русскими князьями татарским ханам.

²⁹ Речь идет о Василии Ивановиче Шемячиче, князе Новгород-Северском. О *юродивом с метлой* см. в записках австрийского дипломата XVI в.: Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 41.

³⁰ К имеет в виду следующее высказывание Петра I об Иване Грозном: «Этот государь <...> мой предшественник и пример. <...> Только глупцы, которые не знают обстоятельств его времени, свойств его народа и великих его заслуг, называют его тираном» (Подлинныя анекдоты о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным: В 4 частях. М., 1830. Ч. II. С. 14).

³¹ Под *современниками* в данном случае имеется в виду прежде всего князь Андрей Курбский, обличавший Ивана Грозного. См.: С к а з а н и я князя Курбского. СПб., 1833.

³² *Окольничий* — придворный чин, предшествующий чину боярина, давал право на участие в Думе.

³³ См. у Карамзина: «Ему первому дали в России имя *Грозного*, но в похвальном смысле: грозного для врагов и строптивых послушников. Впрочем, не будучи тираном подобно своему внуку, Иоанну Васильевичу, он без сомнения имел природную жестокость во нраве, умеряемую в нем силою разума» (К а р а м з и н Н. М. История государства российского. СПб., 1817. Т. VI. С. 329).

³⁴ *Судебник Иоанна III* (1497) — первый общерусский свод законов. Основной проблемой Судебника была организация судопроизводства. См. об этом: З и м и н А. А. Россия на рубеже XV—XVI столетий (очерки социально-политической истории). М., 1982. С. 110—138.

³⁵ *Окладные книги* содержали ежегодное распределение разных даней.

³⁶ *Губа* — судебный округ; *губной староста* занимался уголовными делами по губе.

³⁷ *Судебник Иоанна IV* (1550) ограничил власть наместников, способствовал усилению централизованных государственных судебных органов. См. об этом: З и м и н А. А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960.

³⁸ Были широко известны народные песни и баллады, говорившие об Иване Грозном как мудром и справедливом царе. См.: И с т о р и ч е с к и е п е с н и XIII—XVI веков. М.; Л., 1960. С. 123—492, 532—542.

³⁹ *Разделение на опричнину и земщину* было упразднено в 1572 г.

⁴⁰ Имеется в виду указ Федора Иоанновича (1597) о 5-летнем сыске беглых крестьян («урочные лета»), бежавших после 1592 г., и указ Василия Шуйского (1607) о 15-летнем сыске беглых крестьян.

⁴¹ Речь идет о Смутном времени, на которое падают царствование Лжедмитрия (1605—1606), царствование Василия Шуйского (1606—1610), крестьянская война Ивана Болотникова (1606—1607), провозглашение царем польского королевича Владислава (1610), нашествие поляков, восстание в Москве против иноземцев (1611), освобождение Москвы народным ополчением под предводительством К. З. Минина и Д. И. Пожарского (октябрь 1612).

⁴² В 1613 г. на престол был избран царь Михаил Федорович, положивший начало династии Романовых.

⁴³ *Тайный приказ*, или Приказ тайных дел, был учрежден в 1658 г. Алексеем Михайловичем, являлся собственной канцелярией царя. Подьячие приказа должны были следить за действиями русских послов и воевод. Здесь также проводились следствия по важнейшим государственным делам. Уничтожен в самом начале царствования Федора Алексеевича (1676—1682).

⁴⁴ Правительствующий *Сенат* был учрежден в 1711 г., *табель о рангах* — в 1722 г.

⁴⁵ Здесь и далее имеется в виду славянофильская критика личности Петра I и его реформ. Ср. характеристику Петра, данную И. Киреевским (1839): «...разрушитель русского и вводитель немецкого» (Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984. С. 126).

⁴⁶ *Аюстазия* (греч.) — ересь, отступление от догматов, от принятых основных положений исповедания.

⁴⁷ Сравнение В. Н. Татищевым указов Петра I с указами Иоанна IV см.: Татищев В. Н. История Российская: В 7 т. Л., 1968, Т. VII. С. 345—347, 363, 372.

⁴⁸ Речь идет об известном в царствование Иоанна III и Василия Иоанновича дипломате Иване Никитиче Берсене-Беклемишеве. Привлечен по делу Максима Грека, которому он будто бы выражал свое недовольство на «переставление обычаев» и «поносил» царя; казнен в 1525 г.

ОТВЕТ «МОСКВИТЯНИНУ»

Впервые — *Совр.* 1847. № 12. Печатается по: *Сочинения*. Ч. 1. С. 380—413 (с исправлением опечаток по тексту первой публикации).

«Ответ „Москвитянину“», вызванный статьей Ю. Ф. Самарина «О мнениях „Современника“, исторических и литературных» (Москвитянин. 1847. Кн. 2), — один из самых заметных эпизодов в истории полемики славянофилов с западниками. К, испытывавший на рубеже 30—40-х гг. существенное влияние славянофилов (см. примеч. к очерку «Авдотья Петровна Елагина»), в дальнейшем, преимущественно на страницах *ОЗ* и *Совр.*, выступал с критикой славянофильской концепции русской истории, квалифицируя взгляды славянофилов как антинаучные и противопоставляя им направление «философско-историческое, которое отыскивает и находит единство и последовательность развития в разнообразнейших событиях <...>» (1. 702). Отстаивая мысль о закономерном движении истории, К выступал единым блоком с Белинским (см.: *Белинский*. X. 17—23). Оба, не принимая славянофильской историософии, считали, однако, полезной их критику «русского европеизма»; оба защищали петровские реформы и вместе с тем полагали, что «настало для России время развиваться самобытно» (*Белинский*. X. 19; ср.: 1. 713—715). Знаменательно, что в состав статьи Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года» — программного выступления обновленного *Совр.*

(1847. № 1) — был включен написанный К разбор исторических сочинений. Об общности их платформы не в меньшей степени свидетельствует целый ряд перекличек между «Ответом „Москвитянину“» К и одноименной статьей Белинского (*Совр.* 1847. № 11; *Белинский*. X. 221—269), также вызванной выступлением Самарина. Совпадением названий обеих статей подчеркивалось единство замысла: работа К, напечатанная вслед за «Ответом...» Белинского, сопровождалась подзаголовком «Статья вторая и последняя». Все это не означало, однако, тождества взглядов. Обсуждая с К комментируемую статью, Белинский писал ему: «... Вы видите, что я вполне и во всем согласен с Вами. Найдутся, впрочем, и несогласия, но не в мыслях, а в оттенках мыслей, о чем писать скучно» (*Белинский*. XII. 461). Известно также, что Белинского не удовлетворил сдержанно-академичный тон статьи К (*Белинский*. XII. 454—457). У К, в свою очередь, вызвали возражения суждения Белинского о Гоголе и натуральной школе (см. ответ Белинского на эти возражения: *Там же*. 432—433, 459—461). Тем не менее и Белинский, и вся редакция *Совр.* придавали исключительное значение «Ответу „Москвитянину“» К, боролись за него с цензурой (см. письмо А. В. Никитенко к И. И. Срезневскому от 12 ноября 1847 г. // *Звенья*. М.; Л., 1935. Вып. 5. С. 497; *Белинский*. XII. 432), поскольку К выступил с развернутой критикой славянофильской концепции русской истории.

По свидетельству Самарина, работа К «Взгляд на юридический быт древней России» «произвела сильное впечатление в Петербурге», что и побудило Самарина вступить с К в полемику (*Самарин*. XII. 192). В свою очередь рецензия Самарина «О мнениях «Современника», исторических и литературных», еще в рукописи обсуждавшаяся в кругу славянофилов, носила программный характер (см.: *Герцен*. VII. 244—245; *Цамутали* А. Н. Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX века. Л., 1977. С. 61—75), что позволило К адресовать «Ответ „Москвитянину“» не только Самарину, но, по сути, всем славянофилам, в первую очередь Хомякову, нападавшему на К в статье «О возможности русской художественной школы» (Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. М., 1847. Цензурное разрешение — 21 февраля 1847 г.). Критика Хомякова касалась центрального пункта спора Самарина с К — проблемы личности. Хомяков утверждал, что исторические взгляды К и его единомышленников сформировались «не в ученом мире, а в общественных кругах, образованных без строгой учености, благонамеренных без истинной решимости на добро и любящих Россию без всякого желания жертвовать самолюбивою личностью своей для святой Руси» (см. Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. М., 1988. С. 144. Примеч. Б. Ф. Егорова — С. 427). В дальнейшем полемика Хомякова с К была продолжена (см.: *Там же*. С. 215—221. Примеч. Б. Ф. Егорова — С. 436; и ниже примеч. 6 к комментируемой статье).

¹ Рецензия Самарина, скрывавшегося за криптонимом М. З. К., была посвящена не только «историческим мнениям» обновленного *Совр.* (т. е. статье К), но и «литературным» — работе А. В. Никитенко («О современном направлении русской литературы») и, главное, выступлению Белинского («Взгляд на русскую литературу 1846 года» — см. выше), развивавшего, как полагал Самарин, идеи К (см.: Москвитянин. 1847. Кн. 2. С. 215; перепечатано: Русская эстетика и критика 40 — 50-х годов XIX века. М., 1982).

² Говоря о возможности спора на этот раз, К метил прежде всего в М. П. Погодина, с которым уже обменялся язвительными репликами, обвинив его в поверхностном знакомстве со своей статьей «Взгляд на юридический быт древней России» и решительно отказавшись вступать с ним в серьезную полемику (см.: Погодин М. П. О трудах гг. Беляева, Бычкова, Калачева, Попова, Кавелина и Соловьева по части русской истории // Москвитянин. 1847. Кн. I; <Кавелин К. Д.> Современные заметки // *Совр.* 1847. № 8. Отд. IV. С. 114—127; Погодин М. П. Ответ моим рецензентам // Москвитянин. 1847. Кн. 3).

³ Это заблуждение и имел в виду К, говоря выше о вреде *теоретического воззрения* Самарина, страстного апологета древней Руси. «В киевском периоде, — писал Самарин в рецензии на статью К, — не было вовсе ни тесной исключительности, ни сурового невежества позднейших времен» (Москвитянин. 1847. Кн. 2. С. 163). Полемизируя с Самариным, К оспаривал исходную мысль славянофильской концепции русской истории, сформулированную еще в 1839 г. Хомяковым в трактате «О старом и новом» (впервые напечатан в 1861 г., но, очевидно, был известен К уже на рубеже 1830—1840-х гг., когда К часто посещал салон Елагиных): «По мере того, как царство русское образовывалось и крепло, изглаживались мало-помалу следы первого, чистого и патриархального состава общества. <...> добро нравственное сохранялось уже только в мертвых формах, лишенных прежнего содержания» (Хомяков А. С. Ук. соч. С. 45—46).

⁴ К имел в виду следующий пассаж из статьи Самарина: «... вскоре после Июльской революции <...> прежняя строптивость и недоверчивость к верховной власти перешла в потребность какого-то крепкого, самостоятельного начала, собирающего личности» (Москвитянин. 1847. Кн. 2. С. 144). Доказывая эту мысль, Самарин приводил конкретный пример: «...взоры многих, в том числе и Жорж Занда, обратились к славянскому миру, который понят ими как мир общины, и обратились не с одним любопытством, а с каким-то участием и ожиданием» (Там же. С. 145). К почти не касается далее этих рассуждений Самарина, поскольку их опровержению Белинский посвятил значительную часть своего «Ответа «Москвитянину»» (см.: Белинский. Х. 264—265). Возможно, еще одним, неназванным объектом полемики в комментируемой статье была работа Хомякова «Мнение русских об иностранцах» (Московский

литературный и ученый сборник. М., 1846), где подчеркивалось, что хотя «мыслителям западным» недоступна «идея общины», но что Запад «сомневается в себе и ищет новых начал <...>» (Хомяков А. С. Ук. соч. С. 119, 134).

⁵ Слово *принижение*, по ошибке набранное вместо «примирения» в тексте рецензии Самарина, вызвало далее резкие нападки К на «доктрину «принижения» личности» (С. 82 настоящего изд.). Лишь через много лет К узнал об этой опечатке (см.: Корсаков Д. А. Последние годы К. Д. Кавелина (1877—1885) // ВЕ. 1888. № 5. С. 8—10).

⁶ К опирался здесь на суждения Белинского, критиковавшего в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» мнения славянофилов «о любви как национальном начале, исключительно присущем одним славянским племенам <...>» (Белинский. Х. 24; курсив Белинского. — О. М.). Хомяков, откликнувшись позднее на эту критику Белинского, возможно, отвечал и на комментируемую статью К (см.: Хомяков А. С. Ук. соч. С. 209).

⁷ Эти суждения К непосредственно соотносятся с размышлениями Белинского («Взгляд на русскую литературу 1846 года»): «Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль; но какое это слово, какая мысль — об этом пока еще рано нам хлопотать» (Белинский. Х. 21).

⁸ *Премисса* (от латинск. *praemissa*) — логическая посылка.

⁹ Отвечая на критику М. П. Погодина в анонимной заметке, К приводил уже подобный аргумент в защиту своей позиции: «...характеризуя эпохи по одним *преобладающим* (подчеркнуто К. — О. М.), ярко выдающимся сторонам, г. Кавелин естественно не мог останавливаться на исключениях» (Совр. 1847. № 8. Отд. IV. С. 120).

¹⁰ Эту мысль вслед за К развивал и С. М. Соловьев в «Истории России с древнейших времен»: «... нельзя представлять себе родового быта идиллически <...>; не надобно забывать, что и у просвещенных народов родственные отношения не исключают вражды, что вражда между родичами считается самую сильною <...>» (Соловьев С. М. Соч.: В 18 кн. М., 1988. Кн. 1. С. 90).

¹¹ О различных точках зрения на проблему призвания варягов см.: 1. 96—163, 463—474; Соловьев С. М. Ук. соч. С. 120—123, 292—296; о позиции К по этому вопросу — см.: Цамутали А. Н. Ук. соч. С. 30—31, 44—46, 70.

¹² Самарин утверждал, полемизируя с К, что христианство внесло в историю не только «идею о бесконечном <...> достоинстве человека» (см. выше статью К «Взгляд на юридический быт древней России»), но и идею «человека, отрекающегося от своей личности <...> и подчиняющего себя безусловно целому» (Москвитянин. 1847. Кн. 2. С. 140). Уклонившись от продолжения этой полемики, К игнорировал стержневую мысль своего оппонента, видевшего в церковном единении вну-

треннюю опору общинного быта (подробнее см.: Ц а м у т а л и А. Н. Ук. соч. С. 66—67). Хотя К назвал взгляд Самарина на религию «несовременным», еще в 1842 г. сам писал Д. А. Валуеву: «... я убеждаюсь, что великое назначение наше, условливающееся нашею историею и характером, есть очищение святой, вечной истины, сказанной и завещанной человечеству ветхим и новым заветом Божиим, от сору и гнили, которыми затемнили ее наши западные братья, менее нас одаренные Богом и менее счастливые условиями исторического образования и развития» (РА. 1900. № 4. С. 580). Очень быстро преодолев эти настроения, К вновь пересмотрел свое отношение к религии в конце жизни. В предисловии к «Задачам этики» он писал о «поборниках науки» 40-х гг.: «Кому из них не думалось, что культура, основанная на знании, должна навсегда упразднить и предания, и этику, делая их ненужными? В сознании торжествующей силы европейской цивилизации <...> мы привыкли смотреть на учение о нравственности как на рассказы старых нянек, удел детского возраста и невежественного простолюдинья» (3. 900). На исходе XIX в. назрело, считал К, обращение к евангельской этике, нуждающейся, однако, в научном обосновании (см. в примеч. 35 к статье «Московские славянофилы сороковых годов»).

¹³ «*Contrat social*» — «Общественный договор» (франц.); речь идет о социально-политическом трактате Ж. Ж. Руссо (1762 г.).

¹⁴ Для Самарина слово «личность» — синоним индивидуализма, отказа от традиционализма; отсюда противопоставление «личности» «человеку», сознающему свое несовершенство и подчинившемуся «родовой норме», закону (см.: Москвитянин. 1847. Кн. 2. С. 144—149). Отстаивая идею личности, К не только развивал основополагающие суждения упомянутого Самариним Ф. Гизо, но и солидаризовался с Белинским, размышлявшим в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» об исключительной роли личности в истории (см.: Белинский. X. 31—32).

¹⁵ Семейное отношение славян к чужеземцам интерпретировалось оппонентами по-разному, в соответствии с исторической концепцией каждого: К оно представлялось следствием господства семейного быта, Самарину — проявлением общинной этики: «Там <...>, где его (иностранца. — О. М.) принимают как родного, очевидно, факт естественного родства обобщился в народном сознании до понятия о нравственном, человеческом родстве <...>» (Москвитянин. 1847. Кн. 2. С. 153).

¹⁶ К не передает важного нюанса мысли своего оппонента. Самарин действительно считал, что идея государства «пробудилась» на Руси самостоятельно и лишь потому привела к призванию варягов, но вместе с тем он писал, что только присутствие варягов и «запечатлело» эту идею, «дало ей внешний образ» (Москвитянин. 1847. Кн. 2. С. 154; ср.: Соловьев С. М. Ук. соч. С. 51—52, 724—725). Позиция К полемически ориентирована и на исторические взгляды Хомякова, признавав-

шего, но ограничивавшего роль варягов в образовании русского государства: «Правительство из варягов представляет внешнюю сторону; областные веча — внутреннюю сторону государства» (Хомяков А. С. Ук. соч. С. 48).

¹⁷ «Ускок от ускочить, убежать» — то же, что и казак (В. И. Даль).

¹⁸ *Le revers de la medaille* (франц.) — обратная сторона медали.

¹⁹ Речь идет о нескольких сочинениях: Миллер Г. Ф. Рассуждение о запорожцах // Чтения в имп. Обществе истории и древностей российских. 1847. № 5; Разные материалы, до истории запорожской касающиеся, собранные российским историографом Г. Ф. Миллером // Там же. № 6; История о казаках запорожских, как оные издревле зачались и откуда свое происхождение имеют и в каком состоянии ныне находятся // Там же (соображения О. М. Бодянского об авторе этой работы см.: Там же. Пагинация 3-я. С. III); Ригельман А. Летописное повествование о Малой России и ее народе и казаках вообще // Там же. № 6—9. Анализируя все эти материалы, К писал в рецензии на «Чтения...»: «Казачество — это поэзия русско-славянского мира. Да и где было ей развиться, как не там, куда каждый, не довольный своим положением, бежал пожить на просторе и где, не стесняемый ничем, он мог по-своему развить и изведать все свои силы?» (1. 763). Более критичные суждения о казачестве К сформулировал позднее в статье «Мысли и заметки о русской истории» (1866).

²⁰ К имел в виду, вероятно, осаду Корсуни, когда, по преданию, Владимир внезапно решил, в случае удачи, принять христианство («Повесть временных лет»). «Это великое событие, — писал К в «Мыслях и замечках о русской истории», — было делом князя и меньшинства народа и шло, как все великие реформы у славян, сверху вниз» (см. настоящее изд. С. 190). Возможно, К намекал и на насильственный характер крещения.

²¹ Слова Ю. Ф. Самарина — см.: Москвитянин, 1847. Кн. 2. С. 165.

²² Грамота митрополита Филиппа новгородцам, с убеждением их покориться Великому князю и не изменять православной вере. 22 марта 1471 года // Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1841. Т. 1. Грамота митрополита Филиппа связана с борьбой православной церкви против польско-литовского влияния в Новгороде.

²³ Речь идет о попытках, нередко успешных, новгородского и псковского веча распоряжаться церковным имуществом. Автор специального исследования писал о владениях новгородского архиепископа: «... при богатстве Софийской казны Великий Новгород считал себя вправе смотреть на нее как на казну общественную и прибегал к материальной помощи владыки при каждом затруднительном случае» (Никитский А. И. Очерк внутренней истории церкви в Великом Новго-

роде. СПб., 1879. С. 52; см. также: Федоров - Грекулов Е. Секуляризация церковных имений в России. М., 1931. С. 19—22). Кроме того, К мог иметь в виду ересь стригольников, отрицавших «спасительную силу церковных священнодействий, совершаемых духовенством «на мзде»»: «Ересь стригольников <...> не осталась <...> без влияния на судьбу церковных и монастырских вотчин в Новгороде и Пскове: в продолжение XIV и XV веков новгородцы и псковичи <...> несколько раз отбирали у церкви и монастырей земли и угодья <...>» (Павлов А. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. Одесса. 1871. Ч. 1. С. 15—16). В 1-м томе «Актów исторических...», на который К ссылался выше (см. предыдущее примеч.), было напечатано несколько документов, связанных с попытками духовенства защитить церковные владения в Новгороде и Пскове. О секуляризации церкви при Петре I, упоминаемой К далее,— см.: Русское православие: Вехи истории. М., 1989. С. 230—262, 544, 548 (там же см. ссылки на обширную литературу вопроса).

²⁴ Обвиняя оппонента в *отрыве* формы от содержания, К защищался от аналогичного упрека в собственный адрес: в рецензии Самарина оспаривалась мысль К о том, что древнерусская жизнь выработала личность лишь «как форму», которой предстояло «принять <...> извне» европейское содержание (Москвитянин. 1847. Кн. 2. С. 151—152, 171).

²⁵ *Tour de force* (франц.) — резкий нажим, насилие.

²⁶ *Тезисы* Самарина о русской истории приведены К полностью в статье «Московские славянофилы сороковых годов» (см. настоящее изд. С. 344).

ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЕЛЬСКУЮ ОБЩИНУ

Впервые — Атеней. 1859. № 2. С. 165—196.

В конце 50-х гг. во время подготовки крестьянской реформы одним из вопросов, оказавшихся в центре внимания, был вопрос о сохранении сельской общины. (Обзор высказываний русских либералов по этому поводу см.: К и т а е в В. А. От фронды к охранительству. Из истории русской либеральной мысли 50—60-х годов XIX века. М., 1972. С. 187—198.) Если либеральные западники (Е. Ф. Корш, Б. Н. Чичерин, поначалу М. Н. Катков) видели в общине только препятствие к экономическому прогрессу и свободе личного предпринимательства, славянофилы (А. И. Кошелев, Ю. Ф. Самарин) — хранительницу устоев, опору национальных форм хозяйствования, то Герцен и Чернышевский, защищая принцип общинного землевладения, по меткому наблюдению их оппонентов (Катков, Самарин), защищали не столько русскую сельскую общину, сколько «коммуну».

К занимал характерную для него позицию компромисса и в этой области. Он полагал, что сохранение общинного принципа (понятого как аренда мелких фирм) наряду с личным землепользованием предохранит Россию от пауперизации и революционного взрыва. Статья писалась для *РВ*, однако журнал потребовал от автора более резкого размежевания со славянофилами. «Наших читателей, — писал К. П. М. Леонтьев, — <...> должны немало удивить похвалы славянофилам» (*РМ*. 1892. № 3. Отд. 1. С. 10). Напечатанная в «Атенее» статья сопровождалась примечанием от редакции: «Читателям «Атеней» едва ли нужно объяснять, что мы не приписываем общинному землевладению того великого значения в будущем, какое провидит для него почтенный автор. Но, помещая здесь его статью как прекрасное изложение мыслей ученого и добросовестного противника, мы делаем это тем охотнее, что далекий от расчетов мелкого самолюбия и дорожа только всевозможным разъяснением вопроса, К. Д. Кавелин, без всякого вызова или даже намека с нашей стороны, сам предложил нам высказать наши разногласия с его взглядом. Мы и исполним это в следующем же номере» (С. 196). В одном из ближайших номеров журнала автор статьи «Общинное управление и общинное землепользование», А. Е. Разин, полемизируя с К, писал: «Для предупреждения анархии вы предлагаете ограничение личной собственности? Так уж отнимите, кстати, и самостоятельность, и свободу каждого члена общества, истребите личность, потому что все бывает перед анархией» (*Атеней*. 1859. № 5. С. 69). В статье «Литературные мелочи прошлого года» (*Совр.* 1859. № 4) К поддержал Добролюбов: «Г. Кавелин напечатал в «Атенее» весьма серьезную статью в защиту общины» (Д о б р о л ю б о в Н. А. Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1962. Т. 4. С. 101).

Сам К следующим образом определял в 1862 г. свои воззрения на русскую общину, их специфику. Он писал А. И. Герцену: «Если ты припомнишь мою статью о русской сельской общине, помещенную в «Атенее» в 1858 году (ошибка автора. — В. К.), то с этой стороны знаешь давно и хорошо мои мысли. Я против индивидуальной личной собственности как исключительной формы землевладения. Я не против ее принципа, но рядом с ней желаю общинного землевладения, как ее корректива, как противовеса против конкуренции, которую оно производит. Так я и теперь думаю. Отсутствие частной собственности, отмена ее — есть величайшая нелепость, вернейший путь к китаизму с пожертвованием начала индивидуальности и свободы. Да этого и сделать невозможно. У нас массы народа рвутся не к общинному землевладению, а к личной собственности. Ту и другую форму нужно сохранить рядом, потому что они дополняют одна другую» (*Письма*. 58—59).

Из более поздних отзывов на статью следует отметить высказывание в 1876 году принципиального противника К — народника Н. К. Ми-

хайловского: «Его прекрасная статья об общинном землевладении, напечатанная в «Атенее» 1859 года, была замечена и оценена по достоинству» (М и х а й л о в с к и й Н. К. Соч. СПб., 1897. Т. III. С. 746).

¹ *Поземельный оброк*, или оброк с земли — плата владельцу или казне за используемый участок земли.

² Против понимания общины только как административной единицы, рожденной крепостным правом (наиболее влиятельный сторонник этой точки зрения был Б. Н. Чичерин), выступил А. И. Кошелев. К, очевидно, имеет в виду его статью «Общинное поземельное владение». «Многие говорят, — писал Кошелев, — что круговое ручательство есть произведение, плод крепостного права <...> Вся эта выходка истекает из того, что не хотят понять, что <...> круговое ручательство вовсе не посягает на личность людей, а основано на общем, поземельном владении (при личном пользовании землею), и что круговое ручательство есть не что иное, как закладный лист на общую землю, как поземельный кредит в простейшей его форме» (Сельское благоустройство. 1858. № 3. С. 120). Кошелев полагал, что административное образование имела как раз западная городская община. «Эти-то понятия об общине г. Чичерин и другие перенесли и на русскую общину и стали утверждать, что наша община есть также произведение администрации» (Там же. С. 120—121). Специфика русской общины, по мнению Кошелева, превращающая ее в нечто иное, чем простая административная единица, — в земельном владении. «Отнимите у нашей общины землевладение, и она превратится в западную, безземельную, безжизненную, административную единицу» (Там же. С. 124).

³ В царствование Екатерины II усиливается перевод имений на оброчную систему, исключавшую непосредственное участие землевладельца в сельскохозяйственных заботах. «Оброчное хозяйство предпочиталось, как наиболее удобное, доходное: оно, во-первых, освобождало землевладельцев от мелких хозяйственных забот; во-вторых, давало помещику, при неограниченном праве возвышать оброк, возможность получать такой доход, которого он не получил бы никогда, сам хозяйничая в селе» (К л ю ч е в с к и й В. О. Ук. соч. Т. 5. С. 149).

⁴ *Свидетельство* выдавалось крепостным крестьянам при отпуске их торговать за пределы имения.

⁵ *Тягло* — условная единица обложения в крепостном хозяйстве XVIII—XIX вв., повинность, взимавшаяся с трудоспособных членов крестьянской семьи.

⁶ К имеет в виду статью Ю. Ф. Самарина «О поземельном общинном владении» (Сельское благоустройство. 1858. № 1): «Я прихожу к убеждению, что в понятиях наших крестьян, в настоящее время, неудобство переделов значительно перевешивается выгодами пропорцио-

нального наделения землею, и потому мы не вправе и не должны потрясать обычая, которым дорожит народ» (*Самарин*. III. 18).

⁷ К цитирует 599 статью кодекса Наполеона: «Пользующийся чужой собственностью не может по истечении срока найма требовать какого бы то ни было возмещения за те улучшения данной собственности, которые, по его утверждению, были им сделаны, хотя бы даже стоимость вещи от этого возросла» (*Code Napoléon*. Paris. 1807. P. 157; *перевод В. А. Мильчиной*).

⁸ «*Sistem des gemeinen deutschen Privatrechts*» (нем.) — «Система общего немецкого права».

⁹ *Meliorationen* (нем.) — мелиорация; *accessiones* (франц.) — присоединение; *impensae* (лат.) — расход, издержка; *expensae* (лат.) — затраты, расход.

¹⁰ *Субаренда* — пересдача в аренду арендуемого кем-либо имущества.

¹¹ *Culpa mea* (лат.) — моя вина.

¹² Имеются в виду теории И. В. Вернадского, И. К. Бабста, Б. Н. Чичерина и др. либеральных западников, выступавших против общины.

¹³ *Акциз* — вид косвенного налога на предметы массового потребления.

¹⁴ «После того, как новым и новейшим прусским законодательством распущены крестьянские общины, промежуточные отношения наследственного землепользования преобразованы в полную собственность крестьянина, подати хотя и по-прежнему сохранены в качестве реальных обязательств, однако начинают упраздняться и облегчаются процентными банками, впредь — когда все эти меры будут до конца претворены в жизнь — останется лишь два разряда крестьянских земельных владений: владения, находящиеся в полной собственности крестьянина и не отягченные обязательствами, и обычно арендуемые владения. Вследствие этого крестьянское право подпадает под действие обычного права. Таковы ход и направление законодательства также и других стран. Весьма сомнительно, что надолго сохранятся преследуемые всеми этими мерами преимущества для крестьян — в условиях продолжающегося раздробления земельных участков, вызываемого этим обеднения и незатрудненного получения залоговых ссуд. Вероятно, по мере того как власть денег будет возрастать, земельная собственность будет все более переходить в руки богачей, и, как показывает пример Северной Италии с ее земельными владениями, находящимися вблизи городов, потомки крестьянина будут почитать себя счастливыми, если в качестве арендаторов будут сидеть на той самой земле, которую возделывали их предки, владевшие ею как собственностью. Фактически сложатся новые формы зависимости арендатора, опасаящегося расторжения договора, от землевладельца; однако при этом исчезнет прежний дух благожелательности и взаимной симпатии, который в прежние времена

вдыхал жизнь в учреждение аренды и давал землевладельцу не только права, но и связывал его обязательствами. По всей видимости, будет так, что арендатор, напрягая все свои силы, сумеет получить большой урожай; однако полученный им доход не вознаградит его за труды, как это бывает тогда, когда норма податей остается неизменной: ведь землевладелец вправе повысить арендный процент после окончания срока аренды. Вероятно, законодательство будет искать способы ограничить дух ростовщичества. Однако тогда, вместе с ограничением свободы землевладельца, по справедливости воспоследует и ограничение свободы арендатора, так что так или иначе необходимо будут созданы тем или иным способом организованные отношения личной зависимости, подобно колонату в Римской империи времен ее упадка. Неверно приносить в жертву принципу безусловной делимости земельных владений наследственные отношения арендного землепользования и тому подобные промежуточные состояния. Подобные формы были благодетельны, ибо способствовали сохранению крестьянского двора, предоставляли крестьянину землю на справедливых условиях, обеспечивали существование его и его детей, а тем самым поощряли трудолюбие и повышали культуру обработки земли. Последствия движения в противоположном направлении уже стали зримы — это катастрофическое падение крестьянского сословия, нищета крестьян, рост деревенского пролетариата. В разных местах уже делаются попытки смягчить принцип делимости. Если только мы хотим сохранить или восстановить наследственные отношения землепользования, то самым полезным было бы в законодательном порядке слить подобные формы наследственной аренды (эмфитезы) в подлинном их разумении и выкинуть за борт теорию дробимой земельной собственности» (*перевод Ал. В. Михайлова*).

¹⁵ «С намерениями безукоризненными и с желанием облагодетельствовать крестьянина все крестьянское сословие губят предоставлением ему права продавать, дробить и отдавать в залог свои земли, — так это и происходит во всем. Самые плоские взгляды стали всеобщими, возобладали, и кто бы ни решал, министерства или сословия, результат всегда один. Ни в чем нет дурного умысла, и, однако, как выразился один замечательный человек, все немецкие государства (за вычетом тех, что совершенно неподвижны), вознамерились своим законодательством довести нацию до состояния итальянцев: в городах лавочники и шарлатаны, на селе оборванцы-поденщики и оборванцы-арендаторы» (*перевод Ал. В. Михайлова*).

ДВОРЯНСТВО И ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЕСТЬЯН

Впервые — отдельной брошюрой: Берлин, 1862; анонимно. В России: 2. 105—142.

10 мая 1862 года К писал Герцену: «Брошюра моя написана в мае 1861 года, когда российское дворянство драло горло о конституции, разумея под нею отмену Положения 19 февраля. Вскоре после того я отдал один экземпляр этой статьи приятелю, ехавшему за границу, с просьбой напечатать. Приятель отдал ее Бэру в Берлине, который выпустил ее в свет в декабре или январе нынешнего года. Брошюра слишком несогласна с общим настроением и потому не пошла» (*Письма*. 51). Действительно, брошюра вызвала неудовольствие русской эмиграции разного толка. Князь П. В. Долгорукий в газете «Правдивый» (1862. 12 мая), издаваемой им в Лейпциге, объяснил факт публикации брошюры карьерными соображениями К. Герцен высказывал сожаления о «доброшюрном Кавелине» (*Герцен*. XVII. 147) и 7 июня 1862 г. писал К: «Твоя брошюра кладет между нами предел, через который один мост и есть — твое отречение от нее» (*Герцен*. XXVII. 227).

Хотя разрыв долголетних дружеских отношений с Герценом был тяжел для К, отречься от брошюры он отказался, послав своему другу-оппоненту письмо с ответом по всем пунктам обвинения. К исходил из того соображения, что крестьянская реформа совершена правительством вопреки желанию большинства дворянства, опасавшегося губительных для себя последствий. Таким образом, появление «дворянской конституции», «дворянского парламента» могло создать сильное противодействие дальнейшим реформам, что привело бы к революционному взрыву и, на взгляд К, отбросило бы Россию назад. В своем ответе Герцену от 11 июня 1862 г. он замечал: «Выгнать династию, перерезать царствующий дом — это очень не трудно и часто зависит от глупейшего случая: снести головы дворянам, натравивши на них крестьян, — это вовсе не так невозможно, как кажется. <...> Только что будет за тем? То, что есть, не создаст нового по той простой причине, что будь оно новым, — старое не могло бы существовать двух дней. Итак, выплывет меньшинство, — я еще не знаю какое, — а потом все скристаллизуется по-старому» (*Письма*. 56). Что касается среднего сословия, то оно, по мнению К, было столь малочисленно, что могло не приниматься в расчет; стало быть, говорить о всеобщем представительном правлении можно, только учитывая крестьянство, «мужицкое царство», составлявшее свыше 80% населения. Крестьяне же, с точки зрения К, не были готовы пока даже к гражданскому самоуправлению.

Современники, в том числе и Герцен, сочли, однако, К противником конституции в принципе. Герцен обвинил К не просто в недоверии, а во вражде к народу, говоря, что свои рассуждения К основывает «на том, что народ русский — скот и выбрать людей для земства не умеет, а правительство — умница» (*Герцен*. XXVII. 227). К в своем письме возражал: «Вся моя забота в том, что теперь, в эту минуту, конституция невозможна общая, для всех классов народа, а одна дворянская немыслима. <...> Политические представители народа должны знать многое дру-

гое, кроме местных условий и обычаев, а таких между крестьянами нет; из других сословий крестьянин выбирать не станет, потому что не доверяет им, и очень справедливо не доверяет» (*Письма*. 59). Заметим, что спустя менее десяти лет в своих предсмертных письмах «К старому товарищу» Герцен по сути согласится с К: «Всеобщая подача голосов, навязанная неприготовленному народу, послужила для него бритвой, которой он чуть не зарезался» (*Герцен*. XX. 584).

В брошюре К выдвинул существенную для него идею межсословного компромисса. Роль дворянства — в создании культурной и экономической жизни в провинции, а тем самым необходимейшей для России административной децентрализации. Только когда разовьется провинциальная жизнь, гражданское самоуправление, возможен, по его мнению, переход ко всеобщей представительной системе. Не сразу, но брошюра К все же имела успех. 15 января 1863 г. он писал из Берлина баронессе Э. Ф. Раден, что в прошлом году издатель встречал его «кислою гримасою», потому что книжка почти не продавалась, «в этот приезд он не знал, как меня посадить, и был необыкновенно мил: брошюра пошла в ход и покупается» (*РМ*. 1899. № 11. С. 8—9).

¹ Речь идет о праве помещика, по Положению 19 февраля, производить в свою пользу отрезку крестьянской земли в соответствии с размером крестьянского надела, а также о том, что по уставным грамотам, в которых были зафиксированы размеры полевого надела и крестьянские повинности, за пользование помещичьей землей крестьяне были обязаны отбывать барщину или платить оброк. См. об этом: Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. М., 1968. С. 126—132.

² Помещики были недовольны тем, что теряли часть своей земли (крестьянин по Положению был обязан выкупить свою усадьбу), при этом крестьяне не обязаны были нести каких-либо дополнительных повинностей и платить натуральную дань (птицей, яйцами, ягодами и т. п.), барщина же уменьшилась до «40 дней мужских» и «30 дней женских в году» (Зайончковский П. А. Ук. соч. С. 132—137).

³ Правительство отвергло претензии крепостнического большинства Государственного совета, сначала требовавшего не устанавливать конкретные размеры наделов и повинностей, предоставив их на усмотрение помещиков, а в другой раз — уменьшить размер будущих крестьянских наделов. В обоих случаях Александр II утвердил мнение либерального меньшинства (См.: Зайончковский П. А. Ук. соч. С. 122—123).

⁴ Говоря о *страшном примере* Великой французской революции, К, очевидно, имеет в виду массовые убийства дворянства и духовенства 2 сентября 1792 г. См. об этом: Минье О. История французской революции. СПб., 1901. С. 149—150.

⁵ Речь у К идет, видимо, о том, что уже в конце XV — начале XVI века облик английского дворянства изменился, новая знать жила не столько рентой, сколько эксплуатацией наемного труда. Это новое дворянство (джентри) было тесно связано с рынком и по своим интересам близко стояло к молодой буржуазии. В союзе с буржуазией новое дворянство выступило в конце XVII в. при попытке Стюартов восстановить абсолютизм, что привело к «бескровной», так называемой «Славной революции», которая ограничила власть короля и поставила у власти, как замечал Маркс, «...наживал из землевладельцев и капиталистов» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 735).

⁶ Утверждение о зависимости царя Михаила Федоровича от боярства спорно. См. примеч. 60 к статье «Мысли и заметки о русской истории».

⁷ Очевидно, речь идет о петровской Табели о рангах, предоставлявшей возможность не только дворянину, но и представителю любого сословия подняться до высших чинов государства.

⁸ К излагает основные пункты «Жалованной грамоты императрицы Екатерины Второй на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства» (1785). См.: РА. 1885. Т. 5. С. 155—164.

⁹ 20 февраля 1803 г. был издан указ о свободных хлебопашцах, по которому помещик мог вступить в соглашение со своими крестьянами, освобождая их непременно с землей целыми селениями или отдельными семьями за выкуп.

¹⁰ 23 мая 1816 г. в Эстляндии было утверждено положение о крестьянах, предоставлявшее эстляндским крестьянам личную свободу, но без земли. 25 августа аналогичное положение было принято в Курляндии, а 25 марта 1819 г. — в Лифляндии.

¹¹ На протяжении первой половины XIX в. правительство несколько раз пыталось решить крестьянский вопрос. Кроме указа о «свободных хлебопашцах» (1803) (см. примеч. 9), был издан 2 апреля 1842 г. закон «об обязанных крестьянах», позволявший помещикам уступать крестьянам свои земли в постоянное наследственное пользование, на известных условиях. В 1827 г. появился закон, гласивший, что если в имении за крестьянами земли меньше 4,5 десятины на душу, то такое имение берется в казенное управление или предоставляется таким крепостным крестьянам право перечисляться в свободные городские сословия. В 1841 г. было запрещено продавать крестьян в розницу, в 1843 г. — приобретать крестьян безземельным дворянам, 12 июня 1844 г. изданы два распоряжения о дворовых людях: о праве помещика по обоюдному согласию отпускать на волю дворовых без земли, а также — в случае, если имение заложено в банке. Указ от 8 ноября 1847 г. разрешал помещичьим крестьянам выкупиться на волю с землей в случае продажи имения с публичного торга; закон от 3 марта 1848 г. давал крестьянам право приобретать недвижимую собственность, хотя не ина-

че как с согласия своего помещика (См. об этом: Семеновский В. И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века: В 2 т. Т. 2. СПб., 1888. С. 529—571; см. также: Зайончковский П. А. Ук. соч. С. 57—59; см. также: Самарин. II. 66—76).

¹² Имеется в виду речь Александра II перед московским дворянством 30 марта 1856 г. о необходимости отмены крепостного права, где были произнесены знаменитые слова: «Гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу» (См. Зайончковский П. А. Ук. соч. С. 66—67).

¹³ За выкуп крестьянских усадеб помещики требовали огромные суммы. Так, Ярославский губернский комитет установил стоимость усадьбы 160 руб. серебром с каждой ревизской души. «Руководствуясь таким расчетом,—замечал историк,—помещик имел бы возможность получить за усадьбы крестьян больше того, что стоило все его имение» (Зайончковский П. А. Ук. соч. С. 96). При этом в письме Симбирского губернского комитета царю, а также в записке камергера М. А. Безобразова говорилось об угрозе бунтов и необходимости собрания выборных из дворян (Там же. С. 116—117). К, будучи близок к ведущим деятелям крестьянской реформы, безусловно, хорошо знал все письма и записки провинциального и столичного дворянства.

¹⁴ Имеются в виду следующие слова Манифеста 19 февраля 1861 г.: «...Полагаемся на доблестную о благе общем ревность Благородного Дворянского сословия, которому не можем не изъявить от Нас и от всего Отечества заслуженной признательности за бескорыстное действие к осуществлению Наших предначертаний. Россия не забудет, что оно добровольно, побуждаясь только уважением к достоинству человека и христианскою любовью к ближним, отказалось от упраздняемого ныне крепостного права и положило основание новой хозяйственной будущности крестьян» (Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1863. Т. 36. С. 132—133).

¹⁵ О реализации Положений 19 февраля см.: Зайончковский П. А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. М., 1958.

¹⁶ Сельское общественное управление заключалось в следующем: сельский сход избирал старосту, сборщика податей, смотрителя сельских магазинов; сельский сход ведал вопросами пользования общинной землей, раскладкой казенных податей, рекрутскими наборами, сбором податей и недоимок.

¹⁷ Мировыми посредниками могли назначаться только потомственные дворяне-помещики, обладавшие земельным цензом от 150 до 500 десятин земли (Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. М., 1968. С. 146—149). К имеет в виду, что при этом мировые посредники, «в противность Положению», не назначались, а, как правило, избирались самими дворянами.

¹⁸ Представление о Пруссии как примере неограниченной и благоустроенной монархии, очевидно, имеет источник в гегелевской «Философии права». В Пруссии крепостное право было отменено в 1807 г., но отмена барщины и других феодальных повинностей состоялась только после революции 1848—1849 гг.

¹⁹ К имеет в виду то, что французская конституция не помешала Луи Бонапарту в 1851 г. узурпировать власть и объявить себя императором. В 1861 г., когда писалась кавелинская брошюра, Франция была империей.

КРАТКИЙ ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ ИСТОРИЮ

Впервые, посмертно — РС. 1887. № 4. С. 168—179. Опубликовано под рубрикой «Историческое значение освобождения крестьян в России», с редакционным подзаголовком: «Чтение в профессорском клубе в Бонне, об историческом значении освобождения крестьян в России (1863—1864)». Перед заглавием следовало: «Программа. Вступление. Освобождение крестьян als Anknüpfungspunkt (точка соприкосновения (нем.) — В. К.). Цель — пояснить это событие исторически». Слова эти, по всей видимости, принадлежащие самому К, предвещали следующий далее текст. Впоследствии: 1. 569—584. Печатается по этому изданию.

Публикуемый материал представляет собой конспект реферата или доклада. По свидетельству Д. А. Корсакова, К, имея в руках конспект на русском языке, читал доклад по-немецки. Однако, несмотря на лапидарность, текст этот очень характерен для выявления кавелинского социально-исторического оптимизма начала 60-х годов, связанного с освобождением крестьян, которое он рассматривал как закономерный момент давно и постепенно идущего в России раскрепощения сословий. 26 мая 1864 г. К писал из Берлина своей постоянной корреспондентке баронессе Э. Ф. Раден, объясняя задачу своего доклада, обращенного к немецкой профессуре: «Прочел им в две лекции (две субботы кряду) небольшой очерк внутренней русской истории. Темой взял освобождение крестьян и его значение в русской жизни. Эта тема дала возможность поговорить о прошедшем и будущем России в общих чертах. Главные мысли были вот какие: русское государство создано великорусским племенем.

<...> Оно раздавило личность на всех общественных ступенях и тем сделало возможным государство. Тип его — власть вотчинника и домохозяина. Этот тип проведен с страшной, убийственной последовательностью чрез весь быт, сверху донизу. К концу XVII в. этот тип развился вполне, в полной красе своего безобразия. Если бы мы были азиатский народ, мы бы и сгнили в этом состоянии. Но в нас есть способность к развитию; и потому начало личности, индивидуальности дол-

жно было выразиться и понемногу вступить в свои права. Первою личностью был Петр. Начиная с него, идет ряд освобождений из крепостного состояния, сперва дворян и высших городских классов, духовенства, далее казенных крестьян, наконец, помещичьих. В нынешнее царствование этот период освобождения закончился» (РМ. 1899. № 12. С. 13—14).

¹ Имеются в виду районы, заселенные казаками, которых и К, и С. М. Соловьев считали специфическим типом населения России «как пограничного воинственного народонаселения» (Соловьев С. М. Соч.: В 18 кн. М., 1989. Кн. III. С. 305). К имел в виду «казаков, живших отдельно по берегам Днепра и на его островах гораздо ниже Киева» (1. 762).

² Эта мысль более основательно изложена в статье К «Мысли и заметки о русской истории». См. примеч. 18 к этой статье.

³ По Положению о евреях 1835 г. для устройства еврейских земледельческих поселений велено было отводить им казенные земли и за чертою оседлости. На этом основании назначены были в том же году для поселения еврейских обществ в Tobольской губернии и Омской области 15 154 десятины земли. В 1837 г. было повелено переселение евреев в Сибирь приостановить; приняты были меры к уменьшению числа уже присланных евреев.

⁴ Имеется в виду великий князь московский Иван Данилович Калита.

⁵ *Guts- und Hausberrn* (нем.) — хозяин имения, дома.

⁶ Когда Иван Грозный получил донос на своего любимца, опричника князя Афанасия *Вяземского*, он приказал умертвить его лучших слуг. Вяземский спокойно прошел мимо их трупов, чтобы доказать свою лояльность царю. Тем не менее был схвачен и умер под пытками.

⁷ *Лашманы* — сословие государственных крестьян, работавших при заготовке корабельных лесов низовых губерний, по большей части к ним относились татары (В. И. Даль).

⁸ К едва ли не первый заговорил о государственном крепостном праве в России, приравняв его по тяжести и безысходности к помещичьему. Этот вопрос, среди прочих, был им поставлен в ходившей по рукам «Записке об освобождении крестьян в России» (1855). В 3-м выпуске «Голосов из России» Герцен опубликовал именно этот отрывок кавелинской «Записки» под заглавием «Государственное право в России». См. об этом: 2. 5—23.

⁹ Князь *Хворостинин* при дворе первого самозванца сблизился с поляками, выучился латинскому языку, начал читать латинские книги и подпал под влияние католичества, за что при Василии Шуйском его сослали в Иосифов монастырь. Возвращенный оттуда, он при Михаиле Федоровиче, чувствуя себя в полном одиночестве, хотел отпроситься или

даже бежать в Литву или Рим и начал продавать свой московский двор и вотчины. Арестованный вторично, он скончался в 1625 г. По словам Ключевского, это был «отдаленный духовный предок Чаадаева» (Ключевский В. О. Ук. соч. Т. 3. С. 242).

¹⁰ См. примеч. 43 к статье «Мысли и заметки о русской истории».

¹¹ Речь идет о довольно известном эпизоде пребывания Петра в Гааге на приеме «великого посольства» из России депутатами Генеральных штатов. Не дождавшись церемонии, Петр решил уйти... Так как ему надо было идти через зал, где собрались депутаты, он потребовал, чтобы они встали к нему спиной, когда он будет проходить. Депутаты согласились встать, но отказались повернуться спиной к царю. Тогда Петр, чтобы укрыться от любопытных взоров, развернул парик задом наперед, и, закрыв таким образом лицо, выскочил из аудиенц-зала. См.: Павленко Н. И. Петр Первый. М., 1975. С. 60.

¹² Имеется в виду рассказ императрицы Елизаветы Петровны: «Я помню, как покойный мой родитель при многих случаях говаривал, что он с охотою дал бы отрубить себе палец у руки за то, чтоб его в молодости учили. Однажды <...> сказал: как вы счастливы, дети мои, что в молодости дают вам читать полезные книги и учат вас! А я лишен был этого в своей молодости» (Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным: В 4 частях. М., 1830. Ч. II. С. 25).

¹³ См. библейскую легенду об излечении сынов Израилевых от укусов ядовитых змей: «И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив» (Числа. 21, 9).

¹⁴ См. примеч. 52 к статье «Мысли и заметки о русской истории».

¹⁵ Речь идет об указе Александра I от 12 декабря 1801 г.

¹⁶ Имеются в виду военные реформы, последовательно проводимые с 1861 г. военным министром Д. А. Милютиним, другом К. См. об этом: Зайончковский П. А. Военные реформы 1860—1870 гг. в России. М., 1952.

¹⁷ В 1863 г. *подушная подать* была отменена для мещан и цеховых (кроме Бессарабии и Сибири). Крестьяне европейской России были освобождены от подушной подати только в 1887 г., в Сибири — в 1899 г.

¹⁸ О желании Николая I отменить крепостное право свидетельствуют некоторые указы и распоряжения, приходящиеся на его царствование. См. примеч. 13 к статье «Дворянство и освобождение крестьян». Ср. также: «В 1837 г. император на одной великосветской вечеринке сказал известной А. О. Смирновой: «Я хочу освободить крестьян, чтобы оставить моему сыну империю спокойной» (Ключевский В. О. Ук. соч. Т. 5. С. 373).

¹⁹ Для того, чтобы создать в лице крестьянства опору против польского национально-освободительного восстания 1863—64 гг., по закону от 1 марта 1863 г. в Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской, Могилевской, Витебской, Киевской, Подольской и Волынской губерниях был введен обязательный выкуп земли.

МЫСЛИ И ЗАМЕТКИ О РУССКОЙ ИСТОРИИ

Впервые — ВЕ. 1866. Т. 2. С. 325—404.

Как писал Д. А. Корсаков, «эта монография составляет, по собственным словам Кавелина, итог его исторических и политических взглядов и его «лебединую песню» в области русской истории. <...> Самым важным в этой монографии является уяснение расовых и исторических особенностей великорусского племени и самобытно выработанного им начала самодержавия. Появившись в такое время, когда внимание русского общества было всецело поглощено нашими современными внутренними делами и когда Кавелин не пользовался уже своим прежним авторитетным значением в литературе и обществе, «Мысли и заметки о русской истории» оценены были только специалистами» (1; примечания, II). О том, что К придавал большое значение своей монографии, следует из воспоминаний Д. А. Корсакова: «В 1870-х годах Кавелин намерен был поместить французский перевод монографии <...> в одном из парижских «Revue». В бумагах его находится прекрасный ее перевод на французский язык» (1; примечания, III).

Внешним поводом для написания статьи послужил выход очередных томов «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева и «Истории царствования Петра Великого» Н. Г. Устрялова. К не раз выступал с критическим анализом работ историков — своих современников (см. статьи о М. П. Погодине, С. М. Соловьеве, Б. Н. Чичерине, Д. А. Валуеве и др. — 1, 95—569, 689—1052). В частности он писал о следующих исследованиях С. М. Соловьева: «Об отношениях Новгорода к великим князьям» (1846), «О родовых отношениях между князьями древней Руси» (1846), «История отношений между князьями Рюрикова дома» (1847), «История России с древнейших времен. Т. 1.» (1851) — 1. 253—508. Особое внимание он проявил к соловьевской «Истории России...», заметив еще по поводу первого тома, что «новая книга г. Соловьева бесспорно принадлежит к числу лучших исторических трудов, появившихся в последнее время» (1. 415). Он и дальше продолжает следить за очередными томами «Истории России...». 7 июня 1857 г. К писал М. Н. Каткову, что считает себя в долгу «перед Соловьевым. Его труд у меня на душе и на совести» (Цит. по: Цамутали А. Н. Ук. соч. С. 163). Но только в 1866 году К вновь обращается к работам Соловьева. Немалую роль в этом обращении сыграла тема очередных то-

мов — история царствования Петра, бывшего, по воспоминаниям современников, любимым историческим героем К: «Он был страстный поклонник Петра и говорил о нем с радостным умилением» (К о н и А. Ф. Собр. соч.: В 8 т. М., 1969. Т. 7. С. 235). Интерес к Петру и его эпохе как переломной в русской истории был характерен для русских мыслителей 40-х гг. (Ср.: «Если *человеческое* существование народа заключается в жизни ума, науки, искусства, цивилизации, общественности, гуманности в нравах и обычаях, то осуществление это для России начинается с Петра Великого» (Белинский. VII. 629). См. также: Герцен. VII. 170—193. На рубеже 50—60-х годов тема Петра была по-прежнему актуальной и отчасти «опасной»: был запрещен доступ к петровским архивам, исключение было сделано для Н. Г. Устрялова и С. М. Соловьева (см.: Г е р а с и м о в а Ю. И. Из истории русской печати в период революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х гг. М., 1974, С. 27). К считал, что, «не поняв Петра, нельзя понять Россию» (1. 587). Поэтому содержание его статьи вышло за рамки рецензии на очередные тома Устрялова и Соловьева: в ней он анализирует общие принципы развития русской истории, причины понижения культурного уровня Московской Руси по сравнению с Киевской, зарождение великорусского этноса и его особенностей и связь этих особенностей со становлением самодержавной государственности, задачи петровских реформ и их реализацию в последующей истории. Соображения К о возникновении «великорусского племени» вызвали полемическую реплику славянофильской газеты И. С. Аксакова «Москва» (Б е л я е в И. В. Возражение г. Кавелину // Москва. 1867. 15 марта).

¹ Кавелинская концепция русской историографии сложилась еще в 40-е годы. Преодолевая карамзинский подход к истории, в котором сочетались «взгляд и факты, противоречащие друг другу» (1. 224), замечая, что «в период деятельности г. Погодина» было закономерное обращение к конкретно-исторической фактографии, но в результате — «общее потеряно из вида» (1. 226); иронизируя над фактической недостоверностью, «историческим романтизмом» славянофильских исторических построений («Что за забавная игра в историю! Факты в ней, как стеклышки в калейдоскопе, стоят кверху ногами, а что-то выходит!» — (1. 727), К связывал «новую эпоху изучения русской истории», иными словами, возникновение исторической науки как момента национального самосознания с деятельностью С. М. Соловьева (1. 262—265).

² «Я знаю, что ничего не знаю» — один из основных постулатов философии Сократа. См., напр.: П л а т о н. Соч.: В 3 т. М., 1968. Т. 1. С. 97—98. См. также: К е с с и д и Ф. Х. Сократ. М., 1988, с. 63—64.

³ Имеются в виду реформы Александра II, которые современники (А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, М. Н. Катков, сам К) неоднократно сравнивали с петровскими.

⁴ По мысли К, с реформ Александра II в России начинается новый исторический период. «Что принесет он с собою, — писал К в письме баронессе Э. Ф. Раден 26 мая 1864 г., — этого нельзя сказать решительно, но можно предчувствовать по некоторым намекам. Важнейший намек тот, что у нас с лишком 5/6 населения мужики. <...> В этом смысле можно предвидеть, что Россия призвана в истории разрешить вопрос о массах иначе и лучше, чем Европа» (РМ. 1899. № 12. С. 13).

⁵ Рубеж 50—60-х годов был отмечен возросшим интересом к реформам Петра I. См.: Шмурло Е. Петр Великий в русской литературе. СПб., 1889. С. 57—60.

⁶ Очевидный выпад в адрес славянофилов, считавших Петра и его реформы исторической случайностью, нарушившей органическое течение русской жизни. Ср.: «Переворот, совершенный Петром, был не столько развитием, сколько переломом нашей национальности» (Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 97). См. также: Самарин. I. 234.

⁷ В контексте рассуждения об исторической закономерности петровских реформ упоминание о нормандском завоевании Англии войсками Вильгельма I (1066 г.) имеет полемический характер, поскольку именно славянофилы, говоря о «петровском переломе», постоянно подчеркивали органичность английской истории. Ср. «Саксонское царство пало под ударами французских норманнов; но подавленная саксонская стихия не утратила силы и некоторой самобытности. <...> Жизнь Англии развивалась самобытно из своих собственных начал» (Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1988. С. 183, 184).

⁸ *Фанариоты* (от «фанар», названия одного из константинопольских кварталов) — сначала так именовались несколько греческих семейств, уцелевших после захвата Константинополя турками-османами. С конца XVII в. фанариотами стали называть греков, занимавших высокие посты в турецкой администрации.

⁹ К имеет в виду слова из депеши русского посла в Константинополе П. А. Толстого (январь 1706 г.): «Греков отпускать к Москве не буду, потому что в самом деле от мала до велика все лгут, и верить им нельзя» (Соловьев С. М. История России с древнейших времен: В 15 кн. М., 1962. Кн. VIII. С. 164).

¹⁰ Первым митрополитом из русских при Ярославе I был Иларион (с 1051 г.), автор знаменитого «Слова о законе и благодати».

¹¹ В XVII в. Литва и особенно Польша сыграли роль посредника в контактах России с западным просвещением. Ср.: «Западнорусские учителя принесли к нам польское влияние. Эти учителя принесли к нам грамматику, риторику, философию, богословие» (Соловьев С. М. Ук. соч. Кн. VII. С. 183).

¹² Федор Никитич Романов (в монашестве Филарет, патриарх), отец первого русского царя из династии Романовых — Михаила, не случайно

оказался в перечне царей. При шестнадцатилетнем царе он был фактическим правителем России. Соловьев назвал сложившуюся в государстве ситуацию «двоевластием»: «Было два великих государя, Михаил Федорович и отец его святейший патриарх Филарет Никитич» (Соловьев С. М. Ук. соч. Кн. V. С. 123—124).

¹³ К имеет в виду, что переворот, приведший на трон Елизавету (1741), был совершен под патриотическим лозунгом борьбы с «немецким засильем». См. об этом: А н и с и м о в Е. В. Россия в середине XVIII века. М., 1986. С. 25—29.

¹⁴ О тысячелетии русской государственности, которое отсчитывалось с легендарного призвания варягов — 862 года, писалось довольно широко: Э ф и р о в С. Литература Новгородского тысячелетия // ОЗ, 1862. № 12, С. 195—201; Тысячелетие России. Составил по официальным источникам барон Вячеслав Штейнгель (СПб., 1862); В. Б. <е з о б р а з> в. Беседа у памятника тысячелетия русской земли (СПб., 1862) и др. Критическими можно назвать работы: К о с т о м а р о в Н. И. Тысячелетие (СПб., 1862) и П а в л о в П. В. Тысячелетие России // Месяцеслов на 1862 год. С. 3—70. За речь о тысячелетии России, произнесенную на литературном вечере 2 марта 1862 г., профессор Петербургского университета П. В. Павлов был сослан на семь лет в Ветлугу и Кострому. В официальном сообщении говорилось, что «при чтении этой статьи г. Павлов дозволил себе выражения и возгласы <...>, клонившиеся к возбуждению неудовольствия против правительства» (Русский инвалид. 1862. 7 марта).

¹⁵ К этим словам было помещено следующее примечание от редакции *ВЕ*: «Исследование покойного Ешевского «Русская колонизация северо-восточного края», помещенное у нас в первом томе (март, 1866, отд. 1, стр. 211), подтверждает вполне эту мысль и рисует картины, подобные которым может представить разве деятельность североамериканца, с тем только отличием, что последний истреблял все иноплеменное, а мы вырывали массы у варварства и дарили их цивилизации» (*ВЕ*, 1866. Т. 2. С. 336). Исходная посылка статьи русского историка и этнографа С. В. Ешевского заключалась в следующем: «Исторически распространение славянорусской народности на северо-восток европейской России, поглощение этой народностию других народностей имеет всемирно-историческое значение. В нем заключается не одно количественное увеличение русского племени, не одно приращение его материальной силы, а победа европейской цивилизации над Востоком» (*ВЕ*. 1866. Т. 1. С. 216).

¹⁶ Очевидно, речь в данном случае идет о статье <Г. З. Елисеева> «862—1862, или Тысячелетие России» (Свисток. 1862. № 1. С. 13—42), высмеивавшей торжественность события с точки зрения злободневных проблем.

¹⁷ «Повесть временных лет».

¹⁸ Под *колонизацией финского востока К*, следом за С. М. Соловьевым, понимал продвижение русских славян на северо-восток, на земли, заселенные племенами финского происхождения. В «Исторических письмах» (1858—1859) Соловьев писал: «Здесь вначале были племена финские; но напор славянской колонизации, совершившейся уже в исторические времена, или отодвинул финнов, или ослаблял их» (Соловьев С. М. Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 221).

¹⁹ В «Возражении г. Кавелину» И. В. Беляев утверждал, что к XI столетию великорусская народность уже окончательно сложилась: «Возьмем <...> XI век. <...> Здесь что ни частность, что ни черта, то обломок юридического быта нашей северной великой Руси,— быта в XI веке очевидно уже не нового» (Москва. 1867. 15 марта). К написал «Ответ И. В. Беляеву», опубликованный много лет спустя (1. 675—682), в котором замечал, что нельзя путать государственное единство и этническую связь и называть находившиеся под юрисдикцией Рюрика дома «Весь и Мерю» славянскими племенами. И далее: «...я позволил себе выразить мысль, что великорусская ветвь сложилась в промежуток времени между XI и XV веком, по следующим соображениям: Несторова летопись могла быть писана не позже XI века, а в ней на местах теперешних великорусских поселений называются финские племена. В XV веке Московское государство является уже сложившимся государственным телом» (1, 678).

²⁰ Имеются в виду нашествия аваров (VII в.), хазар (IX в.) и литовско-польские завоевания русских земель (XIV—XVII вв.).

²¹ К ссылается на следующее соображение С. М. Соловьева: «История-мачеха заставила одно из древних европейских племен принять движение с запада на восток» (Соловьев С. М. Ук. соч. Кн. VII. С. 9).

²² Речь идет о возникновении в XV веке *поместной системы*, связанной с широкой раздачей земель.

²³ Указ от 11 февраля 1736 г., разрешивший скупать у башкир землю, привлек в эти края много помещиков, переселявшихся вместе со своими крепостными.

²⁴ В статье «Скандинавские саги. Саги в отношении к русской истории» О. И. Сенковский писал: «Из слияния этих трех племен (славян, финнов, варягов.— В. К.) восстал российский народ» (Библиотека для чтения. 1834. Т. 1. С. 37). Сенковского оспорил М. П. Погодин (Исследования, заметки и лекции М. Погодина о русской истории. М., 1846. С. 287—305). В рецензии на эту книгу К поддержал Сенковского (1, 130—131).

²⁵ Польский историк Франциск *Духинский* в книге «Арии и Туранцы. Земледелие и история ариев-европейцев и туранцев, в частности, московских славян» (на франц. языке; Paris. 1864), излагая свою теорию славянской этнографии, доказывал, что великороссы не принадлежат

к славянско-арийскому племени, а являются отраслью азиатского, «туранского» племени, наряду с монголами, в отличие от поляков и малороссов — органической части европейско-арийской расы.

²⁶ *Припущенник* — припущенный или принятый в общину, приселившийся на землю коренных владельцев (В. И. Даль).

²⁷ Продвижение русских землевладельцев и припущенников в Башкирию отнюдь не было мирным, сопровождалось восстаниями башкирских крестьян (1705, 1707, 1735, участием под руководством Салавата Юлаева в крестьянской войне Е. И. Пугачева: 1773—1775). В 1818 г. продажа башкирских земель была запрещена.

²⁸ Речь идет о работе С. С. Куторги, связанной с изданной им «Геогностической картой С.-Петербургской губернии». Доклад на эту тему был сделан Куторгой на годовом собрании Императорского географического общества 30 апреля 1852 г. (см. Вестник Императорского географического общества. 1852. Ч. 5. Кн. 1. С. 4). Через два года была опубликована его статья «Заметки о финском элементе С.-Петербургской губернии», в которой он приводил русские слова финского происхождения (телега, нога, нож, луг, сапог, нить, соха, пахать, ямщик, волхв), в том числе топонимы и гидронимы (Гатчина, Нева, Ладога), замечая: «В нас, русских, вошло много финских элементов и в телесную натуру, и в мысли, и в речь» (Вестник Императорского географического Общества. 1854. Ч. 9. С. 2).

²⁹ Речь идет о знаменитой работе немецкого филолога Якоба Гримма «Немецкая мифология» (1835).

³⁰ Очевидный выпад против русской «мифологической школы». Еще в 50-е годы К обращался к трудам Ф. И. Буслаева и А. Н. Афанасьева (1. 916—923), в частности в рецензии (ОЗ. 1851. № 6) на работу А. Н. Афанасьева «Ведун и ведьма» К критиковал космогоническое объяснение простых явлений реальности: «Все эти поверья объясняются житейскими фактами, явлениями природы: непосредственный их смысл — всегда ближайший и вернейший» (4. 198). Об идеях К в связи с «мифологической школой» см.: Б а л а н д и н А. И. Мифологическая школа в русской фольклористике. М., 1988. С. 110.

³¹ *Новгородскими колониями* считались земли от Северной Двины до Урала и за Уралом.

³² О *семейственном быте* как стадии в исторической эволюции России см. работу К «Взгляд на юридический быт древней России».

³³ Не совсем точно. Колонисты принесли с собой язык и веру. Ср. ниже рассуждения К о структурообразующей силе православия.

³⁴ Джайлс Флетчер, английский посол в России (1588—1589), в своей книге «О государстве русском» (1591) писал, что на Руси — «множество суеверных и языческих обрядов» (Пб., 1911. С. 165).

³⁵ Имеется в виду раскол, приведший к образованию старообрядчества, возникший в результате нового перевода богослужебных книг и

изменения некоторых церковных обрядов (реформы патриарха Никона 1653—1667).

³⁶ К полемизирует здесь с чаадаевской точкой зрения на православие как причину отторжения России от европейского прогресса. Ср.: «Мы <...> замкнулись в нашем религиозном обособлении, и ничто из происходившего в Европе не достигало нас» (*Чаадаев*. 43).

³⁷ К следом за Соловьевым понимает казачество как силу, враждебную цивилизации: «Является самозванец, наступает Смутное время, т. е. козацкое царство...» (Соловьев С. М. Ук. соч. Кн. VII. С. 45).

³⁸ См. примеч. 27 к статье К «Взгляд на юридический быт древней России». Сам К отказывается от своего прежнего взгляда о влиянии монголов, высказанного в первой статье.

³⁹ Не совсем точно. *Шафарик* разводил новгородцев и псковитян в разные группы. Ср.: «Севернее всех жили собственно так называемые славяне на берегах Ильменского озера, главный город коих был Новгород; на юг за ними в нынешних губерниях Псковской, Тверской, Витебской и Смоленской <...> — кривичи» (Шафарик П. И. Славянские древности. М., 1848. Т. 2. Кн. I. С. 84; перевод с чешского О. Бодянского).

⁴⁰ Имеется в виду разделение на Брестском соборе 1596 г. западно-русской церкви на православную и униатскую (подчинившуюся юрисдикции римской церкви) и борьба между ними.

⁴¹ Возможно, имеется в виду св. Алексей, митрополит с 1354 г., поддерживавший московского князя; далее речь идет о благословении, данном Сергием Радонежским Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой (1380), а также о посланиях ростовского архиепископа Вассиана, побуждавшего Ивана III на борьбу с ханом Золотой Орды Ахматом (1480).

⁴² Под преобразованиями на греческий лад К подразумевает придание Иваном III после женитьбы на византийской царевне Софье Палеолог (1472) Московскому государству внешних форм византийской империи: пышного и строгого церемониала придворной жизни, нового титула — царь вся Руси; на печатях московского государя появляется с XV в. византийский герб — двуглавый орел.

⁴³ Приводимый К случай (русская жена немецкого кузнеца Иордана просила, чтоб муж для доказательства своей любви побил ее) описывается не Олеарием, а Сигизмундом Герберштейном, австрийским дипломатом, побывавшим в Москве в 1517 и 1526 гг. (См.: Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 112).

⁴⁴ Идея о закреплении и постепенном раскрепощении сословий в России принадлежала Б. Н. Чичерину. До XVIII столетия все сословия были «крепки государству», затем «при Петре III и Екатерине с дворянства сняты были его служебные обязанности. Жалованною грамотою

1785 года оно получило разные права и преимущества. <...> Городское сословие также получило свою жалованную грамоту; и оно освободилось от повинностей и службы, и приобрело различные льготы и преимущества. Оставались одни крестьяне, которые <...> доселе несут свою пожизненную службу помещикам и государству. В настоящее время уничтожается наконец и эта последняя принудительная связь: вековые повинности должны замениться свободными обязательствами» (Ч и е р и н Б. Н. Опыты по истории русского права. М., 1858. С. 231).

⁴⁵ В кавелинском отрицании развитого общинного быта явно слышится полемика со славянофильской позицией. Ср.: «В истории нашей Руси идея единства общинного лежала всегда, как основной камень всех общественных понятий» (Х о м я к о в А. С. Ук. соч. С. 157). К по существу развивает свою концепцию, сформулированную еще в статье «Взгляд на юридический быт древней России». Критику своей точки зрения он мог прочитать в посмертно изданной статье А. С. Хомякова «По поводу Гумбольдта» (1861). См.: Х о м я к о в А. С. Ук. соч. С. 215.

⁴⁶ О *кормленниках* см. примеч. 26 к статье «Взгляд на юридический быт древней России».

⁴⁷ *Волость* (до XVII в.) — боярин, получивший «в кормление» волость.

⁴⁸ *Съютить* (устар.) — соединить, сблизить.

⁴⁹ По Положениям 19 февраля 1861 г. полицейская власть, принадлежавшая помещикам, перешла к выборным органам сельских общин.

⁵⁰ *Издельное хозяйство*, изделье — работа на помещика, барщина.

⁵¹ Имеются в виду работы Чичерина «Обзор исторического развития сельской общины в России» и «Еще о сельской общине (ответ г. Беляеву)» // Ч и ч е р и н Б. Н. Ук. соч. С. 1—142. Книга была посвящена К.

⁵² *Городовое положение* С.-Петербурга было принято в 1846 г. ради улучшения городского общественного хозяйства и основывалось на принципах общественного управления. Городская общая дума выбиралась по отдельным сословиям, но в полном своем составе должна была представлять все городское общество. В 1862 г. подобное устройство было введено в Москве, а в 1863-г. — в Одессе (См.: М у л л о в Г. Историческое обозрение правительственных мер по устройству городского общественного управления. СПб., 1864). В январе 1864 г. было обнародовано положение о губернских и земских учреждениях, которым поручалось заведование имуществами и денежными средствами земства, устройство и содержание земских зданий и путей сообщения, попечение о развитии местной торговли и промышленности, народного образования, продовольствия, призрения бедных и т. п. В статье «По поводу губернских и земских учреждений» (1864) К назвал их эпохой в развитии русской общественной жизни; шагом к общественной самостоятельности и самоуправлению (2. 735—778).

⁵³ *Landesvater* (нем.) — отец страны; *bon père du peuple* (франц.) — добрый отец народа.

⁵⁴ Новый взгляд на Ивана Грозного был высказан С. М. Соловьевым в «Истории России с древнейших времен» (Т. 6), а также в статье самого К «Взгляд на юридический быт древней России».

⁵⁵ Имеется в виду *завещание Ивана IV* от 1572 г., написанное в период тяжелой болезни и обращенное к сыновьям Ивану и Федору быть «заодин» (Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. М.; Л., 1950. С. 426—444).

⁵⁶ Речь идет о словах Ивана IV из «Второго послания шведскому королю Иоганну III»: «Мы от Августа Кесаря родством ведемся» (Послания Ивана Грозного. М.; Л., 1951. С. 158).

⁵⁷ В Александровскую слободу Иван IV уехал в декабре 1564 г. Вернулся в январе 1565 г. по просьбе жителей Москвы, поставив условием возврата беспощадную расправу над «изменниками». В этом же году была основана опричнина.

⁵⁸ В результате войн Ивана III с Литвой в конце XV века к Московскому государству отошли земли чернигово-северских князей в бассейне Верхней Оки, а также ряд городов Смоленской области.

⁵⁹ Василий Иванович *Шуйский* при венчании на царство (1606) дал «крестоцеловальную запись» все важнейшие дела решать с боярами, целью которых было достижение независимости (по польскому образцу). См.: Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве. М., 1937.

⁶⁰ По свидетельству *Котошихина*, «Блаженные памяти царь Михайло Федорович, хотя «самодержец» писался, однако без боярского совету не мог делать ничего» (О России в царствование Алексея Михайловича. Современное сочинение Григория Котошихина. СПб., 1840. С. 100). В предисловии к книге Археографической комиссии эта точка зрения Котошихина опровергалась (Там же. С. X—XI). О боярских претензиях при избрании Михаила см. также: Псковские летописи. М.; Л., 1941. Вып. 1. С. 131. В отличие от Шуйского и польского королевича Владислава, власть которых ограничивалась боярами, по мысли С. М. Соловьева, «Михаилу нечего было бояться участия своих предшественников, потому что люди Московского государства наказались и пришли в соединение» (Соловьев С. М. Ук. соч. Кн. V. С. 10).

⁶¹ Скорее всего имеются в виду пересказываемые Флетчером слухи, что жизнь царевича Дмитрия «находится в опасности от тех, которые простирают свои виды на обладание престолом в случае бездетной смерти царя». Эти слухи приводят Флетчера к умозаключению, что «царский род в России <...> скоро пресечется, со смертью особ, ныне живущих, и произведет переворот в русском царстве» (Флетчер Дж. Ук. соч. С. 36—37).

⁶² Имеется в виду Гражданская война в США между Севером и Югом (1861—1865).

⁶³ «Петербургский обер-полицмейстер Девиер в 1718 г. опубликовал распоряжение об ассамблеях, вольных собраниях, открывавшихся по вечерам в знатных домах по установленному порядку для дворян, людей высших чинов до обер-офицеров, знатных купцов и главных мастеров. Ассамблея — и биржа, и клуб, и приятельский журфикс, и танцевальный вечер» (Ключевский В. О. Соч.: В 8 т. М., 1958. Т. 4. С. 250). См. также объявление генерал-полицмейстера Девиера «О порядке собраний в частных домах и о лицах, которые в оных участвовать могут» от 26 ноября 1718 г. // Полное собрание законов. СПб., 1830. Т. V. № 3246, С. 597—598.

⁶⁴ Говоря о том, что современное направление мысли *получает практический склад*, К имеет в виду шестидесятников. Ср. статью Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года»: «В общей массе своей молодые люди нынешнего поколения отличаются спокойствием и тихой твердостью. <...> Они спустились из безграничных сфер абсолютной мысли и стали в ближайшее соприкосновение с действительной жизнью» (Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1962. Т. 4. С. 73).

⁶⁵ В доверие к Ивану IV попали иностранцы, служившие у него в опричнине: Г. Штаден, А. Шлихтинг, И. Таубе, Э. Крузе См.: Зимин А. А., Хорошкевич А. П. Россия времени Ивана Грозного. М., 1982).

⁶⁶ О князе Хворостинине см. примеч. 9 к статье «Краткий взгляд на русскую историю».

⁶⁷ К напоминает одно из давних высказываний М. П. Погодина о Петре I: «Куда мы ни оглянемся, везде встречаемся с этою колоссальною фигурою, которая бросает от себя длинную тень на все наше прошедшее, и даже застит нам древнюю Историю» (Погодин М. Петр Великий // Москвитянин. 1841. № 1. С. 3—4).

⁶⁸ Вольная передача К предсмертного высказывания Петра I: «Из меня познайте, какое бедное животное есть человек» (Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным: В 4 частях. М., 1830. Ч. II. С. 139).

⁶⁹ Цитируется письмо Петра I царевичу Алексею. См.: Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1859. Т. 6. С. 348.

⁷⁰ Там же. С. 346.

⁷¹ Там же. С. 350.

⁷² Там же.

⁷³ Там же. С. 348.

⁷⁴ Там же. С. 350.

⁷⁵ Царевич Алексей считался приверженцем противников реформы. По приказу Петра был выманен из-за границы П. А. Толстым. Петр обещал сыну полное прощение. Однако вскоре устроил дознание и суд над ним; по свидетельству современников, царевич умер под пыткой. В конце 50—60-х гг. среди историков бытовало мнение, что царевич был задушен по приказу Петра. В «Приложениях» к Т. 6 «Истории...» Устрялова было опубликовано письмо (по мнению историка — фальшивое) А. И. Румянцева Д. И. Татову с сообщением об этом факте.

⁷⁶ Речь идет о Северной войне России со Швецией (1700—1721).

⁷⁷ Сравнение деятельности Петра I с деятельностью французского Конвента укрепились в русской литературе с работ Герцена («то был деспот наподобие Комитета общественного спасения», — Герцен. VII. 170) и Соловьева. Ср.: «Наша революция начала XVIII века уяснится через сравнение ее с политической революцией, последовавшей во Франции в конце этого века. <...> В России один человек, одаренный небывалою силою, взял в свои руки направление революционного движения, и этот человек был прирожденный глава государства» (Соловьев С. М. Ук. соч. Кн. VII. С. 440).

⁷⁸ О *местничестве* см. примеч. 3 к статье «Взгляд на юридический быт древней России»:

⁷⁹ В 1718 г. Петр стал заменять приказы коллегиями с целью объединения однородных предметов управления. По «Духовному регламенту» (1721) единоличная власть патриарха была, замещена духовной коллегией (синодом), постоянным собором духовного правительства. В «Духовном регламенте» указывалось, что при коллегиальном управлении не может быть стремления у духовного правительства сравняться с особою монарха, как это могло быть при патриархах. См.: Регламент, или Устав Духовной Коллегии от 25 января 1721 г. // Полное собрание законов. СПб., 1830. Т. VI. № 3718. С. 314—346.

⁸⁰ Коллегии отличались от приказов более систематическим разделением ведомств, совещательным порядком ведения дел, отсутствием узко территориального деления.

⁸¹ Имеется в виду Ливонская война (1558—1593), затеянная Иваном Грозным ради захвата балтийского побережья и в конечном счете проигранная Россией. Петр I сумел вывести Россию к Балтийскому морю.

⁸² Речь идет о требованиях полного признания самодержавной власти Москвы: Ивана III от новгородцев, Василия Ивановича — от псковитян, Ивана IV — от литовско-польской олигархии. См. об этом: Соловьев С. М. Ук. соч. Кн. III. С. 29, 234—237; С. 578.

⁸³ О городских положениях и *земских учреждениях* см. примеч. 52 к данной статье. Под *общинным устройством* К в данном случае понимает общественное самоуправление.

Т. Н. ГРАНОВСКИЙ

Впервые — *ВЕ*. 1866. Т. 4. Пагинация II. С. 40—44 (в составе рецензии на 2-е издание сочинений Грановского; вторая часть рецензии принадлежала М. М. Стасюлевичу). Без подписи.

В 1840—50-е гг. Грановского связывали с К дружеские отношения. Личность историка и его взгляды воздействовали на молодого К (см.: *Письма*. 11), до конца жизни с пиететом относившегося к памяти Грановского (показательно, что ему посвящена одна из центральных работ К — «Задачи психологии», 1872). С 1844 г., когда К, вернувшись из Петербурга в Москву, вошел в состав преподавателей Московского университета, у него установились тесные контакты с Грановским, отчасти благодаря корпоративной общности, а главное — в силу близости убеждений, определивших причастность обоих к кругу Белинского — Герцена и сотрудничество в *ОЗ* и *Совр*. В печати К выступал в поддержку Грановского (см.: <К. Д. Кавелин> Аббат Сугерий. Историческое исследование Т. Н. Грановского. М., 1849 // *Совр*. 1850. № 2. Отд. V. С. 67—80); Грановский, в свою очередь, взял К под защиту, включившись в его полемику с А. С. Хомяковым (см.: Т. Н. Грановский. Письмо из Москвы // *ОЗ*. 1847. № 4. Отд. VIII. С. 200—203; об этой полемике: *Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX века*. М., 1982. С. 131, 513). В 1857 г., после кончины историка, К поместил в *PВ* памфлет «Слуга. Физиологический очерк» (Март. Кн. 2), направленный против филолога-востоковеда, близкого к славянофилам В. В. Григорьева (1816—1881), характеризовавшего Грановского в своих воспоминаниях как лишенного самостоятельности и «оригинальности мысли», «почти совершенно пассивного передатчика усвоенного им материала» (В. В. Григорьев. Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве // *Русская беседа*. 1856. № 4. Пагинация IV. С. 56—57). В ходе бурных споров вокруг мемуаров Григорьева фигура Грановского воспринималась как знамя западничества. Это отношение к личности историка разделял тогда и К. Упрекая славянофилов в отказе от «искреннего, чистосердечного примирения в образе мыслей», он решительно заявлял: «...я остаюсь в своем лагере, почитателем, другом и последователем Грановского, его воззрений и симпатий» (письмо А. И. Кошелеву от 2 марта 1858 г. // *РМ*. 1896. № 2. С. 33). Но через десять лет, когда К работал над комментируемым очерком, славянофильско-западнические бои потеряли для него актуальность. Теперь ему был дорог другой Грановский — чуждый крайностей, примиряющий идейных противников, т. е. максимально соответствующий позиции самого К 1860—70-х гг. Способность Грановского «примирять в симпатии к себе целые круги, враждовавшие между собой» (*Герцен*. IX, 122), отмечали и другие мемуа-

ристы (см.: Панаев. 234, 241; Анненков. 213—214), однако К — настойчивее других. Не случайно он вовсе не коснулся в своем очерке споров Грановского со славянофилами и последовательно обошел его разногласия с Белинским и Герценом (см. примеч. 28 к «Воспоминаниям о В. Г. Белинском» и примеч. 4 к настоящему очерку).

¹ Грановский преподавал в Московском университете с 1839 г. (профессор — с 1845 г.). Граф С. Г. Строганов был попечителем Московского учебного округа с 1835 по 1847 гг. «В лучшую пору своего попечительства» (Грановский. 455) он поддерживал, по словам К, «западную партию» (см. письмо К к Н. П. Барсукову от 12 декабря 1879 г. // Барсуков Н. Русские палеологи сороковых годов. СПб., 1880. С. 98), передовую профессию (Герцен. II. 245—246, 317, 319), сознававшую, однако, двойственность его позиции (см.: Там же. С. 324—328; Грановский. 462—463; «Воспоминания о В. Г. Белинском», примеч. 57).

² К имел в виду участие либеральной интеллигенции 1840-х гг. в подготовке и проведении реформ 1860-х гг.

³ «Высокий, стройный, с приятными и выразительными чертами, осененными великолепным лбом, с <...> большими темными глазами, полными ума, мягкости и огня, с черными кудрями, падающими до плеч, он на всей своей особе носил печать изящества и благородства» (Черин Б. Н. Москва сороковых годов. М., 1929. С. 9; См. также: Панаев. 230; Герцен. IX. 121).

⁴ Если эти суждения К правомерны относительно 1830-х гг., то к 1840—50-м они вряд ли применимы. Переписка К с Грановским, где критически осмыслилась позиция Герцена (см.: АН. Т. 67. С. 598; Грановский. 455—456), не вполне согласуется со словами о еще не установившихся в то время взглядах (см. также отразившее споры Грановского с Герценом и Огаревым письмо Н. П. Огарева к Грановскому от 17 января <1847 г.> // Звенья. М.; Л., 1932. Вып. 1. С. 113—115; письмо Грановского Герцену <1851 г.> по поводу книги «О развитии революционных идей в России» // Там же. 1936. Вып. 6. С. 356—358).

⁵ Вероятно, К намекал на Д. И. Писарева, считавшего Грановского способным лишь на «одушевленные беседы, от которых, однако, никогда, ни при каких условиях, ничего, кроме испаряющегося восхищения, не может произойти» (Писарев. III, 29). Подобное мнение, бытовавшее, очевидно, в университетских кругах, отразилось и в мемуарной литературе (см.: Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 268—269).

⁶ Это общее замечание, возможно, имело и конкретные адреса: «московские кружки» устами своих героев третировал И. С. Тургенев (см., например, «Гамлет Щигровского уезда»); пренебрежительно отзывался о них и В. В. Григорьев в воспоминаниях о Грановском: «Всякий какого бы то ни было цвета кружок состоит большею частью из людей

средней руки, и в умственном, и в нравственном отношении» (Русская беседа. 1856. № 4. Пагинация IV. С. 55).

⁷ В литературное общество «Арзамас» (1815—1818; гусь был его символом) входили В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, П. А. Вяземский, В. Л. Пушкин, Д. В. Давыдов, А. Ф. Воейков, А. С. Пушкин; среди его членов были будущие декабристы (Николай Тургенев, Михаил Орлов, Никита Муравьев), а также С. С. Уваров и Д. Н. Блудов, ставшие позднее влиятельными сановниками. Членом «Арзамаса» был и отец К (о его месте в обществе см.: Гиллельсон М. И. Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974. С. 118—119).

⁸ Написанная П. В. Анненковым биография Н. В. Станкевича в 1857 г. вместе с перепиской Станкевича вышла отдельным изданием (первоначально печаталась в *РВ*). Анненков посвятил несколько абзацев книги и Грановскому как последователю Станкевича: «Никто так полно не сохранил на себе нравственного сходства со Станкевичем в поступках, направлении, отчасти даже в способе выражения своих мыслей, как Грановский» (Анненков П. В. Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография. М., 1857. С. 9). Грановского часто сопоставляли со Станкевичем, причем иногда обоих оценивали негативно (см.: И. Л. <И. И. Ляховский> Н. В. Станкевич. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым // Библиотека для чтения. 1858. № 3).

⁹ С Н. В. Станкевичем и некоторыми членами его кружка (в частности с Белинским) Грановский познакомился в 1836 г.

¹⁰ В кружок Станкевича входили также К. С. Аксаков, М. А. Бакунин, И. П. Ключников, В. И. Красов, А. П. Ефремов, О. М. Бодянский и др.

¹¹ Намек на ужесточение реакции в конце 1840-х годов.

¹² Происшедшая с Грановским перемена описана также в «Былом и думах» (см.: Герцен. IX. 131—132), в воспоминаниях И. И. Панаева и Б. Н. Чичерина (Панаев. 265; Чичерин Б. Н. Ук. соч. С. 36, 115—116).

¹³ О своем моральном состоянии, вызванном военными неудачами, Грановский сообщал К в сентябре 1855 г. (см.: Грановский. 454—455).

¹⁴ Грановский вместе с П. Н. Кудрявцевым предполагал издавать «Исторический сборник»; приглашая К в нем участвовать, он писал 2 октября 1855 г. о намерении «касаться самых жизненных вопросов» (Грановский. 458; подробнее программу издания см.: РС. 1886. № 8. С. 395—400).

¹⁵ Первый том сочинений Грановского открывался гравюрой с дагерротипа Карла Даутендея (1848 г.).

ВОСПОМИНАНИЯ О В. Г. БЕЛИНСКОМ

Впервые — не полностью в составе 8-й главы работы А. Н. Пыпина «В. Г. Белинский. Опыт биографии» (ВЕ. 1875. № 4. С. 576—583) с указанием авторства. Впервые полностью: 3. 1081—1098. Печатается по: *Воспоминания*. 168—184, где статья опубликована по тексту рукописи.

Статья написана по просьбе А. Н. Пыпина, работавшего над книгой «В. Г. Белинский. Его жизнь и переписка» (СПб., 1876. Т. 1—2; журнальный вариант: «В. Г. Белинский. Опыт биографии» — ВЕ. 1874—1875), куда вошли обширные фрагменты воспоминаний К, полностью, однако, при жизни автора не напечатанных. Учитывая, видимо, хорошую осведомленность своего адресата, К скупое освещал те обстоятельства жизни Белинского, которые нашли отражение в появившихся ранее мемуарах А. И. Герцена, И. И. Панаева, И. С. Тургенева. Дополняя их свидетельства, он вместе с тем скрыто полемизировал с герценовской концепцией революционности Белинского: словам Герцена о «живом, метком, оригинальном сочетании идей философских с революционными» (Герцен. IX. 28) противостоит утверждение К о том, что в кружке Белинского «мечтали о лучшем будущем, не формулируя положительно, каким оно должно быть». Вместе с тем К чужда была и позиция Чернышевского («Очерки гоголевского периода русской литературы», 1855—1856), настаивавшего на «умеренности» Белинского (см.: *Чернышевский*. III. 231—236) и редуцировавшего значение его личностных качеств («только слуга исторической потребности» // *Там же*. С. 183). Поскольку некоторые идеи Чернышевского получили развитие в работе Пыпина «Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов» (СПб., 1873), борьба с ними была для К особенно актуальной. Убеждения Белинского рисовались К социалистическими по духу (см. рассказ об увлечении романами Жорж Санд и идеями социалистов-утопистов), но непроясненными, лишенными конкретной политической программы (идеалы критика, утверждал К, «были нравственно-социальные более, чем политические»). С тех же позиций, но под иным углом зрения — в исторической перспективе — К анализировал затронутые проблемы в статье «Белинский и последующее движение нашей критики» (см. настоящее изд.).

¹ Кн. В. А. Черкасский был известен как член редакционных комиссий для составления положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости (1858—1861), с 1864 г. — главный директор правительственной комиссии внутренних и духовных дел Царства Польского. Сведений о контактах Белинского с кн. А. А. Черкасским обнаружить не удалось; возможно, они познакомились через С. Т. Аксакова.

² Учебная книга всеобщей истории, сочиненная И. М. Шрекком в пользу и наставление юношества <...> исправленная, дополненная и доведенная до по-

вейших времен К. Г. А. Пёлицом. Пер. Е. Константинова. СПб., 1817—1820. Ч. 1—5; 2-е изд. СПб., 1819. Ч. 1—3.

³ Не исключено, что этот эпизод Белинский вспоминал через много лет в письме к К: «Екатерининская эпоха представляется нам уже в мифической перспективе, не стариною, а почти древностью. Помните ли Вы то время, когда я, не зная истории, посвящал Вас в тайны этой науки?» (Белинский. XII. 433).

⁴ *Биготизм* (от франц. le bigotisme) — ханжество.

⁵ *Status quo* (лат.) — прежнее состояние.

⁶ К. А. Коссович — санскритолог, автор учебника греческого языка. Как и Белинский, в 1830-е гг. входил в кружок Н. В. Станкевича, позднее сблизился со славянофилами. С 1858 г. преподавал в С.-Петербургском университете, с 1866 г. — ординарный профессор.

⁷ К стал студентом Московского университета осенью 1835 г.; Белинский переехал в Петербург в октябре 1839 г.

⁸ *Молодые профессора* — Н. И. Крылов (римское право), Д. Л. Крюков (римская словесность), П. Г. Редкин (энциклопедия законоведения), А. И. Чивилев (политическая экономия и статистика), С. И. Баршев (уголовные и полицейские законы). Все они слушали лекции в германских университетах (в основном — Берлинском) и, приступив с 1835 г. к преподаванию, пропагандировали философию Гегеля. Говоря о *некотором расчете* в их отношении «к русскому уму и ко всему французскому», К намекал на популярные в России 30-х гг. идеи французских социалистов-утопистов (Ш. Фурье, А. Сен-Симона), вытеснявшиеся увлечением политически благонадежной немецкой философией.

⁹ О взаимоотношениях К со славянофилами см. ниже примеч. 22 и статьи «Авдотья Петровна Елагина», «Московские славянофилы сороковых годов». Полемика Белинского с ними разгорелась позднее, в 1840-е гг.; в середине 1830-х неприязнь москвичей объяснялась скорее всего недовольством его резкими выступлениями в «Московском наблюдателе».

¹⁰ Т. Н. Грановский с 1836 г. находился за границей; Герцен, арестованный в 1834 г., с 1835 г. был в ссылке. Оба вернулись в Москву (Герцен — ненадолго) в августе 1839 г., тогда же Герцен познакомился с Белинским, затем с Грановским, однако их сближение произошло позже, в начале 1840-х гг. Что касается К, он, по-видимому, не знал Грановского и Герцена до их отъезда из Москвы. Здесь он невольно или намеренно проецирует на 1830-е гг. взаимоотношения, сложившиеся позднее, когда К стал членом кружка московских западников. С В. П. Боткиным и Н. Х. Кетчером он сблизился, вероятно, в 1842—1843 гг. Относительно контактов Кетчера с Елагиными, К, вероятно, не точен: К стал посетителем елагинского салона с конца 1830-х гг., Кетчер бывал там и в 1840-е гг. (см.: письмо Е. А. Елагиной к отцу от 22 февраля 1843 г. // АН, Т. 79. С. 57).

¹¹ В воспоминаниях И. И. Панаева (1861 г.) эта встреча отнесена к 1839 г. (см.: *Панаев*. 220—221).

¹² Статья Белинского «Бородинская годовщина. В. Жуковского... Письмо из Бородина от безрукого к безногому инвалиду» (ОЗ. 1839. № 10) — одно из самых заметных его выступлений в период «примирения с действительностью». О впечатлении, произведенном этой статьей на многих друзей Белинского, — см.: *Анненков*. 152—154.

¹³ В этой фразе заключена оппозиция не только конфессионально-го, но и академического плана: в Берлинском университете процветали последователи Гегеля и Гумбольдта, в Мюнхене — представители иной философской традиции (Шеллинг, Л. Окен, Й. Гёррес).

¹⁴ На вечерах у В. П. Боткина (члена кружка Н. В. Станкевича) бывали К. С. Аксаков, И. П. Ключников, М. Н. Катков, М. А. Бакунин, А. В. Кольцов и др. «Разговор был постоянно одушевленный, горячий. Предметом его были толки об искусстве с точки зрения Гегеля <...>» (*Панаев*. 225). Поскольку Белинский часто посещал Боткина с осени 1837 г., описанный вечер мог быть в конце 1837 — начале 1838 гг. (Катков тогда заканчивал университет, К учился на 3-м курсе), не исключена, однако, и более ранняя датировка (конец 1836 — начало 1837 гг.)

¹⁵ *A la fourchette* (франц.) — на скорую руку, не садясь за столы.

¹⁶ Магистерский экзамен К сдал в 1841 г., но только в феврале 1844 г., представив диссертацию, выдержал диспут на звание магистра. В Петербург он переехал в мае 1842 г. (см.: *ВЕ*. 1886. № 6. С. 460). В это время Белинский разбирал письма Н. В. Станкевича, намереваясь передать их Н. Г. Фролову, работавшему над биографией Станкевича (см.: *Белинский*. XII. 107). Говоря о *либеральном настроении* критика, К имел в виду его решительный отказ от идей периода «примирения».

¹⁷ *Михайловская площадь* — ныне Площадь Искусств.

¹⁸ А. Я. Кульчицкий, харьковский приятель В. П. Боткина, через которого, вероятно, Кульчицкий и познакомился с Белинским; переехав в марте 1842 г. в Петербург, он вошел в кружок Белинского и в число сотрудников ОЗ (см. отзывы критика о нем — *Белинский*. XI. 450—452, XII. 86). Н. Н. Тютчев, также ставший сотрудником журнала, познакомился с Белинским у И. И. Панаева (см.: *Воспоминания*. 469); сохранял с К дружеские отношения до конца жизни (см. некрологические заметки К о Н. Н. Тютчеве — 2, 1233—1237). О вечерах «в квартире трех приятелей» — см.: *Панаев*. 289.

¹⁹ Об этой истории Белинский сообщал В. П. Боткину, тяжело переживая, что «способен так глупо ошибаться в людях» (*Белинский*. XII. 127). Подробнее о К. С. Милановском см.: Григорьев Аполлон. Воспоминания. Изд-е подготовил Б. Ф. Егоров. Л., 1980. С. 412—413. Упоминается книга К. А. Зедергольма «История древней философии,

приспособленная к понятию каждого образованного человека» (М., Ч. 1—2. 1841—1842).

²⁰ Это замечание вызвало возражения И. А. Гончарова, присутствовавшего на чтении воспоминаний К в доме М. М. Стасюлевича (см. письмо Гончарова к К от 25 марта 1874 г. — *Воспоминания*. 579—584).

²¹ См. подтверждающий слова К отзыв Белинского о Панаеве (*Белинский*. XII. 100—101). Что касается суждений критика о К, важно учитывать, что в 1840-е гг. «презрительное слово «прекраснодушные» <...> призвано было обозначать у нас благородные, но несостоятельные отрицания личного мышления и личного суда над современностью» (*Анненков*. 160; ср.: Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. М., 1934. Т. 2. С. 171; *Белинский*. XI. 188; VI. 671—673). Учитывая эту специфику словопотребления, сложившуюся по преимуществу в кружке Бакунина, можно предполагать, что Белинский имел в виду склонность К к сбалансированной позиции во всех сферах, в частности в политической, что наглядно обнаружилось позднее, в 1850—70-е гг.

²² На рубеже 1830—40-х гг. К испытал влияние славянофильских идей, о чем свидетельствуют, в частности, его письма 1842 г. к Д. А. Валуеву (см. о нем примеч. 26 к очерку «Авдотья Петровна Елагина»). Исповедуя «московские убеждения», К жаловался другу: «Я здесь в Питере, точно в неприятельском лагере. Лишь только высунешь нос на улицу — глядь, какие-нибудь заморские мысли щеголяют во фраке общечеловеческих идей <...>» (*РА*. 1900. № 4. С. 575—576).

²³ Довольно обеспеченный И. И. Панаев, женатый на А. Я. Паневой (рожд. Брянской), возмущал барскими замашками многих членов кружка, прежде всего — Белинского. М. А. Языков, товарищ Панаева по благородному пансиону при С.-Петербургском университете, не выступал в печати, славился «как приятный и веселый собеседник, остряк и каламбурист» (*Панаев*. 132; *Грановский*. 290—291; Тучкова-Огарева Н. А. Воспоминания. М., 1959. С. 76). Не был литератором и И. И. Маслов, друг Белинского и Тургенева, знаток музыкального искусства (см. о нем: *Панаев*. 279—280). К поддерживал с ним приятельские отношения и позднее (см. письмо К к К. К. Гроту от 21 июля 1872 г. // *РС*. 1899. № 1. С. 146). И. Н. Скобелева критик знал лично (см.: *Белинский*. XI. 158—159; *Герцен*. IX. 29), писал рецензии на его произведения.

²⁴ «Хорь и Калиныч» (*Совр.* 1847. № 1), первый из очерков и рассказов, объединенных позднее в цикл «Записки охотника», был высоко оценен Белинским (см.: *Белинский*. X. 345—347; XII. 336) и рассматривался в его окружении как свидетельство творческого и идейного возмужания Тургенева. Критик познакомился с ним в феврале 1843 г., нередко противопоставлял его как «человека необыкновенно умного» своим петербургским приятелям (*Там же*. XII, 154). «Рассказу в стихах» «Параша» (1843) Белинский посвятил отдельную рецензию (*ОЗ*. 1843. № 5), где процитировал и выделил курсивом строки: «А кажется, хохочет сатана»,

«Но все ж мне слышен хохот сатаны», усматривая в обращении к бесовской теме развитие традиций Пушкина, Гоголя, Лермонтова. В 1870-е гг. дважды выходили собрания сочинений Тургенева (М., 1868—1871. Ч. 1—8; М., 1874. Ч. 1—8), ни в одно из них «Параща» действительно не включена.

²⁵ Женитьба В. П. Боткина (1843 г.) на француженке Арманс Рульяр, «приехавшей *отыскивать фортуна* в Россию и не думавшей никогда о формальном браке» (Анненков. 330; курсив Анненкова.— О. М.), подробно описана в «Былом и думах» (Герцен. IX. 255—262).

²⁶ Этот отзыв Белинского передан К, вероятно, точно, т. к. перекликается с известным высказыванием критика о Каткове («юноша пыщ, сиречь дутик, говоря словами Тредиаковского» — Белинский. XII. 148; см. также: XII, 131). Раздражение Белинского усугублялось неприятием «философии откровения» Шеллинга, «вывезенной» Катковым из Германии (см. об этом письмо П. В. Анненкова к А. Н. Пыпину от 12 июля <1874 г.> // АН. Т. 67. С. 549—550).

²⁷ К здесь не вполне точен: в начале 1840-х гг. он был вхож, по сведениям Н. П. Барсукова, и в дом кн. П. А. Вяземского, и в аристократический салон Виельгорских-Соллогуба (см.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1892. Кн. VI. С. 333—334; см. также признания самого К в письмах к Д. А. Валуге // РА. 1900. № 4. С. 572, 584).

²⁸ Это утверждение К свидетельствует скорее всего о его неосведомленности; не исключено и желание приглушить политический радикализм Белинского. В начале 1840-х гг. в окружении Белинского изучали труды социалистов-утопистов, историю Великой французской революции, стремясь именно *формулировать* будущее, чем и объяснялась острота спора, завязавшегося в 1842 г. между Белинским и Герценом, с одной стороны, Грановским — с другой, об исторической роли Робеспьера и о терроризме (см.: Белинский. XII. 104—105; Грановский. 439—440). Закономерно, что далее К почти не касается разногласий в кругу «западников».

²⁹ Об увлечении романами Жорж Санд, «имевшими большой успех <...> по социальным вопросам, которые они поднимали» (Анненков. 231), а также французскими проповедниками социализма — см.: Панаев. 278—279; Достоевский. XXIII. 30—37. В 1842—1843 гг. в ОЗ были напечатаны переводы нескольких произведений Жорж Санд. Тогда же Белинский, ранее отрицательно относившийся к ее творчеству, отзывался о ней восторженно: «Эта женщина <...> звезда спасения и пророчица великого будущего» (Белинский. XII. 115).

³⁰ Рецензируя сборник Кирши Данилова, Белинский анализировал новгородскую былинку «<Про> Василья Буслаева» и цитировал обращенные к герою слова: «А стой ты, Васька, не попархивай, / Молодой глуздырь, не полетывай» (Белинский. V. 403). Глуздырь — умник; иронически — дурень (В. И. Даль).

³¹ О вечерах у П. В. Вержбицкого — см.: *Белинский*. XII. 182, 220—221. *Обыгрывать на верное* — вести нечистую игру.

³² *Плести лапти*, по объяснению В. И. Даля, — путать.

³³ Шуточная брошюра А. Я. Кульчицкого «Некоторые великие и полезные истины об игре в преферанс, заимствованные у разных древних и новейших писателей и приведенные в систему кандидатом философии П. Ремизовым» (СПб., 1843) вызвала доброжелательную рецензию Белинского (см.: *Белинский*. VII. 31—33).

³⁴ Имеется в виду увлечение идеями французских социалистов-утопистов в ущерб немецкой философии.

³⁵ Слово *панславизм* здесь служит синонимом славянофильских идей 40-х гг., к которым восходили широко популярные в 70-е гг. панславистские идеалы в собственном смысле. В прошлом веке эти слова часто употреблялись как синонимы. См., например, рассуждения Хомякова, писавшего в 1860 г.: «...далеко в истории таятся корни того, что мы привыкли называть панславизмом, или, разумнее, славянолюбием, получившим у нас не совсем дружелюбное название славянофильства <...>» (Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. М., 1988. С. 330). Показательно, что К, прочитав очередную главу монографии Пыпина о Белинском, писал ему в 1875 г.: «Оценка Ваша его ненавистей к панславизму и славянофильству как нельзя более верна!» (Из переписки деятелей Академии наук. Л., 1925. С. 74).

³⁶ Подобная фраза могла объясняться сложным отношением Белинского к «младенчеству племенам»: «...много ли в них человеческого, кроме всегда присущей человеческой натуре возможности очеловечиться? И сколько у иного народа бывает племенных диких черт, как дружно уживается в нем человеческое и прекрасное рядом с звериным и безобразным!» (*Белинский*. X. 370). К развивал близкие идеи, рассуждая о «государственном смысле» великорусского племени (см.: 1. 551—552; в настоящем изд. «Взгляд на юридический быт древней России»).

³⁷ Такой рецензии обнаружить не удалось.

³⁸ В кругу московских западников живо обсуждались безотрадные впечатления Белинского от Европы (см.: Боткин В. П. Литературная критика. Публицистика. Письма. М., 1984. С. 276). Более конкретные сведения К мог получить от П. В. Анненкова, сопровождавшего Белинского за границей (см.: *Анненков*. 363—374).

³⁹ Сходную мысль в завуалированной, однако, форме Белинский сформулировал в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 г.» (1847 г.): «Теперь Европу занимают новые великие вопросы <...> для нас было бы вовсе бесплодно принимать эти вопросы как наши собственные <...> У себя, в себе, вокруг себя, вот где должны мы искать и вопросов и их решения» (*Белинский*. X. 32). Разговор с Грановским состоялся, вероятно, в октябре 1846 г., когда Белинский побывал в Москве. Его суждения об особом пути России не исключали полемики со сла-

вянофилами, хотя Белинский признавал, что с их критикой русского европеизма «нельзя не согласиться хотя наполовину» (*Там же*. 17). Комментируемая фраза К — отголосок спора с Белинским, писавшим ему в 1847 г.: «Вы обвиняете меня в славянофильстве. Это не совсем неосновательно <...>» (*Там же*. XII. 433). Ср. ученные, возможно, К суждения А. А. Григорьева и Достоевского о «славянофильстве» Белинского (см.: Григорьев Аполлон. Эстетика и критика. М., 1980. С. 245, 274; Достоевский. V. 50; ср.: *Там же*. XXI. 11—12).

⁴⁰ Националистические настроения поляков и идеи польского мессианизма действительно осуждались критиком (см.: Белинский. VII. 63—64; X. 265), что не мешало ему ценить творчество А. Мицкевича (*Там же*. XI. 576).

⁴¹ М. П. Драгоманов писал о «политической неразвитости и культурной отсталости галицко-русского общества» (М. Т-ов <Драгоманов М. П.>. Русские в Галиции. Литературные и политические заметки // ВЕ. 1873. № 2. С. 798), о «невысокой степени материального и умственного развития» галичан (М. Т-ов <Драгоманов М. П.> Литературное движение в Галиции // ВЕ. 1873. № 9. С. 257). Возможно, К были известны и другие, напечатанные за границей, работы Драгоманова о Галиции (перепечатаны в кн.: Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці. Київ, 1970. Т. 1).

⁴² Близкие по смыслу суждения см.: Белинский. X. 21. Таращиться — тянуться куда-нибудь или зачем-нибудь (В. И. Даль). Молодой К также неоднократно писал об «отсутствии ложного самолюбия» у русского человека, «способности самоотрицания» (1. 712, 245).

⁴³ См. явившиеся, возможно, отголоском этих бесед суждения Белинского о Петре I в письмах к К (Белинский. XII. 433, 461—462). К и в ранних работах (см. в настоящем изд. «Взгляд на юридический быт древней России»), и позднее («Мысли и заметки о русской истории», а также незавершенная статья 1855 г. «О русском историческом развитии» — см. о ней: Зимица. 11—12) неоднократно обращался к осмыслению исторической роли Петра I и, как и Белинский (см.: Белинский. X. 9—26), связывал его деятельность с укреплением российской государственности и с возрастанием значения личности в русской истории.

⁴⁴ Созданию постоянной оперной труппы в Петербурге предшествовали выступления итальянского тенора Джуованни Рубини, снискавшего в России огромный успех, особенно — в опере Доницетти «Лючия ди Ламмермур» (см.: Гозенпуд А. А. Русский оперный театр XIX в. 1836—1856. Л., 1969. С. 188, 192—195). Белинский с друзьями слушали оперу 28 апреля 1843 г. Приведенный К отзыв критика о певце подтверждается письмом В. П. Боткину (Белинский. XII. 158), однако Белинского взволновала не музыка, а драматическое искусство актера (см.: Воспоминания. 473—474; Тургенев. XI. 42). См. также навеянный впечатле-

ниями от оперы рассказ А. А. Григорьева «Лючия» (Григорьев Аполлон. Одиссея последнего романтика. М., 1988).

⁴⁵ Хорошо осведомленный мемуарист, характеризуя место К среди московских западников, назвал его «одним из надежнейших и горячих друзей круга» (Анненков. 267). Сам К, обращаясь к Герцену, позднее писал: «...ты с Белинским и Грановским играли самую большую роль в моей жизни; вами я воспитался <...>» (Письма. 11). С Н. Х. Кетчером К поддерживал дружеские отношения вплоть до 1870-х гг.; с Е. Ф. Коршем его связывало сотрудничество в «Атенее», сходство общественной позиции. В 40-е гг. К часто бывал в доме Коршей, ухаживая за А. Ф. Корш, на которой в 1845 г. женился (см.: Григорьев Аполлон. Воспоминания. Л., 1980. С. 83—96, 319—320, 342—343).

⁴⁶ В письме Герцену от 2 января 1846 г. Белинский рассказывал о замысле издания и просил московских друзей, в частности К, о сотрудничестве (см.: Белинский. XII. 252—256).

⁴⁷ Намек на симпатии К к славянофилам, которых Белинский намеренно не отграничивал иногда от идеологов «официальной народности», в частности — от С. П. Шевырева, героя памфлета Белинского «Педант» (ОЗ. 1842. № 3). Вспоминая эту фразу критика в 1869 г., в письме к Н. А. Блок К объяснял ее как совет Белинского игнорировать «разные суждения об наших действиях» (РМ. 1911. № 6. Отд. II. С. 129).

⁴⁸ Хотя критик считал себя ущемленным, писал друзьям о «внутреннем разрыве» с Некрасовым (Белинский. XII. 335), обвинения К он называл «глупыми» (Там же. 334), подчеркивал различие своего положения в ОЗ и Совр. (Там же. 415). Вспоминая конфликт с Некрасовым, К солидаризовался с Тургеневым (см.: Тургенев. XI. 46). См. также черновики письма Некрасова к М. Е. Салтыкову-Щедрину с объяснением занятой им тогда позиции (Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 1952. Т. XI. С. 130—137).

⁴⁹ Некрасов возражал против появления в Совр. положительного отзыва о повести Д. В. Григоровича «Деревня», напечатанной в конкурирующем издании — ОЗ (см.: Белинский. XII. 319; X. 42—44; Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1961. С. 100—102).

⁵⁰ Вероятно, К цитирует несохранившееся письмо Белинского от 6 февраля 1847 г.; об этом письме критик сообщал В. П. Боткину (см.: Белинский. XII. 324).

⁵¹ О содержании этой переписки с К Белинский подробно сообщал Тургеневу 19 февраля (3 марта) 1847 г. (см.: Белинский. XII. 334).

⁵² Очевидно, К контаминировал здесь два действительно дружеских письма Белинского от 22 ноября и 7 декабря 1847 г. (см.: Белинский. XII. 431—436; 453—462); «несправедливость и неделикатность поступка» Некрасова (Там же. 458) критик признавал во втором из них.

⁵³ К неточно передает многократно варьиовавшийся в письмах критика отзыв о повести: «...читая ее, я все думал, что присутствую при экзекуциях» (*Белинский*. XII. 421, 436, 445).

⁵⁴ Белинский женился в 1843 г., ездил на юг в 1846, за границу — в 1847 г.

⁵⁵ Белинский встретился с Тургеневым в Берлине, оттуда они отправились в Зальцбрунн, где к ним присоединился П. В. Анненков. Через полтора месяца Тургенев действительно покинул их: «не мог выдерживать» размеренного образа жизни, необходимого больному Белинскому (*Анненков*. 334).

⁵⁶ Речь идет о знаменитом зальцбруннском письме Белинского к Гоголю (3/15 июля 1847 г.). К, вероятно, неточен: как установил Ю. Г. Оксман, при жизни критика письмо не получило широкого хождения в списках (см.: Оксман Ю. Г. От «Капитанской дочки» к «Запискам охотника». Саратов, 1959. С. 203, 239).

⁵⁷ Имеются в виду: *записка гр. С. Г. Строганова* «О либерализме, коммунизме и социализме, господствующих в цензуре и во всем Министерстве народного просвещения», доклад барона М. А. Корфа, требовавшего усиления цензурного контроля, а также учрежденный 2 апреля 1848 г. комитет под председательством Д. П. Бутурлина для надзора за печатью (см.: *Анненков*, 533—535).

⁵⁸ 20 февраля и 27 марта 1848 г. М. М. Попов, действительно служивший в Пензенской гимназии и знакомый с Белинским с 1826 г., уведомлял его о желании генерал-лейтенанта Л. В. Дубельта, управляющего III Отделением, встретиться с критиком (см. подробнее: Оксман Ю. Г. Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского. М., 1958. С. 547—548; 552—553). Об этих событиях К скорее всего знал со слов Н. Н. Тютчева (см.: *Воспоминания*, 475—476).

⁵⁹ В процессе петрашевцев одним из основных пунктов обвинения было чтение и распространение зальцбруннского письма Белинского к Гоголю. Об отношении К к петрашевцам и его контактах с ними см.: Феоктистов Е. М. Воспоминания. За кулисами политики и литературы. 1848—1896. Л., 1929. С. 166; Тучкова-Огарева Н. А. Ук. соч. С. 76—88.

⁶⁰ К и еще несколько профессоров Московского университета вышли в отставку в знак протеста против недостойного поведения профессора Н. И. Крылова, поддержанного администрацией (см. подробнее: Соловьев С. М. Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 297—299).

⁶¹ Вернувшись из-за границы, Боткин со второй половины 40-х гг. стал „защищать либеральную умеренность, а в эстетической сфере — «бесцельность» искусства, «артистический элемент», «терпимость»“ (Егоров Б. Ф. Боткин — критик и публицист // В. П. Боткин. Ук. соч. С. 9; см. также: *Белинский*. XII. 445).

⁶² Жена Н. Н. Тютчева писала Тургеневу о Белинском 23 июня 1848 г.: «Перед самой смертью он говорил два часа, не переставая, как будто к русскому народу, и часто, обращаясь к жене, просил ее все хорошенько запомнить <...>» (АН. Т. 56. С. 197). См. также: *Воспоминания*. 563.

⁶³ В воспоминаниях К отразилось сдержанное отношение друзей Белинского к его семье. М. В. Белинская (рожд. Орлова) до замужества служила в московском Александровском институте. Об их дочери Ольге Виссарионовне (в замужестве Бензис) см.: *Воспоминания*. 564; Бензис Вл. Личные воспоминания о В. Г. Белинском и его жене // Новый мир. 1961. № 6. А. В. Орлова, сестра М. В. Белинской, переехала к Белинским в мае 1844 г. и оставалась у них до смерти критика (см.: *Воспоминания*. 556).

⁶⁴ Имеется в виду эпизод, описанный Герценом и Панаевым, но происходивший у А. А. Краевского (см.: *Герцен*. IX. 27—28; *Панаев*. 332).

⁶⁵ Вероятно, К перепутал М. М. Бакунина с отцом М. А. Бакунина, — А. М. Бакуниным, в доме которого Белинский однажды «отпустил» за столом какую-то фразу о «робеспьеризме» и «запахе крови» (*Белинский*. XI. 319—320).

⁶⁶ В воспоминаниях Тургенева такого эпизода нет. Возможно, К имел в виду рассказ Герцена о вечере у Панаевых (см.: *Герцен*. IX. 32—34).

⁶⁷ Эта мысль сформулирована в работе Герцена «О развитии революционных идей в России» (*Герцен*. VII. 236—237); сходное суждение — см.: *Герцен*. IX. 124.

⁶⁸ *Теоретический разрыв* с Грановским (1846) подробно описан в «Былом и думах» (см.: *Герцен*. IX. 209—210). Разногласия упирались в религиозность Грановского и материалистические убеждения Герцена. Говоря о возможном несовпадении взглядов Белинского и Грановского, К, очевидно, не знал об их споре относительно Робеспьера (см. выше примеч. 28).

⁶⁹ «*Отца Горио*» Белинский не переводил. В его известных переводах подобная фраза не обнаружена (см.: Нечая В. С. В. Г. Белинский. Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве». 1829—1836. М., 1954. С. 450).

⁷⁰ Сохранившиеся письма Н. В. Станкевича к Белинскому не подтверждают этих слов К.

ФИЛОСОФИЯ И НАУКА В ЕВРОПЕ И У НАС

Впервые — XXV лет (1859—84). Сборник, изданный комитетом Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884. С. 319—346.

Первое обращение к проблемам, нашедшим отражение в публикуемой статье, зафиксировано в письме к К. К. Гроту (21 июня 1874 г.): «В последней главе статьи в ответ Самарину (см. *ВЕ*. 1875. № 5—7 — В. К.) я намерен коснуться подробнее вопроса довольно интересного, именно разлада между мыслью и жизнью в нашем любезном отечестве. <...> Меня больше и больше поражает с каждым годом, до какой степени наша мысль бесплодна, отвечает не на наши вопросы, до какой степени она вся — иностранная колония в России, игрушка досужих и праздных людей, а не вымученная, выстраданная самою жизнью и ее потребностями» (*РС*. 1899. № 2. С. 379). Однако эти рассуждения не вошли в статью К, посвященную полемике с Ю. Ф. Самариным. Очевидно, новый замысел не вполне корреспондировал со специально-психологической проблематикой статьи. В октябре 1874 г. К писал Д. А. Корсакову: «8-го ноября будет общее собрание литературного фонда, к которому я приготовил, для прочтения, маленькую статью «Философия в Европе и у нас». Здесь проводится мысль, что наука совсем не так космополитична, как мы думаем, и что мы принимаем отрицание воли и свободы совсем не в том смысле, в каком этот вопрос ставится в Европе, потому что почва — умственная и нравственная — совсем другая» (*ВЕ*. 1887. № 8. С. 770). Статья была прочитана в качестве доклада на собрании членов Общества 17 ноября 1874 г. Статья находится в русле весьма существенных для К размышлений о необходимости личного развития в России и становления самостоятельной духовной жизни.

¹ Очевидно, имеется в виду литературная критика 30—40-х годов (Н. И. Надеждин, В. Г. Белинский, В. Н. Майков, М. Н. Катков и др.), для которой характерны были философские вступления и «путные» рассуждения на философские темы.

² Скорее всего речь идет о П. Н. Ткачеве, за полемикой которого с П. Л. Лавровым по вопросу о роли знания в революции К следил. См. примеч. 4 к статье «Разговор с социалистом-революционером». В брошюре «Задачи революционной пропаганды в России (письмо к редактору журнала «Вперед»)», выпущенной в апреле 1874 г., Ткачев иронически замечал, что у большинства «практическая деятельность не находится ни в какой непосредственной зависимости от теоретического мирозерцания. <...> Философы <...>, увлекаясь предметом своих постоянных занятий, приписывают знанию гораздо большее влияние на ход человеческих дел, чем это бывает в действительности. Но тем хуже для философов» (Ткачев П. Н. Соч.: В 2 т. М., 1976. Т. 2. С. 33).

³ Под замечательными книгами <...> в русском переводе К мог иметь в виду следующие издания, выходившие в 60-е — начале 70-х гг.: Льюис Д. Г. История философии от начала ее в Греции до настоящих времен. СПб., 1866; Прудон Ж. Война и мир. М., 1864;

Милль Д. С. Огюст Конт и позитивизм. СПб., 1867; он же. Рассуждения и исследования политические, философские и исторические. СПб., 1864—1865; Спенсер Г. Собр. соч.: В 7 т. СПб., 1866—1869; Штраус Д. Ф. Современная Пруссия в политическом и экономическом отношениях. СПб., 1870; Гартман Э. Сущность мирового процесса, или Философия бессознательного (полное изложение с присоединением предисловия, введения и критической оценки системы А. А. Козлова). М., 1873 и др.

⁴ Эта мысль восходит к Чаадаеву. Ср.: «У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса: каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам бог весть откуда» (Чаадаев. 38).

⁵ Имеется в виду позитивизм.

⁶ В том же 1874 году К пишет по поводу диссертации «Кризис западной философии (против позитивистов)» молодого философа Вл. С. Соловьева статью под названием «Априорная философия или положительная наука?», в которой он, несмотря на несогласие со взглядами Соловьева, видит в самом факте обращения русского философа к злободневным духовным проблемам русской жизни залог самостоятельного философского развития в России: «И сам автор, и его книжка, и диспут обратили на себя внимание и сделались предметом оживленных толков в петербургских кругах, интересующихся философией <...> Подобного случая у нас не бывало. Диссертация, несмотря на ее небольшой объем, вызывает основательное знание предмета и глубокое убеждение; написана она с талантом, увлекательно и вдобавок затрагивает один из самых у нас живых и спорных вопросов» (З. 285).

БЕЛИНСКИЙ И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ДВИЖЕНИЕ НАШЕЙ КРИТИКИ

(Письмо А. Н. Пыпину)

Впервые — газета «Неделя». 1875. 5 октября.

А. Н. Пыпин, завершая монографию «В. Г. Белинский. Его жизнь и переписка» (см. о ней в настоящем изд. примеч. к очерку «Воспоминания о В. Г. Белинском») и оспаривая в финале суждения И. С. Тургенева, известные из его «Воспоминаний о В. Г. Белинском» (ВЕ. 1869. № 4), обратился к К с просьбой высказать мнение по поводу этой полемики. К сформулировал свои соображения в частном письме к Пыпину, положенном в основу комментируемой статьи (см. об этом: Н и к о н о в а Т. А. «Воспоминания о Белинском». Из истории полемики вокруг очерка Тургенева // Тургеневский сборник. Л., 1967. Вып. III. С. 130—134). В этой статье К выдвинул смелую для публициста либерального лагеря концепцию развития русской критики 1840—70-х гг.

Истоки ее упадка он усматривал в идеях шестидесятников, что представляет особый интерес, поскольку об их системе взглядов К судил не только по выступлениям в печати, но и по тем оживленным спорам, которые вел с Чернышевским и Добролюбовым на рубеже 1850—60-х гг. (см.: Хейфец М. Письма К. Д. Кавелина к М. Н. Каткову о Чернышевском // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. М., 1940. Вып. 6. С. 59—63). При этом важно учитывать, что взгляды К и революционеров-демократов в реальности политической борьбы находили точки соприкосновения. Так, накануне крестьянской реформы редакция *Совр.* выступала с К единым фронтом (см. об этом обстоятельное исследование: Захарина В. Ф. Из истории общественной борьбы в период падения крепостного права (К. Д. Кавелин и революционные демократы) // Исторические записки. М., 1983. Т. 109). Однако К решительно восставал против «одностороннего» материализма, отождествляющего, как писал он, естественнонаучные законы с законами общественной жизни и игнорирующего «действительную природу человека» (см. статью К «Мысли о современных научных направлениях. По поводу диссертации г. Неклюдова «Уголовно-статистические этюды». 1865 — 3. 241—268). «Крайний материализм», как, впрочем, и крайний идеализм, чреватые, по мысли К, «безразличием» к противоречивому внутреннему миру человека; это «безразличие» есть теоретическое основание, источник *нигилизма*» (подчеркнуто К. — О. М.; 3. 258). Как и во многих других работах К, в статье сделана попытка отказаться от «одностороннего» — либо материалистического, либо идеалистического — представления о личности, «психическом деятеле». При этом К опирался на понятие общественного идеала, неотделимого от субъективных представлений человека и вместе с тем надындивидуального. «Пока люди имели идеалы и надеялись видеть их осуществленными, — писал К в «Задачах этики», — они не жаловались на то, что жизнь не имеет смысла, бодро и радостно жили для них, мужественно перенося всякие страдания и лишения <...> В наше время вера в идеалы и надежда их достигнуть исчезли, а с ними и бодрость духа. Уныние и бессилие овладели нами, и жизнь опостылела» (3. 1009—1010). Личность Белинского понята К как воплощение нравственного идеала, сложившегося в 1840-е гг. и утраченного шестидесятниками. Однако как историк К оправдывал людей 60-х гг. Их пренебрежение «идеалами и идеальным направлением» представлялось ему закономерной реакцией на александровские реформы, завершившие, по мысли К, петровский период русской истории (см. в настоящем изд. «Мысли и заметки о русской истории»). Крайности и односторонний характер этого периода казались К наконец преодоленными, поэтому 70-е гг. он воспринимал как начало новой эпохи, создающей реальную почву для сближения полярных позиций, хотя, надо заметить, он и раньше стремился к такому сближению (см., например, письмо К к М.

П. Погодину от 3 ноября 1857 г. // Ц а м у т а л и А. Н. Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX века. Л., 1977. С. 161). «Письмо» Пыпину явилось своего рода манифестом «центристских» сил, призывом к единению интеллигенции, радикальной и охранительной. Сам К рассматривал «письмо» как начало длительной полемики, способной привести к консолидации: «Для пользы дела я очень желаю, чтобы спор вышел длинный, живой, чтобы он обнял как можно больше предметов <...> и был началом регулярной и генеральной битвы между разными направлениями <...>» (письмо А. Н. Пыпину от 9 августа 1875 г. // Из переписки деятелей Академии наук. Л., 1925. С. 76). Однако его надежды не оправдались. Выдвинутая К утопическая программа практически замалчивалась в ходе возбужденной его «письмом» полемики (печатные отклики указаны ниже — см. примеч. 11 и 15). Лишь сотрудник «Недели» пытался поддержать К (см.: П. Ч. <Червинский П. П.> Отчего безжизненна наша литература // Неделя. 1875. 2 ноября), что вызвало резкую отповедь Н. К. Михайловского (1876), назвавшего К «побочным писателем», «типическим деятелем сороковых годов», «оттертым <...> на задний план» и потому сводящим счеты с шестидесятниками (М и х а й л о в с к и й Н. К. Сочинения. СПб., 1897. Т. 3. Стб. 821—822). В ответ на критические реплики К выступил с дополнительной аргументацией своей позиции — статьей «Идеалы и принципы» (1876).

¹ Пыпин противопоставлял Белинского литераторам 40-х гг. (Тургеневу, В. П. Боткину, А. В. Дружинину), подтягивая его взгляды к платформе Чернышевского и Добролюбова: «...новая критика, — утверждал Пыпин, — совершенно однородна с критикой Белинского», является «прямым ее наследием и дальнейшим историческим развитием» (ВЕ. 1875. № 6. С. 592).

² Этот спорный вопрос разрешался в 1850—70-е гг. двояко: Белинский либо противопоставлялся «новой критике» (в этом случае акцентировалось его внимание к эстетическим проблемам — А. В. Дружинин, Тургенев, В. Г. Авсеенко), либо, напротив, воспринимался как прямой предшественник шестидесятников (тогда подчеркивался общественный пафос его статей — Н. Г. Чернышевский, А. Н. Пыпин).

³ Речь идет о взглядах самого К и Пыпина: оба они сотрудничали в ВЕ и воспринимались как представители одного — умеренно-либерального — крыла общественной мысли.

⁴ Четко сформулированный Пыпиным (ВЕ. 1875. № 6. С. 579), этот взгляд был, однако, общим местом критики 1850—70-х гг. (его разделяли, например, и Чернышевский, и Дружинин).

⁵ По убеждению К, Белинский, озабоченный главным образом нравственно-социальными проблемами русской жизни и меньше внима-

ния уделявший политическим (см. в настоящем изд. очерк «Воспоминания о В. Г. Белинском»), «предугадывал» и отчасти готовил своей деятельностью эпоху реформ.

⁶ Тургенев редуцировал ноты социального протеста у Белинского, ограничивая его «отрицание» сферой искусства: «...он (Белинский — О. М.) очень ясно видел и понимал <...>, что критика, в смысле отрицания фальши и лжи, должна сперва подвергнуть анализу явления литературные <...>» (Тургенев. XI. 32). В письме Пыпину от 13 июля 1875 г. К оспаривал это суждение: «Я не совсем понимаю, отчего и зачем у Тургенева эта кислая гримаса, заставившая его употребить Б<елинского> как орудие для полемики с направлением, которому он не сочувствует (т. е. с радикалами — О. М.), и исказить образ этой личности, прелестный в своей полноте и многосторонности» (цит. по: Н и к о н о в а Т. А. Ук. соч. С. 131).

⁷ Это мнение разделяли критики самой разной ориентации, прежде всего, А. А. Григорьев, утверждавший, что «основной принцип убеждений Белинского и за ним всего западничества — принцип чисто отрицательный: ненависть ко всему непосредственному, ко всему <...> прирожденному» (Григорьев Аполлон. Эстетика и критика. М., 1980. С. 246). Кроме того, К учитывал, вероятно, мнения А. М. Скабичевского, писавшего об отсутствии у Белинского «положительных идеалов и стремлений» (Скабичевский А. М. Сочинения. СПб., 1890. Т. 1. С. 449), и Н. В. Шелгунова, называвшего людей 1840-х гг. и прежде всего Белинского «первыми русскими отрицателями» (Шелгунов Н. В. Литературная критика. Л., 1974. С. 66).

⁸ Имеется в виду прежде всего Тургенев, утверждавший, что Белинский «отрицал во имя идеала» и что за «свистом» шестидесятников стояли лишь «шаткость и неясность <...> убеждений» (Тургенев. XI. 38, 40).

⁹ Тургенев писал о присущем Белинскому «практическом понимании своей роли», «своего времени, своего назначения» (Там же. 32, 33) и противопоставлял его критикам 1860-х гг., прежде всего — Д. И. Писареву и Н. А. Добролюбову.

¹⁰ Начало, *выделенное* из действительности, — духовный мир человека. К видел возможность познания этого мира лишь в отказе от безоговорочного противопоставления идеализма материализму («реализму»). Подробнее см. в его работах «Задачи психологии» (1872) и «Идеалы и принципы» (1876).

¹¹ Под *перерождением* идеалов К имел в виду движение общественной мысли от этических проблем к политическим и экономическим, что вписывалось в его трактовку личности Белинского. Отвечая К, Пыпин сослался на зальцбруннское письмо к Гоголю (1847) как на доказательство общности идеалов Белинского и критиков 60-х гг.; причины их расхождений Пыпин видел лишь в различии эпох (см.: Пыпин А. Н.

Об упадке современной критики. Ответ на письмо г. Кавелина // ВЕ. 1876. № 1). Возражал К и Н. В. Шелгунов, писавший о верности шестидесятников высокому этическому идеалу (см.: <Шелгунов и Н. В.> Еще об идеалах. Письмо в редакцию // Неделя. 1875. № 49. 7 декабря).

¹² Имеется в виду знаменитый тезис молодого Белинского «у нас нет литературы», его борьба с авторитетами, резкие оценки словесности XVIII в. (см. статьи Белинского «Литературные мечтания» и «Русская литература в 1840 году»).

¹³ Касаясь взглядов Добролюбова, Пыпин утверждал: «...Белинский понял бы, что источник этого отрицания есть именно та «другая сторона любви», о которой говорит он в одном из последних <...> писем <...>» (ВЕ. 1875. № 6. С. 588).

¹⁴ Эти рассуждения К вызвали возражения Шелгунова, писавшего о критиках 60-х гг.: «Уж они ли не действовали на подъем духа, на подъем сил». Отводил он и адресованный шестидесятникам упрек в идеализме, утверждая, что они не забывали о «реальной почве», а «в сфере социально-экономических теорий далеко опередили свое время» (Неделя. 1875. 7 декабря).

¹⁵ Эти слова вызвали реплику М. А. Антоновича, утверждавшего, что как раз не закономерности, но «случайности» — смерть Добролюбова, арест Чернышевского — способствовали упадку литературы (Антонович М. А. Причины неудовлетворительного состояния нашей литературы // Слово. 1878. № 2). Антонович, конечно, не мог считать судьбу Чернышевского «случайной»; по сути, он упрекал К в замалчивании пративительственного террора.

¹⁶ Намек на обличительную литературу и сатирическую журналистику 1860-х гг., примыкавшую к революционно-демократическому лагерю — «Гудок», «Будильник», «Искра» (Ср. отзыв К о «Свистке» — Пантилеев Л. Ф. Из воспоминаний прошлого. М.; Л., 1934. С. 124).

¹⁷ *A priori* (лат.) — здесь: заранее.

¹⁸ После падения Парижской коммуны во Франции возросла популярность церкви (см.: Зеваэс Ал. История Третьей республики. 1870—1926. М; Л., 1930. Пер. Ф. Капелюша. С. 64—68).

¹⁹ Речь идет о позитивизме. Его «коренная ошибка, — писал К в 1875 г. — состояла только в том, что он признавал за действительные реальности одни материальные явления и не придавал самостоятельного значения психическим фактам, наравне с материальными» (3. 338). Важно иметь в виду, что К разграничивал позитивизм и «положительную науку», которую он защищал в «Задачах психологии».

НАШ УМСТВЕННЫЙ СТРОЙ

Впервые — газета «Неделя». 1875. 9 марта.

В начале 70-х гг. К обращается к темам, людям и проблемам своей молодости, заново их переосмысливая. Он связывается с «владельцем чаадаевских бумаг» М. И. Жихаревым и рекомендует его М. М. Стасюлевичу (М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Т. 2. СПб., 1912. С. 120; статья Жихарева о Чаадаеве опубликована: *ВЕ*, 1871. № 7, 9). В 1874—75 гг. К полемизирует со своим старинным оппонентом Ю. Ф. Самариным (*ВЕ*. 1875. № 5—7). В 1873 г. К по просьбе А. Н. Пыпина пишет воспоминания о Белинском. По мнению Д. А. Корсакова, статья «Наш умственный строй» «вызвана мыслями А. Н. Пыпина, выраженными им как в его труде по биографии В. Г. Белинского, который начал печататься с мартовской книжки «Вестника Европы» 1874 г., так и личными с ним беседами К. Д. Кавелина по поводу этого труда об умственных течениях в России сороковых и последующих годов» (3, 1243). В статье К сжато формулирует свое позднее понимание характера русской истории и культуры. Препятствием к самобытному развитию России, связанным со стремлением к некритическому заимствованию европейских достижений, К считает отсутствие, «стертость нравственной личности» (3. 885).

¹ Имеется в виду материализм естественнонаучного типа. В начале 70-х гг. К много полемизировал с русским физиологом И. М. Сеченовым. На статьи Сеченова («Замечание на «Задачи психологии» // *ВЕ*. 1872. № 6; «Кому и как разрабатывать психологию» // *ВЕ*. 1873. № 4) К отвечал рядом писем в том же журнале. См.: 3. 650—791.

² Возможно, речь идет о позиции Ю. Ф. Самарина в отношении книги К «Задачи психологии» (СПб., 1872). См. об этом подробнее преамбулу и примеч. к статье «Московские славянофилы сороковых годов».

³ Парафраз первого «Философического письма» П. Я. Чаадаева. Ср.: «Общий закон человечества отменен по отношению к нам» (*Чаадаев*. 41).

⁴ Эта мысль не раз высказывалась в 40-е годы «русскими европеистами», подчеркивавшими единство европейской культуры. См., напр.: «Общность религии, принятой западными народами, условила возможность единой европейской цивилизации» (Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. М., 1987. С. 6).

⁵ Речь идет о Реформации.

⁶ К описывает процесс становления научного знания, характерный для стран с протестантской формой христианского вероисповедания, прежде всего Германии, которую К не случайно называл «классической страной университетской науки» (3. 98).

⁷ *Обстаивать* — заступаться, оправдывать (В. И. Даль).

⁸ Соображение об оторванности русской мысли, сложившейся в дворянской культуре 40-х гг., от реальных потребностей быта было ха-

рактерно для русской публицистики конца 60-х — начала 70-х гг., особенно для демократической критики, иронизировавшей по поводу Рудинных и Лаврецких, «нескольких тысяч говорунов, читавших Гегеля от нечего делать» (С к а б и ч е в с к и й А. М. Сочинения. СПб., 1890. Т. 1. С. 123). При этом в рассуждениях К слышится и полемика с Герценом, говорившим о преимуществах широты русского ума, не скованного европейской мелочностью и жаждой бытового жизнеустройства (*Герцен*. XIV. 43—44).

⁹ Здесь явная полемика со славянофильско-почвенническими концепциями, отстаивавшими идею неорганичности для общинной России самостоятельной и критической личности.

АВДОТЯ ПЕТРОВНА ЕЛАГИНА

Впервые — газета «Северный вестник». 1877. 7 и 8 июля.

Мемуарный очерк об А. П. Елагиной — итог многолетних раздумий К над эпохой 1840-х гг., ознаменованной, как он не раз утверждал, пробуждением исторического сознания. Закономерно, что окружение Елагиной, ее семья и друзья — в основном славянофилы старшего поколения — получили под пером К обобщенный портрет: ему важно было воссоздать атмосферу елагинского салона, дать представление о литературных кружках, в недрах которых возникали исторические концепции, определившие во многом судьбу русской общественной мысли. При этом он скрыто полемизировал с Герценом, видевшим в московских салонах 40-х гг. лишь сублимацию социальной активности (см.: *Герцен*. IX. 152—153).

Как и в любых воспоминаниях, в очерке встречается немало фактических неточностей, объясняющихся, в частности, тем, что К многое описывал с чужих слов — по рассказам Елагиной и, возможно, своего отца (о Д. А. Кавелине и его окружении см.: *Зими́на*. 33—42), сохранив тем самым предание об эпохе 1810-х и 1820-х гг. в том виде, в каком его наследовали от поколения родителей люди 1840-х гг. Но в период расцвета елагинского салона (1830 — 40-е гг.) К уже сам был его завсегдатаем, хотя по молодости на первые роли не претендовал, в основном испытывая на себе чужие влияния, прежде всего — славянофильское. К читал Хомякову отрывки своей диссертации и получил полное его одобрение (см.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1892. Кн. 6. С. 331—332), для П. В. Киреевского он собирал народные песни (см.: *АН*. Т. 79. С. 559—564; Коншина Е. Н. Архив Елагиных и Киреевских // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. М., 1953. Вып. 15. С. 26); в 1842 г. в письме к отцу Д. А. Корсакова К обрушивался на приверженцев «западной науки» (см.: *ВЕ*. 1886. № 6. С. 481). Самым, пожалуй, выразительным

свидетельством близости К к славянофилам могут служить его письма к Д. А. Валуеву (см. о нем ниже, примеч. 26). В 1842 г., живя в Петербурге, в отдалении от московских друзей, К просил Валуева «наставлять» его «на истинный, московский путь» (РА. 1900. № 4. С. 570). Каким этот путь рисовался К, он формулировал вполне в духе славянофильской мысли: «... я уверен, что путь, которым иду, есть настоящий русский путь, и сила живого убеждения, основанного на любви и вере, составит со временем сознannую основу славянской жизни» (Там же. С. 592). Подобные фразы всего через несколько лет уже немыслимы были в устах К, сблизившегося сначала с Белинским, затем — с Герценом и Грановским (см. в настоящем изд. «Воспоминания о В. Г. Белинском»). При чем с последними К встречался и в салоне Елагиной, который «был любимым местом соединения ученых и литературных знаменитостей Москвы, <...> представлял нечто вроде замиренной почвы, где противоположные мнения могли свободно высказываться <...>» (Анненков. 224). Причастность К и к славянофильству, и к западничеству на раннем этапе их формирования придает его очерку исключительную ценность.

Судя по обилию точных дат (дни рождений, свадеб, смертей), как правило, подтверждающихся и другими источниками, К, вероятно, опирался на какие-то документы из семейного архива Елагиных; поэтому в тех редких случаях, когда его датировки расходятся с общепринятыми, они, как вполне авторитетные, не исправляются. Все иные случаи хронологических ошибок и смещений отмечены в примечаниях.

¹ В 1790-е гг. П. Н. Юшков служил советником в тульской казенной палате, в 1793—95 гг. — депутатом уездного дворянского собрания Белевского уезда. Он был дружен с А. Т. Болотовым, не раз упоминавшим в своих мемуарах о нем и его жене, «боярыне молодой и очень умной, любопытной и ласковой» (Записки Андрея Тимофеевича Болотова. СПб., 1873. Т. 4. Стб. 1106). О В. А. Юшковой в 1866 г. Елагина писала К. К. Зейдлицу: «мать моя была очень поэтическое создание; у нее бывали чтения, ей присылали все новые произведения Карамзина, Дмитриева; я помню, с каким восторгом повторялись романсы Нелединского. — Она любила музыку, давала концерты, почти дирижировала тульским театром» (ЦГАЛИ. Фонд 209. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 14 об.—15).

² Речь идет об эпидемии чумы 1771 г. Тайный советник Иван Иванович Юшков действительно служил в это время московским гражданским губернатором. Он был женат не на Головкиной, а на Анастасии Петровне Головиной (в тексте, возможно, опечатка).

³ В. А. Жуковский был незаконным сыном А. И. Бунина (деда Елагиной, отца В. А. Юшковой), т. е. приходился Елагиной дядей по материнской линии. После смерти А. И. Бунина (1791) будущий поэт жил у М. Г. Буниной, бабушки Елагиной, и в доме Юшковых. Дядя был старше племянницы не на семь, а на шесть лет. Ее руководителем в

занятиях немецкой литературой он стал, очевидно, не в отрочестве, а позднее.

⁴ *Феофилакт Гаврилович Покровский* (в доме Юшковых его, вероятно, называли Филатом Гавриловичем: см. письмо В. А. Жуковского к Елагиной // *Русский библиофил*. 1912. № 7/8. С. 129), литератор, сотрудник не только «Политического журнала», но и «Ипокрены», «Приятного и полезного препровождения времени»; автор книги «Дмитрий Иоаннович Донской, Великий князь Московский, историческое повествование» (Тула, 1823). Служил в тульском Главном народном училище, давал частные уроки дочерям Юшковых. Сестра Елагиной вспоминала, что Покровский славился «глубокими познаниями в науках и литературе» (Зонтаг А. П. Воспоминание о В. А. Жуковском // *Москвитянин*. 1852. № 18. С. 1116). Болотов, рассказывая об одной из встреч с ним, писал: «...мы кое-что покаякали по наукам» (Болотов А. Т. Ук. соч. Стб. 1286).

⁵ В. А. Юшкова умерла в мае 1797 г., когда Елагиной было восемь лет.

⁶ А. П. Зонтаг в 1830—40-е гг. была известна как переводчица и автор произведений для детей.

⁷ Имеется в виду въезд Александра I в Москву, где 15 сентября 1801 г. состоялась коронация, сопровождавшаяся пышными торжествами, в которых принимал участие Жуковский (см.: *Дневники В. А. Жуковского*. СПб., 1903. С. 39).

⁸ В. И. Киреевский, отставной секунд-майор, знал, как сообщал сын Елагиной от второго брака, пять языков, занимался переводами и естественными науками (см.: Елагин Н. А. Материалы для биографии И. В. Киреевского // *Киреевский И. В. Полн. собр. соч.* М., 1911. Т. I. С. 3). Ко времени женитьбы ему было около 32 лет (родился в 1773 г.). См. о нем подробнее: Толчова <Т.> Рассказы и анекдоты // *РА*. 1877. Кн. II. С. 362—368; Петерсон А. Черты старинного дворянского быта // Там же. С. 479—482. О странностях В. И. Киреевского см.: Гершензон М. О. Образы прошлого. М., 1912. С. 89.

⁹ Судя по сохранившимся письмам Елагиной, она оказалась в Орловской губернии, у Е. А. Протасовой, родной сестры своей матери, до гибели мужа (см.: Коншина Е. Н. Ук. соч. С. 30), а затем вместе с детьми вскоре вернулась в Долбино. Е. А. Протасова овдовела не в 1793 г., а приблизительно в 1798 г.

¹⁰ Чувство Жуковского к М. А. Протасовой натолкнулось на непреодолимое препятствие: ее мать не допустила брака ввиду их близких родственных отношений. Елагина была поверенной поэта и подругой Маши Протасовой. Другая дочь Е. А. Протасовой — Александра Андреевна, в замужестве Воейкова (ей посвящена баллада Жуковского «Светлана»).

¹¹ А. А. Плещеев — родственник Елагиной и Жуковского, приятель поэта; автор музыки на его стихотворения, позднее — член «Арзамаса» (см.: Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 2. С. 103—104; Плещеев

ев А. Друг Жуковского А. Плещеев // Исторический вестник. 1895. № 4). Страстный театрал и музыкант, сочинявший стихотворные и драматические произведения, он устроил в своем имении Чернь (Болховский уезд Орловской губернии) домашний театр, ставил, в частности, шуточные пьесы Жуковского, был «известен по своим деревенским праздникам, театральному и музыкальному искусствам» (Долгорукий И. М. Дневник моего путешествия в Киев. // Чтения в имп. Обществе истории и древностей российских. М., 1870. Кн. II. Пагинация 2. С. 10). По словам Елагиной, «артистическая, веселая натура Плещеева привлекла Жук<овского> всею симпатией поэтической души» (ЦГАЛИ. Фонд 209. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 18).

¹² К смещает хронологию событий: с его отцом, *Д. А. Кавелиным*, Елагина познакомилась, судя по ее переписке с Жуковским, только в 1815 г., когда кружок Плещеева, как замечает мемуарист далее, уже распался. В 1815 г. она, возможно, еще не встречалась и с другим близким приятелем молодого Жуковского — *Д. Н. Блудовым* (см. письмо Жуковского к Елагиной от <11 июня 1815 г.> // Уткинский сборник. Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и Е. А. Протасовой. М., 1904. С. 12—13). Трудно сказать, о каком из Апухтиных идет речь; возможно, о Г. П. Апухтине, орловском губернском предводителе дворянства в 1806—1813 гг.

¹³ Генерал *Шарль А. Бонами* попал в плен на Бородинском поле; в августе 1814 г. вернулся во Францию. В 1813 г. Жуковский обращался к А. И. Тургеневу с просьбой похлопотать о его судьбе: «Здесь в Орле есть пленный генерал Бонами, храбрый и благородный человек. Я видел его после Можайского сражения с десятью или и более ран, сделанных штыком...» (Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М., 1895. С. 99). См. о нем также: Соловьев Н. В. История одной жизни. А. А. Воейкова — «Светлана». Пг., 1915, Т. 1. С. 32.

¹⁴ *Jeux d'espris* (франц.) — буквально: игра ума.

¹⁵ Жуковский вступил в Московское ополчение в августе 1812 г., вернулся в Муратово в начале января 1813 г.; не добившись от Е. А. Протасовой разрешения на брак с Машей, покинул Муратово и жил не только в Долбино, но и в Мишенском, Черни, Савинском, Холхе, Белеве. В Долбино поэт провел длительное время осенью 1814 г.

¹⁶ *А. А. Елагин*, участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии, друг декабриста Г. С. Батенькова, увлекался философией Канта, переводил Шеллинга, позднее пользовался дружеским расположением славянофилов (см.: Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1900. Т. VIII. С. 264).

¹⁷ Здесь и далее К неточно воссоздает расстановку литературных сил в 1820—1830-е гг. Некоторые из названных им писателей (*М. П. Погодин*, *С. П. Шевырев*, *В. П. Титов*, *В. Ф. Одоевский*, *М. А. Максимович*, *А. И. Кошелев*) входили в начале 20-х гг. в кружок С. Е. Раича

и общество любомудрия, куда Одоевский ввел и Николая Полевого, «который на первых же порах представил программу журнала. Она была отвергнута; он оставил общество <...>» (Погодин М. П. К вопросу о славянофилах // Гражданин. 1873. 12 марта). Будучи издателем «Московского телеграфа» (1825—1834), Полевой привлек к журналу многих из перечисленных К литераторов; в этот круг уже не входили, однако, С. П. Шевырев и М. П. Погодин, ставшие вскоре издавать «Московский вестник» (1827—1830), но присоединились П. А. Вяземский, М. Н. Лихонин, М. П. Розберг; в обоих журналах участвовал Пушкин. Судя по набору имен, упоминаемых здесь и далее, К, возможно, вслед за Елагиной, не разграничивал четко «Московский телеграф» и «Московский вестник», в котором сотрудничали Е. А. Баратынский, Д. В. Веневитинов, В. П. Титов, И. С. Мальцов, С. А. Соболевский, А. С. Хомяков, братья Киреевские, А. И. Кошелев, В. Ф. Одоевский. Альманах «Мнемозина» в 1824—1825 гг. (вышло 4 книги) действительно издавали В. К. Кюхельбекер и В. Ф. Одоевский. К. К. Павлова часто посещала салон Елагиных; по словам С. А. Рачинского, «особенно восхищался стихами Каролины Карловны Иван Васильевич Киреевский» (Татевский сборник С. А. Рачинского. СПб., 1899. С. 108).

¹⁸ Отчество Веневитинова — Владимирович. Говоря здесь об обществе любомудрия, сформировавшемся в 1823—24 гг., К ошибочно датировал его возникновение, ориентируясь, возможно, на появившиеся осенью 1826 г. письма о философии Д. В. Веневитинова, идеолога этого кружка. Напрасно, кроме того, К противопоставил любомудрам сотрудников Полевого (см. предыдущее примеч.), выведя таким образом за рамки общества даже его председателя В. Ф. Одоевского.

¹⁹ *Архивные юноши* — выражение С. А. Соболевского; использовано Пушкиным в «Евгении Онегине» (глава 7, строфа XLIX). Подробнее см.: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1983. С. 332—333.

²⁰ Степень близости к любомудрам Пушкина, Вяземского и Баратынского К преувеличил.

²¹ Н. М. Языков, появившийся в Москве не в 1828, а в 1829 г., вскоре тесно сблизился с братьями Киреевскими, в салоне Елагиных установился культ его поэзии (см.: Языков Н. М. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1934. С. 816—817).

²² П. В. Киреевский с 1829 г. слушал лекции в Мюнхене, И. В. Киреевский с самого начала 1830 г. — в Берлине, затем присоединился к брату. В конце 1830 г. они действительно вернулись в Россию, встревоженные известием о холере.

²³ «Европеец» был запрещен за «неблагонамеренную» статью И. В. Киреевского «Девятнадцатый век» (1832. Кн. 1), где отстаивалась необходимость приобщения России к европейскому просвещению. Жуковский действительно приезжал в Москву осенью 1831 г., часто посе-

щал тогда Елагиных (см.: Дневники В. А. Жуковского. СПб., 1903. С. 215—217) и не только участвовал в обсуждении журнала, но и сотрудничал в нем, пытался затем его спасти, обращаясь с письмами к Николаю I и Бенкендорфу.

²⁴ В семье Елагиных и их окружении многие, очевидно, разделяли это суждение, объясняемое тем, что в период издания «Европейца» И. В. Киреевский придерживался взглядов, ретроспективно воспринимавшихся как «западнические» (см. предыдущее примеч.). Ср.: «... Ивану Киреевскому трудно было согласить свои европейские мнения с упорным славянством брата» (Елагин Н. А. Ук. соч. С. 62). Об убеждениях П. В. Киреевского см.: Гершензон М. О. П. В. Киреевский // Гершензон М. О. Образы прошлого, М., 1912.

²⁵ Известный масон и духовный писатель И. В. Лопухин, (1756—1816), крестный отец И. В. Киреевского, находился в дальнем родстве с Евдокией Лопухиной (1669—1731; она была двоюродной сестрой его деда), первой супругой Петра I, насильственно постриженной и заточенной сначала в суздальский, затем в ладожский Успенский монастырь, в 1725 г. — в Шлиссельбургскую крепость. Ее брат А. Ф. Лопухин был казнен Петром I как сообщник царевича Алексея (1718 г.).

²⁶ Д. А. Валуев, университетский товарищ К, несмотря на раннюю смерть (1845 г.) успел приобрести широкую известность как издатель «Синбирского сборника» и «Сборника исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных и единоплеменных» (оба вышли в Москве в 1845 г.); во втором из них, где были последовательно сформулированы основные положения славянофильской концепции русской истории, К поместил статью компилятивного характера. Оба издания К рецензировал в ОЗ (1845. № 7; 1846. № 7): признавая ценность разысканий Валуева (в особенности его работы о местничестве) и с уважением отзываясь о личных качествах покойного друга, К тем не менее оспаривал его основные идеи (см.: 1, 706—725; Цамутали А. Н. Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX века. Л., 1977. С. 34—40). Некролог Д. А. Валуева см.: Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. М., 1988. С. 396—404).

²⁷ А. Н. Попов, однокурсник К, позднее известный историк, разделял многие идеи славянофилов, пользовался дружеской поддержкой Елагиной (см. ее письма к Попову // РА. 1886. № 3. С. 334—346).

²⁸ М. А. Стахович — однокурсник В. А. Елагина (сына Елагиной, учившегося на юридическом факультете на курс ниже К), литератор, сотрудник «Москвитянина», собиратель народных песен (см. о нем: Соимонов А. Д. П. В. Киреевский и его собрание народных песен. Л., 1971. С. 338—345; Максимов С. В. Литературные путешествия. М., 1986. С. 41—45).

²⁹ Братья М. А. Бакунина Алексей и Александр учились на одном курсе юридического факультета с Н. А. Елагиным, сыном Елагиной. Третий из братьев эмигранта — возможно, Павел Бакунин.

³⁰ Э. А. Дмитриев-Мамонов, однокурсник младшего сына Елагиной, Андрея, учившегося на юридическом факультете. Стал художником, запечатлел в альбоме Елагиной завсегдаев ее салона; «славился своими карикатурами» (Ч и ч е р и н Б. Н. Москва сороковых годов. М., 1929. С. 230).

³¹ О салоне Д. Н. Свербеева и Е. А. Свербеевой (урожд. Щербатовой) см.: Ч и ч е р и н Б. Н. Ук. соч. С. 110—111; С о л о в ь е в С. М. Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 303—304).

³² Ильинское — усадьба гр. А. И. Остерман-Толстого (Московская губ., Звенигородский уезд). Водевиль действительно был написан Н. М. Языковым совместно с И. В. Киреевским; сохранилось несколько куплетов, опубликованных М. К. Азадовским (см.: Я з ы к о в Н. М. Ук. соч. С. 661—666, 855—856).

³³ Елагина отправилась за границу позднее: в конце мая — начале июня 1835 г. (см.: Уткинский сборник. Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и Е. А. Протасовой. М., 1904. С. 56—58).

³⁴ Весной 1841 г. Елагина уехала за границу с Е. И. Мойер, дочерью покойной М. А. Протасовой (в замужестве Мойер), чтобы поправить ее здоровье. Поэта она навестила летом, уже после его свадьбы (см.: Там же. С. 69—70), а в сентябре встретила с ним и его женой в Швальбахе (см.: РС. 1892. № 11. С. 370).

³⁵ О молодых профессорах см. примеч. 8 к очерку «Воспоминания о В. Г. Белинском».

³⁶ Скорее всего датировка ошибочна. С И. В. Киреевским Гоголь познакомился в Москве в 1832 г. Возможно, тогда же он побывал у Елагиных: по свидетельству мемуариста, „в первый раз явился там Гоголь еще до «Ревизора»“ (С в е р б е е в Д. Н. Записки. М., 1899. Т. I. С. 497). Не исключено, однако, что знакомство состоялось позднее (конец 1839 — начало 1840 г., когда Гоголь бывал в Москве), но не в 1838 г., проведенном им за границей.

³⁷ В салон Елагиных Герцена ввел Т. Н. Грановский в ноябре 1842 г.

³⁸ В 1836 г. И. Ф. Мойер вышел в отставку, и его семья уехала из Дерпта. К тому времени уже скончались обе дочери Е. А. Протасовой (М. А. Мойер и А. А. Воейкова); она вернулась на родину с зятем и с внуками — Екатериной Ивановной Мойер (в замужестве — Елагина), Екатериной Александровной Воейковой, Марией Александровной Воейковой (в замужестве графиня Бреверн-Делагарди) и, возможно, Александрой Александровной Воейковой.

³⁹ Жуковский встречался с Елагиной и Киреевскими в 1837 г., когда навещал их в Долбино и Петрищево (см.: Дневники В. А. Жуковского. СПб., 1903. С. 342—343), и в 1839 г. в Москве (Там же. С. 504—505). С 1841 г. поэт жил за границей.

⁴⁰ Н. А. Елагин участвовал в подготовке и проведении крестьянской реформы, служил мировым посредником, занимался историей, издавал «Белевскую Вивлиофику». В 1870-е гг. К продолжал поддерживать дружеские отношения и с ним, и с Елагиной (см. письма К к Н. А. Блок // РМ. 1911. № 7. Отд. II. С. 145, 1912. № 9. Отд. II. С. 155, 157).

⁴¹ В. А. Елагин — историк славянофильского направления, сотрудник газеты И. С. Аксакова «День». См. о нем: Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М., 1978. С. 84—85.

⁴² Возможно, имеется в виду тетрадь «долбинских» стихотворений Жуковского, опубликованная П. И. Бартеневым, поддерживавшим с Елагиной добрые отношения. (См.: РА. 1864. Кн. II. Стлб. 1006—1050).

⁴³ В 1804—1806 гг. в Москве издавался «Дон Кишот» — переведенная Жуковским французская переделка романа Сервантеса, принадлежавшая перу Ж.-П. Флориана. Имеется ли в виду участие Елагиной в этом переводе или ее собственный неизвестный перевод Флориана — неясно.

⁴⁴ Речь идет о повести «Чернец», анонимно напечатанной в № 1 «Европейца» (1832 г.) и представляющей собой перевод повести «Der graue Bruder» немецкого писателя Файта Вебера (псевдоним Вехтера Людвиг Леонхарда), автора многотомного сочинения «Sagen der Vorzeit», в которое была включена эта повесть (Berlin, 1790, Band 2, S. 401—450).

⁴⁵ Фрагменты воспоминаний Хенрика Стефенса (Стеффенса), немецкого философа, естествоиспытателя, в переводе Елагиной появились в «Москвитянине» (Жизнь Стефенса. 1845. № 1—3) с предисловием и заключением И. В. Киреевского.

⁴⁶ «Библиотека для воспитания» первоначально издавалась Д. А. Валуевым (см. о нем выше, примеч. 26); в годы его редакторства и появилась статья «Троянская война» (без подписи; 1843. Отд. II. Кн. 3—4; 1844. Отд. I. Кн. I).

⁴⁷ Перевод трактата Жан-Поля (Рихтера) «Левана, или Учение о воспитании» (1806) и исторического сочинения Франсуа Эмиля де Боншоа «Les réformateurs avant la réforme du XV-e siècle» («Реформаторы накануне реформы XV века». Париж, 1845. Т. 1—2), которое, вероятно, К и имел в виду, говоря о «Жизни Гусса», сохранились в архиве Елагиных (См.: Коншина Е. Н. Ук. соч.). В начале 1840 г. Жуковский сообщал Елагиной о договоренности с А. Ф. Смирдиным об издании «Тысячи и одной ночи» в переводе А. П. Зонтаг и Елагиной (Уткинский сборник. Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и Е. А. Протасовой. М., 1904. С. 65). Однако этот замысел не осуществился и рукопись перевода осталась невостребованной.

⁴⁸ Этот перевод, как и предыдущий, вероятно, был сделан в самом начале 1840-х гг. В декабре 1839 г. Елагина писала Жуковскому о своем намерении переводить «Принцессу Брамбиллу» (Там же. С. 66).

⁴⁹ Богословские сочинения Александра Родольфа Вине, главы движения так называемой независимой церкви, высоко ценили славянофилы. В 1853 г. Хомяков писал о Вине как о «человеке, которого высокий ум и благородная чистая душа, может быть, нигде так искренно не ценятся, как в России...» (см.: Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Прага, 1867. Т. 2. С. 28). В том же году П. В. Киреевский обращался к матери:

«Вы писали, что хотите переводить Вине, и это было бы великолепно. <...> в наше время его интересное слово было бы очень кстати» (К и - реевский П. В. Письма. М., 1905. С. 59). Под *проповедями* Вине имелись в виду, вероятно, две его книги — «Discours sur quelques sujets religieux» (Paris. 1830; 4-е 1845), «Nouveaux discours sur quelques sujets religieux» (Paris, 1842), известные русскому читателю как лучшие произведения Вине (см. статью В. Григорьева «Александр Винэ» // Финский вестник. 1847. Июль. № 7. Смесь. С. 28—38).

⁵⁰ *Ерыжка* — бранное прозвище приказных. *Подъячий* — приказный служитель, писец в судах (В. И. Даль).

⁵¹ Сам К в своем поместье (с. Иваново Белевского уезда Тульской губернии) организовал школу для крестьянских детей, в 1870—80-е гг. много занимался делами крестьян.

МОСКОВСКИЕ СЛАВЯНОФИЛЫ СОРОКОВЫХ ГОДОВ

Впервые — газета «Северный вестник». 1878. 20, 23 и 24 января.

Непосредственным стимулом для работы К над статьей послужил выход в свет 1-го тома собрания сочинений Ю. Ф. Самарина (М., 1877—1911. Т. 1—10. 12; 11-й том не появился), подготовленного братом писателя, Д. Ф. Самариным, который и прислал К эту книгу, вызвавшую, по словам Д. А. Корсакова, интересные устные воспоминания К о Самарине и о славянофилах 1840-х гг. (З. 1256). По настоянию Корсакова, К оформил свои рассказы в статью, далеко выходящую, однако, за рамки мемуарного очерка.

Статья явилась итогом длительного и имевшего значительный общественный резонанс публичного диалога, завязавшегося между К и славянофилами, главным образом Самариным, еще в 1840-е гг. (см. в настоящем изд. «Ответ „Москвитянину“» и примеч. к нему) и продолженного в 1870-е гг., когда предметом их полемики стали философские аспекты психологии и этики. Прочитав фундаментальный труд К «Задачи психологии» (ВЕ. 1872. № 1—4; отд. изд.: СПб., 1872), Самарин прислал автору возражения, повлекшие за собой их оживленную переписку (1872—1875), опубликованную К в изложении и в извлечениях (Психологическая критика. Замечания Ю. Ф. Самарина на книгу «Задачи психологии» // ВЕ. 1875. № 5—7; перепечатано: З. 791—874; в более полном виде суждения Самарина и письма К к нему см.: Самарин. VI. 373—477). В этой полемике, писал К, «как и во всех наших русских спорах <...> сравнительно малую долю составляют действительные разномыслия»; «строго говоря, мы только вращаемся в различных сферах» (З. 804. 830): Самарин в «сфере» веры, К — науки. Хотя борьба их была принципиальной (см. об этом: Гершензон М. О. Исторические записки (о русском обществе). М., 1910. С. 63—70) и К хорошо это сознавал («Нас действительно разделяет непереступаемая бездна», — писал он Самарину // Самарин. VI. 378—379). К последовательно избегал обострения разно-

гласий, придавая и собственным доводам, и аргументации оппонента особое значение: «Наши объяснения положат начало взаимному сближению противоположных воззрений, не в виде сделки или коалиции, а в смысле взаимного уразумения друг друга и возможно-точного размежевания, указания границ, за которые переступать не должно, ввиду высших целей общежития и совокупной деятельности» (*Там же*. 394; см. также в настоящем изд. статью «Белинский и последующее движение нашей критики» и примеч. к ней).

Уже в 1840-е гг. — в период самой острой полемики со славянофилами — К не отрицал известной общности исходных позиций: и славянофилов, и западников, отмечал он, занимал вопрос о «коренном различии нашей и европейской истории», и потому те и другие способствовали пробуждению самосознания, принимавшему нередко — далее следовал выпад в адрес славянофилов — «странные формы» (1. 202). Однако реальная консолидация началась позднее — в годы участия К в подготовке крестьянской реформы. Его подход к общине был не чужд славянофилам (см. в настоящем изд. статью К «Взгляд на русскую сельскую общину»), хотя кавелинская трактовка роли общины в русской истории по-прежнему расходилась со славянофильской (см. в настоящем изд. статью К «Мысли и заметки о русской истории»). Самарин писал ему в 1859 г.: «*На практике* (подчеркнуто Самариным. — О. М.) я стою с вами совершенно за одно, то есть за сохранение общинного владения землею как единственного средства обеспечить право крестьян на землю <...>» (РМ. 1892. № 10. С. 4). О предложенной К программе освобождения крестьян см.: Захарина В. Ф. Из истории общественной борьбы в период падения крепостного права (К. Д. Кавелин и революционные демократы) // Исторические записки. М., 1983. Т. 109). Считая этот опыт сотрудничества со славянофилами исключительно плодотворным, К полагал спустя десятилетие, что для совместной деятельности вновь настало время. В 1870—80-е гг. он утверждал, что «правительственный механизм» должен быть — при сохранении самодержавия — заменен другим, «новым, органически построенным, приспособительно к условиям нашего государства и русской среды, а не по принципам, выработанным чужою жизнью и чужим опытом, которые мы по недоразумению считаем за общечеловеческие принципы» (письмо Д. А. Милютину от 13 апреля 1884 г. // ВЕ. 1909. № 1. С. 26). Отсюда закономерно вытекало обращение к славянофильскому опыту самоосмысления, хотя и в комментируемой статье, и в других работах К по-прежнему оспаривал славянофильскую концепцию русской истории.

О своем последнем свидании с Самариным К говорил Корсакову: «Мы подвели с ним итоги под наши воззрения, покаялись во взаимных увлечениях и резкостях, сделали множество уступок и пришли к соглашению в самых главных пунктах <...>» (ВЕ. 1888. № 5. С. 10). Коммен-

тируемая статья — документальное подтверждение этих слов: здесь К вплотную приблизился к важнейшим идеям славянофилов (см. примеч.), не разделяя, однако, их построений как целого, тем более что это «целое», с его точки зрения, утратило актуальность. «Славянофилы окончательно вылиняли (как и западники)», — писал он Корсакову в 1880 г. (*Там же*. С. 27). «Новые славянофилы, новые западники, подобно Вам, — обращался К к Стасюлевичу, — и я с моими идеалами мужицкого царства ищем нового и отворачиваемся от прошедшего. Это наша общая почва» (М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1912. Т. 2. С. 148).

Однако К и Самарина сближали не только поиски «нового», но и конкретная политическая платформа. Негативную реакцию вызывала у них политика контрреформ 1870—1880-х гг. В ответ на серию статей генерала Р. А. Фадеева, одного из идеологов консервативной партии (см.: Фадеев Р. А. Русское общество в настоящем и будущем. Чем нам быть? СПб., 1874), и К и Самарин напечатали за границей брошюры, в которых каждый из них критиковал программу Фадеева как неорганичную русской истории и всему складу национальной жизни (см.: Самарин Ю., Дмитриев Ф. Революционный консерватизм. Берлин, 1875; <Кавелин К. Д.> Чем нам быть? Берлин, 1875; работа К перепечатана: 2. 863—908). «Политические мечтания придворной клики», писал К, на практике приводят к ухудшению положения народа: «Никто о темной массе не заботится, не к кому ей обратиться за добрым словом и помощью; всякий только пользуется ее невежеством и спешит поживиться на ее счет» (2. 878). Из этих слов К понятно, почему столь темпераментно он защищает славянофилов в комментируемой статье: они с «сочувствием относились к работающим сельским массам и были из первых, которые на них указывали как на твердый оплот и основание нашей государственной прочности и нашей исторической роли во всемирной истории». Другое обстоятельство, обусловившее сближение К с Самариным, связано с эволюцией отношения К к религии (см. примеч. 12 к статье «Ответ „Москвитянину“»). В 1870—80-е гг. К полагал, что правильно понятое христианство примирит науку и вероучение и станет почвой для сближения людей разных общественных и философских позиций: «... мы глубоко убеждены, что людям верующим и людям науки и знания, горячо принимающим к сердцу нравственное развитие и совершенствование людей <...> нет причины и повода враждовать между собою в области этики <...> в ней они могут, оставаясь себе верными, подать друг другу руку и вместе, сообщая, стремиться к одной и той же желанной цели» (3. 991). Статья о славянофилах 40-х гг. — своего рода попытка К реализовать эту программу.

¹ В 1863—1864 гг. после польского восстания Самарин, как писал о нем К в некрологе, «был приглашен участвовать в начертании программ предположенных реформ» в Польше (2. 1230). Речь шла о соста-

вленном им совместно с Н. А. Милютиным и В. А. Черкасским проекте «Положения об устройстве сельских гмин и крестьянского быта в Царстве Польском». С этой деятельностью Самарина преимущественно и связаны его статьи *по польскому вопросу*.

² Крестьянским вопросом Самарин интенсивно занимался в 1850—60-е гг.: он составил записку «О крепостном состоянии и о переходе из него к гражданской свободе» (1853—1856), выступал в печати с защитой сельской общины, участвовал в подготовке крестьянской реформы: «Сперва он работал в самарском губернском комитете, потом вызван в качестве эксперта для участия в занятиях центральных редакционных комиссий» (2. 1230). В 1860—70-е гг., после «установления земского самоуправления», он «отдался всей деятельности местной, принимая горячее участие в занятиях дворянских собраний, в делах городских и земских в качестве члена сословия или гласного <...>» (Там же). Его работы по этим вопросам вошли в тт. 2—4 собрания сочинений. Излагаемый далее К план издания сочинений Самарина не был выдержан.

³ Речь идет о «Замечаниях на „Заметки «Русского вестника»“ по вопросу о народности в науке», подводивших итог жаркой полемике Самарина (поместившего в 1856 г. две статьи на эту тему в «Русской беседе») с западниками — Б. Н. Чичериным (О народности в науке//РВ. 1856. № 9) и анонимными сотрудниками «Московских ведомостей» и РВ. Позицию славянофилов по вопросу о *народности в науке* К анализирует ниже. Его собственное отношение к этой проблеме эволюционировало и в 70-е гг. приблизилось к позиции славянофилов (см. в настоящем изд. его статью «Философия и наука в Европе и у нас»).

⁴ Имеются в виду извлеченные из дневника Самарина заметки о книге П. А. Кулиша для детей «Повесть об украинском народе» (СПб., 1846).

⁵ Отзывы Самарина о двух книгах — о трактате М. Мицкевича «Официальная церковь и мессианизм» (Paris, 1845. Vol. 1—2) и труде А. Токвиля «Старый порядок и революция» (Paris, 1856) — сопровождались однотипным сообщением издателя: «Написано карандашом на обертке означенной книги».

⁶ «Поездка по некоторым местностям Царства Польского в октябре 1863 года» (напечатано в 1872 г.).

⁷ Слово *славянофил* («славенофил») возникло в 1800-е гг. в ходе полемики о «старом» и «новом» слоге как шутовское прозвище «шишковистов» (см.: Лотман Ю., Успенский Б. Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва)//Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 358. 1975. С. 210—211. Примеч. 55). В 1840-е гг., кардинально переосмысленное, это слово обозначало «славянолюбов» (людей, изучающих славянские народы) и лишь

постепенно закрепились за друзьями-врагами «западников» — Аксаковыми, Киреевскими, Хомяковым, Самариным, не принимавшими первоначально этого определения (см.: Кошелев В. А. Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов (1840—1850-е гг.). Л., 1984. С. 6—7). Нередко под этим термином подразумевались и идеологи «официальной народности» (С. П. Шевырев, М. П. Погодин, С. С. Уваров). См. подробнее: Цимбаев Н. И. Славянофильство. Из истории русской общественно-политической мысли XIX века. М., 1986. С. 5—55.

⁸ Вспоминая 1840-е гг., Б. Н. Чичерин писал об отношении широкой публики к славянофилам: «Вне литературного круга на них смотрели как на чудаков, которые хотят играть маленькую роль и отличаться от других оригинальными костюмами» (Чичерин Б. Н. Москва сороковых годов. М., 1929. С. 240). Подобные представления бытовали и позднее. В 1865 г. И. С. Аксаков иронизировал по этому поводу: «...русские карикатуристы не иначе изображают так называемого славянофила, как в образе мужичища с усищами, с бородищей, с кулачищем, в сапожищах, в зипунице, с непременноми атрибутами капусты, щей, кваса и т. п.» (Аксаков И. С. Сочинения. М., 1886. Т. 2. С. 253).

⁹ К имел в виду, вероятно, не только безликое «большинство», но и конкретных публицистов, обвинявших славянофилов в обскурантизме и реакционности, прежде всего — М. А. Антоновича («Московское словенство»//*Совр.* 1862. № 1) и, возможно, А. Н. Пыпина (Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятих годов XIX века. СПб., 1873. С. 266, 274, 299, 340—343). Из печатных выступлений, непосредственно предшествовавших очерку К, выделяется статья Э. А. Дмитриева-Мамонова (см. о нем примеч. 30 к очерку «Авдотья Петровна Елагина»), упрекавшего именно Самарина в извращении славянофильских идей 1840-х гг., в пропаганде «какой-то патриотически-благонамеренной доктрины» и «полицейской веры» (*РА.* 1873. Кн. II. Стлб. 2489).

¹⁰ Русско-турецкая война (1877—1878), вызванная восстаниями находившихся под турецким игом славян (Сербия, Черногория, Болгария), воспринималась в некоторых слоях русского общества как прямое следствие панславистской агитации.

¹¹ Из статьи Самарина «Несколько слов по поводу исторических трудов г. Чичерина» (1857).

¹² Цитаты из статьи Самарина «О мнениях „Современника“, исторических и литературных» (1847). Статья представляла собой критику кавелинского «Взгляда на юридический быт древней России» (см. примеч. к статье К «Ответ „Москвитянину“»).

¹³ «Два слова о народности в науке» (1856).

¹⁴ «О мнениях „Современника“, исторических и литературных».

¹⁵ «Замечания на „Заметки «Русского вестника»“ по вопросу о народности в науке» (1856).

¹⁶ «Два слова о народности в науке».

¹⁷ «Современный объем польского вопроса» (1863). Анализ этих и других центральных идей славянофилов К дает во второй части комментируемой статьи.

¹⁸ «О мнениях «Современника», исторических и литературных».

¹⁹ «Два слова о народности в науке».

²⁰ «Замечания на „Заметки «Русского вестника»“ по вопросу о народности в науке».

²¹ К противопоставляет «истинных славянофилов» идеологам «официальной народности» или, по определению Герцена, «доктринерской партии славянофилов»: «Партию эту можно назвать <...> отчасти *правительственной*» (подчеркнуто Герценом.— О. М.; Герцен. IX. 164).

²² Эти рассуждения К вызвали любопытные замечания оппонента: «Вы стараетесь доказать <...>, что славянофилы не партия. Конечно, не партия, потому что у нас организованных партий в западноевропейском смысле нет. Но это — *толк* (подчеркнуто автором.— О. М.), такой же, как множество толков, вырабатываемых в нашем народе» (Н е м о с к - в и ч. Не партия, а толк. Письмо к К. Д. Кавелину // Биржевые ведомости. 1878. 4 февраля). Созвучные К мысли сформулировал И. С. Аксаков: «...славянофильский протест не касался вопроса в тесном смысле политического, а имел характер по преимуществу общественный» (Письмо к издателю//РА. 1873. Кн. II. Стлб. 2510). Оценку суждений К о политическом значении славянофилов см.: Ц и м б а е в Н. И. Ук. соч. С. 104.

²³ К имел в виду прежде всего участие славянофилов в подготовке крестьянской реформы. Вряд ли, однако, он не знал, что «практические» действия Самарина и В. А. Черкасского, работавших в редакционных комиссиях, не удовлетворяли других представителей славянофильства (см. об этом письма К. С. Аксакова, А. С. Хомякова, А. И. Кошелева // Т р у б е ц к а я О. Князь В. А. Черкасский и его участие в разрешении крестьянского вопроса. Материалы для биографии. М., 1904. Т. 1. Кн. 2. Пагинация I. С. 115—120, 140—143. Пагинация II. С. 53—54).

²⁴ Пояснением этих слов может служить фрагмент статьи К «Свобода преподавания и учения в Германии» (1863): «...немецко-протестантская свобода преподавания и учения, которая существует целые столетия, дала блистательные результаты, уживалась и уживается с самыми различными политическими порядками, — мало того, поддерживалась и охранялась немецкими государями и владельцами самых различных направлений и, следовательно, оказалась на деле везде совместимой с государственными учреждениями и законами общественного благоустройства» (3. 8). «Блистательную эпоху» в жизни немецких университетов К ограничивал серединой XIX века (3. 45—46).

²⁵ *Enfants perdus et terribles* (франц.) — потерянные и ужасные дети.

²⁶ К имел в виду, вероятно, идеологов панславизма (Н. Я. Данилевский, Р. А. Фадеев, А. А. Киреев и др.) и националистически настроенных консерваторов. От последних И. С. Аксаков вынужден был отмежевываться, выступая в 1865 г. против противников реформ, группировавшихся вокруг газеты «Весть» и слывших «ультрарусской партией»: «... тут можно, пользуясь выгодами своей патриотической позиции, под общий гул возгласов за единство и цельность и звуки «национального гимна», доставить, пожалуй, торжество <...> своей антипатии к наделению крестьян собственностью, к крестьянской поземельной общине и к крестьянскому самоуправлению, и своим аристократическим тенденциям и тому подобным *русским* народным началам!» (подчеркнуто Аксаковым. — О. М.; Аксаков И. С. Сочинения. М., 1886. Т. 2. С. 254—255).

²⁷ См. примеч. 21.

²⁸ Речь идет, вероятно, о последних годах царствования Николая I, когда славянофилы подвергались особенно упорным преследованиям. Ю. Ф. Самарин писал в 1844 г. из Петербурга К. С. Аксакову и Хомякову о сложившейся в официальных кругах репутации славянофилов: «Власть убеждена, что в Москве образуется политическая партия, решительно враждебная правительству <...>» (Самарин. XII. 151). Подробнее о гонениях на славянофилов в 1840—50-е гг. см.: Цимбаев Н. И. Ук. соч. С. 122—137; Кошелев В. А. Ук. соч. С. 48—53.

²⁹ К здесь воспроизвел близкие ему самому в 40-е гг. антиславянофильские доводы Белинского (см.: Белинский. X. 17—32).

³⁰ Весь этот абзац — краткое изложение программных выступлений К в 40-е гг. (см. в настоящем изд. «Взгляд на юридический быт древней России» и «Ответ „Москвитянину“»).

³¹ Мысль об уникальном историческом пути России К отстаивал еще в 40-е гг., полемизируя в частности с М. П. Погодиным, проводившим параллели между русской и западноевропейской историей. Что же касается славянофильской концепции христианизации Руси, то кавелинский упрек в противоречивости не совсем основателен: старшие славянофилы как раз признавали, что «грубость России, когда она приняла христианство, не позволила ей проникнуть в сокровенную глубину этого святого учения <...>» (Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. М., 1988. С. 55. См. об этом: Цамутали А. Н. Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX века. Л., 1977. С. 65—67). Возвращаясь здесь к давним спорам, К воспроизвел свои собственные аргументы против славянофилов. В 1847 г. он писал: «...самой церкви Европа придала свою печать, изменила ее сообразно со своим характером, тогда как наша осталась чистою, неприкосновенною, точно в том виде, в каком перешла к нам из Византии» (1. 219). Сходные соображения К высказывал и в 1866 г. в работе «Мысли и заметки о русской истории» (см. настоящее изд.).

³² Далее К сжато пересказал соображения, подробно аргументированные им в «Задачах психологии» (см. об этой работе выше.). Опираясь на идеи Локка и Канта, К считал, однако, что ни тот, ни другой не разрешили вопроса о природе «представлений», но «подали своими трудами повод к образованию новых философских учений, основанных на психических данных» (3. 394), хотя принадлежали к разным философским школам: «Первый обратил все внимание только на ту сторону души, которой она обращена к материальному миру и им обусловлена; второй — на явления, в которых выражается ее самостоятельность и самодетельность. Эти два направления долго считались и теперь еще большинством считаются противоположными, исключаящими друг друга, тогда как на самом деле они определяются только разными сторонами одной и той же души» (3. 507—508).

³³ Эти рассуждения восходят к идеям И. В. Киреевского о греко-римской «дохристианской образованности» как источнике «ограниченности» западноевропейской культуры и «торжества рационализма <...> над внутренним духовным разумом <...>» (Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 145). Характерно, что вслед за славянофилами К упомянул в этой связи и имена Аристотеля и Платона — «великих представителей» логического знания (см.: Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1861. Т. 1. С. 177—194). Ср. рассуждения К в «Задачах психологии» о постепенном отходе греко-римской философии от «непосредственных, ближайших материальных нужд» человека и о связи христианства с античной философией (3. 625—627).

³⁴ Давид Фридрих Штраус, немецкий философ-младогегельянец, последователь Л. Фейербаха, в книге «Старая и новая вера» (1872) прокламировал отказ от христианства во имя новой религии. Суждения К, возможно, генетически связаны с замечанием И. В. Киреевского о знаменитой книге Штрауса «Жизнь Иисуса, критически переработанная» (1835—1836): «... по словам римских католиков, мыслящий человек XVI века мог уже из-за Лютера предвидеть Штрауса» (Киреевский И. В. Ук. соч. С. 263).

³⁵ Здесь К, как и во многих других работах, пытается нащупать почву, которая позволила бы снять противопоставление науки и веры. В «Задачах психологии» он прямо писал о стоящей перед новым временем задаче «открыть научное основание евангельских истин, формулировать их по правилам строгой науки и таким образом <...> сделать их доступными не для одних верующих, а достоянием науки и знания» (3. 628).

³⁶ Имеются в виду прежде всего просветительские идеи французских энциклопедистов.

³⁷ «Встреча московских славянофилов с петербургским славянофильством Николая была для них большим несчастьем. Николай бежал в народность и православие от революционных идей» (Герцен. IX. 137).

Некоторые мемуаристы усматривали прямую связь между учением славянофилов и официальной идеологией: «Правительство наше возбудило русскую партию своею программой, которою определило себя при самом начале прошедшее царствование (т. е. царствование Николая I.— О. М.), приняв символ: православие, самодержавие, народность» (Свербеев Д. Н. Записки. М., 1899. Т. 2. С. 399).

³⁸ См. сходные рассуждения Герцена о «двух полюсах <...> общественной жизни» в Москве 1830-х гг.: с одной стороны, «общество стариков, гвардейских офицеров времен Екатерины <...> и других стариков, нашедших тихое убежище в странноприимном сенате», с другой — «их сыновья или внучата, не искавшие никакого ранга и занимавшиеся „книжками и мыслями“» (Герцен. IX. 152—153). Московские журналы 1830-х гг., вокруг которых группировались литературные силы, — «Московский вестник» (1827—1830), орган Любимудров; «Московский телеграф» Николая Полевого (1825—1834); «Телескоп» (1831—1836) и выходившая при нем газета «Молва», издававшаяся Н. И. Надеждиным (в них сотрудничал Белинский, ставший в 1835—36 гг. соредактором Надеждина). О литературных салонах этой эпохи см. в настоящем изд. очерк К «Авдотья Петровна Елагина».

³⁹ О *молодых профессорах* см. «Воспоминания о В. Г. Белинском», примеч. 8.

⁴⁰ Эту мысль в 1840-е гг. развивали и К (1. 252), и Белинский: «... Россия вполне исчерпала, изжила эпоху преобразования <...>, реформа совершила в ней свое дело <...> настало для России время развиваться самобытно, из самой себя» (Белинский. X. 19).

⁴¹ См. очерк «Авдотья Петровна Елагина», примеч. 22, 24. В некрологической заметке о П. В. Киреевском К писал о «большой начитанности его по части русской истории и истории древних славянских племен» (2. 1221). Возможно, здесь он имел в виду и другие интересы Киреевского, который — по свидетельству его близких — «обладал многообразными сведениями, говорил и писал на семи языках (К о л ю п а - н о в Н. П. Биография А. И. Кошелева. М., 1889. Т. I. Кн. 2. С. 50).

⁴² См. очерк «Авдотья Петровна Елагина», примеч. 23, 24.

⁴³ И. В. Киреевский часто бывал в Козельской Оптиной пустыни, встречался там и вел беседы на богословские темы со старцем Макарием. Кроме того, он вынашивал замысел книги об истории древнего христианства (о его религиозных взглядах см.: Гершензон М. О. Ук. соч. С. 24—25).

⁴⁴ *Полигистор* (греческ.) — «человек многознающий и умеющий о многом говорить и писать» (Го го ц к и й С. С. Философский словарь. Киев. 1876. С. 77). Иллюстрацией этой характеристики могут служить слова Ю. Ф. Самарина: «„Хомяков богослов, механик, философ, инженер, филолог, врач; он все что вам угодно; во всем мастер, знаток, изобретатель“, — это говорили друзья и почитатели в похвалу; но от такой

похвалы был один шаг до приговора, и противники договаривали: „Хомяков дилетант во всем“» (*Самарин*. VI. 339; см. также: Кошелев А. И. Записки. Берлин. 1884. С. 68—69).

⁴⁵ Не совсем точно. А. С. Хомяков сдал экзамены за курс математического отделения Московского университета и получил степень кандидата (1821 г.).

⁴⁶ «Во всякое время дня и ночи он был готов на запутаннейший спор и употреблял для торжества своего славянского воззрения все на свете — от казуистики византийских богословов до тонкостей изворотливого легиста. Возражения его, часто мнимые, всегда ослепляли и сбивали с толку» (*Герцен*. IX. 157). Ср. мнение А. И. Кошелева: «Он легко переносился на точку зрения своих противников; иногда даже нарочно защищал крайние мнения в противоположность другим крайним мнениям <...> Это заставляло некоторых, плохо его понимавших, говорить, что Хомяков любит только спорить и что у него нет твердых постоянных убеждений» (Кошелев А. И. Ук. соч. С. 71—72).

⁴⁷ К. С. Аксаков окончил университет в 1835 г., Ю. Ф. Самарин — в 1838 г.

⁴⁸ В 1820-е гг. Н. И. Надеждин был домашним учителем Ю. Ф. Самарина: преподавал ему историю, русский и немецкий языки, закон божий. К был хорошо знаком с Надеждиным: в 1850-е гг. он стал ближайшим помощником Надеждина, руководившего этнографическим отделением Географического общества (см. подробнее: Розенталь В. Н. Петербургский кружок К. Д. Кавелина в конце 1840-х и начале 1850-х гг. // Учен. зап. Рязанского гос. пед. ин-та. Рязань, 1957. Т. 16. С. 212, 216).

⁴⁹ К не конкретизировал этой характеристики К. С. Аксакова, поскольку она была общепризнанной: «Аксаков <...> стоит исключительно на историко-бытовой почве, что и составляет главное отличие его учения от учения других вождей славянофильской школы» (Бестужев-Рюмин К. Н. Славянофильское учение и его судьбы в русской литературе // *ОЗ*. 1862. № 5. Пагинация III. С. I; см. также: Пыпин А. Н. Ук. соч. С. 283). Показателен отзыв об Аксакове и представителя славянофильского кружка: «... он страстно любил русский народ, русскую историю и русский язык и делал в двух последних поразительные, светносные открытия» (Кошелев А. И. Ук. соч. С. 74).

⁵⁰ Даже Б. Н. Чичерин, убежденный западник и к тому же чрезвычайно пристрастный мемуарист, дал исключительно высокую оценку Самарину: «Это был, бесспорно, человек совершенно из ряда вон выходящий. Необыкновенная сила ума, железная воля, неутомимая способность к работе, соединенная с даром слова и с блестящим талантом писателя, наконец, самый чистый и возвышенный характер — все в нем соединялось, чтобы сделать из него одного из самых крупных деятелей

как на литературном, так и на общественном поприще» (Чичерин Б. Н. Ук. соч. С. 244).

⁵¹ О единстве членов славянофильского кружка размышлял в 1844 г. в письме к К. С. Аксакову Ю. Ф. Самарин, видевший — в противоположность К — оборотную сторону исключительной близости славянофилов: «... мы живем в тесном кругу коротких знакомых которые заменяют для нас или, лучше, заслоняют публику. Мысль, высказанная в этом кругу, обсужденная и, наконец, принятая, кажется нам мыслью всем доступною, всем известною <...>» (Самарин. XII. 147).

⁵² Об участии славянофилов в подготовке реформ 1860-х гг. см.: Дудзинская Е. А. Славянофилы в общественной борьбе. М., 1983.

⁵³ Рецензия Самарина «Очерк трехнедельного похода Наполеона против Пруссии в 1806 г. Сочинение флигель-адъютанта графа Николая Орлова. СПб., 1856» была напечатана в «Русской беседе» (1857. № 1); Воспоминание о Дмитрие Петровиче Журавском. Письмо к редактору//Там же. 1857. № 2; Гарибальди и Пиемонтское правительство//День. 1862. 1 сентября (в составе статьи И. С. Аксакова «Гарибальди, Сербия и Черногория»). О книгах П. А. Кулиша, А. Мицкевича и А. Токвиля см. выше примеч. 4, 5.

О ЗАДАЧАХ ИСКУССТВА

Впервые — ВЕ. 1878. № 10. С. 465—505.

В последние годы жизни К сосредоточился на осмыслении психологических и философских аспектов этики, неотделимой в его построениях от эстетических категорий (см. итоговый труд К «Задачи этики» // ВЕ. 1884. № 10—12). Искусство он рассматривал как важнейшее средство воспитания, но действенным считал лишь подлинное искусство; отсюда его попытки определить природу эстетического, отграничив ее, с одной стороны, от дидактизма и утилитаризма, с другой — от «чистого искусства». Закономерна поэтому борьба автора с идеологами каждого из этих направлений. Не называя имени Чернышевского, К оспаривал центральные положения его диссертации. Но, поскольку поднятые проблемы решались в статье на материале изобразительного искусства, ближайшим и также неназванным объектом полемики оказались работы В. В. Стасова. Хотя К были близки некоторые суждения Стасова, опиравшегося на художественную практику передвижников (К привлекала их обращенность к конкретике и критическая заостренность изображаемого), — решительный пересмотр традиционной эстетики и тем более попытки редуцировать значение идеала в искусстве были абсолютно для К неприемлемы. Отсюда дифференцированное отношение К к различным художникам-передвижникам и неоднозначная оценка пореформен-

ного искусства в целом. Важно учитывать, что статья написана по следам свежих впечатлений от крупнейших художественных выставок, «слившихся», по словам *К*, в его сознании «в один ряд воспоминаний», «перемешанных и спутанных». Это утверждение нельзя, однако, воспринимать буквально: почти все случаи, когда удалось точно установить, о каких картинах идет речь (см. ниже), убедительно свидетельствуют, что память *К* ясно сохранила представление о том, где и когда он видел те или иные полотна. Не называя конкретных выставок, произведений и художников, *К* подчеркивал тем самым свой интерес лишь к общезначимым тенденциям развития искусства. Подразумеваемые и, вероятно, узнаваемые читателем тех лет картины и их создатели служили синонимом господствующих явлений в искусстве, и, напротив, сам факт введения в статью того или иного имени — знак исключительности художника. Сказанное заставляет с особым вниманием относиться к конкретным суждениям и оценкам *К*, обусловленным всей системой его взглядов.

¹ Незадолго до появления комментируемой статьи, на 6-й Передвижной выставке (1878), общее внимание привлекли картины *Н. А. Ярошенко* «Кочегар» и «Заключенный». «До сих пор его можно было считать только даровитым учеником, — писал тогда *В. В. Стасов*. — На нынешней выставке г. Ярошенко явился уже выросшим в мастера» (Стасов *В. В.* Сочинения. СПб., 1894. Т. I. Отд. II. Стб. 573). К тому времени *К*, очевидно, был уже знаком с молодым художником; возможно — через Стасова, с которым встречался и у *М. М. Стасюлеви-ча*, и у *В. П. Гаевского* (см., например: *А. В. Верещагин*. Мое знакомство с литераторами // *В е р е щ а г и н* *А. В.* Новые рассказы. СПб., 1900. С. 199—204), возможно, через *И. Н. Крамского*, учеником которого был Ярошенко и с которым *К* также встречался, в частности на «четвергах» *Н. Н. Ге* (см.: *Ге Н. Н.* Письма. Статьи. Критика. Воспоминания современников. М., 1978. С. 271). Кроме того, *К* и Ярошенко могли познакомиться и даже сблизиться через зятя *К*, художника *П. А. Брюллова*. Однако посвящение статьи Ярошенко — не только знак дружеского расположения (на которое позднее художник «ответил» портретом *К*), но полемический жест: работы Ярошенко, прямо в статье не затронутые, стали предметом подспудной борьбы *К* со Стасовым, противопоставлявшим нередко (в частности в рецензии на 6-ю Передвижную выставку) живопись прежних времен новому русскому искусству: «Теперь нужно, кроме красок и изящных линий, что-то такое, что поглубже бы хватало и что проводило бы в душе царапину посильнее прежнего» (Стасов *В. В.* Ук. соч. Т. I. Отд. II. Стб. 574—575). «Таким-то нынешним требованиям», считал Стасов, полностью отвечал Ярошенко (Там же. Стб. 575). Однако *К* не удовлетворяли ни подобный подход к искусству, ни, следовательно, стасовские оценки картин Ярошенко: обращаясь к художнику как представителю молодого поколения передвижников, *К* отстаивал более широкий взгляд на искусство.

² Знаменитая картина И. Н. Крамского (1872) на 2-й выставке передвижников в Петербурге (1872—1873) экспонировалась под названием «Христос в пустыне», на 3-й выставке в Москве (1874) — под названием «Спаситель в пустыне». Отзыв о ней, «услышанный» К на выставке, — вариант широко бытовавших тогда суждений: «У картины, однако, приходится слышать сетования, будто она трактована уже черезчур реально» (П. К. <П. Ковалевский>. Вторая передвижная выставка картин русских художников // *ОЗ*. 1873. № 1. Отд. II. С. 203). Другой рецензент сам присоединялся к подобным оценкам: «Да разве простительно художнику изобразить Христа, идеал красоты совершенной, в виде такой неизящной фигуры», лишенной к тому же выражения «тихой и безграничной любви», «величавой, божественной силы» (Урусов Г. Г. Полный обзор третьей художественной выставки товарищества передвижных выставок в России. М., 1875. С. 9—10). Через несколько дней после посещения выставки К писал К. К. Гроту: «По-моему, эта картина — единственная в целом мире, передающая живой образ Христа вполне, со всех сторон, как Сикстинская мадонна передает Богородицу» (*РС*. 1899. № 1. С. 154). Ср. со статьей И. А. Гончарова «„Христос в пустыне“. Картина г. Крамского» (Гончаров И. А. Собр. соч. М., 1980. Т. 8).

³ Картина Г. И. Семирадского «Христос и грешница» (1873; написана на сюжет поэмы А. К. Толстого «Грешница»), появившаяся впервые на академической выставке 1873 г., получила тогда высокую официальную оценку (за эту работу Семирадский был удостоен звания академика) и вызвала восхищение широкой публики и многих рецензентов. Совершенная в техническом отношении, но выдержанная в стиле салонного академизма, работа была враждебно встречена передвижниками и их окружением, причем отзывы многих из них близки суждениям К: И. Н. Крамской писал об отсутствии внутреннего смысла в фигурах Христа и блудницы (Крамской И. Н. Переписка. М., 1954. Т. 2. С. 216), В. В. Стасов характеризовал талант Семирадского как «чисто внешний» (Стасов В. В. Ук. соч. Т. 1. Отд. II. Стлб. 404), И. Е. Репин назвал картину «блестящей <...> эффектно и красиво исполненной, но легковесной, альбомной вещью, хотя и громадной по размеру» (Репин И. Е. Избранные письма. М., 1969. Т. I. С. 59).

⁴ Имеется в виду, вероятно, экспонировавшаяся на той же академической выставке 1873 г. картина художника-академиста Л. О. Премацци «Кабинет государя наследника цесаревича». Современники отмечали фотографическую точность его работ, передающих «с поразительной верностью бронзу, золото, мрамор, дерево разных видов» (Матушинский А. Последние художественные выставки в Петербурге // *РВ*. 1872. № 6. С. 830), «убранство каминов, отлив и свойство материй на мебели, <...> зеркальный блеск навощенных паркетов» (Ковалевский П. Годичная выставка в Академии художеств // *ВЕ*. 1870. № 11. С. 368).

⁵ Точное название знаменитой картины И. Е. Репина — «Бурлаки на Волге» (1871—1873). Она действительно экспонировалась на той же академической выставке 1873 г. Как и К, многие рецензенты связывали ее основные мотивы с творчеством Некрасова (см. об этом: Репин И. Е. Далекое — близкое. М., 1964. С. 274; Стасов В. В. Ук. соч. Т. I. Отд. II. Стлб. 483, 484). Ср. перекликающийся с суждениями К отзыв Достоевского о картине (*Достоевский*. XXI. 74—75).

⁶ О какой картине идет речь, установить не удалось. *Мюнстер* (нем.) — церковь, храм. *Фура* (нем.) — длинная телега, повозка для кладки.

⁷ К жил в Бонне в начале 1863 г., когда был командирован за границу министром народного просвещения для изучения европейских университетов; затем (в конце 1863 — начале 1864 гг.) — как частное лицо. (см. подробнее: Корсаков Д. А. Из жизни К. Д. Кавелина во Франции и Германии в 1862—1864 гг. по его переписке за это время // *РМ*. 1899. № 5, 8, 11, 12).

⁸ К дает неточное описание картины Н. В. Неврева «Торг» (1866; другое название — «Из недавнего прошлого»), которую он видел (возможно, не впервые) на академической выставке 1873 г., где экспонировались не только новые работы, но и лучшие произведения последних лет, предназначенные на международную выставку в Вене. Многие рецензенты критиковали картину Неврева за тенденциозность.

⁹ Речь идет о работах В. Е. Маковского — картине «Получение пенсии» (1876; другое название «Сцена в казначействе при получении пенсии»), впервые появившейся на 5-й Передвижной выставке (1876—1877) и напомнившей тогда рецензентам другую, уже известную работу художника «Приемная у доктора» (1870), признанную его лучшим произведением (см.: Стасов В. В. Ук. соч. Т. II. Отд. II. С. 535). Не только Стасов, но и другие критики считали В. Е. Маковского «выдающимся жанристом русской школы» (Александров Н. Талант Вл. Маковского // *Художественный журнал*. 1881. № 2. С. 93). Говоря далее о мастерстве художника, но упрекая его в отказе от анализа изображаемого, К поставил передвижника в один ряд с академистами (Г. И. Семирадский, Л. О. Премацци), которым предъявлял выше сходные претензии и тем самым продемонстрировал внепартийность своей позиции, озабоченность негативными тенденциями развития искусства в целом.

¹⁰ Английский инженер Уильям Д. Армстронг изобрел систему нарезных орудий, заряжавшихся с казенной части. В 1860-е гг. в ходе военных реформ русская армия начала вооружаться пушками такого типа, а также заменять медные орудия стальными, импортировавшимися из Германии, где они производились в основном на заводах *Альфреда Круппа* (см. подробнее: Зайончковский П. А. Военные реформы 1860—70-х гг. в России. М., 1952. С. 136, 153, 156). *Картечница* (другое название — митральеза) — первый тип скорострельного оружия (прооб-

раз пулемета); в России введена в 1870-е гг. *Адские машины* — взрывное устройство замедленного действия. Ускоренные темпы милитаризации с беспокойством обсуждались в печати 1870-х гг. «Теперь почти в каждые десять лет изменяется оружие, даже чаще. Лет через пятнадцать, может, будут стрелять уже не ружьями, а какой-нибудь молнией, какою-нибудь всесожигающею электрическою струею из машины» (*Достоевский*. ХХІ. 92).

¹¹ *Каменные бабы* — древние антропоморфные изваяния, связанные с языческими формами культа. В степях южной России их ставили кочевники, главным образом, половцы (см.: Федоров-Давыдов Г. А. Искусство кочевников и Золотой Орды. М., 1976. С. 85—103).

¹² *Ластовицы*, ластовки — платочки, четырехугольные разноцветные вставки под мышкою у русских мужских рубаш (В. И. Даль).

¹³ К перечисляет выдающихся изобретателей, чьи открытия определили состояние промышленности прошлого века: Жозеф Мари Жаккар — создатель «жаккардовой машины» (1804—1808), механизма ткацкого станка для выработки крупноузорчатых тканей. Роберт Фултон — строитель первого в мире колесного парохода (1807); Джордж Стефенсон — изобретатель, с 1814 г. строитель паровозов и железных дорог; возможно, имелся в виду и его сын Роберт Стефенсон, тоже строитель железных дорог и мостов.

¹⁴ *Легкая итальянская музыка* — вероятно, итальянская опера, популярная в России 1830—1840-х гг. (см.: Г о з е н п у д А. А. Русский оперный театр XIX в. (1836—1856). Л., 1969. С. 177—232). Опера М. И. Глинки ныне известна под названием «Иван Сусанин». Случай с «образованным французом» не выдуман К: речь идет о побывавшем в 1872 г. в России Альфреде Рамбо (1842—1905), в то время профессоре-филологе, позднее — министре народного просвещения Франции (см. письмо К к Н. А. Блок от 8 октября 1872 г. // РМ. 1911. № 8. Отд. II. С. 147—148).

¹⁵ Взгляды К на природу *представлений* подробно изложены в «Задачах психологии» (см.: 3. 375—648); см. также статью «Московские славянофилы сороковых годов».

¹⁶ О значении христианства в жизни европейских народов К подробнее писал в ранней статье «Взгляд на юридический быт древней России» и в «Задачах психологии» (см.: 3. 626—628).

¹⁷ «Философии востока», — писал К в «Задачах психологии», — выражают полнейший квиетизм. <...> В психологическом смысле это то душевное состояние, когда человек по возможности воздерживается от сношений, столкновений и борьбы с внешним, окружающим, и сосредоточен в самом себе, когда всякая внешняя деятельность, внешнее творчество и создаваемые ими формы представляются ему как посягательство на полноту, цельность внутренней, душевной жизни. <...> Оттого в восточном мирозерцании нет движения и развития» (3. 624). Слово *квиетизм* в 1870-е гг. широко не употреблялось и нуждалось в поясне-

ниях: «Под этим словом подразумевается полная неподвижность, отсутствие каких бы то ни было интересов и стремлений» (Парголовский мизантроп <Скабичевский А. М.> Мысли и впечатления, навеваемые текущею литературою // ОЗ. 1874. № 7. Отд. II. С. 89).

¹⁸ Ср. суждения Стасова, с сочувствием писавшего о художниках, у которых «всякая забота об "идеале" (фальшивом и выдуманном)», оставлена в стороне (Стасов В. В. Ук. соч. 1906. Т. 4. С. 84) и замене на «страстным исканием только жизненной, неподдельной правдивости» (Там же. С. 81).

¹⁹ Эти общезначимые рассуждения К имели и узкополюемический смысл: подобно В. В. Стасову и большинству передвижников, он здесь критиковал рутинную эстетическую платформу Академии художеств.

²⁰ Речь идет об особом состоянии русского реалистического искусства 1870—80-е гг., когда пафос протеста против академических требований в значительной степени потерял актуальность; вместе с тем присущая шестидесятникам резкая, однозначная оценочность изображаемого сменялась тяготением к объективности (см.: Сарабьянов Д. В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. М., 1980. С. 117—128).

²¹ *Гражданские добродетели и гражданская скорбь* — устойчивые словосочетания, служившие в 1860—70-е гг. синонимом поверхностного обличительства, получившего столь широкое распространение в литературе и изобразительном искусстве, что даже картины В. Г. Перова казались Д. Д. Минаеву переложением «гражданско-обличительных стихотворений» (С неевского берега // Дело. 1868. № 10. Отд. II. С. 106—107).

²² Речь идет о художнике В. И. Якоби, авторе исторических картин «Арест Бирона» (1870), «Шуты Анны Иоанновны» (1872), «Волынский в заседании кабинета министров» (1872), необычайно популярных в 1870-е гг. Предложенная Якоби трактовка личности А. П. Волынского, кабинет-министра Анны Иоанновны, противника бироновщины, вызвала критику не только К. Стасов писал в 1876 г. об «апофеозе и гимне посредством кисти и красок» самодуру, «тирану и зверю» (Стасов В. В. Ук. соч. Т. 1. Отд. II. Стб. 529—531).

²³ К имел в виду поздние, далекие от злободневных проблем повести и рассказы Тургенева («Стук!.. Стук!.. Стук!..», 1871; «Вешние воды», 1872 и др.), обычно противопоставлявшиеся «Запискам охотника» (1847—1851), «Отцам и детям» (1862), в особенности роману «Новь» (1877), вызвавшему негативные отзывы большинства критиков разных направлений. Однако К высоко ценил этот роман, возбудивший, по его словам, «в мыслящих русских кружках очень разнообразные суждения» (АН. Т. 77. С. 283).

²⁴ Речь идет об альбомах Е. М. Бём, в то время довольно известной художницы, ученицы И. Н. Крамского, — «Силуэты» (1875) и «Силуэты из жизни детей» (1877). Ее работы получили высокую оценку Стасова: «в большинстве случаев у нее много истинной правды, взятой с натуры,

и точного изучения действительности» (Стасов В. В. Ук. соч. 1894. Т. II. Отд. II. Стб. 712).

²⁵ Предпочитая произведения своих современников шедеврам мирового искусства, К солидаризовался с передвижниками. «Скажите откровенно, — писал И. Н. Крамской, — реален ли Мурильо? Тициан? Так ли оно в натуре, т. е. <...> так ли вы видите живое тело, когда на него смотрите?» (Крамской И. Н. Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи. СПб., 1888. С. 475). Знаменательно, что в комментируемой статье дублируется набор имен, приведенных в одном из программных выступлений Крамского, утверждавшего в 1858 г.: с идеалом «вечной красоты», воплощенной в созданиях *Рафаэля*, *Леонардо да Винчи*, *Мурильо*, *Корреджио*, современный художник обязан расстаться (см.: Там же. С. 580—581). При этом, как и К, Крамской высоко ценил Гольбейна, «запускавшего свой щуп до дна души человека» (Там же. С. 476). «Пляска смерти» Ганса *Гольбейна-младшего* (другой перевод названия — «Образы смерти») — серия гравюр на дереве, представляющих собой жанровые сценки частью памфлетного, частью аллегорического содержания.

²⁶ «Лес» (1878) *И. И. Шишкина* К видел, очевидно, на 6-й Передвижной выставке. «Грачи прилетели» (1871) *А. К. Саврасова* экспонировались на 1-й Передвижной выставке (1871—72), в 1878 г. — на выставке работ, отправляемых в Париж. В оценке пейзажа Саврасова К вновь оказался единомышленником Крамского (см.: Там же. С. 79) и в то же время оппонентом крайне утилитарного подхода к искусству: «Пейзаж нужен всякому рисовальщику как фон, как декорация для картины, — писал один из критиков по поводу работы Саврасова, — но сам по себе пейзаж бесцелен» (Художник-любитель. На своих ногах. По поводу первой художественной выставки Товарищества передвижных выставок // Дело. 1871. № 12. С. 117).

²⁷ Послание Иакова — 2, 26.

НАШИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ

Впервые — 2. 1051—1068 (по рукописи).

В описании архива Кавелиных сообщается: «Статья «Наши недоразумения» относится к 1878 г. и сохранилась в автографе с подписью «Проезжий» <...>. Рукопись представляет собой наборный экземпляр, на первом листе которого сделана надпись: «Фельетон на середу. Прошу набрать его сегодня и прислать к вечеру два оттиска». Публикация, однако, не состоялась, и статья увидела свет лишь в Собрании сочинений Кавелина, где не снабжена никакими комментариями, кроме указания на то, что печатается впервые» (*Зимина*. 17—18).

В статье К фиксируется новое состояние русского общества, в котором старые наименования явлений (напр., славянофильство и западничество) утратили прежнее содержание и являются скорее своего рода псевдонимами. Не принимая ни чистого европеизма, ни почвеннического национализма, К пытается отыскать формулу подлинной самобытности русской культуры — в опоре на реальный исторический опыт национального развития. 12 июня 1878 г. (год завершения статьи) К писал К. К. Гроту: «Славянофилы и западники, консерваторы и ходители в народ, аристократы и демократы — все русские фантазеры на разные лады профершпилились позорно, покрыли себя срамом и должны отныне сойти со сцены, иначе Россия поплатится своим политическим значением и народным достоянием» (РС. 1899. № 2. С. 396).

¹ Достаточно прозрачная символика сопоставления Москвы и Петербурга как «исконной» и «европейской» столиц России была характерна для литературы 30—40-х гг.; нашла отражение в творчестве Пушкина, Гоголя, Белинского, Герцена, славянофилов.

² *Партикуляризм* — политическая разобщенность, движение к обособлению, отделению. Термин часто использовал Хомяков, в смысле «изложения происшествий в их случайном сцеплении без всякой внутренней связи» (Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. М., 1988. С. 107).

³ *Силлабус* — список осуждаемых заблуждений, принятый Ватиканом в 1864 г. и направленный против требований буржуазного либерализма и демократии, лозунгов свободы совести, свободы печати и т. п. *Аллокуции* — обращения римского папы по поводу какого-либо важного церковного или политического вопроса.

⁴ К имеет в виду книгу Давида Штрауса «Старая и новая вера». Подробнее см. примеч. 34 к статье «Московские славянофилы сороковых годов».

⁵ Речь о том, что, по мнению К, католицизм не сохранил чистоты евангельского учения и потому заслужил упреки Вольтера — в отличие от протестантизма, не заслужившего упреков Штрауса. Отсюда разное отношение к науке во Франции и в Германии: романо-католическое воззрение «представляет в области науки авторитет и власть», а немецко-протестантское — «индивидуальную свободу» (3. 7).

⁶ Фраза шекспировского принца Гамлета, ставшая расхожим литературным выражением («Гамлет», акт II, сцена 2).

⁷ К здесь имеет в виду славянофильскую идею о необходимости *русской науки*, или, точнее, «русского воззрения» в науке. К. С. Аксаков писал (Русская беседа. 1856. № 1): «Мы уже полтора столетия стоим на почве исключительной национальности европейской, в жертву которой приносится наша народность; оттого именно мы еще ничем и не обогатили науки. Мы, русские, ничего не сделали для *человечества* именно потому, что у нас нет, не явилось по крайней мере *русского воззрения*»

(Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М., 1982. С. 197—198). Против этой точки зрения выступили западники. См., напр., статью М. Н. Каткова «Несколько слов о критике.— «Русская беседа» и так называемое славянофильское направление.— Библиография» (РВ. 1856. Т. 3. Июнь. Кн. 1. С. 212—225). Не приняли эту позицию славянофилов и революционеры-демократы: «Главным основанием различия в ученом воззрении бывает степень общего образования, на которой стоит автор, а не народность его» (*Чернышевский*. III. 656).

⁸ Речь идет об иронически трактованных К понятиях «Философии бессознательного» (1869) немецкого философа Эдуарда Гартмана. О нем ранее (1875) К писал: «Гартман займет почетное место в науке за то, что он первый ввел в философию бессознательное мышление» (3. 313).

⁹ Рошер В. Г. Ф.— один из родоначальников исторической школы в политэкономии. Задачи экономической теории, по Рошеру (что и имеет в виду К),— выяснение экономической жизни и потребностей народа, законов, служащих удовлетворению этих потребностей, короче — анатомия и физиология народного хозяйства. Главный труд — «Система народного хозяйства». На русский язык (под заглавием «Начала народного хозяйства») переведены два тома (т. 1.— М., 1860; т. 2.— М., 1869).

¹⁰ Имеется в виду книга князя А. И. Васильчикова «Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах» (СПб., 1876. Т. 1—2). Западники восприняли книгу как антиевропейский выпад. См.: Герье В., Чичерин Б. Русский дилетантизм и общинное землевладение: Разбор книги князя А. Васильчикова «Землевладение и земледелие». М., 1878. Напротив, К считал книгу «замечательной» (РС. 1899. № 2. С. 390), написал о ней статью-рецензию «Землевладение в Западной Европе» (1877), утверждая, что «по глубине проводимых автором идей, по новости взгляда, по серьезности и солидности труда, по существенной важности и высокому интересу поднятых вопросов, сочинение князя Васильчикова принадлежит не одной русской, но европейской литературе» (2. 325—326). В письме к К. К. Гроту он говорил, что книга приводит к серьезному «нравовучению»: «На грабеже бедных масс, наглом и бесстыдном, основал образованный и богатый высший европейский слой свое могущество, влияние и богатство, а теперь платится за это» (РС. 1899. № 2. С. 390).

¹¹ Очевидно, речь идет о работах Б. Н. Чичерина, И. В. Вернадского и других западников, выступавших против общинного землевладения.

¹² Имеется в виду эпизодический персонаж тургеневского романа «Новь»: «...диякон (ему был поручен надзор над школой) — человек атлетического сложения и с длинной волнистой косою, смутно напоминавшей расчесанный хвост орловского рысака <...>» (*Тургенев*. IX, 180).

¹³ Речь идет о реформах китайского императора Цинь Ши-Хуанди (III век до н. э.), объединившего Китай, строителя Великой китайской

стены, боровшегося с конфуцианством как традиционно консервативной силой. После его смерти начались восстания, приведшие к падению династии Цинь и воцарению династии Хань, опиравшейся на конфуцианство.

¹⁴ К имеет в виду разговоры в московском обществе, характерные для периода русско-турецкой войны (1877—1878).

¹⁵ Более подробно о национализме как антихристианском явлении см. в статье К «Наши инородцы и иноверцы» (1881): «В самом деле, что общего имеет христианское чувство с племенными и вероисповедными ненавистями и отвращениями? Оно внушает любовь к людям, без различия веры и племени. Оно учит любить их не за то, что они есть для нас и для себя, а за то, чем они могут и должны быть. В этом глубокий смысл проповеди любви, снисхождения, сострадания к падшим и погибающим. Считая евреев отверженными, наши юдофобы становятся как раз на одну доску с еврейскими фарисеями и книжниками, которые не подымались выше закона» (2. 1092).

РАЗГОВОР С СОЦИАЛИСТОМ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ

Впервые — отдельной брошюрой: Берлин, 1880; анонимно. В России (под заглавием «Разговор»): 2. 995—1020.

Брошюра К вышла в свет в период так называемой второй революционной ситуации в России: обеднение и расслоение крестьян, о чем широко писала пресса тех лет (в том числе и К: «Из деревенской записной книжки» (1873), «Письма из медвежьего угла» (1880) — 2. 811—862); кризис самодержавной власти, рост революционного подполья (в августе 1879 г. разделение «Земли и воли» на «Черный передел» и «Народную волю», перешедшую от мирной агитации к политике активного террора); усиление оппозиционных настроений в либеральных кругах; русско-турецкая война, усугубившая внутриэкономический кризис; ожидание во всех слоях русского общества конституционных перемен (см. об этом: Россия в революционной ситуации на рубеже 1870—1880-х годов. М., 1983). Идеи социализма и социалистического переустройства, проникшие в Россию еще в 40-е годы, в 70-е стали актуальнейшей проблемой общественной жизни, обсуждавшейся в легальной, подпольной и эмигрантской печати. В 1872 г. в Санкт-Петербурге выходит первый русский перевод «Капитала» К. Маркса, вызвавший полемику на страницах периодики 70-х годов. Проблемы, поставленные в статье К (о нравственности в революции, о допустимых пределах насилия, о возможности неуправляемого террора, противопоставление реформистского пути революционному), были характерны для либеральных идеологов тех лет. «Революционная пропаганда — капля яда, бродящая в нашем общественном организме», — писала либеральная га-

зета «Голос» (1879. 9 марта). Апеллируя к авторитету Маркса (понятого им в качестве защитника эволюционного принципа развития общества), К возвращается к своей старой и излюбленной идее (см. в настоящем изд. «Дворянство и освобождение крестьян»), что ограничение самодержавия и введение конституции выгодно только «для самовластья кама-рильи» и неизбежно приведет к революции (статья К 1878 г. «Политические призраки»: 2. 962), которая неизбежно разрушит достижения цивилизации и прогресса. Судя по приводимым в статье фактам (см. примеч. 22), она писалась не ранее декабря 1879 г., вскоре после взрыва царского поезда (19 ноября): это позволяет понять актуальность попытки К найти общий язык с русским революционным движением. Характерны его слова в письме М. М. Стасюлевичу (26 января 1880 г.): «Разные, самые противоположные взгляды, переходя на реальную почву, начинают сближаться. <...> И подчеркиванием различий во взглядах не следует замедлять их сближения» (М. М. Стасюлевич и его современники... Т. II. С. 147).

¹ Соображение К о положительных и отрицательных моментах социалистических учений — бесспорно, возникавшее в результате споров 50—70-х гг., — направлено против однозначных высказываний консервативно-охранительной литературы и социалистической литературы бакунинского толка. Ср. слова М. Н. Каткова из хорошо известной К статьи «Русская сельская община»: «В коммунизме исчезает все человеческое» (РВ. 1858. Сентябрь. Кн. 1, С. 233). Вспоминая в статье «По поводу рассуждений М. Н. Каткова» (1880) «рекомендации» московского публициста «в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов», К, отделяя либеральный подход к идеям социализма от анархо-революционного, упрекал Каткова в том, что «он смешал анархистов и революционеров с либералами» (2, 1083). Ср. также с мыслью К из уже цитированного письма Стасюлевичу: «Наши революционеры проваливаются, потому что формулируют свои идеалы по Интернациональному обществу и Бакунину» (М. М. Стасюлевич и его современники... Т. II. С. 148).

² *Ôte-toi de là que je m'y mette* (франц.). — Отойди и уступи мне место.

³ Имеется в виду Великая французская революция.

⁴ Проблемы революционного насилия, беспощадной ломки всего старого, отрицания науки и культуры, переходящего в апологию разбоя (эти идеи связывались прежде всего с именем М. А. Бакунина), обсуждались в русской легальной и эмигрантской печати. В письмах «К старому товарищу» (Сборник посмертных статей Александра Ивановича Герцена. Женева. 1870. С. 269—292) Герцен выступил против бакунинских анархо-революционных призывов: «Я не верю в серьезность людей, предпочитающих ломку и грубую силу развитию и сделкам» (Герцен. XX. 593). В середине 70-х против бакунинских идей выступил П. Л. Лавров. «В Цюрихе в то время шла жестокая борьба „лавристов“ с „бакунистами“» (Кропоткин П. А. Записки ре-

волюционера. М., 1988. С. 333). Основная полемика разгорелась вокруг статьи Лаврова «Знание и революция» (Вперед. 1874. № 1—2), в которой утверждалась необходимость постепенного накопления знаний для социального переворота (См. об этом: Твардовская В. А. Н. А. Морозов в русском освободительном движении. М., 1983. С. 17). Обвиненный в том же году П. Н. Ткачевым (в брошюре «Задачи революционной пропаганды в России». Лондон, 1874) в отрицании революции и пропаганде мирного прогресса, Лавров уточнял (в брошюре «Русской социально-революционной молодежи». Лондон, 1874), что он против терроризма, против «призыва неподготовленного народа неподготовленными агитаторами к бунту» (Лавров П. Л. Избранные соч. на социально-политические темы: В 8 т. М., 1934. Т. 3. С. 371; см. об этом: Володин А. И., Итенберг Б. С. Лавров. М., 1981. С. 206—207). Надо отметить, что К хорошо знал Лаврова и внимательно следил за его деятельностью. В 1861 г. К поддержал его кандидатуру на место профессора Петербургского университета по кафедре философии (см.: Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. Л., 1955. Т. 2. С. 175). Сожалея, что социалисты «отказываются от насилия только в принципе», что, по их мнению, «царство справедливости» начнется через революцию, К имел в виду прежде всего взгляды П. Л. Лаврова. Лавров, в свою очередь, был автором статьи, посвященной анализу книги К «Задачи психологии» (Г. Кавелин как психолог // ОЗ. 1872. № 8, 10, 11).

⁵ Возможно, отзыв реплики цюрихской газеты «Tagwacht» (1876. 8 июля) на смерть Бакунина: «Разрушительная деятельность Бакунина приносила только зло революционному движению и в то же время была очень полезна для реакции» (Былое. 1906. № 8. С. 254).

⁶ Речь идет о брошюре П. Л. Лаврова «1773—1873. В память столетия пугачевщины» (Цюрих, 1874), в которой он говорил о пугачевском восстании как прологе к социальным революциям будущего: «Как движение, ставшее на сторону народа, на сторону прав страждущих масс <...>, пугачевщина была событием с более широким, более прочным будущим, чем бостонское восстание, которое послужило точкою исхода для республики Северо-Американских Штатов, для декларации прав человека» (Лавров П. Л. Ук. соч. Т. 2. С. 139).

⁷ К часто повторял о себе, что его «оптимизм не исключает не только критики современного, но и глубокого его порицания». Но «лучший порядок», по его мнению, «должен взять верх не посредством общественных потрясений, а путем мирных, постепенных и последовательных реформ» (Корсаков Д. А. Последние годы К. Д. Кавелина. 1877—1885 гг. // ВЕ. 1888. № 5. С. 16).

⁸ Цитата из предисловия к «Капиталу» К. Маркса. См. современный перевод: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 10.

⁹ Очевидно, опечатка издателя. У Маркса речь идет о «Синей книге», то есть издании, публиковавшем материалы английского парламента

и дипломатические документы министерства иностранных дел. «Синие книги» служили основным официальным источником для изучения экономической и дипломатической истории Англии.

¹⁰ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 10—11.

¹¹ Там же. С. 9.

¹² Там же.

¹³ Там же. С. 6.

¹⁴ *Die Magenfrage* (нем.) — вопрос желудка.

¹⁵ Очевидно, имеется в виду поддержка Марксом Парижской коммуны как прообраза революционного переворота. См. работу Маркса «Гражданская война во Франции» (1871).

¹⁶ *Entendons-nous* (франц.) — объяснимся.

¹⁷ Имеется в виду русско-турецкая война 1877—78 гг., в результате которой был положен конец вассальной зависимости Сербии от Турции. Многие представители русской революционной молодежи были участниками этой войны (см.: Гросул В. Я. Революционная Россия и Балканы (1874—1883). М., 1980. С. 177—240). В брошюре «Политические призраки. Верховная власть и административный произвол, один из современных русских вопросов» (Берлин, 1878) К указывал на *сербскую войну* как на один из факторов, усиливших революционные настроения в русском обществе: «Война и наши неудачи раскрыли всем глаза и с поразительной очевидностью обнаружили коренные недостатки нашей правительственной системы» (2. 927).

¹⁸ Под *самодержавной республикой* К, возможно, понимал союз общин, завершающийся земским собором под председательством «наследственного царя». См. об этом настоящую статью. С. 440.

¹⁹ Преимущество России К видел в отсутствии аристократии. Ср.: «У нас были только зачатки аристократии, которые вследствие разных причин не успели развиться и окрепнуть» (2. 935—936).

²⁰ Отзывы Маркса об императоре *Вильгельме* и королеве *Виктории* были выдержаны в иронических тонах, что было связано с их полной политической несамостоятельностью — Вильгельма при Бисмарке, Виктории при Биконсфилде. См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 15. С. 68—71, 418—421.

²¹ В связи с ухудшением отношений Англии и Германии с Россией, которая в результате русско-турецкой войны рассчитывала укрепить свои черноморские рубежи, «Московские ведомости» писали: «...Таков естественный ход исторических событий, и задержать этого хода ни Биконсфилды, ни Бисмарки не в силах» (1879. 25 ноября). На этом фоне намекал, что во взрыве царского поезда замешаны «антирусские силы» («Мы имеем дело с исконным, заклятым врагом нашего отечества <...> Благодаря нашей дремоте <...>, был сфабрикован в России так называемый нигилизм. Наши дети похищались у нас на глазах и дрессировались в негодяев и злодеев». — Московские ведомости. 1879. 25 ноября),

воспринимался как продолжение инвектив, направленных против Бисмарка и Биконсфилда. Вот как звучала полемика с английской «Times»: «Не затем ли и нигилисты-то нужны, не затем ли и пару поддают им, чтобы Россия сидела смирно» (Московские ведомости. 1879. 30 ноября). В свою очередь, К полагал, что в поддержке революционеров заинтересована желающая напугать царя и требующая «дворянской конституции» придворная олигархия.

²² *Облакаты* (ирон.) — адвокаты.

²³ *Гласный* — выборный член местного самоуправления.

²⁴ В начале декабря 1879 г. проходило заседание Московского Губернского Земского собрания, где среди прочих тем обсуждался доклад Губернской управы по народному образованию. К имел в виду высказывание гласного Московского земства Д. Ф. Самарина: «У нас прежде признавалось аксиомой, что где больше образования, там нравственность выше, но это оказалось неверным» (Московские ведомости. 1879. 9 декабря). «Московские ведомости» резюмировали итоги этого заседания: «Народная школа может приносить истинную пользу только в живой и тесной связи с Церковью, — вот главная мысль, которую высказывали гласные Москвы» (Московские ведомости. 1879. 17 декабря).

²⁵ Действительно, несмотря на требование либеральных и революционных кругов, Александр II медлил с решением вопроса о конституции. Однако именно в 1880 г. им была учреждена Верховная распорядительная комиссия, которая готовила проведение ряда реформ, в том числе и конституционного характера.

²⁶ Разговорное наименование конституции. Восходит ко времени восстания декабристов, которые уговаривали солдат стоять за великого князя Константина и его жену «Конституцию» (См.: Ключевский В. О. Ук. соч. Т. 5. С. 256).

²⁷ См. об этом статью К «Взгляд на русскую сельскую общину».

²⁸ Скорее всего К приписывает Самарину близкое по смыслу высказывание Каткова, которое Самарин процитировал в своей статье («По поводу мнения „Русского вестника“ о занятиях философию, о народных началах и об отношении их к цивилизации» // День. 1863. 7 сентября), солидаризуясь с ним. Ср.: «Во-первых, монархическое начало не только есть коренное начало для России, но есть сама Россия, и, во-вторых, никакое разделение невозможно в России между верховным представителем этого начала и народом» (Самарин. I. 272). Этот текст был перепечатан в первом томе сочинений Ю. Ф. Самарина, в связи с выходом которого написана статья К «Московские славянофилы сороковых годов» (1878).

²⁹ *Eo ipso* (лат.) — тем самым.

³⁰ *Da stehen die Oshen am Berge* (нем.) — здесь быки и стоят перед горой (поговорка о безвыходном положении, частая в русской публицистике прошлого века).

³¹ Речь идет, видимо, о том, что после английской буржуазной революции XVII в. все коренные социальные и политические изменения проводились в Англии конституционным путем.

³² На 1879 г. падает усиление национально-освободительного движения в Индии, что активно обсуждалось в английском парламенте. Официозная пресса России подробно освещала эти дебаты (см.: Московские ведомости. 1879. 9 ноября). Как могло казаться К, потеря индийских доходов чревата для Англии экономической катастрофой.

³³ Имеются в виду волнения в Ирландии, связанные с требованием самоуправления (гомруля); его высказал лидер ирландских депутатов в английском парламенте Чарльз Спенсер Парнелл. По словам русских газет, «положение дел в Ирландии <...> приняло довольно тревожный характер. <...> Агитация началась тотчас по закрытии сессии, когда самый беспокойный из гомрулеров, член парламента г. Парнелл отправился в объезд по Ирландии <...> и начал явно агитировать о сбавке ренты помещикам» (Московские ведомости. 1879. 16 ноября).

³⁴ Речь идет о завоевании русскими войсками в 70-е годы XIX в. Средней Азии (Туркестан, Коканд, Бухара, Самарканд, Хива, Геок-Тепе, Ашхабад и т. д.), что не могло не беспокоить англичан, опасавшихся за свое влияние в этом районе. В результате, по словам лорда Биконсфилда, Англия провела «обширные военные операции в Средней Азии, в видах усилить и обеспечить северо-западную границу нашей Индийской империи» (Московские ведомости. 1879. 6 ноября). Очевидно, именно этот конфликт имел в виду К.

³⁵ Слова, взятые К в кавычки, передают общий смысл речи Александра II (31 августа 1858 г.), упрекавшего московское дворянство в нежелании расстаться с крепостным правом: «К сожалению, благодарить вас теперь не могу. Вы помните, когда я два года тому назад <...> говорил вам о том, что рано или поздно надобно приступить к изменению крепостного права. Мои слова были перетолкованы. <...> Я, признаюсь, ожидал, что московское дворянство первым отзовется <...>, а Московская губерния — не первая, не вторая, даже не третья» (Татищев в С. С. Император Александр II. Его жизнь и царствование: В 2 т. СПб., 1903. Т. 1. С. 337—338). По поводу этой речи Герцен в «Колоколе» (1 ноября 1858 г.) замечал: «Речь государя к московским плантаторам не была напечатана в русских газетах. Государь под надзором полиции, под цензурой помещиков испытывает теперь на себе, каково жить в стране без гласности» (Герцен. XIII. 365). Речь императора была опубликована: РВ. 1858. Октябрь. Кн. 1. С. 225.

³⁶ Под *передовыми людьми* К понимал «новых славянофилов» и «новых западников», людей, по его мнению, способных к осознанному компромиссу (см.: М. М. Стасюлевич и его современники... Т. II. С. 148).

³⁷ В конце 70-х годов Бисмарк говорил об опасности «русского панславизма» (см.: Московские ведомости. 1879. 9 ноября), проводил политику «онемечивания» поляков, в русской прессе приводились слова имперского канцлера: «В три года мы сумели бы „онемечить поляков“» (Московские ведомости. 1879. 22 декабря).

³⁸ В конце 70-х годов участились покушения революционеров на Александра II: покушение А. И. Соловьева (2 апреля 1879 г.), взрыв царского поезда (19 ноября 1879 г.), взрыв в Зимнем дворце, устроенный С. Н. Халтуриным (5 февраля 1880 г.).

³⁹ В январе 1878 г. В. И. Засулич стреляла в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова.

⁴⁰ «В поте лица твоего будешь есть хлеб» — Бытие. 3, 19.

⁴¹ Слова Тараса Бульбы, обращенные к его сыну Остапу.

⁴² Персонаж библейской книги «Есфирь», после пережитых опасностей и верной службы стал приближенным царя Артаксеркса.

⁴³ По устойчивому убеждению К, основным врагом преобразований в России была «придворная партия». В статье «Чем нам быть?» (1875) К писал: «При помощи искусной подтасовки <...> те, которые противились преобразованиям, выданы за друзей порядка и правительства» (2. 874). О консерваторах, «заманивавших» царя «в свои сети», см.: Твардовская В. А. Идеология пореформенного самодержавия (М. Н. Катков и его издания). М., 1978. С. 191—193.

⁴⁴ После выхода из Петербургского университета К сознательно избегал государственной службы. 23 сентября 1862 г. он писал Э. Ф. Раден: «Я люблю свое отечество больше всего на свете, но думаю, что могу ему служить и иным образом, чем на кафедре и нося вицмундир» (РМ. 1899. № 8. С. 12).

ПИСЬМО Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ

Впервые — ВЕ. 1880. № 11. С. 431—456.

Статью сопровождало примечание от редакции: «Наш журнал в предыдущей книге имел случай высказать иной взгляд на значение как московской речи г-на Достоевского, так и «Дневника писателя» (в разделе «Литературное обозрение», подпись — В. В. <В. П. Воронцов> // ВЕ. 1880. № 10. С. 811—818. — В. К.); <...> но все это не должно было препятствовать нам поместить настоящую статью, так как почтенный автор «Письма» не ограничивается своими личными взглядами на степень искренности и глубину убеждений г-на Достоевского, но независимо от того оспаривает его существенные положения, высказывая при этом свои мысли и взгляды, весьма интересные не для одних нас, но, надеемся, также и для большинства читателей журнала. — Ред.» (С. 431).

Столкновение К и Достоевского было обусловлено принципиальной разностью позиций. Они оба выступали за примирение идейных группировок, прежде всего западников и славянофилов, полагали возможным остановить революционное движение силой словесного убеждения, но при этом Достоевский опирался на почвеннически, отчасти даже государственно понятое православие, а К, будучи религиозно индифферентным, возлагал надежды на воспитательную роль науки и культуры. Изображая и осуждая во всех своих романах «оторванную от народа» личность, Достоевский антитезой выдвигал идеал православной соборности, который он находил в реальном русском народе. К выступал против подмены идеалами реальности (см. статью К «Идеалы и принципы» // Неделя. 1876. 3 октября), а явление личности оценивал как недавнее, еще не устоявшееся, но благотворное завоевание русской культуры. В комментируемой статье К полемизирует с августовским выпуском «Дневника писателя» (1880), куда вошли «пушкинская» речь и ответ Достоевского профессору А. Д. Градовскому (см. примеч. 2). Сам писатель считал этот выпуск «Дневника» своим исповеданием веры «на все будущее. Здесь уже высказываюсь окончательно и непокровенно, вещи называю своими именами» (*Достоевский*. XXX. Кн. 1. 204). Возражения К были вызваны резкими выпадами Достоевского против либерального направления, которое обвинялось писателем во вражде к народу: «К народу же чувствовали уже не столько гордость, сколько омерзение, и это сплошь» (*Достоевский*. XXVI. 155, 157). Обвинение во вражде к народу напоминало еще не утратившую и в те годы значение символа уваровскую формулу национального единства: «православие, самодержавие, народность», поэтому ВЕ как орган либерального западничества мог видеть в ответе К кредо направления, ошельмованного писателем. Достоевский перед смертью начал набрасывать ответ К, но закончить не успел, остались только отрывочные заметки в записной книжке (*Достоевский*. XXVII. 52—87).

Анализ полемики К и Достоевского см.: Кантор В. К. «Средь бурь гражданских и тревоги...» Борьба идей в русской литературе 40—70-х годов XIX века. М., 1988. С. 116—120.

¹ Речь Достоевского о Пушкине, произнесенная в Обществе любителей российской словесности 8 июня 1880 г., была названа современниками (И. С. Аксаков) «историческим событием» (См. письмо Ф. М. Достоевского А. Г. Достоевской от 8 июня 1880 г. — *Достоевский*. XXX. Кн. 1. С. 184). Ее эффект хорошо объяснил Г. И. Успенский, заметив, что Достоевский «нашел возможным <...> привести Пушкина в этот зал и устами его объяснить обществу, собравшемуся здесь, кое-что в теперешнем его положении, в теперешней заботе, в теперешней тоске» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1964. Т. 2. С. 338).

² В статье проф. А. Д. Градовского «Мечты и действительность (По поводу речи Ф. М. Достоевского)» суть их «разномыслия», вызвавшего полемику, определялась следующим образом: «Требуя смирения пред народною правдою, пред народными идеалами, он (Достоевский. — В. К.) принимает эту «правду» и эти идеалы, как нечто готовое, неизблемое и вековечное. Мы позволим себе сказать ему — нет! Общественные идеалы нашего народа находятся еще в процессе образования, развития. Ему еще много надо работать над собою, чтоб сделаться достойным имени великого народа. Еще слишком много неправды, остатков векового рабства засело в нем, чтоб он мог требовать себе поклонения и, сверх того, претендовать еще на обращение всей Европы на путь истинный. <...> Странное дело! Человек, казнящий гордость в лице отдельных скитальцев, призывает к гордости целый народ» (Голос. 1880. 25 июня).

³ Одной из важнейших заслуг своей «пушкинской» речи Достоевский считал последовавшее примирение (как вскоре выяснилось — временное) западников и славянофилов. См.: «...сделан был огромный и окончательный, может быть, шаг к примирению. <...> Объявлено было, наконец, что все недоумения между обеими партиями и все злые препирания между ними были доселе лишь одним великим недоразумением» (Достоевский. XXVI. 133).

⁴ Размышлениями, неправомерно вложенными Достоевским в уста западников, К, видимо, называет следующие: «Мы намерены образовать наш народ помаленьку, в порядке, и увенчать наше здание, вознеся народ до себя и переделав его национальность уже в иную, какая там наступит после образования его» (Там же. 135).

⁵ По убеждению К, подлинного европеизма после Петра так и не настало. То, против чего воевали славянофилы, было по сути своей «псевдоевропеизмом». Достоевский следующим образом перетолковал эту мысль К: «Чиновник, теперешний чиновник — это европеизм, это сама Европа и эмблема ее, это именно идеалы Градовских и Кавелиных» (Достоевский. XXVII. 72).

⁶ Имеется в виду совместная работа по подготовке крестьянской реформы в конце 50-х годов западников и славянофилов.

⁷ Ср. точку зрения Канта (которого хорошо знал К), считавшего, что выход народов из состояния несовершеннолетия выражается в идеях Просвещения, в самостоятельности человеческого разума: «Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого... Имей мужество пользоваться собственным умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения» (К а н т И. Соч.: В 6 т. М., 1966, Т. 6. С. 27).

⁸ К имеет в виду усиление «патриотической публицистики» в связи с русско-турецкой войной и завоеванием Средней Азии в конце 70-х годов прошлого века.

⁹ См. «Дневник писателя» (август 1880) (*Достоевский*. XXVI. 132). Слова Достоевского вызвали ироническую реплику ВЕ: «Автор не однажды ссылается на восемьдесят миллионов русского народа (именно русского, потому что речь идет о свойствах русской народности). Но восемьдесят миллионов <...> составляют цифру населения русской империи, а вовсе не русского народа, владеющего идеалами. <...> Собственно же русского народа полагают только тридцать пять миллионов» (ВЕ. 1880. № 10. С. 818).

¹⁰ Строго говоря, Достоевский не нашел возражения на эту мысль К, отделавшись резкостью: «Все в юности народы такие — как это легкомысленно, глупо» (*Достоевский*. XXVII. 55).

¹¹ Цитата из «пушкинской» речи (*Достоевский*. XXVI. 146).

¹² См. ответ Достоевского: «Не от омерзения удалялись святые от мира, а для нравственного совершенствования» (*Достоевский*. XXVII. 55).

¹³ Под *горячими патриотами*, жалующимися на преобладание обрядовой стороны в православии, К скорее всего имел в виду М. Н. Каткова, в 1873 г., например, писавшего: «Обряд, и даже не обряд, а случайная особенность обряда, которая иногда искажает или затемняет его, ставится у нас в равной силе с догматом...» В результате «православие господствует, но не сияет...» (Катков М. Н. О церкви. М., 1905. С. 43, 46).

¹⁴ См. примеч. 34 к статье «Мысли и заметки о русской истории».

¹⁵ Достоевский возражал: «Вы скажете, что на Западе померк образ Спасителя? Нет, я этой глупости не скажу» (*Достоевский*. XXVII. 56).

¹⁶ Цитата из августовского «Дневника писателя» (*Достоевский*. XXVI. 164).

¹⁷ «Личная и общественная нравственность не одно и то же», — писал А. Д. Градовский (Голос. 1880. 25 июня).

¹⁸ См. ответ Достоевского: «Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения? Проверка же их одна — Христос, но тут уж не философия, а вера» (*Достоевский*. XXVII. 56).

¹⁹ См. ответ Достоевского: «Сжигающего еретиков я не могу признать нравственным человеком, ибо не признаю ваш тезис, что нравственность есть согласие с внутренними убеждениями» (*Там же*. 56).

²⁰ Цитата из «Дневника писателя» (август 1880) (*Достоевский*. XXVI. 165).

²¹ См. ответ Достоевского: «Государство создается для середины. Когда же это государство создаваясь говорило: я создаюсь для середины. Вы скажете, что так делала история. Нет, всегда вели избранные. <...> И тотчас после этих мужей середина, действительно, это правда, форму-

лировала на идеях высших людей свой срединный кодекс» (*Достоевский*. XXVII. 56—57).

²² Цитата из «Дневника писателя» (август 1880) (*Достоевский*. XXVI. 165).

²³ *Новое слово*, которое должен произнести русский народ, заключалось, по мысли Достоевского, в идее «всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия» (*Там же*. 131).

²⁴ *Алеко* — герой пушкинской поэмы «Цыганы»; *Бельтов* — герой повести Герцена «Кто виноват?»; *Тентетников* — персонаж поэмы Гоголя «Мертвые души». Типологически все они относятся к тем литературным характерам, которые в своей «пушкинской» речи Достоевский определил как тип «несчастливого скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем» (*Там же*. 137).

МЕФИСТОФЕЛЬ АНТОКОЛЬСКОГО

Впервые — *ВВ*. 1880. № 7. С. 389—400.

Основные идеи статьи *К*, частично сформулированные им ранее (см. «Белинский и последующее движение нашей критики», «Идеалы и принципы», «Московские славянофилы сороковых годов») и систематически изложенные позднее, в итоговой работе «Задачи этики» (1884), отражали убежденность *К* в том, что человечество стоит на пороге новой эпохи: «В наше время всемогущество разума и мышления обратилось уже в предание, которое скоро совсем забудется. Цикл полного его развития совершился, и ему подводятся итоги. Выяснилось, что мышление не все для человека» (3. 1012). Предугадывая расцвет психологии, *К* видел залог социального прогресса в обращении науки к душевным переживаниям человека, что, как он полагал, поведет к раскрепощению личности, а в конечном итоге — к широкому и подлинному усвоению евангельских истин: «Идеальное совершенство христианской этики в том и состоит, что она не греческая, римская, семитическая или индийская, а общечеловеческая, и несравненно дальше всех других проникла в причины и последствия мотивов, таящихся в человеческой душе» (3. 961). Предсказывая религиозный ренессанс, *К* расценивал грозные приметы своего времени — «расшатанность убеждений, хаотическое состояние умов, оскудение нравственной стороны в ежедневной жизни» (3. 945) — как агонию уходящей эпохи, отождествлявшейся им со «всею новой европейской историей», которая должна будет привести к окончательной, считал *К*, «победе науки над верованиями» (3. 993). Символом этой эпохи стал для *К* образ Мефистофеля, поэтому размышления

о скульптуре М. М. Антокольского переросли в историософские обобщения.

¹ Стихотворение графа А. А. Голенищева-Кутузова «К Мефистофелю. Между „Христом“ и „Сократом“» было напечатано в ВЕ (1880. № 6) в составе лирического цикла «На выставке М. Антокольского».

² С работой М. М. Антокольского «Голова Мефистофеля» (1879) петербуржцы познакомились весной 1880 г. на выставке привезенных из-за границы произведений скульптора. К не упоминает об этой выставке, поскольку в течение нескольких месяцев она была у всех на устах: «Никогда в залах Академии не было столько скульптурных произведений одного и того же художника, никогда в скульптурных работах, выставленных в Академии, не было столько серьезности, глубокой мысли и художественного совершенства, как на этот раз». (Гинцбург Илья. Воспоминания. Статьи. Письма. Л., 1964. С. 91).

³ Почти дословно цитируя здесь стихотворение Голенищева-Кутузова, К поместил условно-поэтические формулы в прозаический контекст и тем самым иронически их снизил.

⁴ Начальные и финальные строки стихотворения, «пересказанные» К выше (см. предыдущее примеч.), рисуют традиционный образ Мефистофеля — воплощение «духа злобы и сомненья», «лжи и разврата».

⁵ К имел в виду, вероятно, классические образы европейской литературы: Сатана в поэме Дж. Мильтона «Потерянный рай» (1667), Мефистофель в трагедии И. В. Гете «Фауст» (1808—1831), Люцифер в «мистерии» Дж. Байрона «Каин» (1821), падший дух в поэме А. Виньи «Элоа» (1824) и др. В отечественной традиции — стихотворения Пушкина «Демон» (1823) и «Ангел» (1827); поэма А. И. Подолинского «Див и Пери» (1827), поэма Лермонтова «Демон» (1839) и др.

⁶ *Ариман* или Ахриман (фарси) — в иранской мифологии верховное божество зла.

⁷ Гете опирался на народную книгу «Повесть о докторе Фаусте, знаменитом колдуне и чернокнижнике...» (впервые издана в 1587 г.), где Мефистофель предстает злым и насмешливым слугой сатаны.

⁸ Ср. суждение самого Антокольского: «Я хотел представить тип менее опошленный, менее комичный и менее фантастичный, а более серьезный и, главное, более жизненный среди нас» (письмо В. В. Стасову от 24 августа 1879 г. // М. М. Антокольский. Его жизнь, творения, письма и статьи. СПб.; М., 1905. С. 384).

⁹ *Факир* — нищенствующий мусульманский монах; *шаманист* (шаман) — колдун-знахарь (в основном — у северных народностей); *столпник* — отшельник, подвизавшийся стоянием на столбе или затворившийся в башенной келье (Восток первых веков христианства); *экзорцист* — заклинатель, изгонявший силою церковных молитв нечистых духов.

¹⁰ К называет знаменитых героев уголовной хроники 1870-х гг. *Червонные валеты* — группа московских аферистов, обвинявшихся в кражах, подлогах, убийстве. За этим судебным процессом (1876—1877) К внимательно следил: «Подсудимых 48, мужчин и женщин всяких общественных слоев, в том числе 39 дворян с известными фамилиями, даже княжескими, нотариус и проч. Воображаю, что из этого сделает Щедрин!» (письмо К к К. К. Гроту от 12 сентября 1876 г. // РС. 1899. № 2. С. 386). К. Н. Юханцев, кассир Петербургского Общества взаимного поземельного кредита, попал под суд (1878—1879) за растрату почти двух миллионов из кассы Общества. К. Х. Ландсберг судился за убийство с целью ограбления в 1879 г. Эти процессы получили колоссальный общественный резонанс и часто поминались в печати как свидетельство моральной деградации (см.: Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1972. Т. 13. С. 469—471). О «знаменитом французском процессе» над *Кути-де-ла Поммере* (Courty de la Pommerais), враче-отравителе, приговоренном к казни, К писал в 1864 г. своей постоянной корреспондентке Э. Ф. Раден, характеризуя подсудимого как «колоссальное чудовище, изверга в своем роде» (РМ. 1900. № 4. Пагинация. II. С. 13).

¹¹ После Крымской войны правительство вынуждено было давать частным лицам и акционерным обществам концессии на строительство железных дорог. Учредители акционерных обществ, получавших правительственные субсидии, нередко шли на махинации, разорявшие и акционеров, и государство.

¹² Под *ошибочным мирозерцанием* К имел в виду господство отвлеченного мышления (подробнее см. его статью «Наш умственный строй»).

¹³ Сам Антокольский не разделял оптимизма К: «Кавелин сказал, что я создал «Мефистофеля» накануне его смерти, а по-моему — накануне его рождения» (письмо В. В. Стасову от 15 декабря 1885 // М. М. Антокольский. Его жизнь, творения, письма и статьи. СПб.; М., 1905. С. 550).

ЗЛОБЫ ДНЯ

Впервые — РМ. 1888. № 3—4 (по рукописи). Печатается по: 3, 1019—1074.

Первоначальный замысел статьи относится к 1883 году. 22 апреля 1883 г. К писал Д. А. Корсакову: «Располагаю летом написать большую статью о современных направлениях русского духа и русской жизни, с совершенно объективной и беспристрастной оценкой и славянофилов, и народников, и западников, и катковцев, и православных фанатиков» (ВЕ. 1888. № 5. С. 38). В письме от 16 июля 1883 г. сообщалось уже о начале работы: «Принимаюсь за <...> статью о нашем теперешнем умственном и нравственном состоянии, составляющем злобу дня. Мне

хочется объяснить кажущийся нам умственный и нравственный упадок, уныние, апатию; причины, почему все наши направления в науке, печати и общественной деятельности потеряли прежний кредит и поблекли. <...> Цель статьи — привести к образованию одной большой национальной русской партии, в которой все бывшие направления слились бы в дружном преследовании, с различных точек зрения, общечеловеческих целей и в разрешении общечеловеческих задач на русской почве» (ВЕ. 1888. № 5. С. 40—41). Окончена в 1884 г. При первой публикации Д. А. Корсаков подчеркивал, что «Злобы дня» играют ту же роль в изучении философских убеждений Кавелина, какую его «Мысли и заметки о русской истории» <...> играют относительно его воззрений историко-политических» (РМ. 1888. № 3. С. 2).

¹ См. примеч. 10 к статье «Московские славянофилы сороковых годов».

² Имеется в виду западничество и славянофильство.

³ Пожалуй, основным духовным событием перед Великой французской революцией можно назвать издание группой французских мыслителей (Вольтер, Кондильяк, Гельвеций, Монтескье, Руссо и др.) «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» (1751—1780) в 28 томах. Несмотря на преследование феодальных властей и клерикалов, энциклопедисты оказали огромное влияние на мировую мысль своего времени.

⁴ Сочинения Канта по философии религии подвергались цензурным преследованиям. После выхода в свет трактата «Религия в пределах только разума» (1793) Кант получил именной указ короля Фридриха-Вильгельма II, в котором выражалось недовольство книгой мыслителя и содержалась угроза строгих мер в случае дальнейшего неповиновения. Сетования Канта по поводу положения философии можно увидеть в его ответном письме (1794) Фридриху-Вильгельму II (см. Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 595—598). Развернутый ответ на преследования философии цензурой Кант дал в работе «Спор факультетов» (1798) (Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1966. Т. 6. С. 311—349). Ответ королю был опубликован Кантом в предисловии к этой работе.

⁵ Иронически пересказанная точка зрения Каткова. Ср.: «Правильные преобразования должны вырабатываться из условий живой действительности, а не из отвлеченных теорий <...> Разумный консерватизм более расположен к частным изменениям и исправлениям в законодательстве, чем к общим статутам, обнимающим собой целые сферы общественной или государственной деятельности» (Катков М. Н. О дворянстве. М., 1905. С. 6).

⁶ «Вопросы жизни и духа» Дж. Г. Льюиса; русский пер. СПб., 1875—1876. Т. 1—2.

⁷ Имеется в виду евангельская притча о пшенице и плевелах (Матф. 13, 24—30).

⁸ Ср. аналогичное высказывание Герцена в статье 1858 г. <Предисловие к книге «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева...» > (Герцен. XIII. 272—277).

⁹ Речь идет о позиции славянофилов. Ср. суждение И. В. Киреевского: «Корень образованности России живет еще в народе, и, что всего важнее, он живет в его святой православной церкви» (Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 292).

¹⁰ Крупнейшим богословом из славянофилов считался А. С. Хомяков. Скорее всего именно Хомякова как автора трактата «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях» (1855; См.: Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1907. Т. II) имел в виду К, говоря о трудах, выяснявших взаимоотношения различных христианских церквей.

¹¹ Ср. критическую точку зрения Н. Г. Чернышевского на принципы общины — «этого остатка нашей первобытной древности» (Чернышевский. V. 362), полагавшего, что при определенных условиях народ мог выбрать и необщинный путь развития (Там же. V. 847).

¹² К говорит о трактате Л. Н. Толстого «Исповедь» (1882). «Исповедь» должна была публиковаться в РМ, однако по решению духовной цензуры была вырезана из журнала. 19 июня 1882 г. К писал Стасюлевичу: «Вы, вероятно, читали в газетах, что «Русская мысль» (майская книжка) задержана и выйдет позднее. По газетным слухам, причиной задержки была статья Льва Толстого, о которой я много слышал. Вчера мне ее принесли в рукописи <...>. Меня она поразила необыкновенною откровенностью, правдивостью и в то же время ошибочной постановкой вопросов, которые его терзают видимо глубоко» (М. М. Стасюлевичу и его современники... Т. II. С. 160).

¹³ Очевидно, речь идет о неприятии науки, высказанном Л. Н. Толстым в «Исповеди». К высоко ценил эту работу, давал читать ее друзьям (см. об этом РМ. 1900. № 10. С. 17), вместе с тем не принимая толстовской позиции. В письме Д. А. Корсакову (16 июля 1882 г.) К замечал: «Не помню, писал ли я вам об одном из знамений времени, — об исповеди гр. Льва Толстого, запрещенной духовной цензурой и обращающейся в рукописи? Это, по мне, одно из замечательнейших явлений по смелости и искренности, хотя я с постановкою вопроса и выводами Толстого не согласен от А до Z. <...> Толстой и софист, и не знаком с философией и наукой, хотя и считает себя и ученым, и философом» (ВЕ. 1888. № 5. С. 32).

¹⁴ Имеется в виду попытка патриарха Никона в 1666 г. противопоставить свою власть как главы церковной иерархии власти царя. Был сослан Алексеем Михайловичем в Ферапонтьев монастырь.

¹⁵ *Преценнт* (франц. précepte) — предписание, наставление.

¹⁶ *Шакья-муни* (Сакьямуни) — одно из имен основателя буддизма, Будды.

¹⁷ Под *словом утешения* понимается в данном случае христианское вероучение.

¹⁸ Речь идет о теории исторического круговорота, изложенной в трактате итальянского мыслителя Джамбатисто Вико «Основания новой науки об общей природе наций» (1725).

¹⁹ *К* излагает здесь и далее основные положения кантовской философии: об априоризме форм знания и антиномичности разума.

²⁰ *К* имеет в виду немецкого философа Эдуарда Гартмана, автора «Философии бессознательного» (1869).

²¹ *Аллегри* — лотерея, в которой розыгрыш производится сразу после покупки билета.

²² Ср.: «Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обречем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение?» (*Чаадаев*. 38—39).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

- Август Цезарь (Октавиан) (63 до н. э.—14 н. э.), римский император с 27 до н. э.—224.
- Адашев Алексей Федорович (ум. 1561), приближенный *Ивана IV*.—92.
- Азбукина (урожд. Юшкова; ум. 1817) Екатерина Петровна, сестра *А. П. Елагиной*.—321.
- Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860), публицист, историк, поэт, идеолог славянофильства.—327, 362.
- Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859), писатель.—327, 336.
- Александр I Павлович (1777—1825), российский император с 1801 г.—137, 138, 165—167, 179, 234, 253, 254, 320, 321, 324, 332, 358, 359.
- Александр II Николаевич (1818—1881), российский император с 1855 г.—140, 141, 438, 441, 444, 447, 503.
- Александр Невский (1220—1263), князь новгородский (1236—1251), вел. князь владимирский с 1252 г.—45.
- Алексей (1290-е гг.—1378), русский митрополит.—206.
- Алексей Михайлович (1629—1676), русский царь с 1645 г.—57, 162, 174, 178, 220, 223, 238, 251.
- Алексей Петрович (1690—1718), сын *Петра I*.—175, 242.
- Андрей Боголюбский (ок. 1111—1174), князь владими́ро-суздальский с 1157 г.—40, 42, 47, 159, 183, 251.
- Анна Иоанновна (1693—1740), российская императрица с 1730 г.—165, 178.
- Анненков Павел Васильевич (1813—1887), лит. критик, мемуарист.—259, 268, 273.
- Антокольский Марк Матвеевич (1843—1902), скульптор.—476—488.
- Апухтин Гавриил Петрович (1774—1834), переводчик.—323.
- Аристотель (384—322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый.—355.
- Армстронг Уильям Джордж (1810—1900), английский инженер.—376.
- Бакунин Михаил Александрович (1814—1876), революционер, один из основателей анархизма.—326.
- Бакунин Михаил Михайлович (1765—1826), сенатор.—275.
- Бакунина Авдотья (Евдокия) Михайловна, фрейлина, художница, дочь М. М. Бакунина.—275.

* В указатель включены имена, упоминаемые только в текстах К. Д. Кавелина.

- Бакунина Прасковья Михайловна (1810—1880), беллетристка, дочь *М. М. Бакунина*.—275.
- Бакунины: Алексей Александрович (1823—1882), Александр Александрович (1821—1908), Павел Александрович (1820—1900), братья *М. А. Бакунина*.—326.
- Бальзак Оноре де (1799—1850).—277.
- Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800—1844).—324.
- Белинская (урожд. Орлова) Мария Васильевна (1812—1890), жена *В. Г. Белинского*.—275.
- Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848).—259, 261—277, 293—306.
- Бельский Богдан Яковлевич (ум. 1611), фаворит *Ивана IV*, один из претендентов на русский престол в 1598 г.—224.
- Бем (урожд. Эндаурова) Елизавета Меркурьевна (1843—1914), русская художница.—405.
- Бензис (урожд. Белинская) Ольга Виссарионовна (1845—1902), дочь *В. Г. Белинского*.—275.
- Бернарден де Сен-Пьер, Жак Анри (1737—1814), французский писатель.—330.
- Берсень-Беклемишев Иван Никитич (ум. 1525), дипломат, член великокняжеской думы при Иване III и Василии III.—63.
- Биконсфилд, см. *Дизраэли Б.*
- Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1815—1898), 1-й рейхсканцлер германской империи в 1871—1890.—437, 443.
- Блудов Дмитрий Николаевич (1785—1864), государственный деятель, один из учредителей «Арзамаса».—323.
- Бокль Генри Томас (1821—1862), английский историк и социолог-позитивист.—282.
- Бонами Шарль Август (1764—1830), генерал наполеоновской армии.—323.
- Боншоз Франсуа Поль Эмиль (1801—1875), французский историк и писатель.—329.
- Борис Годунов (ок. 1552—1605), русский царь с 1598 г.—56, 135, 178, 223, 251.
- Боткин Василий Петрович (1812—1869), писатель, критик, переводчик.—259, 263, 264, 267, 273, 274, 277.
- Бунин Афанасий Иванович (1716—1791), отец *В. А. Жуковского*.—323.
- Бунина (урожд. Безобразова) Мария Григорьевна (1728—1811), жена *Бунина А. И.*—321.
- Бутурлин Дмитрий Петрович (1790—1849), военный историк; государственный деятель.—273.
- Валуев Дмитрий Александрович (1820—1845), историк.—263, 325, 326, 328.
- Вальтер Фердинанд (1794—1879), немецкий юрист умеренно-консервативного направления, профессор права в Бонне.—104, 121—122.

- Василий III Иванович (1479—1533), великий князь московский с 1505 г.; сын Ивана III.—47, 50.
- Василий Иванович Шемячич (ум. 1529), князь новгород-северский, внук Шемяки.—47.
- Василий IV Иванович Шуйский (1552—1612), русский царь в 1606—1610.—56, 135, 225, 251.
- Васьичков Александр Илларионович (1818—1881), экономист, публицист, земский деятель, близкий к славянофилам.—414—415.
- Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805—1827), поэт.—324.
- Вержбицкий Павел Викентьевич, майор корпуса горных инженеров.—268.
- Вехтер Георг Филипп Людвиг Леонхард (1762—1837; псевдоним—Вебер Файт), немецкий писатель.—329.
- Вико Джамбаттиста (1668—1724), итальянский философ.—513.
- Виктория (1819—1901), королева Великобритании с 1837.—437.
- Вильгельм Гогенцоллерн (1797—1888), прусский король с 1861 и германский император с 1871.—437.
- Вине Александр Родольф (1797—1847), швейцарский теолог-протестант, публицист.—329.
- Владимир I (ум. 1015), младший сын Святослава, в 988—989 ввел в качестве государственной религии христианство.—30, 35, 190—192.
- Владимир II Мономах (1053—1125), великий князь киевский с 1113, сын Всеволода I и дочери византийского императора Константина Мономаха.—34, 35, 39.
- Воейков Александр Федорович (1778 или 1779—1839), поэт, переводчик, критик, журналист.—323, 327.
- Воейкова (урожд. Протасова) Александра Андреевна (1795—1829), жена *А. Ф. Воейкова*, племянница *Жуковского*.—323.
- Воейкова Екатерина Александровна (1815—1844), дочь *А. Ф. Воейкова*.—327, 328.
- Воейковы, сестры: Екатерина Александровна и Мария Александровна (1826—1906; в замужестве графиня Бревен-Делагарди), Александра Александровна (1817—1893), дочери *А. Ф. Воейкова*.—327.
- Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Аруэ; 1694—1778).—282, 322, 409.
- Вольф Христиан (1679—1754), немецкий философ-идеалист.—282.
- Волынский Артемий Петрович (1689—1740), государственный деятель, дипломат, с 1738 — кабинет-министр.—404.
- Всеволод I Ярославич (1030—1093), великий князь киевский с 1078.—35.
- Всеволод III Большое Гнездо (1154—1212), великий князь владимирский с 1176; сын Юрия Долгорукова.—42, 159, 183, 251.
- Вяземский Афанасий Иванович (ум. ок. 1570), князь, приближенный Ивана IV, влиятельный опричник.—160.
- Вяземский Петр Андреевич (1792—1878), поэт, критик.—324.

- Галченковы, петербургские домовладельцы.—274.
- Гарибальди Джузеппе (1807—1882), итальянский революционер.—365.
- Гартман Эдуард (1842—1906), немецкий философ-идеалист.—412—413, 526.
- Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831), немецкий философ.—276, 282.
- Гедимин (ум. 1341), великий князь литовский.—224.
- Герцен Александр Иванович (1812—1870).—263, 269, 271, 276, 277, 327.
- Гете Иоган Вольфганг (1749—1832).—270, 478.
- Гизо Франсуа (1787—1874), французский историк.—81.
- Глеб (ум. 1171), сын *Юрия Долгорукого*, брат *Андрея Боголюбского*.—40.
- Глинка Михаил Иванович (1804—1857), композитор.—381.
- Глинские, литовские и русские князья XV—XVIII вв.—224.
- Гоббс Томас (1588—1679), английский философ.—282.
- Гоголь Николай Васильевич (1809—1852).—273, 327, 405.
- Годунов Борис Федорович, см. *Борис Годунов*.
- Годуновы, династия, см. *Борис Годунов*, *Федор Борисович*.
- Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич (1848—1913), поэт.—476—477.
- Голицыны: Борис Алексеевич (1654—1714), государственный деятель, дядька — воспитатель *Петра I*; — Василий Васильевич (1643—1714), государственный деятель, сослан *Петром I*.—234.
- Гольбейн Ганс, младший (1497—1543), немецкий художник.—405.
- Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822), немецкий писатель.—329.
- Градовский Александр Дмитриевич (1841—1889), историк, публицист.—448, 449, 458, 466, 467, 473.
- Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855).—256—260, 263, 270, 271, 276—277, 327.
- Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829).—324.
- Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1891), писатель.—272, 273.
- Гримм Якоб (1785—1863), немецкий филолог.—192.
- Гумбольдт Александр (1769—1859), немецкий естествоиспытатель, географ, путешественник.—261.
- Гун Август Фердинанд (1807—1871), теолог-протестант, ревельский проповедник.—330.
- Давыдова (урожд. Бунина) Анна Ивановна, тетка *В. А. Жуковского*.—323.
- Дарвин Чарльз Роберт (1809—1882).—526.
- Дизраэли Бенджамин, граф Биконсфилд (1804—1881), премьер-министр Великобритании в 1868 и 1874—1880, писатель.—437.
- Дмитриев-Мамонов Эмануил Александрович (1823—1883), художник, искусствовед.—326.
- Дмитрий Донской (1350—1389), великий князь московский с 1359.—160, 206, 212.
- Достоевский Федор Михайлович (1821—1881).—448—485.

- Драгоманов Михаил Петрович (1841—1895), историк и политический деятель.—270.
- Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862), с 1835 г. начальник штаба Отдельного корпуса жандармов.—273.
- Духинский Францишек (1816—1893), польский историк.—187.
- Дюмолар, французский преступник.—469.

- Екатерина II Алексеевна, российская императрица с 1762 г.—11, 62, 165, 178, 179, 187, 234, 254, 261, 321, 359.
- Елагин Алексей Андреевич (1790—1846), муж *А. П. Елагиной*.—323, 328.
- Елагин Андрей Алексеевич (1823—1844), сын *А. П. Елагиной*.—327, 328.
- Елагин Василий Алексеевич (1818—1879), историк, сын *А. П. Елагиной*.—327—329.
- Елагин Николай Алексеевич (1822—1876), историк, земский деятель, сын *А. П. Елагиной*.—327—329.
- Елагина Авдотья Петровна (по первому мужу Киреевская, урожд. Юшкова; 1789—1877).—263, 320—335.
- Елагина (урожд. Мойер) Екатерина Ивановна, дочь М. А. Мойер, жена *В. А. Елагина*.—327, 328.
- Елагина Елизавета Алексеевна (1825—1848), дочь *А. П. Елагиной*.—327—328.
- Елагина (урожд. Давыдова) Елизавета Семеновна, мать *Ал. Ан. Елагина*.—323.
- Елизавета Петровна (1709—1761/62), российская императрица с 1741 г.—62, 178.
- Ермак Тимофеевич (ум. 1585), казачий атаман. Походом ок. 1581 г. начал освоение Сибири Русским государством.—87, 162.

- Жаккар Жозеф Мари (1752—1834), французский изобретатель.—378.
- Жан-Поль, см. *Рихтер И. П. Ф.*
- Жербин — петербургский домовладелец.—264.
- Жуковская (урожд. Рейтерн) Елизавета Алексеевна (1821—1856), жена *В. А. Жуковского*.—327.
- Жуковский Василий Андреевич (1783—1852).—321, 323, 324, 327, 329.
- Журавский Дмитрий Петрович (1810—1856), писатель, статистик.—365.
- Засулич Вера Ивановна (1849—1919), революционерка, в 1878 г. покушалась на жизнь Ф. Ф. Трепова, оправдана судом присяжных.—444.
- Зедергольм Карл Альбертович (1789—1867), пастор, философ, переводчик.—265.
- Зонтаг (урожд. Юшкова) Анна Петровна (1785—1864), детская писательница, сестра *А. П. Елагиной*.—321.

- Иван (Данилович) I Калита (ум. 1340), князь московский.—45, 159.
- Иван III Васильевич (1440—1505), великий князь московский с 1452 г.—38, 47, 48, 52, 53, 61, 135, 162, 178, 206, 209, 212, 213, 217, 224, 234, 236, 238, 245, 248, 251.
- Иван IV Васильевич (Грозный) (1530—1584), великий князь всея Руси с 1533 г., царь с 1547 г.—49, 50, 53—57, 60, 61, 83, 91—93, 135—137, 160, 162, 173, 178, 217, 218, 222—225, 234, 236, 238, 240, 245, 248, 249, 251.
- Игорь Святославич (1150—1202), князь новгород-северский с 1178.—28.
- Исаев Илья Иванович (ум. ок. 1742), сын московского купца, вице-президент магистрата, при Петре I обер-инспектор рижской таможни.—234.
- Кавелин Дмитрий Александрович (1778—1851), петербургский чиновник, отец *К. Д. Кавелина*.—261, 262, 323.
- Кант Иммануил (1724—1804), немецкий философ.—282, 351, 353, 492, 514, 517, 528.
- Карамзин Николай Михайлович (1766—1826).—222.
- Катков Михаил Никифорович (1818—1887), журналист, переводчик, публицист.—264, 265, 267.
- Кетчер Николай Христофорович (1809—1886), писатель-переводчик.—263, 271.
- Киреевская Мария Васильевна (1811—1859), дочь *А. П. Елагиной*, сестра *И. В. и П. В. Киреевских*.—322, 328.
- Киреевский Василий Иванович (ок. 1773—1812), первый муж *А. П. Елагиной*, отец *И. В. и П. В. Киреевских*.—321—322.
- Киреевский Иван Васильевич (1806—1856), философ, публицист, критик.—263, 322, 324, 325, 327, 328, 329, 361.
- Киреевский Петр Васильевич (1808—1856), фольклорист, археолог, переводчик, публицист.—322, 324, 325, 328, 361.
- Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842), поэт.—259.
- Конт Огюст (1798—1857), французский философ.—282, 493.
- Корде (Корде д'Армон) Шарлотта (1768—1793), французская дворянка; убила Марата.—469.
- Корреджо (наст. имя Аллегри) Антонио (ок. 1489—1534), итальянский живописец.—405.
- Корф Модест Андреевич (1800—1876)—историк, государственный деятель.—273.
- Корш Евгений Федорович (1810—1897), журналист.—271.
- Коссович Каетан Андреевич (1815—1883), санскритолог.—263.
- Котошихин (Кошихин) Григорий Карпович (ок. 1630—1667), подъячий Посольского приказа, писатель.—225, 238.
- Кошелев Александр Иванович (1806—1883), общественный деятель, близкий к славянофилам; друг *И. В. Киреевского*.—96, 100—101, 324.

- Краевский Андрей Александрович (1810—1889), журналист, издатель.—266, 271, 272.
- Крамской Иван Николаевич (1837—1887), художник; основатель Товарищества передвижных выставок.—370.
- Крупн Альфред (1812—1887), владелец сталелитейных заводов в Эссене (Вестфалия), крупный промышленник.—376.
- Кулиш Пантелеймон Александрович (1819—1897), украинский писатель.—365.
- Кульчицкий Александр Яковлевич (ок. 1817—1845), писатель, театральный критик.—264, 265, 267, 268, 269.
- Курбский Андрей Михайлович (1528—1583), князь, боярин, писатель.—92, 224.
- Кути-де-ла-Помпре, см. *La Pommerais* Désiré Edmond Courty de.
- Куторга Степан Семенович (1805—1861), зоолог, профессор Петербургского университета.—188—189.
- Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797—1846).—324.
- Ландсберг Карл Христоф фон (1854—?), отставной прапорщик, убийца.—479.
- Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716), немецкий философ.—282.
- Леонардо да Винчи (1452—1519).—405.
- Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841).—271.
- Лефорт Франц (1655/56—1699), сподвижник *Петра I*.—244.
- Лихонин Михаил Николаевич (1802—1864), поэт, переводчик, лит. критик.—324.
- Локк Джон (1632—1704), английский философ.—282, 351, 353.
- Лопухины.—325.
- Льюис Джордж Генри (1817—1878), английский журналист, лит. критик, философ-позитивист.—493.
- Людовик XVI (1754—1793), французский король.—275.
- Макиавелли (Макьявелли) (1469—1527), итальянский политический мыслитель, историк.—81.
- Маковский Владимир Егорович (1846—1920), художник-передвижник.—375.
- Максимович Михаил Александрович (1804—1873), этнограф, историк, филолог.—324.
- Мальцов (Мальцев) Иван Сергеевич (1807—1880), дипломат.—324.
- Мамонов, см. *Дмитриев-Мамонов*.
- Мария Федоровна (1759—1828), российская императрица, жена *Павла I*.—323.
- Маркс Карл (1818—1883).—430, 431, 437.
- Маслов Иван Ильич (1817—1891), знакомый *Белинского*.—266.
- Массильон Жан Батист (1663—1742), французский проповедник.—330.

- Матвеев Артамон Сергеевич (1625—1682), приближенный царя *Алексея Михайловича*.—234.
- Мельгунов Николай Александрович (1804—1867), писатель.—324.
- М... З... К...—см. *Самарин Ю. Ф.*
- Милановский Константин Соломонович, знакомый *В. Г. Белинского*.—265.
- Михаил Федорович (1596—1645), русский царь с 1613 г., первый царь из рода *Романовых*.—135, 136, 223, 225, 238.
- Мицкевич Адам (1798—1855).—270, 365.
- Мойер Иван Филиппович (1786—1858), профессор хирургии Дерптского университета.—323, 327, 328.
- Мойер (урожд. Протасова) Мария Андреевна (1793—1823), племянница и возлюбленная *В. А. Жуковского*.—323.
- Мстислав Великий (1076—1132), великий князь киевский с 1152.—34, 35, 72.
- Мурильо Бартоломе Эстебан (1618—1682), испанский художник.—405.
- Надеждин Николай Иванович (1804—1856), критик, эстетик.—362.
- Наполеон I (Наполеон Бонапарт; 1769—1821).—62, 104, 365, 433, 434.
- Неврев Николай Васильевич (1830—1904), художник-передвижник.—373—374.
- Некрасов Николай Алексеевич (1821—1878).—266, 271—273, 372, 405.
- Нибур Бартольд Георг (1776—1831), немецкий историк античности.—122.
- Николай I Павлович (1796—1855), российский император с 1825 г.—166, 167, 254, 266, 320, 358, 489, 497, 503.
- Никон (Никита Минов; 1605—1681), патриарх.—162.
- Огарев Николай Платонович (1813—1877).—327.
- Одоевский Владимир Федорович (1803 или 1804—1869); писатель, лит. критик, философ, педагог.—275, 324.
- Одоевский Никита Иванович (ум. 1689), государственный, политический и военный деятель.—234.
- Олеарий Адам (1603—1671), немецкий путешественник.—162, 215.
- Олег (ум. 912), киевский князь.—28.
- Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (ок. 1605—1681), государственный деятель, приближенный царя *Алексея Михайловича*.—234.
- Орлов Николай Алексеевич (1827—1885), дипломат.—365.
- Орлова Аграфена Васильевна, свояченица *В. Г. Белинского*.—275.
- Орсини Феличе (1819—1858), итальянский революционер, совершивший в 1858 г. покушение на Наполеона III.—469.
- Офросимова (урожд. Юшкова) Мария Петровна (1786—1809), сестра *А. П. Елагиной*.—321.

- Павлова (урожд. Яниш) Каролина Карловна (1807—1893), поэтесса, переводчица.—324.
- Панаев Иван Иванович (1812—1862), писатель, журналист, мемуарист.—263, 266, 267, 271, 275, 277.
- Панаева (урожд. Брянская) Авдотья Яковлевна (1820—1893), писательница, жена И. И. Панаева.—271.
- Пёлиц Карл Генрих Людвиг (1772—1838), немецкий историк.—261.
- Петр I Великий (1672—1725).—11, 12, 23, 38, 39, 48—50, 53—57, 59, 61, 62, 64—66, 76, 79, 91, 96, 135, 136, 137, 138, 163—165, 173—181, 187, 196, 210, 213, 218, 225, 230—231, 233, 235, 236, 238—254, 270, 325, 349, 350, 355, 358, 359, 361, 380, 395, 416, 418, 451, 452, 456, 463, 496, 498, 499, 501, 504, 510.
- Петр III Федорович (1728—1762), российский император с 1761.—165, 254.
- Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821—1866), революционер, утопический социалист.—273.
- Платон (428 или 427 до н. э.—348 или 347), древнегреческий философ-идеалист.—355.
- Плещеев Александр Алексеевич (1778—1862), композитор-дилетант, друг *В. А. Жуковского*.—323.
- Плещеева (урожд. графиня Чернышева) Анна Ивановна (ум. 1817), жена *А. А. Плещеева*.—323.
- Погодин Михаил Петрович (1800—1875), историк, писатель.—239, 324.
- Покровский Феофилакт Гаврилович (1763—ок. 1843), писатель.—321.
- Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), писатель, журналист, историк.—324.
- Попов Александр Николаевич (1820—1877), историк.—326.
- Попов Михаил Максимович (1801—1871), гимназический учитель *В. Г. Белинского*, затем чиновник III Отделения.—273.
- Посошков Иван Тихонович (1652—1726), экономист, публицист.—234.
- Премацци Людвиг Осипович (1818—1892), русский художник-академист.—371.
- Протасова Александра Андреевна, см. *Воейкова А. А.*
- Протасова Екатерина Афанасьевна (1770—1848), сводная сестра *В. А. Жуковского*.—322, 327, 328.
- Протасова Мария Андреевна, см. *Мойер М. А.*
- Пугачев Емельян Иванович (1740 или 1742—1775).—427, 434.
- Пуфендорф Самуэль (1632—1694), немецкий юрист.—282.
- Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837).—324, 448, 458.
- Пыпин Александр Николаевич (1833—1904), историк литературы, академик.—293—296, 299—300, 304—306.
- Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630—1671).—162.
- Расин Жан (1639—1699), французский трагик-классицист.—330.
- Рафаэль Санти (1483—1520).—405.

- Редкин Петр Григорьевич (1808—1891), юрист, в 1835—1848 гг. профессор Московского университета.—329.
- Репин Илья Ефимович (1844—1930), художник.—372.
- Рихтер Иоганн Пауль Фридрих (псевд. Жан-Поль; 1763—1825), немецкий прозаик.—329.
- Рогвольд (ум. 980), князь полоцкий.—28.
- Розберг (Росберг) Михаил Петрович (1804—1874), писатель, историк, фольклорист.—324.
- Романовы, династия.—56, 162.
- Рошер Вильгельм Георг Фридрих (1817—1894), немецкий экономист.—413.
- Рубини Джиованни Баттиста (1794 или 1795—1854), итальянский певец-тенор.—270—271.
- Руссо Жан Жак (1712—1778).—81, 282, 330.
- Саврасов Алексей Кондратьевич (1830—1897), художник.—405.
- Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826—1889).—405.
- Самарин Дмитрий Федорович (1831—1901), историк, журналист, брат Ю. Ф. *Самарина*.—336.
- Самарин Юрий Федорович (1819—1876), идеолог славянофильства.—68—94, 100—101, 327, 336—366, 439.
- Санд Жорж (наст. имя Аврора Дюпен; 1804—1876), французская писательница.—267.
- Сатин Николай Михайлович (1814—1873), поэт, переводчик.—327.
- Свербеев Дмитрий Николаевич (1799—1874), дипломат, писатель, мемуарист, близкий славянофилам.—324, 326.
- Святослав I (ум. 972), великий князь киевский, сын князя *Игоря*.—28, 29, 36.
- Семен Гордый (1316—1353), старший сын князя *Ивана I Калиты*.—45.
- Семирадский Генрих Ипполитович (1843—1902), художник-академист.—371.
- Сенковский Осип (Юлиан) Иванович (1800—1858), писатель, журналист.—187—188.
- Сильвестр (ум. ок. 1566), духовник *Ивана Грозного*.—92.
- Скобелев Иван Никитич (1778—1849), генерал, военный писатель.—266.
- Соболевский Сергей Александрович (1803—1870), библиограф, литератур-дилетант.—324.
- Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879), историк.—171—255.
- Сократ (469—399 до н. э.), древнегреческий философ.—172, 512.
- Софья Палеолог (ум. 1503), племянница последнего византийского императора Константина XI, жена (с 1472) *Ивана III*.—48.
- Станкевич Николай Владимирович (1813—1840), философ, поэт.—259, 264, 277, 329.
- Стахович Михаил Александрович (1819—1858), прозаик, фольклорист, переводчик.—326.

- Стефенсон Джордж (1781—1848), английский изобретатель.—378.
- Стефенсон Роберт (1803—1859), инженер-строитель.—378.
- Стеффенс (Стефенс) Хенрик (1773—1845), немецкий философ и естествоиспытатель, уроженец Норвегии.—329.
- Строганов Сергей Григорьевич (1794—1882), граф, попечитель Московского учебного округа в 1835—1847 гг.—256, 273.
- Татищев Василий Никитич (1686—1750), историк, государственный деятель.—61.
- Тик Людвиг (1773—1853), немецкий писатель-романтик.—327.
- Титов Владимир Павлович (1807—1891), писатель, историк, дипломат.—324.
- Токвиль Алексис (1805—1859), французский историк, социолог и политический деятель.—366.
- Толстой Петр Андреевич (1645—1729), государственный деятель, посол в Османской империи (1702—1714).—178.
- Турд (Тур), князь.—28.
- Тургенев Александр Иванович (1784—1845), историк, писатель.—324.
- Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883).—266, 267, 273, 275, 295—296, 299—300, 405, 415.
- Тютчев Николай Николаевич (1815—1878), друг *В. Г. Белинского*.—264, 265, 267, 268, 271.
- Устрялов Николай Герасимович (1805—1870), историк.—171—255.
- Уэйд Бенджамин Франклин (1800—1878), американский политический деятель, в 1867—1869 вице-президент США.—430.
- Федор Алексеевич (1661—1682), русский царь с 1676 г., сын *Алексея Михайловича*.—57, 136.
- Федор Борисович (1589—1605), русский царь в апреле—мае 1605; сын *Бориса Годунова*.—135.
- Федор Иоаннович (1557—1598), последний русский царь из династии Рюриковичей (с 1584); сын *Ивана IV*.—50, 55, 56, 136, 223.
- Фейербах Людвиг (1804—1872), немецкий философ-материалист.—282.
- Фейт-Вебер, см. *Вехтер Г. Ф. А. А.*
- Фенелон Франсуа (1651—1715), французский писатель, архиепископ.—330.
- Филарет (Романов Федор Никитич; ок. 1554/55—1633), русский патриарх, отец царя *Михаила Федоровича*.—178.
- Филипп (Колычев Федор Степанович; 1507—1569), митрополит с 1566.—91, 93.

Флетчер Джайлс (ок. 1549—1611), английский дипломат.—200, 225, 463.
Флориан Жан-Пьер Клер (1755—1794), французский писатель.—329.
Фултон Роберт (1765—1815), американский изобретатель.—378.

Хворостинин Иван Андреевич (ум. 1625), князь, писатель-публицист.—162, 238.

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860), поэт, философ, публицист, славянофил.—324, 325, 362.

Цинь Ши-Хуанди (259—210 до н. э.), правитель царства Цинь; император Китая.—416.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856), философ, публицист.—324.

Черкасский Александр Александрович (1779—1841), князь, отец *В. А. Черкасского*.—261.

Черкасский Владимир Александрович (1824—1878), князь, государственный деятель, публицист, славянофил.—261.

Чичерин Борис Николаевич (1828—1904), юрист, историк, философ.—219, 339, 340.

Шафарик Павел Йозеф (1795—1861), чешский историк, филолог, поэт.—204.

Шевырев Степан Петрович (1806—1864), критик, историк литературы, поэт.—271, 324.

Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854), немецкий философ.—282, 327, 361.

Шишкин Иван Иванович (1831—1898), художник.—405.

Шопенгауэр Артур (1788—1860), немецкий философ.—282.

Штраус Давид Фридрих (1808—1874), немецкий теолог.—356, 409.

Шуйский Василий Иванович, см. *Василий IV*.

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863), актер Малого театра.—273.

Юрий Долгорукий (ок. 1090—1157), князь ростово-суздальский, с 1155 г.—великий князь киевский.—39, 40.

Юсупов Николай Борисович, кн. (1750—1831), московский вельможа, меценат.—327.

Юшков Иван Иванович (ум. 1781), государственный деятель.—321.

Юшков Петр Николаевич (ум. 1805), отец *А. П. Елагиной*.—321.

- Юшкова (урожд. Головина) Анастасия Петровна (ум. 1808).—321.
- Юшкова (урожд. Бунина) Варвара Афанасьевна (1768—1797), мать
А. П. Елагиной.—321.
- Юханцев Константин Николаевич, преступник.—479.
- Языков Михаил Александрович (1811—1855), друг *В. Г. Белинского*.—266.
- Языков Николай Михайлович (1803—1846), поэт.—324, 325, 326.
- Якоби (Якобий) Валерий Иванович (1834—1902), художник.—404.
- Ярослав Мудрый (ок. 978—1054), великий князь киевский с 1019; сын
Владимира I.—29, 30, 31, 34, 36, 39, 42, 47, 178.
- Ярошенко Николай Александрович (1846—1898), художник.—367.
- Doreg — гувернантка *А. П. Елагиной*, французская эмигрантка.—321.
- La Pommerais Dèsirè Edmond Courty de (1830—1864), французский преступник.—479.

СОДЕРЖАНИЕ

В. К. Кантор. К. Д. Кавелин	3
---------------------------------------	---

НАШ УМСТВЕННЫЙ СТРОЙ

Взгляд на юридический быт древней России	11
Ответ «Москвитянину»	68
Взгляд на русскую сельскую общину	95
Дворянство и освобождение крестьян	124
Краткий взгляд на русскую историю	158
Мысли и заметки о русской истории	171
Т. Н. Грановский	256
Воспоминания о В. Г. Белинском	261
Философия и наука в Европе и у нас	278
Белинский и последующее движение нашей критики	293
Наш умственный строй	307
Авдотья Петровна Елагина	320
Московские славянофилы сороковых годов	336
О задачах искусства	367
Наши недоразумения	408
Разговор с социалистом-революционером	424
Письмо Ф. М. Достоевскому	448
Мефистофель Антокольского	476
Злобы дня	489
Примечания (В. К. Кантор и О. Е. Майорова)	541
Указатель имен	641

Кавелин Константин Дмитриевич

НАШ УМСТВЕННЫЙ СТРОЙ

Статьи по философии
русской истории и культуры

Редактор
Е. В. Х а р и т о н о в а

Оформление художника
С. Н. О к с м а н а

Художественный редактор
В. В. М а с л е н н и к о в

Технический редактор
К. И. З а б о т и н а

Сдано в набор 07.03.89. Подписано к печати 20.06.89.
Формат $84 \times 108^{1/32}$. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 34,55. Усл. кр.-отт. 34,60. Уч.-изд. л. 39,11.
Тираж 35 000 экз. Заказ 862 .
Цена 2 р. 50 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции
типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП. Москва, А-137,
улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства
«Калининградская правда».
236000. Калининград обл. ул. Карла Маркса, 18.

НА ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
СЛАВОУСЛОВИЯ
НАШЕГО

КАМЕНЬ